

Эрнест Хемингуэй



ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» МОСКВА 1982

Эрнест Хемингуэй

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

Под общей редакцией

Б. ГРИБАНОВА,

М. ЛОРИЕ,

А. СТАРЦЕВА

МОСКВА «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1982

Эрнест Хемингуэй

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

СТАРИК И МОРЕ

ОПАСНОЕ ЛЕТО

ПРАЗДНИК,
КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ

ОСТРОВА В ОКЕАНЕ

Перевод с английского

И (Амер)
X 37

Послесловие

А. СТАРЦЕВА

Оформление художника

Ю. КОПЫЛОВА

© Оформление. Издательство
«Художественная литература», 1982 г.

X 4703000000-308
028(01) 82 **подписное**

Старик и море

ПОВЕСТЬ

Перевод Е. Голышевой и Б. Изакова

THE OLD MAN AND THE SEA

1952

Старик рыбачил совсем один на своей лодке в Гольфстриме. Вот уже восемьдесят четыре дня он ходил в море и не поймал ни одной рыбы. Первые сорок дней с ним был мальчик. Но день за днем не припосил улова, и родители сказали мальчику, что старик теперь уже явно *salao*, то есть «самый что ни на есть невезучий», и велели ходить в море на другой лодке, которая действительно привезла три хорошие рыбы в первую же неделю. Мальчику тяжело было смотреть, как старик каждый день возвращается ни с чем, и он выходил на берег, чтобы помочь ему отнести домой снасти или багор, гарпун и обернутый вокруг мачты парус. Парус был весь в заплатках из мешковины и, свернутый, напоминал знамя наголову разбитого полка.

Старик был худ и изможден, затылок его прорезали глубокие морщины, а щеки были покрыты коричневыми пятнами неопасного кожного рака, который вызывают солнечные лучи, отраженные гладью тропического моря. Пятна спускались по щекам до самой шеи, на руках виднелись глубокие шрамы, прорезанные бечевой, когда он вытаскивал крупную рыбу. Однако свежих шрамов не было. Они были стары, как трещины в давно уже мертвой безводной пустыне.

Все у него было старое, кроме глаз, а глаза были цветом похожи на море, веселые глаза человека, который не сдается.

— Сантьяго,— сказал ему мальчик, когда они вдвоем поднимались по дороге от берега, где стояла на причале лодка,— теперь я опять могу пойти с тобой в море. Мы уже заработали немного денег.

Старик научил мальчика рыбачить, и мальчик его любил.

— Нет,— сказал старик,— ты попал на счастливую лодку. Оставайся на ней.

— А помнишь, один раз ты ходил в море целых семьдесят семь дней и ничего не поймал, а потом мы три недели кряду каждый день привозили по большой рыбе.

— Помню,— сказал старик.— Я знаю, ты ушел от меня не потому, что не верил.

— Меня заставил отец. А я еще мальчик и должен слушаться.

— Знаю,— сказал старик.— Как же иначе.

— Он-то не очень верит.

— Да,— сказал старик.— А вот мы верим. Правда?

— Конечно. Хочешь, я угощу тебя пивом на Террасе? А потом мы отнесем домой снасти.

— Ну что ж,— сказал старик.— Ежели рыбак подносит рыбаку...

Они уселись на Террасе, и многие рыбаки подсмеивались над стариком, но он не был на них в обиде. Рыбакам постарше было грустно на него глядеть. Однако они не показывали виду и вели вежливый разговор о течении и о том, на какую глубину они забрасывали крючки, и как держится погода, и что они видели в море. Те, кому в этот день повезло, уже вернулись с лова, выпотрошили своих марлинов и, взвалив их поперек двух досок, взявшись по двое за каждый конец доски, перетаскивали рыбу на рыбный склад, откуда ее должны были отвезти в рефрижераторе на рынок в Гавану. Рыбаки, которым попались акулы, сдали их на завод по разделке акул на другой стороне бухты.

Там туши подвесили на блоках, вынули из них печенку, вырезали плавники, содрали кожу и нарезали мясо тонкими пластинками для засола.

Когда ветер дул с востока, он приносил вонь с акульей фабрики, но сегодня запаха почти не было слышно, потому что ветер переменялся на северный, а потом стих, и на Террасе было солнечно и приятно.

— Сантьяго,— сказал мальчик.

— Да? — откликнулся старик. Он смотрел на свой стакан с пивом и вспоминал давно минувшие дни.

— Можно, я наловлю тебе на завтра сардин?

— Не стоит. Поиграй лучше в бейсбол. Я еще сам могу грести, а Рохелио забросит сети.

— Нет, дай лучше мне. Если мне нельзя с тобой рыбачить, я хочу помочь тебе хоть чем-нибудь.

— Да ведь ты угостил меня пивом,— сказал старик.— Ты уже взрослый мужчина.

— Сколько мне было лет, когда ты первый раз взял меня в море?

— Пять, и ты едва не погиб, когда я втащил в лодку совсем еще живую рыбу и она чуть не разбила все в щепки, помнишь?

— Помню, как она била хвостом и сломала банку и как ты громко колотил ее дубинкой. Помню, ты швырнул меня на нос, где лежали мокрые снасти, а лодка вся дрожала, и твоя дубинка стучала, словно рубили дерево, и кругом стоял сладкий запах крови.

— Ты правда все это помнишь или я тебе потом рассказывал?

— Я помню все с того самого первого дня, когда ты взял меня в море.

Старик поглядел на него воспаленными от солнца, доверчивыми и любящими глазами.

— Если бы ты был моим сыном, я бы и сейчас рискнул взять тебя с собой. Но у тебя есть отец и мать, и ты попал на счастливую лодку.

— Давай я все-таки схожу за сардипами. И я знаю, где можно достать четыре наживки.

— У меня еще целы сегодняшние. Я положил их в ящик с солью.

— Я достану тебе четыре свежие.

— Одну,— возразил старик.

Он и так никогда не терял ни надежды, ни веры в будущее, но теперь они крепили в его сердце, словно с моря подул свежий ветер.

— Две,— сказал мальчик.

— Ладно, две,— сдался старик.— А ты их, часом, не стащил?

— Стащил бы, если бы понадобилось. Но я их купил.

— Спасибо,— сказал старик.

Он был слишком простодушен, чтобы задумываться о том, когда пришло к нему смирение. Но он знал, что смирение пришло, не принеся с собой ни позора, ни утраты человеческого достоинства.

— Если течение не переменится, завтра будет хороший день,— сказал старик.

— Ты где будешь ловить?

— Подальше от берега, а вернусь, когда переменится ветер. Выйду до рассвета.

— Надо будет уговорить моего тоже отойти подальше. Если тебе попадется очень большая рыба, мы тебе поможем.

— Твой не любит уходить далеко от берега.

— Да,— сказал мальчик.— Но я уж высмотрю что-нибудь такое, чего он не сможет разглядеть,— ну хотя бы часк. Тогда его можно будет уговорить отойти подальше за золотой макрелью.

— Неужели у него так плохо с глазами?

— Почти совсем ослеп.

— Странно. Он ведь никогда не ходил за черепахами. От них-то всего больше и слепнешь.

— Но ты столько лет ходил за черепахами к Москитному берегу, а глаза у тебя в порядке.

— Я — необыкновенный старик.

— А сил у тебя хватит, если попадется очень большая рыба?

— Думаю, что хватит. Тут главное — сноровка.

— Давай отнесем домой снасти. А потом я возьму сеть и схожу за сардинами.

Они вытащили из лодки снасти. Старик нес на плече мачту, а мальчик — деревянный ящик с мотками туго сплетенной коричневой леси, багор и гарпун с рукояткой. Ящик с наживкой остался на корме лодки вместе с дубинкой, которой глушат крупную рыбу, когда подтягивают к борту. Вряд ли кто вздумал бы обокрасть старика но лучше было отнести парус и тяжелые снасти домой, чтобы они не отсырели от росы. И хотя старик был уверен, что никто из местных жителей не позарится на его добро, он все-таки предпочитал убирать от греха багор, да и гарпун тоже.

Они поднялись по дороге к хижине старика и вошли в дверь, растворенную настежь. Старик прислонил мачту с обернутым вокруг нее парусом к стене, а мальчик положил рядом снасти. Мачта была почти такой же длины, как хижина, выстроенная из крепких прилистников королевской пальмы, которую здесь зовут гуапо. В хижине были кровать, стол и стул и в земляном полу — выемка, чтобы стряпать пищу на древесном угле. Коричневые стены из спрессованных волокнистых листьев были украшены олеографиями Сердца господня и Кобреной богоматери. Они достались ему от покойной жены.

Когда-то на стене висела и цветная фотография самой жены, но потом старик ее спрятал, потому что смотреть на нее было уж очень тоскливо. Теперь фотография лежала на полке в углу, под чистой рубахой.

— Что у тебя на ужин? — спросил мальчик,

— Миска желтого риса с рыбой. Хочешь?

— Нет, я поем дома. Развести тебе огонь?

— Не надо. Я сам разведу попозже, А может, буду есть рис так, холодный.

— Можно взять сеть?

— Конечно.

Никакой сети давно не было — мальчик помнил, когда они ее продали. Однако оба каждый день делали вид, будто сеть у старика есть. Не было и миски с желтым рисом и рыбой, и это мальчик знал тоже.

— Восемьдесят пять — счастливое число, — сказал старик. — А ну как я завтра поймаю рыбу в тысячу фунтов?

— Я достану сеть и схожу за сардинами. Посиди пока на пороге, тут солнышко.

— Ладно. У меня есть вчерашняя газета. Почитаю про бейсбол.

Мальчик не знал, есть ли у старика на самом деле газета, или это тоже выдумка. Но старик и вправду вытащил газету из-под кровати.

— Мне ее дал Перико в винной лавке, — объяснил старик,

— Я только наловлю сардин и вернусь. Положу и мои и твои вместе на лед, утром поделимся. Когда я вернусь, ты расскажешь мне про бейсбол.

— «Янки» не могут проиграть.

— Как бы их не побили кливлендские «Индейцы»!

— Не бойся, сынок. Вспомни о великом Ди Маджио.

— Я боюсь не только «Индейцев», но и «Тигров» из Детройта.

— Ты, чего доброго, скоро будешь бояться и «Краснокожих» из Цинциннати и чикагских «Белых чулок».

— Почитай газету и расскажи мне, когда я вернусь!

— А что, если нам купить лотерейный билет с цифрой восемьдесят пять? Завтра ведь восемьдесят пятый день.

— Почему не купить? — сказал мальчик. — А может, лучше с цифрой восемьдесят семь? Ведь в прошлый раз было восемьдесят семь дней.

— Два раза ничто не повторяется. А ты сможешь достать билет с цифрой восемьдесят пять?

— Закажу.

— Одинарный. За два доллара пятьдесят. Где бы нам их запясть?

— Пустяки! Я всегда могу занять два доллара пятьдесят.

— Я, наверно, тоже мог бы. Только я стараюсь не брать в долг. Сначала просишь в долг, потом просишь милостыню...

— Смотри не простудись, старик. Не забудь, что на дворе сентябрь.

— В сентябре идет крупная рыба. В мае каждый умеет рыбачить.

— Ну, я пошел за сардинами,— сказал мальчик.

Когда мальчик вернулся, солнце уже зашло, а старик спал, сидя на стуле. Мальчик снял с кровати старое солдатское одеяло и прикрыл им спинку стула и плечи старика. Это были удивительные плечи — могучие, несмотря на старость, да и шея была сильная, и теперь, когда старик спал, уронив голову на грудь, морщины были не так заметны. Рубаха его была такая же латаная и перелатаная, как и парус, а заплаты были разных оттенков, потому что неровно выгорели на солнце. И все же лицо у старика было очень старое, и теперь, во сне, с закрытыми глазами, оно казалось совсем неживым. Газета лежала у него на коленях, прижатая локтем, чтобы ее не сдуло. Ноги были босы.

Мальчик не стал его будить и ушел, а когда он вернулся снова, старик все еще спал.

— Проснись! — позвал его мальчик и положил ему руку на колено.

Старик открыл глаза и несколько мгновений возвращался откуда-то очень издалека. Потом он улыбнулся:

— Что ты принес?

— Ужин. Сейчас мы будем есть.

— Да я не такой уж голодный.

— Давай есть. Нельзя ловить рыбу не евши.

— Мне случилось,— сказал старик, поднимаясь и складывая газету; потом он стал складывать одеяло.

— Не снимай одеяло,— сказал мальчик.— Покуда я жив, я не дам тебе ловить рыбу не евши.

— Тогда береги себя и живи как можно дольше,— сказал старик.— А что мы будем есть?

— Черные бобы с рисом, жареные бананы и тушеную говядину.

Мальчик принес еду в металлических судках из Террасы. Вилки, ножи и ложки он положил в кармап; каждый прибор был, завернут отдельно в бумажную салфетку.

— Кто тебе все это дал?

— Мартин, хозяин ресторана.

— Надо его поблагодарить.

— Я его поблагодарил, — сказал мальчик, — уж ты не беспокойся.

— Дам ему самую мясистую часть большой рыбы, — сказал старик. — Ведь он помогает нам не первый раз?

— Нет, не первый.

— Тогда одной мясистой части будет мало. Он нам сделал много добра.

— А вот сегодня дал еще и пива.

— Я-то больше всего люблю консервированное пиво.

— Знаю. Но сегодня он дал пиво в бутылках. Бутылки я сдам обратно.

— Ну, спасибо тебе, — сказал старик. — Давай есть?

— Я тебе давно предлагаю поесть, — ласково упрекнул его мальчик. — Все жду, когда ты сядешь за стол, и не открываю судков, чтобы еда не остыла.

— Давай. Мне ведь надо было помыться.

«Где ты мог помыться? — подумал мальчик. До колонки было два квартала. — Надо припасти ему воды, мыла и хорошее полотенце. Как я раньше об этом не подумал? Ему нужна новая рубашка, зимняя куртка, какая-нибудь обувь и еще одно одеяло».

— Вкусное мясо, — похвалил старик.

— Расскажи мне про бейсбол, — попросил его мальчик.

— В Американской лиге выигрывают «Янки», как я и говорил, — с довольным видом начал старик.

— Да, но сегодня их побили.

— Это ничего. Зато великий Ди Маджио опять в форме.

— Он не один в команде.

— Верно. Но все дело в нем. Во второй лиге — «Бруклинцев» и «Филадельфийцев» — шансы есть только у Бруклинцев. Впрочем, ты помнишь, как бил Дик Сайзлер? Какие у него были удары, когда он играл там, в старом парке!

— Высший класс! Он бьет дальше всех.

— Помнишь, он приходил на Террасу? Мне хотелось пригласить его с собой порыбачить, но я постеснялся. Я просил тебя его пригласить, но и ты тоже постеснялся.

— Помню. Глупо, что я струсил. А вдруг бы он согласился? Было бы о чем вспоминать до самой смерти!

— Вот бы взять с собой в море великого Ди Маджио, — сказал старик. — Говорят, отец у него был рыбаком. Кто его знает, может, он и сам когда-то был беден, как мы, и не погнушался бы.

— Отец великого Сайзлера пикогда не был бедняком. Он играл в настоящих командах, когда ему было столько лет, сколько мне.

— Когда мне было столько лет, сколько тебе, я плавал юнгой на паруснике к берегам Африки. По вечерам я видел, как на отмель выходят львы.

— Ты мне рассказывал.

— О чем мы будем разговаривать: об Африке или о бейсболе?

— Лучше о бейсболе. Расскажи мне про великого Джона Мак-Гроу.

— Он тоже в прежние времена заходил к нам на Террасу. Но когда напивался, с ним не было сладу. А в голове у него был не только бейсбол, но и лошади. Вечно таскал в карманах программы бегов и называл клички лошадей по телефону.

— Он был великий тренер, — сказал мальчик. — Отец говорит, что он был самый великий тренер на свете.

— Потому что он видел его чаще других. Если бы и Дюроше приезжал к нам каждый год, твой отец считал бы его самым великим тренером на свете.

— А кто, по-твоему, самый великий тренер? Люк или Майк Гонсалес?

— По-моему, они стоят друг друга.

— А самый лучший рыбак на свете — это ты.

— Нет. Я знал рыбаков и получше.

— *Qué va!*¹ — сказал мальчик. — На свете немало хороших рыбаков, есть и просто замечательные. Но таких, как ты, нету нигде.

— Спасибо. Я рад, что ты так думаешь. Надеюсь, мне не попадется чересчур большая рыба, а то ты во мне еще разочаруешься.

¹ Что ты! (исп.)

— Нет на свете такой рыбы, если у тебя и вправду осталась прежняя сила.

— Может, ее у меня и меньше, чем я думаю. Но сноровка у меня есть и выдержки хватит.

— Ты тецерь ложись спать, чтобы к утру набраться сил. А я отнесу посуду.

— Ладно. Спокойной ночи. Утром я тебя разбуду.

— Ты для меня все равно что будильник,— сказал мальчик.

— А мой будильник — старость. Отчего старики так рано просыпаются? Неужели для того, чтобы продлить себе хотя бы этот день?

— Не знаю. Знаю только, что молодые спят долго и крепко.

— Это я помню,— сказал старик.— Я разбуду тебя вовремя.

— Я почему-то не люблю, когда меня будит тот, другой. Как будто я хуже него.

— Понимаю.

— Спокойной ночи, старик.

Мальчик ушел. Они ели не зажигая света, и теперь старик, сняв штаны, лег спать в темноте. Он скатал их, чтобы положить себе под голову вместо подушки, а в сверток сунул еще и газету. Завернувшись в одеяло, он улегся на старые газеты, которыми были прикрыты голые пружины кровати.

Уснул он быстро, и ему снилась Африка его юности, длинные золотистые ее берега и белые отмели — такие белые, что глазам больно,— высокие утесы и громадные бурые горы. Каждую ночь он теперь вновь приставал к этим берегам, слышал во сне, как ревет прибой, и видел, как песет на сушу лодки туземцев. Во сне он снова вдыхал запах смолы и пакли, который шел от палубы, вдыхал запах Африки, принесенный с берега утренним ветром.

Обычно, когда его настигал этот запах, он просыпался и, одевшись, отправлялся будить мальчика. Но сегодня запах берега настиг его очень рано, он понял, что слышит его во сне, и продолжал спать, чтобы увидеть белые верхушки утесов, встающие из моря, гавани и бухты Канарских островов.

Ему теперь уже больше не снились ни бури, ни женщины, ни великие события, ни огромные рыбы, ни драки, ни состязания в силе, ни жена. Ему снились только далекие страны и львы, выходящие на берег. Слово котя-

та, они резвились в сумеречной мгле, и он любил их так же, как любил мальчика. Но мальчик ему никогда не спился. Старик вдруг проснулся, взглянул через отворенную дверь на луну, развернул свои штаны и надел их. Выйдя из хижины, он помочился и пошел вверх по дороге будить мальчика. Его познабливало от утренней свежести. Но он знал, что озноб пройдет, а скоро он сядет на весла и совсем согреется.

Дверь дома, где жил мальчик, была незаперта, и старик вошел, неслышно ступая босыми ногами. Мальчик спал на койке в первой комнате, и старик мог разглядеть его при ущербном свете луны. Он легонько ухватил его за ногу и держал до тех пор, пока мальчик не проснулся и, перевернувшись на спину, не поглядел на него. Старик кивнул ему; мальчик взял штаны со стула подле кровати и сидя натянул их.

Старик вышел из дома, и мальчик последовал за ним. Он все еще никак не мог проснуться, и старик, обняв его за плечи, сказал:

— Прости меня.

— *Qué va!* — ответил мальчик. — Такова уж наша мужская доля. Что поделаешь.

Они пошли вниз по дороге к хижине старика, и по всей дороге в темноте шли босые люди, таща мачты со своих лодок.

Придя в хижину, мальчик взял ящик с мотками лесы, гарпун и багор, а старик взвалил на плечо мачту с обернутым вокруг нее парусом.

— Хочешь кофе? — спросил мальчик.

— Сначала положим снасти в лодку, а потом выпьем кофе.

Они пили кофе из консервных банок в закусочной, которая обслуживала рыбаков и открывалась очень рано.

— Ты хорошо спал, старик? — спросил мальчик; он уже почти совсем проснулся, хотя ему все еще трудно было расстаться со сном.

— Очень хорошо, Маполин. Сегодня я верю в удачу.

— И я, — сказал мальчик. — Теперь я схожу за напими сардинами и за твоими живцами. Мой таскает свои снасти сам. Он не любит, когда его вещи носят другие.

— А у нас с тобой не так. Я давал тебе таскать снасти чуть не с пяти лет.

— Знаю, — сказал мальчик. — Подожди, я сейчас вернусь. Выпей еще кофе. Нам здесь дают в долг.

Он зашлепал босыми ногами по коралловому рифу к холодильнику, где хранилась наживка.

Старик медленно потягивал кофе. Он знал, что надо напиться кофе как следует, потому что больше он сегодня есть не будет. Ему давно уже прискучил процесс еды, и он никогда не брал с собой в море завтрака. На носу лодки хранилась бутылка с водой — вот и все, что ему понадобится до вечера.

Мальчик вернулся, неся сардины и завернутых в газету рыбок. Рыбаки спустились по тропинке к воде, чувствуя, как осыпается под ногами мелкий гравий. Приподняв лодку, они сдвинули ее в воду.

— Желаю тебе удачи, старик.

— И тебе тоже.

Старик надел веревочные петли весел на колышки уключин и, пригнувшись, стал в темноте выводить лодку из гавани. С других отмелей в море выходили другие лодки, и старик хоть и не видел их теперь, когда луна зашла за холмы, но слышал, как опускаются и загребают воду весла.

Время от времени то в одной, то в другой лодке слышался говор. Но на большей части лодок царило молчание, и оттуда доносился лишь плеск весел. Выйдя из бухты, лодки рассеялись в разные стороны, и каждый рыбак направился туда, где он надеялся найти рыбу. Старик заранее решил, что уйдет далеко от берега; он оставил позади себя запахи земли и греб прямо в свежее утреннее дыхание океана. Проплывая над той его частью, которую рыбаки прозвали «великим колодцем», он видел, как светятся в глубине водоросли. Дно в этом месте круто опускается на целых семьсот морских саженей, и здесь собираются всевозможные рыбы, потому что течение, натолкнувшись на крутые откосы океанского дна, образует водоворот. Тут скапливаются огромные стаи креветок и мелкой рыбешки, а на самых больших глубинах порою толпится множество каракатиц; ночью они поднимаются на поверхность и служат пищей для всех бродячих рыб.

В темноте старик чувствовал приближение утра; загребая веслами, он слышал дрожащий звук — это летучая рыба выходила из воды и уносилась прочь, со свистом рассекая воздух жесткими плавниками. Он питал нежную привязанность к летучим рыбам — они были его лучшими друзьями здесь, в океане. Птиц он жалел, особенно маленьких и хрупких морских ласточек, которые вечно лета-

ют в поисках пищи и почти никогда ее не находят, и он думал: «Птичья жизнь много тяжелее нашей, если не считать стервятников и больших, сильных птиц. Зачем птиц создали такими хрупкими и беспомощными, как вот эти морские ласточки, если океан порой бывает так жесток? Он добр и прекрасен, но иногда он вдруг становится таким жестоким, а птицы, которые летают над ним, ныряя за пищей и переключаясь слабыми, печальными голосами, — они слишком хрупки для него».

Мысленно он всегда звал море *la mar*, как зовут его по-испански люди, которые его любят. Порою те, кто его любит, говорят о нем дурно, но всегда как о женщине, в женском роде. Рыбаки помоложе, из тех, кто пользуется буйами вместо поплавков для своих снастей и ходит на моторных лодках, купленных в те дни, когда акулья печенка была в большой цене, называют море *el mar*, то есть в мужском роде. Они говорят о нем как о пространстве, как о сопернике, а порою даже как о враге. Старик же постоянно думал о море как о жепщине, которая дарит великие милости или отказывает в них, а если и позволяет себе необдуманные или недобрые поступки — что поделаешь, такова уж ее природа. «Луна волнует море, как женщину», — думал старик.

Он мерно греб, без натуги, потому что не спешил и поверхность океана была гладкой, за исключением тех мест, где течение образовало водоворот. Старик давал течению выполнять за себя треть работы, и когда стало светать, он увидел, что находится куда дальше, чем надеялся быть в этот час.

«Я рыбачил в глубоких местах целую неделю и ничего не поймал, — подумал старик. — Сегодня я попытаю счастья там, где ходят стаи бонито и альбакоре. Вдруг там плавают и большая рыба?»

Еще не рассвело, а он уже закинул свои крючки с приманкой и медленно поплыл по течению. Один из крючков находился на глубине сорока морских саженей, другой ушел вниз на семьдесят пять, а третий и четвертый погрузились в голубую воду на сто и сто двадцать пять саженей. Наживка висела головою вниз, причем стержень крючка проходил внутри рыбы и был там крепко зашит, сам же крючок — его изгиб и острие — был унизан свежими сардинами. Сардины были панизаны на крючок через оба глаза, образуя гирлянду на стальном полукруглом крючке. Приблизившись к крючку, большая рыба

почувствовала бы, как сладко и аппетитно пахнет каждый его кусочек.

Мальчик дал старику с собой двух свежих тупцов, которых тот наживил на самые длинные лесы, а к двум остальным прицепил большую голубую макрель и желтую умбрицу. Он ими уже пользовался в прошлый раз, однако они все еще были в хорошем состоянии, а отличные сардины придавали им аромат и заманчивость. Каждая леса толщиной с большой карандаш была закинута на гибкий прут так, чтобы любое прикосновение рыбы к наживке заставило прут пригнуться к воде, и была подвязана к двум запасным моткам лесы, по сорок саженей в каждом, которые, в свою очередь, могли быть соединены с другими запасными мотками, так что при надобности рыбу можно было отпустить больше чем на триста саженей.

Теперь старик наблюдал, не пригибаются ли к борту зеленые прутья, и тихонечко греб, следя за тем, чтобы леса уходила в воду прямо и на должную глубину. Стало уже совсем светло, вот-вот должно было взойти солнце.

Солнце едва приметно поднялось из моря, и старику стали видны другие лодки; они низко сидели в воде по всей ширине течения, но гораздо ближе к берегу. Потом солнечный свет стал ярче и вода отразила его сияние, а когда солнце совсем поднялось над горизонтом, гладь моря стала отбрасывать его лучи прямо в глаза, причиняя резкую боль, и старик греб, стараясь не глядеть на воду. Он смотрел в темную глубину, куда отвесно уходили его лески. У него они всегда уходили в воду прямее, чем у других рыбаков, и в темноте рыбу на разных глубинах ожидала приманка на том самом месте, которое он для нее определил. Другие рыбаки позволяли своим снастям плыть по течению, и порою крючки оказывались на глубине в шестьдесят саженей, когда рыбаки считали, что опустили их на сто.

«Я же,— подумал старик,— всегда закидываю свои снасти точно. Мне просто не везет. Однако кто знает? Может, сегодня счастье мне улыбнется. День на день не приходится. Конечно, хорошо, когда человеку везет. Но я предпочитаю быть точным в моем деле. А когда счастье придет, я буду к нему готов».

Солнце поднималось уже два часа, и глядеть на восток было не так больно. Теперь видны были только три лодки; отсюда казалось, что они совсем низко сидят в воде и почти не отошли от берега.

«Всю жизнь у меня резало глаза от утреннего света,— думал старик.— Но видят они еще хорошо. Вечером я могу смотреть прямо на солнце, и черные пятна не мелькают у меня перед глазами. А вечером солнце светит куда сильнее. Но по утрам оно причиняет мне боль».

В это самое время он заметил птицу-фрегата, которая кружила впереди него в небе, распластав длинные черные крылья. Птица круто сорвалась к воде, закинув назад крылья, а потом снова пошла кругами.

— Почуяла добычу,— сказал старик вслух.— Не просто кружит.

Старик медленно и мерно греб в ту сторону, где кружила птица. Не торопясь он следил за тем, чтобы его лесы отвесно уходили в воду. Однако лодка все же слегка обгоняла течение, и хотя старик удил все так же правильно, движения его были чуть-чуть быстрее, чем прежде, до появления птицы.

Фрегат поднялся выше и снова стал делать круги, неподвижно раскинув крылья. Внезапно он нырнул, и старик увидел, как из воды взметнулась летучая рыба и отчаянно понеслась над водной гладью.

— Макрель,— громко произнес старик.— Крупная золотая макрель.

Он вынул из воды весла и достал из-под носового настила тонкую леску. На конце ее был прикручен проводочный поводок и небольшой крючок, на который он насадил одну из сардинок. Старик опустил леску в воду и привязал ее к кольцу, ввинченному в корму. Потом он насадил наживку на другую леску и оставил ее смотанной в тени под носом. Взяв в руки весла, он снова стал наблюдать за длиннокрылой черной птицей, которая охотилась теперь низко над водой.

Птица опять нырнула в воду, закинув за спину крылья, а потом замахала ими суматошно и беспомощно, погнавшись за летучей рыбой. Старик видел, как вода слегка вздымалась — это золотая макрель преследовала убегавшую от нее рыбу. Макрель плыла ей наперерез с большой скоростью, чтобы оказаться как раз под рыбой в тот миг, когда она опустится в воду.

«Там, видно, большая стая макрели,— подумал старик.— Они плывут поодаль друг от друга, и у летучей рыбы мало шансов спастись. У птицы же нет никакой надежды ее поймать. Летучая рыба слишком крупна для фрегата и движется слишком быстро».

Старик следил за тем, как летучая рыба снова и снова вырывалась из воды и как неловко пыталась поймать ее птица. «Макрель ушла от меня,— подумал старик.— Она уплывает слишком быстро и слишком далеко. Но, может быть, мне попадется макрель, отбившаяся от стаи, а может, поблизости от нее плывет и моя большая рыба? Ведь должна же она где-нибудь плыть».

Облака над землей возвышались теперь как горная гряда, а берег казался длинной зеленой полоской, позади которой вырисовывались серо-голубые холмы. Вода стала темно-синей, почти фиолетовой. Когда старик глядел в воду, он видел красноватые переливы планктона в темной глубине и причудливый отсвет солнечных лучей. Он следил за тем, прямо ли уходят в воду его лески, и радовался, что кругом столько планктона, потому что это сулило рыбу. Причудливое преломление лучей в воде теперь, когда солнце поднялось выше, означало хорошую погоду, так же как и форма облаков, висевших над землей. Однако птица была уже далеко, а на поверхности воды не виднелось ничего, кроме пучков желтых, выгоревших на солнце саргассовых водорослей и лилового, переливчатого студенистого пузыря — португальской физалии, плывшей неподалеку от лодки. Физалия перевернулась на бок, потом припала прежнее положение. Она плыла весело, сверкая на солнце, как мыльный пузырь, и волочила за собой по воде на целый ярд свои длинные смертоносные лиловые щупальца.

— Ах ты сука! — сказал старик.

Легко загребая веслами, он заглянул в глубину и увидел там крошечных рыбешек, окрашенных в тот же цвет, что и влачащиеся в воде щупальца; они плавали между ними и в тени уносимого водой пузыря. Яд его не мог причинить им вреда. Другое дело людям: когда такие вот щупальца, склизкие и лиловые, цеплялись за леску и приставали к ней, пока старик вытаскивал рыбу, руки до локтей покрывались язвами, словно от ожога ядовитым плющом. Отравление наступало быстро и пронзало острой болью, как удар бича.

Переливающиеся радугой пузыри необычайно красивы. Но это самые коварные жители моря, и старик любил смотреть, как их пожирают громадные морские черепахи. Завидев физалий, черепахи приближались к ним спеша, закрыв глаза, что делало их совершенно неуязвимыми, а затем поедали физалий целиком, вместе со щупаль-

цами. Старику нравилось смотреть, как черепахи поедают физалий; он любил и сам ступать по ним на берегу после шторма, прислушиваясь, как лопаются пузыри, когда их давит мозолистая подошва.

Он любил зеленых черепах за их изящество и проворство, а также за то, что они так дорого ценились, и питал снисходительное презрение к одетым в желтую броню неуклюжим и глупым ложным кареттам, прихотливым в любовных делах и поедающим с закрытыми глазами португальских физалий.

Он не испытывал к черепахам суеверного страха, хотя и плавал с охотниками за черепахами много лет кряду. Старик жалел их, даже огромных кожистых черепах, называемых «луты», длиною в целую лодку и весом в тонну. Большинство людей бессердечно относятся к черепахам, ведь черепашие сердце бьется еще долго после того, как животное убьют и разрежут на куски. «Но ведь и у меня,— думал старик,— такое же сердце, а мои ноги и руки так похожи на их лапы». Он ел белые черепашие яйца, чтобы придать себе силы. Он ел их весь май, чтобы быть сильным в сентябре и октябре, когда пойдет по-настоящему большая рыба.

Каждый день старик выпивал также по чашке жира из акульей печени, который хранился в большой бочке в том сарае, где многие рыбаки берегли свои снасти. Жиром мог пользоваться любой рыбак, кто бы ни захотел. Большинству рыбаков вкус этого жира казался отвратительным, но пить его отнюдь не противнее, чем затемно подниматься с постели, а он очень помогает от простуды и полезен для глаз.

Старик поглядел на небо и увидел, что фрегат снова закружил над морем.

— Нашел рыбу,— сказал он вслух.

Ни одна летучая рыба не тревожила водную гладь, не было заметно кругом и мелкой рыбешки. Но старик вдруг увидел, как в воздух поднялся небольшой тунец, перевернувшись на лету и головой вниз снова ушел в море.

Тунец блеснул серебром на солнце, а за ним поднялись другие тунцы и запрыгали во все стороны, вспенивая воду и длинными бросками кидаясь на мелкую рыбешку. Они кружили подле нее и гнали ее перед собой.

«Если они не поплывут слишком быстро, я нагоню всю стаю»,— подумал старик, наблюдая за тем, как тунцы взбивают воду добела, а фрегат ныряет, хватая ры-

бешку, которую страх перед тунцами выгнал на поверхность.

— Птица — верный помощник рыбаку, — сказал старик.

В этот миг тонкая леска, опущенная с кормы, натянулась под ногой, которой он придерживал один ее виток; старик бросил весла и, крепко ухватив конец бечевы, стал выбирать ее, чувствуя вес небольшого тунца, который судорожно дергал крючок. Леска дергалась у него в руках все сильнее, и он увидел голубую спинку и отливающие золотом бока рыбы еще до того, как подтянул ее к самой лодке и перекинул через борт.

Тунец лежал у кормы на солнце, плотный, словно литая пуля, и, вытаращив большие бессмысленные глаза, прощался с жизнью под судорожные удары аккуратного, подвижного хвоста. Старик из жалости убил его ударом по голове и, еще трепещущего, отшвырнул ногой в тень под кормовой настил.

— Альбакоре, — сказал он вслух. — Из него выйдет прекрасная наживка. Веса в нем фунтов десять, но меньше.

Старик уже не мог припомнить, когда он впервые стал разговаривать сам с собою вслух. Прежде, оставшись один, он пел; он пел иногда и ночью, стоя на вахте за штурвалом, когда ходил на больших парусниках или охотился за черепахами. Наверно, он стал разговаривать вслух, когда от него ушел мальчик и он остался совсем один. Теперь он уже не помнил. Но ведь и рыбака с мальчиком, они разговаривали только тогда, когда это было необходимо. Разговаривали ночью или во время вынужденного безделья в непогоду. В море не приято разговаривать без особой нужды. Старик сам считал, что это дурно, и уважал обычай. А вот теперь он по многу раз повторял свои мысли вслух — ведь они никому не могли быть в тягость.

— Если бы кто-нибудь послушал, как я разговариваю сам с собой, он решил бы, что я спятил, — сказал старик. — Но раз я не спятил, кому какое дело? Хорошо богатым: у них есть радио, которое может разговаривать с ними в лодке и рассказывать им новости про бейсбол.

— Теперь не время думать про бейсбол, — сказал себе старик. — Теперь время думать только об одном. О том, для чего я родился. Где-нибудь рядом с этим косяком тунцов, может быть, плывет моя большая рыба. Я ведь

поймал только одного альбакоре, да и то отбившегося от стаи. А они охотятся далеко от берега и плывут очень быстро. Все, что встречается сегодня в море, движется очень быстро и на северо-восток. Может быть, так всегда бывает в это время дня? А может, это к перемене погоды и я просто не знаю такой приметы?

Старик уже больше не видел зеленой береговой полосы; вдали вырисовывались лишь верхушки голубых холмов, которые отсюда казались белыми, словно были одеты снегом. Облака над ними тоже были похожи на высокие снежные горы. Море стало очень темным, и солнечные лучи преломлялись в воде. Бесчисленные искры планктона теперь были погашены солнцем, стоящим в зените, и в темно-синей воде старик видел лишь большие пятна от преломлявшихся в ней солнечных лучей да лесы, прямо уходящие в глубину, которая достигала здесь целой мили.

Тунцы — рыбаки звали всех рыб этой породы тунцами и различали их настоящие имена лишь тогда, когда шли их продавать на рынок или сбывали как наживку, — снова ушли в глубину. Солнце припекало, и старик чувствовал, как оно жжет ему затылок. Пот струйками стекал по спине, когда он греб.

«Я мог бы просто плыть по течению, — подумал старик, — и поспать, привязав леску к большому пальцу ноги, чтобы вовремя проснуться. Но сегодня восемьдесят пятый день, и надо быть начеку».

И как раз в этот миг он заметил, как один из зеленых прутьев дрогнул и пригнулся к воде.

— Ну вот, — сказал он. — Вот! — И вытащил из воды весла, стараясь не стукнуть ими по лодке.

Старик потянулся к леске и тихонько захватил ее большим и указательным пальцами правой руки. Он не чувствовал ни напряжения, ни тяги и держал леску легко, не сжимая. Но вот она дрогнула снова. На этот раз рывок был осторожный и не сильный, и старик в точности знал, что это означает. На глубине в сто морских саженей марлин пожирал сардины, которыми были унизаны острие и полукруглые крючка, там, где этот кованый вручпую крючок вылезал из головы небольшого тунца.

Старик, легонько придерживая бечевку, левой рукой осторожно отвязал ее от прута. Теперь она могла незаметно для рыбы скользить у него между пальцами.

«Так далеко от берега, да еще в это время года, рыба, наверно, огромная. Ешь, рыба. Ешь. Ну, ешь же, пожа-

луйста. Сардины такие свеженькие, а тебе так холодно в воде, на глубине в шестьсот футов, холодно и темно. Поворотись еще разок в темноте, ступай назад и поешь!»

Он почувствовал легкий, осторожный рывок, а затем и более сильный — видно, одну из сардин оказалось труднее сорвать с крючка. Потом все стихло.

— Ну же, — сказал старик вслух, — поворотись еще разок. Понюхай. Разве они не прелесть? Покушай хорошенько. А за ними, глядишь, настанет черед попробовать тунца! Он ведь твердый, прохладный, прямо объедение. Не стесняйся, рыба. Ешь, прошу тебя.

Он ждал, держа бечеву между большим и указательным пальцами, следя одновременно за ней и за другими лесками, потому что рыба могла подняться выше или уйти поглубже. И вдруг он снова почувствовал легкое, чуть приметное подергивание лески.

— Клюнет, — сказал старик вслух. — Клюнет, дай ей бог здоровья!

Но она не клюнула. Опа ушла, и леска была неподвижна.

— Она не могла уйти, — сказал старик. — Видит бог, она не могла уйти. Опа просто поворачивается. Может быть, она уже попадалась на крючок и помнит об этом.

Тут он снова почувствовал легкое подергивание лески, и у него отлегло от сердца.

— Я же говорил, что она только поворачивается, — сказал старик. — Теперь-то уж она клюнет!

Он был счастлив, ощущая, как рыба потихоньку дергает леску, и вдруг почувствовал какую-то невероятную тяжесть. Он почувствовал вес огромной рыбы и, отпустив бечеву, дал ей скользнуть вниз, вниз, вниз, разматывая за собой один из запасных мотков. Леска уходила вниз, легко скользя между пальцами, но, хотя он едва ее придерживал, он все же чувствовал огромную тяжесть, которая влекла ее за собой.

— Что за рыба! — сказал он вслух. — Захватила крючок губой и хочет теперь удрать вместе с ним подальше.

«Она все равно повернется и проглотит крючок», — подумал старик. Однако он не произнес своей мысли вслух, чтобы не сглазить. Он знал, как велика эта рыба, и мысленно представлял себе, как она уходит в темноте все дальше, с тунцом поперек пасти. На какой-то миг движение прекратилось, но он по-прежнему ощущал вес рыбы. Потом тяга усилилась, и он снова отпустил бечеву. На

секунду он придержал ее пальцами; напряжение увеличилось, и бечеву потянудо вниз.

— Ключнула,— сказал старик.— Пусть теперь поест как следует.

Он позволил лесе скользить между пальцами, а левой рукой привязал свободный конец двух запасных мотков к петле двух запасных мотков второй удочки. Теперь все было готово. У него в запасе было три мотка леси, по сорок саженой в каждом, не считая той, на которой он держал рыбу.

— Поешь еще немножко,— сказал он.— Ешь, не стесняйся.

«Ешь так, чтобы острое крючка попало тебе в сердце и убило тебя насмерть,— подумал он.— Всплыви сама и дай мне всадить в тебя гарпун. Ну вот и ладно. Ты готова? Насытилась?»

— Пора! — сказал он вслух и, сильно дернув обеими руками лесу, выбрал около ярда, а потом стал дергать ее снова и снова, подтягивая бечеву поочередно то одной, то другой рукой и напрягая при каждом рывке всю силу рук и упор тела.

Но ничего не получалось. Рыба медленно уходила прочь, и старик не мог приблизить ее к себе ни на дюйм. Леска у него была крепкая, рассчитанная на крупную рыбу, и он перекинул ее за спину и натянул так туго, что с нее брызнули водяные капли. Затем леса негромко зашипела в воде, а он все держал ее, упершись в сиденье и откинув туловище назад. Лодка начала чуть заметно отходить на северо-запад.

Рыба плыла и плыла, и они медленно двигались по зеркальной воде. Другие наживки все еще были закинута в море, но старик ничего не мог с этим поделать.

— Эх, если бы со мной был мальчик! — сказал он.— Меня тащит на буксире рыба, а я сам изображаю буксирный битенг. Можно бы привязать бечеву к лодке. Но тогда рыба, чего доброго, порвет ее. Я должен крепко ее держать и отпускать по мере надобности. Слава богу, что она плывет, а не опускается на дно... А что я стану делать, если она решит пойти в глубину? Что я стану делать, если она пойдет камнем на дно и умрет? Не знаю. Там будет видно. Мало ли что я могу сделать!

Он упирался в бечеву спиной и следил за тем, как ко-со она уходит в воду и как медленно движется лодка на северо-запад.

«Скоро она умрет,— думал старик.— Не может она плыть вечно».

Однако прошло четыре часа, рыба все так же неутомимо уходила в море, увлекая за собой лодку, а старик все так же сидел, упершись в банку, с натянутой за спиной лесой.

— Когда я поймал ее на крючок, был полдень,— сказал старик.— А я до сих пор ее не видел.

Перед тем как поймать рыбу, он плотно натянул соломennую шляпу на лоб, и теперь она больно резала ему кожу. Старику хотелось пить, и, осторожно став на колени, так, чтобы не дернуть бечеву, он подполз как можно ближе к носу и одной рукой достал бутылку. Откупорив ее, он отпил несколько глотков. Потом отдохнул, привалившись к носу. Он отдыхал, сидя на мачте со скаташным парусом, стараясь не думать, а только беречь силы.

Потом он поглядел назад и обнаружил, что земли уже не видно. «Невелика беда,— подумал он.— Я всегда смогу вернуться, правя на огни Гаваны. До захода солнца осталось два часа, может быть, она еще выплывет за это время. Если нет, то она, может быть, выплывет при свете луны. А то, может быть, на рассвете. Руки у меня не сводит, и я полон сил. Проглотила ведь крючок она, а не я. Но что же это за рыба, если она так тянет! Видно, она крепко прикусила проволоку. Хотелось бы мне на нее взглянуть. Хотелось бы мне на нее поглядеть хоть одним глазком, тогда бы я знал, с кем имею дело».

Насколько старик мог судить по звездам, рыба плыла всю ночь, не меняя направления. После захода солнца похолодало, пот высох у него на спине, на плечах и на старых ногах, и ему стало холодно. Днем он вытащил мешок, покрывавший ящик с наживкой, и расстелил его на солнце сушить. Когда солнце зашло, он обвязал мешок вокруг шеи и спустил его себе на спину, осторожно просунув под бечеву, которая была уже выше, почти возле лопаток. Бечева резала теперь куда меньше, и, прислонившись к носу, он согнулся так, что ему было почти удобно. По правде говоря, в этом положении ему было только чуточку легче, но он уверял себя, что теперь ему почти совсем удобно.

«Я ничего не могу с ней поделать, но и она ничего не может поделать со мной,— сказал себе старик.— Во всяком случае, до тех пор, пока не придумает какой-нибудь новый фокус».

Разок он встал, помочился через борт лодки, поглядел на звезды и определил, куда идет лодка. Бечева казалась тоненьким лучиком, уходящим от его плеча прямо в воду. Теперь они двигались медленнее, и огни Гаваны потускнели — по-видимому, течение уносило лодку на восток. «Раз огни Гаваны исчезают, значит, мы идем все больше на восток,— подумал старик.— Если бы рыба не изменила своего курса, я их видел бы еще много часов. Интересно, чем окончились сегодня матчи? Хорошо бы иметь на лодке радио!» Но он прервал свои мысли: «Не отвлекайся! Думай о том, что ты делаешь. Думай, чтобы не совершить какую-нибудь глупость».

Вслух он сказал:

— Жаль, что со мной нет мальчика. Он бы мне помог и увидел бы все это сам.

«Нельзя, чтобы в старости человек оставался один,— думал он.— Однако это неизбежно. Не забыть бы мне съесть тунца, покуда он не протух, ведь мне нельзя терять силы. Не забыть бы мне съесть его утром, даже если я совсем не буду голоден. Только бы не забыть»,— повторял он себе.

Ночью к лодке подплыли две морские свиньи, и старик слышал, как громко пыхтит самец и чуть слышно, словно вздыхая, пыхтит самка.

— Они хорошие,— сказал старик.— Играют, дурачатся и любят друг друга. Они нам родня, совсем как летучая рыба.

Потом ему стало жалко большую рыбу, которую он поймал на крючок. «Ну не чудо ли эта рыба, один бог знает, сколько лет она прожила на свете. Никогда еще мне не попадалась такая сильная рыба. И подумать только, как странно она себя ведет! Может быть, она потому не прыгает, что уж очень умна. Ведь она погубила бы меня, если бы прыгнула или рванулась изо всех сил вперед. Но, может быть, она не раз уже попадалась на крючок и понимает, что так ей лучше бороться за жизнь. Почему ей знать, что против нее всего один человек, да и тот старик. Но какая большая эта рыба и сколько она принесет денег, если у нее вкусное мясо! Она схватила наживку, как самец, тянет, как самец, и борется со мной без всякого страха. Интересно, знает она, что ей делать, или плывет очертя голову, как и я?»

Он вспомнил, как однажды поймал на крючок самку марлина. Самец всегда подпускает самку к пище первую,

и, понавшись на крючок, самка со страха вступила в яростную, отчаянную борьбу, которая быстро ее изнурила, а самец, ни на ладонь не отставая от нее, плавал и кружил вместе с ней по поверхности моря. Он плыл так близко, что старик боялся, как бы он не перерезал лесу хвостом, острым, как коса, и почти такой же формы. Когда старик зацепил самку багром и стукнул ее дубинкой, придерживая острую, как рапира, часть с шершавыми краями, когда он бил ее дубинкой по черену до тех пор, пока цвет ее не стал похож на цвет амальгамы, которой покрывают обратную сторону зеркала, и когда потом он с помощью мальчика втаскивал ее в лодку, самец оставался рядом. Потом, когда старик стал сматывать лесу и готовить гарпун, самец высоко подпрыгнул в воздух возле лодки, чтобы поглядеть, что стало с его подругой, а затем ушел глубоко в воду, раскинув светло-сиреневые крылья грудных плавников, и широкие сиреневые полосы у него на спине были ясно видны. Старик не мог забыть, какой он был красивый. И он не покинул свою подругу до конца.

«Ни разу в море я не видал ничего печальнее,— подумал старик.— Мальчику тоже стало грустно, и мы попросили у самки прощения и быстро разделили ее тушу».

— Жаль, что со мной нет мальчика,— сказал он вслух и поудобнее примостился к округлым доскам носа, все время ощущая через бечеву, которая давила ему на плечи, могучую силу большой рыбы, неуклонно уходившей к какой-то своей цели.

— Подумать только, что благодаря моему коварству ей пришлось изменить своей судьбе!

«Ее судьба была оставаться в темной глубине океана, вдали от всяческих ловушек, приманок и людского коварства. Моя судьба была отправиться за ней в одиночку и найти ее там, куда не проникал ни один человек. Ни один человек на свете. Теперь мы связаны друг с другом с самого полудня. И некому помочь ни ей, ни мне».

«Может быть, мне не нужно было становиться рыбаком,— думал он.— Но ведь для этого я родился. Только бы не забыть съесть тунца, когда рассветет».

Незадолго до восхода солнца клюнуло на одну из наживок за спиной. Он услышал, как сломался прут и бечева заскользила через планшир лодки. В темноте он выпростал из чехла свой нож и, перенеся всю тяжесть рыбы на левое плечо, откинулся назад и перерезал лесу на планшире. Потом он перерезал лесу, находившуюся рядом с

ним, и в темноте крепко связал друг с другом концы запасных мотков. Он ловко работал одной рукой, придерживая ногой мотки, чтобы покрепче затянуть узел. Теперь у него было целых шесть запасных мотков лесы: по два от каждой перерезанной им бечевы и два от лесы, на которую попала рыба; все мотки были связаны друг с другом.

«Когда рассветет,— думал он,— я отрежу ту наживку, которую опустил на сорок саженой, а лесу тоже присоединю к запасным моткам. Правда, я потеряю двести саженой крепкой каталонской веревки, не говоря уже о крючках и поводках. Ничего, это добро можно достать снова. Но кто достанет мне новую рыбу, если на крючок попадется какая-нибудь другая рыба и сорвется эта? Не знаю, что там сейчас клюнуло. Может быть, марлин, а может быть, и меч-рыба или акула. Я даже не успел ее почувствовать. Надо было побыстрее от нее отвязаться».

Вслух он сказал:

— Эх, был бы со мной мальчик!

«Но мальчика с тобой нет,— думал он.— Ты можешь рассчитывать только на себя, и хоть сейчас и темно, лучше бы ты попытался достать ту, последнюю лесу, перерезать ее и связать вместе два запасных мотка».

Он так и сделал. В темноте ему было трудно работать, и один раз рыба дернула так, что он свалился лицом вниз и рассек щеку под глазом. Кровь потекла по скуле, но свернулась и подсохла, еще не дойдя до подбородка, а он подполз обратно к носу и привалился к нему, чтобы передохнуть. Старик поправил мешок, осторожно передвинул бечеву на новое, еще не натруженное место и, передав весь упор на плечи, попытался определить, сильно ли тянет рыба, а потом опустил руку в воду, чтобы выяснить, с какой скоростью движется лодка.

«Интересно, почему она рванулась,— подумал он.— Проволока, верно, соскользнула с большого холма ее спины. Конечно, ее спине не так больно, как моей. Но не может же она тащить лодку без конца, как бы велика ни была! Теперь я избавился от всего, что могло причинить мне вред, и у меня большой запас бечевы,— чего же еще человеку нужно?»

— Рыба,— позвал он тихонько,— я с тобой не расстанусь, пока не умру.

«Да и она со мной, верпо, не расстанется»,— подумал старик и стал дожидаться утра. В этот предрассветный

час было холодно, и он прижался к доскам, чтобы хоть немножко согреться. «Если она терпит, значит, и я стерплю». И заря осветила натянутую лесу, уходящую в глубину моря. Лодка двигалась вперед неустанно, и когда над горизонтом появился краешек солнца, свет его упал на правое плечо старика.

— Она плывет к северу, — сказал старик. — А течение, наверно, отнесло нас далеко на восток. Хотел бы я, чтобы она повернула по течению. Это означало бы, что она устала.

Но когда солище поднялось выше, старик понял, что рыба и не думала уставать. Одно лишь было отрадно: леса уходила в воду более наклонно, и это показывало, что рыба плывет теперь на меньшей глубине. Это отнюдь не означало, что она непременно вынырнет на поверхность. Однако вынырнуть она все же могла.

— Господи, заставь ее вынырнуть! — сказал старик. — У меня хватит бечевы, чтобы с ней справиться.

«Может быть, если мне удастся немножко сильнее потянуть, ей будет больно, и она выпрыгнет, — подумал старик. — Теперь, когда стало светло, пусть она выпрыгнет. Тогда пузыри, которые у нее идут вдоль хребта, наполнятся воздухом, и она не сможет больше уйти в глубину, чтобы там умереть».

Он попытался натянуть бечеву потуже, но, с тех пор как он поймал рыбу, леса и так была натянута до отказа, и когда он откинулся назад, чтобы натянуть ее еще крепче, она больно врезалась в спину, и он понял, что у него ничего не выйдет. «А дергать нельзя, — подумал он. — Каждый рывок расширяет рану, которую нанес ей крючок, и если рыба вынырнет, крючок может вырваться совсем. Во всяком случае, я чувствую себя лучше теперь, когда светит солнце, и на этот раз мне не надо на него смотреть».

Лесу опутали желтые водоросли, но старик был рад им, потому что они задерживали ход лодки. Это были те самые желтые водоросли, которые так светились ночью.

— Рыба, — сказал он, — я тебя очень люблю и уважаю. Но я убью тебя прежде, чем настанет вечер.

«Будем надеяться, что это мне удастся», — подумал он.

С севера к лодке приблизилась маленькая птичка. Это была славка, и она летела низко над водой. Старик видел, что она очень устала.

Птица села на корму отдохнуть. Потом она покружилась у старика над головой и уселась на бечеву, где ей было удобнее.

— Сколько тебе лет? — спросил ее старик. — Наверное, это твое первое путешествие?

Птица посмотрела на него в ответ. Она слишком устала, чтобы проверить, надежна ли бечева, и лишь покачивалась, обхватив ее своими нежными лапками.

— Не бойся, веревка натянута крепко, — заверил ее старик. — Даже слишком крепко. Тебе не полагалось бы так уставать в безветренную ночь. Ах, не те нынче пошли птицы!

«А вот ястребы, — подумал он, — даже в море выходят вам навстречу». Но он не сказал этого птице, да она все равно его бы не поняла. Ничего, сама скоро все узнает про ястребов.

— Отдохни хорошенько, маленькая птичка, — сказал он. — А потом лети к берегу и рискуй, как рискует каждый человек, птица или рыба.

Разговор с птицей его подбодрил, а то спина у него совсем одеревенела за ночь и теперь ему было по-настоящему больно.

— Побудь со мной, если хочешь, птица, — сказал он. — Жаль, что я не могу поставить парус и привезти тебя на сушу, хотя сейчас и поднимается легкий ветер. Но у меня тут друг, которого я не могу покинуть.

В это мгновение рыба внезапно рванулась и повалила старика на нос; она стащила бы его за борт, если бы он не уперся в него руками и не отпустил бы лесу.

Когда бечева дернулась, птица взлетела, и старик даже не заметил, как она исчезла. Он пощупал лесу правой рукой и увидел, что из руки течет кровь.

— Верно, рыбе тоже стало больно, — сказал он вслух и потянул бечеву, проверяя, не сможет ли он повернуть рыбу в другую сторону. Натянув лесу до отказа, он снова замер в прежнем положении.

— Худо тебе, рыба? — спросил он. — Видит бог, мне и самому не легко.

Он искал глазами птицу, потому что ему хотелось с кем-нибудь поговорить. Но птицы нигде не было.

«Недолго же ты побыла со мной, — подумал старик. — Но там, куда ты полетела, ветер много крепче, и он будет дуть до самой суши. Как же это я позволил рыбе поранить меня одним быстрым рывком? Верно, я совсем по-

глупел. А может быть, просто загляделся на птичку и думал только о ней? Теперь я буду думать только о деле и съем тунца, чтобы набраться сил».

— Жаль, что мальчик не со мной и что у меня нет соли,— сказал он вслух.

Переместив тяжесть рыбы на левое плечо и осторожно став на колени, он вымыл руку, подержав ее с минуту в воде и наблюдая за тем, как тянется по ней кровавый след, как мерно обтекает руку встречная струя.

— Теперь рыба плывет куда медленнее,— сказал он вслух.

Старику хотелось подольше подержать руку в соленой воде, но он боялся, что рыба снова дернет, поэтому он поднялся на ноги, встал покрепче и подержал руку на солнце. На ней была всего одна рана— обожгло веревкой, но как раз на той части руки, которая нужна была ему для работы. Старик понимал, что сегодня ему еще не раз понадобятся его руки, и огорчился, что поранил одну из них в самом начале.

— Теперь,— сказал он, когда рука обсохла,— я должен съесть тунца. Я могу достать его багром и поесть как следует.

Старик снова опустился на колени и, пошарив багром под кормой, отыскал там тунца. Он подтащил его к себе, стараясь не потревожить мотки лесы. Снова переместив всю тяжесть рыбы на левое плечо и упираясь о борт левой рукой, он снял тунца с крючка и положил багор на место. Он прижал тунца коленом и стал вырезать со спины от затылка до хвоста продольные куски темно-красного мяса. Полоски были клинообразные, и резал он их сперва вдоль хребта, а потом дошел до брюха. Нарезав шесть полос, он разложил их на досках носа, вытер нож о штаны, поднял скелет тунца за хвост и выкинул в море.

— Пожалуй, целого куска мне не съесть,— сказал он и перерезал один из кусков пополам.

Старик чувствовал, как сильно, не ослабевая, тянет большая рыба, а левую руку у него совсем свело. Она судорожно сжимала тяжелую веревку, и старик поглядел на нее с отвращением.

— Ну что это за рука, ей-богу! — сказал он.— Ладно, затекай, если уж так хочешь. Превращайся в птичью лапу, тебе это все равно не поможет.

«Поешь,— подумал он, поглядев в темную воду и на косую линию уходящей в нее бечевы,— поешь, и твоя

рука станет сильнее. Чем она виновата? Ведь ты уж сколько часов подряд держишь рыбу. Но ты не расстаешься с ней до конца. А пока что поешь».

Он взял кусок рыбы, положил его в рот и стал медленно жевать. Вкус был не такой уж противный.

«Жуй хорошенько,—думал он,—чтобы не потерять ни капли сока. Неплохо было бы приправить ее лимоном или хотя бы солью».

— Ну, как ты себя чувствуешь, рука? — спросил он затекшую руку, которая одеревенела почти как у покойника. — Ради тебя я съем еще кусочек.

Старик съел вторую половину куска, разрезанного надвое. Он старательно разжевал его, а потом выплюнул кожу.

— Ну как, рука, полегчало? Или ты еще ничего не почувствовала?

Он взял еще один кусок и тоже съел его.

«Это здоровая, полнокровная рыба,—подумал он.— Хорошо, что мне попался тунец, а не макрель. Макрель слишком сладкая. А в этой рыбе почти нет сладости, и она сохранила всю свою питательность. Однако нечего отвлекаться посторонними мыслями,—подумал он.— Жаль, что у меня нет хоть щепотки соли. И я не знаю, проявится остаток рыбы на солнце или протухнет, поэтому давай-ка лучше я ее съем, хоть я и не голоден. Большая рыба ведет себя тихо и спокойно. Я доем тунца и тогда буду готов».

— Потерпи, рука,—сказал он.— Видишь, как я ради тебя стараюсь.

«Следовало бы мне покормить и большую рыбу,—подумал он.— Ведь она моя родня. Но я должен убить ее, а для этого мне нужны силы». Медленно и добросовестно старик съел все клинообразные куски тунца.

Обтирая руку о штаны, он выпрямился.

— Ну вот,—сказал он.— Теперь, рука, ты можешь отпустить лесу; я совладаю с ней одной правой рукой, куда ты не перестанешь валять дурака.

Левой ногой он прижал толстую бечеву, которую раньше держала его левая рука, и откинулся назад, перенеся тяжесть рыбы на спину.

— Дай бог, чтобы у меня прошла судорога,—сказал он.— Кто знает, что еще надумает эта рыба.

«По виду она спокойна,—подумал он,—и действует обдуманно. Но что она задумала? И что собираюсь делать

я? Мой план я должен тут же приспособить к ее плану, ведь она такая громадина. Если она выплывет, я смогу ее убить. А если она так и останется в глубине? Тогда и я останусь с нею».

Он потер сведенную судорогой руку о штаны и попытался разжать пальцы. Но рука не разгибалась. «Может быть, она разожмется от солнца,— подумал он.— Может быть, она разожмется, когда желудок переварит сырого тунца. Если она мне уж очень понадобится, я ее разожму, чего бы мне это ни стоило. Но сейчас я не хочу применять силу. Пускай она разожмется сама и оживет по своей воле. Как-никак ночью ей от меня досталось, когда нужно было перерезать и связать друг с другом все мои лесы».

Старик поглядел вдаль и понял, как он теперь одинок. Но он видел разноцветные солнечные лучи, преломляющиеся в темной глубине, натянутую, уходящую вниз бечеву и странное колыхание морской глади. Облака кучились, предвещая пассат, и впереди он заметил над водой стаю диких уток, резко очерченную в небе; вот стая расплылась, потом опять обрисовалась еще четче, и старик решил, что человек в море никогда не бывает одинок.

Он подумал о том, как некоторым людям бывает страшно оставаться в открытом море в маленькой лодке, и решил, что страх их обоснован в те месяцы, когда непогода налетает внезапно. Но теперь ведь стоит пора ураганов, а пока урагана нет, это время самое лучшее в году.

Если ураган близится на море, всегда можно увидеть его признаки в небе за много дней вперед. На суше их не видят, думал старик, потому что не знают, куда смотреть. Да на суше и форма облаков совсем другая. Однако сейчас урагана ждать нечего.

Он поглядел на небо и увидел белые кучевые облака, похожие на вкусные порции мороженого, а над ними, в высоком сентябрьском небе, прозрачные клочья перистых облаков.

— Скоро поднимется легкий бриз,— сказал старик.— А он куда выгоднее мне, чем тебе, рыба.

Левая рука его все еще была сведена судорогой, но он уже мог потихоньку ею шевелить.

«Непавижу, когда у меня сводит руку,— подумал он.— Собственное тело — и такой подвох! Унизительно, когда тебя на людях мучает понос или рвота от отравления

рыбой. Но судорога (он мысленно называл ее *salambre*) особенно унижает тебя, когда ты один».

«Если бы со мной был мальчик,— подумал он,— он растер бы мне руку от локтя допизу. Но ничего, она оживет и так».

И вдруг, еще прежде, чем он заметил, как изменился угол, под которым леса уходит в воду, его правая рука почувствовала, что тяга ослабела. Он откинулся назад, изо всех сил заколотил левой рукой по бедру и тут увидел, что леса медленно пошла вверх.

— Поднимается,— сказал он.— Ну-ка, рука, оживай! Пожалуйста!

Леса равномерно шла и шла вверх, и наконец поверхность океана перед лодкой вздулась, и рыба вышла из воды. Она все выходила и выходила, и казалось, ей не будет конца, а вода потоками скатывалась с ее боков. Вся она горела на солнце, голова и спина у нее были темно-фиолетовые, а полосы на боках казались при ярком свете очень широкими и нежно-сиреневыми. Вместо носа у нее был меч, длинный, как бейсбольная бита, и острый на копце, как рапира. Она поднялась из воды во весь рост, а потом снова опустилась плавно, как ныряльщик, и едва ушел в глубину ее огромный хвост, похожий на лезвие косы, как леса начала стремительно разматываться.

— Она на два фута длиннее моей лодки,— сказал старик.

Леса уходила в море быстро, но равномерно, и рыба явно не была напугана. Старик обеими руками натягивал лесу до отказа. Он знал, что если ему не удастся замедлить ход рыбы таким же равномерным сопротивлением, она заберет все запасы его бечевы и сорвется.

«Она громадина, эта рыба, а я должен убедить ее в моей силе,— думал он.— Нельзя, чтобы она почувствовала мою слабость и поняла, что может сделать со мной, если пустится наутек. На ее месте я бы все сейчас поставил на карту и шел бы вперед до тех пор, покуда что-нибудь не лопнет. Но рыбы, слава богу, не так умны, как люди, которые их убивают, хотя в них гораздо больше и ловкости и благородства».

Старик встречал на своем веку много больших рыб. Он видел много рыб, весивших более тысячи фунтов, и сам поймал в свое время две таких рыбы, но никогда еще ему не приходилось делать это в одиночку. А теперь один, в

открытом море, он был накрепко привязан к такой большой рыбе, какой он никогда не видел, о какой даже никогда не слышал, и его левая рука по-прежнему была сведена судорогой, как сжатые когти орла.

«Ну, рука у меня разойдется,— подумал он.— Конечно, разойдется, хотя бы для того, чтобы помочь правой руке. Жили-были три сестры: рыба и мои две руки... Непременно разойдется. Просто стыд, что ее свело». Рыба замедлила ход и теперь шла с прежней скоростью.

«Интересно, почему она вдруг выпрыгнула,— размышлял старик.— Можно подумать, что она выпрыгнула только для того, чтобы показать мне, какая она громадная. Ну что ж, теперь я знаю. Жаль, что я не могу показать ей, что я за человек. Положим, она бы тогда увидела мою сведенную руку. Пусть она думает обо мне лучше, чем я на самом деле, и я тогда буду и в самом деле лучше. Хотел бы я быть рыбой и чтобы у меня было все, что есть у нее, а не только воля и сообразительность».

Он покойно уселся, прислонившись к дощатой обшивке, безропотно перенося мучившую его боль, а рыба все так же упорно плыла вперед, и лодка медленно двигалась по темной воде. Восточный ветер поднял небольшую волну. К полудню левая рука у старика совсем ожила.

— Туго тебе теперь придется, рыба,— сказал он и передвинул бечеву на спине.

Ему было хорошо, хотя боль и дожимала его по-прежнему; только он не признавался себе в том, как ему больно.

— В бога я не верую,— сказал он.— Но я прочту десять раз «Отче наш» и столько же раз «Богородицу», чтобы поймать эту рыбу. Я дам обет отправиться на богомолье к Кобренской божьей матери, если я ее и впрямь поймаю. Даю слово.

Старик стал читать молитву. По временам он чувствовал себя таким усталым, что забывал слова, и тогда он старался читать как можно быстрее, чтобы слова выговаривались сами собой. «Богородицу» повторять легче, чем «Отче наш»,— думал он.

— Богородице дево, радуйся, благодатная Марие, господь с тобой, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси души наших. Аминь.— Потом он добавил: — Пресвятая богородица, помолись, чтобы рыба умерла. Хотя она и очень замечательная.

Прочтя молитву и почувствовав себя куда лучше, хотя боль несколько не уменьшилась, а, может быть, даже стала сильнее, он прислонился к обшивке носа и начал машинально упражнять пальцы левой руки.

Солнце жгло, несмотря на то что ветерок потихоньку усиливался.

— Пожалуй, стоит опять наживить маленькую удочку на корме,— сказал старик.— Если рыба не всплывет в эту ночь, мне нужно будет снова поесть, да и воды в бутылке осталось совсем немного. Не думаю, чтобы я мог поймать здесь что-нибудь, кроме макрели. Но если ее съест сразу, она не так уж противна. Хорошо бы ночью ко мне в лодку попалась летучая рыба. Но у меня нет света, которым я мог бы ее заманить. Сырая летучая рыба — отличная еда, и потрошить ее не надо. А мне теперь лучше беречь силы. Ведь не знал же я, господи, что она такая большая!.. Но я ее все равно одолею,— сказал он.— При всей ее величине и при всем ее великолепии.

«Хоть это несправедливо,— прибавил он мысленно,— но я докажу ей, на что способен человек и что он может вынести».

— Я ведь говорил мальчику, что я необыкновенный старик,— сказал он.— Теперь пришла пора это доказать.

Какая разница, что он доказывал это уже тысячу раз? Теперь приходится доказывать это снова. Каждый раз счет начинается сызнова; поэтому, когда он что-нибудь делал, он никогда не вспоминал о прошлом.

«Хотел бы я, чтобы она заснула, тогда и я смогу заснуть и увидеть во сне львов,— подумал он.— Почему львы — это самое лучшее, что у меня осталось?»

— Не надо думать, старик,— сказал он себе.— Отдыхай тихонько, прислонясь к доскам, и ни о чем не думай. Она сейчас трудится. Ты же пока трудись как можно меньше.

Солнце клонилось к закату, а лодка все плыла и плыла, медленно и неуклонно. Восточный ветерок подгонял ее, и старик тихонько покачивался на невысоких волнах, легко перенося боль от веревки, врезавшейся ему в спину.

Как-то раз после полудня леса стала подниматься снова. Однако рыба просто продолжала свой ход на несколько меньшей глубине. Солнце теперь припекало старику спину, левое плечо и руку. Из этого он понял, что рыба свернула на северо-восток.

Теперь, когда он уже однажды взглянул на рыбу, он мог себе представить, как она плывет под водой, широко, словно крылья, раскинув фиолетовые грудные плавники и прорезая тьму могучим хвостом. «Интересно, много ли она видит на такой глубине? — подумал старик. — У нес огромные глаза, а лошадь, у которой глаза куда меньше, видит в темноте. Когда-то и я хорошо видел в темноте. Конечно, не в полной тьме, но зрение у меня было почти как у кошки».

Солнце и беспрестанное упражнение пальцев совершенно расправили сведенную судорогой левую руку, и старик стал постепенно перемещать на нее тяжесть работы, двигая мускулами спины, чтобы хоть немного ослабить боль от бечевы.

— Если ты еще не устала, — сказал он вслух, — ты и в самом деле — необыкновенная рыба.

Сам он теперь чувствовал огромную усталость, знал, что скоро наступит ночь, и поэтому старался думать о чем-нибудь постороннем. Он думал о высших бейсбольных лигах, которые для него были *Gran Ligas*, и о том, что сегодня нью-йоркские «Янки» должны играть с «Тиграми» из Детройта.

«Вот уже второй день, как я ничего не знаю о результатах *juegos*¹, — подумал он. — Но я должен верить в свои силы и быть достойным великого Ди Маджио, который все делает великолепно, что бы он ни делал, даже тогда, когда страдает от пяточной шпоры. Что такое пяточная шпора? *Un espuela de hueso*. У нас, рыбаков, их не бывает. Неужели это так же больно, как удар в пятку шпорой бойцового петуха? Я, кажется, не вытерпел бы ни такого удара, ни потери глаза или обоих глаз и не смог бы продолжать драться, как это делают бойцовые петухи. Человек — это не бог весть что рядом с замечательными зверями и птицами. Но мне бы хотелось быть тем зверем, что плывет сейчас там, в морской глубине».

— Да, если только не нападут акулы, — сказал он вслух. — Если нападут акулы — помилуй господи и ее, и меня!

«Неужели ты думаешь, что великий Ди Маджио держался бы за рыбу так же упорно, как ты? — спросил он себя. — Да, я уверен, что он поступил бы так же, а может и лучше, потому что он моложе и сильнее меня. К тому же

¹ Спортивные игры (исп.).

отец его был рыбаком... А ему очень больно от пяточной шпоры?»

— Не знаю,— сказал он вслух.— У меня никогда не было пяточной шпоры.

Когда солнце зашло, старик, чтобы подбодриться, стал вспоминать о том, как однажды в таверне Касабланки он состязался в силе с могучим негром из Сьепфугоса, самым сильным человеком в порту. Они просидели целые сутки друг против друга, уперев локти в черту, проведенную мелом на столе, не опуская рук и крепко сцепив ладони. Каждый из них пытался пригнуть руку другого к столу. Кругом держали пари, люди входили и выходили из комнаты, тускло освещенной керосиновыми лампами, а он не сводил глаз с руки и локтя негра и с его лица. После того как прошли первые восемь часов, судьи стали меняться через каждые четыре часа, чтобы поспать. Изпод ногтей обоих противников сочилась кровь, а они все глядели друг другу в глаза и на руку и на локоть. Люди, державшие пари, входили и выходили из комнаты; они рассаживались на высокие стулья у стен и ждали, чем это кончится. Деревянные стены были выкрашены в ярко-голубой цвет, и лампы отбрасывали на них тени. Тень негра была огромной и шевелилась на стене, когда ветер раскачивал лампы.

Преимущество переходило от одного к другому всю ночь напролет; негра поили ромом и зажигали ему сигареты. Выпив рому, негр делал отчаянное усилие, и один раз ему удалось пригнуть руку старика — который тогда не был стариком, а звался Сантьяго El Campeón¹ — почти на три дюйма. Но старик снова выпрямил руку. После этого он уже больше не сомневался, что победит негра, который был хорошим парнем и большим силачом. А на рассвете, когда люди стали требовать, чтобы судья объявил ничью, а тот только пожимал плечами, старик внезапно собрал последние силы и стал пригибать руку негра все ниже и ниже, покуда она не легла на стол. Поединок начался в воскресенье утром и окончился утром в понедельник. Многие из державших пари требовали признать ничью, потому что им пора было выходить на работу в порт, где они грузили уголь для Гаванской угольной компании или мешки с сахаром. Если бы не это, все бы хотели довести состязание до конца. Но старик победил, и

¹ Чемпион (исп.).

победил до того, как грузчикам падо было выйти на работу.

Долго еще потом его звали Чемпионом, а весною он дал негру отыгаться. Однако ставки уже были не такими высокими, и он легко победил во второй раз, потому что вера в свою силу у негра из Съенфузгоса была сломлена еще в первом матче. Потом Сантьяго участвовал еще в нескольких состязаниях, но скоро бросил это дело. Он понял, что если очень захочет, то победит любого противника, и решил, что такие поединки вредны для его правой руки, которая нужна ему для рыбной ловли. Несколько раз он пробовал состязаться левой рукой. Но его левая рука всегда подводила его, не желала ему подчиняться, и он ей не доверял.

«Солнце ее теперь пропечет хорошенько,— подумал он.— Она не посмеет больше затекать мне назло, разве что ночью будет очень холодно. Хотел бы я знать, что мне сулит эта ночь».

Над головой у него пролетел самолет, направлявшийся в Майами, и старик видел, как тень самолета спугнула и подняла в воздух целую стаю летучих рыб.

— Раз здесь так много летучей рыбы, где-то поблизости должна быть и макрель,— сказал он и посылнее уперся спиною в лесу, проверяя, нельзя ли подтащить рыбу хоть чуточку ближе. Но скоро понял, что это невозможно, потому что бечева снова задрожала, угрожая лопнуть, и с нее запрыгали водяные капли. Лодка медленно плыла вперед, и он провожал глазами самолет, пока тот не скрылся.

«Наверно, с самолета все выглядит очень странно,— подумал он.— Интересно, какой вид с такой вышины имеет море? Они оттуда могли бы прекрасно разглядеть мою рыбу, если бы не летели так высоко. Хотел бы я медленно-медленно лететь на высоте в двести сажений, чтобы сверху посмотреть на мою рыбу. Когда я плавал за черепахами и, бывало, взбирался на верхушку мачты, я даже оттуда мог разглядеть довольно много. Макрель оттуда выглядит более зеленой, и можно различить на ней фиолетовые полосы и пятна и увидеть, как плывет вся стая. Почему у всех быстроходных рыб, которые плавают в темной глубине, фиолетовые спины, а зачастую и фиолетовые полосы и пятна? Макрель ведь только выглядит зеленой, на самом деле она золотистая. Но когда она по-настоящему голодна и охотится за пищей, на боках у нее проступают фиолетовые полосы, как у марлина. Неужели это от

злости? А может быть, потому, что она движется быстрее, чем обычно?»

Незадолго до темноты, когда они проплывали мимо большого острова саргассовых водорослей, которые вздымались и раскачивались на легкой волне, словно океан обнимался с кем-то под желтым одеялом, на маленькую удочку попалась макрель. Старик увидел ее, когда сна подпрыгнула в воздух, переливаясь чистым золотом в последних лучах солнца, сгибаясь от ужаса пополам и бешено хлопая по воздуху хвостом.

Она подпрыгивала снова и снова от страха, как заправский акробат, а старик перебрался на корму, присел и, удерживая большую бечеву правой рукой и локтем, вытащил макрель левой, наступая босой ногой на выбранную лесу. Когда макрель была у самой лодки и отчаянно билась и бросалась из стороны в сторону, старик перегнулся через корму и втащил в лодку жаркую, как золото, рыбу с фиолетовыми разводами. Пасть макрели судорожно сжималась, прикусывая крючок, а длинное плоское тело, голова и хвост колотились о дно лодки, пока старик не стукнул ее по горячей золотом голове и она, задрожав, не затихла.

Старик снял рыбу с крючка, снова наживил его сардипой и закинул леску за борт. Потом он медленно перебрался на нос. Обмыв левую руку, он вытер ее о штаны, переместил тяжелую бечеву с правого плеча на левое и вымыл правую руку, наблюдая за тем, как солнце опускается в океан и с каким уклоном тянется в воду его большая леса.

— Все идет по-прежнему, — сказал он.

Но, опустив руку в воду, он почувствовал, что движение лодки сильно замедлилось.

— Я свяжу друг с другом оба весла и прикреплю их поперек кормы, чтобы ночью они тормозили лодку, — сказал он. — У этой рыбы хватит сил на всю ночь. Ну, и у меня тоже.

«Пожалуй, лучше будет, если я выпотрошу макрель попозже, — подумал он, — чтобы из нее не вытекла вся кровь. Я сделаю это немного погодя и тогда же свяжу весла, чтобы притормозить лодку. Лучше мне покуда не беспокоить рыбу, особенно во время захода солнца. Закат — тяжелая пора для всякой рыбы».

Он обсушил руку на ветру, а затем, схватив ею лесу, позволил рыбе подтянуть себя вплотную к дощатой об-

шивке, переместив таким образом упор со своего тела на лодку.

«Кое-чему я научился,— подумал он.— Пока что я с ней управляюсь. К тому же нельзя забывать, что она пела с тех пор, как проглотила наживку, а она ведь большая, и ей нужно много пищи. Я-то съел целого тунца. Завтра я поем макрели.— Старик называл макрель dogado.— Пожалуй, я съем кусочек, когда буду ее чистить. Макрель есть труднее, чем тунца. Но ничто на свете не дается легко».

— Как ты себя чувствуешь, рыба? — спросил он громко.— Я себя чувствую прекрасно. Левая рука у меня пропала, и пищи хватит на целую ночь и еще на день. Ладно, тащи лодку, рыба.

Старик совсем не так уж хорошо себя чувствовал, потому что боль, которую причиняла его спине веревка, почти перестала быть болью и превратилась в глухую ломоту, а это его беспокоило. «Со мной случались вещи и похуже,— утешал он себя.— Рука у меня поранена совсем легко, а другую больше не сводит судорога. Ноги у меня в порядке. Да и в смысле пищи мне куда лучше, чем рыбе».

Было темно; в сентябре темнота всегда наступает внезапно, сразу же после захода солнца. Он лежал, прислонившись к шербатым доскам, и изо всех сил старался отдохнуть. На небе показались первые звезды. Он не знал названия звезды Ригель, но, увидев ее, понял, что скоро покажутся и все остальные и тогда эти далекие друзья будут снова с ним.

— Рыба — она тоже мне друг,— сказал он.— Я никогда не видел такой рыбы и не слышал, что такие бывают. Но я должен ее убить. Как хорошо, что нам не приходится убивать звезды!

«Представь себе: человек что ни день пытается убить луну! А луна от него убегает. Ну, а если человеку пришлось бы каждый день охотиться за солнцем? Нет, что ни говори, нам еще повезло»,— подумал он.

Потом ему стало жалко большую рыбу, которой нечего есть, но печаль о ней несколько не мешала решимости ее убить. Сколько людей она насытит! Но достойны ли люди ею питаться? Конечно, нет. Никто на свете не достоин ею питаться: поглядите только, как она себя ведет и с каким великим благородством.

«Я многого не понимаю,— подумал он.— Но как хорошо, что нам не приходится убивать солнце, луну и звез-

ды. Достаточно того, что мы вымогаем пищу у моря и убиваем своих братьев.

Теперь мне следует подумать о тормозе из весел. У него есть и хорошие и дурные стороны. Я могу потерять столько бечевы, что потеряю и рыбу, если она захочет вырваться, а тормоз из весел лишит лодку подвижности. Легкость лодки продлевает наши страдания — и мои, и рыбы, но в ней и мое спасение. Ведь эта рыба, если захочет, может плыть еще быстрее. Как бы там ни было, надо выпотрошить макрель, пока она не протухла, и поест немножко, чтобы набраться сил.

Теперь я отдохну еще часок, а потом, если увижу, что рыба ничего не замышляет, переберусь на корму, сделаю там что нужно и приму решение насчет весел. А тем временем я присмотрюсь, как она будет себя вести. Штука с веслами — удачная выдумка, однако сейчас надо играть наверняка. Рыба еще в полной силе, и я заметил, что крючок застрял у нее в самом углу рта, а рот она держит плотно закрытым. Мучения, которые причиняет ей крючок, не так уж велики, ее куда больше мучит голод и ощущение опасности, которой она не понимает. Отдохни же, старик. Пусть трудится рыба, пока не настанет твой черед».

Он отдыхал, как ему казалось, не меньше двух часов. Луна выходила теперь поздно, и он не мог определить времени. Правда, отдыхал он только так, относительно. Он по-прежнему ощущал спиной тяжесть рыбы, но, опершись левой рукой о планшир носа, старался переместить все большую и большую нагрузку на самую лодку.

«Как все было бы просто, если бы я мог привязать лесу к лодке! — подумал он. — Но стоит ей рвануться хотя бы легонько — и бечева лопнет. Я должен непрерывно ослаблять тягу своим телом и быть готовым в любую минуту отпустить бечеvu обеими руками».

— Но ты ведь еще не спал, старик, — сказал он вслух. — Прошло полдня и одна ночь, а потом еще день, а ты все не спишь и не спишь. Придумай, как бы тебе поспать хоть немножко, пока она спокойна и не балует. Если ты не будешь спать, в голове у тебя помутится.

«Сейчас голова у меня ясная, — подумал он. — Даже слишком. Такая же ясная, как сестры мои, звезды. Но все равно мне надо поспать. И звезды спят, и луна спит, и солнце спит, и даже океан иногда спит в те дни, когда нет течения и стоит полная тишь.

Не забудь поспать,—напомнил он себе.— Заставь себя поспать; придумай какой-нибудь простой и верный способ, как закрепить бечеву. Теперь ступай на корму и выпотроши макрель. А тормоз из весел — вещь опасная, если ты заснешь.

По я могу обойтись и без сна,— сказал он себе.— Да, можешь, но это слишком опасно».

Он стал на четвереньках перебираться на корму, стараясь не потревожить рыбу. «Она, может быть, тоже дремлет,— подумал он.— По я не хочу, чтобы она отдыхала. Она должна тащить лодку, покуда не умрет».

Добравшись до кормы, он повернулся и переместил всю тяжесть рыбы на левую руку, а правой вытащил из чехла нож. Звезды светили ярко, и макрель хорошо была видна. Воткнув нож ей в голову, старик вытащил ее из-под кормы. Он придержал рыбу ногой и быстро вспорол ей живот от хвоста до кончика нижней челюсти. Потом положил нож, правой рукой выпотрошил макрель и вырвал жабры. Желудок был тяжелый и скользкий; разрезав его, он нашел там две летучие рыбы. Они были свежие и твердые, и он положил их рядышком на дно лодки, а внутренности выбросил за борт. Погрузившись в воду, они оставили за собой светящийся след. В бледном сиянии звезд макрель казалась грязно-белой. Старик ободрал с одного бока кожу, придерживая голову рыбы ногой. Потом он перевернул макрель, снял кожу с другого бока и срезал мясо с обоих боков от головы до хвоста.

Выкинув скелет макрели за борт, он поглядел, не видно ли на воде кругов, но там был только светящийся след медленно уходящего вглубь остова рыбы. Тогда он повернулся, положил двух летучих рыб между кусками макрельего филе и, спрятав нож в чехол, снова осторожно перебрался на нос. Спину его пригибала тяжесть лесы, рыбу он нес в правой руке.

Вернувшись на нос, он разложил рыбное филе на досках и рядом с ним положил летучих рыб. После этого он передвинул лесу на еще не наболевшую часть спины и снова уперся в планшир. Перегнувшись через борт, он обмыл летучую рыбу в море, замечая попутно, как быстро движется вода у него под рукой. Рука его светилась оттого, что он сдирал ею с макрели кожу, и он смотрел, как ее обтекает вода. Теперь она текла медленнее, и, потеряв ребро руки о край лодки, он увидел, как неторопливо уплывают к корме частицы фосфора.

— Она либо устала, либо отдыхает, — сказал старик. — Надо поскорее покончить с едой и немножко поспать.

Он съел половину одного из филе и одну летучую рыбу, которую предварительно выпотрошил при свете звезд, чувствуя, как ночь становится все холоднее.

— Что может быть вкуснее макрели, если есть ее в вареном виде! — сказал он. — Но до чего же она противна сырая! Никогда больше не выйду в море без соли и без лимона.

«Будь у меня голова на плечах, — думал он, — я бы целый день поливал водой нос лодки и давал ей высохнуть — к вечеру у меня была бы соль. Да, но ведь я поймал макрель перед самым заходом солнца. И все-таки я многого не предусмотрел. Однако я сжевал весь кусок и меня не тошнит».

Небо на востоке затуманивалось облаками, и знакомые звезды гасли одна за другой. Казалось, что он вступает в огромное ущелье из облаков. Ветер стих.

— Через три или четыре дня наступит непогода, — сказал он. — Но еще не сегодня и не завтра. Поспи, старик, покуда рыба ведет себя смирно.

Он крепко держал лесу правой рукой и, припав к руке бедра, налег всем телом на борт лодки. Потом сдвинул бечевку на спине чуть пониже и ухватился за нее левой рукой.

«Правая рука будет держать лесу, пока не разожметсЯ. А если во сне она разожметсЯ, меня разбудит левая рука, почувствовав, как леса убегает в море. Конечно, правой руке будет нелегко. Но она привыкла терпеть лишения. Если я посплю хотя бы минут двадцать или полчаса, и то хорошо».

Прижимая лесу к доскам телом и всей тяжестью навалившись на правую руку, он заснул.

Во сне он не видел львов, но зато ему приснилась огромная стая морских свиней, растянувшаяся на восемь или на десять миль, а так как у них была брачная пора, они высоко подпрыгивали в воздух и ныряли обратно в ту же водяную яму, из которой появлялись.

Потом ему спилось, что он лежит на своей кровати в деревне и в хижину задувает северный ветер, отчего ему очень холодно, а правая рука у него затекла, потому что он положил ее под голову вместо подушки.

И уже только потом ему приснилась длинная желтая отмель, и он увидел, как в сумерках на нее вышел первый

лев, а за ним идут и другие; он оперся подбородком о борт корабля, стоящего на якоре, его обвевает вечерний ветер с суши, он ждет, не покажутся ли новые львы, и совершенно счастлив.

Луна уже давно взошла, но он все спал и спал, а рыба мерно влекла лодку в ущелье из облаков.

Он проснулся от рывка; кулак правой руки ударил его в лицо, а леса, обжигая ладонь, стремительно уходила в воду. Лево́й руки он не чувствовал, поэтому он попытался ватормозить бечеву правой рукой, но леса продолжала бешено уноситься в море. В конце концов и левая рука нащупала бечеву, он уперся в нее спиной, и теперь леса жгла его спину и левую руку, на которую перешла вся тяжесть работы. Он оглянулся на запасные мотки лесы и увидел, что они быстро разматываются. В это мгновение рыба вынырнула, взорвав океанскую гладь, и тяжело упала обратно в море. Потом она прыгнула опять и опять; лодка неслась вперед, хотя леса и продолжала мчаться за борт; старик натягивал ее до отказа, на миг отпускал, а потом снова натягивал изо всех сил, рискуя, что она оборвется. Его самого притянуло вплотную к носу, лицо его было прижато к куску макрелье́го мяса, но он не мог пошевелиться.

«Вот этого-то мы и ждали,— подумал он.— Теперь держись... Я ей отплатю за лесу! Я ей отплатю!»

Он не мог видеть прыжков рыбы, он только слышал, как с шумом разверзается океан и тяжелый всплеск, когда рыба вновь падала в воду. Убегающая за борт бечева жестоко резала руки, но он заранее знал, что так случится, и старался подставить мозолистую часть руки, чтобы леса не поранила ладонь или пальцы.

«Если бы со мной был мальчик,— подумал старик,— он смочил бы лесу водой. Да, если бы мальчик был здесь! Если бы только мальчик был здесь!»

Леса все неслась, неслась и неслась, но теперь она шла уже медленнее, и он заставлял рыбу отвоевывать каждый ее дюйм. Ему удалось поднять голову и отодвинуть лицо от макрелье́го мяса, которое его скула превратила в лепешку. Сперва он встал на колени, а потом медленно поднялся на ноги. Он все еще отпускал лесу, но все скупее и скупее. Переступив ближе к тому месту, где он в темноте мог нащупать ногой мотки бечевы, он убедился, что запас у него еще большой. А в воде ее столько, что рыбе не так-то легко будет с ней справиться.

«Ну вот,— подумал он.— Теперь она прыгнула уже больше десяти раз и наполнила свои пузыри воздухом; теперь она уже не сможет уйти в глубину, откуда ее не достать, и не умрет там. Она скоро начнет делать круги, и тогда мне придется поработать. Интересно, что ее вывело из себя? То ли голод довел ее до отчаяния, то ли что-нибудь испугало во тьме? Может быть, она вдруг почувствовала страх. Но ведь это была спокойная и сильная рыба. Она казалась мне такой бесстрашной и такой уверенной в себе. Странно!»

— Лучше, старик, сам забудь о страхе и побольше верь в свои силы,— сказал он.— Хоть ты ее и держишь, ты не можешь выбрать ни дюйма лесы. Но скоро она начнет делать круги.

Старик теперь удерживал лесу левой рукой и плечами; нагнувшись, он правой рукой зачерпнул воды, чтобы смыть с лица раздавленное мясо макрели. Он боялся, что его стошнит и он ослабеет. Вымыв лицо, старик опустил за борт правую руку и подержал ее в соленой воде, глядя на светлеющее небо. «Сейчас она плывет почти на восток,— подумал он.— Это значит, что она устала и идет по течению. Скоро ей придется пойти кругами. Тогда-то и начнется настоящая работа».

Подержав некоторое время руку в соленой воде, он вынул и оглядел ее.

— Не так страшно,— сказал он.— А боль мужчине ни-почем.

Старик осторожно взялся за лесу, стараясь, чтобы она не попала ни в один из свежих порезов, и переместил вес тела таким образом, чтобы он мог и левую руку опустить в воду через другой борт лодки.

— Для такого ничтожества, как ты, ты вела себя неплохо,— сказал он левой руке.— Но было время, когда ты меня чуть не подвела.

«Почему я не родился с двумя хорошими руками? — думал он.— Может, это я виноват, что вовремя не научил свою левую руку работать как следует. Но, видит бог, она и сама могла научиться! Честно говоря, она не так уж меня подвела нынче почью; и судорогой ее свело всего один раз. Но если это повторится, тогда уж лучше пусть ее совсем отрешет бечевой!»

Подумав это, старик сразу понял, что в голове у него помутилось. Надо бы пожевать еще кусочек макрели. «Не могу,— сказал он себе.— Пусть лучше у меня будет голо-

ва не в порядке, чем слабость от тошноты. А я знаю, что не смогу удержать в себе мясо после того, как на нем лежало мое лицо. Я буду держать мясо на крайний случай, пока оно не испортится. Все равно сейчас уже поздно подкрепляться. Глупый старик! — выругал он себя. — Ты ведь можешь съесть вторую летучую рыбу».

Вот она лежит, вынотрошенная, чистенькая, — и, взяв ее левой рукой, он съел летучую рыбу, старательно разжевывая кости, съел всю целиком, без остатка.

«В ней больше питательности, чем почти в любой другой рыбе, — подумал он. — Во всяком случае, в ней есть то, в чем я нуждаюсь. Ну вот, теперь я сделал все, что мог. Пусть только она начнет кружить — мы с ней сразимся».

Солнце вставало уже в третий раз с тех пор, как он вышел в море, и тут-то рыба начала делать круги.

Он еще не мог определить по уклону, под которым леса уходила в море, начала ли рыба делать круги. Для этого еще было рано. Он только почувствовал, что тяга чуточку ослабела, и стал потихоньку выбирать лесу правой рукой. Леса натянулась до отказа, как и прежде, но в тот самый миг, когда она, казалось, вот-вот лопнет, она вдруг пошла свободно. Тогда старик, нагнувшись, освободил плечи от давившей на них бечевы и начал выбирать лесу неторопливо и равномерно.

Старик работал, взмахивая обеими руками поочередно, стараясь, чтобы спина и ноги побольше участвовали в работе. Его старые ноги и плечи помогали взмахам рук.

— Она делает очень большой круг, — сказал он, — но она его все-таки делает.

Внезапно движение лесы затормозилось, но он продолжал тянуть ее, откуда с нее не запрыгали блестящие на солнце водяные капли. Потом лесу потянуло прочь, и, опустившись на колени, старик стал нехотя отпускать ее назад, в темную воду.

— Теперь рыба проходит самую дальнюю часть своего круга, — сказал он.

«Надо держать ее как можно крепче. Натянутая бечева будет всякий раз укорачивать круг. Может быть, через час я ее увижу. Сперва я должен убедить ее в моей силе, а потом я ее одолею».

Однако прошло два часа, а рыба все еще продолжала медленно кружить вокруг лодки. Со старика градом катился пот, и устал он сверх всякой меры. Правда, круги, которые делала рыба, стали гораздо меньше, и по тому, как

уходила в воду леса, было видно, что рыба постепенно поднимается на поверхность.

Вот уже целый час, как у старика перед глазами прыгали черные пятна, соленый пот заливал и жег глаза, жег рану над глазом, на лбу. Черные пятна его не пугали. В них не было ничего удивительного, если подумать, с каким напряжением он тянул лесу. Но два раза он почувствовал слабость и головокружение, и это встревожило его не на шутку.

«Неужели я оплошаю и умру из-за какой-то рыбы? — спрашивал он себя. — И главное — теперь, когда все идет так хорошо. Господи, помоги мне выдержать! Я прочту сто раз «Отче паш» и сто раз «Богородицу». Только не сейчас. Сейчас не могу».

«Считай, что я их прочел, — подумал он. — Я прочту их после».

В этот миг он почувствовал удары по бечеве, которую держал обеими руками, и рывок. Рывок был резкий и очень сильный.

«Она бьет своим мечом по проволоке, которой привязан крючок, — подумал старик. — Естественное дело. Так ей и полагалось поступить. Однако теперь она может выпрыгнуть, а я предпочел бы, чтобы сейчас она продолжала делать круги. Прыжки были нужны, чтобы она набрала воздуха, но теперь каждый новый прыжок расширит рану, в которой торчит крючок, и рыба может сорваться».

— Не прыгай, рыба, — просил он. — Пожалуйста, не прыгай!

Рыба снова и снова ударяла по проволоке, и всякий раз, покачив головой, старик понемногу отпускал лесу.

«Я не должен причинять ей лишнюю боль, — думал он. — Моя боль — она при мне. С ней я могу совладать. Но рыба может обезуметь от боли».

Через некоторое время рыба перестала биться о проволоку и снова начала медленно делать круги. Старик равномерно выбирал лесу. Но ему опять стало дурно. Он зачерпнул левой рукой морской воды и вылил себе на голову. Потом он вылил себе на голову еще немного воды и растер затылок.

— Зато у меня нет больше судороги, — сказал он. — Рыба скоро выплывет, а я еще подержусь. Ты должен держаться, старик. И не смей даже думать иначе.

Он опустил на колени и на время снова пропустил лесу за спину. «Покуда она кружит, я передохну, а потом

встану и, когда она подойдет поближе, снова начну выбирать лесу».

Ему очень хотелось подольше отдохнуть на носу лодки и позволить рыбе сделать лишний круг, не выбирая лесы. Но когда тяга показала, что рыба, сделав полкруга, повернула и возвращается к лодке, старик встал и начал тянуть бечеву, взмахивая поочередно руками и вертя из стороны в сторону туловищем, для того чтобы выбрать как можно больше лесы.

«Я так устал, как не уставал еще ни разу в жизни,— подумал старик,— а между тем ветер усиливается. Правда, ветер будет кстати, когда я повезу ее домой. Мне он очень пригодится, этот ветер».

— Я отдохну, когда она пойдет в новый круг,— сказал он.— Тем более что сейчас я себя чувствую гораздо лучше. Еще каких-нибудь два-три круга — и рыба будет моя.

Его соломенная шляпа была сдвинута на самый затылок, и когда рыба повернула и снова стала тянуть, он повалился на нос.

«Поработай теперь ты, рыба,— подумал он.— Я сповазовьмусь за тебя, как только ты повернешь назад».

По морю пошла крупная волна. По воду гнал добрый ветер, спутник ясной погоды, который был ему нужен, чтобы добраться до дому.

— Буду править на юг и на запад,— сказал он.— И все. Разве можно заблудиться в море? К тому же остров у нас длинный.

Рыбу он увидел во время третьего круга.

Сначала он увидел темную тень, которая так долго проходила у него под лодкой, что он просто глазам не поверил.

— Пет,— сказал он.— Не может она быть такая большая.

Но рыба была такая большая, и к концу третьего круга она всплыла на поверхность всего в тридцати ярдах от лодки, и старик увидел, как поднялся над морем ее хвост. Он был больше лезвия самой большой косы и над темно-синей водой казался бледно-сиреневым. Рыба нырнула снова, но уже неглубоко, и старик мог разглядеть ее громадное туловище, опоясанное фиолетовыми полосами. Ее спинной плавник был опущен, а огромные грудные плавники раскинуты в стороны.

Пока она делала круг, старик разглядел глаз рыбы и плывших подле нее двух серых рыб-прилипал. Время от

времени прилипалы присасывались к рыбе, а потом стремглав бросались прочь. Порою же они весело плыли в тени, которую отбрасывала большая рыба. Каждая из прилипал была длиною более трех футов, и когда они плыли быстро, они извивались всем телом, как угри.

По лицу старика катился пот, но теперь уже не только от солнца. Во время каждого нового круга, который так спокойно и, казалось, безмятежно проплывала рыба, старик выбирал все больше лесы и теперь был уверен, что через два круга ему удастся всадить в рыбу гарпун.

«Но я должен подтянуть ее ближе, гораздо ближе,— подумал он.— И не надо целиться в голову. Надо бить в сердце».

— Будь спокойным и сильным, старик,— сказал он себе.

Во время следующего круга спина рыбы показалась над водой, но плыла она все еще слишком далеко от лодки. Рыба сделала еще один круг, но была по-прежнему слишком далеко от лодки, хотя и высовывалась из воды куда больше. Старик знал, что, выбери он еще немного лесы, он мог бы подтащить рыбу к самому борту.

Он уже давно приготовил гарпун; связка тонкого троса лежала в круглой корзине, а конец он привязал к битенгу на носу.

Рыба приближалась, делая свой круг, такая спокойная и красивая, чуть шевеля огромным хвостом. Старик тянул лесу что было силы, стараясь подтащить рыбу как можно ближе к лодке. На секунду рыба слегка завалилась на бок. Потом она выпрямилась и начала новый круг.

— Я сдвинул ее с места,— сказал старик.— Я все-таки заставил ее перевернуться.

У него снова закружилась голова, но он тянул лесу с большой рыбой изо всех сил. «Ведь мне все-таки удалось перевернуть ее на бок,— думал он.— Может быть, на этот раз я сумею перевернуть ее на спину. Тяните! — приказывал он своим рукам.— Держите меня, ноги! Послужите мне еще, голова! Послужите мне. Ты ведь никогда меня не подводила. На этот раз я переверну ее на спину».

Еще задолго до того, как рыба приблизилась к лодке, он напряг силы и стал тянуть изо всей мочи. Но рыба лишь слегка повернулась на бок, потом снова выпрямилась и уплыла вдаль.

— Послушай, рыба! — сказал ей старик.— Ведь тебе все равно умирать. Зачем же тебе надо, чтобы и я тоже умер?

«Этак мне ничего не добиться», — подумал старик. Вороту у него так перессхло, что он больше не мог говорить, и не было сил дотянуться до бутылки с водой. «На этот раз я должен подтащить ее к лодке, — подумал он. — Надолго меня не хватит». — «Нет, хватит, — возразил он себе. — Тебя, старик, хватит навеки».

Во время следующего круга старик чуть было ее не достал, но рыба снова выпрямилась и медленно поплыла прочь.

«Ты губишь меня, рыба, — думал старик. — Это, конечно, твое право. Ни разу в жизни я не видел существа более громадного, прекрасного, спокойного и благородного, чем ты. Ну что ж, убей меня. Мне уже все равно, кто кого убьет».

«Опять у тебя путается в голове, старик! А голова у тебя должна быть ясная. Приведи свои мысли в порядок и постарайся переносить страдания, как человек... Или как рыба», — мысленно добавил он.

— А пу-ка, голова, работай, — сказал он так тихо, что едва услышал свой голос. — Работай, говорят тебе.

Еще два круга все оставалось по-прежнему.

«Что делать? — думал старик. Всякий раз, когда рыба уходила, ему казалось, что он теряет сознание. — Что делать? Попробую еще раз».

Он сделал еще одну попытку и почувствовал, что теряет сознание, но он все-таки перевернул рыбу на спину. Потом рыба перевернулась обратно и снова медленно уплыла прочь, помахивая в воздухе своим громадным хвостом.

«Попробую еще раз», — пообещал старик, хотя руки у него совсем ослабли и перед глазами стоял туман.

Он попробовал снова, и рыба снова ушла. «Ах, так? — подумал он и сразу же почувствовал, как жизнь в нем замирает. — Я попробую еще раз».

Он собрал всю свою боль, и весь остаток своих сил и всю свою давно утраченную гордость и бросил все это против мук, которые терпела рыба, и тогда она перевернулась на бок и тихонько поплыла на бок, едва-едва не доставая мечом до борта лодки; она чуть было не грохнулась мимо, длинная, широкая, серебряная, перевитая фиолетовыми полосами, и казалось, что ей не будет конца.

Старик кинул лесу, наступил на нее ногой, поднял гарпун так высоко, как только мог, и изо всей силы, какая у него была и какую он сумел в эту минуту собрать, вон-

зил гарпун рыбе в бок, как раз позади ее громадного грудного плавника, вздымавшегося над морем до уровня человеческой груди. Он почувствовал, как входит железо в мякоть, и, упершись в гарпун, всаживал его все глубже и глубже, наваливаясь на него всей тяжестью своего тела.

И тогда рыба ожила, хоть и несла уже в себе смерть,— она высоко поднялась над водой, словно хвастая своей огромной длиной и шириной, всей своей красотой и мощью. Казалось, что она висит в воздухе над стариком и лодкой. Потом она грохнулась в море, залив потоками воды и старика, и всю его лодку.

Старика одолела слабость и дурнота; он почти ничего не видел. Но, отпустив веревку гарпуна, он стал медленно перебирать ее в изрезанных руках, а когда зрение вернулось, он увидел, что рыба лежит на спине, серебряным брюхом кверху. Древко гарпуна торчало наискось из ее груди, а море вокруг было окрашено кровью ее сердца. Сначала пятно было темное, словно в голубой воде виднелась мель, хотя глубина тут была больше мили. Потом пятно расплылось и стало похоже на облако. Серебристая рыба тихо покачивалась на волнах.

Старик всматривался в это призрачное зрелище, пока зрение у него опять не затуманилось. Тогда он дважды намотал веревку гарпуна на битенг и опустил голову на руки.

«Что же это с моей головой? — сказал он, прижавшись лицом к обшивке носа.— Я старый человек, и я очень устал. Но я все-таки убил эту рыбу, которая мне дороже брата, и теперь мне осталось сделать черную работу.

Теперь я должен приготовить веревку и связать ее в пѣтли, чтобы принайтовать рыбу к лодке. Даже если бы нас было двое и мы затопили бы лодку, чтобы погрузить в нее рыбу, а потом вычерпали воду,— все равно лодка не выдержала бы такой тяжести. Я должен подготовить все, что нужно, а потом подтянуть рыбу к борту, привязать ее накрепко к лодке, поставить парус и отправиться во-свояси».

Он стал подтягивать рыбу к борту, чтобы, пропустив веревку через жабры и через пасть, привязать ее голову к носу.

«Мне хочется посмотреть на нее,— подумал он,— потрогать ее, почувствовать, что же это за рыба? Ведь она — мое богатство. Но я не поэтому хочу ее потрогать. Мне кажется, что я уже дотронулся до ее сердца,— думал он,—

тогда, когда я вонзил в нее гарпун до самого конца. Ладно, подтяни ее поближе, привяжи, падень петлю ей па хвост, а другую перекинь вокруг туловища, чтобы получше приладить ее к лодке».

— Ну, старик, за работу,— сказал он себе и отпил маленький глоток воды.— Теперь, когда битва окончена, осталась еще уйма черной работы.

Старик посмотрел на небо, потом на рыбу. Он глядел на солнце очень внимательно. «Сейчас едва перевалило за полдень. А пассат крепчает. Бог с ними, с лесами. Мы с мальчиком срастим их дома».

— Подойди-ка сюда, рыба!

Но рыба его не послушалась. Она безмятежно покачивалась на волнах, и старику пришлось самому подвести к ней лодку.

Когда он подошел к ней вплотную и голова рыбы была вровень с носом лодки, старик снова поразился ее величине. Но он отвязал гарпунную веревку от биденга, пропустил ее через жабры рыбы, вывел конец через пасть, обкрутил его вокруг меча, потом снова пропустил веревку через жабры с другого бока, опять захлестнул за меч и, связав двойным узлом, привязал к биденгу. Перерезав веревку, он перешел на корму, чтобы петлей закрепить хвост. Цвет рыбы из фиолетово-серебристого превратился в чистое серебро, а полосы стали такими же бледно-сиреневыми, как хвост. Полосы эти были шире растопыренной мужской руки, а глаз рыбы был таким же отрешенным, как зеркало перископа или как лики святых во время крестного хода.

— Я не мог ее убить иначе,— сказал старик.

Выпив воды, он почувствовал себя куда лучше. Теперь он знал, что не потеряет сознания, и в голове у него прояснилось. «Она весит не меньше чем полторы тысячи фунтов,— подумал он.— А может быть, и значительно больше». Сколько же он получит, если мяса выйдет две трети этого веса по тридцати центов за фунт?

— Без карандаша не сочтешь,— сказал старик.— Для этого нужна ясная голова. Но я думаю, что великий Ди Маджио мог бы сегодня мною гордиться. Правда, у меня не было пяточной шпоры. Но руки и спина у меня здорово болят. Интересно, что такое пяточная шпора? Может, и у нас она есть, да только мы этого не подозреваем?

Старик привязал рыбу к носу, к корме и к средней банке. Она была такая громадная, что ему показалось, будто он прицепил лодку к борту большого яла. Отрезав

кусок бечевы, он подвязал нижнюю челюсть рыбы к ее мечу, чтобы рот не открывался и было легче плыть. Потом он поставил мачту, палку вместо гафеля, натянул шкот. Залатанный парус надулся, лодка двинулась вперед, и старик, полулежа на корме, поплыл на юго-запад.

Старику не нужен был компас, чтобы определить, где юго-запад. Ему достаточно было чувствовать, куда дует пассат и как надувается парус. «Пожалуй, стоило бы забросить удочку — не поймаю ли я на блесну какую-нибудь рыбешку, а то ведь мне нечего есть». Но он не нашел блесны, а сардины протухли. Тогда он подцепил багром пук желтых водорослей, мимо которого они проплывали, и потряс его; оттуда высыпались в лодку маленькие креветки. Их было больше дюжины, и они прыгали и перебирали ножками, словно земляные блохи. Старик двумя пальцами оторвал им головки и съел целиком, разжевывая скорлупу и хвост. Креветки были крошечные, но старик знал, что они очень питательны, и вкус у них был отменный.

В бутылке еще оставалось немного воды, и, поев креветок, старик отпил от нее четвертую часть.

Лодка шла хорошо, несмотря на сопротивление, которое ей приходилось преодолевать, и старик правил, придерживая румпель локтем. Ему все время была видна рыба, а стоило ему взглянуть на свои руки или дотронуться до лодки спиной — и он чувствовал, что все это не было сном и случилось с ним на самом деле. Одно время, к самому концу, когда ему стало дурно, старику вдруг показалось, что все это только сон. Да и потом, когда он увидел, как рыба вышла из воды и, прежде чем упасть в нее снова, неподвижно повисла в небе, ему почудилась во всем этом какая-то удивительная странность, и он не поверил своим глазам. Правда, тогда он и видел-то совсем плохо, а теперь глаза у него опять были в порядке.

Теперь он знал, что рыба существует на самом деле и что боль в руках и в спине — это тоже не сон. «Руки заживают быстро, — подумал он. — Я выпустил достаточно крови, чтобы не загрязнить раны, а соленая вода их залечит. Темная вода залива — лучший в мире целитель. Только бы вот у меня не путались мысли! Руки свое дело сделали, и лодка идет хорошо. Рот у рыбы закрыт, хвост она держит прямо, мы плывем с ней рядом, как братья». В голове у него снова немножко помутилось, и он подумал: «А кто же кого везет домой — я ее или она меня? Если бы я тащил ее на буксире, все было бы ясно. Или если бы она

лежала в лодке, потеряв все свое достоинство, все тоже было бы ясно. Но ведь мы плывем рядом, накрепко связанные друг с другом. Ну и пожалуйста, пусть она меня везет, если ей так нравится. Я ведь взял пад пею верх только хитростью; она не замышляла против меня никакого зла».

Они плыли и плыли, и старик полоскал руки в соленой воде и старался, чтобы мысли у него не путались. Кучевые облака шли высоко, над ними висели перистые; старик знал, что вестер будет дуть всю ночь. Он то и дело поглядывал на рыбу, чтобы проверить, в самом ли деле она ему не приснилась. Прошел целый час, прежде чем его настигла первая акула.

Акула догнала его не случайно. Она выплыла из самой глубины оксана, когда темное облако рыбьей крови сгустилось, а потом разошлось по воде на целую милю вглубь. Она всплыла быстро, без всякой опаски, разрешила голубую гладь моря и вышла на солнце. Потом она снова ушла в воду, снова почуяла запах крови и поплыла по следу, который оставляли за собой лодка и рыба.

Порою она теряла след. Но она либо попадала на него снова, либо чуяла едва слышный его запах и шла за ним неотступно. Это была очень большая акула породы мако, созданная для того, чтобы плавать так же быстро, как плавают в море самая быстрая рыба, и все в ней было красиво, кроме пасти. Спина у нее была такая же голубая, как у меч-рыбы, брюхо серебряное, а кожа гладкая и красивая, и вся она была похожа на меч-рыбу, если не считать огромных челюстей, которые сейчас были плотно сжаты. Она быстро плыла у самой поверхности моря, легко прорезая воду своим высоким спинным плавником. За плотно сжатыми двойными губами ее пасти в восемь рядов шли скошенные вовнутрь зубы. Они были не похожи на обычные пирамидальные зубы большинства акул, а напоминали человеческие пальцы, скрюченные, как звериные когти. Длинною они не уступали пальцам старика, а по бокам были остры, как лезвия бритвы. Акула была создана, чтобы питаться всеми морскими рыбами, даже такими подвижными, сильными и хорошо вооруженными, что никакой другой враг им был не страшен. Сейчас она спешила, чуя, что добыча уже близко, и ее синий спинной плавник так и резал воду.

Когда старик ее увидел, он понял, что эта акула ничего не боится и поступит так, как ей заблагорассудится. Он

приготовил гарпун и закрепил конец его веревки, поджидая, чтобы акула подошла ближе. Веревка была коротка, потому что он отрезал от нее кусок, когда привязывал свою рыбу.

В голове у старика теперь совсем прояснилось, и он был полон решимости, хотя и не тешил себя надеждой.

«Дело шло уж больно хорошо, так не могло продолжаться», — думал он.

Наблюдая за тем, как подходит акула, старик кинул взгляд на большую рыбу. «Лучше бы, пожалуй, все это оказалось сном. Я не могу помешать ей напасть на меня, но, может быть, я смогу ее убить? *Dentuso*¹, — подумал он. — Чума на твою мать!»

Акула подплыла к самой корме, и когда она кинулась на рыбу, старик увидел ее разинутую пасть и необыкновенные глаза и услышал, как щелкнули челюсти, вонзившись в рыбу чуть повыше хвоста. Голова акулы возвышалась над водой, вслед за головой показалась и спина, и старик, слыша, как акульи челюсти с шумом раздирают кожу и мясо большой рыбы, всадил свой гарпун ей в голову в том месте, где линия, соединяющая ее глаза, перекрещивается с линией, уходящей от ее носа. На самом деле таких линий не было. Была только тяжелая, заостренная голубая голова, большие глаза и лязгающая, выпяченная, всеядная челюсть. Но в этом месте у акулы находится мозг, и старик ударил в него своим гарпуном. Он изо всех сил ударил в него гарпуном, зажатым в иссеченных до крови руках. Он ударил в него, ни на что не надеясь, но с решимостью и яростной злобой.

Акула перевернулась, и старик увидел ее потухший глаз, а потом она перевернулась снова, дважды обмотав вокруг себя веревку. Старик понял, что акула мертва, но сама она не хотела с этим мириться. Лежа на спине, она била хвостом и лязгала челюстями, вспенивая воду, как гоночная лодка. Море там, где она взбивала его хвостом, было совсем белое. Туловище акулы поднялось на три четверти над водой, веревка натянулась, задрожала и наконец лопнула. Акула полежала немножко на поверхности, и старик все глядел на нее. Потом очень медленно она погрузилась в воду.

— Она унесла с собой около сорока фунтов рыбы, — сказал старик вслух.

¹ Зубастая (исп.) — вид акулы.

«Она утащила на дно и мой гарпун, и весь остаток веревки,— прибавил он мысленно,— а из рыбы снова течет кровь, и вслед за этой акулой придут другие».

Ему больше не хотелось смотреть на рыбу теперь, когда ее так изуродовали. Когда акула кинулась на рыбу, ему показалось, что она кинулась на него самого.

«Но я все-таки убил акулу, которая напала на мою рыбу,— подумал он.— И это была самая большая *dentuso*, какую я когда-либо видел. А мне, ей-богу, пришлось по-встречать на своем веку немало больших акул.

Дела мои шли слишком хорошо. Дольше так не могло продолжаться. Хотел бы я, чтобы все это было сном: я не поймал никакой рыбы, а сплю себе один на кровати, застеленной газетами».

— Но человек не для того создан, чтобы терпеть поражения,— сказал он.— Человека можно уничтожить, но его нельзя победить.

«Жаль все-таки, что я убил рыбу,— подумал он.— Мне придется очень тяжело, а я лишился даже гарпуна. *Dentuso* — животное ловкое и жестокое, умное и сильное. Но я оказался умнее его. А может быть, и не умнее. Может быть, я был просто лучше вооружен».

— Не нужно думать, старик,— сказал он вслух.— Плыви по ветру и встречай беду, когда она придет.

«Нет, я должен думать,— мысленно возразил он себе.— Ведь это все, что мне осталось. Это и бейсбол. Интересно, понравилось бы великому Ди Маджио, как я ударил акулу прямо в мозг? В общем, ничего в этом не было особенного — любой мог сделать не хуже. Но как ты думаешь, старик: твои руки мешали тебе больше, чем пяточная шпора? Почему я знаю! У меня никогда ничего не случалось с пятками, только один раз меня ужалил в пятку электрический скат, когда я наступил на него во время купанья; у меня тогда парализовало ногу до колена, и боль была нестерпимая».

— Подумай лучше о чем-нибудь веселом, старик,— сказал он вслух.— С каждой минутой ты теперь все ближе и ближе к дому. Да и плыть тебе стало легче с тех пор, как ты потерял сорок фунтов рыбы.

Он отлично знал, что его ожидает, когда он войдет в самую середину течения. Но делать теперь уже было нечего.

— Неправда, у тебя есть выход,— сказал он.— Ты можешь привязать свой нож к рукоятке одного из весел.

Он так и сделал, держа румпель под мышкой и наступив на шкот ногой.

— Ну вот,— сказал он.— Я хоть и старик, но, по крайней мере, я не безоружен.

Дул свежий ветер, и лодка быстро шла вперед. Старик смотрел только на переднюю часть рыбы, и к нему вернулась частица надежды.

«Глупо терять надежду,— думал он.— К тому же, кажется, это грех. Не стоит думать о том, что грех, а что не грех. На свете есть о чем подумать и без этого. Сказать правду, я в грехах мало что понимаю.

Не понимаю и, наверно, в них не верю. Может быть, грешно было убивать рыбу. Думаю, что грешно, хоть я и убил ее для того, чтобы не умереть с голоду и накормить еще уйму людей. В таком случае все, что ты делаешь, грешно. Нечего раздумывать над тем, что грешно, а что не грешно. Сейчас уже об этом поздно думать, да к тому же пусть грехами занимаются те, кому за это платят. Пусть они раздумывают о том, что такое грех. Ты родился, чтобы стать рыбаком, как рыба родилась, чтобы быть рыбой. Святой Петр тоже был рыбаком, так же как и отец великого Ди Маджио».

Но он любил поразмыслить обо всем, что его окружало, и так как ему нечего было читать и у него не было радио, он о многом думал, в том числе и о грехе. «Ты убил рыбу не только для того, чтобы продать ее другим и поддержать свою жизнь,— думал он.— Ты убил ее из гордости и потому, что ты — рыбак. Ты любил эту рыбу, пока она жила, и сейчас любишь. Если кого-нибудь любишь, его не грешно убить. А может быть, наоборот, еще более грешно?»

— Ты слишком много думаешь, старик,— сказал он вслух.

«Но ты с удовольствием убивал *dentuso*,— подумал старик.— А она, как и ты, кормится, убивая рыбу. Она не просто пожирает падаль и не просто ненасытная утроба, как многие другие акулы. Она — красивое и благородное животное, которое не знает, что такое страх».

— Я убил ее, защищая свою жизнь,— сказал старик вслух.— И я убил ее мастерски.

«К тому же,— подумал он,— все так или иначе убивают кого-нибудь или что-нибудь. Рыбная ловля убивает меня точно так же, как и не дает мне умереть. Мальчик — вот кто не дает мне умереть. Не обольщайся, старик».

Он перегнулся через борт и оторвал от рыбы кусок мяса в том месте, где ее разгрызла акула. Он пожевал мясо, оценивая его качество и вкус. Мясо было твердое и сочное, как говядина, хоть и не красное. Оно не было волокнистым, и старик знал, что за него дадут на рынке самую высокую цену. Но его запах уносило с собой море, и старик не мог этому помешать. Он понимал, что ему придется нелегко.

Ветер не ослабевал; он подул еще сильнее на северо-восток, и это означало, что он не прекратится. Старик смотрел вдаль, но не видел ни парусов, ни дымка или корпуса какого-нибудь судна. Только летучие рыбы поднимались из моря и разлетались в обе стороны от носа его лодки да желтели островки водорослей. Не было даже птиц.

Он плыл уже два часа, полулежа на корме, пожевывая рыбье мясо и стараясь поскорее набраться сил и отдохнуть, когда заметил первую из двух акул.

— Ай! — произнес старик слово, не имеющее смысла, — скорее звук, который невольно издает человек, чувствуя, как гвоздь, пронзив его ладонь, входит в дерево.

— Galanos¹, — сказал он вслух.

Он увидел, как за первым плавником из воды показались другой, и по этим коричневым треугольным плавникам, так же как и по размашистому движению хвоста, понял, что это широконосые акулы. Они почуяли запах рыбы, взволновались и, совсем одурев от голода, то теряли, то вновь находили этот заманчивый запах. Но тем не менее они с каждой минутой приближались.

Старик намертво закрепил шкот и заклинил руль. Потом он поднял весло с привязанным к нему пожом. Он поднял весло совсем легонько, потому что руки его нестерпимо болели. Он сжимал и разжимал пальцы, чтобы хоть немножко их размять. Потом ухватился за весло крепче, чтобы заставить руки сразу почувствовать боль в полную меру и уже больше не отвлиивать от работы, и стал наблюдать за тем, как подплывают акулы. Он видел их приплюснутые, широконосые головы и большие, отороченные белым грудные плавники. Это были самые гнусные из всех акул — вонючие убийцы, пожирающие и пададь; когда их мучит голод, они готовы укусить и весло и руль лодки. Такие акулы откусывают лапы у черепах, когда те

¹ Пятнистые (*исп.*) — вид акул.

засыпают на поверхности моря, а сильно оголодав, набрасываются в воде и на человека, даже если от него не пахнет рыбьей кровью или рыбьей слизью.

— Ай! — сказал старик. — Ну что ж, плывите сюда, galanos.

И они приплыли. Но они приплыли не так, как приплыла мако. Одна из них, перевернувшись, скрылась под лодкой, и старик почувствовал, как лодка задрожала, когда акула рвала рыбу. Другая следила за стариком своими узкими желтыми глазками, затем, широко разинув полукруглые пасти, кинулась к тому самому месту рыбы, где ее обглодала мако. Старик у него была ясно видна линия, бегущая с верхушки ее коричневой головы на спину, где мозг соединяется с хребтом, и он ударил ножом, надетым на весло, как раз в это место; потом вытащил нож и всадил его снова в желтый кошачий глаз акулы. Акула, издыхая, отвалилась от рыбы и скользнула вниз, доглатывая то, что откусила.

Лодка все еще дрожала от той расправы, которую вторая акула чинила над рыбой, и старик, отвязав шкот, дал лодке повернуться боком, чтобы выманить из-под нее акулу. Увидев ее, он перегнулся через борт и ткнул ее ножом. Он попал в мясо, а жесткая кожа не дала ножу проникнуть глубже. От удара у старика заболели не только руки, но и плечо. Но акула, выставив из воды пасть, бросилась на рыбу снова, и тогда старик ударил ее в самую середину приплюснутой головы. Он вытащил лезвие и вонзил его в то же самое место вторично. Акула все еще висела на рыбе, плотно сжав челюсти, и старик вонзил ей нож в левый глаз. Акула по-прежнему держалась за рыбу.

— Ах, ты так? — сказал старик и вонзил нож между мозгом и позвоночником.

Сейчас это было нетрудно, и он почувствовал, что рассек хрящ. Старик повернул весло другим концом и всунул его акуле в пасть, чтобы разжать ей челюсти. Он повертел веслом и, когда акула соскользнула с рыбы, сказал:

— Ступай вниз, galano. Ступай вниз на целую милю. Повидайся там со своей подружкой. А может быть, то была твоя мать?

Он вытер лезвие ножа и положил весло в лодку. Потом напел конец шкота и, когда парус наполнился ветром, повернул лодку на прежний курс.

— Они, наверно, унесли с собой не меньше четверти рыбы, и притом самое лучшее мясо, — сказал он вслух. —

Хотел бы я, чтобы все было сном и я не ловил этой рыбы. Мне жалко, рыба, что я это сделал. Выходит, что все это было ошибкой.

Старик замолчал, ему не хотелось теперь глядеть на рыбу. Обескровленная и вымоченная в воде, она по цвету напоминала амальгаму, которой покрывают зеркало, но полосы все еще были заметны.

— Мне не следовало уходить так далеко в море,— сказал он.— Мне очень жаль, рыба, что все так плохо получилось. И для тебя, и для меня. Ты уж прости меня, рыба.

«Ну-ка, не зевай! — сказал он себе.— Проверь, не перерезана ли веревка, которой прикреплен нож. И приведи свою руку в порядок, потому что работа еще не кончепа».

— Жаль, что у меня нет точила для ножа,— сказал старик, проверив веревку на рукоятке весла.— Надо было мне захватить с собой точило.

«Тебе много чего надо было захватить с собой, старик,— подумал он.— Да вот не захватил. Теперь не время думать о том, чего у тебя нет. Подумай о том, как бы обойтись тем, что есть».

— Ух, и надоели же ты мне со своими советами! — сказал он вслух.

Он сунул румпель под мышку и окунул обе руки в воду.

Лодка плыла вперед.

— Один бог знает, сколько сожрала та последняя акула,— сказал он.— Но рыба стала легче.

Ему не хотелось думать об ее изуродованном брюхе. Он знал, что каждый толчок акулы об лодку означал кусок оторванного мяса и что рыба теперь оставляет в море след, широкий, как шоссе, и доступный всем акулам на свете.

«Такая рыба могла прокормить человека всю зиму... Не думай об этом, старик! Отдыхай и постарайся привести свои руки в порядок, чтобы защитить то, что у тебя еще осталось. Запах крови от моих рук — ничто по сравнению с тем запахом, который идет теперь по воде от рыбы. Да из рук кровь почти и не течет. На них нет глубоких порезов. А небольшое кровоупускание предохранит левую руку от судороги.

О чем бы мне сейчас подумать? Ни о чем. Лучше мне ни о чем не думать и подождать новых акул. Хотел бы я,

чтобы все это было сном. Впрочем, как знать? Все ведь могло обернуться и не так плохо».

Следующая акула явилась в одиночку и была тоже из породы широконосых.

Она подошла словно свишня к своему корыту, только у свишни нет такой огромной пасти, чтобы разом откусить человеку голову.

Старик дал ей вцепиться в рыбу, а потом ударил ее пожом, надетым на весло, по голове. Но акула рванулась назад, перекатываясь на спину, и лезвие ножа сломалось.

Старик уселся за руль. Он даже не стал смотреть, как медленно тонет акула, становясь все меньше, а потом и совсем крошечной. Зрелище это всегда его захватывало. Но теперь он не захотел смотреть.

— У меня остался багор,— сказал он.— Но какой от него толк? У меня есть еще два весла, румпель и дубинка.

«Вот теперь они меня одолели,— подумал он.— Я слишком стар, чтобы убивать акул дубинкой. Но я буду сражаться с ними, покуда у меня есть весла, дубинка и румпель».

Он снова окунул руки в соленую воду.

Близился вечер, и кругом было видно лишь небо да море. Ветер дул сильнее, чем прежде, и он надеялся, что скоро увидит землю.

— Ты устал, старик,— сказал он.— Душа у тебя устала.

Акулы напали на него снова только перед самым заходом солнца.

Старик увидел, как движутся коричневые плавники по широкому следу, который рыба теперь уже несомненно оставляла за собой в море. Они даже не рыскали по этому следу, а шли рядышком прямо на лодку.

Старик заклинил румпель, подвязал парус и достал из-под кормы дубинку. Это была отпиленная часть сломанного весла длиной около двух с половиной футов. Он мог ухватить ее как следует только одной рукой, там, где была рукоятка, и он крепко взял ее в правую руку и помостал кистью, ожидая, когда подойдут акулы. Их было две, и обе они были *galanos*.

«Мне надо дожидаться, чтобы первая крепко уцепилась за рыбу,— подумал он,— тогда я ударю ее по кончику носа или прямо по черепу».

Обе акулы подплыли вместе, и когда та, что была поближе, разинула пасть и вонзила зубы в серебристый бок

рыбы, старик высоко поднял дубинку и тяжело опустил ее на плоскую голову акулы. Рука его почувствовала упругую твердость кожи, но она почувствовала и непроницаемую крепость кости под ней, и старик снова с силой ударил акулу по кончику носа. Акула соскользнула в воду.

Другая акула уже успела поживиться и отплыть, а теперь опять подплыла с широко разинутой пастью. Перед тем как она, кинувшись на рыбу, вцепилась в нее, старик увидел белые лоскутья мяса, приставшие к ее челюстям. Старик размахнулся, но попал только по голове, и акула, взглянув на него, вырвала из рыбы кусок мяса. Когда она отвалилась, чтобы проглотить этот кусок, старик ударил ее снова, но удар опять пришелся по твердой, упругой поверхности ее головы.

— Пу-ка, подойди поближе, *galano*,— сказал старик.— Подойди еще разок!

Акула стремглав кинулась на рыбу, и старик ударил ее в то мгновение, когда она защелкинула пасть. Он ударил ее изо всех сил, подняв как можно выше свою дубинку. На этот раз он попал в кость у основания черепа и ударил снова по тому же самому месту. Акула вяло оторвала от рыбы кусок мяса и соскользнула в воду.

Старик ждал, не появятся ли они снова, но ни той, ни другой больше не было видно. Потом он заметил, как одна из них кружит возле лодки. Плавник другой акулы исчез вовсе.

«Я и не рассчитывал, что могу их убить,— подумал старик.— Раньше бы мог. Однако я их сильно покалечил обеих, и они вряд ли так уж хорошо себя чувствуют. Если бы я мог ухватить дубинку обеими руками, я убил бы первую наверняка. Даже и теперь, в мои годы».

Ему не хотелось смотреть на рыбу. Он знал, что половины ее не стало. Пока он воевал с акулами, солнце совсем зашло.

— Скоро стемнеет,— сказал он.— Тогда я, наверно, увижу зарево от огней Гаваны. Если я отклонился слишком далеко на восток, я увижу огни одного из новых курортов.

«Я не могу быть очень далеко от берега,— подумал старик.— Надеюсь, что они там зря не волнуются. Волноваться, впрочем, может только мальчик. Но он-то во мне не сомневается! Нет. Рыбаки постарше — те, наверно, тревожатся. Да и молодые тоже,— думал он.— Я ведь живу среди хороших людей».

Он не мог больше разговаривать с рыбой: уж очень она была изуродована. Но вдруг ему пришла в голову новая мысль.

— Полрыбы! — позвал он ее. — Бывшая рыба! Мне жалко, что я ушел так далеко в море. Я погубил нас обоих. Но мы с тобой уничтожили много акул и покалечили еще больше. Тебе немало, верно, пришлось убить их на своем веку, старая рыба? Ведь не зря у тебя из головы торчит твой меч.

Ему нравилось думать о рыбе и о том, что она могла бы сделать с акулой, если бы свободно плыла по морю.

«Надо было мне отрубить ее меч, чтобы сражаться им с акулами», — думал он. Но у него не было топора, а теперь уже не стало и ножа.

«Но если бы у меня был ее меч, я мог бы привязать его к рукоятке весла — замечательное было бы оружие! Вот тогда бы мы с ней и в самом деле сражались бок о бок! А что ты теперь станешь делать, если они придут ночью? Что ты можешь сделать?»

— Драться, — сказал он, — драться, пока не умру.

Но в темноте не было видно ни огней, ни зарева — были только ветер да надутый парус, и старику вдруг показалось, что он уже умер. Он сложил руки и прижал ладони к ладони. Они не были мертвы, и он мог вызвать боль, а значит, и жизнь, просто сжимая и разжимая их. Он приклонился к корме и попял, что жив. Об этом ему сказали его плечи.

«Мне надо прочесть все те молитвы, которые я общался прочесть, если поймаю рыбу, — подумал он. — Но сейчас я слишком устал. Возьму-ка я лучше мешок и прикрою плечи».

Лежа на корме, он правил лодкой и ждал, когда покажется в небе зарево от огней Гаваны. «У меня осталась от нее половина, — думал он. — Может быть, мне повезет, и я довезу до дому хоть ее переднюю часть. Должно же мне наконец повезти!.. Нет, — сказал он себе. — Ты надругался над собственной удачей, когда зашел так далеко в море».

«Не болтай глупостей, старик! — прервал он себя. — Не спи и следи за рулем. Тебе еще может привалить удача».

— Хотел бы я купить себе немножко удачи, если ее где-нибудь продают, — сказал старик.

«А на что ты ее купишь? — спросил он себя. — Разве

ее купишь на потерянный гарпун, сломанный нож и покалеченные руки?

Почем знать! Ты ведь хотел купить удачу за восемьдесят четыре дня, которые ты провел в море. И, между прочим, тебе ее чуть было не продали...

Не нужно думать о всякой срунде. Удача приходит к человеку во всяком виде, разве ее узнаешь? Я бы, положим, взял немножко удачи в каком угодно виде и заплатил за нее все, что спросят. Хотел бы я увидеть зарево Гаваны,— подумал он.— Ты слишком много хочешь сразу, старик. Но сейчас я хочу увидеть огни Гаваны — и ничего больше».

Он попробовал примоститься у руля поудобнее и по тому, как усилилась боль, понял, что он и в самом деле не умер.

Он увидел зарево городских огней около десяти часов вечера. Вначале оно казалось только бледным сиянием в небе, какое бывает перед восходом луны. Потом огни стали явственно видны за полосой океана, по которому крепчавший ветер гнал высокую волну. Он правил на эти огни и думал, что скоро, теперь уже совсем скоро войдет в Гольф-стрим.

«Ну, вот и все,— думал он.— Наверно, они нападут на меня снова. Но что может сделать с ними человек в темноте голыми руками?»

Все его тело ломило и саднило, а ночной холод усиливал боль его ран и натруженных рук и ног. «Надеюсь, мне не нужно будет больше сражаться,— подумал он.— Только бы мне больше не сражаться!»

Но в полночь он сражался с акулами снова и на этот раз знал, что борьба бесполезна. Они напали на него целой стаей, а он видел лишь полосы на воде, которые прочерчивали их плавники, и свечение, когда они кидались рвать рыбу. Он бил дубинкой по головам и слышал, как лязгают челюсти и как сотрясается лодка, когда они хватают рыбу снизу. Он отчаянно бил дубинкой по чему-то невидимому, что мог только слышать и осязать, и вдруг почувствовал, как что-то ухватило дубинку, и дубинки не стало.

Он вырвал румпель из гнезда и, держа его обеими руками, бил и колотил им, нанося удар за ударом. Но акулы уже были у самого носа лодки и набрасывались на рыбу одна за другой и все разом, отдирая от нее куски мяса, которые светились в море; акулы разворачивались снова, чтобы снова накинуться на свою добычу.

Одна из акул подплыла наконец к самой голове рыбы, и тогда старик понял, что все кончено. Он ударил румпелем по носу акулы, там, где ее зубы застряли в крепкой рыбьей голове. Ударил раз, другой и третий. Услышав, как треснул и раскололся румпель, он стукнул акулу расщепленной рукояткой. Старик почувствовал, как дерево вошло в мясо, и, зная, что обломок острый, ударил акулу снова. Она бросила рыбу и отплыла подальше. То была последняя акула из напавшей на него стаи. Им больше нечего было есть.

Старик едва дышал и чувствовал странный привкус во рту. Привкус был сладковатый и отдавал медью, и на минуту старик испугался. Но скоро все прошло. Он сплюнул в океан и сказал:

— Ешьте, *galanos*, давитесь! И пусть вам приснится, что вы убили человека.

Старик знал, что теперь уже побежден окончательно и непоправимо, но, вернувшись на корму, обнаружил, что обломок румпеля входит в рулевое отверстие и что им, на худой конец, тоже можно править.

Накинув мешок на плечи, он вернул лодку на курс. Теперь она шла легко, и старик ни о чем не думал и ничего не чувствовал. Теперь ему было все равно, лишь бы поскорее и получше привести лодку к родному берегу. Ночью акулы накинудись на обглоданный остов рыбы, словно обжоры, хватающие объедки со стола. Старик не обратил на них внимания. Он ни на что больше не обращал внимания, кроме своей лодки. Он только ощущал, как легко и свободно она идет теперь, когда ее больше не тормозит огромная тяжесть рыбы.

«Хорошая лодка,— подумал он.— Она цела и невредима, если не считать румпеля. А румпель нетрудно поставить новый».

Старик чувствовал, что вошел в теплое течение, и ему были видны огни прибрежных поселков. Он знал, где находится, и добраться до дому теперь не составляло никакого труда.

«Ветер — он-то уж наверняка нам друг,— подумал он, а потом добавил: — Впрочем, не всегда. И огромное море — оно тоже полно и наших друзей, и наших врагов. А постель...— думал он,— постель — мой друг. Вот именно, обыкновенная постель. Лечь в постель — это великое дело. А как легко становится, когда ты побежден! — подумал он.— Я и не знал, что это так легко... Кто же тебя победил,

старик? — спросил он себя. — Никто, — ответил он. — Просто я слишком далеко ушел в море».

Когда он входил в маленькую бухту, огни на Террасе были погашены, и старик понял, что все уже спят. Ветер беспрерывно крепчал и теперь дул очень сильно. Но в гавани было тихо, и старик пристал к полосе гальки под скалами. Помочь ему было некому, и он подгрел как можно ближе. Потом вылез из лодки и привязал ее к скале.

Сняв мачту, он намотал на нее парус и завязал его. Потом взвалил мачту на плечо и двинулся в гору. Вот тогда-то он понял всю меру своей усталости. На минуту он остановился и, оглянувшись, увидел в свете уличного фонаря, как высоко вздымается за кормой лодки огромный хвост рыбы. Он увидел белую обнаженную линию ее позвоночника и темную тень головы с выдающимся вперед мечом.

Старик снова начал карабкаться вверх. Одолев подъем, он упал и полежал немного с мачтой на плече. Потом постарался встать на ноги, но это было нелегко, и он так и остался сидеть, глядя на дорогу. Пробежала кошка, направляясь по своим делам, и старик долго смотрел ей вслед; потом стал глядеть на пустую дорогу.

Наконец он сбросил мачту наземь и встал. Подняв мачту, он снова взвалил ее на плечо и пошел вверх по дороге. Ему пришлось отдыхать пять раз, пока он достиг своей хижинны.

Войдя в дом, он прислонил мачту к стене. В темноте он нашел бутылку с водой и панился. Потом лег на кровать. Он натянул одеяло на плечи, прикрыл им спину и ноги и заснул, уткнувшись лицом в газеты и вытянув руки ладонями вверх.

Он спал, когда утром в хижину заглянул мальчик. Ветер дул так сильно, что лодки не вышли в море, и мальчик проспал, а потом пришел в хижину старика, как приходил каждое утро. Мальчик убедился в том, что старик дышит, но потом увидел его руки и заплакал. Он тихонько вышел из хижинны, чтобы принести кофе, и всю дорогу плакал.

Вокруг лодки собралось множество рыбаков, и все они рассматривали то, что было к ней привязано; один из рыбаков, закатав штаны, стоял в воде и мерил скелет веревкой.

Мальчик не стал к ним спускаться; он уже побывал внизу, и один из рыбаков пообещал ему присмотреть за лодкой.

— Как он себя чувствует? — крикнул мальчику один из рыбаков.

— Спит, — отозвался мальчик. Ему было все равно, что они видят, как он плачет. — Не надо его тревожить.

— От носа до хвоста в ней было восемнадцать футов! — крикнул ему рыбак, который мерил рыбу.

— Не меньше, — сказал мальчик.

Он вошел на Террасу и попросил банку кофе:

— Дайте мне горячего кофе и побольше молока и сахара.

— Возьми что-нибудь еще.

— Не надо. Потом я погляжу, что ему можно будет есть.

— Ох и рыба! — сказал хозяин. — Прямо-таки побывалая рыба. Но и ты поймал вчера две хорошие рыбы.

— Ну ее совсем, мою рыбу! — сказал мальчик и снова заплакал.

— Хочешь чего-нибудь выпить? — спросил его хозяин.

— Не надо, — ответил мальчик. — Скажи им, чтобы они не надоедали Сантьяго. Я еще приду.

— Передай ему, что я очень сожалею.

— Спасибо, — сказал мальчик.

Мальчик отнес в хижину банку с горячим кофе и посидел около старика, пока тот не проснулся. Один раз мальчику показалось, что он просыпается, но старик снова забылся в тяжелом сне, и мальчик пошел к соседям через дорогу, чтобы взять у них взаймы немного дров и разогреть кофе.

Наконец старик проснулся.

— Лежи, не вставай, — сказал ему мальчик. — Вот выпей! — Он налил ему кофе в стакан.

Старик взял у него стакан и выпил кофе.

— Они одолели меня, Манолин, — сказал он. — Они меня победили.

— Но сама-то она ведь не смогла тебя одолеть! Рыба ведь тебя не победила!

— Нет. Что верно, то верно. Это уж потом случилось.

— Педрико обещал присмотреть за лодкой и за снастью. Что ты собираешься делать с головой?

— Пусть Педрико разрубит ее на приманку для сетей.

— А меч?

— Возьми его себе на память, если хочешь.

— Хочу,— сказал мальчик.— Теперь давай поговорим о том, что нам делать дальше.

— Меня искали?

— Конечно. И береговая охрана, и самолеты.

— Океан велик, а лодка совсем маленькая, ее и не заметишь,— сказал старик. Он почувствовал, как приятно, когда есть с кем поговорить, кроме самого себя и моря.— Я скучал по тебе,— сказал он.— Ты что-нибудь поймал?

— Одну рыбу в первый день. Одну во второй и две в третий.

— Прекрасно!

— Теперь мы опять будем рыбачить вместе.

— Нет. Я невезучий. Мне больше не везет.

— Да наплевать на это везенье! — сказал мальчик.— Я тебе принесу удачу.

— А что скажут твои родные?

— Песважно. Я ведь поймал вчера две рыбы. Но теперь мы будем рыбачить с тобой вместе, потому что мне еще многому надо научиться.

— Придется достать хорошую острогу и всегда брать ее с собой. Лезвие можно сделать из рессоры старого «Форда». Заточим его в Гуанабакоа. Оно должно быть острое, но без закалки, чтобы не сломалось. Мой нож-то сломался.

— Я достану тебе новый нож и заточу рессору. Сколько дней еще будет сильный brisa? ¹

— Может быть, три. А может быть, и больше.

— К тому времени все будет в порядке,— сказал мальчик.— А ты покуда подлечи свои руки.

— Я знаю, что с ними делать. Ночью я выплюнул какую-то странную жидкость, и мне показалось, будто в груди у меня что-то разорвалось.

— Подлечи и это тоже,— сказал мальчик.— Лежи, старик, я принесу тебе чистую рубаху. И чего-нибудь поесть.

— Захвати какую-нибудь газету за те дни, что меня не было,— попросил старик.

— Ты должен поскорее поправиться, потому что я еще многому должен у тебя научиться, а ты можешь научить меня всему на свете. Тебе было очень больно?

— Очень,— сказал старик.

— Я принесу еду и газеты. Отдохни, старик. Я возьму в аптеке какое-нибудь снадобье для твоих рук.

¹ Береговой ветер (исп.).

— Не забудь сказать Педрико, чтобы он взял себе голову рыбы.

— Не забуду.

Когда мальчик вышел из хижины и стал спускаться вниз по старой каменистой дороге, он снова заплакал.

В этот день на Террасу приехала группа туристов, и, глядя на то, как восточный ветер вздувает высокие валы у входа в бухту, одна из приезжих заметила среди пустых пивных жестянок и дохлых морских щук длинный белый позвоночник с огромным хвостом на конце, который вздымался и раскачивался на волнах прибоя.

— Что это такое? — спросила она официанта, показывая на длинный позвоночник огромной рыбы — сейчас уже просто мусор, который скоро унесет отливом.

— Tiburon, — сказал официант. — Акулы. — Он хотел объяснить ей, что произошло.

— Вот не знала, что у акул бывают такие красивые, изящно выгнутые хвосты!

— Да, и я не знал, — согласился ее спутник.

Наверху, в своей хижине, старик опять спал. Он снова спал лицом вниз, и его сторожил мальчик. Старику снились львы.

Опасное лето

Перевод Е. Калашниковой и В. Топер

THE DANGEROUS SUMMER
1960

Страшно было снова ехать в Испанию. Я не надеялся, что меня когда-нибудь пустят опять в эту страну, которую после родины я люблю больше всех стран на свете, да я бы и сам не поехал, пока хоть один из моих испанских друзей еще сидел в тюрьме. Но весной 1953 года, когда мы собрались в Африку, у меня возникла мысль заехать в Испанию по дороге; я посоветовался на Кубе с несколькими приятелями, сражавшимися в гражданскую войну в Испании на той и на другой стороне, и было решено, что я с честью могу вернуться в Испанию, если, не отрекаясь от того, что мною написано, буду помалкивать насчет политики. О визе вопрос не вставал. Американским туристам теперь виза не требуется.

В 1953 году никто из моих друзей уже не находился в тюрьме, и я строил планы, как я повезу Мэри, мою жену, на ферию в Памплону, а оттуда мы поедem в Мадрид, чтобы побывать в музее Прадо, а потом, если нас к этому времени не посадят, еще посмотрим в Валенсии бой быков, прежде чем отплыть к берегам Африки. Я знал, что Мэри ничего не угрожает, так как она раньше в Испании не бывала, а все ее знакомые принадлежат к избранному кругу. В случае чего они сразу же поспешат к ней на выручку.

Не задерживаясь в Париже, мы быстро пересекли Францию и через Шартр, долину Луары и Бордо доехали до Биаррица, где кое-кто из знакомых, принадлежащих к избранному кругу, ожидал нас, чтобы вместе с нами пересечь границу. Мы обстоятельно закусили и выпили и условились в определенный час встретиться в отеле в Андайе и вместе ехать дальше. Один из наших знакомых запасся письмом от герцога Мигеля Примо де Ривера, испанского посла в Лондоне, которое своей волшебной силой

якобы могло вызволить нас из любой беды. Узнав об этом, я несколько прибодрился.

Было мрачно и шел дождь, когда мы добрались до отеля в Андайе, мрачно и пасмурно было и на другое утро, и низко нависшие тучи скрывали от глаз испанские горы. Знакомые паши в назначенное время не явились. Я подождал час, потом еще полчаса. Потом мы двинулись к границе.

Пограничный пост тоже выглядел довольно мрачно. Я предъявил наши паспорта, и полицейский инспектор долго изучал мой паспорт, не глядя на меня. Обычная испанская манера, но от этого не легче.

— Вы не родственник писателю Хемингуэю? — спросил инспектор, по-прежнему не глядя на меня.

— Из той же семьи, — ответил я.

Он перелистал паспорт, потом всмотрелся в фотографию.

— Вы Хемингуэй?

Я подтянулся почти по-военному и сказал: «A sus órdenes», — что по-испански значит и «слушаюсь!», и «к вашим услугам!». Мне случалось слышать и видеть, как эти слова произносились при самых различных обстоятельствах, и, надеюсь, я сумел произнести их и оттенить голосом как нужно.

Во всяком случае, инспектор встал, протянул руку и сказал:

— Я читал все ваши книги, и они мне очень нравятся. Сейчас я поставлю штамп на ваших документах и, если понадобится, помогу вам на таможне.

Так я снова попал в Испанию, и мне даже не верилось, что это правда, и при каждой новой проверке документов — а их еще в трех местах проверяли, пока мы ехали вдоль реки Бидассоа, — я ждал, что вот сейчас нас задержат или отправят обратно. Но каждый раз полицейский, внимательно и учтиво просмотрев наши паспорта, махал рукой в знак того, что можно ехать. Нас было четверо — чета американцев, жизнерадостный итальянец из Венеции и шофер, тоже итальянец, из Удине, — и направлялись мы в Памплону на праздник святого Фермина. Джанфранко, наш итальянский спутник, бывший роммелевский офицер, одно время работал на Кубе и жил у нас в качестве близкого и любимого друга. Он нас встретил с машиной в Гавре. Шофер Адамо мечтал со временем открыть похоронное бюро. Впоследствии он осуществил эту мечту, так что,

если вам доведется умереть в Удине, вы станете его клиентом. Никто никогда не спрашивал его, на чьей стороне он сражался в гражданскую войну в Испании. Для своего душевного спокойствия я тепил себя надеждой, что и на той и на другой. Учитывая поистине леонардовскую многогранность, обнаружившуюся в нем при более близком знакомстве, можно считать это вполне вероятным. На одной стороне он мог драться за свои убеждения, на другой — за свою родину или за город Удине, а если бы существовала еще третья сторона, нашлось бы, за что драться и на третьей: за господ бога, или за фирму «Ланчия», или за торговлю похоронными принадлежностями — ведь все это в равной мере было дорого его сердцу. И мы были дороги его сердцу, а также вся женская половина рода человеческого. Если хоть одна десятая часть его подвигов не являлась вымыслом, Казанова по сравнению с Адамо не более как итальянский Генри Джеймс, а Дон-Жуан просто ничего не стоит. Если вы, как я, любите путешествовать весело, путешествуйте с итальянцами. Нельзя было подобрать лучших спутников, чем те двое, что вместе с нами сидели в отличной, выносливой «ланчии», бодро поднимавшейся в гору по обсаженной каштанами дороге, оставив внизу зеленую долину Бидассоа; а пока длился подъем, туман вокруг постепенно редел, и я знал, что за Коль-де-Белате, когда мы выедем на горное плато Наварры, нас ожидает ясное, безоблачное небо.

Эта книга задумана как рассказ о бое быков, но в то время я относился к бою быков довольно равнодушно, мне просто хотелось, чтобы Мэри и Джанфранко увидели это зрелище. Мэри ездила смотреть Манолето, когда он последний раз выступал в Мексике. Погода в тот день была ветреная, быки никуда не годились, но Мэри понравилось, и я понял, что, если такая убогая коррида произвела на нее впечатление, значит, из нее выйдет настоящая любительница боя быков. Говорят, кто может прожить без боя быков год, тот и всю жизнь без него обойдется. Это не совсем верно, но доля истины тут есть, а я четырнадцать лет не видел боя быков, если не считать корриды в Мексике. Правда, для меня эти годы во многом были похожи на тюремное заключение, только не внутри тюрьмы, а снаружи.

Я читал и слышал от верных людей о недостойных уловках, которые вошли в практику при Манолето и потом укоренились. Чтобы уменьшить риск для матадора, быку

спиливают кончики рогов, а затем остругивают и обтачивают для придания им естественного вида. Такие подпиленные рога чувствительны, как пальцы, на которых ногти срезаются до живого мяса, и если хоть раз заставить быка ткнуться ими в барьер, он испытает такую боль, что потом будет избегать любых ударов рогами. То же самое случится, если он боднет плотный, негнувшийся брезент попоны, которая служит броней лошадям.

Кроме того, когда рога у быка укорочены, он теряет чувство расстояния, и матадору легче увертываться от него. На скотоводческой ферме быки постоянно дерутся между собой, и в этих подчас кровопролитных драках учатся действовать рогами, так что чем бык старше, тем больше у него опыта и умения. И вот антрепренеры, у которых всегда, кроме матадоров-звезд, есть еще целый штат матадоров помельче, добиваются от скотоводов выращивания так называемых «полубыков» — медиоторо. Медиоторо — это бычок не старше трех лет, еще не научившийся хорошо действовать рогами. Пастбище для него выбирается поближе к воде, чтобы ему не приходилось много ходить и чтобы ноги у него не слишком окрепли. Кормят его зерном, от чего он быстро достигает требуемого веса и на вид ничем не отличается от взрослого быка. Но на самом деле это всего лишь полубык, лишенный настоящей силы, и матадор, которому не так уж трудно справиться с ним, должен даже беречь его, чтобы он не изнемог раньше времени.

Но и подпиленным рогом бык может нанести человеку смертельное увечье. Немало матадоров получило тяжелые раны в боях с быками, у которых рога были укорочены. И все же работать с такими быками в десять раз безопаснее, а убивать их в десять раз легче.

Рядовой зритель ничего не заметит, он в рогах не разбирается и не обратит внимания на шершавую беловатость оструганного места. Он видит блестящие черные копчики рогов и не догадывается, что эта чернота и блеск искусственного происхождения. С помощью машинной смазки можно так обработать оструганный рог, что он будет блестеть не хуже старого сапога, начищенного седельной мазью; но опытный взгляд сразу обнаружит обман, как памятный глаз ювелира обнаруживает изъяз в брильянте, — только с гораздо большего расстояния.

Во времена Манолето, да и позднее существовали бесчестные антрепренеры, которые в то же время являлись подрядчиками или же были связаны с подрядчиками и со

скотоводами, поставлявшими быков. Идеальным быком для своих матадоров они считали медиоторо, и многие скотоводы специально выращивали для них таких полубыков в большом количестве. Раскормленный зерном бык кажется крупней, чем он есть, но на самом деле это просто молодой бычок, которого легко раздражить и легко заставить слушаться. О рогах беспокоиться нечего. Рога можно укоротить, а потом ошеломлять публику чудесами, которые продельывает с таким быком матадор: вот он ждет его, стоя к нему спиной; вот пропускает у себя под рукою, глядя не на него, а на зрителей; вот становится на одно колено перед разъяренным животным и, приложив левый локоть к уху быка, словно бы говорит с ним по телефону; вот гладит его рог или, отбросив мулету и шпагу, обводит публику взором ярмарочного комедианта, а бык, одуревший, истекающий кровью, стоит перед ним, точно затарованный, — и публика дивится на весь этот балаган, веря, что происходит возрождение золотого века тавромахин.

Итак, по разным причинам, прежде всего потому, что возраст болельщика для меня миновал, я почти остыл к бою быков; но за это время появилось новое поколение матадоров, и мне захотелось их посмотреть. Когда-то я знал их отцов, многие были моими друзьями, но одни умерли, другие ушли с арены, уступив чувству страха или из-за чего-нибудь другого, и я дал себе слово больше не заводить друзей матадоров: слишком сильно я страдал за них и вместе с ними, когда от страха или от неуверенности, которую рождает страх, они не могли справиться с быком. Я сам испытывал этот смертный страх, когда на арене был кто-нибудь из моих друзей, а так как мне за это не платили и помочь другу я ничем не мог, я решил, что глупо мучить себя подобным образом, да еще за свои деньги. Потом, в силу разных событий и обстоятельств и благодаря тому, что время нас учит многое видеть яснее, я почти избавился от этого страха, разрешив проблему лично для себя. Я даже умею передавать и другим — вообще или в особо напряженные минуты — эту способность без страха и даже без уважения относиться к опасности. Такой дар — счастье или несчастье для человека, смотря по тому, как его ценить и как им пользоваться. Я стараюсь не злоупотреблять этим даром и хорошо знаю, что утрачу его, как только ко мне самому вернется чувство страха. А оно может вернуться в любой день — все ведь на свете непрочно. Для меня лично самое прочное — это знание. Но пужно

высказать то, что знаешь, и тут никто тебе помочь не может.

В тот раз, в 1953 году, мы поселились за городом, в Лекумберри, и каждое утро ездили за двадцать пять миль в Памплону, с таким расчетом, чтобы быть на месте к семи часам, когда быки побегут по улицам. Женщинам тяжело вставать так рано, и потому жить в Лекумберри неудобно, хотя там есть хороший отель с очень милыми хозяевами, а дорога до Памплонны — одна из самых живописных в Наварре, особенно средняя ее часть, совершенно прямая; когда несешься по ней в быстроходной машине, испытываешь наслаждение полета.

В отеле в Лекумберри мы застали своих знакомых. Какие-то причины помешали им встретиться с нами в Апдайе в условленное время; поскольку в конце концов все уладилось, я не стал вникать в эти причины, и сумасшедшая неделя фиесты пошла своим чередом. К концу этой недели все мы уже прекрасно друг друга знали, и все или почти все друг друга любили, а это значит, что фиеста прошла удачно. В первый день сверкающий «роллс-ройс» графа Дэдли казался мне чуть-чуть претенциозным. В последний день я был от него в восторге. Так все складывалось в том году.

Джанфранко пристал к развеселой компании, состоявшей из чистильщиков сапог и начинающих карманников, и его постель в Лекумберри по большей части пустовала. Он стяжал хоть скромную, но все же славу тем, что расположился на ночлег в загороженном проходе, через который быки попадают в цирк, чтобы утром не проспять и не пропустить енсиеро, как с ним уже однажды случилось. Он не пропустил. Быки пробежали прямо над ним. Вся его компания страшно гордилась этим.

Адамо исправно являлся в цирк каждое утро. Он хотел, чтобы ему разрешили убить хоть одного быка, но администрация не пошла навстречу его желанию.

Погода стояла ужасная, Мэри, промокнув до костей, схватила сильную простуду, и температура у нее держалась до самого Мадрида. Бой быков проходил так неинтересно, что не стоило бы о нем и говорить, если б не одно знаменательное обстоятельство. Именно тогда мы впервые увидели Антонио Ордоньеса.

Мне стало ясно, что это великий матадор, едва только он сделал первое ките. Словно все великие мастера этого приема (а их было немало) ожили и вновь вышли на аре-

ну — только он был еще лучше. С мулетой он работал безукоризненно. Убил мастерски и без труда. Внимательно и пылливо следя за его движениями, я думал о том, что, если с ним ничего не случится, он будет по-настоящему велик. Я тогда не знал, что он все равно будет велик, что бы с ним ни случилось, и каждая серьезная рана только придаст ему еще больше мужества и страсти.

Много лет назад я близко знал Каэтано, отца Антонио, и дал его портрет и описание его боев в романе «И восходит солнце». Все в этой книге, что происходит на арене, списано с натуры. Все, что не относится к бою быков, мною вымышлено. Каэтано знал это и никогда не протестовал против моей книги.

Наблюдая Антонио во время боя, я узнавал в нем все, чем силен был его отец в годы расцвета. Техника Каэтано Ордоньеса была совершенна. Умело руководя своими помощниками, пикадорами и бандерильеро, он неторопливо и продуманно вел быка через все три стадии боя к завершающему смертельному удару.

В современном бою быков недостаточно подчинить себе быка мулетой и привести его в такое состояние, чтобы можно было вознить ему шнагу в загривок. Если бык еще в силах нападать, матадор должен выполнить ряд классических приемов — пассов, прежде чем нанести последний удар. Делая эти пассы, матадор пропускает быка мимо себя на таком расстоянии, что бык может достать его рогом. Чем ближе к человеку проходит бык, которого этот человек зовет и направляет, тем сильнее ощущения, испытываемые зрителями. Классические пассы чрезвычайно рискованны, и матадору приходится направлять движения быка при помощи куска ярко-красной материи, укрепленной на палке в сорок дюймов длиной. Существует много жульнических приемов, позволяющих матадору самому проходить мимо быка, вместо того чтобы пропускать его мимо себя, или же только пассивно встречать его движения, а не управлять ими. Самый эффектный трюк состоит в том, что матадор поворачивается спиной к быку, но, зная его повадку кидаться прямо вперед, становится так, чтобы не подвергать себя слишком большой опасности. С таким же успехом можно спокойно пройти мимо идущего навстречу трамвая; однако публика любит эти фокусы, к которым ее приучил Манолето, — ведь ей говорили, что Манолето великий матадор, вот она и считает все это великим искусством. Пройдут годы, прежде чем публика поймет,

что Манолето хоть и был великий матадор, но не брезговал дешевыми трюками, а не брезговал он ими потому, что публика их любит. Он выступал перед невежественными зрителями, которым нравилось, когда их обманывали.

С первого же боя Антонио Ордоньеса, который мне пришлось видеть, я убедился, что он может без жульничества выполнять все классические пассы, что он знает быков, умеет мастерски заканчивать бой в должную минуту и творит настоящие чудеса плащом. Я сразу признал в нем три главных качества матадора: храбрость, профессиональное мастерство и умение держаться красиво перед лицом смертельной опасности. Но когда при выходе из цирка один общий знакомый передал мне приглашение Антонио прийти к нему в отель «Йолди», я сказал себе: «Только не вздумай заводить опять дружбу с матадором, да еще с таким, как этот, потому что ты знаешь, насколько он хорош и какая это будет для тебя утрата, если с ним что-нибудь случится».

К счастью, я так и не научился следовать собственным добрым советам или прислушиваться к собственным опасениям. Я увидел в толпе Хесуса Кордову, мексиканского матадора, который родился в Канзасе, отлично говорит по-английски и только накануне посвятил мне убитого им быка, тем самым восстановив мою репутацию, ибо человек, которому посвятили быка в Испании, не может быть красным (прежде всего потому, что красные не ходят на бой быков, это противоречит их учению). Я спросил Хесуса, где находится отель «Йолди», и он предложил проводить меня. Хесус Кордова — славный малый и способный, толковый матадор, и я рад был поболтать с ним. Он довел меня до самой двери номера Антонио.

Антонио лежал на кровати совершенно голый, если не считать полотенца, игравшего роль фигового листка. Я прежде всего заметил его глаза — вряд ли есть на свете другая пара таких ярких веселых черных глаз с озорным мальчишеским прищуром; потом мое внимание невольно привлекли шрамы на правом бедре. Антонио протянул мне левую руку — правую он сильно поранил шпагой, убивая второго быка, — и сказал:

— Садитесь на кровать. Скажите — ведь вы знали моего отца. Я не хуже его?

Глядя в эти удивительные глаза, которые уже больше не щурились, а смотрели доверчиво, словно не было никакого сомнения, что мы станем друзьями, я сказал ему,

что он лучше своего отца, и рассказал, какой замечательный матадор был его отец. Потом мы заговорили о его раненой руке. Он сказал, что через два дня будет снова выступать. Порез был глубокий, но не задел сухожилия. В это время зазвонил телефон — Антонио заказал разговор со своей невестой Кармен, дочерью его антрепренера Домингина и сестрой Луиса Мигеля Домингина, матадора, — и я отошел, чтобы не слушать. Когда он кончил разговаривать, я стал прощаться. Мы уговорились встретиться в Эль-Рей-Нобле, я уже не помню, когда именно, и встретились, и Мэри тоже была с нами, и с тех пор началась наша дружба.

Стать компаньонами — socios — мы решили в 1956 году. Сущность наших деловых взаимоотношений сводилась к тому, что я должен был заниматься литературной частью предприятия, а Антонио — той частью, которая относилась к бою быков. Были и другие пункты. Испанская пресса проявляла живейший интерес к нашим деловым проектам, которые всегда отличались большим размахом и смелостью. Кто-нибудь вдруг присылал мне вырезанные из газеты интервью с Антонио, из которых на каком-то восторгом узнавал, что мы строим ряд мотелей на каком-то побережье, где я никогда в жизни не бывал. Однажды один репортер спросил нас, какие проекты мы намерены осуществить в ближайшее время в Америке. Я сказал, что мы желали бы купить долину Сан-Вэлли в штате Айдахо, но никак не сойдемся в цене с компанией «Юнион пасифик».

— Я думаю, Папа, у нас есть только один выход, — сказал Антонио. — Придется купить «Юнион пасифик».

Подобная быстрота решений, а также неограниченные наличные средства, которыми мы располагали в разных странах благодаря переводным изданиям моих книг и выступлениям Антонио в Латинской Америке, позволили нам приобрести в интересах прессы крупный пакет акций «Лас Вегас», несколько медных рудников, десятков-другой арен для боя быков, оперный театр «Ла Скала» в Милане и разветвленную систему комфортабельных отелей в разных городах; мы также контролируем производство опиума во Внешней Монголии и выпуск сигарет «Лаки страйк», а в настоящее время торгуем у семейства Дюпон контрольный пакет акций «Дженерал моторс». Этим пока наша деятельность ограничивается, если не считать интереса к последним достижениям в области электроники, пока еще не принявшего определенную форму.

В то лето, когда мы впервые увидели Антонио на арене, Луис Мигель Домингин уже не выступал. Незадолго до того он купил скотоводческую ферму близ Саэлисеа, на дороге Мадрид — Валенсия, и назвал ее «Вилла Мир». Отца его я знал давно. Отец был родом из Кисмондо в провинции Толедо и считался неплохим матадором в те времена, когда в Испании было два великих матадора. Уйдя с арены, он превратился в энергичного и хитрого дельца: это он открыл и представил публике Доминго Ортега. У Домингина и его жены было трое сыновей и две дочери. Все три сына стали матадорами. Я не видел на арене ни одного из них. Но от людей, мнению которых я доверяю, мне приходилось слышать, что старший, Доминго, превосходно умел наносить быку завершающий, смертельный удар, однако этим его достоинства и ограничивались. Псене был первоклассным, совершенно исключительным бандерильеро и с другими элементами боя справлялся недурно. Луис Мигель обладал подлинным талантом, который сказывался во всем, он отлично владел бандерильями и вообще был то, что в Испании называется *torero muy largo*, иначе говоря, имел богатый репертуар пассов и грациозных телодвижений, легко подчинял быка своей воле и убивал его со всем возможным мастерством.

Домингин-отец обделывал свои дела в «Сервессерия Алемана», отличном кафе с пивным залом на Пласа-Санта-Ана в Мадриде, постоянным посетителем которого я был в течение многих лет. Тут же, за углом, был дом, где жило все семейство. Это он, Домингин-отец, помогал Мэри выбрать заповки мне в подарок ко дню рождения, и он же пригласил нас по дороге в Валенсию заехать позавтракать к Луису Мигелю на его новую ферму. Джанфранко должен был вернуться в Италию, а мы — Мэри, я и Хуапито Кинтана, старый паш знакомец, повстречавшийся нам в Мадриде, — поехали дальше, и в знойный летний кастильский полдень, когда горячий ветер из Африки взметал тучи соломенной пыли над токами, расположенными у дороги, мы остановились перед домом, от которого веяло тенью и прохладой. Луис Мигель был неотразим — высокий, смуглый, узкобедрый, с чуть длинноватой для матадора шеей, с неулыбающимся, слегка презрительным лицом, на котором сквозь профессиональную надменность вдруг проступала веселая усмешка. Мы застали там Антонио с Кармен, младшей сестрой Луиса Мигеля. Это была смуглая красавица, великолепно сложенная. Они с Антонио собирались

пожениться этой осенью, и по каждому их слову и движению видно было, как они влюблены друг в друга.

Мы посмотрели стадо, побывали на птичьем дворе и в конюшне, и я даже вошел в клетку, где сидел недавно пойманный близ фермы волк, чем доставил большое удовольствие Антонио. Волк был здоровый на вид, и можно было не опасаться, что он бешеный, поэтому я решил, что ничем не рискую — ну, укусит в крайнем случае, — а мне очень хотелось войти и поиграть с ним. Он меня встретил очень дружелюбно, почуял, должно быть, любителя волков.

Мы увидели новенький бассейн для плавания, в котором еще даже не было воды, и полюбовались бронзовой статуей Мигеля в натуральную величину, — не каждому удастся при жизни украсить свое жилище таким предметом. Мне живой Мигель понравился больше, чем его статуя, хотя статуя, пожалуй, выглядела чуточку благороднее. Но это нелегкое дело — выдерживать постоянное соревнование со своей собственной статуей в своем собственном доме. Впрочем, в этом году Мигель оставил статую в этом соревновании далеко позади. Статуя так и осталась статуей, а Мигель показал себя в беде лучше и достойнее всех, кого я когда-либо видел в беде, а я видел многих.

Мы прекрасно провели время в доме Луиса Мигеля (друзья зовут его просто Мигель), пили сангрию — род лимонада с красным вином — и на славу позавтракали перед отъездом. После этого мы ни Мигеля, ни Антонио не видели до 1954 года, до нашего возвращения из Африки. Но еще на борту парохода мы получили телеграмму от Антонио, выступавшего в это время в Малаге. Он нам желал счастливого пути. И после нашей аварии близ Мерчисон-Фоллз и пожара в Бутнабе, когда мы наконец добрались до такого места, где можно было достать другой самолет, первая телеграмма, полученная нами в Энтеббе, тоже была от него.

Мигеля я увидел опять в мае 1954 года в Мадриде. Он пришел к нам в номер в отель «Палас», где все собрались после очень неудачной корриды, происходившей в дождливый, ветреный день. Было полно людей, стаканов и дыма и слишком много разговоров о том, о чем лучше было бы позабыть. У Мигеля был ужасный вид. Когда он в форме, он похож на Дон-Жуана пополам с Гамлетом, но в этот шумный вечер он был небрит, выглядел утомленным и похудевшим и весь как будто сник. Он пришел прямо из больницы, где лежала Ава Гарднер, страдавшая от жесто-

ких болей, причиняемых какими-то камнями, которые проходят или, напротив, не могут пройти, и я потом узнал, что Мигель сутки дежурил у ее постели, делая все, что может сделать врач или сиделка, чтобы облегчить боль. Я навещал Аву в больнице, и она сама рассказала мне, как трогательно он за ней ухаживал.

Мигель все еще не вернулся на арену, но уже подумывал о выступлениях во Франции, и несколько раз я ездил с ним на берег Гвадаррамы, где он тренировался на молодых бычках, желая определить, сколько времени ему потребуется, чтобы снова войти в форму. Мне нравилось смотреть, как он работает, упорно, настойчиво, не щадя сил и не давая себе отдыха, а если он чувствовал, что начинает уставать или что у него сдает дыхание, то все же заставлял себя продолжать и не успокаивался, пока не доводил быка до изнеможения. Тогда он принимался работать с другим быком, обливаясь потом и стараясь выровнять дыхание в короткие паузы перед вступлением нового быка в борьбу. Мне нравились его гибкость, его быстрота, его манера работать с быком, умело используя свои природные данные, его величественные ноги, мгновенность его реакции, неисчерпаемое разнообразие его пассив и поистине энциклопедическое знание быка. Было наслаждением смотреть, как он работает, тем более что дождливая полоса кончилась и кругом было по-весеннему хорошо. Одно только меня огорчало. Его стиль не волновал меня.

Мне не нравилось, как он работает плащом. Я перевидал всех великих мастеров этого искусства, начиная с Бельмонте, открывшего современный период в истории боя быков, и уже там, в предгорьях Гвадаррамы, я сразу понял, что Мигель не принадлежит к их числу.

Впрочем, это была всего лишь частность, которая не мешала мне находить большое удовольствие в его обществе. У него был острый, язвительный ум, и, когда он одно время гостил у нас на Кубе, я узнал от него много интересного о самых разных вещах. Он не только умен, но и хорошо умеет выражать свои мысли, а кроме того, одарен разнообразными способностями, ничего общего не имеющими с боем быков. Я знаю всех его родных и должен сказать, что это на редкость интеллигентная семья. Мне и раньше приходилось встречать его братьев, Доминго и Пепе, но я совершенно не представлял себе тогда, какие это образованные и умные люди, и, хоть я знал, что Кармен, их сестра, не только хороша собой, но и собеседница прекрасная,

лишь в 1956 году, когда Мэри и я стали часто встречаться с Кармен и Антонио, я понемногу оценил в полной мере достоинства этой удивительной семьи.

С Мигелем всегда интересно, иметь его своим гостем — одно удовольствие; ни от кого мне не приходилось слышать таких сногшибательных суждений о жизни и о бое быков. Я никогда их не повторял, и мы с ним оставались друзьями; тем тяжелей досталась мне вся эпопея 1959 года. Будь Мигель врагом, не будь он моим другом и братом Кармен, и Доминго, и Пепе и шурином Антонио, все было бы просто. Может быть, не совсем просто, но не пришлось бы испытать ничего, кроме обыкновенного человеческого сочувствия.

Для Антонио 1958 год был особенно удачным, такого удачного года у него еще не бывало. Два раза в этом году мы совсем было собрались ехать в Испанию, но я не мог прервать работу над своим новым романом. В поздравительной открытке, которую мы послали Антонио и Кармен к рождеству, я писал, что если нам пришлось пропустить этот сезон, то уж следующего мы не пропустим ни за что и при всех обстоятельствах приедем в Мадрид не позже мая, чтобы уснуть к празднику святого Исидора. Как показало время, я бы никогда не простил себе, если бы пропустил то, что произошло весной, летом и осенью этого года. Страшно было бы это пропустить, хотя страшно было и присутствовать при этом. Но пропустить такое нельзя.

Наше путешествие на «Констительюшн» началось в солнечную, ясную погоду, но уже через день погода изменилась, и почти до самого Гибралтарского пролива мы шли в сплошной полосе дождей и туманов. «Констительюшн» — большое красивое судно, и среди его пассажиров нашлось много приятных людей. Мы его прозвали «Констительюшн Хилтон», потому что на нем меньше, чем на каком-либо другом судне, чувствовалось, что плывешь по морю. Его не качало. Кормили вкусно и доброкачественно. Имелось несколько отличных баров с превосходными барменами. Моряки, от капитана до матросов, были милейшие люди, обслуживание не оставляло желать лучшего. Ехать на нем после старой «Нормандии», «Иль де Франс» или «Либерте» было все равно что жить в одном из отелей Хилтона, предпочтя его уютному номеру отеля «Ритц» в Париже, с окнами в сад. Но мне жаль было, когда путешествие кончилось, потому что мы успели завести на борту много друзей.

Солнце ярко светило и море было синее, когда мы шли через Гибралтарский пролив, и справа от нас, отступая все дальше и вырастая в высоту, темнели берега Африки. По небу неслись белые облака, подгоняемые все еще свежим ветром, и с мостика, где капитан негромко и коротко переговаривался с рулевым, который вел судно среди других заполнявших бухту судов, чтобы встать на якорь против белого мавританского городка Альхесираса, раскинувшегося на склонах зеленых гор, — с мостика, откуда, повернув голову вправо, можно было увидеть массивную, хоть и беспорядочно изрытую глыбу Гибралтара, «Конституция» уже не казался плавучим отелем, а вновь обрел все свои качества огромного, неправдоподобно могучего корабля, легко и красиводвигающегося по воле направляющей его руки.

На берегу, куда нас доставил катер, таможенники и иммиграционные власти обходились с путешественниками очень любезно. Багаж пропускали без всякого осмотра. И сколько раз мы ни пересекали испанскую границу в то лето и осень, везде было то же самое. Только на границе Гибралтара, где шла холодная война с англичанами, у туристов проверяли чемоданы — и то наших чемоданов никто не проверял. Мои гибралтарские покупки, о которых я заявил, были обложены пошлиной, но в одном пункте таможенный чиновник сказал мне, что таможенники хотят взять на себя уплату пошлины за виски, вывезенное мною из Гибралтара. Он сказал, что читал «Старик и море» в испанском переводе и что сам он рыбак.

Высадившись в Альхесирасе, я потратил некоторое время, чтобы выправить полицейское разрешение на ружья, которые у нас были с собой. Прежде, когда Испания еще не заботилась о привлечении в страну туристов, это заняло бы несколько дней. В альхесирасской полиции все было улажено в пять минут; меня только попросили указать тип, калибр и номер каждого ружья и мои паспортные данные. Два ружья принадлежали Мэри, но их тоже вписали в мое разрешение.

Как только ружья были уложены в машину со всем прочим багажом, мы тронулись в путь, проехали в сумерках по взбирающимся в гору улицам белого городка и через старые кварталы, похожие на арабское селение, выехали на узкое, обсаженное деревьями черное шоссе, которое обегает бухту и, миновав полосу болот, поднимается наперерез длинному выступу, протянувшемуся вдоль неширо-

кой долины к подножью Гибралтара, будто палец, упирающийся в гигантского окаменелого динозавра. У основания пальца был устроен таможенный пост — то ли для острастки контрабандистам, то ли в качестве своеобразного оружия холодной войны. Так как мы ехали из Альхесираса, нас останавливать не стали, и мы в наступившей уже темноте пустились петлять по изгибам дороги, идущей из Гибралтара в Малагу параллельно берегу моря. Машину вел шофер из Малаги, нанятый Биллом Дэвисом, который встречал нас в альхесирасском порту, — и, по-моему, вел очень плохо, особенно когда приходилось проезжать через людные улицы встречных рыбацких городков, где в это время шло вечернее гулянье; но я решил, что просто нервничаю с непривычки после американских дорог. Я и в самом деле первничал из-за этого шофера — и не без оснований, как выяснилось позднее.

Семейство Дэвисов — Билл, Энни и двое малышей, Тео и Нена, — обитало в горах над Малагой, на вилле, которая называлась «Консула». Там у ворот, когда они не были заперты, дежурил сторож. Там к дому вела длинная подъездная аллея, усыпанная гравием и обсаженная кипарисами. Там был сад не хуже мадридского Ботанико. Там в чудесном большом прохладном доме были просторные комнаты, и тростниковые маты на полу, и много книг, а на стенах старинные карты и хорошие картины. Там имелись камин, где в холодную погоду можно было развести огонь.

Там был бассейн для плавания, куда вода поступала из горного источника, и там не было телефона. Можно было ходить босиком, только не стоило этого делать, так как май был прохладный и солнце не согревало мраморных ступеней. Ели там вкусно, пили вволю. Каждый мог делать, что хотел, и, когда я, проснувшись утром, выходил на открытую галерею, опоясывавшую второй этаж дома, и смотрел на верхушки сосен в парке, за которыми видны были горы и море, и слушал, как шумит в сосновых ветвях ветер, мне казалось, что лучшего места я никогда не видел. В таком месте чудесно работает, и я сел за работу с первого же дня. У меня были целых две недели в запасе: нам достаточно было выехать в середине мая, чтобы попасть в Мадрид к первому бою быков ферии святого Исидора.

В Андалузии весенний сезон боя быков был уже на исходе. Севильская ферия только что окончилась. Тот, кто не был там, ничего не потерял. В день, когда «Копсти-

тьюшп» бросила якорь в порту Альхесираса, в Херес-де-ла-Фронтера должно было состояться первое в этом сезоне выступление Луиса Мигеля в Испании, но он прислал свидетельство от врача о том, что выступать не может из-за отравления птомаином,— должно быть, поел испортившихся рыбных консервов на празднике, который устроил у себя на ферме в честь Эльзы Максвелл. Такое начало не сулило ничего утешительного, и еще менее утешительно выглядели снимки и отчеты об этом празднике, помещенные в газетах. Мне пришло в голову, что лучше всего, пожалуй, остаться на вилле «Консула», работать, купаться и время от времени ездить на бой быков, если случится интересный поблизости. Но я обещал Антонио быть к празднику святого Исидора в Мадриде, и, кроме того, мне нужно было собрать дополнительный материал для задуманного мной добавления к «Смерти после полудня».

Всех удивило наше отсутствие на корриде 3 мая в Хересе, когда Антонио убил двух быков с фермы Хуана Педро Демека, показав великолепную работу. Многие спрашивали Антонио, где его компаньон, почему он не приехал,— так, по крайней мере, рассказывал Руперт Белвилл, прямо из Хереса явившийся в «Консулу» на сером, похожем на жучка «фольксвагене», куда его шесть с половиной футов было труднее втиснуть, чем в кабину истребителя. Антонио, по его словам, отвечал любопытным: «Эрнесто нужно работать, так же, как и мне. Мы с ним в середине месяца встретимся в Мадриде». С Рупертом приехал Хуанито Кинтана, и я спросил его, как Антонио сейчас.

— Лучше чем когда-либо,— сказал Хуанито.— Он стал уверенней и совершенно спокоен. Он ни на минуту не дает быку передышки. Вот скоро увидишь сам.

— Какие-нибудь промахи ты заметил?

— Нет. Никаких.

— А как он наносит последний удар?

— Первый раз он метит высоко, опустив мулету очень низко. Если шпага упрется в кость, то второй раз он берет чуть-чуть ниже, чтобы попасть в артерию. Он точно знает, насколько можно взять ниже, не нарушая правил, и убивает храбро; но он научился не попадать в кость.

— Так ты думаешь, мы в нем не ошиблись?

— Нет, *hombre*, нет. Он оправдывает все ожидания, а то, что он перенес, только пошло ему на пользу. Он не стал ни в каком отношении слабее.

— А ты как — здоров?

— Вполне и очень рад, что мы опять вместе. В этом сезоне нам будет что посмотреть.

— А как Луис Мигель?

— Эрнесто, я не знаю, что тут сказать. В прошлом году в Витории ему пришлось иметь дело с пастоящими быками. Не с такими, какие бывали в наше время, но все-таки это были настоящие быки, и он не мог с ними справиться. Они не подчинялись ему, а он привык властвовать на арене.

— Что ж, разве он работает только с такими, у которых подправлены рога?

— Конечно нет. Но ты ведь знаешь, как это бывает.

— А в какой он сейчас форме?

— Говорят, в отличной.

— Тем лучше для него.

— Да, — сказал Хуанито. — Но Антонио — это лев. Только Хосе и Хуан вызывали у меня такое же чувство. Что он может сделать то, что нужно, и сделает то, что нужно, и заставит быка сделать то, что нужно, все время оставаясь хозяином боя.

— Были и другие, которые вызывали у нас это чувство, — сказал я. — Сам знаешь.

— Верно, — сказал Хуанито. — Но их не надолго хватило. А Антонио был серьезно ранен уже одиннадцать раз, и после каждой раны он еще лучше.

— Это, выходит, чуть ли не каждый год, — сказал я.

— Именно каждый год, — сказал Хуанито. Я трижды постучал по стволу большой сосны, у которой мы стояли. Ветер раскачивал верхушки деревьев, и сколько раз мы ни присутствовали на бое быков в эту весну и лето, всегда дул сильный ветер. Я не помню другого такого ветреного лета в Испании; и все отмечали, что никогда еще не было так много тяжелых увечий на арене, как в этот сезон.

Для меня большое число пострадавших в прошлогодних боях объясняется, во-первых, ветреной погодой, потому что ветер относит в сторону плащ или мулету, и человек вдруг остается неприкрытым и незащищенным перед быком; во-вторых — тем, что все выступавшие матадоры состязались с Антонио Ордоньесом и старались подражать ему, независимо от того, был ветер или нет. Были и другие причины, о них я скажу после.

Людам, далеким от боя быков, всегда кажется страшным, что так много матадоров бывает ранено и так мало

умирает. Секрет тут прост: антибиотики и современная техника хирургии. Жизнь матадора в такой же мере зависит от пенициллина и других антибиотиков, как от его верных помощников. Пенициллин — невидимый член куадрилы. Без антибиотиков десятка два матадоров и повильеро, раненных в прошлом году, погибло бы. При антибиотиках и современной хирургической технике многие знаменитые матадоры прошлого остались бы в живых.

Об этом разговаривали мы с Хуанито, прогуливаясь по саду «Консулы»; вспоминали разные случаи, перебирали имена людей, которых мы оба хорошо знали и которые умерли молодыми, и прикидывали, кого из них можно было спасти и кого нет. Мы тогда еще не знали, какое лето нас ожидает, но у нас обоих было тревожно на душе.

Бой быков без соперничества ничего не стоит. Но соперничество, когда оно происходит между двумя великими матадорами, смертельно. Ведь если один из боя в бой делает то, чего никто, кроме него, сделать не может, и это не трюк, но опаснейшая игра, возможная лишь благодаря железным нервам, выдержке, смелости и искусству, а другой попытается сравняться с ним или даже превзойти его, — тогда стоит нервам соперника сдать хоть на миг, и такая попытка окончится тяжелым ранением или смертью. Или же ему придется прибегать к трюкам, а когда публика научится отличать трюк от подлинного искусства, его поражение неизбежно, и хорошо еще, если он останется жив и удержится на арене.

Первые двенадцать дней мая пробежали незаметно. Я рано вставал и брался за работу, в полдень ходил купаться, но плавал недолго, чтобы не устать; за второй завтрак все садились поздно, потом иногда спускались в город за почтой и газетами, заходили и в ночной кабачок в духе Симеона при «Мирамаре», большом приморском отеле в центре Малаги, где у нас завелись знакомые среди обслуживающего персонала, потом возвращались в «Консулу» и обедали всегда поздно.

Тринадцатого мая мы выехали в Мадрид на бой быков.

Когда едешь по незнакомой дороге, все расстояния словно удлиняются, трудные участки пути кажутся еще трудней, опасные повороты еще опаснее, а крутые спуски выглядят совсем отвесными. Как будто ты снова стал мальчиком или подростком. Но путь из Малаги в Гренаду через горный перевал — нешуточное дело, даже если зна-

есть каждую извилину этого пути, каждый объезд, который может облегчить задачу. В этот раз, с шофером, рекомендованным Биллу кем-то из знакомых, это было просто ужасно. Он все повороты делал не так, как нужно. Он только и знал, что сигналил, — как будто это могло вовремя остановить какой-нибудь встречный грузовик, нагруженный до отказа, — и у меня не раз душа уходила в пятки и на спусках и на подъемах. Я старался смотреть на долины, на фермы и на маленькие каменные городки, остававшиеся впизу, под нами, на ломаные линии горных хребтов, сбегавших к морю. Я видел темные, голые стволы пробковых дубов, с которых уже месяц назад срезали кору, заглядывал в глубокие расселины, открывавшиеся на поворотах, провожал глазами дроковые поля с плешинами известняка, уплывавшие к каменистым кручам, и поневоле терпел всю несурязицу этой езды, порой лишь пытаюсь советом или сдержанным приказанием отвести пеминуемую гибель.

В Хаэне наш шофер чуть не сбил человека, переходившего улицу, потому что песся с идиотской скоростью, не думая о пешеходах. После этого он стал больше прислушиваться к советам, да и дорога теперь пошла лучше, и мы благополучно пересекли в Байлене долину Гвадалквивира, поднялись на плато и опять поехали по горной местности, вдоль Сьерра-Морены. Мы проезжали каменистые кручи Навас-де-Толоса, где христианские короли Кастилии, Арагона и Наварры нанесли когда-то поражения маврам. Эти места удобны и для обороны и для наступления (если уже взят перевал), и сейчас, сидя в быстро несущейся машине, странно было думать о том, каково было продвигаться по этой самой местности 16 июля 1212 года и как выглядели тогда эти голые горные луга.

Крутой и извилистый подъем привел нас к перевалу Деспеньяперрос, который служит границей между Андалузией и Кастилией. Андалузцы говорят, что северней этого перевала не родился еще ни один стоящий матадор. Дорога и здесь отличная и хорошему водителю не сулит никакой опасности, а на самом верху есть несколько ресторанчиков и гостиниц, с которыми нам предстояло близко познакомиться этим летом. Но в тот день мы спешили, благо ехать было теперь легко, и остановились только в первом городке после перевала, у дома, за которым дорога сразу резко шла под уклон. На крыше этого дома два аиста вили гнездо. Оно еще не было готово, и между аистами шла любовная игра. Самец клювом поглаживал самку шею, а она

то смотрела на него с аистиной нежностью, то отводила глаза, и он снова принимался гладить ее шею. Мы остановились, и Мэри сделала несколько снимков, хотя освещение было неважное.

Мы вспомнили, как в 1953 году, на пути в Африку, мы прочли большую статью, напечатанную в иллюстрированном французском журнале, о том, что аисты в Европе почти перевелись и, вероятно, обречены на вымирание, и как поздней зимой того года мы видели тысячи аистов, летевших из Эфиопии за тучами саранчи и других вредителей, являющихся бичом Африки. Эти два аиста были первыми, которых нам привелось увидеть в Испании, но в течение лета мы их встречали сотнями. За тридцать пять лет я еще не видел такого множества аистов. Поздней мы часто ездили по этой дороге и видели, как вывелись в гнезде два птенца и как отец и мать кормили и воспитывали их; а когда мы последний раз проезжали мимо, уже в конце октября, гнездо было пусто: вся семья улетела.

Когда мы спустились в долину Вальдепеньяс, виноградные лозы были не выше ладони, и бескопечные акры виноградников гладко стлались до подножия гор, темневших вдаль. Вино Вальдепеньяс хорошо пить поутру в какой-нибудь мадридской таверне, в компании старых знакомых, таких же ранних пташек, как и ты. Это вино без претензий. Оно жестковатое и чистое на вкус, и от него внутри разгорается несильный, быстро гаснущий огонь, после которого не остается пепла, и если ты согрелся, то пить больше не хочется. В жаркий день оно сохраняет прохладу в тени и на ветру. Оно холодит, а потом поддает жару — немного, лишь бы заявить о себе. Второй стакан снова холодит, а жару поддает, только если это требуется, чтобы мотор работал. Вальдепеньяс — шампанское бедняков, по ведерки со льдом для него не пужны. Эти гроздья так созревали и из них так давили сок, чтобы можно было пить вино при любой температуре; а перевозят его в обыкновенных бурдюках. Мы ехали по хорошему шоссе, недавно введенному через этот винодельческий край, и смотрели, как вспархивают куропатки с обочин грунтовой дороги, идущей параллельно новому шоссе, и к вечеру уже были в Мансанаресе, где и остановились в гостинице на ночлег. До Мадрида отсюда было всего сто семьдесят четыре километра, но нам хотелось проделать этот путь при дневном свете, к тому же бой быков должен был начаться завтра только в шесть часов вечера.

Рано утром мы с Биллом Дэвисом вышли из гостиницы, где все еще спали, и спустились в центр этого старого ламанчского городка, мимо низкой оштукатуренной ограды, за которой лежала арена боя быков — та самая арена, где Игнасио Санчес Мехиас получил роковую рану в бою, воспетом Лоркой; потом узкими улочками вышли на соборную площадь и попали в толпу горожан, возвращавшихся с базара. Базар был шумный, людный, привоз большой, но многие из покупателей жаловались на дороговизну, особенно рыбы и мяса. После Малаги, где говорят на незнакомом мне диалекте, так приятно было слышать чудесную звонкую испанскую речь и понимать каждое слово.

Пожилой испанец подошел ко мне и сказал:

— Не покупайте ничего. Слишком дорого. Я ничего не купил.

— Что же вы будете есть?

— А я подожду до конца базара,— сказал он.— К концу они волей-неволей кое на что спустят цены.

— Если говорить о рыбе, то вам не придется долго ждать.

— Верно,— сказал он.— Вот к тем сардинам скоро уже можно будет подступиться. Я ведь здешний. Мне спешить некуда. Но вы ничего не покупайте. Будьте примером для других.

Мы вышли в таверне кофе с молоком, макая в него ломти вкусного хлеба, и довершили завтрак стаканчиком другим вина и мапчегским сыром. Белое вино было вкуснее красного. Город остался в стороне от нового шоссе, и человек за стойкой сказал мне, что в таверне теперь редко увидишь приезжего.

— Мертвый стал город,— сказал он.— Только в базарные дни и оживает немного.

— Как с вином в нынешнем году?

— Сейчас еще рано говорить,— ответил он.— Вы знаете столько же, сколько я. Обычно у нас хорошо и всегда одинаково. Виноград растет, как сорняк.

— Я люблю ваше вино.

— Я сам его люблю,— сказал он.— Оттого и ругаю. Чего не любишь, то не ругаешь. Так уж повелось теперь.

Мы быстро отшагали три километра обратно, в гостиницу. Идти теперь пришлось в гору, и это послужило хорошим моционом. Город, который мы покидали, выглядел уныло, и расставаться с ним было легко. Когда мы погру-

зились и машина выехала на проселок, ведущий к новому шоссе, шофер истово перекрестился.

— Что-нибудь неладно? — спросил я. Он уже раз крестился так в первый вечер, когда мы ехали из Альхесираса в Малагу, и я тогда решил, что мы проезжаем место, где когда-то случилось несчастье, и мысленно с почтением склонил голову. Но сейчас было ясное утро, предстоял лишь короткий переезд до столицы по отличной дороге, а особенной пажобностью наш шофер, судя по разговору, не отличался.

— Да нет, все в порядке, — сказал он. — Это чтобы нам благополучно добраться до Мадрида.

Не для того тебя нанимали, чтобы ехать в расчете на чудо или на промысел божий, подумал я. Нужно знать свое дело, если садиться за руль, да хорошенько проверить резину, прежде чем приглашать господа бога в папарники. Но тут я вспомнил о женщинах и детях и о том, как важно единение в этом бренном мире, — и тоже перекрестился. Потом, желая оправдать эту чрезмерную заботу о нашей собственной целостности и невредимости, пожалуй, несколько преждевременную, если учесть, что мы собирались добрых три месяца колесить днем и ночью по дорогам Испании, и довольно эгоистическую, поскольку нам предстояло провести это время в среде матадоров, я помолился за всех, кого мог считать заложниками Судьбы, за всех друзей, больных раком, за всех знакомых женщин, живых и умерших, и за Антонио, чтобы ему достались хорошие быки. Последняя молитва не была услышана, но зато после рискованного пробега через Ламанчу и кастильские степи мы все же благополучно добрались до Мадрида и отсюда уже отправили нашего шофера обратно, в Малагу, ибо у самого отеля «Суэсия» выяснилось, что он понятия не имеет о том, что значит поставить машину в большом городе.

Сделать это пришлось в конце концов Биллу, и он же взял на себя шоферские обязанности на весь сезон. Оказалось, что водительский опыт нашего шофера ограничивался ездой на грузовике в качестве подручного. Нам его рекомендовали с чисто испанской непосредственностью потому, что он приходился кому-то дальним родственником, был честным, добропорядочным малым и нуждался в работе. Мы деликатно объяснили ему, что не можем пользоваться его услугами, так как он не знает мадридских улиц и мадридских порядков — что вполне соответствовало истине, —

и он с незапятнанным послужным списком вернулся к своему грузовику.

Во время остановки в Аранхуэсе, пока нашу машину мыли и заправляли, мы прошли в старый ресторан на южном берегу реки Тахо и заказали спаржу и белое вино. Река была зеленая, узкая и глубокая. Вдоль берегов росли деревья, по воде плыли унесенные течением водоросли, и у пристани праздно качались лодки, предназначенные для прогулок вверх по реке, к старинному королевскому парку. Кругом было тихо, и аранхуэсский ресторан напоминал домик на Сене близ Ба-Медона с картины Сислея. Спаржа была крупная, белая, нежная на вкус, и было приятно завтракать ею в тени деревьев, глядя, как плещется в реке рыба, и попивая мягкое некрепкое вино перед подъемом на сухую белую суровую возвышенность, которую пересекает дорога, ведущая в Мадрид.

Отель «Суэсия», новый и нарядный, выстроен позади здания, где когда-то были кортесы, в нескольких минутах ходьбы от старого Мадрида. Руперт Белвилл и Хуанито Кинтана, приехавшие раньше, рассказывали, что Антонио ночевал в отеле «Веллингтон» в новой, фешенебельной части города, где расположено большинство новых отелей. Он хотел выспаться и одеться вне дома, чтобы спастись от осаждавших его репортеров, поклонников и болельщиков. Кстати, «Веллингтон» находится недалеко от цирка, а это важно, так как во время праздника святого Исидора движение на улицах затруднено. Антонио любит заблаговременно быть на месте, и, кроме того, беспрестанные остановки из-за уличных заторов хоть кого могут вывести из себя. А перед боем это совсем ни к чему.

В номере Антонио толпился народ. Много было знакомых. Еще больше незнакомых. В гостиной собрался избранный круг почитателей. Большинство — люди среднего возраста. Только двое молодых. У всех был очень торжественный вид. Было много людей, так или иначе связанных с боем быков, несколько репортеров, в том числе двое из французских иллюстрированных изданий, и с ними фотографы. Ничуть не торжественно выглядели только Казтано, старший брат Антонио, и Мигелильо, его служитель.

Казтано заинтересовался, захватил ли я свою серебряную фляжку с водкой.

— Да, — сказал я. — Для экстренного случая.

— Сейчас как раз такой случай, Эрнесто, — сказал он. — Выйдем-ка в коридор.

Мы вышли, выпили за здоровье друг друга, потом вернулись, и я пошел в комнату, служившую Антонио гардеробной. Он одевался.

Он ничуть не изменился, разве только возмужал немного и, кроме того, загорел и поздоровел от жизни на ферме. В нем не чувствовалось ни волнения, ни торжественности. Через час с четвертью он должен был выйти на арену и точно знал, что это значит, что ему нужно делать и что он будет делать. Мы очень обрадовались друг другу, и для каждого из нас все было так же, как бывало всегда.

Я не люблю гардеробных и перевязочных, и потому, после того как он спросил о здоровье Мэри, а я — о здоровье Кармен и мы уговорились поужинать вместе, я сказал:

— Ну, я пойду.

— Ты зайдешь потом?

— Конечно,— сказал я.

— Значит, до вечера,— сказал он и улыбнулся своей улыбкой сорванца мальчишки, которая так естественно, легко и непринужденно набегала на его лицо еще до первого сезона в Мадриде. Он думал о предстоящем бое, но эта мысль не тревожила его.

Трибуны были битком набиты, но коррида шла плохо. Быки были дрянные, нападать не решались,— уже устремившись вперед, вдруг останавливались на всем скаку. Они были перекормлены, тяжелы не по росту и если уж бросались на лошадей, то очень быстро выдыхались и припадали на задние ноги.

Антонио спас корриду от полного провала и показал мадридцам образчик того, на что он теперь способен. Бык ему попался никуда не годный. Он обходил лошадей и никак не решался напасть в открытую. Но Антонио легко и изящно подманивал его плащом, звал, учил, подбодрял, с каждым разом все ближе и ближе пропуская мимо себя. Он делал из него босвого быка у публики на глазах. Казалось, он проникает в бычью голову и орудует там решительно и умело, покуда бык не поймет, чего от него хотят.

За то время, что я его не видел, он довел до совершенства свое умение владеть плащом. Это были не просто уверенные и точные пассы, о каких мечтает любой матадор. Каждый взмах подчинял быка, заставлял его следовать за плащом, описывать круг так, что рога проходили в нескольких сантиметрах от Антонио, чьи движения были плавны и размеренны, точно в замедленном фильме или во сне.

Взяв мулету, Антонио не прибегал ни к каким уловкам. Бык теперь принадлежал ему. Он его подготовил, и довел до совершенства, и сделал послушным себе, ни разу не причинив ему боли. Он подзывал его, держа мулету в левой руке, и обводил вокруг себя снова и снова, потом заставил пригнуть голову и одним движением кисти руки привел в положение для смертельного удара.

Первый раз, когда Антонио вонзил шпагу, тщательно нацеляясь на бугор между лопатками, острие уперлось в кость. Тогда он нацелился снова и вонзил шпагу в то же место, и она вошла до самого эфеса. Когда пальцы Антонио обагрила кровь, бык уже был мертв, но еще не знал этого. Антонио следил за ним, высоко подняв руку, управляя его смертью, как управлял этой единственной схваткой его недолгой жизни, и бык вдруг содрогнулся и рухнул на песок.

Когда после боя мы сидели рядом на его кровати в номере отеля «Веллингтон» — он уже принял душ и немного остыл, — Антонио спросил меня:

— Ну как, Эрнесто, доволен?

— Ты знаешь сам, — сказал я. — Все знают. Тебе пришлось сделать этого быка. Тебе пришлось выдумать его.

— Верно, — сказал он. — Но получилось, в общем, неплохо.

* * *

Погода стояла дождливая, ветреная, и фэрия показалась нам томительно долгой. Корриды начинались так поздно, что уже после третьего быка солнце покидало арену, а последний бой проходил при электрическом свете. Не было за все время ни одного по-настоящему хорошего быка, — только несколько неплохих и очень много сносных.

* * *

Когда мы после боя быков в Севилье ехали через Кордову в Мадрид, по низкому небу неслись черные тучи и шел дождь, и мы только в редкие минуты прояснения могли любоваться местностью. Под стать погоде были и наши мысли, и мы оба сетовали на неудачные бои, на быков, не достигших надлежащего веса и возраста, которых кто-то

сумел подсунуть, вопреки правилам, и Билл предсказывал, что таким же неудачным будет весь сезон. Ни он, ни я вообще не восхищались севильской школой. Для андалузцев и для любителей боя быков это ересь. Считается, что все болельщики должны питать к Севилье прямо-таки мистическую любовь. Но я уже давно пришел к убеждению, что ни в каком другом городе не бывает так много неудачных боев. Ни Биллу, ни мне не нравилась и новая большая арена в Мадриде. Она слишком велика, и потому то, что на ней происходит, мало волнует зрителей. Даже из первого ряда плохо видны подробности боя, если только матадор и бык не стоят прямо под вами, у самого барьера, и я рассказывал Биллу о старой арене, где и за плохим боем было интересно следить — так хорошо можно было разглядеть все подробности. Над нами пролетали стаи аистов, искавших под дождем корм, а в горах то и дело попадались ястребы всевозможных разновидностей. Я люблю смотреть на ястребов, а в эту ненастную погоду множество их летало вокруг в поисках пищи, но дело это было трудное, потому что все малые птицы попрятались от дождя и ветра. За Байленом дорога, которую нам впоследствии предстояло так хорошо изучить, повернула к северу, и, когда тучи расходились, среди полей пшеницы, полегшей от ветра, и виноградов, где лозы выросли на пол-ладони с тех пор, как мы проезжали здесь три дня назад, направляясь на юг, виднелись омытые дождем старинные замки и белые деревушки, открытые всем ветрам, — а чем севернее, тем ветров больше.

Останавливаясь, чтобы заправить машину, мы подкреплялись остатком вина, ломтиками сыра или маслинами в буфете заправочной станции и пили черный кофе. Билл никогда не пил вина, когда вел машину, но я прихватил бутылку легкого росадо из Лас-Кампаньяс в мешке со льдом и попивал холодное вино, закусывая хлебом и сыром манчего. Я любил этот край во все времена года и каждый раз радовался, когда последний перевал оставался позади и нас встречали суровые земли Ламанчи и Кастилии.

Билл решил ничего не есть, пока мы не доберемся до Мадрида. Он уверял, что после еды его клонит ко сну, а ему предстоит день и ночь сидеть за рулем. Он любил поесть, знал толк в еде, и никто лучше его не умел достать хорошую еду, в какой бы стране он ни очутился. Он очень своеобразный человек и всегда старается узнать как можно больше нового о людях, местности, винах, спорте, литера-

туре, зодчестве, музыке, живописи, науке, жизни. Когда он впервые приехал в Испанию, он обосновался в Мадриде, а потом вместе с Энни объездил все испанские провинции. Не осталось буквально ни одного города в Испании, где бы он не побывал, и повсюду он знает и местные вина, и местную кухню, и какие именно кушанья особенно хороши, и в каких ресторанах лучше всего кормят, будь то большой город или глухой городишко. Лучшего спутника я и желать не мог, а уж водитель он был просто двухильный.

До Мадрида мы добрались как раз вовремя, чтобы захватить второй завтрак в «Кальехоне» — тесном, похожем на коридор ресторане на калье Тернера, куда мы всегда заходили поесть, когда бывали только вдвоем, потому что, на наш взгляд, нигде во всем городе так вкусно не кормили. Там была отличная домашняя кухня и всегда имелось какое-нибудь специальное блюдо — каждый день другое; рыба, мясо, овощи, фрукты были там самые лучшие, какие только можно было достать на рынке. Там подавали тинто и кларет вальдепеньяс в маленьких, средних или больших кувшинах, и вино было превосходное. Марио, великий автомобилист и ценитель жизненных удовольствий, говорил, что никогда еще не сдал в таком замечательном ресторане. Адамо любил бывать там, потому что все это напоминало ему Удино. Мари там не нравилось — она жаловалась на тесноту и на плохую вентиляцию. В 1956 году ей чуть было не удалось положить вето на посещение «Кальехона», но хозяин порехитрил ее, — воспользовавшись нашим отсутствием, прикупил часть соседнего помещения и открыл прекрасно проветриваемый новый зал.

После того как мы, дожидаясь свободного столика, выпили у стойки в баре по несколько стаканов вальдепеньяса, у Билла разыгрался аппетит. Меню украшала приписка, гласившая, что одной порции любого кушанья достаточно для полного насыщения, и Билл заказал сначала жареную рыбу, а затем ему подали такую порцию какого-то астурийского блюда, что ее хватило бы для полного насыщения по меньшей мере двоих. Все это он одолел и только заметил:

— А здесь кормят недурно.

Когда опустел второй кувшин вальдепеньяса, он добавил:

— И вино недурное.

Я уплетал молодых угрей в чесночном соусе, напоминавших нежные бамбуковые побеги с хрустящими кончиками, только угри были маслянистее на вкус. Передо мной

стояла полная глубокая тарелка угрей, и есть их было райское блаженство, зато каждому, кто потом встретился бы со мной в закрытом помещении и даже на свежем воздухе, это сулило муки ада.

— Угри замечательные,— сказал я.— А вино — не знаю. Еще не распробовал. Хочешь угрей?

— Пожалуй, возьму одну порцию,— ответил Билл.— Выпей вина. Может, понравится.

— Еще одип большой кувшин,— сказал я официанту.

— Сейчас, дон Эрнесто. Я уже приготовил.

К нашему столику подошел хозяин.

— Не желаете ли бифштекс? — спросил он.— У нас сегодня отличные бифштексы.

— Приберегите их к обеду. А нет ли спаржи?

— Отличная спаржа. Из Аранхуэса.

— Завтра нам предстоит коррида в Аранхуэсе,— сказал я.

— Как поживает Антонио?

— Очень хорошо. Он выехал из Севильи вчера вечером.

А мы сегодня утром.

— Как было в Севилье?

— Так себе. Быки дрянные.

— Вы будете здесь ужинать с Антонио?

— Вряд ли.

— На всякий случай я оставляю для вас отдельный кабинет. В прошлый раз все были довольны?

— Очень.

— Желаю удачи в Аранхуэсе.

— Спасибо,— сказал я.

В Аранхуэсе нас ждали одни неудачи, но у меня не было никаких дурных предчувствий.

Накануне, в то время, когда Антонио выступал в Севилье, Луис Мигель вместе с Антонио Бьенвенида и Хаиме Остосом выступал в Толедо. Все билеты были проданы. Самые дорогие места заняла публика, приехавшая из Мадрида, много собралось друзей и поклонников Луиса Мигеля. День выдался пасмурный, дождливый, быки были крупные, более или менее храбрые, но с подпиленными, как утверждали очевидцы, рогами. Луис Мигель хорошо работал с первым быком, со вторым еще лучше. За отличную работу с этим быком он отрезал одно бычье ухо, и если бы он удачнее всадил шпагу, ему досталось бы и второе.

Я очень жалел, что мне не довелось видеть выступление Луиса Мигеля, тем более что и на завтра мы не могли по-

пасть в Гренаду на бой быков с его участием. Таково уж было расписание корриды, но я знал, что вскоре положение изменится. Я запасся списком всех объявленных выступлений и Луиса Мигеля и Антонио, из которого явствовало, что в ближайшее время им предстояло выступать в тех же городах и в тех же фериях. Мало того — им предстояло выступать в одни и те же дни и, значит, соперничать друг с другом. А пока что я следил за успехами Мигеля, насколько это было возможно, по рассказам тех зрителей, чьим суждениям я доверял.

В Аранхуэсе 30 мая стояла хорошая для боя быков погода. Дождь кончился, и солнце пригревало свежевымытый город. Деревья зеленели, мощенные улицы еще не успели покрыться пылью. Понаехало много крестьян из окрестных деревень — они разгуливали по городу в черных куртках и серых штанах из жесткой полосатой материи — и довольно много мадридцев. Мы усадились на террасе старомодного кафе в тени деревьев, смотрели на реку, на катера и лодки. Река потемнела и вздулась от дождя.

Потом наши гости отправились осматривать королевский парк на берегу реки, а мы с Биллом пошли через мост к старому отелю «Делисиас» повидаться с Антонио и взять билеты у его служителя Мигелильо. Я заплатил Мигелильо за четыре билета в первом ряду, сказал молодому испанцу, который подрядился написать серию очерков об Антонио для мадридской газеты, чтобы он не приставал сейчас к Антонио, а дал ему отдохнуть, причем объяснил, почему это нужно, потом подошел к кровати поговорить с Антонио, намереваясь уйти как можно скорей и тем подать хороший пример другим.

— Вы поедете прямо в Гренаду или переночуете где-нибудь? — спросил Антонио.

— Я думаю почевать в Мансанаресе.

— В Байлене лучше, — сказал он. — Хочешь, я поведу вашу машину до Байлена, там мы пообедаем, а по дороге поболтаем. Потом я пересяду в «мерседес» и буду спать до самой Гренады.

— Где мы встретимся?

— Здесь, после боя.

— Ладно, — сказал я. — До скорого.

Он улыбнулся, и я понял, что чувствует он себя хорошо и очень уверенно.

Я убедил Марино Гомеса Сантоса, юного корреспондента «Пуэбло», уйти вместе с нами. Мигелильо устанавливал

портативное церковное оборудование. Он поставил лампаду и образ божьей матери на туалетном столике подле при-
слоненного к стене массивного кожаного футляра со шпа-
гами.

Когда мы шли посыпанной гравием дорожкой к моще-
ному двору отеля, забитому машинами, я вдруг услышал
грохот и, обернувшись, увидел лежащий на боку моторол-
лер. Люди сбегались к водителю, который, видимо, сильно
расшибся. Но девушку, сидевшую позади водителя, вы-
бросило на середину мостовой. Я подбежал к девушке, под-
нял ее и держал на руках все время, пока мы ловили ма-
шину, чтобы отвезти ее в больницу. Но все машины,
видимо, были заняты другими делами. Я боялся, что у нее
повреждено основание черепа. Крови было немного, и я
нес девушку очень бережно, стараясь не повредить ей и в
то же время не запачкать кровью свой костюм. Мне не
жаль было костюма, но несчастье, случившееся с девушкой,
само по себе служило достаточно дурным предзнаменова-
нием, не доставало еще, чтобы я в таком виде сидел в пер-
вом ряду перед ареной боя быков. Наконец мы достали ма-
шину, передали девушку в надежные руки, и ее повезли в
больницу. Потом мы сошлись с нашими гостями в рестора-
не на набережной. Меня очень огорчало, что несчастье с
девушкой случилось в день открытия фиесты, и тягостно
было вспоминать ее посеревшее, запыленное полудетское
лицо. Я беспокоился, не повреждена ли черепная коробка,
и мне было стыдно, что все время, пока я нес девушку на
руках, я думал не только о ней, но и о том, как бы не вы-
пачкаться в крови.

Вокруг небольшого, старинного, чудесного, неудобного,
обветшалого цирка подсыхала грязь. Мы вошли, разыскали
свои места и уселись, глядя на желтеющий так близко
песок.

Антонио достался первый из быков с фермы Санчеса
Коваледы. Бык был крупный, черный, красивый, с длинны-
ми, очень острыми рогами. Антонио проделал несколько
вероник с присущим ему изяществом, неторопливо, плавно,
уверенно взмахивая плащом, подходя к быку почти
вплотную, заставляя его двигаться все медленнее и мед-
леннее и пропуская быка мимо себя так близко, что рога
только-только не упирались ему в грудь. Однако публика
осталась равнодушна — чего не случилось бы в Мадриде, —
и потому Антонио в дальнейшей работе с плащом действо-
вал иначе, несколько отклоняясь от классического стиля в

сторону более эффектной, но менее опасной севильской манеры. Он протягивал быку плащ, держа его обеими руками на уровне груди. Затем он медленно делал полный оборот вместе с раздувающимся вокруг него плащом, то приближаясь к быку, то удаляясь от него. На такое китэ приятно смотреть, но, по существу, это не прием, а трюк. Как только рога оказываются слишком близко, матадор слегка отклоняется в сторону, и бык проходит мимо. Публике это нравилось. Нам тоже. Такая работа очень красива, но она не волнует. В этой части Испании люди, понимавшие, что такое настоящие быки и настоящий бой быков, были истреблены в гражданскую войну — и на той и на другой стороне.

Когда Антонио взял в руки мулету, к быку еще опасно было подходить, и Антонио начал готовить его, терпеливо внушая быку уверенность и мужество. Что-то произошло с быком, может быть, ему надоели взмахи плаща. Мне случилось видеть такое. Чтобы расшевелить его, Антонио вынужден был подходить к нему очень близко. Иногда к концу боя бык плохо видит. Но тут было другое, и это другое Антонио должен был преодолеть за те десять минут, в которые матадор учит быка умирать.

Антонио внушил быку уверенность, подставляя ему правую ногу и правое бедро, а затем показал ему, что он может безнаказанно следовать за красной мулетой и что это своего рода игра.

Потом они играли в эту игру. Мулета дразнила то справа, то слева. То выше, то ниже. Бык обходил Антонио кругом. Раз, еще раз. Па, держи. Обойди меня, бык. Так. Ну, еще разок. Еще.

А затем быку что-то взбрело на ум. Он внезапно оборвал игру и, вместо того чтобы закончить поворот вокруг Антонио, кинулся на него. Рог-прошел на расстоянии одной сотой дюйма, и бык толкнул Антонио головой. Антонио обернулся, протянул быку мулету и пропустил его у самой своей груди.

Потом он начал игру сначала и заставил быка дважды сделать поворот, во время которого бык чуть было не вса-дил в него рога. Теперь публика оценила его, и по ее требованию заиграла музыка. Наконец Антонио убил быка, убил с первого удара, вонзив шпагу чуть левее высшей точки загривка. Вся публика махала платками, требуя для Антонио бычье ухо. Но когда бык падал, у него изо рта потекла кровь, что часто бывает, даже если бык убит по

всем правилам, и президент не разрешил отрезать ухо, хотя зрители махали платками до тех пор, пока быка не увезли с арены.

Антонио, приветствуемый толпой, обошел арену кругом и еще дважды выходил кланяться. К барьеру он вернулся злой, стараясь казаться равнодушным, и, когда Мигелильо подал ему стакан воды, он что-то проговорил сквозь зубы. Он отхлебнул из стакана, ни на кого не глядя, потом прополоскал рот и выплюнул воду на песок. Позже я спросил Мигелильо, что Антонио сказал.

— Он сказал: «Очень мне нужно это ухо», — ответил Мигелильо. — Все равно, он показал им, что к чему.

Вторым выступал Чикуюэло-второй. Он маленького роста, не выше пяти футов и двух дюймов, с грустным, благообразным лицом. Вернее, он был таким. Ни одно животное, даже барсук, не может сравниться с ним храбростью, и мало кто из людей, на мой взгляд. Он появился на арене сперва в качестве новильеро, потом, в 1953 и 1954 годах, — матадора, пройдя страшную школу сельских капеа. Так называют любительский бой быков, который устраивают на деревенских площадях — чаще всего в Кастилье и Ламанче, — где местные парни и кочующие новички-тореро выходят против быков, уже неоднократно участвовавших в боях. Бывает, что у такого быка на счету свыше десяти человеческих жизней. Деревни и поселки, где устраиваются капеа, не имеют средств на сооружение арены, поэтому там просто вокруг площади ставят повозки, чтобы отрезать пути отступления, а зрителям продают толстые заостренные колья, какими пользуются пастухи и скотоводы, так что они могут загнать струсившего любителя обратно на площадку или избить, если он попытается бежать.

До двадцати пяти лет Чикуюэло-второй был звездой капеа. Пока все известные матадоры времен Манолето и после него выходили против полубыков и трехлетков с подпленными рогами, он учился убивать семилетков, чьи рога были нетронуты. Многие из этих быков дрались не впервые и потому были опаснее любого дикого зверя. Чикуюэло выходил на бой в деревнях, где не имелось ни лазаретов, ни больниц, ни хирургов. Чтобы выжить, он должен был хорошо знать быков и уметь, работая почти вплотную к ним, увертываться от рогов. Он знал, как можно уцелеть в бою с быком, которому ничего не стоило забодать его, и он научился всем эффектным приемам, всем показным трюкам. Он также научился мастерски убивать быка и виртуозно

владеть мулетой, заставляя быка очень низко опускать голову в последний момент, что при маленьком росте Чикуэло было насущно необходимо. Он был беспредельно храбр, а кроме того, ему отчаянно везло. Ему везло постоянно — до прошлой зимы, когда он сгорел в потерпевшем аварию самолете.

В тот год он вернулся на арену, потому что все, кроме боя быков, казалось ему пресным. Он ушел с арены потому, что знал, — как бы ни везло, нельзя до бесконечности искушать судьбу. А вернулся из-за того, что ничто иное не радовало по-настоящему. И еще, как водится, соблазнили деньги.

Ему достался хороший бык, достаточно крупный, чтобы по сравнению с его собственной миниатюрной фигурой казаться огромным. Рога были основательные, и Чикуэло-второй продемонстрировал свое справедливо прославленное умение уцелеть на арене, работая так близко к быку, как не сумел бы никто другой без риска быть изувеченным. Он работал умело, полагаясь на свою молниеносную реакцию и феноменальное везение, проделал один за другим положенные пассы и все известные показательные трюки, и проделал их хорошо. Куда опаснее было бы работать дальше от быка, но по всем правилам классической школы, однако этого никто не замечал, и Чикуэло-второй поворачивался к быку спиной и, поглядывая на публику, пропускал его под вытянутой правой рукой, чтобы публика вспомнила Манолето, который вместе со своим антрепренером открыл новую эру в искусстве боя быков — эру пышного расцвета и глубочайшего падения, а потом был убит на арене и после смерти стал полубогом, навеки оградив себя от критики.

Чикуэло-второй заслуженно пользовался любовью зрителей. Он был свой для них, и он показывал им то, что они привыкли считать настоящим боем быков, и показывал в работе с полноценным быком. Для этого требовалось везенье, а также мастерство и абсолютная храбрость. Когда он вонзил шпагу в первый раз, она наткнулась на кость, но со второго удара вошла до отказа, и, опираясь на эфес, он стоял почти между рогами, пока мертвый бык не рухнул на песок.

Президент присудил ему оба уха, и он, сдержанно улыбаясь, обошел арену. Мне приятно мысленно видеть его таким, каким он был в то лето, и ни к чему думать о том, что случилось, когда счастье изменило ему.

Хаиме Остос в тот день выступал плохо. Правый глаз у него был подбит, сильно заплыл и слезился. Остос едва видел им и то и дело протирал его. Он, как всегда, очень старался и работал хорошо, но из-за поврежденного глаза убить быка ему удалось с трудом.

Второй бык Антонио был красивый, с черной, лоснящейся шкурой, с отличными рогами и храбрый. Он стремительно выбежал на арену, и я понял, что Антонио хочет сразу перехватить его. Как только Антонио ступил на песок, держа плащ наготове, из рядов на солнечной стороне, слева от нас, выскочил матадор-любитель — ловкий, красивый парень в кепке, светлой рубашке и синих штанах, перемахнул через барьер и растянул перед быком мулету. Феррер, Хони и Хуан — бандерильеро Антонио — кинулись к нему, чтобы увести и передать полиции, прежде чем бык забодает его и тем самым станет негодным для боя, но парень, пользуясь естественной живостью быка, успел все же проделать несколько эффектных пассивов, в то же время увертываясь от троих быстроногих преследователей, спешивших убрать его с арены. Ничто не может так быстро и непоправимо испортить быка для работы матадора, как внезапное вмешательство со стороны.

Каждый пассив матадора — урок для быка, и искусный матадор не делает ни единого взмаха плащом, который не имел бы определенной цели. Если бык кого-то забодает в самом начале боя, тем самым рушится основная предпосылка профессиональной корриды: матадор — первый пеший человек, с которым бык сталкивается на арене. Но я смотрел на Антонио, и видел, как он следит за ловкой работой парня, и понял, что Антонио ничуть не обеспокоен, хотя это вмешательство и грозило ему провалом. Он изучал быка и с каждым его движением лучше узнавал его.

Наконец Хони и Феррер схватили парня, и он покорно вернулся к барьеру, Антонио, с плащом в руках, подбежал к нему, что-то быстро проговорил и крепко обнял. Потом он вышел на середину арены и занялся быком. Теперь он знал его, успел изучить досконально.

Первые вероники Антонио — плавные, медлительные — были образцом изящества. Зрители чувствовали, что сейчас они видят работу, какой никогда не видели, и что в ней нет фальши. Никогда не бывало, чтобы матадор не только простил, но и обласкал человека, который легко мог испортить ему быка, и теперь они ценили по достоинству все то, что видели, когда Антонио работал с первым быком, но чего

тогда не оценили. Никто еще с таким совершенством не действовал плащом, как Антонио в тот день. Он подвел быка к пикадору — одному из братьев Солас — и сказал:

— Береги его и делай то, что я велю.

Бык, сильный и храбрый, почувствовав укол метко нацеленного копья, стремительно кинулся на лошадь; Антонио увел его плащом и опять проделал несколько плавных, размеренных вероник. При втором уколе копьем бык опрокинул лошадь и прижал пикадора к доскам барьера.

Хуан, брат Антонио и его главный бандерильеро, настаивал, что нужно еще раза два заставить быка кинуться на лошадь, чтобы утомить мускулы шеи, тогда голова опустится ниже и легче будет убить его.

— Не учи меня, — сказал Антонио. — Он нужен мне такой, какой есть.

Антонио знаками испросил у президента разрешения перейти к бандерильям. После того как в быка вонзили одну-единственную пару бандериллий, он испросил разрешения опять вернуться к мулете.

Мулетой он действовал так мягко, просто и пластично, что каждое движение его казалось изящным. Он проделал один за другим все классические приемы, а затем поставил еще изокрыть их, придать им еще большую чистоту линий и вместе с тем увеличить риск, слегка придвигая локоть к туловищу, чтобы как можно ближе пропустить быка мимо себя. Бык был крупный, неиздерганный, сильный и храбрый, с хорошими рогами, и Антонио показал публике совершенный образец классической фаэны.

Когда работа с мулетой была окончена и оставалось только убить хорошо подготовленного быка, Антонио вдруг точно с ума сошел. Он начал проделывать показательные трюки в духе Манолето, какие только что проделывал Чикуэло, второй матадор, словно хотел сказать публике, что если уж такая работа ей по вкусу, то пусть посмотрит, как это нужно делать. Он стоял против быка в том месте арены, где последний бык, кидаясь на лошадь пикадора, взрыхлил песок. Когда Антонио, повернувшись спиной к быку, делал так называемую гиральдилью, бык оступился, его правая задняя нога заскользила и правый рог вошел в левую ягодицу Антонио. Нет более прозаического и в то же время более опасного места для раны, и Антонио знал, что сам навлек на себя беду, знал, что рана тяжелая, что, быть может, у него не хватит сил убить быка и загладить свой промах. Бык сильно ударил его — я видел, как вошел рог, как

подбросило Антонио. Но он удержался на ногах и не упал. Он прижался пояспицей к красным доскам барьера, словно пытаясь остановить кровь, струей бежавшую из раны. Я смотрел только на Антонио и не видел, кто увел быка. Маленький Мигелильо первым перепрыгнул через барьер и уже поддерживал Антонио под руку, когда Доминго Домингин и брат Антонио, Пеппе, выскочили на арену. Все видели, что рана серьезная, все трое — антрепренер, брат и служитель — вцепились в него, пытаясь увести в лазарет. Антонио яростно стряхнул их с себя и сказал Пеппе:

— И ты смеешь носить имя Ордоньес?

Он пошел к быку, истекая кровью и кипя от ярости. Я уже и раньше видел, как он злится на арене, — очень часто во время работы, безотчетно упиваясь боем, он вместе с тем чуть не задыхался от злости. Сейчас он решил убить быка, убить так, что лучше нельзя, и он знал, что должен сделать это как можно скорей, пока он не изощел кровью и не потерял сознания.

Он поставил быка перед собой, низко, очень низко опустил мулету, нацелился, всадил шпагу в самую высокую точку между лопатками быка и выпрямился над правым рогом. Потом он поднял руку и приказал быку принять смерть, которую он, Антонио, вложил в него.

Он стоял против быка, истекая кровью, никому не позволяя подойти, пока бык не зашатался и не рухнул на песок. Он стоял один, потому что никто из близких не решался подойти к нему после его гневных слов, пока президент в ответ на крики размахивающих платками зрителей не подал знак, разрешая отрезать быку оба уха, хвост и копыто. Пробираясь сквозь толпу к выходу, ведущему в лазарет, я видел, как он стоит и ждет, чтобы ему вручили трофеи. Потом он повернулся, намереваясь обойти арену, ступил два раза и упал на руки Ферреру и Доминго. Он был в полном сознании, но знал, что истекает кровью и больше уже ничего сделать не может. Сегодняшний бой окончен, и нужно готовиться к следующему.

В лазарете доктор Тамамес исследовал рану, удостоверился, насколько она серьезна, сделал все необходимое, закрыл рану и срочно отправил Антонио на операцию в Мадрид, в больницу Рубера. За дверью лазарета стоял тот парень, что спрыгнул на арену в начале боя, и плакал.

Когда мы приехали в больницу, Антонио только успел проснуться после операции. Рана оказалась глубокой. Рог

вошел на шесть дюймов в мясо левой ягодицы, едва не задев прямую кишку, и прорвал мышцы до седалищного нерва. Доктор Тамамес сказал мне, что на одну восьмую дюйма правее — и рог проник бы в кишечник. На одну восьмую глубже — и он задел бы седалищный нерв. Тамамес открыл рану, вычистил ее, привел все в порядок и зашил, оставив отверстие для дренажной трубки, снабженной часовым механизмом, который так громко тикал, что казалось — это стучит метроном.

Антонио уже не раз слышал это тиканье. Сегодняшняя рана была двенадцатая по счету. Лицо его было серьезно, но глаза улыбались.

— Эрнесто,— сказал он, выговаривая мое имя по-андалузски — «Айрнекто».

— Очень больно?

— Пока не очень,— ответил он.— Зато после.

— Не разговаривай,— сказал я.— Лежи спокойно. Манола говорит, все будет хорошо. Раз уж суждено, лучшего места для раны не придумаешь. Я все тебе передам, что он мне скажет. А теперь я пойду. Ты только не волнуйся.

— Когда ты придешь?

— Завтра, когда ты проснешься.

Кармен все время сидела у постели Антонио и держала его за руку. Она поцеловала его, и он закрыл глаза. Он еще не очнулся по-настоящему, и, как он говорил, настоящие боли еще не начались.

Кармен вышла вместе со мной из палаты, и я рассказывал ей, что мне говорил Тамамес. Отец ее был матадором. Три ее брата были матадорами, и она была женой матадора. Красивая, милая, любящая, она не теряла присутствия духа в минуты любых тревог и опасностей. Самое страшное было позади, теперь ей предстоял тяжелый труд сиделки. Этот труд ежегодно выпадал ей на долю, с тех пор как она вышла за Антонио.

— Как же это случилось? — спросила она.

— По глупости. Этого не должно было случиться. Зачем он становился спиной?

— Скажите ему.

— Он и сам знает. Незачем ему говорить.

— Все-таки скажите ему, Эрнесто.

— Зачем он состязается с Чикуюэло? — сказал я.— Бессмысленно состязаться с тем, что уже стало историей.

— Знаю,— сказала она, и я понимал, что она думает о том, что очень скоро ее муж будет состязаться с ее

любимым братом и это состязание войдет в историю. Я вспомнил, как три года назад, когда мы обедали у них, об этом зашел разговор за столом и кто-то сказал, как это было бы замечательно и сколько бы принесло денег, если бы Луис Мигель вернулся на арену и выступил тапо а тапо¹ с Антонио.

— Молчите,— сказала она тогда.— Они убили бы друг друга.

Билл Дэвис и я оставались в Мадриде до тех пор, пока врач не сказал, что Антонио вне опасности. Рана действительно начала болеть наутро после операции, боль все усиливалась, и выносить ее было выше человеческих сил. Дренажная трубка отсасывала выделения, но сквозь повязку прощупывалась твердая опухоль. Я терзался, глядя на муки Антонио, и не хотел видеть, как он страдает и как старается превозмочь боль, не отдаться ей во власть, а она бушевала, словно штормовой ветер. Если измерять боль по шкале Бофорта, как любят делать в нашей семье, то она достигла десяти баллов, а пожалуй, и всех двенадцати в тот день, когда мы ждали Тамамеса, который должен был снять повязку, наложенную семьдесят два часа тому назад. Только тогда можно узнать, идет ли дело на лад или нет,— не считая возможных осложнений. Если не началась гангрена и рана чистая — дело идет на лад, и после такого ранения матадор может выступить через три недели и даже раньше, в зависимости от силы духа и степени тренировки.

— Где же он? — спросил Антонио.— Он обещал прийти в одиннадцать.

— Он на другом этаже,— ответил я.

— Если бы только этот прибор не тикал,— сказал Антонио.— Я все могу вынести, только не это тиканье.

Раненым матадорам, которые должны как можно скорей выйти на арену, дают минимальные дозы болеутоляющих средств. Считается, что им вредно все, что влияет на их реакцию и нервную систему. В американской больнице Антонио, вероятно, был бы избавлен от боли; ее глушили бы наркотиками. В Испании просто-напросто считают, что мужчине полагается терпеть боль. Над тем, не вреднее ли для нервной системы боль, чем лекарство, которое утомило бы ее, здесь не задумываются.

¹ Один на один (исп.).

— Нельзя ли дать ему хоть снотворное? — спросил я Маноло Тамамеса.

— Я вчера дал ему на ночь порошок, — сказал Тамамес. — Он матадор, Эрнесто.

Верно — Антонио матадор, а Маноло Тамамес превосходный врач и преданный друг, но когда своими глазами видишь применение этой теории на практике, она кажется несколько жестокой.

Антонио просил меня не уходить.

— Тебе хоть немного легче?

— Болит, Эрнесто, очень болит. Может, он хоть трубку вынет, когда снимет повязку. Как ты думаешь, где он?

— Я сейчас пошлю искать его.

День выдался ясный, нежаркий, с Гвадаррамы дул приятный прохладный ветер, и в затемненной палате тоже было прохладно, но Антонио весь покрылся испариной от боли, и его посеревшие губы были плотно сжаты. Он не хотел разжимать их, и только глаза его настойчиво призывали Тамамеса. Мигелильо отвечал на телефонные звонки. Мать Антонио, красивая, смуглая, очень полная, с гладко зачесанными волосами, то входила, то выходила, то садилась в угол и обмахивалась всею, то присаживалась у постели сына. Кармен либо сидела у постели Антонио, либо выходила в соседнюю комнату, к телефону. В коридоре стояли или сидели пикадоры и бандерильеро. Приходили посетители, оставляли записки, визитные карточки. Мигелильо никого, кроме родных, не пускал в палату.

Наконец Тамамес явился в сопровождении двух медицинских сестер и выпроводил всех, кому не следовало присутствовать при перевязке. Как всегда, он был бодр, весел и грубоват.

— Ну, что с тобой? — сказал он Антонио. — По-твоему, у меня нет других пациентов? Идите сюда, — сказал он мне. — Уважаемый коллега, стойте здесь. А ты поворачивайся на живот. Ни меня, ни Эрнесто тебе бояться нечего.

Он разрезал повязку, снял марлевую пакладку и, быстро понюхав ее, передал мне. Я тоже понюхал и бросил повязку в таз, подставленный сестрой. Гнилостного запаха не было. Тамамес посмотрел на меня и широко улыбнулся. Рана оказалась чистой. Края четырех длинных швов слегка воспалились, но, в общем, все было хорошо. Тамамес отрезал резиновую трубку, оставив в ране только небольшой кусок.

— Больше не будет тиканья,— сказал он.— Можешь успокоить свои нервы.

Он быстро осмотрел рану, промыл ее и, наложив повязку, с моей помощью прилепил ее пластырем.

— Теперь слушай: ты хныкал, что тебе больно. Всем прожужжал уши,— сказал он.— Так вот — повязка требовалась тугая. Понятно тебе? Рана опухает. Иначе быть не может. Нельзя всадить в себя такую штуку толщиной с ручку мотыги, чтобы она все там расковыряла, и обойтись без раны, которая болит и опухает. От тугой повязки боль усиливается. Теперь повязка не жмет, правда?

— Да,— сказал Антонио.

— Так чтобы я больше не слышал, что тебе больно.

— Вам-то не было больно,— сказал я.

— Так же, как и вам,— сказал Тамамес.— К счастью.

Мы с ним отошли в угол, уступив место у постели родным Антонио.

— Это надолго, Маноло? — спросил я.

— Если не будет осложнений, через три недели он сможет выступать. Рана глубокая, повреждения серьезные. Жаль, что он так мучился.

— Очень мучился.

— Он поедет на поправку к вам в Малагу?

— Да.

— Отлично. Я отправлю его, как только он сможет передвигаться.

— Если он будет чувствовать себя хорошо и температура не поднимется, я уеду завтра вечером. У меня куча работы.

— Отлично. Я скажу вам, может ли он ехать с вами.

Я ушел, сказав, что зайду вечером. Мне хотелось выйти с Биллом на свежий воздух, на шумные улицы. Мы знали, что теперь все будет хорошо. Вокруг постели Антонио собрались родные и друзья, и мне не хотелось им мешать. Было самое время идти в музей Прадо. Там разное освещение в разные часы дня.

Я думал о том, что уже давал себе слово не дружить ни с одним матадором, пока он не уйдет с арены, но и это мое здравое намерение постигла та же участь, что и остальные. В вестибюле больницы я столкнулся с матадором, из-за которого когда-то принял такое решение. В то утро он показался мне очень старым и морщинистым. Это был отец Антонио, и он сказал мне:

- Все хорошо, правда?
- Да. Рана отличная, чистая.
- Я стоял возле тебя, когда ее открыли.
- А я тебя не заметил.
- Да,— сказал он.— Мы оба смотрели на рану.

Когда Антонио и Кармен вышли из самолета на приветливом маленьком аэродроме в Малаге, он тяжело опирался на палку, и мне пришлось помочь ему пройти через зал ожидания и сесть в машину. Прошла неделя с тех пор, как я простился с ним в больнице. И он и Кармен смертельно устали от поездки, и после ужина в тесном кругу я помог отвести его в отведенную им спальню.

— Ты ведь рано встаешь, Эрнесто? — спросил он. Я знал, что он спит до полудня, а то и позже во время гастрольных поездок.

— Да, но ты встаешь поздно. Спи, сколько спится, и хорошенько отдохни.

— Я хочу выйти вместе с тобой. На ферме я всегда встаю рано.

Утром — трава в саду еще была мокрая от росы — он один, опираясь на палку, поднялся по лестнице и прошел по коридору до моей комнаты.

— Хочешь пройтись? — спросил он.

— Хочу.

— Так идем,— сказал он. Палку он положил на мою кровать.— Палке конец,— сказал он.— Оставь ее себе.

Мы гуляли с полчаса, и я бережно поддерживал его под локоть, чтобы он не упал.

— Вот это сад,— сказал он.— Больше мадридского Ботанико.

— А дом чуть поменьше Эскуриала. Зато тут нет погребенных королей, можно пить вино, и даже петь разрешается.

Почти во всех испанских кафе и тавернах висит объявление: «Петь не разрешается».

— Будем петь,— сказал он. Мы еще погуляли, пока я не решил, что с него довольно. И тут он сказал:— Я привез тебе письмо от Тамамеса, там сказано, какое мне нужно лечение.

Я подумал, что, может быть, прописанные лекарства и витамины найдутся у нас, а нет, так я достану их в Малаге или съезжу за ними в Гибралтар.

— Вернемся в дом, я прочту письмо, и мы сразу приступим к лечению. Незачем терять время.

Я остался в прихожей, а он пошел в свою комнату, стараясь не хромать, но держась одной рукой за стену. Через несколько минут он принёс мне маленький конвертик, на котором стояло мое имя. Я вскрыл конвертик, вынул визитную карточку и прочел: «Уважаемый коллега. Сдаю на ваше попечение моего пациента Антонио Ордоньеса. Если вам придется его оперировать, то *con mano dura* (да не дрогнет у вас рука). Ваш Маноло Тамамес».

— Ну как, Эрнесто? Приступим к лечению?

— Я полагаю, что не мешало бы выпить по стаканчику кампаньяс, — сказал я.

— Ты думаешь, это полезно? — спросил Антонио.

— Рановато, конечно, в такой час. Но в качестве послабляющего можно.

— А купаться будем?

— Только после полудня, когда вода потеплеет.

— Может быть, холодная вода принесет пользу.

— А может быть, ты застудишь горло.

— Ничего, я не застужу. Пошли купаться.

— Мы пойдем, когда вода нагреется от солнца.

— Ну ладно. Давай погуляем. Расскажи мне, что нового. Хорошо тебе писалось это время?

— Иногда очень хорошо. Иногда похуже. День на день не приходится.

— И у меня так. Бывают дни, когда совсем не можешь писать. Но люди заплатили, чтобы поглядеть на тебя, вот и стараешься изо всех сил.

— В последнее время ты неплохо писал.

— Да. Но ты понимаешь, о чем я говорю. И у тебя бывают дни, когда нет этого самого.

— Да. Но я все-таки что-то выжимаю из себя. Заставляю работать мозги.

— И я так. Но как чудесно, когда пишешь по-настоящему. Лучше всего на свете.

Он очень любил называть свою работу писательством.

Мы обычно говорили о многом и разном: о месте художника в мире, о технике мастерства и профессиональных секретах, о финансах, иногда о политике и экономике. Случалось нам говорить и о женщинах, даже часто случалось, о том, что мы должны быть примерными мужьями, и еще мы иногда говорили о чужих женщинах, не наших, и о своих повседневных житейских делах и заботах. Мы

разговаривали все лето и всю осень, по пути с корриды на корриду, и за обеденным столом, и в любое время, когда Антонио отдыхал или поправлялся после раны. Мы придумали с ним веселую игру: оценивать людей с первого взгляда, как быков, привезенных для боя. Но это все было позже.

В тот первый день в «Консуле» мы просто болтали и шутили, радуясь тому, что рана Антонио заживает и силы его восстанавливаются. Он немного поплавал, но рана его еще не совсем закрылась, и я сделал ему перевязку. На второй день он уже не хромал и наступал на больную ногу осторожно, но твердо. С каждым днем он чувствовал себя лучше и крепче. Мы ходили, купались, упражнялись в стрельбе в оливковой роще за копышней, хорошо тренировались, хорошо ели и пили и отлично проводили время. Потом он пересолил — вздумал в ненастный день искупаться в море, от сильной волны шов немного разошелся, и в рану попал песок, но я видел, что она в отличном состоянии, и только промыл ее, наложил повязку и наклеил пластырь.

Антонио и Кармен прочли мои романы и рассказы, которые были переведены на испанский язык, и он хотел поговорить о них со мной. Когда он обнаружил, что почерк у меня такой же скверный, как у него самого, он стал усиленно упражняться в каллиграфии и заявил, что Билл Дэвис, у которого был замечательный почерк и огромная библиотека, мой «негр» и что все мои книги на самом деле написаны им.

— Эрнесто совсем не умеет писать, — говорил он. — Мэри приходится все переписывать на машинке и переделывать. Мэри — женщина образованная, культурная, вот она и помогает ему. А Билл его негр. Эрнесто рассказывает ему всякие истории, когда они едут в город или еще куда-нибудь, а потом негр записывает их. Теперь я понял всю вашу механику.

— Неплохая механика, — сказал я. — И машину водить мой негр тоже умеет.

— Я расскажу тебе очень страшные истории, просто чудовищные. Потом ты перескажешь их негру, а он уж обработает их. Мы подпишемся под ними оба, а деньги пойдут в общий фонд нашей фирмы.

— Как бы мой негр не надорвался, — сказал я. — А то еще ночью уснет за баранкой.

— Мы накачаем его черным кофе и витаминами, —

сказал Антонио.— И, пожалуй, лучше сначала продавать нашу писанину под одним твоим именем, пока мое еще не прославилось в литературе. Как идут наши дела под твоим именем?

— Помаленьку.

— Верно, что нам могут только один раз присудить эту шведскую премию?

— Верно,— сказал я.

— Какая несправедливость,— сказал Антонио.

За то время, что Антонио оправлялся от раны, Луис Мигель выступал четыре раза, и по всем отчетам выходило, что он превзошел самого себя. Я был занят Антонио и своей работой и не следил за тем, каковы были рога у его быков. В Малаге тогда не оказалось ни одного из близких знакомых, у кого я мог бы это проверить. Я виделся с Мигелем и говорил с ним, когда после своего шумного успеха в Гренаде он приехал навестить Антонио в больнице, и мне очень хотелось увидеть его на арене. Я обещал ему, что мы приедем в Альхесирас, где он должен был выступать дважды.

Мы приехали в Альхесирас в ясный ветренный день по чудесной прибрежной дороге. Я беспокоился, что ветер затруднит работу матадоров, но арена в Альхесирасе сооружена с таким расчетом, чтобы защитить ее от порывистого восточного ветра, который здесь называют леванте. Этот ветер — бич прибрежной Андалузии, такой же, как ми-страль для Прованса, но матадоры не тревожились, хотя флаг на верхушке цирка сильно трепало.

Все сказанное в отчетах о Луисе Мигеле подтвердилось. Он был горделив без высокомерия, спокоен, держался непринужденно и уверенно руководил боем. Приятно было видеть, как он всем распоряжается и с каким мастерством работает. Он вел себя на арене так же естественно и свободно, как у бассейна на Кубе, где мы с ним болтали, отдыхая после купания, в ту пору, когда он не выступал. Но в нем чувствовалась безраздельная и уважительная поглощенность своей работой, которая отличает всех великих художников.

Плащом он работал лучше, чем когда-либо на моей памяти, хотя его вероники не взволновали меня. Но я восхищался обилием и разнообразием его приемов. Все они были необычайно искусны и выполнены виртуозно.

Он был отличным бандерильеро и воткнул три пары бандерилий с не меньшим блеском, чем лучшие мастера этого дела. Он не фальшивил и не позировал. Он не бежал к быку через всю арену, а с самого начала привлекал его внимание и с геометрической точностью ставил его в нужное положение, а когда бык, нагнув голову, нацеливался рогом, поднимал руки и безошибочно втыкал палочки в надлежащее место. Смотреть, как он действует бандерильями, было истинное наслаждение.

Его работа с мулетой была очень интересна и эффективна. Он отлично проделал классические пассы и показал еще множество приемов всевозможных стилей. Убил он очень искусно, не подвергая себя чрезмерной опасности. Я понимал, что при желании он мог бы убить с подлинным мастерством. Я также понимал, почему долгие годы он считался матадором номер один в Испании и во всем мире, — так испанцы оценивают своих матадоров. И еще я понимал, каким опасным соперником он будет для Антонио, но после того, как я увидел работу Луиса Мигеля с обоими быками, я уже ничуть не сомневался в исходе состязания. Эта уверенность особенно укрепилась во мне, когда Луис Мигель, подготовив быка к смертельному удару, отбросил мулету и шпагу и, безоружный, осторожно стал на колени в поле зрения быка перед самыми рогами.

Публика была в восторге, но когда Луис Мигель повторил свой трюк, я понял, как это делается. И еще кое-что другое я заметил. У быков Луиса Мигеля рога были подпилены, потом оструганы, чтобы придать им естественную форму, и я даже заметил глянец машинного масла, которым смазывают кончики рогов, чтобы скрыть произведенную манипуляцию и придать им видимость естественного блеска. На взгляд рога были отличные, если не уметь разбираться в них. Конечно, я мог и ошибиться, но так или иначе Луис Мигель был в превосходной форме, он был великий матадор наивысшего класса, он обладал огромным опытом, огромным обаянием на арене и вне ее, — словом, он был очень опасным соперником. Он показался мне разве что чуточку слишком усталым — а ведь сезон еще только начался и обещал быть очень напряженным. Но он был великолепен на арене и работал великолепно. Однако я знал, что в этой стадии единоборства у Антонио было одно несомненное преимущество. Он выходил в Мадриде против быков, к рогам которых никто не прикасался, и в Кордове я видел, как он убил быка с громадными рогами. А рога

у быков Луиса Мигеля с самого начала показались мне подозрительными. Сведущие люди, сидевшие возле нас, высказывали сомнения по поводу рогов, но им было все равно: они пришли ради зрелища. Дельцам, причастным к бою быков, тоже было все равно. Большинство публики вообще не выражало своего мнения. Мне было не все равно, потому что, глядя на Луиса Мигеля, я понимал, что при таком чутье, при таком глубоком знании своего дела он мог бы справиться с любым быком и достигнуть совершенства истинно великих матадоров, — быть может, самого Хоселито. Но длительная практика боев с ослабленными быками мало-помалу делает его непригодным для боя с настоящим быком. Я не думал, что Антонио ожидает верная победа. Кто знает, не отразится ли рана на его душевном состоянии? Но после того, что я видел — если только я не обманулся, — я считал, что шансы Антонио поднимаются.

На афише значились еще два матадора: местный парень по прозвищу «Мигелин», коренастый, с копной густых волос, очень смелый и веселый, и Хуан Гарсиа, прозванный «Мондено», высокий, худощавый юноша, который работал с таким безмятежным спокойствием, так сдержанно и скромно, словно это был не бой быков, а католическая месса, которую он служит во сне. Он и Диего Пуэрта были лучшими молодыми тореро прошлого сезона.

Я старался быть предельно беспристрастным в моих оценках Луиса Мигеля и Антонио, но их соперничество принимало характер междоусобной войны, и сохранять нейтралитет становилось все трудней. Убедившись в несравненном и многостороннем таланте Луиса Мигеля, увидев, что он в отличной форме, я предугадывал, что ожидает Антонио, когда начнутся их совместные выступления.

Луису Мигелю нужно было удержать свое первенство. Он претендовал на первое место среди матадоров, и он был богат. Это было немаловажное обстоятельство, однако он искренне любил бой быков и на арене забывал о своем богатстве. Но он хотел, чтобы все шансы были на его стороне. Кроме того, он хотел, чтобы ему платили за выход больше, чем Антонио, что и явилось причиной их взаимного ожесточения. Антонио был отчаянно самолюбив. Он твердо верил, что он более великий матадор, чем Луис Мигель, и не со вчерашнего дня. Он знал, что может быть великим на арене, каковы бы ни были рога у быков. Луису Мигелю

платили больше, чем Антонио, а я знал, что если так будет, когда они выступят совместно, то Антонио развернется во-всю, и уж ни у кого, и прежде всего у Луиса Мигеля, не останется сомнений, кто из них более велик. Антонио либо умрет, либо добьется этого, а умирать у него не было никакой охоты.

Состязание между Луисом Мигелем Домингином и Антонио Ордоньесом началось на арене в Сарагосе. Быки были с фермы Гамеро Сивико. Все, кто увлекался боем быков и мог оплатить проезд, собрались здесь. Приехали все мадридские спортивные обозреватели, а в обеденное время в «Гранд-отеле» толпились скотоводы, посредники, аристократы, титулованные особы, бывшие барышники и все немногочисленные поклонники Антонио. Поклонников Луиса Мигеля было много — политические деятели, чиновники и военные. Мы с Биллом послали в небольшой таверне, куда он меня привел, потом подпрыгнули в номер к Антонио, и он показался нам бодрым, но слегка отчужденным. Когда он вот так двигал головой, словно у него шея плохо гнется, и говорил с чуть более заметным андалузским акцентом, я сразу угадывал, что он на кого-то злится. Он сказал нам, что спал хорошо. Мы условились после боя отправиться в Теруэль и там пообедать. Я сказал, что мы с Биллом поедем прямо из цирка, иначе Антонио на своем «мерседесе» обгонит нас. Все это слишком живо напоминало мне наш разговор перед боем в Аранхуэсе, но Антонио именно этого и хотел. Прощаясь с нами, он весело улыбнулся и подмигнул мне, словно между нами была какая-то тайна. Не скажу, что он нервничал, но все-таки он немного волновался. Я зашел в номер Луиса Мигеля и пожелал ему хороших быков. Он тоже немного волновался.

День был жаркий, июньское солнце припекало. Первый бык Луиса Мигеля, сильный и напористый, очень решительно кидался на пикадоров. Луис Мигель увел быка приемом кита и в работе с плащом показал то же искусство, ту же горделивую властность, что и в Альхесирасе, где мы видели его бой с быками Пабло Ромеро. От второго пикадора быка увел Антонио. Он увел его на середину арены и проделал все пассы так медленно и плавно, стоя так близко к быку и держась так прямо и вольно, что под конец уже казалось, будто на твоих глазах происходит невоз-

можное. И зрители и Луис Мигель сразу поняли, на чьей стороне превосходство в работе с плащом.

Луис Мигель отлично воткнул две пары бандериллий, а третью — блистательно: подождав к себе быка, он дождался его, не сходя с места, в последнюю долю секунды отклонился вправо, опустил палочки и выпрямился. Он был изумительный бандерильеро.

Взяв в руки мулету, он быстро подчинил себе быка, подготовленного долгой и отличной работой. Но чародейства не было. После китэ, которое проделал Антонио с его далеко не легким быком, он словно потускнел. Он дважды заносил шпагу неудачно, и в его движениях не было решительности. В третий раз он нацелился лучше, шпага вошла наполовину, Луис Мигель искусно заставил быка нагнуть голову еще ниже, и, когда бык ткнулся мордой в опущенную до самого песка мулету, он вонзил острие дескабелью¹, и все было кончено. Публика приветствовала его, и он обошел арену кругом, чуть улыбаясь плотно сжатыми губами.

Первый бык Антонио хорошо вышел на арену. Антонио перехватил его и проделал все пассы, подходя все ближе и ближе, с каждым взмахом плаща все лучше применяясь к движением быка и, по своему обыкновению, так томительно медленно, что у меня сердце останавливалось.

Антонио не дал пикадорам издегаться быка, и после одной пары бандериллий он возобновил свою виртуозную работу, прерванную месяц назад в Аранхуэсе. Он был такой же, как всегда. Тяжелая рана не нанесла ему ни малейшего ущерба. Она лишь многому научила его, и он с присущим ему изяществом и мастерством школил быка, превращая его в своего партнера, любовно помогая ему проходить как можно ближе, так что рог только-только не задевал матадора. Наконец, выжав из быка все, что тот мог дать, Антонио, перегнувшись через рога, одним ударом убил его. На мой взгляд, он всадил шпагу чуть ниже, чем полагается, но публика и президент остались довольны. Антонио присудили уху.

И я и Билл вздохнули с облегчением. Антонио был все такой же, он вернулся на арену, словно никогда не покидал ее. Это было самое главное. Ни шок, ни перенесенные муки не повлияли на психику. Лицо его показалось мне слегка усталым, особенно глаза, но и только.

¹ Дескабельо — кийжал, которым поражают спинной мозг быка.

Второй бык Луиса Мигеля был разбит на ноги. Луис Мигель очень старался. Начал он хорошо, но у быка отвалилось копыто. Мигель попросил разрешения за свой счет заменить быка и выступить еще раз после Антонио. Потом он прикончил несчастное больное животное, а на арене появился последний бык Антонио.

После того как Антонио удачно убил быка, одним ударом вонзив шпагу до самого эфеса, на арену вышел бык, которым заменили второго быка Луиса Мигеля, — крупный, несколько тяжеловесный, с хорошими рогами и достаточно резвый. Луис Мигель работал в своей обычной манере. Он воткнул четыре пары бандериллий, не столь дорогих, как те, которые он пустил в ход с первым быком, но вполне добротных — от Мэйси. Мулетой он работал ловко, уверенно и спокойно. Потом он проделал все излюбленные публикой трюки, и проделал их отлично. Первый удар шпагой он нанес не очень уверенно. При второй попытке он нацелился лучше и точно попал в область сердца острием шпаги, до половины вошедшей в загривок. Потом Луис Мигель прикончил быка ударом дескабелью. Ему присудили оба уха и хвост.

Билл сказал:

— Сезон обойдется Луису Мигелю недешево, если ради того, чтобы затмить Антонио, он будет всякий раз выкладывать по сорок тысяч песет.

— Сегодняшний случай весьма знаменателен, — сказал я. — Луис Мигель очень и очень неглуп. Он отлично понял, что означает китэ Антонио с его быком. Этого он не забудет. Вот увидишь.

— К тому же Антонио всегда будет выступать после него, — сказал Билл. — Это тоже огромное преимущество.

— Придется нам последить, сколько будет замен, — сказал я. — Как бы их не было слишком много.

— Не думаю, что нам долго придется следить, — сказал Билл.

— И я не думаю.

* * *

В Памплону не следует ездить с женой. Все шансы за то, что она заболеет, порежется или ушибется, и уж по меньшей мере ее затолкают и обольют вином, а недолго и совсем потерять ее. Если какая-нибудь супружеская пара могла безнаказанно побывать в Памплоне, так это Кар-

мен и Антонио, но Антонио не взял Кармен с собой. Фиеста в Памплоне — мужское дело, а от женщин только жди беды, не потому, что они этого хотят, но так уж получается, что либо они что-нибудь натворят, либо сами попадут в беду. Когда-то я написал об этом книгу. Разумеется, если вы найдете женщину, которая говорит по-испански и поэтому не принимает шутки за оскорбление, способна день и ночь пить вино и танцевать со всяким, кому только вздумается ее пригласить, не возражает, когда на нее льется и сыплется всякая всячина, жить не может без непрерывного шума и оглушительной музыки, страстно любит фейерверк, особенно если ракеты падают совсем рядом или насквозь прожигают платье, не видит ничего нелепого в том, что вы рискуете попасть быку на рога ради забавы и совершенно бесплатно, не простужается, когда мокнет под проливным дождем, обожает пыль и беспорядок, с удовольствием ест где и как попало, умеет обходиться без сна и без горячей воды и все же быть всегда свежей и чистой,— если вы найдете такую женщину, привозите ее. И тогда она скорее всего сбежит от вас к кому-нибудь получше.

Памплону, как всегда, бурлила, наводненная туристами и разношерстным людом, но было много и фешенебельной публики со всех концов Наварры. Целую поделку мы спали меньше четырех часов в сутки, да и то под дробь барабанов, пронзительные звуки дудок, высвистывающих старинные мелодии, и топот неугомимых танцоров. Я уже описал Памплону раз и навсегда. Там все осталось по-прежнему, только число туристов на сорок тысяч увеличилось. Когда я впервые был в Памплоне почти четыре десятилетия тому назад, там и двадцати приезжих не набралось бы. А теперь в иные дни, говорят, их чуть ли не сто тысяч. Но так как никто туристов не считает, то цифры называют самые разные.

Антонио выступал в Тулузе 5 июля, но он все же успел приехать вовремя к первому пробегу быков, который состоялся утром 7-го. Сам он в Памплоне выступать не должен был, потому что произошла какая-то путаница с ангажементами, когда он, в самом начале сезона, перешел от своего антрепренера к братьям Домингинам. Антонио любил фиесту в Памплоне и очень хотел погулять на празднике вместе с нами. Мы и погуляли. Мы гуляли без передышки пятеро суток. После этого он уехал в Пуэрто-де-Санта-Мария, где ему предстояло выступать 12 июля с Луисом Мигелем и Мондено. Но там Антонио постигла

неудача,— впервые за весь год Луис Мигель затмил его на арене во время совместного выступления.

Впоследствии я спросил его, как это случилось. Он сказал, что Луису Мигелю достались быки получше, но и сам он работал много хуже, чем в предыдущих боях этого сезона.

— Мы плохо тренировались в Памплоне,— сказал я.

— Пожалуй, мы тренировались не совсем так, как нужно,— согласился он.

Мы не собирались тренироваться в Памплоне, но и не предвидели, что ранним утром один из быков Пабло Ромеро нападет на Антонио и ткнет его рогом в правую икру, а Антонио после перевязки и противостолбнячной прививки не будет обращать на рану внимания. Он танцевал всю ночь напролет, чтобы нога не одеревенела, а на другое утро опять бежал за быками, чтобы показать своим памплонским приятелям, что он отказался выступать у них не потому, что ему не поправились быки. Он даже ни разу не глянул на свою рану и не показал ее хирургу при цирке, чтобы никто не подумал, что он придает ей хоть малейшее значение, и чтобы не волновать Кармен. Когда немного спустя рана нагноилась, Джордж Сэвирс, врач из Сан-Вэлли, наш хороший знакомый, промыл ее, перевязал как следует, и делал это каждый день, а потом Антонио с еще не закрывшейся раной уехал на бой быков в Пуэрто-де-Санта-Мария.

Потом я узнал от друзей, что в Пуэрто у Луиса Мигеля действительно были идеальные быки и работал он превосходно, а потом пустил в ход все свои трюки и даже поцеловал одного быка в морду. Антонио достались два нелегких быка, причем второй из них был очень опасен. Первого быка он убил неудачно, но из второго, очень трудного, он выжал все, что мог, и убил его с блеском, за что и получил в награду ухо. Мондено показал хороший класс с обоими своими быками, очень нелегкими, и за первого его тоже наградили ухом. Но героем дня был Луис Мигель.

Я задержался в Памплоне, потому что во время купанья в Ирати Мэри наткнулась на камень и сломала большой палец на ноге. Нога у нее сильно болела, и она ходила с трудом, тяжело опираясь на палку. Возможно, что мы все-таки хватили через край, гуляя на фиесте. В первый же вечер мы с Антонио заметили очень элегантный маленький автомобиль французской марки, в котором сидели двое, мужчина и очаровательная молодая девушка.

Антонио, прыгнув на капот, остановил машину. С нами был и Пепе Домингин, и как только седоки вышли, мы объявили мужчине, который оказался французом, что он может идти, а девушку мы берем в плен. И машину тоже возьмем, так как у нас затруднения с транспортом. Француз отнесся к этому весьма добродушно. Выяснилось, что девушка — американка, а он только провожает ее до гостиницы, где она должна встретиться со своей подругой. Мы сказали, что все устроим и *Vive la France et les pommes de terre frites*¹.

Негр Билл, знавший все улицы Памплоны, разыскал подругу, — пожалуй, еще более очаровательную, чем первая пленница, и мы гурьбой отправились по разукрашенным флагами темным, узким улочкам старого города в кабачок, куда Антонио непременно хотел затащить нас, и там мы допоздна танцевали и пели. Потом мы отпустили наших пленниц на честное слово, и утром обе они, свежис, хорошенькие и нарядные, явились в бар Чоко, когда первые танцоры и барабанщики шли мимо, направляясь на площадь, и весь июль они не только не помышляли о побеге, но безропотно дали увезти себя в конце месяца на ферию в Валенсию. Любопытный получился месяц, можете мне поверить.

Захват хорошеньких пленниц не всегда встречает одобрение в семейном кругу, но наши были такие милые и уживчивые, так легко и весело переносили плен, что все жены радушно принимали их, и даже Кармен согласилась с нашим мнением, когда познакомилась с ними в «Консуле», где 21 июля мы справляли ее день рождения вместе с моим.

Тем временем мы нашли способ рассеивать угар фиесты и спастись от шума, который кое-кому из нашей компании действовал на нервы. Для этого мы с утра уезжали на берег реки Ирати, куда-нибудь за Аойс, гуляли, купались и возвращались в город только к бою быков. Следуя по течению этой прелестной, богатой форелью речки, мы с каждым днем забирались все глубже в дебри девственного леса Ирати, который ничуть не изменился со времен друидов. Я думал, там все вырублено и погублено, но нет, он такой же, как был, — последний большой лес средневековья, с огромными буками и вековым ковром мха, на котором так мягко, так чудесно лежать. С каждым днем мы

¹ Да здравствует Франция и жареный картофель (фр.).

все дальше и дальше забирались и все больше опаздывали на бой быков и в конце концов вовсе пропустили последнюю новильяду, проведя день в одном поповедном уголке, о котором я больше ничего не скажу, потому что мы надеемся еще туда вернуться и вовсе не желаем застать там полсотни легковых машин и джипов. Лесная дорога вывела нас почти ко всем тем местам, куда мы добирались пешком в годы, описанные мною в книге «И восходит солнце», — впрочем, в Ронсеваль и теперь иначе как пешком, карабкаясь по кручам, не доберешься.

Я так радовался, вновь обретая все эти места и найдя их непогашенными, что ни разные новшества в Памплоне, ни наводнявшие ее толпы не имели для меня значения. Мы отыскивали свои излюбленные кабаки вроде «Марсельяно» и, как в былое время, ходили туда по утрам, после епископского завтрака, пить вино и петь песни; «Марсельяно», где деревянные столы и деревянные ступени лестницы вымыты и выскоблены до того, что сверкают чистотой, словно тиковая палуба яхты, если не считать пролитого на столах вина, но это лишь к украшению. Вино было так же приятно на вкус, как и тогда, когда нам было по двадцать лет, еда по-прежнему великолепная. Песни пелись те же, но были и новые, хорошие песни, с выкриками и притопыванием под дудку и барабан. Лица, молодые когда-то, постарели, как и мы, но все мы очень хорошо помнили, какими мы были в те годы. Глаза остались прежними, и растолстеть никто не растолстел. Ни у кого не залегла горечь в углах рта, хотя глазам, быть может, припало повидавать многое. Горькие складки в углах рта — первый признак поражения. Поражения здесь не потерпел никто.

Светская наша жизнь проходила в баре Чоко, под аркадами близ отеля, где когда-то был хозяином Хуанито Кинтана. Здесь, в этом баре, один молодой американский журналист выразил мне свое сожаление, что не мог быть с нами в Памплоне тридцать пять лет тому назад, когда я ездил по стране, и знакомился с народом, и знал испанцев, и болел душой за них, и за их родину, и за свою работу, а не растрчивал время в барах; напрашиваясь на ластивые похвалы, восхищая прихвостней своими остроумиями и раздавая автографы. Все это и еще многое в том же роде содержалось в письме, которое он мне написал после того, как я его выругал, потому что он не пришел за билетами на бой быков, раздобытыми мной для него у одного знакомого перекупщика. Журналисту было лет двадцать с неболь-

шим, и в двадцатые годы он бы так же рубил сплеча, как и в пятидесятые. Он не знал, что то, о чем он говорит, никуда не может деться, нужно только уметь это увидеть. Он этого не знал, и, когда он пытался корить меня Памплопой, на его красивом юношеском лице, у верхней губы, уже обозначались горькие черточки. То, о чем он говорил, никуда не делось и было открыто для него, но он не видел.

— Что вы с ним возитесь, с этим слизняком, — сказал Хотч. Хотч, иначе Эд Хотчнер, был наш давнишний приятель и уже месяц путешествовал вместе с нами, как и доктор Джордж Сэвирс.

— Он вовсе не слизняк, — сказал я. — Он будущий редактор «Ридерс Дайджест».

— Пусть Джордж сделает ему укол, чтобы безболезненно отправить его на тот свет, — предложил Билл Дэвис.

— А в самом деле, Джордж, — сказал Хотч. — Подумайте, от скольких лет страданий вы его избавите.

— Напомните мне, где я живу, Хотч, — сказал Джордж. — Я тогда схожу и принесу все, что нужно. Может быть, еще кому-нибудь требуется укол?

— Не мешало бы заодно позаботиться об Антонио, — сказал Хотч. — Не заживает его рана.

— Антонио сегодня выступает в Пуэрто-де-Санта-Мария, — сказал Билл Дэвис.

— Черт побери, — сказал Джордж. — Надеюсь, он не забыл про присыпку, которую я ему дал.

После того как кончилось наше гулянье в Памплоне, Антонио дважды выступал во Франции, в Мон-де-Марсан, где имел большой успех, но быки, вероятно, были с подпленными рогами, и он никогда не заговаривал со мной об этих боях. Из Франции он прилетел в Малагу, чтобы присутствовать при торжестве, которым Мэри решила отметить мой общий с Кармен день рождения. Торжество получилось пышное, и я, быть может, не осознал бы, что мне стукнуло шестьдесят, если бы Мэри не устроила все так хорошо и торжественно. Но тут уж нельзя было отмахнуться от этой мысли. Я предпочел бы не говорить о своем юбилее и сразу перейти к феерии в Валенсии, где началась смертельная схватка между Антонио и Луисом Мигелем. Но есть кое-что, о чем я непременно должен сказать.

Когда тяжелая рана, полученная Антонио в Араихуэсе, зажила, мы стали очень беспечны — в лучшем смысле

этого слова. Мы говорили о смерти без страха, и я высказал Антонио все, что думаю о ней, хотя это не имеет никакой цены, поскольку никто из нас ничего о ней не знает. Я мог искренне презирать смерть и даже иногда внушать это презрение другим, но мне-то она тогда не грозила. Антонио же сталкивался с ней изо дня в день, нередко по два раза в день и для встречи с ней приезжал издалека. Он ежедневно подвергал себя смертельной опасности, и стиль его работы был таков, что он сознательно продлевал угрозу смерти до немыслимых для нормального человека пределов. Чтобы выдержать это, ему нужны были железные нервы и абсолютное спокойствие. Он работал честно, без фальши, и исход боя для него полностью зависел от его умения распознавать опасность и предотвращать ее, подчиняя себе быка одним движением кисти руки, которую управляли его мышцы, его нервы, его реакция, зоркость, знание, чутье и мужество.

Если бы не точность и быстрота его реакции, он не мог бы так работать. Если бы мужество покинуло его хоть на малейшую долю секунды, он потерял бы власть над быком и бык задал бы его. Кроме того, по прихоти ветра он мог в любую минуту остаться перед быком беззащитным, а это означало почти верную смерть.

Все это он знал, знал досконально и без самообмана, и наша задача заключалась в том, чтобы сократить до минимума время ожидания, оставляя его наедине со своими мыслями ровно на столько, сколько необходимо для психологической подготовки перед самым боем. Это и было наше участие в ежедневном свидании Антонио со смертью. Любой человек может иной раз без страха встретиться со смертью, но умышленно приближать ее к себе, показывая классические приемы, и повторять это снова и снова, а потом самому наносить смертельный удар животному, которое весит полтонны и которое к тому же любишь, — это посложнее, чем просто встретиться со смертью. Это значит — быть на арене художником, сознающим необходимость ежедневно превращать смерть в высокое искусство. По меньшей мере дважды в день Антонио должен был убивать быстро и милосердно, вместе с тем предоставляя и быку все шансы нанести смертельный удар, когда Антонио, подняв шпагу, нагибался над его рогами.

Все участники корриды помогают друг другу во время боя. Вопреки соперничеству, зависти и вражде — нет на свете более тесного братства. Только матадоры знают, ка-

кая им грозит опасность, как жестоко может искалечить их физически и нравственно неудача на арене. Те, у кого нет истинного призвания, и во сне не забывают о быках. Но перед самым выходом на арену матадору никто помочь не может; поэтому мы только старались сократить время острой тревоги. «Тревога» — не совсем подходящее слово, я предпочел бы назвать это волнением, сдержанным, мучительным волнением.

Антонио всегда молился перед боем, после того как поклонники и болельщики уходили из его комнаты и он оставался один. Если еще было время, почти все мы по дороге в цирк заходили в часовню помолиться. Антонио знал, что я молюсь не о себе, а о нем. Мне не предстоял бой, а кроме того, я вообще никогда не молюсь о себе после гражданской войны в Испании, где столько страшного на моих глазах случилось с другими, что молиться о себе кажется мне теперь недопустимым эгоизмом.

Итак, мы всячески старались оставлять ему только минимальный срок для размышлений перед выходом на арену, а время между боями проводить как можно беспечно. Уже и фиеста в Памплоне достаточно располагала к беспечности и бездумью, а наш праздник на вилле «Консула» тем более. Для нашего развлечения Мэри взяла напрокат ярмарочный тир и установила его в саду. Как-то в 1956 году Антонио видел, как я из охотничьего ружья, на порывистом ветру, отстреливал горящий кончик сигареты, которую держал в руке наш шофер, итальянец Марио, и отнесся к этому неодобрительно. Но на этот раз, в день моего рождения, Антонио держал сигарету во рту, когда я отстреливал столбик пепла. Я проделал этот опыт семь раз, стреляя из крохотных ружей тира, и с каждым разом Антонио затягивался сильнее, чтобы окурок стал как можно короче.

Наконец он сказал:

— Пожалуй, хватит, Эрнесто. Еще один выстрел — и я останусь без губ.

Магараджа из Куч-Бихара тоже приобщился к этому безобидному развлечению. Сначала он проявлял осторожность — вставлял сигарету в мундштук, но очень скоро отбросил его и стал затягиваться не хуже Антонио. Я набрал много очков, но отложил ружье и отказался стрелять в Джорджа Сэвирса, потому что он был единственным врачом в доме, а мы еще только начали веселиться. Ну и повеселились, можно сказать.

Пятая в этом сезоне встреча на арене Антонио и Луиса Мигеля состоялась во время четвертой корриды в Валенсии. Быки были с фермы Самуэла Флореса. Третьим матадором был Грегорио Санхес. День выдался пасмурный, гнетуще душный. В первый раз за ферию все билеты были проданы. Первый бык Луиса Мигеля оказался перешибленным, уже кинувшись, начинал тормозить и охотнее всего занимал оборонительную позицию. Мигель работал с ним старательно и умело. Бык упорно тыкался мордой в песок, а Мигель настойчиво заставлял его поднять голову, чтобы принять смертельный удар. С таким быком любой матадор намучился бы. Однако Луис Мигель убил его ловко и довольно быстро со второго раза. Это было не то, что публика хотела получить за свои деньги, но ничего другого Луис Мигель ей предложить не мог, и большинство зрителей это понимало и аплодировало ему. Он вышел на вызовы один раз и вернулся к барьеру злой, с плотно сжатыми губами.

Антонио показал все классические, по-настоящему опасные приемы, какие только можно проделать с быком, а потом исполнил все пассы сначала, еще лучше, еще виртуознее. Публика бешено аплодировала, и президент присудил ему оба уха.

Луис Мигель изо всех сил старался отыгаться на втором быке и потому становился на оба колена и взмахивал плащом, держа его в одной руке. Такой прием называется *larga cambiada*, он очень эффектен и красив, но это далеко не так опасно, как медленно пропускать мимо себя быка, держа плащ обеими руками. Но публике такая работа правится, и не даром, а Луис Мигель большой мастер этого приема.

С бандерильями он был великолепен. Одну пару он вонзил так изумительно, что просто глазам не верилось. Бык стоял у самого барьера, бока его раздувались, с одного плеча стекала кровь из раны, нанесенной копьем, глаза неотступно следили за Луисом Мигелем, который медленно приближался к нему, широко раскинув руки, держа бандерильи под прямым углом остриями вперед. Мигель миновал черту, где должен был бы позвать быка и заставить его кинуться, миновал черту, где еще можно было вонзить бандерильи без серьезного риска, миновал черту, где бык, не спускавший с него глаз, должен был обрести уверенность, что достанет его рогом. Когда расстояние

сократилось до трех шагов, бык кинулся, Луис Мигель, изогнувшись влево, всадил обе заостренные палочки, оперся на них, перебросил тело через голову быка и выпрямился с другой стороны.

Когда Луис Мигель взялся за мулету, он и бык стояли близко у барьера, как раз под нами. Я слышал, что он говорит быку, слышал дыхание быка и стук бандерильи, когда тот проходил под мулетой у самой груди Мигеля. Бык получил только одну рану от копыя пикадора, но глубокую. Мышцы шеи у него были крепкие, и Мигель заставил его высоко вскидывать голову, чтобы он тем ниже опустил ее к моменту последнего удара. Но бык истекал кровью и быстро терял силы.

Мигель обращался с ним бережно, очень мягко увел его на середину арены, но бык слабел с каждой минутой и двигался вяло. Наконец он, как доигранная граммофонная пластинка, сошел на нет, и тогда Мигель, убедившись, что бык больше играть не желает, сам затеял с ним игру. Он гладил его рога и приставлял локоть к его лбу, делая вид, будто говорит с ним по телефону. Бык меньше чем когда-либо мог ответить ему сейчас, когда он выдохся, потеряв столько крови, и уже не способен был кинуться. Мигель несколько раз хватал его за рог, пытаясь сдвинуть с места, а потом поцеловал быка в морду. Теперь уже Мигель проделал над быком все, что мог, разве что не предложил руку и сердце, и ему оставалось только убить его. Мигель потерял быка, слишком хорошо поработав бандерильями. Но тогда этого не было видно.

Бык ничем не помогал Мигелю воцелить шпагу. Чтобы не уступить первенство Антонио, он должен был теперь броситься на быка, с одного удара всадить шпагу до отказа, точно в положенное место, и прихлопнуть эфес ладонью. Он не мог этого сделать. Он пытался пять раз, но шпага не входила в загривок. Она не натыкалась на кость, она просто не входила. Зрители недоуменно молчали. Они видели, что с Мигелем что-то неладно, но не понимали, что и как могло случиться. Они не знали тех обстоятельств, которые привели к такому результату.

Я подумал, что это Антонио своей блестящей работой сразил Мигеля, и мне было жаль его. Потом я вспомнил, что, выступая в Туделе, он тоже с трудом убил быка и

кто-то из зрителей запустил в него бутылкой, и, может быть, это живет в его подсознании и не дает ему нанести удар — как бывает со стрелком, когда у него однажды дрогнет рука. Но так или иначе, он уже не мог убить как надо, и после пятой попытки, заставив истекающего кровью, понурого быка почти ткнуться мордой в распластанную на песке мулету, он прикончил его ударом дескабелью в шею.

Не знаю, хорошо ли спал Луис Мигель последние ночи перед первым решающим боем в Валенсии. Говорили, что он очень поздно ложился, но так всегда говорят, после того как что-нибудь случится. Одно я знаю: он волновался перед боем, а мы нет. Я не пристаивал к Мигелю, не задавал ему никаких вопросов, потому что теперь я уже окончательно принадлежал к лагерю Антонио. Мы все еще были друзьями, но, после того как я внимательно рассмотрелся к его работе с быками различных пород и поведен, у меня не осталось сомнений, что Луис Мигель — великий матадор, но Антонио — величайший. Я был убежден, что, если бы Антонио не слишком заносился, они оба могли бы заработать кучу денег, — для этого нужно было только, чтобы они снизили свои требования и чтобы им платили поровну. Если же Антонио не станут платить столько же, он до тех пор будет обострять борьбу, пока Луис Мигель, попытавшись сравняться с Антонио или даже превзойти его, не погибнет на арене или получит такую тяжелую рану, что уже выступать не сможет. Я знал, как беспощаден Антонио, знал его иступленную, непримиримую гордость, не имеющую ничего общего с самомнением. За этой гордостью скрывалось многое, и была в ней темная сторона.

Сатанинской гордости в Луисе Мигеле было не меньше, если не больше, чем в Антонио, и он ничуть не сомневался в своем превосходстве, на что были некоторые основания. Он так долго утверждал, что он лучший из всех, что сам в это уверовал. То было не просто мнение о своей работе, то была слепая вера. Теперь Антонио сильно пошатнул его веру в себя, и сделал он это, вернувшись на арену после тяжелого увечья, и, кроме одного раза, так бывало всегда, когда они вместе выступали. Но до сих пор всегда участвовал еще и третий матадор, и Луиса Мигеля утешала мысль, что это затрудняет сравнение его работы с работой

Антонио. Луису Мигелю ничего не стоило затмить любого третьего матадора. Теперь же в Валенсии ему предстояло сразиться с Антонио один на один. Дело нешуточное для любого из матадоров, кто видел Антонио в этом сезоне, а тем более если тебе платят больше, чем ему. Антонио несся, словно река в половодье, так было весь этот год и весь минувший. Накануне бол в Валенсии мы сделали рискованный опыт — как лучше провести день, — и риск себя оправдал.

Мы провели этот чудесный буйный день на пляже, вылезая из воды только затем, чтобы поесть и поиграть в футбол. После полудня мы решили не идти на бой быков, а разложить костер и торжественно сжечь наши билеты. Но побоялись, как бы не накликать беду, и еще поиграли в футбол, а потом до сумерек купались, заплывая очень далеко, а на обратном пути к берегу борясь с сильной волной, относившей нас в сторону. Все мы смертельно устали и рано завалились спать, как очень здоровые утомленные дикари.

Антонио спал отлично и проснулся отдохнувшим, в отличном настроении. Я только что вернулся с жеребьевки. Быки были с фермы Игнасио Санчеса и Бальтасара Ибаны — красивые, с хорошими рогами. Луису Мигелю и Антонио достались равноценные быки. Ночью поднялся ветер, небо покрылось тучами. Ветер был сильный, порывистый, и казалось, сейчас не конец июля, а глубокая осень.

— Кости ломит? — спросил я Антонио.

— Ничуть.

— Ноги не болят? — У меня правая ступня распухла, оттого что я гонял мяч босиком.

— И ноги не болят. Чувствую себя отлично. Как погода?

— Ветрено, — сказал я. — Даже очень.

— Может, уляжется, — сказал он.

К началу корриды ветер не улегся, и когда первый бык Луиса Мигеля вышел на арену, по небу неслись черные тучи, солнца не было и сила ветра достигала десяти баллов. Перед боем я заходил к Луису Мигелю пожелать ему удачи. Он дружески улыбнулся мне своей чарующей улыбкой, как обычно в таких случаях. Но и он и Антонио глядели сурово и сосредоточенно, когда во главе своих куадрилий пересекли арену и, поклонившись президенту, подошли к барьеру.

Когда Мигель окончил работу с третьим быком, ему оставалось только удачно убить, чтобы завоевать ухо. Но рука не слушалась его. Механизм разладился, и он только с четвертой попытки нанес смертельный удар. Уже темнело, и ветер дул с прежней силой. На арену въехала полевочная машина, и, пока струйки воды прибывали взмываемый ветром песок, в кальехоне царило почти полное молчание.

Мы все страдали за обоих матадоров, зная, какое это испытание — работать на ветру.

— Не повезло им с погодой, — сказал мне Доминго, брат Луиса Мигеля.

— И ветер все сильнее.

— Придется свет зажечь, — сказал Пепе, другой брат Луиса. — После этого быка станет совсем темно.

Мигелильо смачивал боевой плащ Антонио, чтобы он был тяжелее и не так разлетался от ветра.

— Страх как задувает, — сказал он мне. — Просто беда. Но он может. Он справится.

Я прошел дальше по кальехону.

— Не понимаю, что со мной творится, — сказал Луис Мигель, который стоял в проходе, облокотившись на барьер. — Никуда не гоюсь со шпагой. — Он говорил равнодушным тоном, словно речь шла о ком-то другом или о каком-то непонятном ему загадочном явлении. — Остался еще один. Может быть, с этим, последним, все будет хорошо.

Друзья заговаривали с ним, но он, не слушая их, смотрел на арену. Антонио ни на что не смотрел и думал о ветре. Я постоял подле него, облокотившись на барьер, и мы не обменялись ни словом.

Третий бык Антонио потерял много крови от бандериллий и больше ни в чем не желал участвовать. Чтобы поставить его в нужное положение для удара шпагой, Антонио пришлось действовать мулетой, словно парусом в шторм. Он с трудом, одной силой рук, удерживал ее, потому что мулета, натянутая воткнутой в нее шпагой, раздувалась от ветра, как парус. Я знал, что уже много лет у него побаливает правое запястье и перед каждым боем его стягивали бинтом, чтобы оно не подвело при ударе шпагой. Теперь он не думал об этом, но, когда он занес шпагу, запястье чуть вильнуло, и шпага не вошла под прямым углом. Вернувшись в проход, он стал возле меня.

Лицо его было строго, даже сурово, а рука повисла, как у паралитика. Вспыхнул свет, и я увидел такой мрачный блеск в его глазах, какого никогда не видел у него ни на арене, ни вне ее. Он начал что-то говорить, но тут же умолк.

— Что такое? — спросил я.

Он покачал головой, глядя на упряжку мулов, вывозивших с арены мертвого быка. В ярком свете видно было, что борозду, проложенную быком, уже заносит песком, хотя с тех пор, как поливали арену, и четверти часа не прошло.

— Эрнесто, ветер ужасный, — проговорил он странным, жестким голосом.

Я никогда не слышал, чтобы на арене у него менялся голос, разве что когда он злился, но тогда голос звучал ниже, а не выше. Да и сейчас он звучал не выше обычного, и в нем не слышалось жалобы. Он просто констатировал факт. Мы оба знали, что случится беда, но это было единственное мгновение, когда мы не знали, с кем именно она случится. Оно длилось ровно столько, сколько потребовалось Антонио, чтобы произнести эти три слова. Он взял у Мигелильо стакан воды, прополоскал рот и, не обращая внимания на боль в руке, потянулся за своим плащом.

Последний бык Луиса Мигеля стремительно выбежал на залитую светом арену. Это был крупный бык, с настоящими рогами и очень резвый. Он загнал одного бандерильеро за барьер и несколько раз всадил левый рог в деревянные доски бурладеро¹. Увидев пикадора, он понесся на него и сразу опрокинул лошадь. Луис Мигель работал плащом уверенно, но осторожно. Из-за сильного ветра его основной недостаток — слабые вероники — обнаруживался особенно отчетливо, а эффектные пассы с накинутым на плечи плащом были невозможны. Бык явно нервничал и проявлял склонность тормозить задними ногами, поэтому Мигель решил отказаться от бандерильи. Зрителям это не понравилось. Они платили большие деньги за билеты, рассчитывая увидеть, как Луис Мигель вонзает бандерильи. Он знал, что теряет благосклонность публики, но надеялся удовлетворить ее хорошей фазной. Он поставил быка в наиболее защищенное от ветра место, у самого барьера, и протянул ему смоченную и залепленную пес-

¹ Б у р л а д е р о — загородка, где может укрыться матадор.

ком мулету. Потом он потребовал еще воды и вывалял мулету в песке, чтобы она стала тяжелей.

Держа в руках мулету и шпагу, Луис Мигель плавно и размеренно два раза пропустил быка мимо себя. Он видел, что бык еще не усмирен, и потому заставил его еще четыре раза пройти под мулетой, держа ее в правой руке. Потом он увел быка на середину арены, так как быку, видимо, надосли доски барьера. Мигель проделал тот же прием еще два раза, и теперь бык покорно подчинялся его воле. Когда же он в третий раз поднял мулету, ветер подхватил ее, и бык, просунув под нее морду, вскинул Луиса Мигеля на рога и швырнул на песок. Антонио уже бежал к быку, чтобы увести его плащом, но прежде, чем кто-нибудь подоспел на помощь, бык три раза боднул лежащего навзничь Мигеля, и я очень ясно увидел, как правый рог вошел в пах.

Антонио отвлекал быка, а Доминго, спрыгнувший на арену в ту же минуту, как Луис Мигель упал, оттаскивал его подальше от рогов. Доминго, Пепе и бандерильеро подняли его и побежали с ним к барьеру. Мы все помогли поднять его в калъехон и побежали к воротам под трибунами, потом по коридору, ведущему в операционную. Я поддерживал его голову. Луис Мигель зажимал руками рану, а Доминго большим пальцем надавливал на живот повыше ее. Кровотечения не было, и мы понимали, что рог не задел бедренной артерии.

Луис Мигель был совершенно спокоен и очень вежлив и мил со всеми.

— Благодарю вас, Эрнесто,— сказал он, когда я опустил его голову на подушку, в то время как его раздевали и доктор Тамамес разрезал его штаны вокруг раны. Оказалось, что рана только одна — в паху, с правой стороны. Рана была круглая, около двух дюймов в поперечнике, с синими краями. Кровоизлияние было только внутреннее.

— Смотрите, Маноло,— сказал Луис Мигель доктору Тамамесу. Он дотронулся до живота, над самой раной.— Она начинается вот тут и поднимается выше, вот сюда.— Он пальцем провел траекторию, по которой рог двигался в паху и в нижней части брюшной полости.— Я чувствовал, как он вошел.

— Muchas gracias ¹,— отрывисто и сухо ответил Тамамес.— Я уж как-нибудь сам разберусь.

¹ Премного благодарен (исп.).

В лазарете было душно и жарко, как в печке, и все обливались потом. Подскакивали фотографии, вспыхивал магний, репортеры и любопытные толпились в дверях.

— Сейчас мы приступим к операции,— сказал Таммес.— Выгоните всех отсюда, Эрнесто, и,— он понизил голос до шепота,— уходите сами.

Мигель уже лежал на столе, и я сказал ему, что приду попозже.

— До скорого, Эрнесто,— сказал он и улыбнулся. Лицо его посерело, лоб покрылся испариной, а улыбка была нежная и ласковая. У двери стояло двое полицейских, а за дверью еще двое.

— Выгоните всех отсюда,— сказал я.— Не впускайте никого. А вы стойте в дверях, но дверь не закрывайте, пусть входит свежий воздух.

Я не имел никакого права приказывать, но им это было неизвестно, и они ждали чьих-нибудь распоряжений. Они взяли под козырек и принялись очищать операционную. Я медленно вышел в коридор, но, как только очутился под трибунами, со всех ног бросился ко входу в кальехон. Над головой снова и снова раздавался восторженный рев, и, когда я поверх красных досок барьера посмотрел на залитую желтым светом арену, я увидел Антонио, который пропускал мимо себя огромного рыжего быка — пропускал так близко, так медленно и плавно взмахивая плащом, как еще никогда не делал на моих глазах.

Он берег быка и позволил пикадору только один укол копьём. Бык все еще был очень сильный, поворотливый и высоко держал голову. Антонио таким и хотел его и не стал дожидаться, пока воткнут бандерильи. Бык оказался по-настоящему храбрым, и Антонио не сомневался, что заставит его опустить голову. Теперь Антонио позабыл о ветре и обо всем на свете. За всю ферию ему первый раз достался по-настоящему храбрый бык. Это был последний бык, и ничто уже не могло испортить его. То, что он, Антонио, сейчас проделает с ним, останется в памяти зрителей до конца их дней.

Показав, как плавно и красиво он умеет работать, он подошел к быку почти вплотную и начал показывать, как близко он может пропускать его мимо себя. Он отбросил всякое благоразумие, и чувствовалось, что он весь кипит от сдерживаемой ярости. Работал он изумительно, но он переступил границы возможного, и то, что он делал сей-

час радостно и беспечно, никому, кроме него, не было доступно. Я очень хотел, чтобы он прекратил эту опасную игру и закончил бой. Но он был словно пьяный и продолжал последовательно и непрерывно показывать прием за приемом, объединяя все пассы в одно виртуозное целое.

Наконец он стал против быка и как бы нехотя, словно ему жаль было расстаться с ним, свернул мулету и нацелился шпагой. Он угодил в кость, и шпага согнулась. Я боялся за его запястье, но он опять стал против быка и опять нацелился. Шпага вошла до отказа, и Антонио, подняв руку, спокойно и бесстрастно смотрел на рыжего быка, пока тот не упал мертвым.

Ему присудили оба уха, и, когда он подошел к барьеру за своей шляпой, Хуан Луис, у которого накануне мы были в гостях, крикнул ему: «Это чересчур!»

— Как Мигель? — спросил меня Антонио.

Из лазарета сообщили, что рог прорвал мышцы живота и вспорол брюшину, но внутренностей не задел. Луис Мигель еще был под наркозом.

— Обойдется, — сказал я. — Пробождения нет. Он еще спит.

— Я сейчас переоденусь, и мы пойдем к нему, — сказал он.

Антонио окружили зрители, они хотели вынести его на руках, а он отбивался и отталкивал их. Но в конце концов они настояли на своем и подняли его на плечи.

Когда мы пришли в лазарет, Луис Мигель был еще очень слаб, но в хорошем настроении, и мы сейчас же ушли, чтобы не утомлять его. Он пошутил по поводу того, что я отдал приказ полицейским, и Доминго сказал, что, когда он очнулся после наркоза, первые его слова были: «Какой замечательный человек был бы Эрпесто, если бы только он умел писать». И все еще в полузабытии он повторил несколько раз: «Если бы только он умел писать. Хоть бы кто-нибудь выучил его писать». Три дня спустя мы снова увиделись в мадридской больнице Рубера, где Антонио лежал на третьем этаже, а Луис Мигель — на первом. Две недели спустя состоялась их вторая встреча тапо а тапо в Малаге. Так повелось в тот год, и до 31 июля было зарегистрировано свыше пятидесяти тяжелых ранений, не считая трещин черепной коробки, переломов позвоночника, ребер, рук и ног, сотрясений мозга и шоков.

Антонио был ранен в правое бедро на арене в Пальмаде-Мальорка, но он блестяще закончил работу с мулетой, хорошо убил, и ему присудили ухо. Как только кончился бой, его самолетом отправили в мадридскую больницу.

В Малагу Антонио приехал за три дня до корриды. Он сказал, что нога его совсем не беспокоит, но рана заживает слишком медленно. Ему не терпелось снова потягаться с Луисом Мигелем, но он не желал ни думать, ни говорить об этом и вообще о бое быков. Он знал, какую пользу принес ему день, проведенный на пляже накапуне боя в Валенсии, и мы продолжали в том же духе.

Он хотел поупражняться в стрельбе по летящей цели, которой я его научил, и мы часами предавались этому спорту в оливковой роще. Он хотел, чтобы Хотч выучил его играть в бейсбол, и Хотч с помощью теннисного мяча объяснил ему подачу и показал, как надо отбивать, и очень скоро Антонио уже подбрасывал мяч до верхушек самых высоких сосен. Они с Хотчем перебрасывались мячами через бассейн для плавания, стараясь так послать мяч, чтобы его невозможно было поймать. Мы часами плавали в бассейне, и Антонио учился во время прыжка в воду отбивать головой мяч, брошенный ему Хотчем.

— Обыкновенный футбольный трюк, — сказал Хотч. Я перевел его слова.

— Ладно. Вернемся к бейсболу, — сказал Антонио.

Он начал с того, что, прыгая в воду, ловил теннисный мяч одной рукой. Научившись делать это без промаха, он стал ловить по мячу в обе руки. Хотч отличался необычайно быстрой реакцией, а руки у него были сильные и ловкие, и мы все трое — он, Антонио и я — забавлялись тем, что бросали друг в друга всем, что попадетсЯ. Если во время пикника кому-нибудь из нас требовалась соль, ему бросали солонку. Если кто-нибудь хотел выпить, в него летела бутылка. Мы бросали решительно все и уже изобрели способ, который позволил бы нам бросать на стол стакан вина, не пролив ни капли, как вдруг пришел конец и веселью, и беззаботным завтракам, и долгим уютным обедам, и крепкому освежающему сну после купания — наступил канун боя. Никто и словом не обмолвился о предстоящей корриде, пока Антонио не сказал:

— Одеваться я завтра буду в городе, в отеле.

Это была одна из величайших коррид, когда-либо виденных мною. И Луис Мигель и Антонио отнеслись к предстоящему бою как к важнейшему событию в своей

жизни. Рана, полученная Мигелем в Валенсии, так счастливо оказавшаяся менее тяжелой, чем думали в первую минуту, вернула ему уверенность в себе, поколебленную фантастическим мастерством Антонио и его поистине лвиным бесстрашием.

Антонио был ранен в Пальма-де-Мальорка, и это убеждало Луиса Мигеля, что Антонио тоже уязвим, а его работу с последним быком в Валенсии Луис Мигель, к счастью, не видел. Думается мне, что если бы видел, то отказался бы от соперничества. Луису Мигелю деньги были не нужны, хотя он очень любил деньги и то, что на них можно купить. Самое главное, к чему он стремился, — это уверенность, что он величайший из ныне живущих матадоров. На самом деле он уже не был первым, но он был вторым, и в тот день он был подлинно велик.

Антонио ждал боя с той же уверенностью в своих силах, с какой выступал в Валенсии. То, что произошло на Мальорке, не имело значения. Он допустил небольшую ошибку, больше этого не случится, а потому обсуждать ее со мной не стоит. Он рассказал бы мне, если бы я спросил его, но я не спрашивал. Как всякий профессиональный матадор, он, по крайней мере, один раз в сезон совершает ошибку — это и произошло в Аранхуэсе. Так как он работает почти вплотную к быку, и работает честно, подвергая себя реальной, а не мнимой опасности, то малейшую его ошибку немедленно исправляет своими рогами бык. Так как у быков, с которыми он имеет дело, рога не подпилены, то эти быки не лишены способности измерять расстояние, и такой бык может всадить рог, куда пожелает. Поэтому Антонио находил вполне нормальным, что за каждую ошибку он расплачивается рапой и попадает в больницу. Он этого ждал и принимал как должное. Но, работая, как работает он, ошибаться нельзя. Это он знал. Он совершил небольшую ошибку, понял ее и от души радовался, что она обошлась ему так дешево. Он уже давно решил, что он лучший матадор, чем Луис Мигель. Он доказал свое превосходство в Валенсии, и ему не терпелось снова доказать его в сегодняшнем бою.

Бык, которого убил Луис Мигель, был уже третьим быком, убитым с одного удара. Бык попался нелегкий, и Мигель провел бой превосходно. Он снова обрел умение владеть шпагой и вместе с умением — былую веру в себя.

Он подошел к барьеру, снисходительно улыбаясь, и, скромно взяв в руки оба уха и хвост, сделал круг по арене. Прибавьте к этому аплодисменты, музыку и громкое жужжание голосов, не умолкавшее в течение всей корриды. Я заметил, что Луис Мигель осторожно ставит правую ступню, которую отдавил ему его первый бык, впрочем, он этого и не скрывал. Я знал, что правая нога у него болит и он не вполне на нее полагается. Работал он изумительно, и я безмерно восхищался им.

Теперь уже четыре быка были убиты с первого удара, и с каждым быком коррида становилась все более блистательной. За четвертого быка Антонио присудили оба уха, хвост и кусок ноги с копытом. Он обошел арену весело и беззаботно, словно мы все еще резвились у нашего плавательного бассейна. Когда он проходил мимо, я сказал ему: «Брось копыто Хотчу», — и Антонио, поравнявшись с его местом, высоко подкинул бычью ногу, и Хотч поймал ее одной рукой. Публика шумно вызывала Антонио, и он пригласил Луиса Мигеля и дону Хуана Педро Домека, которому принадлежали быки, выйти вместе с ним.

Очередь теперь была за Луисом Мигелем. Начал он с *larga cambiada*, то есть, стоя на коленях, подпускал к себе быка так близко, что при каждом взмахе плаща кончик рога почти касался его груди. Бык оказался отличным, и Луис Мигель умело воспользовался этим. Пикадоры хорошо подготовили быка, и Луис Мигель велел поторопиться с бандерильями. Когда он подошел к барьеру, я заметил, что лицо у него очень усталое, но он не обращал внимания на свое самочувствие, не позволял себе хромать и работал со страстным увлечением, словно новичок, только вступающий на поприще матадора.

К концу боя Луис Мигель увел быка на середину арены и проделал классические пассы, держа мулету в левой руке. Чувствовалось, что он очень устал, но работал он уверенно и хорошо. Показав две серии по восемь натурале в самом изысканном стиле, он переложил мулету в правую руку — и тут-то, при очередном повороте, обходя Луиса Мигеля со спины, бык поднял его на рога. С того места, где я стоял, облокотясь на барьер, мне показалось, что Луис Мигель взлетел вверх футов на шесть, если не

больше. Он грохнулся головой, раскинув руки и ноги, мулета и шпага отлетели в стороны. Бык подступал к нему, стараясь вогнать в него рог, но дважды промахнулся. Все участники боя бросились к Мигелю, размахивая плащами, и на этот раз его брат Пепе, перескочив через барьер, оттащил его от рогов.

Он не пролежал и двух минут. Рог не вошел в него, а только поддел его, пройдя между ног, и он был невредим.

Луис Мигель махнул рукой, приказывая всем отойти, и как ни в чем не бывало продолжал прерванную фазу. Он повторил тот пасс, во время которого бык поддел его рогом, потом повторил еще раз, как будто хотел преподать урок и себе и быку. Потом он проделал другие приемы, точно и отчетливо, словно бык и не подкидывал его. Затем он показал более эффектную и менее опасную работу. Публике это понравилось больше. Но он работал без обмана и без трюков вроде разговора по телефону. Убил он превосходно, вонзив шпагу уверенно и четко, словно никогда в жизни он не убивал иначе, как с первого удара. Ему достались те же трофеи, что и Антонио, и он заслужил их. Он сделал круг по арене, припадая на одну ногу — теперь, когда нога одеревенела, он уже не мог скрывать хромоту, — и вышел раскланиваться на середину, позвав с собой Антонио. Президент распорядился, чтобы и мертвого быка провезли вокруг арены.

Пять быков уже были убиты пятью ударами шпаги. Когда появился последний бык и стихли аплодисменты, Антонио подошел к нему и начал свою плавную, размеренную, колдовскую работу плащом. Каждое его движение публика встречала восторженными криками. Он стоял неподвижно и прямо, только руки его медленно поднимали плащ, и публика наслаждалась зрелищем, не понимая его работы и не разбираясь в ней, но зная, что так он работает всегда, если бык воинственный и храбрый.

В последней стадии боя Антонио показал такую фазу, что дух захватывало каждый раз, когда он томительно медленно пропускал быка под мулетой, ибо, заторопясь он хоть самую малость, бык отвернулся бы от красной тряпки и кинулся на него. Этот стиль работы наиболее опасный из всех, и на своем последнем быке Антонио показал совершенный его образец.

Оставалось только одно — убить безукоризненно чисто, без всяких поправок, вонзить шпагу абсолютно точно, не

выбирая места ни чуточку ниже, ни на волосок в сторону, чтобы уменьшить риск натолкнуться на кость. Антонио свернул мулету, нацелился на самую высокую точку между лопатками быка и, перегнувшись через правый рог, низко держа мулету левой рукой, нанес удар. Когда Антонио, выпрямившись, отделился от быка, длинный стальной клинок, вошедший до отказа, уже перерезал аорту. Бык дрогнул, зашатался, перебирая копытами, рухнул, задрал ноги, — и второе тапо а тапо окончилось.

Важно было то, что соперники провели почти безупречную корриду, не запятнанную ни трюками матадоров, ни темными махинациями антрепренеров или подрядчиков. Плохо было то, что эта коррида едва не кончилась для Луиса Мигеля смертью или непоправимым увечьем. И случилось бы это в безветренный день, во время работы с отличным, храбрым быком, не имеющим никаких изъянов. Это было очень плохо для такого матадора, как Луис Мигель, поскольку обычно великий матадор убивает быка, а не бык убивает великого матадора, и все это знали, хотя никто об этом не говорил. Соперничество с Антонио чуть не стоило ему жизни в Валенсии и легко могло кончиться его гибелью в Малаге.

Еще в Памплоне Хотч и Антонио придумали меняться ролями. Антонио очень гордился тем, что в нем совмещаются две личности — человек и тореро. Как-то я показал ему снимок в парижском еженедельнике, где был изображен Антонио, посвящающий быка Жану Кокто на одной из французских арен, и он сказал:

— Это не я.

— Лицом он очень похож на тебя.

— Вовсе это не я. Это — тореро.

Он очень неодобрительно относился к тому, что я надписываю свои книги, купленные посторонними людьми, «другу» или «от друга».

— Как ты можешь так писать, если он никакой тебе не друг? Во-первых, это обман, а во-вторых, слишком много чести для человека, который ничем ее не заслужил.

— Не вижу тут ничего особенного, — сказал я.

— Напрасно, — возразил он, — нам с тобой нельзя делать такие вещи.

— Может, это делает не человек, а писатель, — сказал я.

— Не делай этого,— повторил он.— Тебе это не по-
добает.

Сперва он вывел теорию, что человек не отвечает за то, что тореро вынужден делать из вежливости. Человек отвечает только за то, что тореро делает с быком, и за его отношения с другими тореро.

Потом ему захотелось большего покоя и в частной жизни, и он придумал меняться ролями с Хотчем, которого называл Пекас или Эль Пекас — «Веспушки». Хотч ему очень правился.

— Пекас,— говорил он,— вы Антонио.

— Очень хорошо,— отвечал тот.— А вы принимаетесь за сценарий по Папиной книге.

— Скажите ему, что я уже работаю над ним. Половина готова,— говорил мне Антонио.— Ох, и устал я сегодня — и писал, и в бейсбол играл.

Но накануне корриды ровно в полночь Антонио говорил:

— Теперь вы опять Пекас. А я Антонио. Может, вы хотите и дальше быть Антонио?

— Скажите ему, пусть теперь он будет Антонио,— говорил Хотч.— Не возражаю. Но на всякий случай не мешает сверить наши часы.

В кауи корриды в Сьюдад-Реале, куда нам предстояло ехать и где Антонио опять должен был выступать вместе с Луисом Мигелем, разговор затянулся далеко за полночь. Антонио хотел, чтобы Хотч падел один из его костюмов и вышел на арену, как *sobre-saliente* — запасной матадор, который обязан будет убить быков, если и Луис Мигель и Антонио получают ранения. Он хотел, чтобы Хотч превратился в Антонио на весь день боя и во время боя. Это было абсолютно противозаконно, и я не знаю, какая кара постигла бы нас, если бы кто-нибудь уличил Хотча. Разумеется, он не мог быть настоящим *sobre-saliente*, но Антонио хотел, чтобы он вообразил себя матадором. Он выйдет на арену вместе с бандерильеро Антонио, и все подумают, что он запасной матадор. Другого не будет.

Было много шансов за то, что Луис Мигель получит рану или увечье. В двух из последних трех состязаний с Антонио он получал либо ранение, либо увечье, либо ушибы. Но однажды во Франции Луис Мигель взял с собой на арену своего приятеля, графа Теба, племянника покойного герцога Альба, выдав его за члена своей куад-

рильи, и вот теперь Антонио вознамерился взять с собой Хотча.

— Хотите, Пекас? — спросил Антонио.

— Еще бы, — ответил Хотч. — Всякий захочет.

— Вот за это люблю. Теперь понимаете, почему я хочу быть Эль Пекас? Всякий захочет.

Мы вкусно и неприхотливо позавтракали в битком набитом шумном ресторане при старой темной гостинице с узкой лестницей, с номерами без ванны и душа. Город был переполнен крестьянами, съехавшимися из всех окрестных деревень. Сюда-Реаль расположен на краю обширного винодельческого района, поэтому вино лилось рекой и настроение было приподнятое. Хотч и Антонио одевались в маленьком номере Антонио, и мне еще не доводилось видеть таких беззаботных приготовлений к бою быков. Обоих одевал Мигелильо.

— А точнее — что я должен делать? — спросил Хотч.

— Перед выходом делайте то же, что я. Хуан поставит вас на ваше место. Потом выходите на арену в точности так, как все, и делайте то же, что я. Потом зайдите за барьер, станьте возле Папы и делайте то, что он вам велит.

— А что мне делать, если придется убивать быков?

— Вы что — трусите?

— Просто хочу знать.

— Папа все в точности скажет вам по-английски. В чем вы сомневаетесь? Папа заметит каждую мою ошибку или ошибку Мигеля. Это его ремесло. Он этим деньги зарабатывает. Он вам объяснит, в чем наши ошибки, а вы слушайте внимательно и не повторяйте их. Потом он вам объяснит, как нужно убивать быка, и вы так и делайте.

— Держитесь поскромнее, Пекас, — сказал я. — Нехорошо, если вы сразу затмите остальных матадоров. Это будет не по-товарищески. Подождите хоть до вашего вступления в союз.

— А можно мне сейчас вступить в союз? — спросил Хотч. — Деньги у меня есть.

— Не думайте о деньгах, — сказал Антонио, после того как я перевел ему слова Хотча. — Забудьте про союз и прочие меркантильные дела. Думайте только о том, как великолепно вы будете выступать, и о том, как мы гордимся вами и надеемся на вас.

В конце концов я ушел от них и спустился вниз, к остальной компании.

Когда они сошли с лестницы, лицо у Антонио, как всегда перед боем, было суровое, замкнутое, сосредоточенное, и взгляд его ничего не выдавал посторонним. По веснушчатому лицу Хотча — лицу заядлого бейсболиста — его можно было принять за бывалого новильеро, впервые выступающего в качестве матадора. Он мрачно кивнул мне головой. Никто бы не подумал, что он не тореро, и костюм Антонио сидел на нем безукоризненно.

Когда мы, войдя в цирк, остановились под аркой у выбеленной кирпичной стены перед красными воротами, Хотч, который стоял между Антонио и Луисом Мигелем, был просто великолепен на фоне белой штукатурки. Антонио уже был весь во власти предстоящего боя и приводил себя в обычное перед выходом состояние абсолютной внутренней пустоты. Для Луиса Мигеля последние минуты перед открытием ворот давно были трудными. Они стали труднее после Малаги.

Кто-то подошел ко мне и спросил:

— Кто *sobre-saliente*?

— Эль Пекас, — ответил я.

— А-а. — Спрашивавший кивнул головой.

— *Suerte*¹, Пекас, — сказал я Хотчу.

Он слегка поклонил голову. Он тоже старался привести себя в состояние внутренней пустоты.

Я прошел по кальехону до того места, где Мигелильо и его помощник раскладывали боевые плащи и шпаги, закрепляли мулеты на деревянных древках. Я отхлебнул воды из кувшина, огляделся и увидел, что на трибунах много свободных мест.

— Как Пекас? — спросил Мигелильо.

— Молится в часовне о благополучии других тореро, — ответил я.

— Смотрите за ним, — сказал Доминго Домингин, — любой бык может кинуться.

— Идут, — сказал я. Парадное шествие началось.

— Настоящий тореро. Доминго никогда не выглядел так на арене, — сказал кто-то, но Доминго не слышал. Мы все смотрели на Пекаса. В осанке его было ровно столько скромности и спокойной уверенности в себе, сколько нужно. Я перевел взгляд на Луиса Мигеля — не хромает ли он? Нет, он не хрома. Он ступал твердо и уверенно, но лицо его омрачилось, когда он увидел пустые места

¹ Желаю удачи (*исп.*).

на трибунах. Антонио вышел на арену с видом победителя. Он тоже увидел пустые места, но остался равнодушен.

Хотч зашел за барьер и остановился возле меня.

— Что я теперь должен делать? — спросил он вполголоса.

— Стойте возле меня, делайте умное лицо, изображайте готовность, но без нетерпения.

— Мы с вами знакомы?

— Более или менее. Я видел вашу работу. Но мы не приятели.

На арену вышел первый бык Луиса Мигеля. Из трех доставшихся ему быков — низкорослого, среднего и крупного — он для первого боя выбрал среднего. Мигель работал плащом, и больная нога, видимо, не мешала ему.

Публика награждала аплодисментами каждую вероньку.

— Присмотритесь к быку, — сказал я Хотчу.

— По-моему, он недурен.

— Какие-нибудь изъяны?

— Ужасно длинные рога.

— Отсюда они всегда кажутся длинными, — сказал я.

— А не слишком усердствуют пикадоры?

— Слишком.

— Зачем?

Хотч говорил тихо, не шевеля губами.

— Его умирляют для Мигеля, потому что он еще не совсем оправился от ушибов в Малаге. У него не хватит силы в ногах, чтобы справиться с ним. Для боя быков нужны надежные ноги.

— Запомню, — сказал Хотч.

— А как ваши ноги?

— Трясутся, но я держусь.

Луис Мигель делал пассы мулетой прямо напротив нас. Сперва он работал хорошо, в строгом стиле, потом еще лучше, наконец, превосходно, — но тут бык, ослабевший от чрезмерного усердия пикадоров, начал сдавать. Они выпустили из него много крови, но утомить мускулы шеи не сумели.

— Что вы сейчас можете сказать о быке?

— Он устал, и ему надоело.

— Теперь Мигелю придется самому наступать, а он не надеется на свои ноги.

— Уж скорей бы убивал, — сказал Хотч.

Он был прав. Но Луис Мигель убил только с седьмого раза, и то ему пришлось прикончить быка двумя ударами дескабелю.

— Почему так получилось? — спросил Хотч.

— По многим причинам, — сказал я. — Отчасти виноват бык, отчасти — Мигель.

— Может, он опять не сможет убивать, как уже было?

— Не знаю. Правда, бык ему не помогал, но он не сумел ни опустить мулету достаточно низко, ни вопзить шпагу как следует.

— А почему трудно низко опустить мулету?

— Опасно для жизни.

— Понимаю, — сказал Хотч.

Первый бык Антонио уже вышел на арену, и он демонстрировал свое прославленное умение владеть плащом. Но быка он выбрал самого низкорослого, и зрители не принимали всерьез работу с ним. Быки принадлежали Ареллано Гамеро Сивикос из Саламанки и были неравноценны по качеству. Два низкорослых, один очень крупный и три средних. Даже Антонио заметил, что зрители не принимают быка всерьез, когда взял в руки мулету и начал показывать подлинно классические приемы; тогда он перешел на стиль Манолето, при котором любой бык кажется опасным, и проделал весь выработанный Манолето репертуар, поглядывая на публику каждый раз, как бык проскакивал под мулетой.

— Первый раз вижу, чтобы он так работал, — сказал Хотч.

— Публика это любит, и он показывает ей, как легко это делается. Я уже это раз видел, когда он выступал в Кордове, родном городе Манолето. Он смеется над публикой, но она этого не понимает.

— Публике это очень нравится, — сказал Хотч. — Он мог бы всегда так работать.

— Он не хочет. Такая работа его не радует. Это всего только трюк.

— Полезный трюк, — сказал Хотч.

Антонио убил быка с первого удара, взяв чуточку слишком низко и в сторону, и ему присудили ухо.

Второй бык Луиса Мигеля был крупный и очень сильный. Первым же ударом рогов он опрокинул лошадь, и пикадоры старались вовсю, чтобы ослабить его и умерить его воинственный пыл. Они так отделали его, что пришлось ограничиться одной парой бандериллий.

Луис Мигель попытался проделать хорошую фаэну с еле живым быком. Он показал несколько отличных пассов, но не все подряд удалось ему. Эффектнее всего было, когда он обводил быка вокруг себя, чуть ли не прислоняясь к нему. Когда же он, держа мулету в левой руке, попытался сделать настоящую натурале, которую он так виртуозно исполнял в Малаге, бык едва не всадил в него рога.

— Это почему? — спросил Хотч.

— Он не сумел удержать его мулетой. Сбилсся с темпа.

— Это я когда-нибудь после выучу, — сказал Хотч. — Что еще за темп?

— Скорость, с какой двигается бык. Мулету нужно передвигать чуточку быстрее.

— Понятно, — сказал Хотч. — А теперь у него хорошо выходит.

Луис Мигель отлично закончил фаэну и всадил шпагу до самого эфеса, потом одним ударом дескабелью поразил спинной мозг. Его наградили ухом. Он обошел арену, держа свой трофей в руках, потом вышел на середину и поклонился публике. Часть зрителей была недовольна и не скрывала этого.

— Антонио достался хороший бык, — сказал я Хотчу. В центре арены Антонио уже показывал свое несравненное мастерство. Бык кидался стремительно и прямо, и плащ, который Антонио держал кончиками пальцев, взлетал и надувался с абсолютной точностью в нескольких миллиметрах от нацеленного рога.

— С этим быком он поработает в свое удовольствие, — сказал я, — если его не испортят. Сейчас он им скажет, чтобы не усердствовали. Слушайте.

Антонио очень берег быка во время работы пикадоров и бандерильеро. Фаэну он начал с четырех пассов, и пока бык в четвертый раз не прошел под мулетой у самой его груди, Антонио стоял, сдвинув ноги, прямой и неподвижный, словно изваяние. Заиграла музыка, и Антонио стал медленно обводить быка вокруг себя, заставляя его делать повороты, — сначала в четверть круга, потом в полкруга и, наконец, в полный круг.

— Это невозможно, — сказал Хотч.

— Он может в полтора круга.

— И мячи он может ловить в обе руки, прыгая в воду, — сказал Хотч. — Луису Мигелю далеко до него.

— Мигель постоит за себя, когда у него нога заживет,— сказал я и подумал: хорошо бы.

— Все-таки ему сейчас не сладко,— сказал Хотч.— Посмотрите на него.

— Уж очень бык хорош,— сказал я.

— Не только это,— сказал Хотч.— То, что делает Антонио, просто сверхъестественно. Этого ни один человек не может, да еще постоянно, каждый раз. Вы посмотрите на Луиса Мигеля.

Я посмотрел — лицо у него было словно застывшее, очень грустное и взволнованное.

— Провидит будущее,— сказал Хотч.

Антонио закончил фазну, поставил быка против себя, глубоко втянул воздух, нацелился и нагнулся над рогами, опустив мулету так низко, что она волочилась по песку. Он вонзил шпагу, она вошла до отказа, и бык упал мертвым. Антонио вручили оба уха и хвост. Когда он, обходя арену, прошел мимо нас, он улыбнулся мне, а на Хотча даже не взглянул, делая вид, что не замечает его. Я подошел к Антонио.

— Скажи Пекасу, что он великолепен.— Последнее слово он сказал по-английски.— Ты уже объяснил ему, как действовать шпагой?

— Нет еще.

— Пойди объясни.

Когда я вернулся к Хотчу, на арену выпускали быка Луиса Мигеля. Это был самый низкорослый.

— Что Антонио сказал?

— Он сказал, что вы великолепны.

— Это ясно,— сказал Хотч.— А еще что?

— Чтобы я объяснил вам, как действовать шпагой.

— Не мешало бы это знать. Вы думаете, очередь до меня дойдет?

— Думаю, что нет, разве что вы пожелаете убить за свой счет запасного быка.

— А сколько это стоит?

— Сорок тысяч песет.

— А примут чек на мой «Клуб гастрономов»?

— В Сьюдад-Реале — нет.

— Тогда, пожалуй, не выйдет,— сказал Хотч.— Я никогда не ношу с собой больше двадцати долларов наличными. Привычка, приобретенная на побережье.

— Я могу одолжить вам деньги.

— Не стоит, Папа. Я выступлю, только чтобы заменить Антонио, если нужно будет.

Луис Мигель и его бык стояли в нескольких шагах от нас. Оба они очень старались, но ни тот, ни другой, после работы Антонио, не могли рассчитывать на большее, чем одобрение личных друзей, а у быка здесь личных друзей не было. Он показывал, как должен вести себя хороший бык из Саламанки, отвечающий всем ходовым стандартам моды, а Мигель показывал, как он и Манолето, бывало, очаровывали зрителей ходовыми приемами, пока один из миурских быков не вытянул шею чуть подальше и не покончил с Манолето. Но быка это скоро утомило, и на смену его боевому пылу пришли усталость и отчаянье. Язык у него высунулся. Он выполнил все, что обещал, и как дара ждал быстрейшего конца. Но Луис Мигель выжал из него еще четыре поворота в стиле Манолето, прежде чем поставил его против себя. Он нанес удар неуверенно, волоча ногу. Шпага, наткнувшись на кость, выскочила у него из рук. Он собрался с силами, неплохо вонзил шпагу, и бык рухнул — не столько оттого, что в него вошел стальной клинок, чего раньше никогда не бывало, сколько оттого, что устал и отчаялся. Он сделал все, к чему его готовили, но ожиданий не оправдал.

— Луис Мигель сегодня не в форме, — сказал Хотч. — А как хорош он был в Малаге.

— Ему не следовало выступать, — сказал я. — Но он не хочет сдаваться. Он едва не погиб в Валенсии. И в Малаге. А сегодня этот огромный бык чуть было не забодал его. Он что-то чувствует.

— Что же он чувствует?

— Свою смерть, — сказал я. Это можно было сказать по-английски, если понизить голос. — Антонио носит ее с собой в кармане.

— В этих штанах нет карманов, — сказал Хотч.

— В куртке есть карман. Вон там, где торчит что-то, похожее на носовой платок.

— А своим компаньоном вы довольны сегодня? — спросил Хотч.

Антонио оставил для последнего боя самого крупного из своих быков и был так же безжалостен к Луису Мигелю, как всегда. Он показал все классические приемы и все приемы, уже показанные Мигелем, вернув им покоряющую зрителей красоту, которая умерла в Линаресе вместе с Манолето. Он знал, что они менее опасны, чем

приемы старой школы, но он показал все лучшее, что школа Манолето когда-либо могла дать.

— Так как же я должен убивать? — спросил Хотч.

— Не смотрите на рог. Цельтесь в то место, куда должна войти шпага. Опустите левую руку как можно ниже и, нанося удар, перекиньте ее направо.

— А потом что?

— Потом вы взлетите на воздух и мы все побежим, чтобы подхватить вас, когда вы станете падать.

— Сейчас Антонио убьет его.

Антонио, стоя перед быком, медленно свернул мулету, нацелился на самую высокую точку между лопатками быка, разжал губы, сделал глубокий вдох, перегнулся через рог и всадил шпагу метко и сильно. Когда ладонь его коснулась черного загривка, бык уже был мертв, и не успел Антонио выпрямиться и поднять правую руку, как бык зашатался, ноги его подогнулись и он тяжело рухнул на песок.

— Ну вот, — сказал я Хотчу, — очередь до вас так и не дошла.

Мигель пустым взглядом смотрел на арену. Публика, как всегда, бесповалась, все зрители, у которых нашлись носовые платки, махали ими, пока быку не отрезали оба уха, потом хвост и, наконец, копыто. Когда-то отрезали только одно ухо, и это означало, что президент дарит убитого быка матадору, чтобы тот продал его на мясо, а остальные трофеи, в сущности, лишние и служат только мерилom одобрения публики. Но этот обычай теперь прочно укоренился наряду со множеством других, наносящих вред бою быков.

Антонио поманил к себе Хотча.

— Выходите и сделайте круг вместе с другими, — сказал я. Хотч перепрыгнул через барьер и обошел арену с Хони, Феррером и Хуаном, со скромным изяществом выступая позади Антонио. Собственно говоря, это было против правил, но Антонио сам позвал его. Дабы не уронить своего достоинства *sobre-saliente*, он не бросал обратно в публику шляпы и не подбирал сигары. Мало кто, глядя на него, усомнился бы, что в случае необходимости он, Эль Пекас, с успехом заменил бы матадора. Достаточно было посмотреть на его честное, открытое лицо и на его осанку. Во всем цирке только один Луис Мигель заметил, что у Хотча нет косички. Если бы он вышел против быка, отсутствие косички заметили бы разве что в

самом начале боя. И то подумали бы, что он лишился ее, когда впервые был поднят на рога.

Мы с Биллом Дэвисом зашли в тесный номер гостиницы, где Антонио и Хотч переодевались. Антонио был весь в крови. Мигелильо стягивал с него узкие штаны, длинная льняная рубашка, насквозь пропитанная кровью, прилипла к животу и ляжкам. Он и Хотч по очереди брали воду из кувшина на умывальнике и под душем, откуда она еле-еле капала.

— Присмотрелись, как надо убивать, Антонио? — спросил Антонио.

— Пустячное дело, Пекас, — ответил Хотч. — Могу показать вам хоть сейчас.

— Вы просто великолепны, Антонио, — сказал Антонио Хотчу.

— Вы сами великолепны, Пекас, — сказал Хотч. — Откуда на вас столько крови?

— Вам нравится бой быков? — спросил Антонио Хотча. — Вам нравится быть матадором Антонио?

— Это мое призвание, — ответил Хотч. — У меня нет иного выбора. Все, что я хочу, — это быть великим матадором.

— На вид вы уже — великий матадор. Очень достается рубашкам, Папа, — сказал Антонио, повернувшись ко мне. Мигелильо замачивал рубашку холодной водой в умывальном тазу, прежде чем сунуть ее в корзину с пошеным бельем. Я отдал ему пару спортивных туфель, которые мы привезли из Байонны. Антонио принесли бутылку пива и маленький сандвич с ветчиной.

— Спроси его, как это случилось, что он занялся боем быков и увлекает ли его это занятие, — сказал мне Антонио.

— Это вышло как-то само собой, — ответил Хотч. — Да, меня это увлекает.

— Какие вам еще матадоры нравятся?

— Все, — ответил Хотч. — Они все мне нравятся.

— Пошлите за фотографом, — сказал Антонио. — Нельзя упускать такой случай.

Он намеревался пообедать в Мадриде, а оттуда вечером выехать в Бильбао, где ему предстояло выступать на следующий день.

Мы условились встретиться в Бильбао, в отеле «Карлтон». Нам было нужно кое-что доделать в новой машине и выполнить все формальности в автомобильном клубе.

Антонио заявил, что нисколько не устал. Он чувствует себя превосходно, с удовольствием поспит в машине и предвкушает завтрашний день. Быки ожидаются крупные, рога не будут ни подпилены, ни оструганы — по всему было видно, что он ничуть не сомневается в успехе. Весь год он находился в блестящей форме и теперь, достигнув вершины, был полон непоколебимой веры в свои силы и в свое бессмертие. Ему хотелось именно сейчас выступить в Бильбао, где самая требовательная во всей Испании публика, где самые крупные быки и где зрители так строги и придирчивы, что их суждение о поединке между двумя матадорами исключит какие-либо разговоры о трюках или махинациях с рогами. Если выступит и Луис Мигель — отлично. Но это опасная затея.

Будь антрепренером Луиса Мигеля по-прежнему его отец — человек умный, рассудительный, понимающий, на чьей стороне преимущество, а не милейшие братья Мигеля, которые получали десять процентов и от него и от Антонио с каждой корриды, где они выступали вдвоем, он бы никогда не поехал в Бильбао навстречу катастрофе.

Два дня в Бильбао с утра шел дождь, но к началу корриды прояснилось. Арена там хорошо впитывает влагу; те, что ее строили, учитывали особенности местного климата и знали, какой песок брать. Даже на этот раз под ногами было сыро, но не скользко, хотя еще в полдень казалось, что корриду придется отменить из-за дождя. Потом выглянуло солнце, но по небу все время тянулись тучи, и парило так, что трудно было дышать.

Луис Мигель после лечения Тамамеса поправился, но вид у него был тоскливый и озабоченный. Ровно год назад после жестоких страданий умер от рака его отец, и Луис Мигель думал об этом и еще о многом другом. Он держался с изысканной учтивостью, как всегда, но невзгоды укротили его. Он знал, что был на волосок от смерти во время последнего своего выступления вместе с Антонио. Он знал, что этим палхасским быкам далеко до прежних палхасских быков, которые были лучше миурских, и знал, что Бильбао — не Линарес. Но слишком много складывалось не в его пользу за последнее время, и счастье явно изменило ему. Одно дело — чувствовать себя номером первым в своей профессии и верить в это всеми силами души.

И совсем другое, если, выходя на арену, чтобы доказать это, ты каждый раз едва остаешься жив и знаешь, что только твои богатые и могущественные друзья, несколько красивых женщин да Пабло Пикассо, который уже лет двадцать пять не видел боя быков в Испании, сохраняют веру в тебя. Для Луиса Мигеля важней всего было верить самому. Усомнившиеся вернутся, если веришь сам и можешь подтвердить делом то, во что веришь. Больному, израненному, ему это сейчас было нелегко. Но он пошел на это в надежде, что вновь сможет повторить чудо, сотворенное им в Малаге.

Первый бык Луиса Мигеля выбежал на арену стремительно. Это было красивое животное с хорошими рогами, казавшееся крупнее, чем было на самом деле. Луис Мигель перехватил его плащом и сделал несколько отличных пассов. Его первое кита было безукоризненным. Казалось, большая нога ничуть ему не мешает, но когда он подошел к барьеру, я увидел у него на лице тоску. Он разворачивал бой планомерно и обдуманно и сам вывел быка за белую линию, готовя его к столкновению с пикадорами.

С мулетой он работал почти вплотную к быку, начав с очень недурных пассов правой руки. Чем дальше, тем уверенней он себя чувствовал с быком, и пассы его становились все лучше и лучше. Я с тревогой следил за его ногами, но все как будто шло хорошо. Он переложил мулету в левую руку и выполнил подряд несколько натурале. Они сделали бы честь любому другому матадору, но это было совсем не то, что в Малаге, и аплодисменты раздавались только в самых дорогих рядах. По требованию публики заиграл оркестр, и Луис Мигель, стоя вполоборота к быку, сделал несколько пассов из тех, что были введены в моду Манолето, причем сделал очень хорошо. Потом двумя-тремя плавными взмахами мулеты он заставил быка остановиться с поднятой головой, словно под действием гипнотической силы, и опустился перед ним на колени в «свободной зоне» — десятифутовом пространстве, которое не попадает в поле зрения быка, если тот стоит, задрав голову.

Одним зрителям это понравилось, другим нет. Антонио успел уже у многих отбить вкус к эффектам такого рода. Луис Мигель легко вскочил, не опираясь на древко мулеты, — нога не подвела. Губы его были поджаты, на лице читалось разочарование. Он убил быка прямым, уверенным ударом. Острие шпаги вонзилось в верхнюю точ-

ку, но у быка вдруг потекла из пасти кровь. Он сразу свалился на песок, и уха Мигель не получил. На мой взгляд, удар был нанесен точно, а что касается крови, то это часто бывает, если задета артерия. Хлопали много, и Мигель выходил раскланиваться. Он был мрачен и не улыбался. С ногой все обстояло хорошо, должно быть, иначе он бы не рискнул стать на колени. Мы смеялись над лечением ультразвуком, а оно, видно, и в самом деле прекратило воспалительный процесс. Но Мигель утратил былую способность подчинять быка своей воле, и его работе недоставало прежней грации и непринужденности, в нем чувствовалась тоска, которая передавалась и другим. Дело тут было не в ноге. Дело было в чем-то гораздо более серьезном.

Выбежал бык Антонио. Он был почти совершенно такой же, как бык Луиса Мигеля, и по росту, и по всем статьям. Началась та исполненная красоты и достоинства работа с плащом, которая изумляла нас весь сезон, и по ропоту толпы, перемежавшемуся внезапными выкриками, можно было угадать, что ею овладевает прежний восторг. С лошадьми бык сразу обнаружил свою прыть, но, когда он кинулся вторично, один из братьев Салас ткнул его копыем туда, куда уже раз вонзился острый наконечник. Это вышло невольно, просто пикадор метил каждый раз в наиболее уязвимое место. Но Антонио пришел в ярость, потому что оплошность грозила штрафом, и он специально предупреждал своих пикадоров, чтобы они были поосторожнее.

После первой же пары бандерилий Антонио испросил разрешения перейти к работе с мулетой. На расстоянии бык хорошо видел, и Антонио подманил его к себе, а потом плавными, рассчитанными до секунды движениями руки, держащей мулету, выполнил ряд медленных, безукоризненно четких натурале. Закончил он пассом, при котором рога прошли у самой его груди, и я увидел, как красный квадрат мулеты взвился над рогами и плавно скользнул вдоль шеи, загривка, спины и хвоста быка.

Убивая, Антонио вонзил шпагу под прямым углом, и она вошла по самый эфес. Удар пришелся всего лишь дюйма на полтора левее верхней точки, и, подняв правую руку победным жестом, Антонио замер перед быком, не сводя с него своих черных цыганских глаз; победный жест, горделивый изгиб тела — все это было рассчитано на толпу, но глаза следили за быком пытливо, как глаза

хирурга,— и вот задние ноги быка дрогнули, потом вся туша стала оседать, и, наконец, он, мертвый, рухнул на песок.

Тогда Антонио обернулся к толпе, и во взгляде его уже не было пытливости хирурга, а лицо светилось радостью удовлетворения. Матадор никогда не видит создаваемого им шедевра. Он не может в нем ничего исправить, как художник или писатель. Не может услышать его, как музыкант. Он полагается только на свое чувство и на реакцию публики. Но если он чувствует и знает, что его работа хороша, это чувство настолько захватывает его, что все остальное перестает существовать. Он весь подчинен этому чувству, хотя в то же время подчиняет его себе, и чем ближе к быку он работает, чем размеренней и медлительней его движения в своей законченной классической красоте, тем больше опасность. Но по мере того, как разнообразятся и множатся образцы его мастерства, крепнет его уверенность. Творя свой шедевр, он помнит, что все зависит от умения и от того, насколько он знает животное, с которым имеет дело. Но он не должен подавать виду, что помнит об этом, иначе скажут, что он работает без огня. Об Антонио этого сказать нельзя было, и зрители были покорены им все до одного. Он смотрел на них скромно, но без ложного смирения, признавая свою победу, и, когда он обходил арену с бычьим ухом в руках и жители Бильбао, города, который он любил, ряд за рядом вставали при его приближении, он чувствовал, что все сердца принадлежат ему, и был счастлив этим. Я оглянулся на Мигеля, смотревшего из-за барьера куда-то в пустоту, и спросил себя: будет ли этот день решающим или придется ждать еще?

Второй бык Луиса Мигеля был черный, немного крупнее предыдущего. Рога у него были хорошие, и выбежал он напористо и бодро. Луис Мигель подошел к нему с плащом, сделал четыре медленных, унылых вероники и закончил полувероникой, обводя быка вокруг себя. Черный бык медленно и покорно кружил за плащом, мрачный и унылый, как траурная повязка, которую Луис Мигель целый год носил на рукаве в память отца.

Но Луис Мигель не дал унынию одолеть себя. Он всегда отлично владел стратегией боя и умел рассчитывать в нем каждый шаг,— это составляло одно из его главных достоинств. Он намерен был выжать из своего быка все, что можно, а потому он увел его плащом и заставил оста-

новиться в том именно месте, откуда бык, по его замыслу, должен был кинуться на пикадора. Пикадор выехал вперед, держа копьё наготове, и бык кинулся. Пикадор нанес удар в тот самый момент, когда бык боднул лошадь, потом он сделал движение, словно хотел выровнять копьё, но тут бык кинулся снова, и Луис Мигель увел его плащом и опять сделал четыре медленные унылые вероники с тем же торжественным финалом.

Потом он привел быка на прежнее место, чтобы тот повторил атаку. Это один из самых обычных приемов в корриде, и Луис Мигель применял его тысячи раз. Резкий взмах плаща должен был заставить быка замереть, как только его передние ноги окажутся за линией круга. Но плащ не остановил быка, и, когда он кинулся, Мигель, стоявший лицом к нему и спиной к лошади и всаднику, уже занесшему копьё для удара, очутился у него на пути, и бык всадил левый рог Луису Мигелю в бедро и с силой швырнул его в сторону лошади. Пикадор вонзил копьё, прежде чем Луис Мигель успел упасть. Бык рванулся вперед и, когда Луис Мигель уже лежал на песке, боднул его еще несколько раз. Доминго, брат Луиса, перепрыгнул через барьер, спеша оттащить его. Антонио и Хайме Остос оба уже бежали к нему со своими плащами, чтобы увести быка. Все понимали, что Луис Мигель ранен тяжело и опасно, что, вероятно, у него задета брюшная полость. Многие сочли рану смертельной. И это, несомненно, было бы так, если бы рог, пройдя насквозь, пригвоздил Луиса Мигеля к стеганой попоне, покрывавшей спину лошади. Когда его несли по кальехону, лицо у него было совсем серое, он кусал губы и руками зажимал низ живота.

Полиция никого не выпускала в проход, и с наших мест в первом ряду было невозможно пробраться к лазарету, поэтому я остался и смотрел, как Антонио продолжает работу с быком Мигеля.

Как правило, если матадору нанесена такая серьезная, быть может, даже смертельная рана, другой матадор, ставший на его место, старается сократить бой и убить быка как можно скорее. Но Антонио на это не пошел. Бык был хороший, и он не желал, чтобы такой бык пропал зря. Публика заплатила деньги, чтобы посмотреть Мигеля. Нелепый случай вывел его из строя. Но его публика осталась. Что ж, если у нее отняли Домингина, пусть получает Ордоньеса.

Хочу думать, что он рассуждал примерно так, — а может быть, просто считал, что исполняет свой долг перед Луисом Мигелем. Во всяком случае, еще не зная точно положения раненого, зная только, что рог вошел в правое бедро и, по-видимому, глубоко, он выступил на арену спокойный и хладнокровный, как всегда, и работал с быком, только что ранившим Мигеля, в той же красивой, исполненной достоинства манере, в какой провел свой предыдущий бой. Раздались аплодисменты, заиграла музыка, Антонио увлекся и с каждым пассажем подпускал быка ближе и ближе. Наконец он сделал великолепную фаэну и, не дав быку опомниться, нанес смертельный удар, вонзив шпагу дюйма на два в сторону от самой высокой точки. Толпа бурно аплодировала. Но он знал, что поторопился, и потому не испытывал ни удовлетворения, ни гордости. Придется исправить дело в бою со следующим быком, думал он.

Из лазарета дошла весть, что рог угодил Мигелю в пах как раз на месте старой, валенсийской раны. Брюшная полость была задета, но повреждены ли внутренние органы — еще не было известно. Луису Мигелю дали наркоз и приступили к операции.

Между тем на арене появился бык Антонио. Он был крупнее всех прежних. У него были хорошие рога, но он не казался особенно воинственным и бежал неторопливой рысцой, поглядывая по сторонам с довольно равнодушным видом. Как только Хуан взмахнул перед ним плащом, он отпрянул вбок, перескочил через барьер и стал метаться в проходе, пока, нырнув в открытые ворота, не очутился опять на арене. Но с появлением пикадоров он обнаружил неожиданную прыть и яростно кидался на лошадей. Пикадоры хорошо работали, и, когда бык, упираясь копытами в песок, упрямо лез вперед, стальное острие копья глубоко вонзилось в него. Антонио удалось отвлечь его плащом, и дальше он работал с ним так, словно это был обыкновенный бык, без всяких изъяснов. Он до миллиметра рассчитывал каждый его наскок и действовал плащом на основе этого расчета, твердо и неуклонно овладевая положением. Но публика видела лишь обычные плавные взмахи плаща, совершаемые как по волшебству, без всяких усилий. Когда Хаиме перехватил быка своим плащом, бык рассвирепел, и стало ясно, что если он выйдет из подчинения, то может быть очень опасным. Но Ан-

тонио не давал ему выйти из подчинения, все время учил его и школил.

Когда дело дошло до бандериллий, бык в полной мере показал себя трудным и опасным противником, и я весь взмок от нетерпеливого ожидания, когда наконец Антонио возьмется за мулету и шпагу. Антонио и сам был в нетерпении. Я это видел, хотя с моего места мне не были слышны отрывистые замечания, которые он бросал Ферреру и Хони.

Бык правился ему, несмотря на то, как он встречал бандерилли, и, когда Антонио встал против него с мулетой, он знал об этом быке все, что ему нужно было знать. Он подманил его пассом справа и, не отрывая ног от песка арены, трижды заставил тяжелую черную тушу промчаться мимо, почти касаясь его груди. Ни один матадор не мог бы рассчитывать на хорошую фазну с таким быком, но Антонио умел предвидеть каждое движение животного и твердо знал, что делать, чтобы преодолеть его нерешительность и нервозность.

Под звуки музыки, под гул толпы, восторженными криками встречавшей каждый новый пасс и взрывом аплодисментов откликавшейся на его завершение, Антонио проделал с этим грузным, беспокойным, неподатливым и, в сущности, никчемным животным всю серию безукоризненных по красоте классических приемов, возможных только с первоклассным быком. Он пропускал его мимо себя так близко, что даже просвета не оставалось между рогами и шитьем куртки. Он поджидал его, не пытаясь умерить его разбег, и по мановению руки, державшей красный квадрат ткани, тяжелая туша быка и гибкое, стройное человеческое тело сплетались в сложной фигуре движения, подчиненные единому ритму. Еще мановение, и черная туша уже снова рвалась вперед, выставив рога, несущие смерть,— заключительная фигура, самая опасная из всех. Видя, как он снова и снова повторяет это паса де печо, я понял его замысел. Все это было точно великолепная музыка, точно поэма о быке, которую он писал у нас на глазах; но это еще не был конец. Он готовил быка, намереваясь убить его способом рессибиендо.

Только это одно ему и оставалось сделать в Бильбао. Кроме этого, он сделал уже все. С плащом он превзошел то, что прежде казалось мне вершиной искусства и вдохновения. С мулетой работал так умно и красиво, как

никто еще не работал до него. Убил один раз хорошо, другой — неплохо, третий — не слишком хорошо. Теперь, после этой, последней, фазы, заставившей публику почувствовать, что время остановилось и в мире нет больше ничего, кроме зрелища на арене, ему оставалось лишь одно: с тем же мастерством убить.

Наиболее искусный способ убить быка — это так называемое ресибиендо. Этот способ самый древний, самый опасный и самый красивый, потому что матадор не бросается на быка, а, стоя на месте, вызывает его и, когда бык кинется, левой рукой подставляет ему мулету, а правой вонзает шпагу в загривок. Опасен он потому, что, если матадор не сумеет приковать внимание быка к мулете, бык может поднять голову и нанести рану в грудь. При обычном способе, когда матадор бросается на быка, то в случае, если бык поднимет голову, рог вонзится в правую ляжку. Для безукоризненного ресибиендо требуется, чтобы матадор ждал до тех пор, когда бык окажется так близко, что еще дюйм или два — и рог достанет его. Если он откинется назад или слишком далеко отведет мулету, шпага войдет боком.

«Жди, пока он вот-вот не достанет тебя» — основное правило ресибиендо. Не часто встречается матадор, у которого на это и выдержки хватает, и левая рука достаточно сильна, чтобы безошибочно действовать низко опущенной мулетой. В основе своей этот прием тот же, что и паса де печо, и потому Антонио снова и снова пропускал быка мимо своей груди, чтобы удостовериться, что бык не выдохся, а значит, послушно будет следовать за мулетой, не поднимет голову и не остановится вдруг в нерешимости. Когда Антонио увидел, что бык ведет себя как должно, он поставил его против себя и приготовился нанести удар.

Во время долгих почных переездов мы много говорили об этом способе и решили, что для Антонио, с его сильной левой рукой, в самом приеме нет ничего трудного. Вся трудность заключается в том, что этот прием очень опасен. Малейший промах — и матадор рискует получить удар в грудь, подобный удару кинжала, причем кинжал был бы толщиной с палку от метлы, а удар нанесен со всей силой шейных мышц быка, которой достаточно для того, чтобы опрокинуть лошадь или расколоть двухдюймовые доски барьера. Иногда концы рогов такие острые, что, словно бритвой, разрезают шелковую ткань плаща.

Иногда концы рогов расщеплены, и любая рана, нанесенная таким рогом, может оказаться шириной с ладонь. Ничего в этом нет трудного, если можешь спокойно ждать приближения наставленных прямо на тебя рогов, зная, что ты должен ждать до тех пор, пока не останется никаких сомнений, что если бык, почуствовав, как в него входит стальной клипек, поднимет голову, то рог ударит тебя в грудь. Решительно ничего трудного, говорили мы в один голос.

Итак, Антонио подтянулся, нацелился шпагой и, выставив левое колено, поманил быка мулетой. Огромное животное кинулось, шпага натолкнулась на кость между его лопатками, Антонио нажал на эфес, шпага согнулась, Антонио отделился от быка, взмахнул мулетой, и бык проскочил мимо.

Никто в наше время не отваживается повторить ресибендо. Это искусство ушло в прошлое вместе с Педро Ромеро, великим тореро из Ронды, который жил двести лет тому назад. Но Антонио решил добиваться своего, пока бык будет в состоянии нападать. Поэтому он опять поставил быка против себя, нацелился, опять поманил его, выставив колено и взмахнув мулетой, опять подождал до той секунды, когда, подними бык голову, рог вонзился бы ему в грудь. Опять шпага натолкнулась на кость, опять Антонио отделился от быка и опять взмахом мулеты отвел от себя рога.

Теперь бык стал медлительней, но Антонио знал, что еще один раз он может заставить его кинуться. Он обязан был знать это, но, кроме него, никто этого не знал, и зрители, глядя на Антонио, не верили своим глазам. Для того чтобы закончить бой с триумфом, Антонио достаточно было бы, не подвергая себя чрезмерной опасности, нанести обыкновенный удар шпагой. Но Антонио словно держал ответ за всю свою жизнь, за все случаи, когда он, нанося удар, позволял себе ту или иную поблажку; а таких случаев было немало. Этому быку он дважды подставлял грудь, и ничто не мешало быку всадить в нее рога, а сейчас подставит в третий раз. Он мог уже дважды ударить шпагой чуть пониже или в сторону, и никто не осудил бы его, потому что при ресибендо это вполне допустимо. Он знал место, куда шпага входит легко и свободно, а удар все же считается хорошим, во всяком случае, отнюдь не плохим. За такие удары большей частью и награждают ухом в современном бое быков. Но сего-

дня — к черту это. Сегодня он расплатится за каждую такую поблажку.

Он поставил быка против себя, и в цирке стало так тихо, что я услышал, как позади меня щелкнул веер. Антонио нацелился, согнул левое колено, поманил быка мулетой — бык кинулся, и в то самое мгновение, когда рога его, подними он голову, ранили бы Антонио в грудь, острие шпаги вошло в загривок быка, и бык рванулся вперед, следуя за красной мулетой, но стальной клинок под ладонью Антонио уже медленно входил в самую высокую точку между лопатками быка. Ноги Антонио не сдвинулись с места, и теперь он слился воедино с быком, и, когда рука его легла на черный загривок, рог уже миновал его грудь и бык был мертв. Но он этого еще не знал и смотрел на Антонио, который стоял перед ним, подняв руку, — не с торжеством, а словно в прощальном жесте. Я знал, о чем Антонио думает, но в первую минуту я плохо видел его лицо. Бык тоже не мог видеть его лицо, но это было очень странное, печальное лицо — очень странное для матадора, потому что оно выражало сострадание, а состраданию нет места на арене. Теперь бык уже понял, что он мертв, ноги у него подогнулись, глаза остеклели, и он рухнул на песок.

Так кончился в тот год поединок Антонио с Луисом Мигелем. Для тех, кто присутствовал на корриде в Бильбао, подлинного соперничества между ними уже не существовало. Вопрос был решен. Оно могло возобновиться, но чисто формально. На бумаге, или ради денег, или чтобы привлечь публику в латиноамериканских странах. Но не было больше вопроса о превосходстве для тех, кто видел их на арене, в особенности для тех, кто видел Антонио в Бильбао. Разумеется, можно было предположить, что Антонио превзошел Луиса Мигеля в Бильбао только потому, что у Мигеля болела нога. Можно было бы даже нажить деньги на этом предположении. Но повторить испытание перед настоящей публикой, на испанской арене, где будут настоящие быки с настоящими рогами, было бы не только опасно, но смертоубийственно. С этим было покончено, и я очень обрадовался, когда из операционной сообщили, что, хотя Луис Мигель ранен тяжело, рог, как и в прошлый раз, не задел внутренних органов.

Не важно, сколько бычьих ушей досталось Антонио. За три боя в Бильбао он получил семь. В городе с более восторженной публикой его наградили бы всем, что толь-

ко можно отрезать у быка. Важно было то, что он совершил. Никто из матадоров еще не совершал столько за одну ферию в городе, где самая взыскательная в Испании публика, а под его ресибиендо, завершившим последнюю в тот день фазну, которую нельзя ни с чем сравнить, потому что она ни на чью другую не походила ни в прошлом, ни в настоящем, мог бы подписаться сам Педро Ромеро.

В тот же вечер, как только Антонио переоделся, мы поехали провести Луиса Мигеля. Машину вел Антонио. Он все еще был под впечатлением боя, и мы говорили о его работе и в номере гостиницы, и сидя в машине.

— Откуда ты знал, что у него хватит пороху кинуться во второй и в третий раз?

— Просто знал,— ответил он.— Откуда вообще что-нибудь знаешь?

— Но как ты мог это увидеть?

— Я очень хорошо изучил его.

— Уши?

— Не только уши — все. Я тебя знаю. Ты меня знаешь. Вот так. А ты разве не ждал, что он кинется?

— Конечно, ждал. Но я сидел на трибуне, это очень далеко.

— Всего-то шесть или восемь футов, а кажется, чуть не с милю,— сказал он.— Ты уж извини. Теперь ты до конца сезона всегда будешь в кальехоне со мной. Только в Бильбао это не удалось.

— Я не хочу быть обузой.

— Ты не можешь быть обузой,— сказал он.— Ты мой компаньон. Ну как, ты доволен?

— Не остри. А ты?

— Да,— ответил он.— Во-первых — в Бильбао. Во-вторых — никаких трюков. Sin trusos.

Луис Мигель очень мучился, лежа на больничной койке. Рог вошел в еще не зарубцевавшуюся рану, полученную в Валенсии, вспорол шов и проник в брюшную полость. В палате находилось человек шесть, и Луис Мигель, превозмогая боль, был очень любезен со всеми. Его жена и старшая сестра должны были ночью прилететь из Мадрида.

— Мне очень жаль, что я не мог пробраться в лазарет,— сказал я.— Как дела?

— Так себе, Эрнесто,— сказал он очень тихо.

— Маноло вам поможет.

Он ласково улыбнулся.

— Уже помог,— сказал он.

— Может быть, увести всех отсюда?

— Бедняги,— сказал он.— Вы всегда так ловко их уводите. Мне вас не доставало.

— Увидимся в Мадриде,— сказал я.— Может быть, если мы уйдем, хоть кто-нибудь догадается уйти тоже.

— Мы так эффектно получаемся все вместе на фотографиях.

— Увидимся в отеле «Рубер»,— сказал я. «Рубер» — мадридская больница.

— Я оставил номер за собой,— сказал Луис Мигель.

Праздник, который всегда с тобой

Перевод М. Брука, Л. Петрова,
Ф. Розенталя

A MOVEABLE FEAST

1964

Если тебе повезло и ты в молодости жил в Париже, то, где бы ты ни был потом, он до конца дней твоих останется с тобой, потому что Париж — это праздник, который всегда с тобой.

*Из письма
Эрнеста Хемингуэя другу (1950 г.).*

ВВЕДЕНИЕ

По причинам, вполне убедительным для автора, многие места, люди, наблюдения и впечатления не вошли в эту книгу. Некоторые из них должны остаться в тайне, а другие известны всем, о них писали и, без сомнения, будут писать еще.

Здесь ничего не говорится о стадионе «Анастази», где ринг был в саду, под деревьями стояли столики, а официантами были боксеры. Ни о тренировках с Ларри Гейнсом, ни о знаменитых матчах по двадцать раундов в Зимнем цирке. Ни о таких близких друзьях, как Чарли Суини, Билл Берд и Майк Стрэйтер или Андре Массон и Миро. Ничего не говорится ни о наших путешествиях в Шварцвальд, ни о наших однодневных прогулках по любимым лесам вокруг Парижа. Было бы очень хорошо, если бы все это вошло в книгу, но пока придется обойтись без этого.

Если читатель пожелает, он может считать эту книгу беллетристикой. Но ведь и беллетристическое произведение может пролить какой-то свет на то, о чем пишут как о реальных фактах.

Эрнест Хемингуэй

*Сан-Франциско-де-Паула,
Куба, 1960*

СЛАВНОЕ КАФЕ НА ПЛОЩАДИ СЕН-МИШЕЛЬ

А потом погода испортилась. Она переменилась в один день — и осень кончилась. Из-за дождя нам приходилось закрывать на ночь окна, холодный ветер срывал листья с деревьев на площади Контрэскарп. Листья лежали размоченные дождем, и ветер швырял дождь в большой зеленый автобус на конечной остановке, а кафе «Для любителей» было переполнено, и окна запотели изнутри от тепла и табачного дыма. Это было мрачное кафе с дурной репутацией, где собирались пьяницы со всего квартала, и я не ходил туда, потому что там пахло потом и кислым винным перегаром. Мужчины и женщины, завсегда́таи кафе «Для любителей», были всегда пьяны, вернее, пили до тех пор, пока у них были деньги, а пили они чаще всего вино, которое покупали по пол-литра или по литру. Там рекламировалось множество аперитивов со странными названиями, но мало кто мог себе их позволить, разве что для начала, чтобы поскорее напиться. Женщин-пьяниц называли *roivrottes*, что означает «алкоголички».

Кафе «Для любителей» было выгребной ямой улицы Муфтар, узкой, всегда забитой народом торговой улицы, которая выходит на площадь Контрэскарп. В старых жилых домах на каждом этаже около лестницы имелся клозет без сиденья, с двумя цементными возвышениями для ног по обе стороны отверстия, чтобы *locataire*¹ не поскользнулся; эти уборные соединялись с выгребными ямами, содержимое которых перекачивалось по ночам в ассенизационные бочки. Летом в открытые окна врывался шум работающего пасоса, и в воздухе распространя-

¹ Жилец (*фр.*).

лось сильное зловоние. Бочки были коричневато-желтыми, и в лунном свете, когда лошади тащили их по улице Кардинала Лемуана, это напоминало картины Брака. Но никто не выкачивал содержимое кафе «Для любителей», и на пожелтевшее, засиженное мухами объявление о мерах наказания, предусмотренных законом за пьянство в общественных местах, так же мало обращалось внимания, как и на дурно пахнущих завсегдатаев.

С первыми холодными дождями город вдруг стал по-видимому унылым, и больше уже не было высоких белых домов — а только мокрая чернота улицы, по которой ты шел, да закрытые двери лавчонок, аптек, писчебумажных и газетных киосков, вывески дешевой акушерки и гостиницы, где умер Верлен и где у меня на самом верху был номер, в котором я работал.

На верхний этаж вело не то шесть, не то восемь лестничных маршей, там было очень холодно, и я знал, сколько придется отдать за маленькую вязанку хвороста — три обмотанных проволокой пучка коротких, длиной с полкарандаша, сосновых лучинок для растопки и охапку сыроватых поленьев, — чтобы развести огонь и нагреть комнату. А потому я перешел под дождем на другую сторону улицы, чтобы посмотреть, не идет ли дым из какой-нибудь трубы и как он идет. Но дыма не было, и я решил, что трубы, очевидно, остыли, и не будет тяги, и в комнате будет полно дыма, и дрова сгорят зря, а с ними сгорят и деньги, и зашагал под дождем. Я прошел мимо лица Генриха IV, мимо старинной церкви Сент-Этьен-дю-Мон, пересек открытую всем ветрам площадь Пантеона, ища укрытия, свернул направо, вышел на подветренную сторону бульвара Сен-Мишель и, пройдя мимо Клюни, бульваром Сен-Жермен добрался до кафе на площади Сен-Мишель, которое я хорошо знал.

Это было приятное кафе — уютное, чистое и теплое. Я повесил свой старый дождевик на вешалку, чтобы он просох, положил выдавшую виды фетровую шляпу на полку поверх вешалки и заказал *café au lait*¹. Официант принес кофе, я достал из кармана пиджака блокнот и карапдаш и принялся писать. Я писал о том, как было у нас в Мичигане, и поскольку день был очень холодный, ветреный и неуютный, он получился таким же в рассказе. Я уже не раз встречал позднюю осень — ре-

¹ Кофе с молоком (фр.).

бенком, подростком, мужающим юношей, и пишется о ней в разных местах по-разному: в одном месте лучше, в другом — хуже. Это как пересадка на новую почву, думал я, и людям она так же необходима, как и растениям. В рассказе охотники пили, и я тоже почувствовал жажду и заказал ром «сент-джеймс». Он показался мне необыкновенно вкусным в этот холодный день, и, продолжая писать, я почувствовал, как отличный ром Мартиники согревает мне тело и душу.

В кафе вошла девушка и села за столик у окна. Она была очень хороша, ее свежее лицо сияло, словно только что отчеканенная монета, если монеты можно чеканить из мягкой, освеженной дождем кожи, а ее черные, как вороново крыло, волосы закрывали часть щеки.

Я посмотрел на нее, и меня охватило беспокойство и волнение. Мне захотелось описать ее в этом рассказе или в каком-нибудь другом, но она села так, чтобы ей было удобно наблюдать за улицей и входом в кафе, и я понял, что она кого-то ждет. Я снова начал писать.

Рассказ писался сам собой, и я с трудом поспевал за ним. Я заказал еще рому и каждый раз поглядывал на девушку, когда поднимал голову или точил карандаш точилкой, из которой на блюде рядом с рюмкой ложились тонкими колечками деревянные стружки.

«Я увидел тебя, красавица, и теперь ты принадлежишь мне, кого бы ты ни ждала, даже если я никогда тебя больше не увижу,— думал я.— Ты принадлежишь мне, и весь Париж принадлежит мне, а я принадлежу этому блокноту и карандашу».

Потом я снова начал писать и так увлекся, что забыл обо всем. Теперь уже рассказ не писался сам собой, теперь его писал я, не поднимая головы, забыв о времени, не думая о том, где я нахожусь, и мне уже было не до рома «сент-джеймс». Мне надоел ром, хотя о нем я не думал. Наконец рассказ был закончен, и я почувствовал, что очень устал. Я перечитал последний абзац и поднял голову, ища глазами девушку, но она уже ушла. «Надеюсь, она ушла с хорошим человеком»,— подумал я. И все же мне стало грустно.

Я закрыл блокнот с рассказом, положил его во внутренний карман и попросил официанта принести дюжину *portugaises*¹ и полграфина сухого белого вина. Закончив

¹ Португальские устрицы (*фр.*).

рассказ, я всегда чувствовал себя опустошенным, мне бывало грустно и радостно, как после близости с женщиной, и я был уверен, что рассказ получился очень хороший, но насколько хороший — это я мог узнать, только перечитав его на следующий день.

Я ел устрицы, сильно отдававшие морем, холодное белое вино смывало легкий металлический привкус, и тогда оставался только вкус моря и ощущение сочной массы во рту; и глотал холодный сок из каждой раковины, запивая его терпким вином, и у меня исчезло это ощущение опустошенности, и я почувствовал себя счастливым и начал строить планы.

Теперь, когда наступили дожди, мы можем на время уехать из Парижа туда, где не дождь, а снег падает сквозь сосны и устилает дорогу и склоны гор, где он будет поскрипывать под ногами, когда мы будем возвращаться вечером домой. У подножия Лез-Авана есть шале, где прекрасно кормят, где мы будем вдвоем и с нами будут книги, а по ночам нам будет тепло вдвоем в постели, и в открытые окна будут сиять звезды. Вот куда мы поедем. Если взять билеты третьего класса, это будет недорого. А за напсион придется платить лишь немногим больше того, что мы тратим в Париже.

Я откажусь от номера в гостинице, где я пишу, и нам придется платить лишь за квартиру на улице Кардинала Лемуана, 74,— а это совсем немного. Я уже отправил материал в Торонто, и мне должны были выслать гонорар. Писать для газеты я мог где угодно и при любых обстоятельствах, а на дорогу деньги у нас были.

Может быть, вдали от Парижа я сумею написать о Париже,— сумел же я в Париже написать о Мичигане. Я не понимал, что для этого еще не настало время — я еще недостаточно хорошо знал Париж. Но в конце концов так оно и получилось. А поехать мы поедем, если жена захочет; я покончил с устрицами и вином и, расплатившись, кратчайшим путем пошел вверх по холму Святой Женевьевы к себе домой под дождем, который портил теперь только погоду, а не жизнь.

— Чудесная мысль, Тэти,— сказала жена. У нее были мягкие черты лица, и, когда мы принимали какое-нибудь решение, ее глаза и улыбка вспыхивали, словно ей преподнесли дорогой подарок.— Когда мы едем?

— Когда хочешь.

— О, я хочу сейчас. Ты же знаешь!

— Может быть, когда мы вернемся, будет уже ясная погода. Здесь бывает очень хорошо в холодные ясные дни.

— Наверно, так и будет,— сказала она.— Какой ты молодец, что придумал эту поездку.

МИСС СТАЙН ПОУЧАЕТ

Когда мы вернулись в Париж, стояли ясные, холодные чудесные дни. Город приготовился к зиме. На дровяном и угольном складе напротив нашего дома продавали отличные дрова, и во многих хороших кафе на террасах стояли жаровни, у которых можно было погреться. В нашей квартире было тепло и уютно. Мы клали на пылающие поленья boulets — яйцевидные брикеты спрессованной угольной пыли, на улицах было по-зимнему светло. Привычными стали голые деревья на фоне неба и прогулки при резком свежем ветре по омытым дождем дорожкам Люксембургского сада. Деревья без листьев стояли как изваяния, а зимние ветры рябили воду в прудах, и брызги фонтанов вспыхивали на солнце. С тех пор как мы походили по горам, нас уже не пугали никакие расстояния.

После трудных подъемов в горах мне доставляло удовольствие ходить по крутым улицам и взбираться на верхний этаж гостиницы, где я снимал номер, чтобы там работать,— оттуда видны были крыши и трубы домов на склоне холма. Тяга в камине была хорошей, и в теплой комнате было приятно работать. Я приносил с собой апельсины и жареные каштаны в бумажных пакетах и, когда был голоден, ел жареные каштаны и апельсины, маленькие, как мандарины, а кожуру бросал в огонь и туда же сплевывал зернышки. Прогулки, холод и работа всегда возбуждали у меня аппетит. В номере у меня хранилась бутылка кирша, которую мы привезли с гор, и, когда я кончал рассказ или дневную работу, я выпивал рюмку кирша. Кончив работу, я убирал блокнот или бумагу в стол, а оставшиеся апельсины клал в карман. Если их оставить в комнате на ночь, они замерзнут.

Радостно было спускаться по длинным маршам лестницы, сознавая, что ты хорошо поработал. Я всегда работал до тех пор, пока мне не удавалось чего-то добиться, и всегда останавливал работу, уже зная, что должно произойти дальше. Это давало мне разгон на завтра. Но иногда, принимаясь за новый рассказ и никак не находя нача-

ла, я садился перед камином, выжимал сок из кожуры мелких апельсинов прямо в огонь и смотрел на голубые вспышки пламени. Или стоял у окна, глядел на крыши Парижа и думал: «Не волнуйся. Ты писал прежде, напишешь и теперь. Тебе надо написать только одну настоящую фразу. Самую настоящую, какую ты знаешь». И в конце концов я писал настоящую фразу, а за ней уже шло все остальное. Тогда это было легко, потому что всегда из виденного, слышанного, пережитого всплывала одна настоящая фраза. Если же я старался писать пзысканно и витиевато, как некоторые авторы, то убеждался, что могу безболезненно вычеркнуть все эти украшения, выбросить их и начать повествование с настоящей, простой фразы, которую я уже написал. Работая в своем номере наверху, я решил, что напишу по рассказу обо всем, что знаю. Я старался придерживаться этого правила всегда, когда писал, и это очень дисциплинировало.

В этом номере я, кроме того, научился еще одному: не думать, о чем я пишу, с той минуты, как прекращал работу, и до той минуты, пока на следующий день не начинал писать снова. Таким образом, мое подсознание продолжало работать над рассказом, но при этом я мог слушать других, все примечать, узнавать что-то новое, а чтобы отогнать мысли о работе — читать. Спускаться по лестнице, зная, что хорошо поработал, — а для этого нужна была удача и дисциплина, — было очень приятно: теперь я могу идти по Парижу, куда захочу.

Если я возвращался, кончив работу, не поздно, то старался выйти какой-нибудь улочкой к Люксембургскому саду и, пройдя через сад, заходил в Люксембургский музей, где тогда находились великолепные картины импрессионистов, большинство которых теперь находится в Лувре и в «Зале для игры в мяч». Я ходил туда почти каждый день из-за Сезанна и чтобы посмотреть полотна Мане и Моне, а также других импрессионистов, с которыми впервые познакомился в Институте искусств в Чикаго. Живопись Сезанна учила меня тому, что одних настоящих простых фраз мало, чтобы придать рассказу ту объемность и глубину, какой я пытался достичь. Я учился у него очень многому, но не мог бы внятно объяснить, чему именно. Кроме того, это тайна. А в сумрачные дни, когда в Люксембургском музее было темно, я шел через сад и заходил в квартиру-студию на улице Флерюс, 27, где жила Гертруда Стайн.

Мисс Стайн жила вместе с приятельницей, и когда мы с женой пришли к ним в первый раз, они приняли нас очень сердечно и дружелюбно, и нам очень понравилась большая студия с великолепными картинами. Она напоминала лучшие залы самых знаменитых музеев, только здесь был большой камин, и было тепло и уютно, и вас угощали вкусными вещами, и чаем, и натуральными наливками из красных и желтых слив или лесной малины. Эти ароматные бесцветные напитки подавались в хрустальных графинах и разливались в маленькие рюмки, и каждая наливка — quetsche, mirabelle или framboise — отдавала на вкус теми ягодами, из которых была сделана, приятно обжигала язык, и согревала вас, и вызывала желание поговорить.

Мисс Стайн была крупная женщина — не очень высокая, но ширококостная. У нее были прекрасные глаза и волевое лицо немецкой еврейки, которое могло быть и лицом уроженки Фриули, и вообще она напоминала мне крестьянку с севера Италии и одеждой, и выразительным, подвижным лицом, и красивыми, пышными и непокорными волосами, которые она зачесывала кверху так же, как, верно, делала еще в колледже. Она говорила без умолку и поначалу о разных людях и страхах.

Ее приятельница обладала приятным голосом, была маленького роста, очень смуглая, с крючковатым носом и волосами, подстриженными, как у Жанны д'Арк на иллюстрациях Бутэ де Монвеля. Она что-то вышивала, когда мы пришли, и, продолжая вышивать, успевала угощать нас, а кроме того, занимала мою жену разговором. Она разговаривала с ней, прислушивалась к тому, что говорили мы, и часто вмешивалась в нашу беседу. Позже она объяснила мне, что всегда разговаривает с женами. Жив гостей, как почувствовали мы с Хэдли, здесь только терпели. Но нам понравились мисс Стайн и ее подруга, хотя подруга была не из очень приятных. Картины, пирожки и наливки были по-настоящему хороши. Нам казалось, что мы тоже нравимся обеим женщинам, они обходились с нами словно с хорошими, воспитанными и подающими надежды детьми, и я чувствовал, что они прощают нам даже то, что мы любим друг друга и женаты — время все уладит, — и когда моя жена пригласила их на чай, они приняли приглашение.

Когда они пришли, мы как будто понравились им еще больше; но, возможно, это объяснялось тоской нашей

квартиры, где мы все оказались гораздо ближе друг к другу. Мисс Стайн села на матрац, служивший нам постелью, попросила показать ей мои рассказы и сказала, что они ей нравятся все, за исключением «У нас в Мичигане».

— Рассказ хорош,— сказала она.— Несомненно, хорош. Но он *inassgrochable*. То есть что-то вроде картины, которую художник написал, но не может выставить, и никто ее не купит, так как дома ее тоже нельзя повесить.

— Ну, а если рассказ вполне пристойный, просто в нем употреблены слова, которые употребляют люди? И если только эти слова делают рассказ правдивым и без них нельзя обойтись? Ими необходимо пользоваться.

— Вы ничего не поняли,— сказала она.— Не следует писать вещей *inassgrochable*. В этом нет никакого смысла. Это неправильно и глупо.

Она сказала, что хочет печататься в «Атлантик мансли» и добьется этого. А я, по ее словам, еще не настолько хороший писатель, чтобы печататься в этом журнале или в «Сатердей ивнинг пост», хотя, возможно, я писатель нового типа, со своей манерой, но прежде всего я должен помнить, что нельзя писать рассказы *inassgrochable*. Я не пытался с ней спорить и не стал повторять, как я строю диалог. Это мое личное дело. Но слушать ее было интересно. В тот вечер она, кроме того, объяснила нам, как следует покупать картины.

— Надо покупать либо одежду, либо картины,— сказала она.— Вот и все. Никто, кроме очень богатых людей, не может позволить себе и то и другое. Не придавайте большого значения одежде, а главное, не гонитесь за модой, покупайте прочные и удобные вещи, и тогда у вас останутся деньги на картины.

— Но даже если я никогда больше не буду покупать себе одежду,— возразил я,— все равно у меня не хватит денег, чтобы купить те картины Пикассо, которые мне нравятся.

— Да, для вас он недоступен. Вам придется покупать картины людей вашего возраста, одного с вами военного призыва. Вы с ними познакомитесь. Вы встретите их в своем квартале. Всегда есть хорошие, серьезные новые художники. Но, говоря об одежде, я имела в виду не столько вас, сколько вашу жену. Дорого стоят как раз женские туалеты.

Я заметил, что моя жена старается не смотреть на странное одеяние мисс Стайн — и это ей удавалось. Ко-

гда они ушли, я решил, что мы все еще правимся им, так как нас пригласили снова посетить дом двадцать семь на улице Флерюс.

Позднее, зимой, меня пригласили заходить в студию в любое время после пяти. Как-то раз я встретил мисс Стайн в Люксембургском саду. Не помню, гуляла она с собакой или нет и вообще была ли у нее тогда собака. Знаю только, что я гулял один, так как в то время нам была не по карману не только собака, но даже кошка, и кошек я видел лишь в кафе и маленьких ресторанчиках или же в окнах консьержек — восхитительных толстых котов. Позже я часто встречал мисс Стайн с собакой в Люксембургском саду, но, кажется, тогда у нее еще собаки не было.

Одним словом, была у нее собака или нет, я припаял ее приглашение и зачастил к ней в студию, и она всегда угощала меня водкой, то и дело заставляя меня наполнять рюмку, а я смотрел на картины, и мы разговаривали. Картины были поразительны, а беседа очень интересна. Большой частью говорила мисс Стайн, и она рассказывала мне о современных картинах, и о художниках, — и о них больше как о людях, чем о художниках, — и о своей работе. Она показывала мне свои объемистые рукописи, которые ее приятельница перепечатывала. Мисс Стайн была счастлива тем, что работает каждый день, но, узнав ее ближе, я понял, что счастлива она может быть лишь тогда, когда ее ежедневная продукция, количество которой зависело от ее энергии, публикуется, а сама она получает признание.

Когда я познакомился с ней, это еще не ощущалось так остро — она только что напечатала три рассказа, понятных каждому. Один из этих рассказов, «Меланкта», был особенно хорош, и лучшие образцы ее экспериментального творчества издали отдельной книгой, и критики, которые бывали у нее или хотя бы только расклапывались с ней, высоко их оцелили. В ней была какая-то особая сила, и, когда она хотела привлечь кого-то на свою сторону, устоять было невозможно, и критики, которые были знакомы с ней и видели ее картины, принимали на веру ее творчество, хотя и не понимали его, — настолько они восхищались ею как человеком и были уверены в непогрешимости ее суждений. Кроме того, она открыла много верных и ценных истин о ритме и повторях и очень интересно говорила на эти темы.

Однако она не любила править рукописи и работать над тем, чтобы сделать их удобочитаемыми, хотя для того, чтобы о ней говорили, ей необходимо было печататься; особенно это касалось невероятно длинной книги, озаглавленной «Становление американцев».

Книга начиналась великолепно, далее следовали десятки страниц, многие из которых были просто блестящи, а затем шли бесконечные повторы, которые более добросовестный и менее ленивый писатель выбросил бы в корзину. Я близко познакомился с этим произведением, когда уговорил — а точнее сказать, принудил — Форда Мэдокса Форда начать печатать его в «Трансатлантик ревью», зная, что журнал прекратит свое существование, прежде чем опубликует его до конца. И все это время я читал журнальные гранки за мисс Стайн, поскольку такая работа не доставляла ей удовольствия.

В тот морозный день, когда я прошел мимо комнатки консьержки и через холодный двор попал в теплую студию, до всего этого было еще далеко. В тот день мисс Стайн просвещала меня по вопросам пола. К этому времени мы очень полюбили друг друга, и я уже знал, что, если я чего-нибудь не понимаю, это еще не значит, что это плохо. Мисс Стайн считала, что я совершенно не разбираюсь в вопросах пола; и я должен признаться, что питал определенное предубеждение против гомосексуализма, поскольку мне были известны лишь его наиболее примитивные аспекты. Я знал, почему молодые парни носили пожи, а иногда и пускали их в ход в компании бродяг в те дни, когда слово «волк» еще не означало мужчину, помешанного на женщинах. Я знал много inassgrochable слов и выражений, которые слышал в те годы, когда жил в Канзас-Сити, а также нравы, царившие в различных районах этого города, в Чикаго и на озерных судах. В ответ на вопросы мисс Стайн я попытался объяснить, что подросток, живущий среди мужчин, всегда должен быть готов, в случае необходимости, убить человека и быть уверенным, что сумеет это сделать, если он хочет, чтобы к нему не приставали. Это было assgrochable. А если в тебе есть эта уверенность, другие сразу это чувствуют и оставляют тебя в покое; и ни при каких обстоятельствах нельзя допускать, чтобы тебя силой или хитростью загнали в лопушку. Я мог бы выразить свою мысль более убедительно с помощью одной inassgrochable фразы, которую употребляют «волки» на озерных судах. Но в разговоре с мисс

Стайн я всегда выбирал выражения, даже когда одно слово могло бы точнее объяснить или выразить смысл какого-нибудь поступка.

— Все это так, Хемингуэй,— заявила она.— Но вы жили в среде людей преступных и извращенных.

Я не стал оспаривать этого, хотя подумал, что жил я в настоящем мире, и были там разные люди, и я старался понять их, хотя некоторые из них мне не нравились, а иных я ненавижу до сих пор.

— А знаете, когда я лежал в госпитале в Италии, меня навестил старик с прекрасными манерами и громким именем. Он пришел ко мне с бутылкой не то марсалы, не то кампари и вел себя безукоризненно, а затем в один прекрасный день я вынужден был попросить сестру больше никогда не пускать этого человека в мою палату. Что вы на это скажете? — спросил я.

— Это больные люди, не властные над своими поступками, и вы должны их жалеть.

— Значит, я должен жалеть и такого-то? — спросил я и назвал его имя. Но он так любит называть его сам, что незачем это делать за него еще раз.

— Нет. Он порочный человек. Он развратник и по-настоящему порочен.

— Но он считается хорошим писателем.

— Он плохой писатель,— сказала она.— Он просто позер и развращает потому, что ему нравится разврат, а кроме того, он прививает людям и другие пороки. Наркоманию, например.

— Ну, а тот человек в Милане, которого я должен жалеть, разве не пытался развратить меня?

— Не говорите глупостей. Как он мог развратить вас? Разве можно развратить бутылкой марсалы того, кто, как вы, пьет чистый спирт? Что взять с несчастного старика, который не отвечает за свои поступки? Это больной человек, не владеющий собой, и вы должны пожалеть его.

— Я пожалел его тогда,— сказал я.— Но был очень разочарован, ведь у него были такие хорошие манеры.

Я выпил еще глоток водки, и пожалел старика, и посмотрел на обнаженную девушку Пикассо с корзиной цветов. Не я начал этот разговор, и теперь я подумал, что он становится опасным. В наших беседах с мисс Стайн почти не бывало пауз, но сейчас мы молчали, я чувствовал, что она что-то хочет сказать мне, и наполнил рюмку.

— Вы, в сущности, ничего не смыслите в этом, Хемин-

гуэй,— сказала она.— Вы встречали либо преступников, либо больных, либо порочных людей. Но главное в том, что мужская однополая любовь отвратительна и мерзка и люди делают противны самим себе. Они пьют и употребляют наркотики, чтобы забыться, но все равно им противно то, что они делают, они часто меняют партнеров и не могут быть по-настоящему счастливы.

— Понимаю.

— У женщин совсем по-другому. Они не делают ничего противного, ничего вызывающего отвращение, и потом им очень хорошо и они могут быть по-настоящему счастливы вдвоем.

— Понимаю,— сказал я.— А что вы скажете о такой-то?

— Она развратница,— сказала мисс Стайн.— Она просто развратница, и ей всегда нужно что-нибудь новое. Она развращает людей.

— Понимаю.

— Надеюсь, что теперь понимаете.

В те дни мне надо было понять так много, что я обрадовался, когда мы заговорили о другом. Сад был закрыт, и мне пришлось пройти вдоль ограды до улицы Вожиар и обогнуть его. Было грустно, что сад закрыт, а ворота заперты, и грустно оттого, что я иду вдоль ограды, а не через сад, торопясь к себе домой на улицу Кардинала Лемуана. А ведь день начался так хорошо. Завтра мне придется много работать. Работа — лучшее лекарство от всех бед, я верил в это тогда, верю и сейчас. Затем я решил, что мисс Стайн всего лишь хочет излечить меня от молодости и от любви к жене. Так что, когда я пришел домой на улицу Кардинала Лемуана и рассказал жене о приобретенных познаниях, мне уже не было грустно. А ночью мы вернулись к тем радостям, которые знали раньше, и к тем, которые познали недавно в горах.

UNE GÉNÉRATION PERDUE ¹

Скоро у меня вошло в привычку заходить по вечерам на улицу Флерюс, 27, ради тепла, картин и разговоров. Мисс Стайн часто бывала одна и всегда встречала меня очень радушно и долгое время питала ко мне симпатию. Когда я возвращался из поездок на разные политические

¹ Потерянное поколение (фр.).

конференции, или с Ближнего Востока, или из Германии, куда я ездил по заданию канадской газеты и агентств, для которых писал, она требовала, чтобы я рассказывал ей обо всех смешных происшествиях. В курьезах недостатка не было, и они ей нравились, как и рассказы, которые, по выражению немцев, отдают юмором висельника. Она хотела знать только веселую сторону происходящих в мире событий, а не всю правду, не все дурное.

Я был молод и не склонен к унынию, а ведь даже в самые плохие времена случаются нелепые и забавные вещи, и мисс Стайн любила слушать именно о них. А об остальном я не говорил, об остальном я писал для себя.

Но когда я заходил на улицу Флерюс не после поездов, а после работы, я иногда пытался завести с мисс Стайн разговор о книгах. После работы мне необходимо было читать. Потому что, если все время думать о работе, можно утратить к ней интерес еще до того, как сядешь на другой день за стол. Необходимо получить физическую нагрузку, устать телом, и особенно хорошо предаваться любви с любимой женщиной. Это лучше всего. Но потом, когда приходит опустошенность, нужно читать, чтобы не думать и не тревожиться о работе до тех пор, пока не приступишь к ней снова. Я уже научился никогда не опустошать до дна кладезь творческой мысли и всегда прекращал писать, когда на донышке еще что-то оставалось, чтобы за ночь питающие его источники успели вновь его наполнить.

Иногда, чтобы после работы не думать, о чем я пишу, я читал книги писателей, известных в те годы, например Олдоса Хаксли, Д.-Г. Лоуренса или любого из тех, чьи книги я мог достать в библиотеке Сильвии Бич или найти у букинистов на набережных.

— Хаксли — покойник, — сказала мисс Стайн. — Зачем вам читать книги покойника? Неужели вы не видите, что он покойник?

В то время я этого не видел и сказал, что его книги забавляют меня и позволяют не думать.

— Вы должны читать лишь то, что по-настоящему хорошо или откровенно никуда не годится.

— Я читал по-настоящему хорошие книги всю эту зиму и всю прошлую зиму и буду читать их следующей зимой, а плохих книг я не люблю.

— Но тогда для чего вы читаете эту чепуху? Это претенциозная чепуха, Хемингуэй. Написанная покойником.

— Я хочу знать, о чем пишут люди,— сказал я.— Это помогает мне не писать то же самое.

— Кого еще вы читаете?

— Д.-Г. Лоуренса,— ответил я.— У него есть несколько очень хороших рассказов, особенно «Прусский офицер».

— Я пыталась читать его романы. Он невозможен. Жалок и нелеп. И пишет, как больной.

— А мне понравились «Сыновья и любовники» и «Белый павлин»,— сказал я.— Последний, пожалуй, меньше. А вот «Влюбленных женщин» я дочитать не мог.

— Если вы не хотите читать плохих книг, а хотите прочесть что-то более увлекательное и по-своему прекрасное, почитайте Мари Беллок Лаундс.

Я впервые услышал это имя, и мисс Стайн дала мне почитать «Жильца» — изумительную повесть о Джеке Потрошителе и еще один роман — об убийстве, происшедшем в некоем предместье Парижа, напоминающем Энглен-ле-Бэн. Обе книги были великолепны для чтения после работы, их герои были достаточно жизненны, а поступки и ужасы вполне убедительны. Для чтения после работы лучшего и придумать нельзя, и я прочитал все ее книги, что мог достать, но ни одна не могла сравниться с первыми двумя, и пока не появились отличные книги Сименона, мне не удавалось найти ничего равного им для чтения в пустые дневные и ночные часы.

Думаю, что мисс Стайн понравились бы хорошие вещи Сименона — первым, что я прочитал, было не то «L'Ecluse Numéro 1», не то «La Maison du Canal»¹ — а впрочем, не уверен, потому что, когда я познакомился с мисс Стайн, она не любила читать по-французски, хотя ей очень нравилось говорить на этом языке. Первые две книги Сименона, которые я прочел, дала мне Дженет Флэннер. Она любила читать французские книги и читала Сименона, когда он был еще полицейским репортером.

За три-четыре года нашей дружбы я не помню, чтобы Гертруда Стайн хоть раз хорошо отзывалась о каком-нибудь писателе, кроме тех, кто хвалил ее произведения или сделал что-нибудь полезное для ее карьеры. Исключение составляли Рональд Фэрбенк и позже Скотт Фицджеральд. Когда я познакомился с ней, она не говорила о Шервуде Андерсоне как о писателе, но зато превозносила

¹ «Шлюз № 1» и «Дом на канале» (фр.).

его как человека, и особенно его прекрасные итальянские глаза, большие и бархатные, его доброту и обаяние. Меня не интересовали его прекрасные итальянские глаза, большие и бархатные, но мне очень нравились некоторые его рассказы. Они были написаны просто, а иногда превосходно, и он знал людей, о которых писал, и очень их любил. Мисс Стайн не желала говорить о его рассказах, она говорила о нем только как о человеке.

— А что вы думаете о его романах? — спросил я ее.

Она не желала говорить о творчестве Андерсона, как не желала говорить и о Джойсе. Стоило дважды упомянуть Джойса, и вас уже никогда больше не приглашали в этот дом. Это было столь же бестактно, как в разговоре с одним генералом лестно отозваться о другом. Допустив такой промах однажды, вы больше никогда его не повторите. Зато, разговаривая с генералом, разрешается упоминать о том генерале, над которым он однажды одержал верх. Генерал, с которым вы разговариваете, будет восхвалять побитого генерала и с удовольствием вспоминать подробности того, как он его разбил.

Рассказы Андерсона были слишком хороши, чтобы служить темой для приятной беседы. Я мог бы сказать мисс Стайн, что его романы на редкость плохи, но и это было недопустимо, так как означало бы, что я стал критиковать одного из ее наиболее преданных сторонников. Когда он написал роман, в конце концов получивший название «Темный смех», настолько плохой, глупый и падушный, что я не удержался и написал на него пародию¹, мисс Стайн не на шутку рассердилась. Я позволил себе напасть на человека, принадлежавшего к ее свите. Прежде она не сердилась. И сама начала расточать похвалы Шервуду, когда его писательская репутация потерпела полный крах.

Она рассердилась на Эзру Паунда за то, что он слишком поспешно сел на маленький, хрупкий и, наверно, довольно неудобный стул (возможно, даже нарочно ему подставленный) и стул не то треснул, не то рассыпался. А то, что он был большой поэт, мягкий и благородный человек и, несомненно, сумел бы усидеть на обыкновенном стуле, во внимание принято не было. Причины ее неприязни к Эзре, излагавшиеся с великим и злобным искусством, были придуманы много лет спустя.

¹ «Вешние воды». (Примеч. автора.)

Когда мы вернулись из Канады и поселились на улице Нотр-Дам-де-Шан, а мисс Стайн и я были еще добрыми друзьями, она и произнесла свою фразу о потерянном поколении. У старого «форда» модели «Т», на котором в те годы ездила мисс Стайн, что-то случилось с зажиганием, и молодой механик, который пробыл на фронте последний год войны и теперь работал в гараже, не сумел его починить, а может быть, просто не захотел чинить ее «форд» вне очереди. Как бы там ни было, он оказался недостаточно sérieux¹, и после жалобы мисс Стайн хозяин сделал ему строгий выговор. Хозяин сказал ему: «Все вы — *génération perdue!*»

— Вот кто вы такие! И все вы такие! — сказала мисс Стайн. — Вся молодежь, побывавшая на войне. Вы — потерянное поколение.

— Вы так думаете? — спросил я.

— Да, да, — настаивала она. — У вас ни к чему нет уважения. Вы все соньетесь...

— Разве механик был пьян?

— Конечно, нет.

— А меня вы когда-нибудь видели пьяным?

— Нет, но ваши друзья — пьяницы.

— Мне случалось напиваться, — сказал я. — Но к вам я никогда не приходил пьяным.

— Конечно, нет. Я этого и не говорила.

— Наверняка хозяин вашего механика в одиннадцать утра был уже пьян, — сказал я. — Потому-то он и изрекал такие чудесные афоризмы.

— Не спорьте со мной, Хемингуэй. Это ни к чему не приведет. Хозяин гаража прав: вы все — потерянное поколение.

Позже, когда я написал свой первый роман, я пытался как-то сопоставить фразу, услышанную мисс Стайн в гараже, со словами Екклезиаста. Но в тот вечер, возвращаясь домой, я думал об этом юноше из гаража и о том, что, возможно, его везли в таком же вот «форде», переоборудованном в санитарную машину. Я помню, как у них горели тормоза, когда они, набитые ранеными, спускались по горным дорогам на первой скорости, а иногда приходилось включать и заднюю передачу, и как последние машины порожняком пускали под откос, поскольку их заменили огромными «фиатами» с надежной коробкой передач

¹ Серьезен (фр.).

и тормозами. Я думал о мисс Стайн, о Шервуде Андерсоне, и об эготизме, и о том, что лучше — духовная лень или дисциплина. Интересно, подумал я, кто же из нас потерянное поколение? Тут я подошел к «Клозери-де-Лиля»: свет падал на моего старого друга — статую маршала Ней, и тень деревьев ложилась на бронзу его обнаженной сабли, — стоит совсем один, и за ним никого. Ах, как не повезло ему в день Ватерлоо! И я подумал, что все поколения в какой-то степени потерянные, так было и так будет, — и зашел в «Лиля», чтобы ему не было так одиноко, и прежде, чем пойти домой, в комнату над лесопилкой, выпил холодного пива. И, сидя за пивом, я смотрел на статую и вспоминал, сколько дней Ней дрался в арьергарде, отступая от Москвы, из которой Наполеон уехал в карете с Коленкурром; я думал о том, каким хорошим и заботливым другом была мисс Стайн и как прекрасно она говорила о Гийоме Аполлинере и о его смерти в день перемирия в 1918 году, когда толпа кричала: «A bas Guillaume!»¹ — а метавшемуся в бреду Аполлинеру казалось, что эти крики относятся к нему, и я подумал, что сделаю все возможное, чтобы помочь ей, и постараюсь, чтобы ей воздали должное за все содеянное ею добро, свидетель бог и Майк Ней. Но к черту ее разговоры о потерянном поколении и все эти грязные, дешевые ярлыки. Когда я добрался домой, и вошел во двор, и поднялся по лестнице, и увидел пылающий камин, и свою жену, и сына, и его кота Ф. Киса, счастливых и довольных, я сказал жене:

— Знаешь, а все-таки Гертруда очень милая жепщина.

— Конечно, Тэти.

— Но иногда она несет вздор.

— Я же не слышу, что она говорит, — сказала моя жена. — Ведь я жена. Со мной разговаривает ее подруга.

«ШЕКСПИР И КОМПАНИЯ»

В те дни у меня не было денег на покупку книг. Я брал книги на улице Одеон, 12, в книжной лавке Сильвии Бич «Шекспир и компания», которая одновременно была и библиотекой. После улицы, где гулял холодный ветер,

¹ Долой Вильгельма! (фр.). По-французски имя Вильгельм звучит как Гийом.

эта библиотека с большой печкой, столами и книжными полками, с новыми книгами в витрине и фотографиями известных писателей, живых и умерших, казалась особенно теплой и уютной. Все фотографии были похожи на любительские, и даже умершие писатели выглядели так, словно еще жили. У Сильвии было подвижное, с четкими чертами лицо, карие глаза, быстрые, как у маленького зверька, и веселые, как у юной девушки, и волнистые каштановые волосы, отброшенные назад с чистого лба и подстриженные ниже ушей, на уровне воротника ее коричневого бархатного жакета. У нее были красивые ноги, она была добросердечна, весела, любознательна и любила шутить и болтать. И лучше нее ко мне никто никогда не относился.

Когда я впервые пришел в ее лавку, я держался очень робко — у меня не хватало денег, чтобы записаться в библиотеку. Сильвия сказала, что я могу внести залог позже, когда мне будет удобнее, завела на меня карточку и предложила взять столько книг, сколько я захочу.

У нее не было никаких оснований доверять мне. Она меня не знала, адрес же, который я ей назвал, — улица Кардинала Лемуана, 74, — говорил только о бедности. И все-таки Сильвия была мила, обаятельна и приветлива, а за ее спиной поднимались к потолку и тянулись в соседнюю комнату, выходящую окнами во двор, бесчисленные книжные полки со всем богатством ее библиотеки.

Я начал с Тургенева и взял два тома «Записок охотника» и, если не ошибаюсь, один из ранних романов Д.-Г. Лоуренса «Сыновья и любовники», но Сильвия предложила мне взять еще несколько книг. Я выбрал «Войну и мир» в переводе Констанс Гарнетт и Достоевского «Игрок и другие рассказы».

— Если вы собираетесь прочесть все это, то не скоро найдете снова, — сказала Сильвия.

— Я приду заплатить, — ответил я. — У меня дома есть деньги.

— Я не это имела в виду, — сказала она. — Заплатите, когда вам будет удобно.

— Когда у вас бывает Джойс? — спросил я.

— Как правило, в конце дня, — ответила она. — Разве вы его никогда не видели?

— Мы видели, как он с семьей обедал у Мишо, — сказал я. — Но смотреть на людей, когда они едят, невежливо, и это дорогой ресторан.

— Вы обедаете дома?

— Чаще всего, — ответил я. — У нас хорошая кухарка.

— По соседству с вашим домом, кажется, нет никаких ресторанов?

— Нет. Откуда вы знаете?

— Там жил Ларбо, — сказала она. — В остальном ему там все нравилось.

— Ближайший к нам недорогой ресторанчик находится возле Пантеона.

— Я не знаю вашего района. Мы обедаем дома. Приходите к нам как-нибудь с женой.

— Подождите приглашать, ведь я еще не заплатил вам. Во всяком случае, большое спасибо.

— Читайте не торопясь, — сказала она.

Нашим домом на улице Кардинала Лемуана была двухкомнатная квартирка без горячей воды и канализации, которую заменял бак, что не было таким уж неудобством для тех, кто привык к мичиганским уборным во дворе. Зато из окна открывался чудесный вид. На полу лежал хороший пружинный матрац, служивший удобной постелью, на стенах висели картины, которые нам нравились, и квартира казалась нам светлой и уютной.

Вернувшись домой с книгами, я рассказал жене, какое замечательное место я нашел.

— Но, Тэти, ты должен сегодня же пойти туда и отдать деньги, — сказала она.

— Ну конечно, — сказал я. — Мы пойдем вместе. А потом мы спустимся к реке и погуляем по набережным.

— Давай пойдем по улице Сены и будем заходить во все лавки торговцев картинами и рассматривать витрины магазинов.

— Обязательно. Мы пойдем, куда захотим, а потом зайдем в какое-нибудь повое кафе, где мы никого не знаем и где нас никто не знает, и выпьем по рюмочко.

— Можно и по две.

— Потом мы где-нибудь поужинаем.

— Вот уж нет. Не забывай, что нам нужно заплатить в библиотеку.

— Тогда мы вернемся ужинать домой и закатим настоящий пир и выпьем бона из магазина напротив — видишь на витрине бутылку бона, там и цена указана. А потом мы прочитаем и ляжем в постель и будем любить друг друга.

— И мы всегда будем любить только друг друга и больше никого.

— Да. Всегда.

— Какой чудесный вечер. А сейчас неплохо бы пообедать.

— Ужасно хочется есть,— сказал я.— Я работал в кафе на одном *café-crème*¹.

— Как шла работа, Тэти?

— По-моему, хорошо. Так мне кажется. Что у нас на обед?

— Молодая редиска и отличная *foie de veau*² с картофельным пюре, салат и яблочный пирог.

— И теперь у нас будут книги, какие мы только захотим, и мы станем брать их с собой, когда куда-нибудь поедем.

— А это честно?

— Конечно.

— А Генри Джеймс у нее тоже есть?

— Конечно.

— Как хорошо! — сказала она.— Нам повезло, что ты отыскал это место.

— Нам всегда везет,— сказал я и, как дурак, не постучал по дереву, чтобы не сглазить. А ведь в той квартире всюду было дерево, по которому можно было постучать.

ЛЮДИ СЕНЫ

С дальнего конца улицы Кардинала Лемуана к реке можно спуститься разными путями. Самый ближний — прямо вниз по улице, но она очень крута, и когда вы добирались до ровного места и пересекали начало бульвара Сен-Жермен с его оживленным движением, она выводила вас на унылый, продуваемый ветрами участок набережной слева от Винного рынка. Этот рынок не похож на другие парижские рынки, а скорее на таможенный пакагауз, куда привозят вино и платят за него пошлину, и своим безрадостным видом напоминает не то казарму, не то тюремный барак.

По ту сторону рукава Сены лежит остров Сен-Луи с узенькими улочками, старинными высокими красивыми

¹ Кофе со сливками (фр.).

² Телячья печенка (фр.).

домами, и можно пойти туда или повернуть налево и идти по набережной, пока остров Сен-Луи не останется позади и вы не окажетесь напротив Нотр-Дам и острова Ситэ.

У книготорговцев на набережной иногда можно было почти даром купить только что вышедшие дешевые американские книги. Над рестораном «Серебряная башня» в те времена сдавалось несколько комнат, и те, кто их снимал, получали в ресторане скидку; а если они оставляли какие-нибудь книги, *valet de chambre*¹ сбывал их букинистке на набережной, и вы могли купить их у нее за несколько франков. Она не питала доверия к книгам на английском языке, платила за них гроши и старалась поскорее их продать с любой, даже самой небольшой прибылью.

— А есть среди них хорошие? — как-то спросила она меня, когда мы подружились.

— Иногда попадают.

— А как это узнать?

— Я узнаю, когда читаю.

— Все-таки это дело рискованное. Да и так ли уж много людей читает по-английски?

— Ну, тогда откладывайте их и показывайте мне.

— Нет, откладывать их я не могу. Вы ведь не каждый день ходите этим путем. Иногда вас подолгу не видно. Нет, я должна продавать их, как только представится случай. Ведь они все-таки чего-то стоят. Если бы они ничего не стоили, мне бы ни за что их не продать.

— А как вы определяете ценную французскую книгу?

— Ну, прежде всего проверяю, есть ли в ней иллюстрации. Затем смотрю на качество иллюстраций. Большое значение имеет и переплет. Если книга хорошая, владелец обязательно переплетет ее как следует. Английские книги тоже в переплетах, но в плохих. О таких книгах очень трудно судить.

От этого лотка около «Серебряной башни» и до набережной Великих Августинцев букинисты не торговали английскими и американскими книгами. Зато дальше, включая набережную Вольтера, было несколько букинистов, торговавших книгами, купленными у служащих отелей с левого берега Сены, в частности отеля «Вольтер», где, как правило, останавливались богатые люди. Как-то я спросил у другой букинистки — тоже моей хорошей при-

¹ Коридорный (фр.).

дательницы,— случилось ли ей покупать книги у самих владельцев?

— Нет,— ответила она.— Это все брошенные книги. Потому-то они ничего и не стоят.

— Их дарят друзьям, чтобы они не скучали на пароходе.

— Возможно,— сказала она.— Наверно, их немало остается на пароходах.

— Да,— сказал я.— Команда их не выбрасывает, книги отдают в переплет и составляют из них судовые библиотечки.

— Это очень разумно,— ответила она.— Во всяком случае, это книги в хороших переплетах. А такая книга уже имеет ценность.

Я отправлялся гулять по набережным, когда кончал писать или когда мне нужно было подумать. Мне легче думать, когда я гулял, или был чем-то занят, или наблюдал, как другие занимаются делом, в котором знают толк. Нижний конец острова Ситэ переходит у Нового моста, где стоит статуя Генриха IV, в узкую стрелку, похожую на острый нос корабля, и там у самой воды разбит небольшой парк с чудесными каштанами, огромными и развесистыми, а быстрины и глубокие заводи, которые образует здесь Сепа, представляют собой превосходные места для рыбной ловли. По лестнице можно спуститься в парк и наблюдать за рыболовами, которые устроились здесь и под большим мостом. Рыбные места менялись в зависимости от уровня воды в реке, и рыболовы пользовались складными бамбуковыми удочками, но с очень тонкой леской, легкой снастью и поплавками из гусиных перьев; они искусно подкармливали рыбу в том месте, где ловили. Им всегда удавалось что-нибудь поймать, и часто на крючок попадалась отличная, похожая на плотву рыба, которую называют goujon. Зажаренная целиком, она просто объедение, и я мог съесть полную тарелку. Мясо ее очень нежно и на вкус приятнее даже свежих сардин и совсем не отдает жиром, и мы съедали рыбу прямо с костями.

Лучше всего ее готовили в открытом речном ресторанчике в Нижнем Медоне, куда мы обычно ездили проветриться, когда у нас бывали деньги. Он назывался «Чудесная рыбалка», и в нем подавали отличное белое вино типа мюскаде. Здесь все было как в рассказах Мопассана, а вид на реку точно такой, как на картинах Сислея. Конечно,

но, чтобы поестъ *goujon*, не нужно было ездить так далеко. На острове Сен-Луи готовили отличную *friture*¹.

Я знал кое-кого из тех, кто удил в самых рыбных местах Сены, между островом Сен-Луи и стрелкой Верт-Галан, и иногда, в ясные дни, я покупал литр вина, хлеб и колбасу, садился на солнышке, читал только что купленную книгу и наблюдал за рыбной ловлей.

Авторы путевых очерков любят изображать парижских рыболовов так, словно это одержимые, у которых рыба никогда не клюет, но на самом деле это занятие вполне серьезное и даже выгодное. Большинство рыболовов жило на скромную пенсию, еще не подозревая, что инфляция превратит ее в ничто, но были и заядлые любители, проводившие на реке все свободное время. В Шарантоне, где в Сену впадает Марна, и за городом рыбалка была лучше, но и в самом Париже можно было неплохо порыбачить. Сам я не удил, потому что у меня не было снасти, и я предпочитал откладывать деньги, чтобы поехать удить рыбу в Испанию. Кроме того, я сам точно не знал, когда закончу работу или когда буду в отъезде, и поэтому не хотел связывать себя рыбной ловлей, занимать которой можно только в определенные часы. Но я внимательно следил за рыболовами, и мне всегда было приятно сознавать, что я разбираюсь во всех тонкостях, а мысль о том, что даже в этом большом городе люди удят рыбу не для забавы и улов приносят домой для *friture*, доставляла мне радость.

Рыболовы и оживленная река, красавицы баржи с их особой жизнью на борту, буксиры с трубами, которые откидывались, чтобы не задеть мосты, и тянущаяся за буксиром вереница барж, величественные вязы на одетых в камень берегах, платаны и кое-где тополя,— я никогда не чувствовал себя одиноким у реки. Когда в городе так много деревьев, кажется, что весна вот-вот придет, что в одно прекрасное утро ее неожиданно принесет теплый ночной ветер. Иногда холодные проливные дожди заставляли ее отступить, и казалось, что она никогда не вернется и что из твоей жизни выпадает целое время года. Это были единственные по-настоящему тоскливые дни в Париже, потому что все в такие дни казалось фальшивым. Осенью с тоской миришься. Каждый год в тебе что-то умирает, когда с деревьев опадают листья, а голые ветки беззащит-

¹ Жареная рыба (*фр.*).

по качаются на ветру в холодном зимнем свете. Но ты знаешь, что весна обязательно придет, так же как ты уверен, что замерзшая река снова освободится ото льда. Но когда холодные дожди льют не переставая и убивают весну, кажется, будто ни за что загублена молодая жизнь.

Впрочем, в ту пору весна в конце концов всегда наступала, но было страшно, что она могла и не прийти.

ОБМАННАЯ ВЕСНА

Когда наступала весна, пусть даже обманная, не было других забот, кроме одной: найти место, где тебе будет лучше всего. Единственное, что могло испортить день,— это люди, но если удавалось избежать приглашений, день становился безграничным. Люди всегда ограничивали счастье — за исключением очень немногих, которые несли ту же радость, что и сама весна.

Весной я обычно работал рано утром, когда жена еще спала. Окна были распахнуты настежь, и булыжник мостовой просыхал после дождя. Солнце высушивало мокрые лица домов напротив моего окна. В магазинах еще не открывали ставни. Пастух гнал по улице стадо коз, играя на дудке, и женщины, которая жила над нами, выпла на тротуар с большим кувшином. Пастух выбрал черную козу с набухшим выменем и подоил ее прямо в кувшин, а его собака тем временем загнала остальных коз на тротуар. Козы глазели по сторонам и вертели головами, как туристы. Пастух взял у женщины деньги, поблагодарил ее и пошел дальше, наигрывая на своей дудке, а собака погнала коз, и они затрусили по мостовой, встряхивая рогами.

Я снова принялся писать, а женщина с молоком подвнялась по лестнице. Она была в шлепанцах на войлочной подошве, и я слышал только ее тяжелое дыхание, когда она остановилась отдохнуть на нашей площадке, а потом стук закрывшейся за нею двери. В нашем доме, кроме нее, никто не пил козьего молока.

Я решил выйти на улицу и купить утреннюю программу скачек. Даже в самом бедном квартале можно было найти, по крайней мере, один экземпляр, но в такой день программу следовало купить пораньше. Я нашел ее на углу улицы Декарта и площади Контрэскарп. Козы спустились по улице Декарта, а я глубоко вдохнул утренний воздух и быстро зашагал обратно, чтобы поскорее под-

няться к себе и закончить работу. Я чуть не поддался соблазну и не пошел вслед за козами по утренней улице, вместо того чтобы вернуться домой. Однако прежде чем начать писать, я заглянул в программу. В этот день скачки проводились в Энгине на небольшом, симпатичном и жуликоватом ипподроме — пристанище аутсайдеров¹.

Значит, когда я кончу работать, мы отправимся на скачки. Торонтская газета, куда я писал, прислала небольшой гонорар, и мы решили сделать крупную ставку, чтобы выиграть приличную сумму. Моя жена как-то поставила в Отейле на лошадь по кличке Золотая Коза, за нее выдавали сто двадцать к одному, и она уже вела на двадцать корпусов, но упала на последнем препятствии, безвозвратно лишив нас сбережений, которых хватило бы нам на полгода. Мы старались не вспоминать об этом. В тот год мы все время выигрывали до этого случая с Золотой Козой.

— А у нас есть деньги, чтобы по-настоящему играть, Тэти? — спросила жена.

— Нет. Надо будет рассчитать и потратить столько, сколько возьмем с собой. Но, может быть, ты хочешь истратить их на что-то другое?

— Как тебе сказать, — ответила она.

— Понимаю. Все это время нам очень трудно жилось, и я был скаредом.

— Нет, — сказала она, — но...

Я знал, как я был строг в расходах и как плохо все складывалось. Того, кто работает и получает удовлетворение от работы, нужда не огорчает. Ваньные, души и теплые уборные я считал удобствами, которые существуют для людей во всех отношениях ниже нас, нам же они доставляли удовольствие во время путешествий, а путешествовали мы часто. А так — в конце улицы у реки были бани. Моя жена никогда не жаловалась на все это, как и не плакала из-за того, что Золотая Коза упала. Помню, она заплакала, потому что ей стало жаль лошадь, но не деньги. Я вел себя глупо, когда ей понадобился серый цигейковый жакет, но, когда она купила его, он мне очень понравился. Я вел себя глупо и в других случаях. Но все это было следствием борьбы с бедностью, которую можно победить, только если не тратить денег. И особенно когда

¹ Аутсайдер — скаковая или беговая лошадь, не являющаяся фаворитом.

покупаешь картины вместо одежды. Но дело в том, что мы вовсе не считали себя бедными. Мы просто не желали мириться с этой мыслью. Мы причисляли себя к избранным, а те, на кого мы смотрели сверху вниз и кому с полным основанием не доверяли, были богатыми. Мне казалось вполне естественным носить для тепла свитер вместо нижней рубашки. Станным это казалось только богатым. Мы хорошо и недорого ели, хорошо и недорого пили и хорошо спали, и нам было тепло вместе, и мы любили друг друга.

— По-моему, нам следует поехать,— сказала жепка.— Мы так давно не были на скачках. Возьмем с собой чего-нибудь поесть и немного вина. Я сделаю хорошие бутерброды.

— Мы поедем поездом, и, кстати, это дешевле. Но если ты считаешь, что нам не следует этого делать, то давай не поедем. Что бы мы сегодня ни решили, все хорошо. Сегодня чудесный день.

— По-моему, надо поехать.

— А может быть, тебе приятней будет истратить деньги на что-нибудь еще?

— Нет,— ответила она высокомерно. Ее высокие скулы были точно созданы для высокомерия.— Кто мы такие, в конце концов?

Мы сели в поезд на Северном вокзале, проехали через самую грязную и унылую часть города и от платформы пешком добрались до зеленого ипподрома. Было еще рано, мы расстелили мой дождевик на только что подстриженной траве, сели и позавтракали,— мы пили вино прямо из бутылки и смотрели на старые трибуны, на коричневые деревянные будки тотализатора, на зеленую траву ипподрома, темно-зеленые барьеры и коричневый блеск воды в канавах, на выбеленные каменные стенки и белые столбы и перила, на паддок под зазеленевшими деревьями и на первых лошадей, которых туда выводили. Мы выпили еще немного вина и внимательно изучили программу скачек, и моя жепка прилегла на дождевик вздремнуть, подставив лицо солнцу. Я отошел к трибунам и вскоре встретил человека, которого знал еще в Милане. Он подсказал мне двух лошадей.

— Они, конечно, не золотое дно. Но не пугайтесь ставок.

На первую из них мы поставили половину денег, которые собирались истратить, и она принесла нам выигрыш

двенадцать к одному, великолепно взяв препятствия, обогнав остальных на последней прямой и финишировав на четыре корпуса впереди всех. Мы отложили половину выигрыша, а другую половину поставили на вторую лошадь, которая сразу вырвалась вперед, вела скачку на всех препятствиях, а на прямой чуть было не проиграла — фаворит настигал ее с каждым скачком, и хлысты обоих жокеев работали вовсю.

Мы пошли выпить по бокалу шампанского в баре под трибунами и подождать, пока будет объявлена выплата.

— Все-таки скачки страшно выматывают, — сказала моя жена. — Ты видел, как та лошадь чуть не пришла первой?

— У меня до сих пор все внутри дрожит.

— Сколько будут платить?

— Котировка была восемнадцать к одному. Но, возможно, в последнюю минуту на нее сделали много ставок.

Мимо провели лошадей, наша была вся в мыле, ее ноздри широко раздувались, и жокей оглаживал ее.

— Бедняжка, — сказала жена. — А мы-то ведь только ставим деньги.

Мы смотрели, пока лошади не прошли, и выпили еще по бокалу шампанского, и тут объявили выплату: восемьдесят пять. Это означало, что за эту лошадь платили по восемьдесят пять франков за десятифранковый билет.

— Должно быть, под конец на нее очень много поставили, — сказал я.

Но мы выиграли большие деньги, больше для нас, и теперь у нас была весна и еще деньги. И я подумал, что ничего другого нам не нужно. Такой день, даже если разделить каждому из нас на расходы по четверти выигрыша, позволял отложить еще половину в фонд для скачек. Фонд для скачек я хранил в секрете и отдельно от всех других денег.

Как-то в том году, когда мы вернулись из одного нашего путешествия и нам снова повезло на скачках, мы по пути домой зашли к Прюнье, чтобы посидеть в баре, предварительно ознакомившись со всеми чудесами витрины, снабженными четкими ярлычками с ценой. Мы заказали устриц и *crabe mexicaine*¹ и запили их несколькими рюмками сансерра. Обратно мы шли в темноте через Тюильри и остановились посмотреть сквозь арку Карусель на сады,

¹ Крабы по-мексикански (*фр.*).

за чопорной темнотой которых светилась площадь Соглашения и к Триумфальной арке поднималась длинная цепочка огней. Потом мы оглянулись на темное пятно Лувра, и я сказал:

— Ты в самом деле думаешь, что все три арки расположены на одной прямой? Эти две и Сермионская арка в Милане?

— Не знаю, Тэти. Говорят, что так, и, наверно, не зря. Ты помнишь, как мы карабкались по снегу, а на итальянской стороне Сен-Бернара сразу попали в весну, и потом ты, Чинк и я весь день спускались через весну к Аосте?

— Чинк назвал эту вылазку: «В туфлях через Сен-Бернар». Помнишь свои туфли?

— Мои бедные туфли! А помнишь, как мы ели фруктовый салат из персиков и земляники в высоких стеклянных бокалах со льдом у Биффи в Galleria и пили капри?

— Тогда-то я и вспомнил снова про три арки.

— Я помню Сермионскую арку. Она похожа на эту.

— А помнишь кабачок в Эгле, где вы с Чинком весь день читали в саду, пока я удил?

— Помню, Тэти.

Я вспомнил Рону, узкую, серую, вздувшуюся от талой воды, и два канала, где водилась форель, — Стокальпер и Ронский канал. Стокальпер был уже совсем прозрачен в тот день, но в Ронском канале вода все еще была мутной.

— А помнишь, как цвели копские каштаны и я старался вспомнить историю про глицинию, которую мне рассказал, кажется, Джим Гэмбл, и никак не мог?

— Помню, Тэти. И вы с Чинком все время говорили о том, как добиваться правды, когда пишешь, и правильно изображать, а не описывать. Я помню все. Иногда был прав он, а иногда ты. Я помню, как вы спорили об освещении, фактуре и форме.

К этому времени мы вышли из ворот Лувра, перешли улицу и, остановившись на мосту, облокотились о парапет и стали глядеть на реку.

— Мы все трое спорили обо всем на свете и всегда о каких-то очень конкретных вещах и подшучивали друг над другом. Я помню все, что мы делали, и все, что говорили во время того путешествия, — сказала Хэдли. — Правда. Все-все. Когда вы с Чинком разговаривали, я не оставалась в стороне. Не то что у мисс Стайн, где я всего лишь жена.

— Жаль, что я не могу вспомнить эту историю про глицинию.

— Это не важно. Важна была сама глициния, Тэти.

— Помнишь, я принес бутылку вина из Эгля к нам в шале? Нам продали его в гостинице. И сказали, что оно хорошо к форели. Кажется, мы завернули бутылку в «Газетт де Люцерн».

— Сионское было еще лучше. Помнишь, как госпожа Гангесвиш приготовила голубую форель, когда мы вернулись в шале? Какая это была вкусная форель, Тэти, и мы пили сионское вино, и обедали на веранде над самым обрывом, и смотрели на озеро, и на Дан-дю-Миди, наполовину одетую снегом, и на деревья в устье Роны, где она впадает в озеро.

— Зимой и весной пам всегда не хватает Чинка.

— Всегда. И сейчас, когда все позади, мне его не хватает.

Чинк был кадровым военным и из Сандхерста попал прямо под Монс. Я познакомился с ним в Италии, и он долгое время был сначала моим, а потом нашим с Хэдли лучшим другом. В ту пору он проводил с нами свои отпуска.

— Он постарается получить отпуск весной. Он писал об этом на прошлой неделе из Кельна.

— Знаю. Но пока надо жить сегодняшним днем и использовать каждую минуту.

— Мы стоим и смотрим, как бурлит вода у опор моста. А что, если поглядеть вверх по реке — что там?

Мы посмотрели и увидели все: нашу реку, и наш город, и остров нашего города.

— Слишком мы с тобой везучие,— сказала она.— Я надеюсь, что Чинк придет. Он всегда о нас заботится.

— Сам-то он этого не думает.

— Конечно.

— Он думает, что мы вместе ищем.

— Так оно и есть. Но все зависит от того, что искать. Мы перешли мост и оказались на нашем берегу.

— Ты не проголодалась? — спросил я.— А то мы все ходим и разговариваем.

— Еще как, Тэти. А ты?

— Пойдем в какой-нибудь хороший ресторан и пообедаем по-королевски.

— Куда?

— Может, к Мишо?

— Прекрасно, и это совсем близко.

И мы пошли вверх по улице Святых Отцов, дошли до угла улицы Жакоб, останавливаясь и разглядывая выставленные в витринах картины и мебель. У входа в ресторан Мишо мы ознакомились с меню, вывешенным на двери. У Мишо не было свободных мест, и нам пришлось подождать, пока кто-нибудь уйдет, и мы следили за теми столиками, где уже допивали кофе.

Мы еще больше проголодались от ходьбы, а ресторан Мишо был для нас очень заманчивым и дорогим. Там обедал Джойс с семьей: он и его жена сидели у стены, и Джойс через толстые стекла очков изучал меню, держа его на уровне глаз; рядом с ним — Нора, она ела мало, но с аппетитом, напротив — Джорджио, худой, щеголеватый, с гладко прилизанным затылком, и Лючия, почти еще девочка, с тяжелой копной курчавых волос; вся семья говорила по-итальянски.

Пока мы стояли, я думал, можно ли назвать просто голодом то ощущение, которое мы испытали там, на мосту. Я задал этот вопрос жене, и она сказала:

— Не знаю, Тэти. Есть так много разновидностей голода. Весной их еще больше. Но теперь это уже позади. Воспоминания — тоже голод.

Я не все понял из ее слов; глядя в окно ресторана на официанта с двумя *tournedos*¹ на тарелке, я обнаружил, что меня мучит самый обычный голод.

— Ты сказала, что нам сегодня везет. Нам действительно повезло. Но ведь нам подсказали, на кого ставить.

Она засмеялась.

— Я не скачки имела в виду. Ты все понимаешь буквально. Я сказала «везучие» в другом смысле.

— Чинка, по-моему, скачки не интересуют, — сказал я, снова проявляя непонимание.

— Да. Они интересовали бы его лишь в том случае, если бы он сам принимал в них участие.

— Ты не хочешь больше ходить на скачки?

— Хочу. И теперь мы сможем ходить на них когда вздумается.

— Нет, правда хочешь?

— Конечно. Ты ведь тоже хочешь, да?

Попав наконец к Мишо, мы прекрасно пообедали, но когда мы поели и о еде уже не думали, чувство, которое

¹ Говяжье филе, завернутое наподобие рулета (фр.).

на мосту мы приняты за голод, не исчезло и жило в нас, пока мы ехали на автобусе домой. Оно не исчезло, когда мы вошли в комнату и легли в постель, и когда мы любили друг друга в темноте, оно тоже не исчезло. И когда я проснулся и увидел в открытые окна лунный свет на крышах высоких домов, оно тоже не исчезло. Я отодвинулся, чтобы луна не светила мне в лицо, но заснуть уже не мог и лежал с открытыми глазами и думал об этом. Мы оба дважды просыпались за ночь, и теперь жена крепко спала, и на лицо ее падал свет луны. А я все думал об одном и том же и по-прежнему ничего не мог понять. А еще утром я видел обманную весну, и слышал дудку пастуха, гнавшего коз, и ходил за утренней программой скачек, и жизнь казалась такой простой.

Но Париж очень старый город, а мы были молоды, и все там было не просто — и бедность, и неожиданное богатство, и лунный свет, и справедливость или зло, и дыхание той, что лежала рядом с тобой в лунном свете.

КОНЕЦ ОДНОГО УВЛЕЧЕНИЯ

В этом году и на протяжении еще нескольких лет мы много раз бывали вместе на скачках, после того как и кончал утреннюю работу, и Хэдли это правилось, а иногда даже захватывало ее. Но это было совсем не то, что взбираться к высокогорным лугам, лежащим за поясом лесов, или возвращаться поздним вечером в шале, или отправляться с Чинком, нашим лучшим другом, через перевал в еще неведомые места. И интересовали нас не сами скачки, а возможность играть. Но мы называли это увлечением скачками.

Скачки никогда не разделяли нас — на это были способны только люди; но долгое время они были нашим близким и требовательным другом. Во всяком случае, так приятнее было думать. И я, праведно негодовавший на людей за их способность все разрушать, был снисходителен к этому другу — самому лживому, самому прекрасному, самому влекущему, порочному и требовательному, — потому что из него можно было извлекать выгоду. Для того чтобы скачки стали источником дохода, нужно было отдавать им все время, а его у меня не было. Но я оправдывал свое увлечение тем, что писал о нем, хотя в конце концов все, что я писал, пропало и из рассказов о скач-

ках уцелел всего один, потому что он путешествовал тогда по почте.

Потом я стал чаще ходить на скачки одип, и они меня все больше увлекали и затягивали. Как только представлялась возможность, я ездил на оба ипподрома — в Отейль и Энгиен. Для того чтобы ставить более или менее наверняка, надо было посвящать скачкам все время, но так жить было невозможно. Расчеты на бумаге оставались расчетами на бумаге. И результаты их можно было узнать из любой газеты.

В Отейле лучше всего было наблюдать стиплчез с верхних трибун, и приходилось взлетать по ступенькам, чтобы успеть увидеть, как идет каждая лошадь, и заметить лошадь, которая могла бы выиграть, но не выиграла, и понять, почему и как это произошло. Надо было следить за ставками и за всеми изменениями котировки каждый раз, когда бежала лошадь, которую ты изучал. И надо было правильно оценить, как она работает, чтобы угадать момент, когда на нее поставят знатоки. И в этом случае она тоже могла проиграть, но ты уже знал, каковы ее шансы. Это было трудной задачей, но как чудесно было изо дня в день смотреть скачки в Отейле, когда удавалось вырваться туда и присутствовать при честном соревновании великолепных лошадей. К этому времени ты уже знал ипподром как свои пять пальцев. В конце концов ты приобретал там массу знакомых: жокеев, и тренеров, и владельцев лошадей — и узнавал многих лошадей, и проникал в тайну многих других вещей.

Как правило, я ставил только на лошадь, которую знал, но иногда я открывал лошадей, в которых никто не верил, кроме тренеров и жокеев, и которые выигрывали заезд за заездом, а я ставил на них. В конце концов я перестал ходить на скачки, потому что они отнимали слишком много времени и затягивали меня, а кроме того, я знал слишком много о том, что происходило в Энгиене и на других ипподромах, где устраивали гладкие скачки.

Я был рад, что перестал играть на скачках, но испытывал какую-то пустоту. В то время я уже знал, что, когда что-то кончается в жизни, будь то плохое или хорошее, остается пустота. Но пустота, оставшаяся после плохого, заполняется сама собой. Пустоту же после чего-то хорошего можно заполнить, только отыскав что-то лучшее. Я вложил деньги, предназначавшиеся для скачек, в общий фонд, и мне стало легко и хорошо.

В тот день, когда я бросил скачки, я отправился на другой берег Сены, в отделение компании «Гаранти траст», которая в то время помещалась на углу Итальянской улицы и Итальянского бульвара, и встретил своего приятеля Майка Уорда. Я пришел туда положить в банк деньги, предназначавшиеся для скачек, но никому об этом не сказал. Я не занес их в чековую книжку, а просто запомнил сумму.

— Пойдем пообедаем? — предложил я Майку.

— Пошли, малыш. Я не прочь. Что случилось? Разве ты не едешь на ипподром?

— Нет.

На площади Лувуа мы пообедали в очень хорошем простом бистро, где нам подали чудесное белое вино. Напротив через площадь была Национальная библиотека.

— Ты ведь не часто бываешь на скачках, Майк? — спросил я.

— Нет. Я уже давно не был на ипподроме.

— А почему?

— Не знаю, — ответил Майк. — Впрочем, знаю. Если зрелище захватывает тебя только из-за денег, значит, на него не стоит смотреть.

— И ты больше не ходишь на ипподром?

— Иногда хожу. На большие скачки с самыми лучшими лошадьми.

Мы намазали паштет на вкусный хлеб, который подавали в бистро, и запили белым вином.

— Но прежде ты ведь увлекался скачками, Майк?

— Да, конечно.

— А что ты нашел взамен?

— Велогонки.

— Да пу?

— Там не обязательно играть. Вот увидишь.

— Скачки отнимают много времени.

— Слишком много времени. Они отнимают все время. И публика мне там не нравится.

— Я очень увлекался.

— Знаю. Ты не прогорел?

— Нет.

— Самое время бросить, — сказал Майк.

— А я и бросил.

— Это нелегко. Послушай, малыш, пойдем как-нибудь на велогонки.

Велогонки были прекрасной новинкой, почти мне неизвестной. Но мы увлеклись ими не сразу. Это произошло позже. Им суждено было сыграть большую роль в нашей жизни в ту пору, когда первый парижский период пришел к концу.

Но долгое время нам было хорошо жить в нашей части Парижа, далеко от ипподрома, и делать ставку на самих себя и свою работу и на художников, которых мы знали, вместо того чтобы зарабатывать на жизнь игрой и называть это по-другому. Я начинал много рассказов о велогонках, но так и не написал ни одного, который мог бы сравниться с самими гонками на закрытых и открытых треках или на шоссе. Но я все-таки покажу Зимний велодром в дымке уходящего дня, и крутой деревянный трек, и шуршание шин по дереву, и напряжение гонщиков, и их приемы, когда они взлетают вверх и устремляются вниз, слившись со своими машинами; покажу все волшебство *demifond*:¹ ревущие мотоциклы с роликами позади и *entraîneurs*² в тяжелых защитных шлемах и кожаных куртках, которыми они загораживают от встречного потока воздуха велогонщиков в легких шлемах, пригнувших к рулю и бежено крутящих педали, чтобы переднее колесо не отставало от ролика позади мотоцикла, рассекающего для них воздух, и треск моторов, и захватывающие дух поединки между гонщиками, летящими локоть к локтю, колесо к колесу, вверх-вниз и все время вперед на смертоносных скоростях до тех пор, пока кто-нибудь один, потеряв темп, не отстанет от лидера и не ударится о жесткую стену воздуха, от которого он до сих пор был огражден.

Разновидностей велогопок было очень много. Обычный спринт с раздельным стартом или матчевые гонки, когда два гонщика долгие секунды балансируют на своих машинах, чтобы заставить соперника вести, потом несколько медленных кругов и, наконец, резкий бросок в захватывающую чистоту скорости. Кроме того, двухчасовые командные гонки с несколькими спринтерскими заездами для заполнения времени; одиночные состязания на абсолютную скорость, когда гонщик в течение часа соревнуется со стрелкой секундомера; очень опасные, но очень красивые гонки на сто километров за тяжелыми мотоциклами по крутому деревянному треку пятисометровой

¹ Гонка за лидером (*фр.*).

² Лидеры (*фр.*).

Чаши «Буффало» — открытого стадиона в Монруже; знаменитый бельгийский чемпион Линар, которого из-за профиля прозвали Сиу;¹ к концу гонки он увеличивал и без того страшную скорость, пригибал голову и сосал коньяк из резиновой трубки, соединенной с грелкой у него под майкой, и чемпионаты Франции по гонкам за лидером на бетонном треке в шестьсот шестьдесят метров длиной в парке возле Отейля, — самом коварном треке, где на наших глазах разбился великий Ганэ и мы слышали хруст черепа под его защитным шлемом, точно на пикнике кто-то разбил о камень крутое яйцо. Я должен описать необыкновенный мир шестидневных велогонок и удивительные посейские гонки в горах. Один лишь французский язык способен выразить все это, потому что термины все французские. Вот почему так трудно об этом писать. Майк был прав. Велогонки хороши потому, что там не обязательно играть. Но все это относится уже к другому периоду моей жизни в Париже.

НА ВЫУЧКЕ У ГОЛОДА

Когда в Париже живешь впроголодь, есть хочется особенно сильно, потому что в витринах всех булочных выставлены всевозможные вкусные вещи, а люди едят за столиками прямо на тротуаре, и ты видишь еду и вдыхаешь ее запах. Если ты бросил журналистику и пишешь вещи, которые в Америке никто не купит, а своим домашним сказал, что приглашен кем-то на обед, то лучше всего пойти в Люксембургский сад, где на всем пути от площади Обсерватории до улицы Вожирар тебя не смутит ни вид, ни запах съестного. И можно зайти в Люксембургский музей, где картины становятся яснее, проникновеннее и прекраснее, когда сосет под ложечкой и живот подвело от голода. Пока я голодал, я научился гораздо лучше понимать Сезанна и по-настоящему постиг, как он создавал свои пейзажи. Я часто спрашивал себя, не голодал ли и он, когда работал. Но решил, что он, наверно, просто забывал поест. Такие не слишком здравые мысли-открытия приходят в голову от бессонницы или недоедания. Позднее я решил, что Сезанн все-таки испытывал голод, но другой.

Из Люксембургского сада можно пройти по узкой ули-

¹ С и у — одно из индейских племен.

це Феру к площади Сен-Сюльпис, где тоже нет ни одного ресторана, а только тихий сквер со скамьями и деревьями. И фонтан со львами, а по мостовой бродят голуби и усаживаются на статуи епископов. На северной стороне площади — церковь и лавки, торгующие разной церковной утварью.

Если отправиться отсюда дальше, к реке, то не минувшь булочных, кондитерских и лавок, торгующих фруктами, овощами и вином. Однако, тщательно обдумав, какой дорогой идти, можно повернуть направо, обойти вокруг серо-белой церкви и выйти на улицу Одеон, а там еще раз повернуть направо, к книжной лавке Сильвии Бич — на этом пути не так уж много заведений, торгующих едой. На улице Одеон нет ни кафе, ни закусочных до самой площади, где три ресторана.

Пока доберешься до дома двенадцать по улице Одеон, голод уже притухнет, зато восприятие снова обостряется. Фотографии кажутся другими, и ты видишь книги, которых прежде никогда не замечал.

— Вы что-то похудели, Хемингуэй,— сказала Сильвия.— Вы хорошо питаетесь?

— Конечно.

— Что вы ели на обед?

Меня мучило от голода, но я ответил:

— Я как раз иду домой обедать.

— В три-то часа?

— Я не заметил, что так поздно.

— На днях Адриенна сказала, что хочет пригласить вас с Хэдли на ужин. Мы бы позвали Фарга. Вам он, кажется, симпатичен? Или Ларбо. Он вам, бесспорно, нравится. Я знаю, что нравится. Или еще кого-нибудь, кто вам по-настоящему по душе. Поговорите с Хэдли, хорошо?

— Я уверен, она с удовольствием пойдет.

— Я пошлю ей рпси¹. И не работайте так много, раз вы едите кос-как.

— Не буду.

— Ну, идите домой, а то опоздаете к обеду.

— Ничего, мне оставят.

— Только не ешьте ничего холодного. Хороший горячий обед — вот что вам нужно.

— Мне есть письма?

— По-моему, нет. Впрочем, сейчас посмотрю.

¹ Письмо, посланное по пневматической почте (фр.).

Она посмотрела, нашла какой-то листок, весело мне улынулась и отперла ящик своей конторки.

— Письмо принесли в мое отсутствие, — сказала она.

Я взял конверт — на ощупь в нем были деньги.

— От Веддеркопа, — сказала Сильвия.

— Должно быть, из журнала «Квершнитт». Вы виделись с Веддеркопом?

— Нет. Но он заходил сюда с Джорджем. Он повидается с вами, не беспокойтесь. Наверно, он хотел сначала заплатить вам.

— Здесь шестьсот франков. Он пишет, что это еще не все.

— Как хорошо, что вы спросили меня про письма. До чего же он милый, этот мистер Очень Приятно!

— Чертовски забавно, что мои вещи покупают только в Германии. Он да еще «Франкфуртер цейтунг».

— Правда, забавно. Но не стоит огорчаться. Можете продать свои рассказы Форду, — поддразнила она меня.

— По тридцать франков за страницу. Скажем, по рассказу раз в три месяца в «Трансатлантик». Значит, за рассказ в пять страниц — сто пятьдесят франков в квартал, иначе говоря, шестьсот франков в год.

— Слушайте, Хемингуэй, не думайте о том, сколько вам за них сейчас платят. Важно то, что вы можете их писать.

— Знаю. Я могу писать рассказы. Но ведь их никто не берет. С тех пор как я бросил журналистику, я ничего не зарабатываю.

— Не огорчайтесь, их еще купят. Смотрите, за один вы ведь уже получили.

— Извините, Сильвия. Простите, что я заговорил об этом.

— За что же извиняться? Говорите сколько угодно и об этом, и о чем хотите. Разве вы не знаете, что писатели только и говорят что о своих бедах? Но обещайте мне, что перестанете волноваться и будете питаться как следует.

— Обещаю.

— Тогда отправляйтесь домой обедать.

Выйдя из лавки на улицу Одеон, я почувствовал отвращение к себе за эти жалобы. Всему виной моя собственная глупость. Надо было купить большой ломоть хлеба и съесть его, вместо того чтобы ходить голодным. Я даже почувствовал вкус румяной, хрустящей корочки. Но ее надо чем-то запить. «Ах ты чертов нытик, вздумал

корчить из себя святого мученика! — сказал я себе. — Ты бросил журналистику по доброй воле. У тебя есть кредит, и Сильвия всегда одолжила бы тебе денег. Так уже не раз бывало. Тут и сомневаться нечего. Но ты все стараешься найти себе оправдание. Голод полезен для здоровья, и картины действительно смотрятся лучше на пустой желудок. Но еда тоже чудесная штука, и знаешь ли ты, где будешь сейчас обедать?

У Липпа — вот где ты будешь есть. И пить тоже».

До Липпа было недалеко, и все те места на пути к нему, которые мой желудок замечал так же быстро, как глаза или нос, теперь делали этот путь особенно приятным. В *brasserie*¹ было пусто, и, когда я сел за столик у стены, спиной к зеркалу, и официант спросил, подать ли мне пива, я заказал *distingué* — большую стеклянную литровую кружку — и картофельный салат.

Пиво оказалось очень холодным, и пить его было необыкновенно приятно. Картофельный салат был хорошо приготовлен и приправлен уксусом и красным перцем, а оливковое масло было превосходным. Я посыпал салат черным перцем и обмакнул хлеб в оливковое масло. После первого жадного глотка пива я стал есть и пить не торопясь. Когда с салатом было покончено, я заказал еще порцию, а также *servelas* — большую толстую сосиску, разрезанную вдоль на две части и политую особым горчичным соусом.

Я собрал хлебом все масло и весь соус и медленно потягивал пиво, но оно уже не было таким холодным, и тогда, допив его, я заказал пол-литровую кружку и смотрел, как она наполнялась. Пиво показалось мне холоднее, чем прежде, и я выпил половину.

«Вовсе я не волнуюсь», — думал я. Я знал, что мои рассказы хороши и что рано или поздно кто-нибудь напечатает их и на родине. Отказываясь от газетной работы, я не сомневался, что рассказы будут опубликованы. Но один за другим они возвращались ко мне. Моя уверенность обяснялась тем, что Эдвард О'Брайен включил рассказ «Мой старик» в сборник «Лучшие рассказы года» и посвятил этот сборник мне. Я рассмеялся и отхлебнул из кружки пива. Этот рассказ не был напечатан ни в одном журнале, и О'Брайен поместил его в сборник вопреки всем своим правилам. Я снова рассмеялся, и официант взглянул на

¹ Пивной бар (*φρ.*).

меня. Смешно мне было потому, что при всём том мою фамилию он написал неправильно. Это был один из двух рассказов, оставшихся у меня после того, как все написанное мною было украдено у Хэдли на Лионском вокзале вместе с чемоданом, в котором она везла все мои рукописи в Лозанну, чтобы устроить мне сюрприз — дать возможность поработать над ними во время нашего отдыха в горах. Она уложила в папки оригиналы, машинописные экземпляры и все копии. Рассказ, о котором идет речь, сохранился только потому, что Линкольн Стеффенс отправил его какому-то редактору, а тот отослал его обратно. Все остальные рассказы украли, а этот лежал на почте. Второй рассказ, «У нас в Мичигане», был написан до того, как у нас в доме побывала мисс Стайн. Я так и не перепечатал его на машинке, потому что она объявила его *inaccessibile*. Он завалялся в одном из ящиков стола.

И вот, когда мы уехали из Лозанны в Италию, я показал рассказ о скачках О'Брайену, мягкому, застенчивому человеку, бледному, со светло-голубыми глазами и прямыми волосами, которые он подстригал сам. Он жил тогда в монастыре в горах над Рапалло. Это было скверное время, я был убежден, что никогда больше не смогу писать, и показал ему рассказ как некую диковину: так можно в тупом оцепенении показывать компас с корабля, на котором ты когда-то плавал и который погиб каким-то непонятным образом, или подобрать собственную ногу в башмаке, ампутированную после катастрофы, и шутить по этому поводу. Но когда О'Брайен прочитал рассказ, я понял, что ему больно даже больше, чем мне. Прежде я думал, что такую боль может вызвать только смерть или какое-то невыносимое страдание; но когда Хэдли сообщила мне о пропаже всех моих рукописей, я понял, что ошибался. Сначала она только плакала и не решалась сказать. Я убеждал ее, что как бы ни было печально случившееся, оно не может быть таким уж страшным и, что бы это ни было, не надо расстраиваться, все уладится. Потом наконец она все рассказала. Я не мог поверить, что она захватила и все копии, подыскал человека, который временно взял на себя мои корреспондентские обязанности, сел на поезд и уехал в Париж, — я тогда неплохо зарабатывал журналистикой. То, что сказала Хэдли, оказалось правдой, и я хорошо помню, как провел ту ночь в нашей квартире, убедившись в этом. Но теперь все это было уже позади, а Чинк научил меня никогда не говорить о потерях; и я

сказал О'Брайену, чтобы он не принимал этого так близко к сердцу. Возможно, даже и лучше, что мои ранние рассказы пропали, и я утешал О'Брайена, как утешают солдат после боя. Я скоро снова начну писать рассказы, сказал я, прибегая ко лжи только ради того, чтобы утешить его, но тут же понял, что говорю правду.

И теперь, сидя у Липпа, я начал вспоминать, когда же я сумел написать свой первый рассказ после того, как потерял все. Это было в те дни, когда я вернулся в Кортинад-Ампеццо к Хэдли, после того как весной мне пришлось на время прервать катание на лыжах и съездить по заданию газеты в Рейнскую область и Рур. Это был очень незамысловатый рассказ «Не в сезон», и я опустил настоящий конец, заключающийся в том, что старик повесился. Я опустил его согласно своей новой теории: можно опускать что угодно, при условии, если ты знаешь, что опускаешь, — тогда это лишь укрепляет сюжет и читатель чувствует, что за написанным есть что-то, еще не раскрытое.

Ну что ж, подумал я, теперь я пишу рассказы, которых никто не понимает. Это совершенно ясно. И уж совершенно несомненно то, что на них нет спроса. Но их поймут — точно так, как это бывает с картинами. Нужно лишь время и вера в себя.

Когда приходится экономить на еде, надо держать себя в руках, чтобы не думать слишком много о голоде. Голод хорошо дисциплинирует и многому учит. И до тех пор, пока читатели не понимают этого, ты впереди них. «Еще бы, — подумал я, — сейчас я настолько впереди них, что даже не могу обедать каждый день. Было бы неплохо, если бы они немного сократили разрыв».

Я знал, что должен написать роман, но эта задача казалась непосильной, раз мне с трудом давались даже абзацы, которые были лишь выжимкой того, из чего делаются романы. Нужно попробовать писать более длинные рассказы, словно тренируясь к бегу на более длинную дистанцию. Когда я писал свой роман, тот, который украли с чемоданом на Лионском вокзале, я еще не утратил лирической легкости юности, такой же непрочной и обманчивой, как сама юность. Я понимал, что, быть может, и хорошо, что этот роман пропал, но понимал и другое: я должен написать новый. Но начну я его лишь тогда, когда уже не смогу больше откладывать. Будь я проклят, если напишу роман только ради того, чтобы обедать каждый

день! Я начну его, когда не смогу заниматься ничем другим и иного выбора у меня не будет. Пусть потребность становится все настоятельнее. А тем временем я напишу длинный рассказ о том, что знаю лучше всего.

К этому времени я уже расплатился, вышел и, повернув направо, пересек улицу Ренн, чтобы избежать искушения выпить кофе в «Де-Маго», и пошел по улице Бонапарта кратчайшим путем домой.

Что же из не написанного и не потерянного мною я знаю лучше всего? Что я знаю всего достовернее и что мне больше всего дорого? Мне нечего было выбирать. Я мог выбирать только улицы, которые быстрее привели бы меня к рабочему столу. По улице Бонапарта я дошел до улицы Гинемэ, потом до улицы Асса и зашагал дальше по Нотр-Дам-де-Шан к кафе «Клозери-де-Лила».

Я сел в углу — так, чтобы через мое плечо падали лучи вечернего солнца, и стал писать в блокноте. Официант принес мне *café-crème*, я подождал, пока он остыл, выпил полчашки и, отодвинув чашку, продолжал писать. Я копчил писать, но мне не хотелось расставаться с рекой, с форелью в заводи, со вздувающейся у свай водой. Это был рассказ о возвращении с войны, но война в нем не упоминалась.

Но ведь река и утром будет здесь, и я должен написать о ней, и об этом крае, и обо всем, что тут произойдет. И каждый день — много дней — я буду делать это. Все остальное ничего не значит. У меня в кармане деньги, которые я получил из Германии, и можно ни о чем не думать. Когда они кончатся, появятся какие-нибудь другие.

А сейчас нужно одно: сохранить ясность мысли до утра, когда я снова возьмусь за работу.

ФОРД МЭДОКС ФОРД И УЧЕНИК ДЬЯВОЛА

Когда мы жили над лесопилкой в доме сто тринадцать по улице Нотр-Дам-де-Шан, ближайшее хорошее кафе было «Клозери-де-Лила», — оно считалось одним из лучших в Париже. Зимой там было тепло, а весной и осенью круглые столики стояли в тени деревьев на той стороне, где возвышалась статуя маршала Нея; обычные же квадратные столы расставлялись под большими тентами вдоль тротуара, и сидеть там было очень приятно. Двое из официантов были нашими хорошими друзьями. Завсегдатаи

кафе «Купол» и «Ротонда» никогда не ходили в «Ли́ла». Они никого здесь не знали, и никто не стал бы их разглядывать, если бы они все-таки пришли. В те дни многие ходили в кафе на перекрестке бульваров Монпарнас и Распай, чтобы показаться на людях, и в какой-то мере эти кафе дарили такое же кратковременное бессмертие, как столбцы газетной хроники.

Когда-то в «Клозери-де-Ли́ла» более или менее регулярно собирались поэты, и последним известным из них был Поль Фор, которого я так никогда и не прочел. Однако единственный поэт, которого я там видел, был Блэз Сандрар с изувеченным лицом боксера и припшпиленным к плечу пустым рукавом — он сворачивал сигареты уцелевшей рукой и был хорошим собеседником, пока не напивался, и его вранье было намного интересней правдивых историй, рассказываемых другими. Он был единственным поэтом, ходившим тогда в «Ли́ла», но я видел его там всего раз. Большинство же посетителей были пожилые, бородатые люди в поношенных костюмах — они приходили со своими женами или любовницами, и у некоторых в петлице была узкая красная ленточка Почетного легиона, а у других ее не было. Мы великодушно считали их учеными — *savants*, и они сидели со своими аперитивами почти так же долго, как посетители в еще более потрепанных костюмах, которые со своими женами или любовницами пили *café-crème* и носили в петлицах лиловые академические розетки, не имевшие никакого отношения к Французской Академии и, как мы думали, означавшие, что это преподаватели или школьные надзиратели.

Эти посетители делали кафе очень уютным, так как они интересовались лишь друг другом, своими аперитивами и кофе, а также газетами и журналами, прикрепленными к деревянным палкам, и никто здесь не служил объектом обозрения.

В «Ли́ла» ходили и жители Латинского квартала, и у некоторых из них в петлицах были ленточки Военного креста, а у других были еще и желто-зеленые ленточки Военной медали, и я наблюдал за тем, как ловко они научились обходиться без потерятных конечностей, и оценивал качество их искусственных глаз и степень мастерства, с каким были восстановлены их лица. Серьезная пластическая операция придает коже почти радужный блеск — так поблескивает хорошо утрамбованная лыжня, и этих посетителей мы уважали больше, чем *savants* или

учителей, хотя последние вполне могли побывать на войне, но только избежали увечья.

В те дни мы не доверяли людям, которые не побывали на войне, а полностью мы вообще никому не доверяли, и многие считали, что Сандрар мог бы и поменьше демонстрировать отсутствие руки. Я был рад, что он зашел в «Лила» еще днем, пока туда не нахлынули завсегдатаи.

В тот вечер я сидел за столиком перед «Лила» и смотрел, как меняется освещение деревьев и домов и как по ту сторону бульвара медлительные битюги тянут подводы. Дверь кафе сзади, справа от меня, отворилась, и какой-то человек подошел к моему столику.

— А, вот вы где! — сказал он.

Это был Форд Мэдокс Форд, как он тогда называл себя. Он тяжело отдувался в густые крашенные усы и держался прямо, словно ходячая, хорошо одетая пивная бочка.

— Разрешите сесть с вами? — спросил он, садясь и глядя на бульвар водянистыми голубыми глазами из-под бледных век и бесцветных ресниц. — Я потратил лучшие годы жизни на то, чтобы этих кляч убивали гуманным способом, — сказал он.

— Вы мне это уже говорили, — сказал я.

— Не думаю.

— Я абсолютно уверен.

— Странно. Я никогда об этом никому не говорил.

— Хотите выпить?

Официант стоял рядом, и Форд заказал себе вермут «шамбери касси». Официант, высокий, худой, с большой плесью, прикрытой прилизанными волосами, и со старомодными пышными драгунскими усами, повторил заказ.

— Нет. Принесите *fine à l'eau*¹, — сказал Форд.

— *Fine à l'eau* для мосье, — повторил официант.

Я всегда избегал смотреть на Форда и старался пореже дышать, находясь с ним в одной комнате, но сейчас мы сидели на воздухе, и ветер гнал опавшие листья по тротуару от меня к нему, так что я внимательно посмотрел на него, пожалел об этом и стал смотреть на бульвар. Освещение уже успело измениться, но я пропустил эту перемену. Я сделал глоток, чтобы узнать, не испортил ли приход Форда вкус коньяка, но коньяк был по-прежнему хорош.

— Вы что-то мрачны, — сказал он.

¹ Коньяк с водой (*фр.*).

— Нет.

— Мрачны, мрачны. Вам надо чаще проветриваться. Я зашел сюда, чтобы пригласить вас на наши скромные вечера, которые мы устраиваем в этом забавном танцевальном зале на улице Кардинала Лемуана, близ площади Контрэскарп.

— Я два года жил над этим танцевальным залом задолго до вашего последнего приезда в Париж.

— Как странно. Вы уверены?

— Да, — ответил я. — Уверен. У хозяина этого заведения было такси, и, когда я торопился на самолет, он возил меня на аэродром, и перед тем, как ехать, мы всегда шли в танцевальный зал и выпивали в темноте у оцинкованной стойки по стакану белого вина.

— Не люблю самолетов, — сказал Форд. — Приходите с женой в субботу вечером в танцевальный зал. Будет очень весело. Я нарисую вам план, чтобы вам легче было найти это место. Я наткнулся на него совершенно случайно.

— Подвал дома семьдесят четыре на улице Кардинала Лемуана, — сказал я. — Я жил на четвертом этаже,

— Там нет помера, — сказал Форд. — Но вы легко отыщете это место, если сумете найти площадь Контрэскарп. Я сделал еще один большой глоток. Официант принес заказ Форда, и Форд сделал ему выговор.

— Я просил не коньяк с содовой, — сказал он назидательно, но строго. — Я заказал вермут «шамбери касси».

— Ладно, Жан, — сказал я. — Я возьму этот коньяк. А мосье принесите то, что он заказал сейчас.

— То, что я заказал раньше, — поправил Форд.

В этот момент мимо нас по тротуару прошел довольно худой человек в накидке. Он шел рядом с высокой женщиной и, скользнув взглядом по нашему столику, посмотрел в сторону и направился дальше.

— Вы заметили, что я с ним не раскланялся? — спросил Форд. — Нет, вы заметили, что я с ним не раскланялся?

— Нет. А с кем вы не раскланялись?

— Да с Беллоком, — сказал Форд. — Как блистательно я с ним не раскланялся!

— Я не заметил. А зачем вы это сделали?

— На это у меня есть тысяча веских причин, — ответил Форд. — Эх, и блистательно же я с ним не раскланялся!

Он был безгранично счастлив. Я почти не заметил Беллока и думаю, что и он не заметил нас. У него был задумчивый вид, и он автоматически скользнул взглядом по нашему столику. Мне стало неприятно, что Форд был груб с ним: как молодой, начинающий писатель, я испытывал уважение к Беллоку, писателю старшего поколения. Сейчас это трудно понять, но в те дни так бывало нередко.

«Хорошо бы Беллок остановился у нашего столика», — подумал я. Вечер был испорчен встречей с Фордом, и мне казалось, что Беллок мог бы исправить положение.

— Для чего вы пьете коньяк? — спросил Форд. — Разве вы не знаете, что коньяк губит молодых писателей?

— Я пью его довольно редко, — ответил я.

Я старался вспомнить, что Эзра Паунд говорил мне о Форде, — о том, что я не должен ему грубить и должен помнить, что Форд лжет только тогда, когда очень устал, что он действительно хороший писатель и у него были очень большие семейные неприятности. Я изо всех сил старался помнить обо всем этом, но это было очень трудно, потому что рядом со мной сидел сам Форд — грузный, сопящий, неприятный человек. Все-таки я старался.

— Объясните мне, в каких случаях люди не раскланиваются? — спросил я.

До сих пор я думал, что это бывает только в романах Уйды. Я никогда не читал романов Уйды, даже во время лыжного сезона в Швейцарии, когда дул сырой южный ветер, и все взятые с собой книги были прочитаны, и оставались только забытые в пансионе довоенные издания Таухница. Но какое-то шестое чувство подсказывало мне, что в ее романах люди не раскланиваются друг с другом.

— Джентльмен, — объяснил Форд, — никогда не раскланивается с подлецом.

Я быстро отхлебнул коньяку.

— А с хамом? — спросил я.

— Джентльмен не бывает знаком с хамами.

— Значит, не раскланиваются только с людьми одного с вами круга?

— Само собой разумеется.

— А как же тогда знакомятся с подлецом?

— Подлеца можно сразу и не распознать, а кроме того, человек может стать им.

— А что такое подлец? — спросил я. — Кажется, это тот, кого положено бить по физиономии.

— Совсем не обязательно, — ответил Форд.

— А Эзра Паунд джентльмен? — спросил я.
— Конечно нет, — ответил Форд. — Он американец.
— А американец не может быть джентльменом?
— Разве что Джон Куин, — уточнил Форд. — Или не-
которые из ваших послов.

— Майрон Т. Геррик?

— Возможно.

— А Гспри Джеймс был джентльменом?

— Почти.

— Ну а вы джентльмен?

— Разумеется. Я был на службе его величества.

— Сложное дело, — сказал я. — А я джентльмен?

— Конечно нет, — ответил Форд.

— Тогда почему вы пьете со мной?

— Я пью с вами как с многообещающим молодым пи-
сателем. Как с товарищем по перу.

— Очень мило с вашей стороны, — сказал я.

— В Италии вас, вероятно, считали бы джентльме-
ном, — сказал Форд великодушно

— Но я не подлец?

— Разумеется, нет, мой милый. Разве я сказал что-ни-
будь подобное?

— Но могу стать им, — сказал я с грустью. — Пью
коньяк и вообще... Именно это и произошло с лордом Гар-
ри Хотспером у Троллопа. Скажите, а Троллоп был
джентльменом?

— Конечно нет.

— Вы уверены?

— Тут могут быть разные мнения. Но только не у
меня.

— А Филдинг? Он ведь был судьей.

— Формально, возможно.

— Марло?

— Конечно нет.

— Джон Донн?

— Он был священник.

— Как увлекательно, — сказал я.

— Рад, что вам это интересно, — сказал Форд. — Перед
тем как уйти, я выпью с вами коньяку.

Когда Форд ушел, было уже совсем темно, и я пошел
к киоску и купил «Пари-спорт», вечерний выпуск с ре-
зультатами скачек в Отейле и программой заездов на сле-
дующий день в Энгиспе. Официант Эмиль, сменивший
Жана, подошел к столу узнать результат последнего заез-

да в Отейле. Мой близкий друг, редко заходивший в «Лила», сел за мой столик, и в ту минуту, когда он заказывал Эмилю коньяк, мимо нас по тротуару снова прошли худой человек в накидке и высокая женщина. Он скользнул взглядом по нашему столу и прошел дальше.

— Это Илэр Беллок,— сказал я своему другу.— Тут недавно был Форд и не пожелал с ним раскланяться.

— Не говори глупостей,— сказал мой приятель.— Это Алистер Кроули, поклонник дьявола. Его считают самым порочным человеком на свете.

— Прощу прощения,— сказал я.

РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ШКОЛЫ

Синие блокноты, два карандаша и точилка (карманный нож слишком быстро съедает карандаш), мраморные столики, запах раннего утра, свежий и вссочищающий, да немного удачи — вот и все, что требовалось. А удачу должны принести конский каштан и кроличья лапка в правом кармане. Меха кроличьей лапки давным-давно стерся, а косточки и сухожилия стали как полированные. Когти царапали подкладку кармана, и ты знал, что твоя удача с тобой.

В иные дни все шло хорошо и удавалось написать так, что ты видел этот край, мог пройти через сосновый лес и просеку, а оттуда подняться на обрыв и окинуть взглядом холмы за излучиной озера. Случалось, кончик карандаша ломался в воронке точилки, и тогда ты открывал маленькое лезвие перочинного ножа, чтобы вычистить точилку, или же тщательно заострял карандаш острым лезвием, а затем продевал руку в пропитанные соленым потом ремни рюкзака, вскидывал его, просовывал вторую руку и начинал спускаться к озеру, чувствуя под мокашинами сосновые иглы, а на спине — тяжесть рюкзака.

Но тут раздавался чей-то голос:

— Привет, Хем. Чем это ты занимаешься? Пишешь в кафе?

Значит, удача ушла от тебя, и ты закрывал блокнот. Это худшее из всего, что могло случиться. И лучше было бы сдержаться, но в то время я не умел сдерживаться, а потому сказал:

— За каким чертом тебя принесло сюда, сукин ты сын!

— Если ты желаешь оригинальничать, это еще не дает тебе права ругаться.

— Убирайся отсюда вместе со своим паршивым длинным языком.

— Это кафе. И у меня такое же право сидеть здесь, как и у тебя.

— Катись к себе в «Хижину». Тут тебе нечего делать.

— О, господи! Перестань валять дурака.

Теперь уже можно было высказаться напрямик, упо-
вая на то, что он зашел сюда случайно, без всякой задней
мысли, и вслед за ним не хлынет целый поток. Работать
можно было бы и в других кафе, но до них было неблиз-
ко, а это кафе стало моим родным домом. Я не хотел, что-
бы меня выжили из «Клозери-де-Лила». Надо было либо
сопротивляться, либо отступить. Разумнее было бы отсту-
пить, но я начал злиться:

— Слушай. Такому подонку, как ты, все равно, где
торчать. С какой стати ты являешься именно сюда и по-
ганишь приличное кафе?

— Я просто зашел выпить. Что тут такого?

— У нас дома тебе дали бы выпить, а потом выброси-
ли бы твой стакан.

— Где это — у вас дома? Похоже, что это очарователь-
ное место.

Он сидел за соседним столиком, высокий, толстый мо-
лодой человек в очках. Он уже успел заказать пиво. Я ре-
шил не обращать на него внимания и попробовал писать.
И, не обращая на него внимания, я написал две фразы.

— Я ведь просто заговорил с тобой.

Я не ответил и написал еще фразу. Когда рассказ идет
и ты втянулся, его не так-то просто убить.

— Ты, видно, стал таким великим, что с тобой уж и
поговорить нельзя.

Я закончил абзац и перечитал его. Пока все шло хо-
рошо, и я написал первое предложение следующего
абзаца.

— Ты никогда не думаешь о других, а ведь у них тоже
могут быть свои переживания.

Всю жизнь мне приходилось выслушивать жалобы.
Оказалось, что я могу не прекращать работу — он мешал
мне не больше любого другого шума и, уж во всяком слу-
чае, меньше, чем Эзра, когда учился играть на фэготе.

— Например, хочешь стать писателем, чувствуешь это
всем своим существом, и все-таки ничего не получается.

Я продолжал писать, и ко мне снова как будто вернулась удача.

— Однажды это нахлынуло на тебя, как неудержимый поток, и с тех пор ты чувствуешь себя немым и глухим.

Уж лучше, чем глухим и болтливым, подумал я и продолжал писать. Он разошелся всю, и его немыслимые изречения так же гипнотизировали, как вопль доски, подвигающейся насилью на лесопилке.

— Нас понесло в Грецию.

Я вдруг снова различил слова. Довольно долго я воспринимал его речь как бессвязный шум. Я уже перешагнул рубеж и мог отложить работу до завтра.

— Прости, и сильно вас понесло?

— Не говори гадостей,— сказал он.— Неужели ты не хочешь, чтобы я рассказал тебе, что было дальше?

— Нет,— ответил я.

Я захлопнул блокнот и сунул его в карман.

— И тебе не интересно, чем все кончилось?

— Нет.

— И тебе не интересны жизнь и страдания других людей?

— Только не твои.

— Ты свинья.

— Да.

— Я думал, ты поможешь мне, Хем.

— Я бы с радостью пристрелил тебя.

— Правда?

— Но это запрещено законом.

— А я для тебя сделал бы все, что угодно.

— Правда?

— Конечно.

— Тогда держись подальше от этого кафе. Начни с этого.— Я встал, подошел официант, и я расплатился.

— Можно, я провожу тебя до лесопилки, Хем?

— Нет.

— Ну, тогда встретимся в другой раз.

— Только не здесь.

— Само собой разумеется,— сказал он.— Я же обещал.

— Что ты пишешь? — спросил я и сделал ошибку.

— Стараюсь написать что-нибудь получше. Так же, как и ты. Но это невероятно трудно.

— Если не получается, лучше не писать. Чего ты хнычешь? Поезжай домой. Найди работу. Хоть повесься, но только молчи. Ты никогда не сможешь писать.

— Зачем ты так говоришь?

— Ты когда-нибудь слышал, как ты говоришь?

— Но ведь мы же говорим о том, как писать.

— Тогда лучше не будем говорить.

— Ты просто жесток,— сказал он.— Все говорят, что ты жесток, бессердечен и самонадеян. Я всегда тебя защищал. Но больше не стану.

— Вот и хорошо.

— Как ты можешь быть таким жестоким с людьми?

— Не знаю,— сказал я.— Послушай, раз ты не можешь писать, почему бы тебе не заняться критикой?

— По-твоему, стоит?

— Это будет отлично,— сказал я ему.— Ты сможешь писать, когда тебе вздумается. И не придется мучиться, что тебя захватило и ты остаешься нем и глух. Тебя будут читать и уважать.

— По-твоему, из меня может выйти хороший критик?

— Не знаю, хороший ли. Но критиком ты стать можешь. Всегда найдутся люди, которые помогут тебе, а ты будешь помогать своим.

— Кому это — своим?

— Тем, с кем ты водишься.

— Ах, этим. У них есть свои критики.

— Вовсе не обязательно критиковать книги,— сказал я.— Существуют ведь картины, пьесы, балет, кино...

— Это звучит очень заманчиво, Хем. От души благодарю тебя. Это так увлекательно. И потом, ведь это тоже творчество.

— Творческая сторона, вероятно, несколько переоценивается. В конце концов, бог сотворил мир всего за шесть дней, а на седьмой отдыхал.

— И ведь ничто не мешает мне одновременно заниматься творческой работой.

— Ничто на свете. Разве что требования, которые ты будешь предъявлять в своих критических статьях, окажутся слишком большими для тебя самого.

— Они и будут большими. Можешь не сомневаться.

— Я и не сомневаюсь.

Передо мной уже был критик, и я спросил, не хочет ли он выпить, и он согласился.

— Хем! — сказал он, и я понял, что теперь со мной говорит критик, так как в разговоре они ставят имя собеседника в начале предложения, а не в конце.— Должен сказать, я нахожу твои рассказы немного суховатыми.

— Очень жаль.

— Хем, они слишком худосочны, слишком ощипанны.

— Это нехорошо.

— Хем, они слишком сухи, худосочны, слишком ощипанны, слишком жилисты.

Я виновато нащупал в кармане кроличью лапку.

— Я постараюсь подкормить их немного.

— Но только смотри, чтобы они не разжирили.

— Хэл,— сказал я, пробуя говорить, как критики.— Я постараюсь не допустить этого.

— Рад, что наши мнения сходятся,— сказал он великодушно.

— Но ты не забудешь, что сюда нельзя приходить, когда я работаю?

— Разумеется, Хем. Теперь у меня будет свое кафе.

— Ты очень любезен.

— Стараюсь,— сказал он.

Было бы интересно и поучительно, если бы этот молодой человек стал известным критиком, но он им не стал, хотя я некоторое время на это очень надеялся.

Я не думал, что он может прийти уже на следующий день, но рискуя не хотел и решил один день не ходить в «Клозери». Поэтому на следующее утро я проснулся пораньше, прокипятил соски и бутылочки, приготовил молочную смесь, разлил ее по бутылочкам, дал одну мистеру Бамби и уселся работать за обеденным столом, пока все, кроме него, Ф. Киса — нашего кота — и меня, еще спали. Оба они вели себя тихо, и их общество было приятно, и мне работалось как никогда. В те дни можно было обойтись без чего угодно — даже без кроличьей лапки, но было приятно чувствовать ее в кармане.

В КАФЕ «КУПОЛ» С ПАСКИНОМ

Вечер был чудесный, я весь день напряженно работал и теперь вышел из нашей квартиры над лесопилкой, прошел через двор, мимо штабелей досок и бревен, захлопнул за собой калитку, перешел улицу, вошел в заднюю дверь булочной, где так вкусно пахло свежеспеченным хлебом, и вышел на бульвар Монпарнас. В булочной горел свет, смеркалось, и я пошел по темнеющей улице и задержался на открытой террасе ресторана «Тулузский пегр», где наши салфетки в красную и белую клетку, продетые в дере-

вянные кольца, лежали на специальном столике. Я прочитал лиловое меню, отпечатанное на мимеографе, и увидел, что plat du jour¹ было cassoulet². И уже от одного этого мне захотелось есть.

Хозяин ресторана, господин Лавинь, спросил, как мне работалось, и я ответил, что очень хорошо. Он сказал, что видел, как я писал на террасе «Клозери-де-Лиля» рано утром, но не заговорил со мной, потому что я был поглощен работой.

— У вас был вид человека, заблудившегося в тропическом лесу, — сказал он.

— Когда я работаю, я как слепой кабан.

— Но разве вы были не в тропическом лесу, мосье?

— В зарослях, — ответил я.

Я пошел дальше по улице, заглядывая в витрины и радуясь весеннему вечеру и идущим навстречу людям. В трех самых больших кафе сидели люди, которых я знал в лицо, и другие, с которыми я был знаком. Но вечером, когда зажигались огни, вокруг всегда было множество гораздо более симпатичных и совсем незнакомых мне людей, которые торопливо шли мимо в поисках места, где можно было бы выпить вдвоем, поужинать вдвоем, а потом любить друг друга. Люди в больших кафе, возможно, занимаются тем же, а возможно, они сидят и пьют, разговаривают и любят только для того, чтобы их видели другие. Люди, которые мне нравились и с которыми я не был знаком, ходили в большие кафе, потому что там можно было затеряться, и на них никто не обращал внимания, и они могли побыть вдвоем. К тому же в те дни цены в больших кафе были дешевые, там подавали хорошее пиво и аперитивы стоили недорого — их цена была четко обозначена на блюдечках.

В тот вечер мне приходили в голову такие вот здравые, но не слишком оригинальные мысли, и я чувствовал себя чрезвычайно добродетельным, потому что весь день хорошо и много работал, хоть и отчаянно хотелось поехать на скачки. Но в то время я не мог позволить себе посещать скачки, несмотря на то что при старании всегда можно было кое-что выиграть. Тогда еще не применялись ни проверка слюны, ни другие методы, с помощью которых выявляют искусственно возбужденных лошадей, и

¹ Дежурное блюдо (фр.).

² Ragout из мяса или дичи с бобами, приготовленное в горшочке (фр.).

допинг применялся чрезвычайно широко. Но рассчитывать шансы лошадей, получивших стимулирующие средства, определять их состояние еще в паaddocke и ставить последние деньги, полагаясь на наблюдения, граничащие с интуицией, — все это едва ли может продвинуть молодого человека, имеющего жену и ребенка, в его занятиях литературой, которые требуют всех его сил и всего времени.

С точки зрения любых норм мы по-прежнему были очень бедны, и я все еще, чтобы немного сэкономить, говорил жене, что приглашен на обед, а потом два часа гулял в Люксембургском саду и, вернувшись, рассказывал ей, как великолепен был обед. Если не обедать, когда тебе двадцать пять и ты сложен как тяжеловес, голод становится нестерпимым. Но голод обостряет восприятие, и я заметил, что многие люди, о которых я писал, имели волчий аппетит, любили хорошо поесть и в подавляющем большинстве всегда были не прочь выпить.

В ресторане «Тулузский негр» мы пили хороший кагор, заказывали четверть бутылки, полбутылки, а то и целый графин и обычно на одну треть разбавляли вино водой. Дома, над лесопилкой, у нас было корсиканское вино, отличавшееся большой крепостью и низкой ценой. Это было подлинно корсиканское вино, и даже если его разбавить водой наполовину, оно все же оставалось вином. В Париже в то время можно было неплохо жить на гроши, а периодически не обедая и совсем не покупая новой одежды, можно было иной раз и побаловать себя.

Из «Селекта» я сразу ушел, как только увидел там Гарольда Стирнса, который наверняка заговорил бы о лошадях, а от этих животных я только что с чистой совестью и легким сердцем решил отречься навсегда. Исполненный в тот вечер сознания своей праведности, я прошел мимо всего набора завсегдатаев «Ротонды» и, презрев порок и стадный инстинкт, перешел на другую сторону бульвара, где было кафе «Купол». В «Куполе» тоже было полно, но там сидели люди, которые хорошо поработали.

Там сидели натурщицы, которые хорошо поработали, и художники, которые работали до наступления темноты, и писатели, которые закончили дневной труд себе на горе или на радость, и пьяницы, и всякие любопытные личности — некоторых я знал, а другие были просто так, реkvизитом.

Я прошел через зал и подсел к Паскину, с которым были две сестры-натурщицы. Паскин помахал мне, когда я

еще стоял на тротуаре улицы Делаамбра, размышляя, зай-ти выпить или нет. Паскин был очень хороший художник, и он был пьян — целеустремленно и привычно пьян, но при этом сохранял полную ясность мысли. Обе натурщицы были молодые и хорошенькие. Одна — смуглая брюнетка, маленькая, прекрасно сложенная, обманчиво-хрупкая и порочная. Другая — ребячливая и глупая, но очень красивая недолговечной детской красотой. Ее фигура уступала фигуре сестры — она была какая-то очень худая, как, впрочем, и все той весной.

— Добрая сестра и злая сестра, — сказал Паскин. — У меня есть деньги. Что будешь пить?

— Une demi-blonde ¹, — сказал я официанту.

— Выпей виски. У меня есть деньги.

— Я люблю пиво.

— Если бы ты действительно любил пиво, ты бы сидел у Липпа. Ты, наверно, работал.

— Да.

— Двигается?

— Как будто.

— Прекрасно. Я рад. И тебе пока еще ничего не надоело?

— Нет.

— Сколько тебе лет?

— Двадцать пять.

— Хочешь переспать с ней? — Он посмотрел на темноволосую сестру и улыбнулся. — Ей это будет полезно.

— Наверно, с нее на сегодня хватит и вас.

Она улыбнулась мне, приоткрыв губы.

— Он распутник, — сказала она; — но очень милый.

— Ты можешь пойти с ней в студию.

— Нельзя ли без свинства? — сказала светловолосая сестра.

— А тебя кто спрашивает? — отрезал Паскин.

— Никто. Захотела и сказала.

— Будем чувствовать себя свободно, — сказал Паскин. — Серьезный молодой писатель, и доброжелательный мудрый старый художник, и две молодые красивые девушки, у которых впереди вся жизнь.

Так мы и сидели, и девушки прихлебывали из своих рюмок; Паскин выпил еще один кофьяк с содовой, а я пил пиво, но никто не чувствовал себя свободно, кроме Пас-

¹ Полкружки светлого (фр.).

кина. Брюнетка то и дело меняла позу, выставя себя напоказ, поворачивалась в профиль так, чтобы свет подчеркивал линии ее лица, и показывала мне обтянутую черным свитером грудь. Ее коротко подстриженные волосы были черные и гладкие, как у восточных женщин.

— Ты целый день позировала,— сказал ей Паскин.— Тебе непременно надо демонстрировать этот свитер здесь, в кафе?

— Мне так нравится,— сказала она.

— Ты похожа на яванскую куклу,— сказал он.

— Не глазами,— сказала она.— Это не так просто.

— Ты похожа на бедную совращенную роурée¹.

— Может быть,— сказала она.— Но зато живую. А о тебе этого не скажешь.

— Ну, это мы еще увидим.

— Прекрасно,— сказала она.— Я люблю доказательства.

— Тебе их было недостаточно сегодня?

— Ах, это,— сказала она и подставила лицо последним отблескам вечернего света.— Тебя просто взбудоражила работа. Он влюблен в свои холсты,— сказала она мне.— Вечно какая-нибудь грязь.

— Ты хочешь, чтобы я писал тебя, платил тебе, спал с тобой, чтобы у меня была ясная голова и чтобы я еще был влюблен в тебя,— сказал Паскин.— Ах ты, бедная куклка.

— Я вам нравлюсь, мосье, не правда ли? — спросила она.

— Очень.

— Но вы слишком большой,— сказала она огорченно.

— В постели все одного роста.

— Неправда,— сказала ее сестра.— И мне надоел этот разговор.

— Послушай,— сказал Паскин.— Если ты считаешь, что я влюблен в холсты, завтра я нарисую тебя акварелью.

— Когда мы будем ужинать? — спросила ее сестра.— И где?

— Вы с нами поужинаете? — спросила брюнетка.

— Нет. Я иду ужинать со своей *légitime*².— Тогда жен называли так. А теперь говорят: моя *régulière*³.

¹ Кукла (*фр.*).

² Законная (*фр.*).

³ Постоянная (*фр.*).

— Вы обязательно должны идти?

— И должен и хочу.

— Ну, тогда иди,— сказал Паскин.— Да смотри не влюбись в машинку.

— В таком случае я стану писать карандашом.

— Завтра акварель,— объявил он.— Ну ладно, дети мои, я выпью еще рюмочку, и пойдем ужинать, куда вы захотите.

— К «Викингу»,— сказала брюнетка.

— Именно,— поддержала ее сестра.

— Ладно,— согласился Паскин.— Спокойной ночи, *jeune homme*¹. Приятных снов.

— И вам того же.

— Они не дают мне спать,— сказал он.— Я никогда не сплю.

— Успите сегодня.

— После «Викинга»? — Он ухмыльнулся, сдвинув шляпу на затылок. Он был больше похож на гуляку с Бродвея девятистых годов, чем на замечательного художника. И позже, когда он повесился, я любил вспоминать его таким, каким он был в тот вечер в «Куполе». Говорят, что во всех нас заложены ростки того, что мы когда-нибудь сделаем в жизни, но мне всегда казалось, что у тех, кто умеет шутить, ростки эти прикрыты лучшей почвой и более щедро удобрены.

ЭЗРА ПАУНД И ЕГО «БЕЛЬ ЭСПРИ»

Эзра Паунд был всегда хорошим другом и всегда оказывал кому-то услуги. Его студия на Нотр-Дам-де-Шап, в которой он жил со своей женой Доротей, была так же бедна, как богата была студия Гертруды Стайн. Но в ней было много света, и стояла печка, и стены были увешаны картинами японских художников, знакомых Эзры. Все они у себя на родине были аристократами и носили длинные волосы. Когда они кланялись, их черные блестящие волосы падали вперед. Они произвели на меня большое впечатление, но картины их мне не нравились. Я их не понимал, хотя в них не было тайны, а когда я их понял, то остался к ним равнодушен. Очень жаль, но я тут ничего не мог поделать.

А вот картины Доротей мне очень нравились, и сама

¹ Молодой человек (*фр.*).

Дороти, на мой взгляд, была очень красива и прекрасно сложена. Еще мне нравилась голова Эзры работы Годье-Бржески и все фотографии творений этого скульптора, которые показывал мне Эзра и которые были в книге Эзры о нем. Кроме того, Эзре нравились картины Пикабиа, но я тогда считал их никудышными. И еще мне не нравились картины Уиндхема Льюиса, которые очень нравились Эзре. Ему нравились работы его друзей, что доказывает глубину дружбы, но может оказаться губительным для критических оценок. Мы никогда не спорили об этих картинах, так как я помалкивал о том, что мне не нравилось. Я считал, что любовь к картинам или литературным произведениям друзей мало чем отличается от любви к семье и, следовательно, критиковать их невежливо. Порой приходится немало вытерпеть, прежде чем начнешь критически отзываться о своих близких или родных жены; с плохими же художниками дело обстоит проще, потому что они, в отличие от близких, не могут сделать ничего страшного и ранить в самое больное место. Плохих художников просто не надо смотреть. Но даже когда вы научитесь не смотреть на близких, и не слышать их, и не отвечать на их письма, все равно у них останется немало способов причинять зло. Эзра относился к людям с большей добротой и христианским милосердием, чем я. Его собственные произведения, если они ему удавались, были так хороши, а в своих заблуждениях он был так искренен, и так упоен своими ошибками, и так добр к людям, что я всегда считал его своего рода святым. Он был, правда, крайне вспыльчив, но ведь многие святые, наверно, были такими же.

Эзра попросил, чтобы я научил его боксировать, и вот как-то вечером во время одного из таких уроков у Эзры в студии я и познакомился с Уиндхемом Льюисом. Эзра начал боксировать совсем недавно, и мне было неприятно учить его в присутствии его знакомого, и я старался, чтобы он показал себя с лучшей стороны. Однако это не очень получалось, потому что Эзра привык к приемам фехтования, а мне надо было научить его работать левой и выдвигать вперед левую ногу, а потом уже ставить параллельно ей правую. Это были самые элементарные приемы. Но мне так и не удалось научить его хуку левой, а правильное положение правой было для него делом далекого будущего.

Уиндхем Льюис носил широкополую черную шляпу, в каких обычно изображают обитателей Латинского квар-

тала, и был одет, как персонаж из «Богемы». Лицо его напоминало мне лягушку — обыкновенную лягушку, для которой Париж оказался слишком большой лужей. В то время мы считали, что любой писатель, любой художник может одеваться в то, что у него есть, и что для людей искусства не существует официальной формы; Льюис же был одет в мундир довоенного художника. На него было неловко смотреть, а он презрительно наблюдал, как я увертывался от левой Эзры или принимал удары на открытую правую перчатку.

Я хотел кончить, но Льюис настоял, чтобы мы продолжали, и мне было ясно, что, совершенно не разбираясь в происходящем, он хочет подождать — в надежде увидеть избиение Эзры. Но ничего не произошло. Я не нападал, а только заставлял Эзру двигаться за мной с вытянутой левой рукой и изредка наносить удары правой, а затем сказал, что мы кончили, облился водой из кувшина, растерся полотенцем и натянул свитер.

Мы чего-то выпили, и я слушал, как Эзра и Льюис разговаривали о своих лондонских и парижских знакомых. Я внимательно следил за Льюисом, незаметно, как следит за противником боксер, и, мне кажется, ни до него, ни после я не встречал более гнусного человека. В некоторых людях порок виден так же, как в призовой лошади — породе. В них есть достоинство твердого шавкра. На лице Льюиса не был написан порок — просто оно было гнусным.

По дороге домой я старался сообразить, что именно он мне напоминает, — оказалось, что самые разные вещи. Они все относились к области медицины, за исключением «блевотины», но это слово не принято произносить в обществе. Я попытался разложить его лицо на части и описать каждую в отдельности, но такому способу поддались только глаза. Когда я впервые увидел их под полями черной шляпы, это были глаза неудачливого насильника.

— Сегодня я познакомился с человеком, гнуснее которого еще никогда не видел, — сказал я жене.

— Тэти, не рассказывай мне о нем. Пожалуйста, не рассказывай. Мы сейчас будем обедать.

Неделю спустя я встретил мисс Стайн и рассказал ей, что познакомился с Уиндхемом Льюисом, и спросил, знает ли она его.

— Я зову его «гусеница-листомерка», — сказала она. — Он приезжает из Лондона, выскивает хорошую картину, вынимает из кармана карандаш и принимается мерить ее

с помощью карандаша и большого пальца. Нацеливается, измеряет и точно устанавливает, как она написана. Потом возвращается в Лондон и пишет такую же, и у него ничего не получается. Потому что главного в ней он не понял.

С тех пор я так и думал о нем — как о гусенице-листомерке. Это было более мягкое и более христианское прозвище, чем то, которое я придумал ему сам. Позже я старался почувствовать к нему симпатию и сблизиться с ним — так же, как почти со всеми друзьями Эзры, после того как он мне их объяснил. Но таким он показался мне, когда я впервые увидел его в студии Эзры.

Эзра был самый отзывчивый из писателей, каких я знал, и, пожалуй, самый бескорыстный. Он помогал поэтам, художникам, скульпторам и прозаикам, в которых верил, и готов был помочь всякому, кто попал в беду, независимо от того, верил он в него или нет. Он беспокоился обо всех, а когда я с ним познакомился, он больше всего беспокоился о Т.-С. Элиоте, который, как сообщил мне Эзра, вынужден был служить в каком-то лондонском банке и поэтою мог работать как поэт лишь крайне ограниченное время и в самые неподходящие часы.

И вот Эзра при содействии мисс Натали Барни, богатой американки и меценатки, учредил нечто под названием «Бель эспри»¹. В свое время мисс Барни дружила с Реми де Гурмоном, которого я уже не застал, и у нее был салон, где собирались по определенным дням, а в саду стоял маленький греческий храм. Салоны были у многих американок и француженок, располагавших достаточными средствами, и я очень скоро сообразил, что мне лучше держаться подальше от этих прекрасных мест, но, насколько мне известно, греческий храм в саду был только у одной мисс Барни.

Эзра показал мне брошюру о «Бель эспри», — мисс Барни разрешила ему поместить на обложке фотографию своего маленького греческого храма. Идея «Бель эспри» состояла в том, что мы все будем отдавать часть своего заработка в фонд мистера Элиота, чтобы выволить его из банка и дать ему возможность заниматься поэзией, не думая о деньгах. Мне эта идея показалась неплохой: когда мы вызволим мистера Элиота из банка, сказал Эзра, мы будем делать то же и дальше, пока все не окажутся устроенными.

¹ Буквально — блестящий ум (*фр.*).

Я внес небольшую путаницу, называя Элиота «майором Элиотом», словно путая его с майором Дугласом, экономистом, идеями которого восторгался Эзра. Но Эзра понимал, что намерения у меня самые добрые и я предан «Бель эспри», хотя ему и было неприятно, когда я просил у моих друзей денег на вызволение майора Элиота из банка и кто-нибудь непременно спрашивал, что, собственно говоря, майор делает в бапке, а если его уволили в запас, то почему он не получил пенсию или хотя бы единовременное пособие.

В таких случаях я говорил друзьям, что все это к делу не относится. Либо у вас есть «Бель эспри», либо нет. Если есть, то вы внесете деньги, чтобы выволить майора из банка. Если же нет, то очень жаль. Неужели вы не постигли значения маленького греческого храма? Я так и знал. Очень жаль, приятель. Оставь свои деньги при себе. Нам они ни к чему.

Как член «Бель эспри» я активно участвовал в этой кампании, и в те дни моей заветной мечтой было увидеть, как майор энергичной походкой выходит из банка свободным человеком. Я не помню, каким образом «Бель эспри» в конце концов развалилось, но, кажется, это было как-то связано с выходом в свет поэмы «Опустошенная земля», за которую майор получил премию журнала «Дайел», а вскоре какая-то титулованная дама согласилась финапсировать журнал Элиота «Критерион», и нам с Эзрой больше не пужно было о нем беспокоиться. Маленький греческий храм, кажется, все еще стоит в саду. Меня всегда огорчало, что нам так и не удалось выволить майора из банка с помощью одного только «Бель эспри»; в мечтах я видел, как он приезжает, чтобы поселиться в маленьком греческом храме, и, может быть, Эзра взял бы меня с собой и мы забежали бы туда увенчать его лаврами. Я знал, где можно паломать прекрасных лавров, и поехал бы за ними на своем велосипеде. А еще я думал, что мы могли бы увенчивать его лаврами каждый раз, когда ему взгрустнется или когда Эзра кончит читать рукопись или гранки еще одной большой поэмы вроде «Опустошенной земли». С точки зрения морали все обернулось для меня наихудшим образом, так как деньги, предназначенные мною для вызволения майора из банка, я взял с собой в Ангиен и поставил на лошадей, которым дали стимулирующие средства. На двух скачках эти стимулированные лошади обошли нестимулированных и педостимулированных лошадей, за

исключением одного заезда, когда наша лошадь была до того перестимулирована, что перед стартом сбросила жокея и, вырвавшись, прошла полный круг стиппчеа, совершая без жокея такие великолепные прыжки, какие удастся проделать только иногда во сне. Когда ее поймали и жокей сел в седло, она повела скачку и шла с честью, как говорят на французских ипподромах, но не взяла ничего.

Мне было бы намного приятнее, если бы эти проигранные деньги попали в «Бель эспри», которого уже не существовало. Но я утешился мыслью, что благодаря остальным удачным ставкам я мог бы внести в «Бель эспри» значительно больше, чем намеревался вначале.

ДОВОЛЬНО СТРАННЫЙ КОНЕЦ

Знакомство с Гертрудой Стайн оборвалось довольно странным образом. Мы стали с ней большими друзьями, и я оказывал ей немало практических услуг, — пристроил ее длинную книгу в журнал Форда, помог перепечатать рукопись и читал гранки, и мы стали даже более близкими друзьями, чем мне бы хотелось. Дружба между мужчиной и знаменитой женщиной бесперспективна, хотя она может быть очень приятной, пока не станет чем-то большим или меньшим; с честолюбивыми женщинами-писательницами она еще менее перспективна. Однажды, когда меня упрекнули за то, что я давно не появлялся на улице Флерюс, 27, а я оправдывался тем, что не знал, застану ли ее дома, мисс Стайн сказала:

— Но, Хемингуэй, моя студия в вашем распоряжении. Неужели вы этого не знаете? Я не шучу. Заходите в любое время, и горничная (она назвала ее по имени, но я забыл его) подаст вам, что нужно, а вы располагайтесь как дома и ждите меня.

Я не злоупотреблял этим разрешением, но иногда все же заходил к ней, и горничная предлагала мне выпить, а я смотрел на картины и, если мисс Стайн не появлялась, благодарил горничную, оставлял мисс Стайн записку и уходил. Мисс Стайн и ее приятельница готовились уехать на юг в автомобиле мисс Стайн, и в день отъезда мисс Стайн попросила меня зайти днем попрощаться. Она приглашала нас с Хэдли приехать к ней, но у нас с Хэдли были другие планы, и поехать мы хотели в другие места.

Естественно, об этом не упоминалось: ведь можно выразить горячее желание приехать, а потом что-нибудь вдруг помешает. Я кое-что знал о методах уклонения от приглашений. Мне пришлось их изучить. Много позднее Пикассо рассказывал мне, что всегда принимал приглашения богачей, потому что это доставляло им большое удовольствие, но потом обязательно что-нибудь случалось и он не мог пойти. Но к мисс Стайн это не имело никакого отношения, он имел в виду других.

Был чудесный весенний день, и я пошел пешком от площади Обсерватории через Малый Люксембургский сад. Конские каштаны стояли в цвету, на посыпанных песком дорожках играли дети, а на скамейках сидели няньки, и я видел на деревьях диких голубей и слышал, как ворковали те, которых я увидеть не мог.

Горничная открыла дверь прежде, чем я позвонил, предложила мне войти и попросила подождать. Мисс Стайн спустится сию минуту. Время обеда еще не наступило, но горничная налила в рюмку водки, протянула ее мне и весело подмигнула. Бесцветный спирт приятно обжег язык, и я не успел еще проглотить его, как вдруг услышал, что кто-то разговаривает с мисс Стайн так, как я не слышал, чтобы люди разговаривали друг с другом. Ни разу, никогда, нигде!

Потом послышался голос мисс Стайн, жалобный и умоляющий:

— Не надо, киска, не надо. Пожалуйста, не надо. Я на все согласна.

Я проглотил водку, поставил рюмку на стол и пошел к двери. Горничная погрозила мне пальцем и прошептала:

— Не уходите. Она сейчас спустится.

— Мне нужно идти,— сказал я и старался не слушать, пока выходил из комнаты, но разговор продолжался, и, чтобы не слышать, мне оставалось только уйти.

То, что говорилось, было отвратительно, а ответы еще отвратительнее.

Во дворе я сказал горничной:

— Пожалуйста, скажите, что я встретил вас во дворе. Что не мог ждать, потому что заболел мой друг. Передайте пожелания счастливого пути. Я напишу.

— C'est entendu¹, мосье. Какая досада, что вы не можете подождать.

¹ Обязательно (фр.).

— Да,— сказал я.— Какая досада.

Вот так это кончилось для меня — глупо кончилось, хотя я продолжал выполнять мелкие поручения, приходил, когда было необходимо, приводил людей, о которых просили, и дождался отставки вместе с большинством мужчин-друзей, когда настал новый период и новые друзья заняли наше место. Грустно было видеть новые никудышные картины рядом с настоящими, но теперь это не имело значения. Во всяком случае, для меня. Она рассорилась почти со всеми, кто был к ней привязан, кроме Хуана Гриса, а с ним она не могла поссориться, потому что он умер. Думаю, что это было бы ему безразлично: ему давно было все безразлично, и об этом говорят его картины.

В конце концов она рассорилась и со своими новыми друзьями, но нас это уже не интересовало. Она стала похожа на римского императора, что вовсе не плохо, если тебе нравятся женщины, похожие на римских императоров. Но Пикассо написал ее, а я запомнил ее такой, какой она была в те дни, когда походила на крестьянку из Фриули.

Впоследствии все или почти все помирились с ней, чтобы не казаться обидчивыми или слишком уж праведными. И я тоже. Но я так никогда и не смог вновь подружиться с ней по-настоящему — ни сердцем, ни умом. Хуже всего, когда ты умом понимаешь, что больше не можешь дружить с человеком. Но тут все было даже еще сложнее.

ЧЕЛОВЕК, ОТМЕЧЕННЫЙ ПЕЧАТЬЮ СМЕРТИ

В тот вечер, когда я познакомился у Эзры с поэтом Эрнестом Уолшем, с ним были две девушки в длинных порковых мантиях, а перед домом стоял большой сверкающий лимузин отеля «Кларидж» с шофером в ливрее. Девушки были блондинки, и они приехали из Америки на одном пароходе с Уолшем. Пароход прибыл накануне, и Уолш привел их к Эзре.

Эрнест Уолш был типичный ирландец, черноволосый и нервный, с поэтической внешностью, отмеченный печатью смерти, как герой трагической кинокартины. Он разговаривал с Эзрой, а я — с девушками, которые спросили меня, читал ли я стихи мистера Уолша. Я их не читал, и одна из девушек открыла журнал «Поэзия» в зеленой обложке, издаваемый Гарриэт Монро, и показала мне стихи Уолша.

— Ему платят тысячу двести долларов за штуку,— сказала она.

— За каждое стихотворение,— сказала другая.

Я вспомнил, что этот самый журнал в лучшем случае платил мне по двенадцати долларов за страницу.

— Должно быть, он действительно великий поэт,— сказал я.

— Ему платят больше, чем Эдди Гесту,— сообщила мне первая девушка.— Ему платят даже больше, чем этому, как там его... Ну, вы знаете.

— Кипплингу,— сказала ее подруга.

— Ему платят больше всех,— сказала первая девушка.

— Вы надолго в Париж? — спросил я.

— Как вам сказать. Не очень. Мы здесь с друзьями.

— Мы приехали на этом самом пароходе. Ну, вы знаете. Но на нем совершенно никого не было. Кроме мистера Уолша, разумеется.

— Он, кажется, играет в карты? — спросил я.

Она разочарованно, но понимающе посмотрела на меня.

— Пет. Ему не надо играть. Ему незачем играть, раз он умеет писать такие стихи.

— Каким пароходом вы собираетесь вернуться?

— Трудно сказать. Это зависит от пароходного расписания. И от многого другого. Вы тоже собираетесь уезжать?

— Пет. Мне и здесь неплохо.

— Это довольно бедный квартал, правда?

— Да. Но здесь хорошо. Я работаю в кафе и хожу на ипподром.

— И вы ходите на ипподром в этом костюме?

— Пет. В нем я хожу в кафе.

— Костюм — прелесть,— сказала одна из девушек.— Мне бы хотелось познакомиться с этой парижской жизнью в кафе. А тебе, милочка?

— Мне тоже,— сказала вторая девушка.

Я записал их фамилии в свою записную книжку и обещал позвонить им в «Кларидж». Девушки были милые, и я попрощался с ними, и с Уолшем, и с Эзрой. Уолш все еще что-то с жаром говорил Эзре.

— Так не забудете? — сказала та, что была повыше.

— Как можно! — ответил я и снова пожал руки и той и другой.

Вскоре я услышал от Эзры, что некие поклонницы поэзии и молодых поэтов, отмеченных печатью смерти, вы-

звали Уолша из отеля «Кларидж», заплатив за него, а затем — что он получил финансовую помощь из другого источника и собирается стать соредактором какого-то нового ежеквартального журнала.

В то время американский литературный журнал «Дайсл», издававшийся Скофилдом Тэйером, присуждал своим авторам ежегодную премию, кажется, в тысячу долларов, за высокое литературное мастерство. Тогда для любого писателя-профессионала это было значительной суммой, не говоря о престиже, и ее уже получило несколько человек, и, разумеется, все заслуженно. А в то время в Европе можно было неплохо прожить вдвоем на пять долларов в день и даже путешествовать.

Журнал, одним из редакторов которого должен был стать Уолш, якобы намеревался установить весьма значительную премию для автора, чье произведение будет признано лучшим в первых четырех номерах.

Трудно сказать, были ли это сплетни или слухи, или же кто-то сказал об этом кому-то по секрету. Будем надеяться и верить, что за всем этим не крылось каких-то махинаций. В любом случае соредактор Уолша была и остается вне всяких подозрений.

Вскоре после того, как до меня дошли слухи об этой премии, Уолш пригласил меня пообедать с ним в самом лучшем и дорогом ресторане в районе бульвара Сеп-Мишель, и после устриц — дорогих плоских *macennes* с коричневатым отливом вместо привычных выпуклых и дешевых *portugaises*, — а также после бутылки «пуйи фюизе» он искусно перевел разговор на эту тему. Он словно обрабатывал меня, как обрабатывал этих девиц из шулерской шайки на пароходе, — разумеется, если они были из шулерской шайки и если он их обрабатывал, — и когда он спросил, не хочу ли я съесть еще дюжину плоских устриц, как он их называл, я с удовольствием согласился. При мне он не следил за тем, чтобы печать смерти лежала на его лице, и я почувствовал облегчение. Он знал, что мне было известно, что у него чахотка, и не воображаемая, а самая настоящая, от которой тогда умирали, и в какой она стадии; поэтому он обошелся без приступа кашля здесь, за столиком, и я был благодарен ему за это. Я подумал, не глотает ли он эти плоские устрицы по той же причине, по какой проститутки Канзас-Сити, отмеченные печатью смерти и туберкулезом, глотают всякую гадость, но не спросил его об этом. Я принялся за вторую дюжину плос-

ких устриц; брал их с размельченного льда на серебряном блюде, а потом смотрел, как их невероятно нежные коричневатые края вздрагивали и съеживались, когда я выжимал на них лимон, а потом отделял от раковины и долго, тщательно жевал.

— Эзра — великий, великий поэт, — сказал Уолш, глядя на меня своими темными глазами поэта.

— Да, — сказал я. — И прекрасный человек.

— Благородный, — сказал Уолш. — Поистине благородный.

Некоторое время мы ели и пили молча, отдавая дань благородству Эзры.

Я вдруг почувствовал, что соскучился по Эзре, и пожалел, что его здесь нет. Ему, как и мне, *magennes* были не по карману.

— Джойс великий писатель, — сказал Уолш. — Великий. Великий.

— Да, великий, — сказал я. — И хороший товарищ.

Мы подружились в тот чудесный период его жизни, когда он кончил «Улисса» и еще не начал работать над тем, что долгое время называлось «Работа в развитии». Я думал о Джойсе и припомнил очень многое.

— Как жаль, что зрение у него слабеет, — сказал Уолш.

— Ему тоже жаль, — сказал я.

— Это трагедия нашего времени, — сообщил Уолш.

— У всех что-нибудь да не так, — сказал я, пытаюсь оживить застольную беседу.

— Только не у вас, — обрушил он на меня все свое обаяние, и на лице его появилась печать смерти.

— Вы хотите сказать, что я не отмечен печатью смерти? — спросил я, не удержавшись.

— Нет. Вы отмечены печатью Жизни. — Последнее слово он произнес с большой буквы.

— Дайте мне только время, — сказал я.

Ему захотелось хорошего бифштекса с кровью, и я заказал два турнедо под беарнским соусом. Я подумал, что масло будет ему полезно.

— Может быть, красного вина? — спросил он.

Подшел *sommelier*¹, и я заказал «шатонеф дю пап». «Потом я погуляю по набережным, и хмель у меня выветрится. А он пусть проспит или еще что-нибудь придумает. Я найду, куда себя деть», — подумал я.

¹ Метрдотель по винам в ресторане (*фр.*).¹

Дело прояснилось, когда мы доели бифштексы с жареным картофелем и на две трети осушили бутылку «шатонеф дю пап», которое днем не пьют.

— К чему ходить вокруг да около, — сказал он. — Вы знаете, что нашу премию получите вы?

— Разве? — спросил я. — За что?

— Ее получите вы, — сказал он и начал говорить о том, что я написал, и я перестал слушать.

Когда меня хвалили в глаза, мне становилось тошно. Я смотрел на него, на его лицо с печатью смерти и думал: «Хочешь одурачить меня своей чахоткой, шулер. Я видел батальон на пыльной дороге, и каждый третий был обречен на смерть или на то, что хуже смерти, и не было на их лицах никаких печатей, а только пыль. Слышишь, ты, со своей печатью, ты, шулер, наживающийся на своей смерти. А сейчас ты хочешь меня одурачить. Не одурачивай, да не одурачен будешь». Только смерть его не дурачила. Она действительно была близка.

— Мне кажется, я не заслужил ее, Эрнест, — сказал я, с удовольствием называя его своим именем, которое я ненавидел. — Кроме того, Эрнест, это было бы неэтично.

— Не правда ли, странно, что мы с вами тезки?

— Да, Эрнест, — сказал я. — Мы оба должны быть достойны этого имени. Вам ясно, что я имею в виду, не так ли, Эрнест? ¹

— Да, Эрнест, — сказал он и одарил меня своим грустным ирландским обаянием.

И после я был очень мил с ним и с его журналом, а когда у него началось кровохарканье и он уехал из Парижа, попросив меня проследить за набором журнала в типографии, где не умели читать по-английски, я выполнил его просьбу. Один раз я присутствовал при его кровохарканье; тут не было никакой фальши, и я понял, что он действительно скоро умрет, и в то трудное в моей жизни время мне доставляло удовольствие быть с ним особенно милым, как доставляло удовольствие называть его Эрнестом. Кроме того, я восхищался его соредактором и уважал ее. Она не обещала мне никаких премий. Она хотела только создать хороший журнал и как следует платить своим авторам.

¹ По-английски имя Эрнест созвучно слову, означающему: убежденный, честный.

Однажды, много позже, я встретил Джойса, который шел один по бульвару Сен-Жермен после утреннего спектакля. Он любил слушать актеров, хотя и не видел их. Он пригласил меня выпить, и мы зашли в «Де-Маго» и заказали сухого хереса, хотя те, кто пишет о Джойсе, утверждают, что он не пил ничего, кроме белых швейцарских вин.

— Что слышно об Уолше? — спросил Джойс.

— Как был сволочью, так и остался, — сказал я.

— Он обещал вам эту премию? — спросил Джойс.

— Да.

— Я так и думал, — сказал Джойс.

— Он обещал ее и вам?

— Да, — сказал Джойс, а потом он спросил: — Как, повашему, он обещал ее Паунду?

— Не знаю.

— Лучше его не спрашивать, — сказал Джойс.

Мы больше не говорили об этом. Я рассказал Джойсу, как впервые увидел Уолша в студии Эзры с двумя девицами в длинных меховых манто, и эта история доставила ему большое удовольствие.

ИВЕН ШИПМЕН В КАФЕ «ЛИЛА»

С тех пор как я обнаружил библиотеку Сильвии Бич, я прочитал всего Тургенева, все вещи Гоголя, переведенные на английский, Толстого в переводе Констанс Гарнетт и английские издания Чехова. В Торонто, еще до нашей поездки в Париж, мне говорили, что Кэтрин Мэнсфилд пишет хорошие рассказы, даже очень хорошие рассказы, но читать ее после Чехова — все равно что слушать старательно придуманные истории еще молодой старой девы после рассказа умного знающего врача, к тому же хорошего и простого писателя. Мэнсфилд была как разбавленное пиво. Тогда уж лучше пить воду. Но у Чехова от воды была только прозрачность. Кое-какие его рассказы отдавали репортерством. Но некоторые были изумительны.

У Достоевского есть вещи, которым веришь и которым не веришь, но есть и такие правдивые, что, читая их, чувствуешь, как меяешься сам, — слабость и безумие, порок и святость, одержимость азарта становились реальностью, как становились реальностью пейзажи и дороги Тургенева и передвижение войск, театр военных действий, офицеры, солдаты и сражения у Толстого. По сравнению с Тол-

стым описание нашей Гражданской войны у Стивена Крейна казалось блестящей выдумкой больного мальчика; который никогда не видел войны, а лишь читал рассказы о битвах и подвигах и разглядывал фотографии Брэди, как я в свое время в доме деда. Пока я не прочитал «Chartreuse de Parme»¹ Стендаля, я ни у кого, кроме Толстого, не встречал такого изображения войны; к тому же чудесное изображение Ватерлоо у Стендаля выглядит чужеродным в этом довольно скучном романе. Открыть весь этот новый мир книг, имея время для чтения в таком городе, как Париж, где можно прекрасно жить и работать, как бы беден ты ни был, все равно что найти бесценное сокровище. Это сокровище можно брать с собой в путешествия, и в городах Швейцарии и Италии, куда мы ездили, пока не открыли Шпринг в Австрии, в одной из высокогорных долин Форзрльберга, тоже всегда были книги, так что ты жил в найденном тобой повом мире: днем снег, леса и ледники с их зимними загадками и твое пристанище в деревенской гостинице «Таубе» высоко в горах, а ночью — другой чудесный мир, который дарили тебе русские писатели. Спачала русские, а потом и все остальные. Но долгое время только русские.

Помню, как однажды, когда мы возвращались с бульвара Араго после тенниса и Эзра предложил зайти к нему выпить, я спросил, какого он мнения о Достоевском.

— Говоря по правде, Хем,— сказал Эзра,— я не читал ни одного из этих русских.

Это был честный ответ, да и вообще Эзра в разговоре всегда был честен со мной, но мне стало больно, потому что это был человек, которого я любил и на чье мнение как критика полагался тогда почти безусловно, человек, веривший в *mot juste* — единственное верное слово,— человек, научивший меня не доверять прилагательным, как позднее мне предстояло научиться не доверять некоторым людям в некоторых ситуациях; и мне хотелось узнать его мнение о человеке, который почти никогда не находил *mot juste* и все же порой умел делать своих персонажей такими живыми, какими они не были ни у кого.

— Держитесь французов,— сказал Эзра.— У них вы можете многому научиться.

— Знаю,— сказал я.— Я могу многому научиться у кого угодно.

¹ «Пармская обитель» (фр.).

Позже, выйдя от Эзры, я направился к лесопилке, глядя вперед, туда, где между высокими домами в конце улицы виднелись голые деревья бульвара Сен-Мишель и фасад танцевального зала Бюлье, затем открыл калитку и прошел мимо свежераспиленных досок и положил ракетку в прессе возле лестницы, которая вела на верхний этаж. Я покричал, но дома никого не было.

— Мадам ушла, и бонне¹ с ребенком тоже, — сказала мне жена владельца лесопилки. У нее был тяжелый характер, грузная фигура и медно-рыжие волосы. Я поблагодарил ее. — Вас спрашивал какой-то молодой человек, — сказала она, назвав его «jeune homme» вместо «мосье». — Он сказал, что будет в «Лила».

— Большое спасибо, — сказал я. — Когда мадам вернется, пожалуйста, передайте ей, что я в «Лила».

— Она ушла с какими-то знакомыми, — сказала хозяйка и, запахнув лиловый халат, зашагала на высоких каблуках в свои владения, оставив дверь открытой.

Я пошел по улице между высокими белыми домами в грязных подтеках и пятнах, у залитого солнцем перекрестка свернул направо и вошел в полумрак «Лила».

Знакомых там не оказалось, я вышел на террасу и увидел Ивена Шипмепа, ждавшего меня. Он был хорошим поэтом, а кроме того, понимал и любил лошадей, литературу и живопись. Он встал, и я увидел высокого, бледного и худого человека, несвежую белую рубашку с потрепанным воротничком, тщательно завязанный галстук, поношенный и измятый костюм, пальцы чернее волос, грязные ногти и радостную, робкую улыбку — улыбаясь, он не разжимал рта, чтобы не показывать испорченные зубы.

— Рад вас видеть, Хем, — сказал он.

— Как поживаете, Ивен? — спросил я.

— Так себе, — сказал он. — Правда, кажется, я добил «Мазепу». А как у вас, все хорошо?

— Как будто, — сказал я. — Я играл в теннис с Эзрой, когда вы заходили.

— У Эзры все хорошо?

— Очень.

— Я так рад. Знаете, Хем, я, кажется, не понравился жене вашего хозяина. Она не разрешила мне подождать вас наверху.

¹ Няня (фр.).

— Я поговорю с ней,— сказал я.

— Не беспокойтесь. Я всегда могу подождать здесь. На солнце тут очень приятно, правда?

— Сейчас осень,— сказал я.— По-моему, вы одеваетесь слишком легко.

— Прохладно только по вечерам,— сказал Ивен.— Я надену пальто.

— Вы знаете, где оно?

— Нет. Но оно где-нибудь в надежном месте.

— Откуда вы знаете?

— А я оставил в нем поэму.— Он весело рассмеялся, стараясь не разжимать губ.— Прошу вас, выпейте со мной виски, Хем.

— Хорошо.

— Жан! — Ивен встал и подозвал официанта.— Два виски, пожалуйста.

Жан принес бутылку, рюмки, сифон и два десятифранковых блюда. Он не пользовался мензуркой и лил виски, пока рюмки не наполнились более чем на три четверти. Жан любил Ивена, потому что в свободные дни Жана Ивен часто работал у него в саду в Монруже за Орлеанской заставой.

— Не пужно увлекаться,— сказал Ивен высокому пожилому официанту.

— Но ведь это два виски, верно? — сказал официант. Мы добавили воды, и Ивен сказал:

— Первый глоток самый важный, Хем. Если пить правильно, нам хватит надолго.

— Вы хоть немного думаете о себе? — спросил я.

— Да, конечно, Хем. Давайте говорить о чем-нибудь другом, хорошо?

На террасе, кроме пас, пикого не было. Виски согрело пас обоих, хотя я был одет более по-осеннему, чем Ивен, так как вместо нижней рубашки на мне был свитер, потом рубашка, а поверх нее — пуловер из синей шерсти, какие носят французские моряки.

— Я все думаю о Достоевском,— сказал я.— Как может человек писать так плохо, так невероятно плохо, и так сильно на тебя воздействовать?

— Едва ли дело в переводе,— сказал Ивен.— Толстой у Констанс Гарнетт пишет хорошо.

— Я знаю. Я еще не забыл, сколько раз я не мог дочитать «Войну и мир» до конца, пока мне не попался перевод Констанс Гарпетт.

— Говорят, его можно сделать еще лучше,— сказал Ивен.— Я тоже так думаю, хоть и не знаю русского. Но переводы мы с вами знаем. И все равно, это чертовски сильный роман, по-моему, величайший на свете, и его можно перечитывать без конца.

— Да,— сказал я.— Но Достоевского перечитывать нельзя. Когда в Шрунсе мы остались без книг, у меня с собой было «Преступление и наказание», и все-таки я не смог его перечитать, хотя читать было нечего. Я читал австрийские газеты и занимался немецким, пока мы не обнаружили какой-то роман Тrolлопа в издании Таухница.

— Бог да благословит Таухница,— сказал Ивен.

Виски уже не обжигало, и теперь, когда мы добавили еще воды, оно казалось просто слишком крепким.

— Достоевский был сукиным сыном, Хем,— продолжал Ивен.— И лучше всего у него получились сукины дети и святые. Святые у него великолепны. Очень плохо, что мы не можем его перечитывать.

— Я собираюсь еще раз взяться за «Братьев Карамазовых». Возможно, дело не в нем, а во мне.

— Сначала все будет хорошо. И довольно долго. А потом начинаешь злиться, хоть это и великая книга.

— Что ж, пам повезло, когда мы читали ее в первый раз, и, может быть, появится более удачный перевод.

— Но не поддавайтесь соблазну, Хем.

— Не поддамся. Я постараюсь, чтобы это получилось само собой, тогда чем больше читаешь, тем лучше.

— Раз так, да поможет вам виски Жапа,— сказал Ивен.

— У него из-за этого еще будут неприятности,— сказал я.

— Они уже начались,— сказал Ивен.

— Как так?

— Кафе переходит в другие руки,— сказал Ивен.— Новые владельцы хотят иметь более богатую клиентуру и собираются устроить здесь американский бар. На официантов наденут белые куртки и велят сбрить усы.

— Андре и Жапу? Не может быть.

— Не может, но будет.

— Жап носит усы всю жизнь. У него драгунские усы. Он служил в кавалерийском полку.

— И все-таки он их сбреет.

Я допил виски.

— Еще виски, мосье? — спросил Жан. — Виски, мосье Шипмен?

Густые висячие усы были неотъемлемой частью его худого доброго лица, а из-под прилизанных волос на макушке поблескивала лысина.

— Не надо, Жан, — сказал я. — Не рискуйте.

— Риска никакого нет, — сказал он нам вполголоса, — слишком большая неразбериха. Entendu¹, мосье, — сказал он громко, пошел в кафе и вернулся с бутылкой виски, двумя стаканами, двумя десятифранковыми блюдами и бутылкой сельтерской.

— Не надо, Жан, — сказал я.

Он поставил стаканы на блюда, наполнил их почти до краев и унес бутылку с остатками виски в кафе. Мы с Ивеком подлили в стаканы темного сельтерской.

— Хорошо, что Достоевский не был знаком с Жаном, — сказал Ивен. — Он мог бы спиться.

— А мы что будем делать?

— Пить, — сказал Ивен. — Это протест. Активный протест.

В понедельник, когда я утром пришел в «Лила» работать, Андре принес мне *bovril* — чашку говяжьего бульона из кубиков. Он был кряжистый и белокурый, верхняя губа его, где прежде была щеточка усов, стала гладкой, как у священника. На нем была белая куртка американского бармена.

— А где Жан?

— Он работает завтра.

— Как он?

— Ему труднее примириться с этим. Всю войну он прослужил в драгунском полку. У него Военный крест и Военная медаль.

— Я не знал, что он был так тяжело ранен.

— Это не то. Он действительно был ранен, но Военная медаль у него другая. За храбрость.

— Скажите ему, что я спрашивал о нем.

— Непременно, — сказал Андре. — Надеюсь, он все же примирится с этим.

— Пожалуйста, передайте ему привет и от мистера Шипмена.

— Мистер Шипмен у него, — сказал Андре. — Они вместе работают у него в саду.

¹ Слушаюсь (*фр.*).

Последнее, что сказал мне Эзра перед тем, как покинуть улицу Нотр-Дам-де-Шан и отправиться в Рапалло, было:

— Хем, держите эту баночку с опиумом у себя и не отдавайте ее Даннингу, пока она ему действительно не понадобится.

Это была большая банка из-под кольдкрема, и, отвернув крышку, я увидел нечто темное и липкое, и пахло оно, как пахнет очень плохо очищенный опиум. По словам Эзры, он купил его у индейского вождя на авеню Оперы близ Итальянского бульвара и заплатил дорого. Я решил, что этот опиум был приобретен в старом баре «Дыра в стене», пристанище дезертиров и торговцев наркотиками во время первой мировой войны и после нее. Бар «Дыра в стене», чей красный фасад выходил на Итальянскую улицу, был очень тесным заведением, немногим шире обыкновенного коридора. Одно время там был потайной выход прямо в парижскую клоаку, по которой, говорят, можно было добраться до катакомб. Даннинг — это Ральф Чивер Даннинг, поэт, куривший опиум и забывавший про еду. Когда он курил слишком много, он пил только молоко; а еще он писал терцины, за что его и полюбил Эзра, находивший, впрочем, высокие достоинства в его поэзии. Он жил с Эзрой на одном дворе, и за несколько недель до своего отъезда из Парижа Эзра послал за мной, потому что Даннинг умирал.

«Даннинг умирает, — писал в записке Эзра. — Пожалуйста, приходите немедленно».

Даннинг лежал в постели, худой, как скелет, и в конце концов, несомненно, мог бы умереть от истощения, однако сейчас мне удалось убедить Эзру, что очень немногие умирающие говорят на смертном одре так красиво и гладко, и тем более я не слышал, чтобы кто-нибудь умирал, разговаривая терципами, — даже самому Данте это вряд ли удалось бы. Эзра сказал, что Даннинг вовсе не говорит терципами, а я сказал, что, возможно, мне чудятся терцины, потому что, когда за мной пришли, я спал. В конце концов, после того как мы провели ночь у постели Даннинга, ожидавшего смерти, им занялся врач, и его увезли в частную клинику, чтобы лечить от отравления опиумом. Эзра гарантировал оплату счетов и убедил уж не знаю каких любителей поэзии помочь Даннингу. Мне же было

поручено только передать ему банку с опиумом в случае крайней необходимости. Всякое поручение Эзры было для меня священным, и я мог только надеяться, что окажусь достойным его доверия и сумею сообразить, когда именно наступит крайняя необходимость. Она наступила в одно прекрасное воскресное утро: на лесопилку явилась консьержка Эзры и прокричала в открытое окно, у которого я изучал программу скачек: «*Monsieur Dunning est monté sur le toit et refuse catégoriquement de descendre*»¹.

То, что Даннинг взобрался на крышу студии и категорически отказывается спуститься, показалось мне поистине выражением крайней необходимости, и, отыскав банку с опиумом, я зашагал по улице рядом с консьержкой, маленькой суетливой женщиной, которую все это привело в сильное волнение.

— У мосье есть то, что пужно? — спросила она меня.

— О да, — сказал я. — Все будет хорошо.

— Мосье Паунд всегда обо всем позаботится, — сказала она. — Он — сама доброта.

— Совершенно верно, — сказал я. — Я вспоминаю о нем каждый день.

— Будем надеяться, что мосье Даннинг проявит благоразумие.

— У меня есть как раз то, что для этого требуется, — заверил я ее.

Когда мы вошли во двор, консьержка сказала:

— Он уже спустился.

— Значит, он догадался, что я иду, — сказал я.

Я поднялся по наружной лестнице, которая вела в комнату Даннинга, и постучал. Он открыл дверь. Из-за отчаянной худобы он казался очень высоким.

— Эзра просил меня передать вам вот это, — сказал я и протянул ему банку. — Он сказал, что вы знаете, что это такое.

Даннинг взял банку и поглядел на нее. Потом запустил ею в меня. Она попала мне не то в грудь, не то в плечо и покатилась по ступенькам.

— Сукин сын, — сказал он. — Мразь.

— Эзра сказал, что вам это может понадобиться, — возразил я.

В ответ он швырнул в меня бутылкой из-под молока.

¹ Мосье Даннинг влез на крышу и категорически отказывается спуститься (*фр.*).

— Вы уверены, что вам это действительно не нужно? — спросил я.

Он швырнул еще одну бутылку. Я повернулся, чтобы уйти, и он попал мне в спину еще одной бутылкой. Затем захлопнул дверь.

Я подобрал банку, которая только слегка треснула, и сунул ее в карман.

— По-видимому, подарок мосье Паунда ему не нужен, — сказал я консьержке.

— Может быть, он теперь успокоится, — сказала она.

— Может быть, у него есть это лекарство, — сказал я.

— Бедный мосье Даннинг, — сказала она.

Любители поэзии, которых объединил Эзра, в конце концов пришли на помощь Даннингу. А мы с консьержкой так ничего и не смогли сделать. Треснувшую банку, в которой якобы был опиум, я завернул в вощеную бумагу и аккуратно спрятал в старый сапог для верховой езды.

Когда несколько лет спустя мы с Ивеном Шипменом перевозили мои вещи из этой квартиры, банки в сапоге не оказались. Не знаю, почему Даннинг швырял в меня бутылками из-под молока; быть может, он вспомнил мой скептицизм в ту ночь, когда умирал в первый раз, а возможно, это было просто безотчетное отвращение к моей личности. Но я хорошо помню, в какой восторг привела Ивена Шипмена фраза: «*Monsieur Dunning est monté sur le toit et refuse catégoriquement de descendre*». Он усмотрел в ней что-то символическое. Не берусь судить. Быть может, Даннинг принял меня за посетителя порока или агента полиции. Я знаю только, что Эзра хотел оказать Даннингу добрую услугу, как оказывал многим другим людям, а мне всегда хотелось верить, что Даннинг действительно был таким хорошим поэтом, каким его считал Эзра. Но для поэта он слишком метко швырял бутылки из-под молока. Впрочем, и Эзра, который был великим поэтом, прекрасно играл в теннис. Ивеп Шипмен, который был очень хорошим поэтом, искренне равнодушным к тому, будут ли напечатаны его стихи, полагал, что разгадку этой тайны искать не следует.

— Побольше бы нам подлинных тайн, Хем, — сказал он мне как-то. — Совершенно лишенный честолюбия писатель и по-настоящему хорошие неопубликованные стихи — вот чего нам сейчас не хватает больше всего. Есть еще, правда, такая проблема, как забота о хлебе насущном.

Его талант был таким же естественным, как узор из пыльцы па крыльях бабочки. Одно время он понимал это не больше, чем бабочка, и не заметил, как узор стерся и поблек. Позднее он понял, что крылья его повреждены, и понял, как они устроены, и научился думать, но летать больше не мог, потому что любовь к полетам исчезла, а в памяти осталось только, как легко ему леталось когда-то...

Когда я познакомился со Скоттом Фицджеральдом, произошло нечто очень странное. С ним много бывало странного, но именно этот случай врезался мне в память. Скотт пришел в бар «Динго» на улице Делаамбр, где я сидел с какими-то весьма малодостойными личностями, представился сам и представил нам своего спутника — высокого, симпатичного человека, знаменитого бейсболиста Данка Чаплина. Я не следил за принстонским бейсболом и никогда не слышал о Данке Чаплине, но он держался очень мило, спокойно и приветливо и понравился мне гораздо больше, чем Скотт.

В то время Скотт производил впечатление юнца скорее смазливого, чем красивого. Очень светлые волнистые волосы, высокий лоб, горящие, но добрые глаза и пежный ирландский рот с длинными губами — рот красавицы, будь он женским. У него был точеный подбородок, красивые уши и почти безупречно прямой нос. Лицо с таким носом едва ли можно было назвать смазливым, если бы не цвет лица, очень светлые волосы и форма рта. Этот рот рождал смутное беспокойство, пока вы не узнавали Скотта поближе, а тогда беспокойство усиливалось еще больше.

Мне уже давно хотелось познакомиться с ним. Весь этот день я напряженно работал, и мне показалось настоящим чудом, что в кафе появились Скотт Фицджеральд и великий Данк Чаплин, о котором я никогда не слышал, но который теперь стал моим другом. Скотт говорил не умолая, и так как его слова сильно меня смущали — он говорил только о моих произведениях и называл их гениальными, — я, вместо того чтобы слушать, внимательно его разглядывал. По нашей тогдашней этике похвала в глаза считалась прямым оскорблением. Скотт заказал шампанское, и он, Данк Чаплин и я распили его с кем-то из ма-

лодостойных личностей. Данк и я, вероятно, слушали речь Скотта не слишком внимательно — это была самая настоящая речь, — а я продолжал изучать Скотта. Он был худощав и не производил впечатления здоровяка, лицо его казалось слегка одутловатым. Костюм от братьев Брукс сидел на нем хорошо, он был в белой рубашке с пристежным воротничком и в гвардейском галстуке. Я подумал, не сказать ли ему про галстук — ведь в Париже жили англичане, и они могли зайти в «Динго», двое даже сейчас сидели здесь, — но потом подумал: «Ну его к черту, этот галстук». Позднее выяснилось, что он купил галстук в Риме.

Глядя на него, я почти ничего не открыл для себя, кроме того, что у него были красивые, энергичные руки, не слишком маленькие, а когда он сел на табурет у стойки, я заметил, что у него очень короткие ноги. Будь у него нормальные ноги, он был бы дюйма на два выше. Мы допили первую бутылку шампанского, припились за вторую, и красноречие Скотта начало иссякать.

Мы же с Данком почувствовали себя даже лучше, чем до шампанского, и было очень приятно, что речь подходит к концу. До тех пор я полагал, что сокровенная тайна о том, какой я гениальный писатель, известна только мне, моей жене и нашим близким знакомым. Я был рад, что Скотт пришел к тому же приятному выводу относительно моей потенциальной гениальности, но я был рад и тому, что красноречие его стало иссякать. Однако за речью последовали вопросы. Речь можно было не слушать и разглядывать его, а от вопросов спасения не было. Скотт, как я вскоре убедился, полагал, что романист может узнать все, что ему нужно, от своих друзей и знакомых. Вопросы он ставил в лоб.

— Эрнест, — сказал он, — вы не обидитесь, если я буду называть вас Эрнестом?

— Спросите у Данка, — сказал я.

— Не острите. Я говорю серьезно. Скажите, вы спали со своей женой до брака?

— Не знаю.

— То есть как не знаете?

— Не помню.

— Но как вы можете не помнить таких важных вещей?

— Не знаю, — сказал я. — Странно, не правда ли?

— Это более чем странно, — сказал Скотт. — Вы должны непременно вспомнить.

— Извините, не могу. Жаль, не правда ли?

— Оставьте вы эту английскую манеру выражаться, — сказал он. — Отнеситесь к делу серьезно и попробуйте вспомнить.

— Не выйдет, — сказал я. — Это безнадежно.

— Ну хоть попробуйте.

Его похвалы обходятся довольно дорого, решил я. И подумал было, что он ко всем новым знакомым обращается с подобной речью, но потом отказался от этой мысли: я видел, как он вспотел, пока говорил. На его длинной, безупречно ирландской верхней губе выступили мелкие капельки пота, — тогда я отвел глаза от его лица и прикинул длину его ног, которые он поджал, сидя на табурете у стойки. Теперь я снова посмотрел ему в лицо, и вот тут-то и произошла страшная вещь, о которой я упомянул вначале.

Пока он сидел у стойки с бокалом шампанского, кожа на лице его как бы натянулась, так что одутловатость исчезла, потом натянулась еще сильнее, и лицо стало похоже на череп. Глаза ввалились и остекленели, губы растянулись, краска отхлынула от щек, и они стали грязно-воскового цвета. Это не было игрой моего воображения. Его лицо действительно превратилось в череп или маску, спящую с покойника.

— Скотт, — сказал я. — Что с вами?

Он не ответил, лицо его осунулось еще больше.

— Надо отвезти его на пункт первой помощи, — сказал я Данку Чаплину.

— Незачем. Он вполне здоров.

— Похоже, что он умирает.

— Нет. Это его так разобрало.

Мы усадили его в такси, и я очень беспокоился, но Дэнк сказал, что все в порядке и беспокоиться нечего.

— Оп, наверно, совсем оправится, пока доберется до дома, — сказал он.

Так, видимо, и было, потому что когда через несколько дней я встретил его в «Клозери-де-Лиля» и сказал, что мне очень неприятно, что шампанское так на него подействовало — возможно, мы слишком быстро пили за разговором, — он сказал:

— Не понимаю. Какое шампанское? И как оно на меня подействовало? О чем вы говорите, Эрнест?

— О том вечере в «Динго».

— Со мной в «Динго» ничего не случилось. Просто

мне надоели эти омерзительные англичане, с которыми вы там были, и я ушел домой.

— При вас там не было ни одного англичанина. Только бармен.

— Ну что вы делаете из этого какие-то тайны? Вы знаете, о ком я говорю.

— А,— сказал я и подумал, что он вернулся в «Динго» позднее или на другой день. Но тут я вспомнил, что там действительно было двое англичан. Он был прав. Я вспомнил. Да, они действительно там были.— Да,— сказал я.— Конечно.

— Эта якобы титулованная грубиянка и этот пьяный болван с ней. Они сказали, что они ваши друзья.

— Это правда. И она действительно бывает иногда груба.

— Вот видите. Ни к чему делать тайны, если кто-то просто выпил несколько бокалов вина. Зачем вам это пужно? Я от вас этого не ожидал.

— Не знаю.— Мне хотелось переменить тему разговора. Но тут я вспомнил: — Они наговорили вам грубостей из-за вашего галстука?

— Почему они должны были говорить мне грубости из-за моего галстука? На мне был обыкновенный черный вязаный галстук и белая спортивная рубашка.

Тут я сдался, а он спросил, почему мне нравится это кафе, и я рассказал ему, каким оно было в прежние времена, и он начал впускать себе, что ему тут тоже нравится, и мы продолжали сидеть; я — потому что мне тут нравилось, а он — потому что впустил себе это. Он задавал вопросы и рассказывал мне о писателях и издателях, литературных агентах и критиках, и о Джордже Горации Лоримере, и всякие сплетни, и, рассказывая о материальной стороне жизни известного писателя, был циничен, остроумен, добродушен, обаятелен и мил, так что даже привычка противиться новым привязанностям не помогла мне. Он с некоторым пренебрежением, но без горечи говорил обо всем, что написал, и я понял, что его новая книга, должно быть, очень хороша, раз он говорит без горечи о недостатках предыдущих книг. Он хотел, чтобы я прочел его новую книгу «Великий Гэтсби», и обещал дать ее мне, как только ему вернут последний и единственный экземпляр, который он дал кому-то почитать. Слушая его, нельзя было даже заподозрить, как хороша эта книга,— на это указывало лишь смущение, отличающее всех несамовлюб-

ленных писателей, создавших что-то очень хорошее, и мне захотелось, чтобы ему поскорее вернули книгу и чтобы я мог поскорее ее прочесть.

Максуэлл Перкинс, сказал он, пишет, что книга расходуется плохо, но что она получила очень хорошую прессу. Не помню, в тот ли день или позднее он показал мне предельно хорошую рецензию Гилберта Селдеса. Она могла бы быть лучше, только если бы сам Гилберт Селдес был лучше. Скотт был озадачен и расстроен тем, что книга расходуется плохо, но, как я говорил, в словах его не было горечи — он лишь радовался и смущался, оттого что книга ему так удалась.

В тот день, когда мы сидели на открытой террасе «Лида» и наблюдали, как сгущаются сумерки, как идут по тротуару люди, как меняется серое вечернее освещение, два виски с содовой, которые мы выпили, не вызвали в Скотте никакого изменения. Я настороженно ждал, но ничего не произошло, и Скотт не задавал бесцеремонных вопросов, не ставил никого в неловкое положение, не произносил речей и вел себя как нормальный, умный и обаятельный человек.

Он рассказал, что им с Зельдой, его женой, пришлось из-за плохой погоды оставить свой маленький «репо» в Лионе, и спросил, не хочу ли я поехать с ним поездом в Лион, чтобы забрать машину и вернуться на ней в Париж. Фицджеральды сняли меблированную квартиру на улице Тильзит, 14, недалеко от площади Звезды. Был копец весны, и я подумал, что во Франции это самое красивое время года и поездка может быть отличной; Скотт казался таким милым и разумным, и на моих глазах он выпил две большие рюмки чистого виски, и ничего не случилось, и он был так обаятелен и так разумно вел себя, что вечер в «Динго» стал казаться неприятным сном. Поэтому я сказал, что с удовольствием поеду с ним в Лион.

Мы условились встретиться на следующий день и договорились, что поедem в Лион утренним экспрессом. Этот поезд отходил в удобное время и шел очень быстро. У него была только одна остановка — насколько я помню, в Дижоне. Мы намеревались приехать в Лион, проверить и привести в порядок машину, отлично поужинать, а рано утром отправиться обратно, в Париж.

Мысль об этой поездке приводила меня в восторг. Я буду находиться в обществе старшего, известного писателя и из разговоров в машине, несомненно, узнаю много по-

лезного. Странно вспоминать, что я думал о Скотте как о писателе старшего поколения, но в то время я еще не читал его роман «Великий Гэтсби», и он казался мне гораздо старше. Я знал, что он пишет рассказы для «Сатердей ивнинг пост», которые широко читались три года назад, но никогда не считал его серьезным писателем. В «Клостери-де-Лила» он рассказал мне, как писал рассказы, которые считал хорошими — и которые действительно были хорошими, — для «Сатердей ивнинг пост», а потом перед отсылкой в редакцию переделывал их, точно зная, с помощью каких приемов их можно превратить в ходкие журнальные рассказы. Меня это возмутило, и я сказал, что, по-моему, это проституирование. Он согласился, что это проституирование, но сказал, что вынужден так поступать, потому что журналы платят ему деньги, необходимые, чтобы писать настоящие книги. Я сказал, что, по-моему, человек губит свой талант, если пишет хуже, чем он может писать. Скотт сказал, что сначала он пишет настоящий рассказ, и то, как он потом его изменяет и портит, не может ему повредить. Я не верил этому и хотел переубедить его, но, чтобы подкрепить свою позицию, мне нужен был хоть один собственный роман, а я еще не написал ни одного романа. С тех пор как я изменил свою манеру письма и начал избавляться от приглаголивания и попробовал создавать, вместо того чтобы описывать, писать стало радостью. Но это было отчаянно трудно, и я не знал, смогу ли написать такую большую вещь, как роман. Нередко на один абзац уходило целое утро.

Хэдли, моя жена, очень обрадовалась, узнав про пашу поездку, хотя и не относилась серьезно к тем произведениям Скотта, которые прочитала. Ее идеалом хорошего писателя был Генри Джеймс. Но она считала, что мне не мешает отдохнуть от работы и поехать, хотя мы тут же пожалели, что не можем купить автомобиль и поехать вдвоем. Тогда я и представить себе не мог, что это когда-нибудь станет возможным. Я получил аванс в двести долларов от издательства «Бони и Ливрайт» за первую книгу рассказов, которая должна была выйти в Америке осенью, я продавал рассказы «Франкфуртер цейтунг», и берлинскому журналу «Квершнитт», и парижским изданиям «Куортер» и «Трансатлантик ревью», и мы жили очень экономно и позволяли себе только самые необходимые расходы, чтобы скопить денег и в июле поехать на *feria* в Намплону, а потом в Мадрид и на *feria* в Валенсию.

В то утро, когда мы условились встретиться на Лионском вокзале, я приехал туда заблаговременно и стал ждать Скотта у выхода на перрон. Он должен был принести билеты. Время отправления поезда подошло, а он все не появлялся, и я купил перронный билет и пошел вдоль состава, надеясь его увидеть. Его не было, а экспресс должен был вот-вот тронуться, и я вскочил в вагон и прошел по всему поезду, рассчитывая, что он все-таки здесь. Состав был длинный, но Скотта я не нашел. Я объяснил кондуктору, в чем дело, заплатил за билет второго класса — третьего не оказалось — и спросил у кондуктора, какой отель в Лионе считается лучшим. У меня не было другого выбора, и я телеграфировал Скотту из Дижона, сообщив адрес лионского отеля, где буду его ждать. Я понимал, он не успеет получить телеграмму до отъезда, но рассчитывал, что его жена перешлет ее ему. Я никогда прежде не слышал, чтобы взрослый человек опаздывал на поезд, однако за эту поездку мне предстояло узнать много нового.

Характер у меня был тогда очень скверный и вспыльчивый, но к тому времени, когда мы проехали Монтеро, я несколько успокоился и злость уже не мешала мне любоваться видами за окном вагона, а в полдень я хорошо поел в вагоне-ресторане, выпил бутылку «сент-эмильона» и решил, что, даже если я свалю дурака, приняв приглашение участвовать в поездке, которую должен был оплатить кто-то другой, а в результате трачу деньги, которые нужны нам на путешествие в Испанию, это будет мне хорошим уроком. Я никогда раньше не соглашался поехать куда-либо за чужой счет, а всегда платил за себя и на этот раз тоже настоял, чтобы гостиницы и еду мы оплачивали пополам. Но теперь я даже не знал, приедет ли Фицджеральд вообще. От злости я разжаловал его из Скотта в Фицджеральда. Позднее я был очень доволен, что исчерпал всю злость вначале. Эта поездка была не для человека, которого легко разозлить.

В Лионе я узнал, что Скотт выехал из Парижа в Лион, но не предупредил, где остановится. Я повторил свой лионский адрес, и горничная сказала, что передаст ему, если он позвонит. Мадам нездоровится, и она еще спит. Я позвонил во все большие отели и сообщил свой адрес, но Скотта не разыскал и пошел в кафе выпить аперитив и почитать газеты. В кафе я познакомился с человеком, который зарабатывал на жизнь тем, что глотал огонь, а также большим и указательным пальцами сгибал монеты,

нажав их в беззубых челюстях. Он показал мне свои десны — они были воспалены, но казались крепкими, и он сказал, что это неплохое *métier*¹. Я пригласил его выпить со мной, и он с удовольствием согласился. У него было тонкое смуглое лицо, и оно светилось и сияло, когда он глотал огонь. Он сказал, что в Лионе умение глотать огонь и демонстрировать чудеса силы с помощью пальцев и челюстей не приносит большого дохода. Псевдоглотатели огня погубили его *métier* и будут губить и впредь повсюду, где им будет разрешено выступать. Он глотал огонь весь вечер, сказал он, и все же у него нет денег даже на глоток чего-нибудь посущественнее. Я предложил ему выпить еще рюмку, чтобы смыть привкус бензина, оставшийся от глотания огня, и сказал, что мы могли бы поужинать вместе, если он знает хорошее и достаточно дешевое место. Он сказал, что знает отличное место.

Мы очень недорого послали в алжирском ресторане, и мне понравилась еда и алжирское вино. Пожиратель огня был симпатичным человеком, и было интересно наблюдать, как он ест, потому что он жевал деснами не хуже, чем большинство людей зубами. Он спросил, чем я зарабатываю на жизнь, и я ответил, что пробую стать писателем. Он спросил, что я пишу, и я ответил, что рассказы. Он сказал, что знает много историй, более ужасных и невероятных, чем все написанное до сих пор. Он может рассказать их мне, чтобы я их записал, а потом, если за них заплатят, я по-честному отдам ему его долю. А еще лучше поехать вместе в Северную Африку, и он поможет мне добраться до страны Синего султана, где я добуду такие истории, каких не слышал еще ни один человек.

Я спросил его, что это за истории, и он сказал: битвы, казни, пытки, насилия, жуткие обычаи, невероятные обряды, оргии — словом, такое, что мне может пригодиться. Пора было возвращаться в отель и снова попробовать найти Скотта, и я заплатил за ужин и сказал, что мы наверняка еще как-нибудь встретимся. Он сказал, что думает добраться до Марселя, а я сказал, что рано или поздно мы где-нибудь встретимся и что мне было очень приятно поужинать с ним. Он принялся распрямлять согнутые монеты и складывать их столбиком на столе, а я пошел в отель.

Лион по вечерам не очень веселый город. Это большой,

¹ Ремесло (*фр.*). /

неторопливый денежный город,— возможно, прекрасный город, если у вас есть деньги и вам нравятся такие города. Я уже давно слышал о замечательных дыпятах в лионских ресторанах, но мы ели не дыплят, а баранину. Баранина была отличная.

Скотт не подавал признаков жизни, и я улегся в постель среди непривычной гостиничной роскоши и припаялся читать первый том «Записок охотника» Тургенева, который взял в библиотеке Сильвии Бич. Впервые за три года я оказался среди роскоши большого отеля, широко распахнул окна, и подложил подушки под плечи и голову, и был счастлив, бродя с Тургеневым по России, пока не уснул с книгой в руках. Когда утром я брился перед завтраком, позвонил портюе и сказал, что впизу меня ждет какой-то господин.

— Пожалуйста, попросите его подняться в номер,— сказал я и продолжал бриться, прислушиваясь к шуму города, который уже давно неторопливо просыпался.

Скотт не поднялся ко мне в номер, и я спустился к пому в холл.

— Мне ужасно неприятно, что произошло такое недоразумение,— сказал он.— Если бы я знал, в какой гостинице вы собираетесь остановиться, все было бы просто.

— Ничего страшного,— сказал я; нам предстояла длительная совместная поездка, и я предпочитал мирные отношения.— Каким поездом вы приехали?

— Вскоре после вашего. Это очень удобный поезд, и мы могли бы прекрасно поехать на нем вместе.

— Вы завтракали?

— Нет еще. Я рыскал по всему городу, ища вас.

— Очень досадно,— сказал я.— Разве дома вам не сказали, что я здесь?

— Нет. Зельда неважно себя чувствует, и мне, вероятно, не следовало ехать. Пока все это путешествие складывается крайне неудачно.

— Давайте позавтракаем, отыщем машину и тропем-ся в путь,— сказал я.

— Отлично. Завтракать будем здесь?

— В кафе было бы быстрее.

— Но зато здесь, несомненно, хорошо кормят.

— Ну ладно.

Это был обильный завтрак на американский манер — с яичницей и ветчиной, очень хороший. Пока мы заказывали его, ждали, ели и снова ждали, чтобы расплатиться,

прошел почти час. А когда официант принес счет, Скотт решил заказать корзину с провизией на дорогу. Я пытался отговорить его, так как был уверен, что в Маконе мы сможем купить бутылку макона, а для бутербродов раздобудем что-нибудь в charcuterie¹. Или же, если к тому времени все будет закрыто, по пути сколько угодно ресторанов, где можно перекусить. Но он сказал, что, по моим же словам, в Лионе прекрасно готовят цыплят и нам непременно надо захватить с собой цыпленка. В конце концов отель снабдил нас на дорогу провизией, которая обошлась в четыре-пять раз дороже, чем если бы мы купили ее сами.

Скотт, несомненно, выпил, прежде чем зайти за мной, и, судя по его виду, ему надо было выпить еще, так что я спросил, не хочет ли он зайти в бар, прежде чем двинуться в путь. Он сказал, что по утрам не пьет, и спросил, пью ли я. Я ответил, что это зависит только от того, какое у меня настроение и что мне предстоит делать, а он сказал, что если у меня есть настроение, то он составит мне компанию, чтобы я не пил в одиночестве. Так что, ожидая, пока будет готова корзина с провизией, мы выпили по виски с минеральной водой, и настроение у нас обоих стало заметно лучше.

Я заплатил за номер и виски, хотя Скотт хотел платить за все. С самого начала поездки мне было как-то не по себе, и я убедился, что чувствую себя гораздо лучше, когда плачу за все сам. Я тратил деньги, которые мы накопили для Испании, но я знал, что Сильвия Бич всегда даст мне в долг и я смогу восполнить то, что истрачу сейчас.

В гараже, где Скотт оставил свою машину, я с удивлением обнаружил, что у его маленького «рено» нет крышки. Ее помяли в Марселе при выгрузке или еще где-то, и Зельда вслепую убрала ее совсем и не позволила поставить новую. Скотт объяснил, что его жена вообще терпеть не может закрытые машины, что они доехали так до Лиона, а тут их задержал дождь. В остальном машина была в хорошем состоянии, и Скотт заплатил по счету, предварительно попытавшись оспорить стоимость мойки, смазки и заливки двух литров масла. Механик в гараже объяснил мне, что нужно было бы сменить поршневые кольца, так как автомобиль, очевидно, недостаточно заправляли маслом и водой. Он показал мне, что мотор перегревался и на нем обгорела краска. Механик добавил, что если я смогу

¹ Мясной магазин (фр.).

убедить мосье сменить в Париже кольца, то автомобиль — отличная маленькая машина — будет служить так, как ему положено.

— Мосье не разрешил мне поставить новую крышу, — сказал механик.

— Да?

— Машины нужно уважать.

— Конечно.

— Вы не захватили плащей?

— Нет, — сказал я. — Я не знал про крышу.

— Постарайтесь заставить мосье быть серьезным, — умоляюще сказал механик. — Хотя бы по отношению к машине.

— М-м, — сказал я.

Дождь захватил нас примерно через час к северу от Лиона.

В тот день мы раз десять останавливались из-за дождя. Это были внезапные ливни, иногда довольно затяжные. Если бы у нас были плащи, то ехать под этим весенним дождем было бы даже приятно. Но теперь нам пришлось прятаться под деревьями или останавливаться у придорожных кафе. У нас была с собой великолепная еда из лионского отеля, отличный жареный цыпленок с трюфелями, великолепный хлеб и белое маконское вино. И Скотт с большим удовольствием пил его при каждой остановке. В Маконе я купил еще четыре бутылки красного вина и откупоривал их по мере надобности.

Возможно, Скотт впервые пил вино прямо из горлышка, а потому испытывал радостное возбуждение, как человек, когда знакомится с жизнью притонов, или как девушка, которая впервые решила искупаться без купального костюма. Но вскоре после полудня он стал беспокоиться о своем здоровье. Он рассказал мне о двух людях, которые недавно умерли от воспаления легких. Оба они умерли в Италии, и он был глубоко потрясен этим.

Я сказал ему, что воспаление легких — это просто старинное название пневмонии, а он ответил, что я ничего в этом не смыслю и совершенно не прав. Воспаление легких — это сугубо европейская болезнь, и я не могу ничего о ней знать, даже если читал медицинские книги своего отца, поскольку в них рассматривались только чисто американские болезни. Я сказал, что мой отец учился и в Европе. Но Скотт заявил, что воспаление легких появилось в Европе только недавно и мой отец не мог ничего о

нем знать. Он, кроме того, заявил, что в разных частях Америки болезни бывают разные и если бы мой отец практиковал в Нью-Йорке, а не на Среднем Западе, то он бы знал совершенно другую гамму болезней. Он так и сказал: «гамму».

Я сказал, что в одном он прав: в одной части Соединенных Штатов встречаются болезни, которые отсутствуют в другой, и привел в пример относительно высокую заболеваемость проказой в Новом Орлеане и низкую — в Чикаго. Но я сказал, что врачи имеют обыкновение обмениваться знаниями и информацией, и теперь, когда он говорил об этом, я вспоминаю, что читал в «Журнале американской медицинской ассоциации» авторитетную статью о воспалении легких в Европе, где история этой болезни прослеживалась до дней самого Гиппократы. Это на время заставило его умолкнуть, и я уговорил его выпить еще макона, утверждая, что хорошее белое вино с пизким содержанием алкоголя — апробированное средство против этой болезни.

После этого Скотт немного повеселел, но скоро снова впал в уныние и спросил, успеем ли мы добраться до большого города, прежде чем у него начнется жар и бред, которые, как я ему уже сказал, являются симптомами настоящего, европейского воспаления легких. Тогда я рассказал ему содержание статьи о той же болезни во французском журнале, которую прочел, пока ждал в американском госпитале в Шейи очереди на ингаляцию. Слово «ингаляция» несколько успокоило Скотта. Но он опять спросил, когда мы доберемся до города. Я сказал, что если мы поедем без остановок, то будем там минут через двадцать пять, словом, в пределах часа.

Потом Скотт спросил меня, боюсь ли я умереть, и я сказал, что иногда боюсь, а иногда не очень.

К этому времени начался сильный дождь, и мы укрылись в ближайшей деревне в кафе. Я не помню всех подробностей этого вечера, но когда мы наконец попали в гостиницу, — кажется, это было в Шалоне-па-Соне, — было так поздно, что все аптеки уже закрылись. Как только мы добрались до гостиницы, Скотт разделся и лег в постель. Он не возражает умереть от воспаления легких, сказал он. Единственное, что его тревожит, — это кто позаботится о Зельде и маленькой Скотти. Я не очень представлял себе, как сумею заботиться о них, поскольку мне приходилось заботиться о моей жене Хэдди и маленьком Бамби, и

этого было вполне достаточно, однако я сказал, что сделаю все, что в моих силах, и Скотт поблагодарил меня. Я должен следить за тем, чтобы Зельда не пила и чтобы у Скотти была английская гувернантка.

Мы отдали просушить нашу одежду и были теперь в пижамах. Скотт лежал в постели, чтобы набраться сил для единоборства с болезнью. Я пощупал его пульс — семьдесят два в минуту, и потрогал лоб — холодный. Я выслушал его и велел ему дышать поглубже, но ничего необычного не услышал.

— Знаете, Скотт,— сказал я.— У вас все в порядке. Но чтобы не простудиться, полежите немного, а я закажу лимонного сока и виски, и вы еще примете аспирин, и будете чувствовать себя прекрасно, и даже обойдетесь без пасморка.

— Все это бабкины средства,— сказал Скотт.

— У вас нет никакой температуры. А воспаление легких, черт подери, без температуры не бывает.

— Не ругайтесь,— сказал Скотт.— Откуда вы знаете, что у меня нет температуры?

— Пульс у вас нормальный и лоб на ощупь холодный.

— На ощупь,— сказал Скотт с горечью.— Если вы мне настоящий друг, достаньте термометр.

— Но ведь я в пижаме.

— Тогда пошлите за ним.

Я позвонил коридорному. Он не пришел, и я позвонил снова, а потом вышел, чтобы разыскать его. Скотт лежал, закрыв глаза, и дышал медленно и размеренно,— восковая кожа и правильные черты лица делали его похожим на маленького мертвого крестоносца. Мне начинала надоедать эта литературная жизнь — если это была литературная жизнь,— и мне не хватало ощущения проделанной работы, и на меня уже напала смертная тоска, которая наваливается в конце каждого напрасно прожитого дня. Мне очень надоел Скотт и вся эта глупая комедия, но я разыскал коридорного, и дал ему денег на термометр и аспирин, и заказал два *citron pressés*¹ и два двойных виски. Я хотел заказать бутылку виски, но виски продавали только в розлив.

Когда я вернулся в номер, Скотт все еще лежал, как изваяние на собственном надгробии,— глаза его были закрыты, и он дышал с невозмутимым достоинством.

¹ Лимонный сок (*фр.*).

Услышав, что я вошел в номер, он спросил:

— Вы достали термометр?

Я подошел и положил руку ему на лоб. Ото лба не веяло могильным холодом. Но он был прохладным и сухим.

— Нет, — сказал я.

— Я думал, что вы его принесете.

— Я послал за ним.

— Это не одно и то же.

— Да. Совсем, не так ли?

На Скотта нельзя было сердиться, как нельзя сердиться на сумасшедшего, и я начинал сердиться на себя за то, что ввязался в эту глупую историю. Впрочем, я понимал, почему он ведет себя так. В те дни большинство пьяниц умирало от пневмонии — болезни, которая сейчас почти безопасна. Но считать Скотта пьяницей было трудно, поскольку на него действовали даже ничтожные дозы алкоголя.

В Европе в те дни мы считали вино столь же полезным и естественным, как еду, а кроме того, оно давало ощущение счастья, благополучия и радости. Вино пили не из снобизма и не ради позы, и это не было культом: пить было так же естественно, как есть, а мне — так же необходимо, и я не стал бы обедать без вина, сидра или пива. Мне нравились все вина, кроме сладких, сладковатых или слишком терпких, и мне даже в голову не пришло, что те несколько бутылок очень легкого, сухого белого макона, которые мы распили, могли вызвать в Скотте химические изменения, превратившие его в дурака. Правда, утром мы пили виски с минеральной водой, но я тогда еще ничего не знал об алкоголиках и не мог себе представить, что рюмка виски может так сильно подействовать на человека, едущего в открытой машине под дождем. Алкоголь должен был бы очень скоро выветриться.

Ожидая коридорного, я сидел и читал газету, допивая бутылку макона, которую мы откупорили на последней остановке. Во Франции всегда найдется в газете какое-нибудь потрясающее преступление, за распутыванием которого можно следить изо дня в день. Эти отчеты читаются как романы, но, чтобы получить удовольствие, необходимо знать содержание предыдущих глав, поскольку французские газеты, в отличие от американских, не печатают краткого изложения предшествующих событий; moreover, и американские романы с продолжением читать неинтересно, если не знать, о чем говорилось в самой важной

первой главе. Когда путешествуешь по Франции, газеты во многом утрачивают свою прелесть, поскольку прерывается последовательное изложение всяческих crimes, affaires или scandales¹ и пропадает то удовольствие, которое получаешь, когда читаешь о них в кафе. Я предпочел бы сейчас оказаться в кафе, где мог бы читать утренние выпуски парижских газет, и смотреть на прохожих, и пить перед ужином что-нибудь посолиднее макона. Но у меня на руках был Скотт, и я довольствовался тем, что есть.

Тут явился коридорный с двумя стаканами лимонного сока со льдом, виски и бутылкой минеральной воды «перье» и сказал мне, что аптека уже закрылась и он не смог купить термометр. Но аспирин он у кого-то одолжил. Я спросил, не может ли он одолжить и термометр. Скотт открыл глаза и бросил на коридорного злобный прландский взгляд.

— Вы объяснили ему, насколько это серьезно?

— Мне кажется, он понимает.

— Пожалуйста, постарайтесь ему втолковать.

Я постарался, и коридорный сказал:

— Попробую что-нибудь сделать.

— Достаточно ли вы дали ему на чай? Они работают только за чаевые.

— Я этого не знал,— сказал я.— Я думал, что гостиница тоже им платит.

— Я хотел сказать, что они ничего для вас не сделают без приличных чаевых. Почти все они отъявленные мерзавцы.

Я вспомнил Ивена Шипмена и официанта из «Клозе-ри-де-Лила», которого заставили сбрить усы, когда в «Клозе-ри» открыли американский бар, и подумал о том, как Ивен работал у него в саду в Монруже задолго до того, как я познакомился со Скоттом, и как мы все давно и хорошо дружили в «Лила», и какие там произошли перемены, и что они означали для всех нас. Я хотел бы рассказать Скотту о том, что происходит в «Лила», хотя, вероятно, уже раньше говорил ему об этом, но я знал, что его не трогают ни официанты, ни их беды, ни их доброта и привязанность. В то время Скотт ненавидел французов, а так как общаться ему приходилось преимущественно с официантами, которых он не понимал, с шоферами такси, слу-

¹ Преступления, мошенничества, скандалы (фр.).

жащими гаражей и хозяевами квартир, он находил немало возможностей оскорблять их.

Еще больше, чем французов, он ненавидел итальянцев и не мог говорить о них спокойно, даже когда был трезв. Англичан он тоже ненавидел, но иногда терпел их, относился к ним снисходительно, а изредка и восхищался ими. Не знаю, как он относился к немцам и австрийцам. Возможно, тогда ему еще не доводилось с ними сталкиваться, как и со швейцарцами.

В тот вечер в гостинице я только радовался, что он так спокоен. Я приготовил ему лимонад с виски и дал проглотить две таблетки аспирина — он проглотил их удивительно спокойно и беспрекословно, а потом стал потягивать виски. Его глаза были теперь открыты и устремлены куда-то в пространство. Я читал отчет о преступлении на внутреннем развороте газеты, и мне было очень хорошо.

— А вы бессердечны, не правда ли? — спросил Скотт, и, взглянув на него, я понял, что, возможно, не ошибся в диагнозе, но, уж во всяком случае, дал ему не то лекарство, и виски работало против нас.

— Почему же, Скотт?

— Вот вы можете сидеть и читать эту паршивую французскую газетенку, и вам все равно, что я умираю.

— Хотите, чтобы я вызвал врача?

— Нет. Я не хочу иметь дело с грязным провинциальным французским врачом.

— А чего же вы хотите?

— Я хочу измерить температуру. Потом я хочу, чтобы мою одежду высушили и мы могли бы уехать экспресом в Париж, а там сразу отправиться в американский госпиталь в Нейи.

— Наша одежда не высохнет до утра, а экспрессы тут не останавливаются, — сказал я. — Попробуйте отдохнуть, а потом поужинаете в постели.

— Я хочу измерить температуру.

Это продолжалось довольно долго — до тех пор, пока коридорный не принес термометр.

— Неужели других не было? — спросил я.

Когда коридорный вошел, Скотт закрыл глаза и стал впрямь похож на умирающую Камиллу. Я никогда не видел, чтобы у человека так быстро отливала кровь от лица, и не мог понять, куда она девается.

— Других в гостинице нет, — сказал коридорный и подал мне термометр. Это был ванный градусник в деревян-

ном корпусе с металлическим грузилом. Я хлебнул виски и, распахнув окно, секунду глядел на дождь. Когда я обернулся, оказалось, что Скотт пристально смотрит на меня.

Я профессионально стряхнул термометр и сказал:

— Ваше счастье, что это не анальный термометр.

— А этот куда ставят?

— Под мышку,— сказал я и сунул его себе под руку.

— Не надо, а то он будет неправильно показывать,— сказал Скотт.

Я снова одним резким движением стряхнул термометр, расстегнул Скотту пижаму, поставил термометр ему под мышку, а потом пощупал его холодный лоб и снова проверил пульс. Он глядел прямо перед собой. Пульс был семьдесят два. Я заставил его держать термометр четыре минуты.

— Я думал, его держат всего минуту,— сказал Скотт.

— Это большой термометр,— объяснил я.— Нужно помножить на квадрат всей площади термометра. Это термометр Цельсия.

В конце концов я вынул термометр и поднес его к лампе, стоявшей на столе.

— Сколько?

— Тридцать семь и шесть.

— А какая нормальная?

— Это и есть нормальная.

— Вы уверены?

— Уверен.

— Проверьте на себе. Я должен знать точно.

Я стряхнул термометр, расстегнул пижаму, сунул термометр под мышку и заметил время. Потом я вынул его.

— Сколько?

Я внимательно поглядел на термометр.

— Точно такая же.

— А как вы себя чувствуете?

— Великолепно,— сказал я.

Я пытался вспомнить, нормальная ли температура тридцать семь и шесть. Но это не имело ни малейшего значения, потому что термометр все это время показывал тридцать.

Скотт что-то заподозрил, и я предложил ему поставить термометр еще раз.

— Не надо,— сказал он.— Можно лишь радоваться, что все так быстро прошло. Я всегда выздоравливаю чрезвычайно быстро.

— Вы молодец,— сказал я.— Но мне кажется, вам все-таки лучше полежать в постели и съесть легкий ужин, а рано утром мы сможем двинуться в путь.

У меня было намерение купить нам обоим плащи, но для этого пришлось бы занимать деньги у Скотта, а мне не хотелось сейчас пререкаться с ним по этому поводу.

Скотт не хотел лежать в постели. Он хотел встать, одеться, спуститься вниз и позвонить Зельде, чтобы она знала, что с ним ничего не случилось.

— А почему она должна думать, что с вами что-то случилось?

— Это первая ночь за время нашего брака, когда я буду спать вдали от нее, и мне необходимо поговорить с ней. Неужели вы не можете понять, что это значит для нас обоих?

Это я мог понять, хоть и не понимал, каким образом они с Зельдой ухитрились спать вместе прошлой ночью. Однако спрашивать было бы бесполезно. Скотт залпом допил виски с лимонным соком и попросил меня заказать еще.

Я нашел коридорного, возвратил ему термометр и спросил, высохла ли наша одежда. Он сказал, что она высохнет примерно через час.

— Попросите прогладить ее. Не страшно, если она будет чуть влажной.

Коридорный принес две рюмки противопростудного напитка, и, прихлебывая из своей, я уговаривал Скотта не торопиться и пить маленькими глотками. Теперь я серьезно беспокоился, что он может простудиться,— я уже понимал, что если он схватит настоящую простуду, то его, наверно, придется везти в больницу. Но, выпив, он на какое-то время почувствовал себя прекрасно и был счастлив, что переживает такую трагедию, когда он и Зельда впервые после свадьбы проводят ночь не вместе. Наконец он захотел во что бы то ни стало позвонить ей сейчас же, и надел халат, и отправился вниз заказывать разговор.

Париж обещали дать не сразу, и вскоре после того, как Скотт вернулся в номер, явился коридорный с двумя новыми рюмками виски с лимонным соком. Впервые при мне Скотт выпил так много, но это почти не подействовало на него, и он только оживился, и стал разговорчивым, и начал рассказывать, как складывалась его жизнь с Зельдой. Он рассказал, как познакомился с ней во время войны, как потерял ее и как снова завоевал ее любовь, и

об их браке, и о чем-то ужасном, что произошло с ними в Сан-Рафаэле примерно год назад. Этот первый вариант его рассказа о том, как Зельда и французский морской летчик влюбились друг в друга, был по-настоящему печален, и я думаю, это была правда. Позже он рассказывал мне другие варианты того же самого, словно прикидывал, какой может подойти для романа, но ни один не был таким грустным, как первый, и я до конца верил именно в первый вариант, хотя любой из них мог быть правдой. Каждый раз он рассказывал с большим искусством, но ни один вариант не трогал так, как первый.

Скотт был очень хорошим рассказчиком. Здесь ему не приходилось следить за орфографией или расставлять знаки препинания, и эти рассказы, в отличие от его невыправленных писем, не вызвали ощущения безграмотности. Мы были знакомы уже два года, когда он наконец научился писать мою фамилию правильно, но, конечно, это очень длинная фамилия, и, возможно, писать ее с каждым разом становилось все труднее, и ему делает большую честь то, что в конце концов он научился писать ее правильно. Он научился правильно писать и гораздо более важные вещи и старался логично мыслить об очень многом.

Но в тот вечер он хотел, чтобы я узнал, понял и оценил то, что произошло тогда в Сан-Рафаэле, и я увидел все это удивительно ясно: одноместный гидроплан, низко пролетающий над мостками для прыжков в воду, и цвет моря, и форму поплавков гидроплана, и тень, которую они отбрасывали, и загар Зельды, и загар Скотта, и их головы, темно-русую и светло-русую, и загорелое лицо юноши, влюбленного в Зельду. Я не мог задать вопроса, который не выходил у меня из головы: если рассказ его был правдой и все это было, как мог Скотт каждую ночь спать в одной постели с Зельдой? Но, может быть, именно потому эта история и была самой печальной из всех, которые я когда-либо слышал; а может быть, он просто забыл, как забыл про прошлую ночь.

Нам принесли нашу одежду до того, как Париж ответил, и мы оделись и пошли вниз ужинать. Скотт петвердо держался на ногах и воинственно косился на окружающих. Сначала нам подали очень хороших улиток и графин флеры, но мы не успели съесть и половины, как Скотта вызвали к телефону. Его не было около часа, и в конце концов я доел его улиток, макая кусочки хлеба в соус из растопленного масла, чеснока и петрушки, и допил графин

флери Когда он вернулся, я предложил заказать еще улиток, но он сказал, что не хочет. Ему хотелось чего-нибудь простого. Он не хотел ни бифштекса, ни печенки, ни грудинки, ни омлета. Он потребовал цыпленка. Днем мы съели вкусного холодного цыпленка, но и здешние места славились своими курами, так что мы заказали *poularde de Bresse*¹ и бутылку монпаньи — местного белого вина, легкого и приятного. Скотт ел мало и никак не мог донести бокал вина. Потом положили голову на руки и перестал сознавать окружающее. Это не было притворством, рассчитанным на эффект, и даже казалось, что он прилагает огромные усилия не расплескать и не разбить чего-нибудь. Мы с коридорным отвели его наверх, в номер, и положили на кровать, и я снял с него все, кроме белья, повесил его одежду, а потом выдернул из-под него покрывало и укутал его. Я открыл окно, увидел, что дождь кончился, и оставил окно открытым.

Я спустился вниз и доел ужин, думая о Скотте. Ему, несомненно, нельзя было пить, а я плохо смотрел за ним. Алкоголь даже в самом малом количестве действовал на него крайне возбуждающе, а потом отравлял его, и я решил, что завтра пить мы не будем. Я скажу ему, что скоро мы будем в Париже и мне нужно войти в форму, чтобы писать. Это была неправда. Мне было достаточно не пить после обеда, перед тем как садиться писать, и во время работы. Я поднялся наверх, распахнул все окна, разделся и моментально заснул.

На следующий день выдалась чудесная погода, и мы ехали в Париж через Кот-д'Ор, дыша воздухом и глядя на обновленные холмы, поля и виноградники, и Скотт был очень весел, отлично себя чувствовал и рассказывал мне обо всех книгах Майкла Арлена подряд. Майкл Арлен, сказал он, человек, достойный внимания, и мы оба можем многому у него научиться. Я сказал, что не могу читать его книг. Он сказал, что мне и не нужно их читать. Он перескажет мне фабулы и опишет действующих лиц. Это была устная диссертация о творчестве Майкла Арлена.

Мы расстались у его дома, я на такси вернулся на свою лесопилку, и у меня была чудесная встреча с женой, и мы пошли в «Клозери-де-Лила» немножко выпить. Мы были счастливы, как дети, которые долго были врозь, а теперь опять вместе, и я рассказывал ей о поездке.

¹ Пулярка по-бресски (фр.).

— И тебе было скучно, и ты не узнал ничего интересного, Тэти? — спросила она.

— Я мог бы многое узнать о Майкле Арлене, если бы слушал. А потом, я узнал такое, в чем еще не разобрался.

— Неужели Скотт так несчастен?

— Возможно.

— Бедный

— Но одно все-таки я узнал.

— Что?

— Путешествуй только с теми, кого любишь.

— И это уже кое-что.

— Да. И мы едем в Испанию.

— Да. И до отъезда осталось меньше полутора месяцев. И уж в этом году мы никому не позволим нам все испортить, правда?

— Правда. А из Памплоны мы поедem в Мадрид, а потом в Валенсию.

— М-м-м-м,— промурлыкала она, как котенок.

— Бедный Скотт,— сказал я.

— Все бедные,— сказала Хэдли,— богаты легкомыслием, но без гроша в кармане.

— Нам страшно везет.

— Надо вести себя хорошо, чтобы не упустить удачу.

Мы постучали по столику, чтобы не сглазить, и официант подошел узнать, что нам нужно. Но того, что было нам нужно, ни официант, ни кто другой, ни прикосновение к дереву или к мрамору — столик был мраморный — дать нам не могли. Однако в тот вечер мы этого не знали и были счастливы.

Через день или два после нашей поездки Скотт принес мне свою книгу. На ней была пестрая суперобложка, и я помню, мне стало как-то неловко, что она такая броская, безвкусная, скользкая. Она была похожа на суперобложку плохого научно-фантастического романа. Скотт просил меня не обращать на это внимания: она подсказана рекламным щитом на шоссе в Лонг-Айленде, который играет важную роль в сюжете. Он сказал, что раньше ему суперобложка нравилась, а теперь нет. Перед тем как читать, я снял ее.

Когда я дочитал эту книгу, я понял, что, как бы Скотт ни вел себя и что бы он ни делал, я должен помнить, что это болезнь, и помогать ему, и стараться быть ему хорошим другом. У него было много, очень много хороших друзей, больше, чем у кого-либо из моих знакомых. Но я вклю-

чил себя в их число, не думая, пригожусь я ему или нет. Если он мог написать такую великолепную книгу, как «Великий Гэтсби», я не сомневался, что он может написать и другую, которая будет еще лучше. Тогда я еще не был знаком с Зельдой и потому не знал, как страшно все складывалось против него. Но мы убедились в этом раньше, чем нам бы хотелось.

ЯСТРЕБЫ НЕ ДЕЛЯТСЯ ДОБЫЧЕЙ

Скотт Фицджеральд пригласил нас пообедать с ним, его женой Зельдой и маленькой дочкой в меблированной квартире, которую они снимали на улице Тильзит, 14. Я почти забыл эту квартиру и помню только, что она была темная и душная и в ней, казалось, не было ничего, что принадлежало бы им, кроме первых книг Скотта в светло-голубых кожаных переплетах с золотым тиснением. Кроме того, Скотт показал нам грессбук, куда он аккуратно заносил названия всех своих опубликованных произведений и суммы полученных за них гонораров, а также суммы, полученные за право их экранизации, и проценты от продажи его книг. Все было записано так тщательно, словно это был судебный журнал, и Скотт показывал его нам с безличной гордостью хранителя музея. Скотт первичал, старался быть гостеприимным и показывал записи своих заработков так, словно это было главное, на что стоит смотреть. Но смотреть было не на что.

Зельде было не по себе с похмелья. Накануне вечером они были на Монмартре и поссорились из-за того, что Скотт не хотел напиваться. Он сказал мне, что решил упорно работать и не пить, а Зельда вела себя так, будто он был брызгой и нарочно портил ей удовольствие. Она именно так и сказала, и, конечно, последовали взаимные обвинения, и Зельда, как всегда, начала отрицать: «Я не говорила этого. Я ничего подобного не говорила. Это неправда, Скотт». Потом она, казалось, что-то вспоминала и принималась весело смеяться.

В тот день Зельда плохо выглядела. Ее прекрасные русые волосы были на время погублены неудачным перманентом, который она сделала в Лионе, когда дождь заставил их прервать путешествие на машине, глаза у нее были усталые, лицо осунулось.

Она была официально любезна с Хэдли и со мной, но мысленно, казалось, все еще была на вечеринке, с которой

возвратилась утром. И Скотт и она, по-видимому, считали, что наша поездка со Скоттом прошла чрезвычайно весело.

— Раз вы так замечательно прокатились, то, по справедливости, и я могла немножко повеселиться с друзьями в Париже,— сказала она Скотту.

Скотт разыгрывал гостеприимного хозяина, и мы съели очень плохой обед, который скрасило вино, но не слишком. Его дочка была белокурая, пухленькая, крепкая и говорила с сильным акцентом лондонских низов. Скотт объяснил, что ей взяли няню-англичанку, так как он хотел, чтобы она, когда вырастет, говорила, как леди Диана Мэнперс.

У Зельды были ястребиные глаза и тонкие губы, а выговор и манеры выдавали в ней уроженку Юга. Но ее лицу было видно, как она время от времени мысленно переносилась на вчерашнюю вечеринку, а возвращалась она оттуда со взглядом пустым, как у кошки, потом в глазах ее появлялось удовлетворение, удовлетворение пробегало по тонким губам и исчезало. Скотт разыгрывал заботливого, веселого хозяина, а Зельда смотрела на него, и глаза ее и рот трогала счастливая улыбка, потому что он пил вино. Впоследствии я хорошо изучил эту улыбку. Она означала, что Зельда знает, что Скотт опять не сможет писать.

Зельда ревновала Скотта к его работе, и по мере того, как мы узнавали их ближе, все вставало на свое место. Скотт твердо решал не ходить на почные попойки, ежедневно заниматься гимнастикой и регулярно работать. Он начинал работать и едва втягивался, как Зельда принималась жаловаться, что ей скучно, и тащила его на очередную пьянку. Они ссорились, потом мирились, и он ходил со мной в дальние прогулки, чтобы оправиться от алкогольного отравления, и принимал твердое решение начать работать. И работа у него шла. А потом все повторялось снова.

Скотт был влюблен в Зельду и очень ревновал ее. Во время наших прогулок он снова и снова рассказывал мне, как она влюбилась в морского летчика. Но с тех пор она ни разу не давала ему настоящего повода ревновать ее к мужчинам. Этой весной он ревновал ее к жепщицам и во время вечеринок на Монмартре боялся мертвецки напиться и боялся, что то же произойдет с ней. Однако мгновенное опьянение было их главным спасением. Они засыпали от дозы спирта или шампанского, которая не оказала бы никакого действия на человека, привыкшего пить, и засыпали, как дети. Я не раз видел, как они теряли сознание,

словно не от вина, а от наркоза, и друзья — иногда шофер такси — укладывали их в постель; проснувшись, они чувствовали себя отлично, потому что выпили не так уж много, чтобы причинить вред организму.

Но потом они утратили это спасительное свойство. Теперь Зельда могла выпить больше, чем Скотт, и Скотт боялся, что она мертвецки напьется в компании, с которой они общались той весной, или в каком-нибудь из тех мест, какие они посещали. Ему не нравились ни эти люди, ни эти места, но ему приходилось пить столько, что он терял контроль над собой и терпел людей и места, где они бывали, а потом он уже пил, чтобы не заснуть, тогда как прежде давно бы впал в бесчувственное состояние. В конце концов он все реже и реже работал по-настоящему.

Но он все время пытался работать. Каждый день он пытался, однако у него ничего не получалось. Он винил Париж — город, лучше которого для писателей нет, и он верил, что есть место на земле, где ему с Зельдой удастся начать жизнь заново. Он вспоминал Ривьеру, какой она была, пока ее не застроили, голубые просторы ее моря, песчаные пляжи, сосновые рощи и Эстерельские горы, уходящие в море. Он помнил Ривьеру такой, какой она была, когда они с Зельдой впервые открыли ее.

Скотт рассказывал мне о Ривьере и говорил, что мы с женой должны непременно поехать туда следующим летом, и как мы будем там жить, и как он подыщет для нас недорогой пансионат, и как мы оба будем работать каждый день, купаться, валяться на песке, загорать и выпивать только по аперитиву перед обедом и перед ужином. Зельда будет счастлива там, сказал он. Она любит плавать и прекрасно ныряет — ей нравится такая жизнь, и она захочет, чтобы он работал, и все устроится. Они с Зельдой и дочкой непременно поедут туда летом.

Я пытался убедить его писать рассказы в полную силу, а не подгонять их к шаблонам, как, по его словам, он делал.

— Вы же написали прекрасный роман, — сказал я ему, — и вы не имеете права писать дребедень.

— Но роман не расходуется, — ответил он, — и я должен писать рассказы, такие рассказы, которые можно продать.

— Напишите самый лучший рассказ, на какой вы только способны, и напишите его честно.

— Я так и сделаю, — сказал он.

Однако ему еще везло, что он вообще мог работать.

Зельда не поощряла тех, кто ее домогался. Но это ее развлекало, а Скотт ревновал и ходил с ней всюду. Это губило его работу, а она больше всего ревновала его к работе.

Весь конец весны и начало лета Скотт пытался работать, но ему удавалось это только урывками. Когда я виделся с ним, он всегда был весел, иногда надрывно весел, остроумно шутил и был хорошим собеседником. Когда наступали особенно черные дни, я выслушивал его жалобы и старался внушить ему, что стоит только заставить себя, и он снова будет писать так, как он может писать, и что только смерть непоправима. Он посмеивался над собой, и пока он был способен на это, я считал, что он в безопасности. За это время он написал один хороший рассказ — «Молодой богач», и я был убежден, что он может писать даже лучше, как это потом и оказалось.

Летом мы были в Испании, и я начал первые наброски романа и окончил его в сентябре уже в Париже. Скотт и Зельда жили на Антибском мысе, и осенью, когда мы встретились в Париже, я увидел, что Скотт очень изменился. Он не бросил пить на Ривьере и теперь был пьян не только по вечерам, но и днем. Он уже не считался с тем, что другие работают, и приходил к нам на улицу Пوتر-Дам-де-Шан и днем и вечером, когда бывал пьян. Он стал вести себя очень грубо с теми, кто стоял ниже его или кого он считал ниже себя.

Как-то он пришел на лесопилку с дочкой — у няни англичанки был выходной день, и за ребенком смотрел Скотт, — и на лестнице девочка сказала ему, что ей пужно в уборную. Скотт стал раздевать ее тут же, и хозяин, живший под нами, вышел и сказал:

— Мосье, туалет прямо перед вами, слева от лестницы.

— Да, и я суну тебя туда головой, если ты не уберешься отсюда, — ответил Скотт.

С ним было очень трудно всю эту осень, но в трезвые часы он начал работать над романом. Я редко видел его трезвым, однако трезвый он всегда был мил, шутил по-старому и иногда даже по-старому подтрунивал над собой. Но когда он был пьян, он любил приходить ко мне и пьяный мешал мне работать почти с таким же удовольствием, какое испытывала Зельда, когда мешала ему. Это продолжалось несколько лет, но зато все эти годы у меня не было более преданного друга, чем Скотт, когда он бывал трезв.

В ту осень — осень 1925 года — он обижался, что я не хочу показать ему рукопись первого варианта «И восходит

голландцев». Я объяснял ему, что прежде я должен все прочесть сам и написать запово, а до этого не хочу ни обсуждать роман, ни показывать его кому бы то ни было. Мы собирались уехать в Шрунс — местечко в Форарльберге, в Австрии, — как только там выпадет первый снег.

Там я переделал первую половину романа и кончил эту работу, помнится, в январе. Я отвез рукопись в Нью-Йорк и показал Максу Перкинсу в издательстве «Скрибнерс», а потом вернулся в Шрунс и закончил работу над книгой. Скотт увидел роман только в конце апреля, когда он был полностью переработан и перекроен и отправлен в «Скрибнерс». Я помню, как мы шутили с ним по этому поводу и как он волновался и горел желанием мне помочь — как всегда, когда работа уже сделана. Но пока я переделывал книгу, его помощь мне была не нужна.

Пока мы жили в Форарльберге и я переделывал роман, Скотт с женой и дочкой уехали из Парижа на воды в Нижние Пиренеи. У Зельды началось весьма распространенное кишечное заболевание, которое вызывается злоупотреблением шампанским и которое в те времена считалось колитом. Скотт не пил, он старался работать и звал нас в Жуан-де-Пэн в июне. Они подыщут для нас педорогую виллу, на этот раз он не станет пить, и все будет как в добрые старые времена: мы будем купаться, станем здоровыми и загорелыми и будем пить один аперитив перед обедом и один перед ужином. Зельда выздоровела, оба они чувствуют себя прекрасно, и его роман продвигается блестяще. Он должен получить деньги за инсценировку «Великого Гэтсби», идущую с большим успехом, и за право на экранизацию, и поэтому ему не о чем беспокоиться. Зельда чувствует себя великолепно, и все будет в порядке.

В мае я жил один в Мадриде, и работал, и отправился в Жуан-де-Пэн, куда я прибыл на поезде из Байонны в третьем классе и страшно голодный, потому что по собственной глупости остался без денег и последний раз ел в Андайе на франко-испанской границе. Вилла оказалась милой, Скотт жил неподалеку в чудесном доме, и я был рад увидаться со своей женой, которая прекрасно вела хозяйство на вилле, и с нашими друзьями; аперитив перед обедом был превосходен, и мы повторили его несколько раз. Вечером в нашу честь в «Казино» собралось общество — совсем небольшое: Маклиши, Мэрфи, Фицджеральды и мы, жившие на вилле. Никто не пил ничего, кроме шампанского, и я подумал, как здесь весело и как хорошо

здесь писать. Тут было все, что нужно человеку, чтобы писать, — кроме одиночества.

Зельда была очень красива — золотистый загар, темпо-золотые волосы — и очень приветлива. Ее ястребиные глаза были ясны и спокойны. Я подумал, что все хорошо и что в конце концов все обойдется, но тут она поклонилась ко мне и открыла свою великую тайну: «Эрнест, вам не кажется, что Христу далеко до Эла Джолсона?»

Никто в то время не обратил на это внимания. Это был просто секрет Зельды, которым она поделилась со мной, как ястреб может поделиться чем-то с человеком. Но ястребы не делятся добычей.

Скотт не написал ничего хорошего, пока не понял, что Зельда помешалась.

ПРОБЛЕМА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ

Много позже, уже после того, как Зельда перепесла свое первое так называемое нервное расстройство, мы как-то оказались одновременно в Париже, и Скотт пригласил меня пообедать с ним в ресторане Мишо на углу улицы Жакоб и улицы Святых Отцов. Он сказал, что ему надо спросить меня о чем-то очень важном, о том, что для него важнее всего на свете, и что я должен ответить ему честно. Я сказал, что постараюсь. Когда он просил меня сказать ему что-нибудь честно — а это не легко было сделать, и я пытался выполнить его просьбу, — то, что я говорил, сердило его, причем чаще всего уже потом, когда у него было время поразмыслить над моими словами. Он был бы рад их уничтожить, а иногда и меня вместе с ними.

За обедом он пил вино, но оно на него не действовало, так как перед обедом он ничего не выпил. Мы говорили о нашей работе и о разных людях, и он спрашивал меня о тех, кого мы давно не встречали. Я знал, что он пишет что-то хорошее и по многим причинам работа у него не ладится, но говорить он хотел со мной не об этом. Я все ждал, когда же он перейдет к тому, о чем я должен сказать ему правду, но он коснулся этой темы только в самом конце, словно это был деловой обед.

Наконец, когда мы ели вишневый торт и допивали последний графин вина, он сказал:

— Ты знаешь, я никогда не спал ни с кем, кроме Зельды.

— Нет, я этого не знал.

— Мне казалось, что я говорил тебе.

— Нет. Ты говорил мне о многом, но не об этом.

— Вот про это я и хотел тебя спросить.

— Хорошо. Я слушаю.

— Зельда сказала, что я сложен так, что не могу сделать счастливой ни одну женщину, и первопричина ее болезни — в этом. Она сказала, что все дело в моем телосложении. С тех пор как она мне это сказала, я не нахожу себе места и хочу знать правду.

— Пойдем в кабинет,— сказал я.

— Куда?

— В туалет,— сказал я.

Мы вернулись в зал и сели за свой столик.

— Ты совершенно нормально сложен,— сказал я.— Абсолютно. И тебе не о чем беспокоиться. Просто, когда смотришь сверху, все уменьшается. Пойди в Лувр и погляди на статуи, а потом приди домой и посмотри на себя в зеркало.

— Эти статуи могут быть непропорциональны.

— Нет, они очень неплохи. Многих людей вполне удовлетворило бы такое телосложение.

— Но почему она так сказала?

— Для того чтобы сбить тебя с толку. Это древнейший в мире способ сбить человека с толку. Скотт, ты просил меня сказать тебе правду, и я мог бы сказать тебе значительно больше, но это правда, и остальное не важно. Можешь сходить к доктору.

— Не хочу. Я хотел, чтобы ты сказал мне честно.

— Теперь ты веришь мне?

— Не знаю,— сказал он.

— Пошли в Лувр,— сказал я.— Он совсем рядом, только перейти мост.

Мы пошли в Лувр, и он посмотрел на статуи, но все еще сомневался.

— Одна девушка,— сказал он,— была очень мила со мной. Но после того, что сказала Зельда...

— Забудь о том, что сказала Зельда,— посоветовал я.— Зельда сумасшедшая. Ты абсолютно нормальный человек. Просто поверь в себя и сделай то, чего хочет эта девушка. Зельда просто погубит тебя.

— Ты ничего не знаешь о Зельде.

— Ну хорошо,— сказал я.— Остановимся на этом. По

ты пришел обедать для того, чтобы задать мне вопрос, и я попытался ответить тебе честно.

Но он все еще сомневался.

— Хочешь, посмотрим картины, — предложил я. — Ты видел здесь что-нибудь, кроме Моны Лизы?

— У меня нет настроения смотреть картины, — сказал он. — Я обещал кое с кем встретиться в баре «Ритц».

Много лет спустя в баре «Ритц», когда уже давно кончилась вторая мировая война, Жорж, который стал теперь старшим барменом, а в те дни, когда Скотт жил в Париже, был *chasseur*¹, спросил меня:

— А кем был этот мосье Фидджеральд, о котором все меня спрашивают?

— Разве вы не знали его?

— Нет. Я помню всех клиентов того времени. Но теперь меня спрашивают только о нем.

— И что вы отвечаете?

— Что-нибудь интересное, что им любопытно услышать. Но скажите, кем же он был?

— Это был американский писатель, который писал в начале двадцатых годов и позже и некоторое время жил в Париже и за границей.

— Но почему я его не помню? Он был хороший писатель?

— Он написал две очень хорошие книги и одну не закончил, по те, кто хорошо знает его творчество, говорят, что она была бы очень хорошей. Кроме того, он написал несколько хороших рассказов.

— Он часто бывал в нашем баре?

— Кажется, часто.

— Но вы не бывали у нас в начале двадцатых годов. Я знаю, что в те годы вы были бедны и жили в другом квартале.

— Когда у меня были деньги, я ходил в «Крийон».

— Я знаю и это. Я очень хорошо помню, когда мы познакомились.

— Я тоже.

— Странно, что я совсем его не помню, — сказал Жорж.

— Все эти люди умерли.

— Однако людей не забывают, хоть они и умерли, и о нем меня все время спрашивают. Вы должны рассказать мне о нем что-нибудь для моих мемуаров.

¹ Рассыльный (фр.).

— Хорошо.

— Я помню, как вы с бароном фон Бликсеном явились сюда однажды ночью... В каком это было году? — Он улыбнулся.

— Он тоже умер.

— Да. Но его забыть нельзя. Вы понимаете, о чем я говорю?

— Его первая жена прекрасно писала, — сказал я. — Она написала, пожалуй, самую лучшую книгу об Африке, какую мне приходилось читать. Кроме книги сэра Сэмюэля Бейкера о притоках Нила в Абиссинии. Включите это в свои мемуары. Раз вы теперь интересуетесь писателями.

— Хорошо, — сказал Жорж. — Барон был человеком, которого нельзя забыть. А как называлась эта книга?

— «Вне Африки», — сказал я. — Бликсен очень гордился тем, как писала его первая жена. Но мы познакомились вадолго до того, как она написала эту книгу.

— А мосье Фицджеральд, о котором меня все время спрашивают?

— Он бывал тут во времена Фрэнка.

— Тогда я был *chasseur*. Вы ведь знаете, что такое *chasseur*?

— Я собираюсь написать о нем в книге о первых годах жизни в Париже, которую буду писать. Я дал себе слово, что напишу ее.

— Прекрасно, — сказал Жорж.

— Я опишу его таким, каким увидел впервые.

— Прекрасно, — сказал Жорж. — Раз он заходил сюда, я его вспомню. Люди все-таки не забываются.

— А туристы?

— Это совсем другое. Но вы говорите, что он ходил сюда очень часто.

— Часто для него.

— Вы напишите о нем, как вы его помните, и раз он ходил сюда, я его вспомню.

— Посмотрим, — сказал я.

ПАРИЖ НИКОГДА НЕ КОНЧАЕТСЯ

Когда нас стало трое, а не просто двое, холод и дожди в конце концов выгнали нас зимой из Парижа. Если ты один, то можно к ним привыкнуть и они уже ничему не мешают. Я всегда мог пойти писать в кафе и работать все утро на одном *café-salote*, пока официанты убрали и под-

металли, а в кафе постепенно стало теплее. Моя жена могла играть на рояле в холодном помещении, надев на себя несколько свитеров, чтобы согреться, и возвращалась домой, чтобы покормить Бамби. Но брат ребенка в кафе зимой не полагается — даже такого ребенка, который никогда не плачет, интересуется всем происходящим и никогда не скучает. Тогда еще не было людей, которых можно было бы нанять присмотреть за ребенком, и Бамби лежал в своей высокой кроватке с сеткой в обществе большого преданного кота по кличке Ф. Кис. Кто-то говорил, что оставлять кошку наедине с младенцем опасно. Самые суеверные и предубежденные говорили, что кошка может прыгнуть на ребенка и задушить его. Другие говорили, что кошка может лечь на ребенка и задавить его своей тяжестью. Ф. Кис лежал рядом с Бамби в его высокой кроватке с сеткой, пристально смотрел на дверь большими желтыми глазами и никого не подпускал к малышу, когда нас не было дома, а Мари, *femme de ménage*¹, куда-нибудь выходила. Нам не нужно было никого приглашать присматривать за Бамби. За ним присматривал Ф. Кис.

Но когда ты беден — а мы были по-настоящему бедны, когда вернулись из Канады и я бросил журналистику и не мог продать ни одного рассказа, — зимой с ребенком в Париже приходится очень трудно. В возрасте трех месяцев мистер Бамби двенадцать дней плыл через Северную Атлантику на небольшом пароходе компании «Кюнард», который отплыл из Нью-Йорка в январе и заходил в Галифакс. Он ни разу не заплакал в течение всего путешествия и весело смеялся, когда вокруг него на койке воздвигалась баррикада, чтобы в штормовую погоду он не скатился на пол. Но наш Париж был слишком холодным для него.

Мы уехали в Шрунс, местечко в Форарльберге, в Австрии. Проехали через Швейцарию и прибыли в Фельдкирх, на австрийской границе. Поезд шел через Лихтенштейн и останавливался в Блуденце, откуда вдоль речки с каменистым дном, где водилась форель, через лесистую долину мимо деревень шла ветка на Шрунс — залитый солнцем городок с лесопилками, лавками, гостиницами и хорошим зимним отелем, который назывался «Таубе» и в котором мы жили.

Комнаты в «Таубе» были просторные и удобные, с большими печками, большими окнами и большими кроватями с

¹ Прислуга (*фр.*).

хорошими одеялами и пуховыми перинами. Кормили там просто, но превосходно, а в столовой и баре, отделанном деревянными панелями, было тепло и уютно. В широкой и открытой долине было много солнца. Пансион стоил два доллара в день за пас троих, и, так как австрийский шиллинг-все время падал из-за инфляции, стол и комната обходились нам все дешевле и дешевле. Однако такой ужасной инфляции и нищеты, как в Германии, здесь не было. Шиллинг то поднимался, то падал, но в конечном счете все же падал.

В Шрунсе не было лифтов для лыжников и не было фуникулеров, но по тропам лесорубов и пастухов можно было подняться высоко в горы. При подъеме к лыжам прикреплялись тюленьи шкурки. В горах стояли хижины Альпийского клуба — для тех, кто совершает восхождение летом. Там можно было перепочевать, оставив плату за израсходованные дрова. Иногда дрова нужно было приносить с собой, а если ты отправлялся в многодневную прогулку высоко в горы к ледникам, приходилось напимать кого-нибудь, чтобы поднять туда дрова и провизию и устроить там базу. Самыми знаменитыми из всех высокогорных хижин-баз были Линдауэр-Хютте, Мадленер-Хаус и Висбаденер-Хютте.

Позади «Таубе» находилось что-то вроде тренировочного спуска, по которому ты съезжал через сады и поля, и был еще другой удобный склон за Чаггунсом, по ту сторону долины, где была прелестная маленькая гостиница с прекрасной коллекцией рогов серны на стенах бара. И за Чуггунсом, деревней лесорубов, расположенной в дальнем конце долины, уходили вверх отличные лыжни, выводившие к перевалу, откуда через Сильвретту можно было спуститься в район Клостера.

Шрунс был отличным местом для Бамби — хорошенькая темноволосая няня вывозила его в санках на солнце и присматривала за ним, пока мы с Хэдли исследовали новый край и все окрестные селенья. Жители Шрунса были очень добры к нам. Герр Вальтер Лент, пионер горнолыжного спорта, который одно время был партнером Ганнеса Шнейдера, великого арльбергского лыжника, и изготавливал лыжные мази для горных подъемов и для всех температур, теперь собирался открыть школу горнолыжного спорта, и мы оба записались в нее. Система Вальтера Лента заключалась в том, чтобы как можно быстрее покончить с занятиями на тренировочных спусках и отправить учеников в

постоящие горы. В то время лыжный спорт не был похож на современный, спиральные переломы были редкостью, и никто не мог позволить себе сломать погу. Лыжных патрулей не было. Перед любым спуском падо было проделать подъем. И это так укрепляло ноги, что на них можно было положиться во время спуска.

Вальтер Лепт считал, что в лыжном спорте самое большее удовольствие — забраться на высокую гору, где никого нет и лыжня не проложена, и ехать от одной хижины-базы Альпийского клуба к другой через альпийские ледники и перевалы. Нельзя было пользоваться и такими креплениями, которые при падении грозили переломом ног: лыжи должны были соскочить сразу же. Но больше всего Вальтер Лепт любил спускаться с ледников без веревки, однако для этого пужно было ждать весны, когда трещины закрываются достаточно плотно.

Мы с Хэдли увлекались лыжами с тех пор, как в первый раз попробовали этот вид спорта в Швейцарии, а потом в Кортина-д'Ампеццо в Доломитовых Альпах, когда должен был родиться Бамби и миланский доктор разрешил ей ходить на лыжах, если я пообещаю, что она не упадет. Для этого требовалось очень тщательно выбирать спуск и лыжню и все время следить за собой, но у нее были очень красивые, удивительно сильные ноги, и она прекрасно владела лыжами и ни разу не упала. Все мы знали, каким бывает снег, и умели ходить по глубокому пушистому снегу.

Нам очень нравилось в Форарльберге, и нам очень нравилось в Шрунсе. Мы уезжали туда в конце ноября и жили почти до пасхи. Там всегда можно было заняться лыжами, хотя для лыжного курорта Шрунс и расположен слишком низко, — в его окрестностях снега бывает достаточно только в самые снежные зимы. Однако взбираться в гору было удовольствием, и в те дни из-за этого никто не ворчал. Ты устанавливал для себя определенный темп, значительно ниже твоих возможностей, так что подниматься было легко, и сердце билось ровно, и ты гордился, что у тебя на спине тяжелый рюкзак. Подъем к Мадлепер-Хаус был местами очень крут и тяжел. Но во второй раз подниматься было уже легче, и под конец ты легко взбирался, неся на спине двойной груз.

Мы всегда были голодны, и каждый обед был событием. Мы пили темное или светлое пиво и молодые вина, а иногда вина урожая прошлого года. Лучше всего были белые

вина. Еще мы пили кирш, изготавливавшийся в долине, и анзепский шнапс, который гнали из горной горечавки. Иногда на обед подавали тушеного зайца с густым соусом из красного виша, а иногда оленину с капитановым соусом. В этих случаях мы обычно пили красное вино, хотя оно было дороже белого, но самое дорогое стоило по двадцать центов за литр. Обычное красное вино было намного дешевле, и мы тащили с собой бочонки в Мадленер-Хаус.

У нас был запас книг, которые Сильвия Бич разрешила нам взять с собой на зиму; мы играли в кегли с горожанами в прогулке, выходявшем к летнему саду отеля. Раз в неделю в столовой отеля играли в покер — все окна тогда закрывали ставнями, а двери запирали. В то время в Австрии азартные игры были запрещены, и я играл с герром Нельсом — хозяином отеля, герром Лентом — директором школы горнолыжного спорта, городским бапкиром, прокурором и капитаном жандармерии. Игра шла серьезная, и все они были хорошими игроками, хотя герр Лент играл слишком рискованно, потому что школа горнолыжного спорта не приносила никакого дохода. Когда у двери останавливались два жандарма, совершавшие обход, капитан жандармерии подносил палец к уху и мы замолкали до тех пор, пока они не уходили.

С рассветом, когда было еще очень холодно, в комнату входила горничная, закрывала окна и затапливала большую изразцовую печь. Комната согревалась, а на завтрак у нас был свежеспеченный хлеб или гренки с чудесными консервированными фруктами и кофе в больших чашках, свежие яйца, а если хотели, то и отличная ветчина. В ногах у меня спал пес по имени Шнауц, который любил ходить со мной на лыжные прогулки и ехать у меня на плече, когда я начинал спуск. Он дружил и с мистером Бамби и, когда няня вывозила его на прогулку, бежал рядом с сапожками.

В Шрунсе работалось замечательно. Я знаю это потому, что именно там мне пришлось проделать самую трудную работу в моей жизни, когда зимой 1925/26 года я превратил в роман первый вариант «И восходит солнце», набросанный за полтора месяца. Не помню точно, какие рассказы я написал там. Знаю только, что некоторые из них получились хорошо.

Я помню, как поскрипывал у нас под ногами снег, когда морозным вечером мы возвращались домой, вскинув лыжи и палки на плечо, и смотрели на огоньки городка, а потом

сдруг начинали различать дома, и встречные говорили: «Grüss Gott»¹. В «Вайнштубе» всегда сидели крестьяне в башмаках с шипами и в одежде, которую посят горцы, в воздухе клубился табачный дым, а деревянные полы были испараны шипами. Многие из молодых людей служили в австрийских альпийских полках, и один, которого звали Гапс — он работал на лесопилке, — был знаменитым охотником, и мы стали друзьями, потому что мы воевали в одних и тех же итальянских горах. Мы пили вино и хором пели песни горцев.

Я помню тропы, уходящие вверх через сады и поля над городком, и теплые фермы с огромными печками и штабелями дров в снегу. Женщины на кухне расчесывали шерсть и пряли из нее серую и черную пряжу. Прялка приводилась в движение пожной педалью, и пряжу не красили. Черная пряжа была из шерсти черных овец. Шерсть была натуральной, ее не обезжиривали, и шапочки, свитеры и шарфы, которые вязала из нее Хэдли, никогда не промокали в снегу.

Как-то на рождество под руководством директора школы была поставлена пьеса Гапса Сакса. Это была хорошая пьеса, и я написал на нее рецензию в местную газету, а хозяин гостиницы перевел ее. На другой год немецкий морской офицер в отставке, с бритой головой и весь в шрамах, приехал, чтобы прочитать лекцию о Ютландской битве. Он показывал диапозитивы, изображавшие передвижения обоих флотов, рассказывал о трусости Джелико, пользовался вместо указки бильярдным кием и иногда приходил в такую ярость, что голос у него срывался. Директор школы боялся, что он проткнет кием экран. А потом бывший морской офицер никак не мог успокоиться, и все в «Вайнштубе» чувствовали себя неловко. С ним пили только прокурор и банкир, и они сидели за отдельным столиком. Герр Лент, который был родом с Рейна, не пожелал прийти на лекцию. Там сидели супруги из Вены, которые приехали, чтобы покататься на лыжах, но не хотели подниматься в горы и потом уехали в Цурс, где, как я слышал, были засыпаны лавиной. Муж сказал, что лектор — из числа тех свиней, которые уже погубили Германию и снова погубят ее через двадцать лет. Его жена сказала ему по-французски, чтобы он замолчал, — это маленькое местечко, и неизвестно, кто тебя слушает.

¹ Здравствуйте (нем.).

В тот год очень много людей погибло при снежных обвалах. Первая значительная катастрофа произошла за горами — в Лехе, в Арльберге. Компания немцев решила на рождественские каникулы покататься на лыжах вместе с герром Лентом. Снег в этом году выпал поздно, а склоны были все еще нагреты солнцем, когда начался первый большой снегопад. Снег был глубоким, пушистым и совсем не приставал к земле. Ходить на лыжах было очень опасно, и герр Лент телеграфировал берлинцам, чтобы они не приезжали. Но у них наступили каникулы, и они ничего не понимали в лыжном спорте и не боялись лавин. Они приехали в Лех, но герр Лент отказался идти с ними. Один из них назвал его трусом, и они сказали, что пойдут кататься без него. В конце концов он повел их к самому безопасному склону, какой только мог отыскать. Сам он спустился, а за ним начали спускаться они, и снег на склоне разом обрушился, накрыв их, словно приливная волна. Тринадцать человек отконали, но девять из них были мертвы. Школа горнолыжного спорта и до этого не преуспевала, а после мы остались, пожалуй, единственными учениками. Мы стали усердно изучать лавины и узнали, как различать и как избегать их и как вести себя, если тебя засыплет. В тот год почти все, что я написал, было написано в период снежных обвалов.

Самое страшное мое воспоминание об этой зиме связано с человеком, которого отконали. Он, как нас учили, присел на корточки и согнул руки над головой, чтобы образовалось воздушное пространство, когда на тебя наваливается сверху снег. Это была большая лавина, и потребовалось очень много времени, чтобы всех откопать, а этого человека нашли последним. Он умер совсем недавно, и шея его была стерта так, что виднелись сухожилия и кости. Он все время поворачивал голову, и шея его терлась о твердый снег. По-видимому, лавина вместе со свежим снегом увлекла старый, плотно слежавшийся. Мы так и не могли решить, делал ли он это нарочно или потому, что помешался. Однако местный священник все равно отказался похоронить его в священной земле, потому что не было известно, католик он или нет.

Когда мы жили в Шпрунсе, мы часто совершали длинные прогулки вверх по долине до гостиницы, где ночевали перед восхождением к Мадленер-Хаус. Это была очень красивая старинная гостиница, и деревянные стены комнаты, где мы ели и пили, за долгие годы стали точно отполи-

ровавшие. Такими же были стол и стулья. Мы спали, прижавшись друг к другу, в большой кровати под пуховой периной, а окна были открыты, и звезды были такие близкие и яркие. Утром после завтрака мы распределяли поклажу и начинали восхождение в темноте, а звезды были такие близкие и яркие, и мы несли лыжи на плечах. Лыжи у носильщиков были короткие, и они несли самую тяжелую поклажу. Мы соревновались между собой в том, кто понесет самый тяжелый груз, но никто не мог тягаться с носильщиками, коренастыми молчаливыми крестьянами, которые говорили только на монтафонском диалекте, поднимались с неторопливым упорством выючных лошадей, а наверху, на выступе у покрытого снегом ледника, где стояла хижина Альпийского клуба, сбрасывали выюки у ее каменной стены, требовали большие денег, чем было уговорено, и, сторговавшись, уносились на своих коротких лыжах вниз, словно гномы.

Мы дружили с молодой немкой, которая ходила с нами на лыжах. Она была хорошей лыжницей, небольшого роста, прекрасно сложена и брала рюкзак такой же тяжелый, как у меня, и могла нести его дольше.

— Эти носильщики всегда поглядывают на нас так, словно прикидывают, как будут они нести вниз наши трупы, — сказала она. — Я еще никогда не слышала, чтобы они назначили одну цену, а после восхождения не попросили надбавки.

Зимой в Шрунсе я носил бороду для защиты от солнца, которое обжигало на снегу в горах, и не затруднял себя стрижкой. Как-то поздно вечером, спускаясь со мной по тропе лесорубов, герр Лент сказал мне, что крестьяне, встречавшиеся мне на дорогах под Шрунсом, называли меня «Черный Христос». А те, которые приходят в «Вайнштубе», называют меня «Черный Христос, Пьющий Кириш». Для тех же крестьян, которые жили в дальнем верхнем конце Монтафона, где мы нанимали носильщиков, чтобы подняться к Мадленер-Хаус, мы все были чужеземными чертями, которые уходят в горы, когда людям не следует туда ходить. Не в нашу пользу говорило и то, что мы начинали восхождение до рассвета, чтобы пройти места обвалов до того, как солнце сделает их особенно опасными. Это только доказывало, что мы хитры, как все чужеземные черти.

Я помню запах соснового леса, и матрацы, набитые листьями бука, в хижинах дровосеков, и лыжные прогулки

в лесу по лисьим и заячьим следам. Помню, высоко в горах, за поясом лесов, я шел по следу лисицы до тех пор, пока не увидел ее, и я смотрел, как она остановилась, приподняв правую переднюю лапу, а потом замерла и прыгнула, и помню белизну и хлопанье крыльев горной куропатки, с шумом поднявшейся из снега и скрывшейся за скалой.

Я помню все виды снега, которые может создать ветер, и все ловушки, которые он таит для лыжников. И метели, которые палетали, пока мы сидели в хижине Альпийского клуба, и создавали новый, неизвестный мир, в котором нам приходилось прокладывать путь так осторожно, словно мы никогда прежде здесь не бывали. Но мы действительно никогда прежде здесь не бывали, потому что все вокруг становилось новым. Наконец, поближе к весне наступало главное: спуск по леднику, гладкий и прямой, бесконечно прямой, — лишь бы выдержали погоню, — и мы неслись, низко пригнувшись, сомкнув лодыжки, отдавшись скорости в этом бесконечном падении, в бесшумном шипении снежной пыли. Это было лучше любого полета, лучше всего на свете, а необходимую закалку мы приобретали во время долгих восхождений с тяжелыми рюкзаками. Иначе мы не могли добраться паверх: билеты туда не продавались. Ради этого мы тренировались всю зиму, и то, чему учила паз зима, делало достижение этой цели возможным.

Когда мы проводили наш последний год в горах, в нашу жизнь уже глубоко вошли новые люди и все переменялось. Зима лавин была счастливой и невинной зимой детства по сравнению со следующей зимой, зимой кошмаров под личиной веселья, и сменившим ее убийственным летом. Это был год, когда туда явились богачи.

У богачей всегда есть своя рыба-лоцман, которая разведывает им путь, — иногда она плохо слышит, иногда плохо видит, но всегда выпнюхивает податливых и чересчур вежливых. Рыба-лоцман говорит так: «Ну, не знаю. Нет, не очень. Но они оба мне очень нравятся. Они мне очень нравятся. Черт возьми, Хем, они мне правда нравятся. Я понимаю, па что вы намекаете, но мне они правда нравятся, и в ней есть что-то неотразимое. (Он называет ее по имени, смакуя его.) Ну, Хем, не капризничайте и не упрямитесь. Они мне правда нравятся. Честное слово, оба нравятся. Он вам поправится (он называет его слащавое прозвище), когда вы познакомитесь с ним поближе. Нет, право же, они мне оба нравятся».

А потом появляются богачи, и все безвозвратно меняется. Рыба-лоцман, конечно, исчезает. Этот человек всегда куда-то едет или откуда-то возвращается и пугде не задерживается надолго. Он появляется и исчезает в политике или в театре точно так же, как он появляется и исчезает в разных странах и в жизни людей, пока он молод.

Его невозможно поймать, и богачи его не ловят. Его никто не ловит, а пойманными оказываются только те, кто доверится ему, и они гибнут. Он обладает незаменимой закалкой сукина сына и томится любовью к деньгам, которая долго остается безответной. Затем он сам становится богачом и передвигается вправо на ширину доллара с каждым добытым долларом.

Эти богачи любили его и доверяли ему, потому что он был застенчив, забавен, неуловим, уже подвизался в своей области, а также потому, что он был рыбой-лоцманом с безошибочным чутьем. Когда два человека любят друг друга, когда они счастливы и веселы и один или оба создают что-то по-настоящему хорошее, они притягивают людей так же неотразимо, как яркий маяк притягивает ночью перелетных птиц. Если бы эти двое были бы так же прочны, как маяк, то разбивались бы только птицы. Те, чье счастье и успешная работа привлекают людей, обычно неопытны и наивны. Они не умеют противостоять напору и не умеют вовремя уйти. У них не всегда есть защита от добрых, милых, обаятельных, благородных, чутких богачей, которые так скоро завоевывают любовь, лишены недостатков, каждый день превращают в фиесту, а насытившись, уходят дальше, оставляя позади мертвую пустыню, какой не оставляли копыта коней Аттилы.

Богачи явились, приведенные рыбой-лоцманом. Еще год назад они бы не приехали. Тогда не было уверенности. Работа шла так же хорошо, а счастья было даже больше, но роман еще не был написан, и поэтому у них не было уверенности. Они расходовали свое время и свое обаяние только наверняка. А как же иначе? Пикассо был верной картой — и еще до того, как они вообще услышали, что существует живопись. Они были уверены и в другом художнике. И еще во многих других. И теперь у них уже появилась уверенность. Рыба-лоцман дала им знать, что путь открыт, и сама тоже явилась, чтобы мы не встретили их как чужих и чтобы я не закапризничал. Ведь рыба-лоцман была тогда нашим другом.

В те дни я верил рыбе-лоцману так же, как верил «Исправленному изданию навигационных инструкций Гидрографического управления для Средиземного моря» или таблицам «Навигационного альманаха Брауна». Поддавшись обаянию этих богатей, я стал доверчивым и глупым, как пойнтер, который готов идти за любым человеком с ружьем, или как дрессированная цирковая свинья, которая наконец пашла кого-то, кто ее любит и цепит ради ее самой. То, что каждый день нужно превращать в фиесту, показалось мне чудесным открытием. Я даже прочел вслух отрывок из романа, над которым работал, а ниже этого никакой писатель пасть не может, и для него как для писателя это опаснее, чем непривязанным съезжать на лыжах по леднику до того, как трещины закроет толстый слой зимнего снега.

Когда они говорили: «Это гениально, Эрнест. Правда, гениально. Вы просто не понимаете, что это такое», — я радостно вилял хвостом и нырял в представление о жизни как о непрерывной фиесте, рассчитывая вынести на берег какую-нибудь прелестную палку, вместе того чтобы подумать: «Этим сукиным детям роман правится — что же в нем плохо?» Я так бы и подумал, если бы вел себя как профессионал, только если бы я вел себя как профессионал, я никогда не стал бы читать им роман.

Но до того как приехали эти богачи, к нам уже проникли другие богачи, которые прибегли к способу, старому как мир. Он заключается в том, что молодая незамужняя женщина временно становится лучшей подругой молодой замужней женщины, приезжает погостить к мужу и жене, а потом незаметно, невинно и неумолимо делает все, чтобы женить мужа на себе. Когда муж — писатель и занят трудной работой, так что он почти все время занят и большую часть дня не может быть ни собеседником, ни спутником своей жены, появление такой подруги имеет свои преимущества, пока не выясняется, к чему оно ведет. Когда муж кончает работу, рядом с ним оказываются две привлекательные женщины. Одна — непривычная и загадочная, и, если ему не повезет, он будет любить обеих.

И тогда вместо них двоих и их ребенка их становится трое. Сначала это бодрит и радует, и некоторое время все так и идет. Все по-настоящему плохое начинается с самого невинного. И ты живешь настоящим днем, наслаждаешься тем, что имеешь, и ни о чем не думаешь. Ты лжешь, и тебе это отвратительно, и тебя это губит, и каждый день грозит

все большей опасностью, по ты живешь лишь настоящим днем, как на войне.

Мне пришлось уехать из Шрунса и отправиться в Нью-Йорк, чтобы уладить вопрос с издателями. Я закончил дела в Нью-Йорке, а когда вернулся в Париж, мне следовало сесть на первый же поезд, который отправлялся в Австрию с Восточного вокзала. Но женщина, в которую я был влюблен, была тогда в Париже, и я не сел ни в первый, ни во второй, ни в третий поезд.

Когда поезд замедлил ход у штабеля бревен на станции и я снова увидел свою жену у самых путей, я подумал, что лучше мне было умереть, чем любить кого-то другого, кроме нее. Она улыбалась, а солнце освещало ее милое, загоревшее от солнца и снега лицо и красивую фигуру и превращало ее волосы в червонное золото, а около нее стоял мистер Бамби, пухленький, светловолосый, со щеками, разрумяненными морозом,— настоящий уроженец Форарльберга.

— Ах, Тэти,— сказала она, когда я обнял ее,— ты вернулся, и ты так хорошо съездил. Я люблю тебя, и мы очень без тебя скучали.

Я любил только ее и никого больше, и пока мы оставались вдвоем, жизнь была снова волшебной. Я хорошо работал, мы уходили в дальние прогулки, и я думал, что мы снова неуязвимы,— и только когда поздней весной мы покинули горы и вернулись в Париж, то, другое, началось снова.

Так кончился первый период моей жизни в Париже. Париж уже никогда не станет таким, каким был прежде, хотя он всегда оставался Парижем и ты менялся вместе с ним. Мы больше не ездили в Форарльберг, и богачи тоже не ездили.

Париж никогда не кончается, и каждый, кто там жил, помнит его по-своему. Мы всегда возвращались туда, кем бы мы ни были и как бы он ни изменился, как бы трудно или легко ни было попасть туда. Париж стоит этого, и ты всегда получал сполна за все, что отдавал ему. И таким был Париж в те далекие дни, когда мы были очень бедны и очень счастливы.

Острова в океане

РОМАН

Перевод Н. Волжиной и Е. Калашниковой

ISLANDS IN THE STREAM

1970

Готовя эту книгу к печати, я работала над рукописью Эрнеста вместе с Чарльзом Скрибнером-младшим. Помимо чисто технической правки, касавшейся орфографии и пунктуации, мы сделали несколько сокращений, которые, я уверена, Эрнест сделал бы и сам. Вся книга написана Эрнестом. Мы не добавили ни одного слова.

Мэри Хемингуэй

Дом был построен на самом высоком месте узкой косы между гаванью и открытым морем. Построен он был прочно, как корабль, и выдержал три урагана. Его защищали от солнца высокие кокосовые пальмы, пригнутые пассатами, а с океанской стороны крутой спуск вел прямо от двери к белому песчаному пляжу, который омывался Гольфстримом. В безветренную погоду вода здесь была совсем синяя, если смотреть на нее с берега. Но вблизи она зелено светилась над мучнистым белым песком, и тень крупной рыбы мелькала в ней задолго до того, как рыба подплывала близко.

Днем это было отличное и вполне безопасное место для купания, а вот ночью купаться здесь нельзя было. По ночам близко к берегу подплывали акулы, охотившиеся у края Гольфстрима, и в тихую погоду с верхней веранды было слышно, как плещет в воде испуганная рыба, а если спуститься на пляж, можно было увидеть фосфоресцирующий след, который акулы оставляли за собой. По ночам они ничего не боялись, а все остальное боялось их. Но днем они старались держаться подальше от светлого прибрежного песка, а если какая-нибудь и сунулась бы к берегу, то можно было по тени издали заметить ее приближение.

Человека, который жил в доме, звали Томас Хадсон. Он был хороший художник и большую часть года проводил за работой дома и на острове. Когда долго живешь в этих широтах, привыкаешь ценить здесь смену времен года не меньше, чем в других местах, и Томасу Хадсону, любившему этот остров, жаль было пропустить хоть одну весну или лето, осень или зиму.

Лето порой выдавалось слишком знойное — если пассаты слабели в июне и в июле или вовсе не дули в августе. В сентябре же и в октябре, даже в начале ноября всегда можно было ожидать урагана, а какая-нибудь шальная тропическая буря могла налететь в любое время, начиная с июня. Но даже в самый сезон ураганов выпадали, при затишьи, чудесные дни.

Томас Хадсон за много лет хорошо изучил тропическую погоду и, глядя на небо, мог предсказать надвигающуюся бурю задолго до того, как ее покажет барометр. Он умел составлять карту бурь и знал, какие нужно принимать меры предосторожности. Он знал также, что значит пережить ураган вместе с другими обитателями острова и как подобное испытание роднит тех, для кого оно было общим. Знал он и то, что бывают такие страшные ураганы, в которых никто и ничто уцелеть не может. Но он давно решил, что, уж если случится такое, лучше быть здесь и погибнуть вместе с домом.

В этом доме он чувствовал себя почти как на корабле. Построенный так, чтобы выдержать любую бурю, дом словно врос в остров, стал его частью; из всех окон видно было море, и комнаты продувало насквозь, так что даже в самые жаркие ночи спать было прохладно. Он был покрашен в белый цвет, чтобы лучше сохранять прохладу в летние дни, и его издали можно было разглядеть с моря. Выше его поднимались только верхушки высаженных рядами казуариновых деревьев — первое, что вы замечали, приближаясь к острову. Вскоре после того, как на горизонте темным пятном замаячат посадки казуарины, появлялся перед глазами белый куб дома. А потом, по мере приближения к берегу, разворачивалась вся панорама острова — с кокосовыми пальмами, с домиками, обшитыми тесом, с белой полосой пляжа и темной зеленью острова Южного на горизонте. У Томаса Хадсона, когда бы он ни завидел дом издали, становилось хорошо на душе. В мыслях дом был для него живым существом, как корабль для моряка. Зимой, когда задувал норд-вест и становилось холодно не на шутку, в доме было уютно и тепло, потому что в нем, единственном из всех домов на острове, имелся камин. Камин был большой, открытый, и Томас Хадсон топил его плавником.

Целая куча плавника была сложена за домом, у южной стены. Добела высушенные солнцем, обточенные ветром и песком, некоторые куски дерева так нравились Томасу

Хадсону, что ему жаль было жечь их. Плавника много оставалось на берегу после каждой сильной бури, и в конце концов Томас Хадсон сжигал с удовольствием даже особенно правившиеся ему куски. Он знал, что море наготовит еще, и в холодные вечера он сидел в большом кресле у огня и читал при свете лампы, стоявшей на дощатом столе, временами поднимая голову от книги, чтобы прислушаться к реву ветра и посмотреть, как горит в камине обесцвеченное морем дерево.

Иногда он гасил лампу и, растянувшись на ковре, вглядывался в цветные ободки пламени, возникавшие там, где сгорали остатки песка и морской соли. Когда он лежал, глаза его приходились вровень с подом камина и ему видно было, как пламя отрывается от поверхности дерева, и от этого становилось и грустно и хорошо. Всегда с ним бывало так, когда он смотрел в огонь. А если горел плавник, это вызывало у него особое чувство, которое трудно было определить. Вероятно, думал он, нехорошо жечь то, что тебе так нравилось; но вины он не ощущал.

Лежа на полу, он как будто укрывался от ветра, хотя на самом деле ветер хлестал по нижним углам дома и по самой короткой на острове травке и забирался в сухие водоросли на берегу и даже в самый песок. Пол под ним сотрясался от глухих ударов прибоя, как когда-то в юности сотрясалась земля от залпов тяжелых орудий, когда он лежал недалеко от полевой батареи.

Великое дело был этот камин зимой, и все незимние месяцы он поглядывал на него с нежностью и думал о том, как будет, когда опять настанет зима. Пожалуй, зима была лучшей порой на острове, и все остальное время он заранее радовался ее возвращению.

□

Зима уже прошла и весна была на исходе, когда снова Томаса Хадсона в этом году приехали на остров. По уговору, они все трое должны были съехаться в Нью-Йорке, а оттуда поездом, а потом самолетом добираться до места. С матерью двоих младших, как всегда, не обошлось без осложнений. Она задумала путешествие по Европе, разумеется не предупредив отца мальчиков, и вдруг объявила, что на лето отпустить их не может. Пусть он их берет к себе на рождественские каникулы, только после

рождества, разумеется. Рождество они должны провести с ней.

Томас Хадсон уже привык к этим фокусам, и дело, как всегда, кончилось компромиссом. Решено было, что мальчики погостят у отца на острове пять недель, а потом вернутся в Нью-Йорк и оттуда поплывут пароходом французской компании по школьному тарифу. С матерью они встретятся в Париже, где она тем временем успеет сделать необходимые покупки к лету. В пути они будут находиться под присмотром старшего брата, Тома-младшего. А из Парижа Том-младший уедет к своей матери, которая снималась на юге Франции.

Мать Тома-младшего не требовала его к себе и охотно оставила бы у отца на все лето. Но она, конечно, обрадуется ему, и в общем это был достойный компромисс — при той железной решимости, которой обладала мать двух других братьев. Эту прелестную, очаровательную женщину ничто в мире не заставило бы отступить от раз принятого плана. Планы свои она строила в глубокой тайне, как опытный полководец, и так же неуклонно проводила их в жизнь. Компромисс еще допускался. Но коренное изменение плана — никогда, возник ли этот план среди бессонной ночи, или скучным утром, или вечером, при содействии джина.

План был планом, и уж тем более решение было решением, и Томас Хадсон, отлично зная это и пройдя хорошую школу бракоразводного процесса, радовался, что компромисса удалось достигнуть и дети приедут хотя бы на пять недель. Пять недель — не так уж мало, если можно провести их с теми, кого любишь и с кем хотел бы всегда быть вместе. А зачем вообще я расстался с матерью Тома? Лучше не задумывайся об этом, сказал он себе. Это такая вещь, о которой лучше не задумываться. И та, вторая, родила тебе чудесных детей. Очень непростые, очень своеобразные оба, но ты знаешь, как много хорошего они унаследовали именно от нее. Она прекрасная женщина, и с ней тебе тоже не следовало расставаться. Тут он сказал себе: нет. Иначе нельзя было.

Но все эти мысли теперь не слишком его волновали. Он давно уже перестал волноваться, и свою вину, точно заклятием, отгонял работой, и сейчас думал только об одном: вот приедут мальчики, и нужно, чтобы они хорошо отдохнули здесь это время. А когда они уедут, он вернется к своей работе.

Он сумел сделать так, что работа заменила ему почти все, кроме детей, — работа и та размеренная, спокойная трудовая жизнь, которую он себе создал на острове. Он верил, что обрел нечто прочное и надежное, то, что надолго и крепко удержит его здесь. Теперь, если на него нападала тоска по Парижу, он просто вспоминал о Париже, вместо того чтобы ехать туда. И так было с другими местами в Европе и со многими в Азии и в Африке.

Ему приходили на память слова Ренуара, сказанные, когда тот узнал, что Гоген уехал писать свои картины на Таити: «Зачем так далеко ехать и тратить столько денег, когда так отлично пишется здесь, в Батиньоле?» (по-французски это выходило лучше: «Quand on peint si bien aux Baignolles?»), и Томас Хадсон думал об острове как о своем quartier¹. Здесь он чувствовал себя дома, знал всех соседей кругом и работал усердно, как никогда, разве что в Париже, когда Том-младший был еще ребенком.

Иногда он ненадолго уезжал с острова — половить рыбу у берегов Кубы или осенью побродить в горах. Свое монпанское ранчо он сдал в аренду, потому что лучшее время в Монпане — это лето и осень, а к осени мальчишки теперь должны были возвращаться в школу.

Иногда ему приходилось ездить в Нью-Йорк, к своему агенту. Но чаще агент теперь приезжал к нему и увозил с собой законченные полотна. Томас Хадсон был художник с именем, широко признанный и на родине, и в Европе. Кроме того, ему приносили регулярный доход разработки нефти, которые велись на земле, когда-то принадлежавшей его деду. Земля была продана под пастбища, и по условиям аренды право эксплуатации недр сохранялось за прежним владельцем. Половина этих денег шла на алименты, но и того, что оставалось, было дозволено, чтобы обеспечить ему существование, и поэтому он мог писать что хотел и как хотел; нужда на него не давила. И жить мог там, где ему нравилось, и путешествовать, если приходила охота.

Успех сопутствовал ему во всем, кроме семейной жизни, хотя, в сущности, он никогда не думал об успехе. Думал он о живописи и о своих детях и до сих пор любил ту женщину, которая была его первой любовью. После нее он был влюблен во многих женщин, некоторые даже гости-

¹ Квартал (*qtr.*).

ли у него на острове. У него была потребность видеть женщин, и поначалу он всегда радовался, когда они приезжали. Ему приятно было их присутствие в доме, иногда даже довольно долгое время. Но в конце концов он провожал их с чувством облегчения, даже если это был кто-то, кто ему очень нравился. Он выработал в себе умение не ссориться с женщинами и не жениться на них. Научиться этим двум вещам было не легче, чем упорядочить свою жизнь и привыкнуть работать размеренно и ровно. Однако он научился, и теперь уже, думалось, навсегда. Владеть кистью он умел давно и считал, что делает это с каждым годом лучше и лучше. Но внести порядок в свою жизнь и дисциплинировать свою работу ему оказалось очень и очень трудно, потому что было в его жизни время, когда он был далек от всякой дисциплины. Безответственным он никогда не был, но был недисциплинирован, эгоцентричен и беспощаден. Теперь он знал это не только потому, что многие женщины ему об этом говорили, но потому, что в конце концов сам к этому пришел. И тогда он решил, что впредь будет эгоцентричен только в своих картинах, беспощаден только в работе и что сумеет дисциплинировать себя и примириться с дисциплиной.

Он будет наслаждаться жизнью в рамках той дисциплины, которую предписал себе, и усиленно работать. А сегодня он чувствовал себя счастливым, потому что утром должны были приехать его дети.

— Мистер Том, вам ничего не нужно? — спросил Джозеф, его слуга. — Вы сегодня уже свое отработали?

Джозеф был высокого роста, с очень черным, очень длинным лицом и большими руками и ногами. Он ходил в белой куртке и белых брюках, но босиком.

— Спасибо, Джозеф. Пожалуй, мне ничего не нужно.

— Может, джинну с тоником?

— Нет. Я, пожалуй, зайду к мистеру Бобби, там выпью.

— Пейте лучше дома. Дешевле. Я мистера Бобби видел, он сегодня не в духе. Замучился, говорит, с этими коктейлями. Какая-то с яхты спросила что-то под названием «Белая дама», а он ей подал американской минеральной воды — знаете, на которой нарисован ручей, а у ручья дама в белом платье, похожем на москитную сетку.

— Все-таки я пойду.

— Дайте я вам хоть одну порцию дома приготовлю. На рейсовом судне привезли почту. Почитаете письма и выпьете коктейль, а потом пойдете к мистеру Бобби.

— Ну ладно, согласен.

— Вот и хорошо,— сказал Джозеф.— А то ведь я уже приготовил. Почта сегодня ничего интересного, мистер Том.

— А где она?

— Внизу, на кухне. Сейчас принесу. Два письма с жепским почерком на конвертах. Одно из Нью-Йорка. Одно из Палм-Бич. Красивый почерк. Одно от господина, который продаст ваши картины в Нью-Йорке. Еще два не знаю от кого.

— Может, ответишь за меня на все эти письма?

— Пожалуйста, сэр. Если вы желаете. Я ведь кое-чему учился, хоть мне это было и не по карману.

— Да нет уж, лучше принеси их сюда.

— Слушаю, сэр, мистер Том. Там еще и газета есть.

— Газету побереги к завтраку.

Томас Хадсон сел и стал читать письма, потягивая прохладное питье. Одно письмо он прочел дважды, потом спрятав всю пачку в ящик стола.

— Джозеф! — крикнул он. — У тебя для мальчиков все готово?

— Да, сэр, мистер Том. Даже два лишних ящика кока-колы. Том-младший, верно, уже меня перерос, а?

— Ну, нет еще.

— Как вы думаете, сможет он теперь меня побороть?

— Едва ли.

— Мы с ним часто боролись в мое свободное время,— сказал Джозеф.— Чудно все-таки называть такого парнишку «мистер». Мистер Том. Мистер Дэвид. Мистер Эндрю. Замечательные ребята, прямо как на подбор. А Эндрю из всех троих самый хитрющий.

— Он и маленький был хитрец,— сказал Томас Хадсон.

— А чем дальше, тем больше,— сказал Джозеф с восхищением.

— Ты им будь хорошим примером это время.

— Мистер Том, как вы хотите, чтобы я теперь был им хорошим примером? Три-четыре года назад, в невинном возрасте, это бы еще можно. Я сам думаю взять себе за образец Тома. Он учится в дорогой школе, у него и манеры такие, что дорого стоят. Я, конечно, не могу стать на него похожим. Но держаться, как он, этому я могу научиться.

Чтобы и свободно, и легко, и вежливо в то же время. А умом я попробую быть похожим на Дэва. Это, пожалуй, будет трудней всего. И еще постараюсь выведать у Эпди, как ему удается быть таким хитрым.

— Ты только здесь потом не вздумай хитрить.

— Что вы, мистер Том, вы меня плохо поняли. У вас в доме мне хитрость ни к чему. Она мне пригодится в мое свободное время.

— А хорошо, что они приезжают, правда?

— Мистер Том, такого великого события не было со времен большого пожара. Я считаю, что это стоит второго пришествия. Хорошо ли, вы меня спрашиваете? Не то что хорошо — прекрасно.

— Надо будет подумать, как их развлекать, чтобы они не скучали.

— Нет, мистер Том, — сказал Джозеф. — Нам надо будет подумать, как их уберечь от всяких их собственных опасных затей. Тут нам Эдди поможет. Он их лучше знает, чем я. И я им приятель, это затрудняет дело.

— Как он сейчас, Эдди?

— Немножко выпил по случаю дня рождения королевы. Но при этом в самом лучшем виде.

— Пойду-ка я все же к мистеру Бобби, он, должно быть, до сих пор не в духе.

— Он про вас спрашивал, мистер Том. Мистер Бобби — джентльмен до мозга костей, и его иногда утомляет всякий сброд, который сюда наезжает на яхтах. У него был очень утомленный вид, когда я уходил оттуда.

— А что ты там вообще делал?

— Пошел за кока-колой, а заодно решил погопять немножко шары на бильярде.

— Стол все такой же?

— Еще хуже.

— Пойду, — сказал Томас Хадсон. — Вот только приму душ и переоденусь.

— Я вам все чистое приготовил, лежит на кровати, — сказал Джозеф. — Еще джинну с тоником не хотите?

— Нет, спасибо.

— Мистер Роджер приехал.

— Отлично. Я его разыщу.

— Он будет гостить у нас?

— Может быть.

— Я ему приготовлю постель на всякий случай.

— Отлично.

Томас Хадсон принял душ, намылил голову и потом долго стоял под колючими, острыми, напористыми струйками воды. Он был крупным мужчиной и голый казался еще крупней, чем в одежде. Кожа у него была загорелая, а волосы полосами выцвели на солнце. Он встал на весы — сто девяносто два фунта, ничего лишнего.

Надо было пойти поплавать до душа, подумал он. Но я уже утром далеко плавал перед тем, как начать работать, а сейчас я устал. Еще наплаваемся, когда ребята приедут. И Роджер здесь. Это хорошо.

Он надел свежие шорты, старую баскскую рубашку и мокасины, вышел из дома и спустился к калитке, которая вывела его на сверкающий, выбеленный солнцем коралловый известняк Королевского шоссе.

Гослый, с очень прямой спиной, старик негр в черном пиджаке из альнака и отутюженных брюках сошел с крыльца дощатой хижины, каких много стояло в тени кокосовых пальм у обочины дороги, и зашагал по шоссе впереди Томаса Хадсона. Когда он выходил на шоссе, Томас Хадсон успел разглядеть его красивое черное лицо.

Где-то за хижинами детский голос насмешливо затянул на мотив старой английской песенки:

Дядюшка Эдвард приехал из Нассау,
Конфеты он продает.
И съел конфетку, и ты съел конфетку,
И у нас заболел живот...

Дядюшка Эдвард оглянулся, его красивое лицо было сердитое и грустное в ярком свете дня.

— Я тебя знаю, — сказал он. — Я тебя не вижу, но я знаю, кто ты такой. Вот пожалуйсь на тебя констеблю.

Невидимый мальчишка запел еще звонче и веселей:

Ах, Эдвард,
Ох, Эдвард,
Старый шут-плут-спрут Эдвард,
Конфеты твои — просто дрянь...

— Все расскажу констеблю, — сказал дядюшка Эдвард. — Констебль на тебя найдет управу.

— Привез сегодня своих дрянных конфет, дядюшка Эдвард? — крикнул мальчишка. Он предусмотрительно не показывался на глаза.

— Травят человека, — сказал дядюшка Эдвард, продолжая идти вперед и ни к кому не обращаясь. — Хотят упи-знить человека, сорвать с него покровы достоинства. Прости им, боже, ибо не ведают, что творят.

Впереди на Королевском шоссе тоже слышалось пение. Оно несло из раскрытых окон над баром «Понсе-де-Леон». Томаса Хадсона нагнал молодой негр, почти бегом бежавший по коралловому шоссе.

— Скандал там, мистер Том, — сказал он. — А может, уже и драка. Господин с яхты выбрасывает вещи в окно.

— Какие вещи, Луис?

— Всякие вещи, мистер Том. Все, что под руку попадет. Дама его хотела ему помешать, так он сказал, что и даму выбросит тоже.

— А что это за господин?

— Какой-то богач с Севера. Хвалился, что может купить и продать весь наш остров. Пожалуй, цена будет невелика, если он все кругом порасшвыряет.

— А что же констебль?

— Ничего, мистер Том. Констебля пока не звали. Но все думают, без констебля дело не обойдется.

— Так ты, значит, сейчас при них, Луис? А я думал, ты мне приготовишь наживки на завтра.

— Слушаю, сэр, мистер Том. Наживка у вас будет. Вы насчет наживки не беспокойтесь. При них-то я при них. Они меня подрядили сегодня с утра выйти с ними на рыбную ловлю, и с тех пор я при них. Но только никакой рыбной ловли не было. Нет, сэр. Если только выбрасывать чашки, плошки, тарелки, стулья и всякий раз, когда мистер Бобби пытается подать счет, рвать этот счет в клочки и ругать мистера Бобби бандитом и мошенником и сволочью — если только все это не называется рыбной ловлей.

— Видно, господин из таких, с кем целегко сладить, Луис.

— Мистер Том, я никого хуже никогда не видал и не увижу. Потребовал он, чтобы я им пел. Вы знаете, я не умею так хорошо петь, как Джози, но я пою, как умею, иногда даже лучше. Стараюсь, чтоб было лучше. Вы знаете. Вам приходилось слышать, как я пою. Поправилась ему одна песня — про маму, которой не надобен был ни рис, ни горох, ни кокосовый сок, — и другой он не хочет. Как допою ее, давай опять сначала. Это старая песня, надоело мне ее петь, и я говорю: «Сэр, я знаю новые песни. Хорошие песни. Красивые песни. И старых песен я еще

много знаю, вот хотя бы про то, как Джон Джекоб Астор погиб на «Титанике», когда тот наскочил на айсберг и пошел ко дну, и я рад буду спеть их вам вместо «Ни рис, ни горох», если пожелаете». Тихо так, вежливо сказал, вы же меня знаете. А он в ответ: «Ах ты, поганый черномазый неуч, да у меня заводов, и магазинов, и газет больше, чем твой Джон Джекоб Астор за всю свою жизнь в горшки наложил, — простите за грубое слово, сэр, — и я вот возьму тебя и обмакну в эти горшки головой, чтоб ты мне не указывал, какие песни слушать». Тут его дама вступилась и говорит: «Милый, пу зачем ты с ним так? Право, он очень хорошо пел, и я с удовольствием послушала бы какие-нибудь новые песни». А он на это: «Не будешь ты их слушать, и он их не будет петь. Заруби это себе на носу». Очень странный господин, мистер Том. А дама только сказала: «Ох, милый, до чего с тобой трудно сладить». Мистер Том, новорожденному мартышонку, только что из материнской утробы, легче сладить с дизель-мотором, чем кому-нибудь с этим господином. Вы уж извините, что я так разболтался. Очень он меня расстроил. Он и свою даму вконец расстроил.

— Что же ты теперь с ними думаешь делать, Луис?

— Вот раздобыл для дамы ракушечного жемчуга.

Они стояли в тени придорожной пальмы, куда отошли в начале разговора, и Луис, достав из кармана чистую тряпицу, бережно развернул ее и показал несколько блестящих, перламутрово-розовых, очень мало похожих на жемчуг горошин, какие иногда находят местные жители при очистке раковин. Ни одна из знакомых Томасу Хадсону женщин, кроме королевы Марии Английской, не позарилась бы на такой жемчуг. Не то чтобы Томас Хадсон мог считать королеву Марию своей знакомой — он ее видел только на картинках и в кино да еще в «Нью-Йоркере», где часто мелькал ее профиль; но оттого, что она любила ракушечный жемчуг, ему казалось, что он ее знает лучше многих своих давних знакомых. Королева Мария любит ракушечный жемчуг, а сегодня весь остров празднует ее день рождения, думал он, но едва ли ракушечный жемчуг послужит утешением для спутницы того господина, о котором рассказывал Луис. Впрочем, может быть, и королева Мария говорила, что любит этот жемчуг, просто чтобы сделать приятное своим поддашным на Багамских островах.

Они шли дальше по направлению к «Понсе-де-Леон», и Луис говорил:

— Эта его дама плакала, мистер Том. Она плакала горькими слезами. Тут я и предложил, что схожу к Рою и припишу ей ракушечного жемчуга, пусть посмотрит.

— Наверно, это ее очень порадует,— сказал Томас Хадсон.— Если она любит ракушечный жемчуг.

— Надеюсь, что порадует. Сейчас отнесу ей.

Томас Хадсон вошел в бар, прохладный и даже темноватый на первый взгляд после сверкания коралловой дорожки, и выпил джину с тоником и кусочком лимонной корки, прибавив в стакан несколько капель ангостуры. Мистер Бобби стоял за стойкой с мрачайшим видом. Четверо молодых негров играли на бильярде, слегка приподнимая одну его сторону, когда по ходу игры предстоял особо сложный карамболь. Пение павсверху прекратилось, и в баре было очень тихо, только пощелкивали бильярдные шары. У стойки сидели двое матросов с яхты, ошвартованной у причала. Постепенно глаза Томаса Хадсона привыкли к освещению бара, и ему стало прохладно и приятно. Пришел сверху Луис.

— Господин успул,— сказал он.— Я оставил жемчужины его даме. Она смотрит на них и плачет.

Томас Хадсон заметил, как матросы с яхты переглянулись, но не сказали ни слова. Он стоял, держа в руках стакан с приятно-горьковатым напитком, все еще смакуя первый долгий глоток, напомнивший ему Тангу, Момбасу и Ламу и все то побережье, и его вдруг охватила тоска по Африке. Вот он так прочно осел здесь, на этом острове, а ведь мог бы сейчас быть в Африке. Кой черт, подумал он, я всегда могу туда поехать. Нужно находить главное в себе самом, где бы ты ни был. А здесь это мне неплохо удается.

— Том, вам правда нравится эта штука? — спросил его Бобби.

— Конечно. Иначе я бы не стал ее пить.

— Я раз по ошибке откупорил бутылку, так словно хины глотнул.

— А там есть хипа.

— С ума сходят люди, честное слово,— сказал Бобби.— Человек может выбрать себе любой напиток. У него есть чем заплатить. Кажется, пей и получай удовольствие — так нет, он берет и портит добрый джин, наливая туда индийской гадости с хиной.

— Мне нравится. Я люблю вкус хины в сочетании с лимонной коркой. От этого коктейля словно все поры в же-

лудке раскрываются. Никакой другой напиток меня так не бодрит. Я себя после него отлично чувствую.

— Знаю. Вы себя всегда хорошо чувствуете, когда выпьете. А я — отвратительно. Где Роджер?

Роджер был приятель Томаса Хадсона, купивший себе рыбацкую хижину на другой стороне острова.

— Скоро появится. Мы с ним сегодня обедаем у Джонни Гуднера.

— Не пойму, что за интерес таким людям, как вы, Роджер Дэвис и Джонни Гуднер, торчать на этом острове.

— Это прекрасный остров. Вы же торчите.

— Я торчу, потому что я здесь деньги зарабатываю.

— Могли бы и в Пассау зарабатывать.

— Черт с ним, с Пассау. Здесь веселее. По части веселья лучше этого острова не найти. И кой-кому здесь случилось сколотить состояние.

— По-моему, здесь жить очень славно.

— Еще бы, — сказал Бобби. — По-моему тоже. Если можно зарабатывать деньги. Вы эти картины продаете, над которыми все время трудитесь?

— На них сейчас много покупателей.

— Платить деньги за картины, на которых нарисовал дядюшка Эдвард! Или негры в воде. Негры на берегу. Негры в лодке. Ловцы черепашек. Ловцы губок. Буря на море. Смерч. Шхуна, разбитая волнами. Шхуна, еще не достроенная. Все то, что можно увидеть бесплатно. Неужели их правда покупают?

— Ну конечно. Раз в год в Нью-Йорке устраивается выставка и выставленные картины продаются.

— С аукциона?

— Нет. Тот, кто устраивает выставку, назначает каждой картине цену. Люди смотрят и покупают. Бывает, что и музей купит какую-нибудь.

— А сами вы можете их продавать?

— Конечно.

— Я бы, пожалуй, купил у вас смерч, — сказал Бобби. — Здоровенный чтоб был смерч, черный как дьявол. Или еще лучше два смерча, как они несутся над отмелью с таким ревом, что больше ничего не слышно кругом. Всасывают воду и пугают людей до смерти. И я на своей лодочке — высухал ловить губку и попался. А смерч бушует, сорвал у меня стеклянный щиток. Чуть не всосал и лодку вместе с водой. Такой смерч, что господь бог ему сам не рад. Сколько бы вы с меня взяли за такую картину? Я бы

ее прямо вот здесь и повесил. Или у себя дома, если моя старуха не умрет со страху.

— Цена зависит от размера картины.

— Делайте любого размера, какой вам захочется, — величественно разрешил Бобби. — Такую картину, черт побери, маленькую не сделаешь. Знаете что, нарисуйте даже три смерча. Я раз видел три смерча у острова Андроса, вот как сейчас вас вижу. Они закручивались до самого неба, а один всосал лодку ловца губок, так когда она упала, мотор насквозь пробил днище.

— Вопрос в том, сколько будет стоить холст, — сказал Томас Хадсон. — Я с вас возьму только стоимость холста.

— Ну, тогда покупайте холст побольше, — сказал Бобби. — Мы такие изобразим смерчи, что, кто ни взглянет, со страху тут же выкатится из бара, а то и вовсе удерет с этого чертова острова.

Он был потрясен грандиозностью замысла, но заложенные тут возможности лишь постепенно раскрывались перед ним.

— Том, дружище, а целый ураган вы бы не могли изобразить? Самую завируху, когда с одной стороны уже отблескивало и успокоилось, а с другой только начинается. Чтобы все как есть было нарисовано: от негров, которых швыряет на кокосовые пальмы, и до кораблей, что с волной перекатываются через весь остров. И вырванные доски, как гарпуны, летят по воздуху, и мертвые пеликаны полетят мимо, будто они вылились из тучи вместе с дождем. Нарисуйте барометр, который стоит на двадцати семи, и ветроуказатель, сорванный с места. Нарисуйте большую отмель, залитую водой, и луну, которая выглядывает в просвет между тучами. Пусть там будет водяная стена, как она встает и обрушивается, хороня под собой все живое. Пусть будут женщины, которых смыло в море, а ветер сорвал с них одежду. Пусть мертвые негры качаются на волнах и взлетают в воздух...

— Понадобится очень большой холст, — сказал Томас Хадсон.

— Плевать на холст! — сказал Бобби. — Я вам достану грот-марсель со шхуны. Мы с вами напишем такую, черт побери, картину, какой еще мир не видал, и наши имена войдут в историю. Довольно вам малевать всякие ерундовые картинки.

— Лучше все-таки я напишу смерч, — сказал Томас Хадсон.

— Валяйте,— сказал Бобби, неохотно спускаясь с высот своего грандиозного замысла.— Это разумно. Но, ей-богу, со всем тем, что мы оба видели и знаем, а к тому же еще с вашим умением, у нас получились бы замечательные картины.

— Я завтра же начну работать над смерчем.

— Ладно,— сказал Бобби.— Это будет начало. Но, ей-богу, хорошо бы нам с вами написать и этот ураган тоже. А что, гибель «Титаника» кто-нибудь изображал?

— В больших масштабах нет.

— Может, нам за это взяться? Меня всегда увлекали такие сюжеты. Вы бы постарались передать на картине холод айсберга, когда он отходит после толчка. А кругом все в густом тумане. Изобразите все подробности. Изобразите того человека, что сел в шлюпку с женщинами, потому что он, мол, яхтсмен и сможет их спасти. Нарисуйте, как он лезет в шлюпку, этот верзила, наступая прямо на жепщин сапогами. Он, наверно, был похож на того типа, который сейчас спит наверху. Вот вы бы поднялись сейчас туда и нарисовали его, пока он спит, пригодится для картины.

— Мне кажется, лучше нам все-таки начать со смерча.

— Том, я хочу, чтоб вы были по-настоящему великим художником,— сказал Бобби.— Бросьте все эти ваши детские забавы. Вы просто растрчиваете себя по-пустому. Смотрите, меньше чем в полчаса мы с вами сочинили три картины, а я еще даже не открыл кранов своей фантазии. Ну, чем вы до сих пор занимались? Рисовали негра, который ловит на берегу черепаху. Даже не зеленую черепаху. Самую обыкновенную черепаху. Или двух негров в лодке, где на дне копошится куча лангустов. По-пустому, по-пустому растрчиваете свою жизнь.

Он умолк и, достав из-под стойки бутылку, торопливо глотнул из горлышка.

— Это не считается,— сказал он Томасу Хадсону.— Вы этого не видели. Слушайте, Том, три картины, что мы тут сочинили, замечательные картины. Великие картины. Мировые картины. Могли бы висеть в Хрустальном дворце среди шедевров всех времен. Ну, кроме первой, пожалуй, там сюжет поскромнее. А ведь мы еще не принялись за работу. Что нам мешает написать такую картину, которая бы превзошла все эти три? Как вы насчет этого?

Он еще раз глотнул из бутылки.

— Насчет чего?

Бобби перегнулся через стойку, чтобы его никто больше не слышал.

— Вы только не шарахайтесь,— сказал он.— Пусть вас не смущает размах. Нужно дерзать, Том. Давайте напишем с вами конец света.— Он выдержал паузу.— В натуральную величину.

— Ого.

— Ничего не «ого». Вот слушайте. Только что разверзся ад. Трясуны собрались на радение в свою церковь на горе и голосят на непонятных языках. И тут же черт с вилами, он их сгребает и грузит на повозку, а они стонут, и вопят, и взывают к Иегове. Повсюду валяются распростертые на земле негры, а вокруг них и прямо по их телам ползают лангусты, мурены и морские пауки. В одном месте что-то вроде большого открытого люка, из которого идет пар; черти волокут туда и негров, и трясунов, и священников и всех сваливают в этот люк, и больше мы их не видим. А в бурном море вокруг острова кишмя кишат акулы — и колючие, и сельдевые, и нокотницы, и пилоносы; и кто пытается спастись вплавь, чтобы черти его не загребли вилами, тот сразу попадает акулам в пасть. Пьяницы спешат хлебнуть напоследок и отбиваются от чертей бутылками. Но черти все-таки загребают их, или же их волной смывает в море, где уже к тем акулам прибавились новые, а дальше кружат по воде киты, и кашалоты, и еще разные морские чудища, так что кого не сожрут акулы, тому все равно далеко не уйти. Склоны холмов усеяны собаками и кошками, за ними тоже охотятся черти со своими вилами, собаки скулят и увертываются, а кошки царапают чертей когтями, и шерсть на них стоит дыбом, и в конце концов они бросаются в море и плывут во всю мочь. Иная акула ударит хвостом, и видно, как она скрывается под водой. Но многим удается проскочить.

Из люка уже пышет удушливым жаром, а некоторые черти пообломали о священников свои вилы, и теперь им приходится тащить туда людей вручную. А в самом центре картины стоим мы с вами и спокойно смотрим на все, что творится кругом. Вы чего-то записываете в блокноте, а я то и дело прикладываюсь к бутылке, чтобы подкрепиться, и вам тоже даю. Порой какой-нибудь черт, весь взмокший от натуги, тащит чуть не прямо на нас жирного священника, а тот упирается, цепляясь пальцами за песок и пестопным голосом призывая Иегову, и черт говорит нам:

«Пардон, мистер Том. Пардон, мистер Бобби. Совсем запарился сегодня». А на обратном пути, когда он бежит за следующим священником, утирая с морды пот и грязь, я ему предлагаю выпить, но он отвечает: «Нет, мистер Бобби, спасибо. На работе не употребляю». Ох, и картина же получится, Том, если мы сумеем придать ей нужный размах и движение.

— Ну, мне кажется, на сегодня мы уже сочинили больше чем требуется.

— Да, черт побери, пожалуй, вы правы,— сказал Бобби.— Тем более что от этого запытия — сочинять картины — у меня в горле сохнет.

— Был один человек, Босх, он писал в таком духе, и очень здорово.

— Это тот, что по электричеству?

— Нет. Иеропим Босх. Он жил очень давно. Очень хороший художник. И у Питера Брейгеля есть такие сюжеты.

— Он тоже давно жил?

— Очень давно. Очень хороший художник. Вам бы понравился.

— К чертям всех старых художников,— сказал Бобби.— Им до нас далеко. И потом, конец света до сих пор не наступил, так откуда этому Босху было знать о нем больше, чем знаем мы?

— С ним пелегко будет тягаться.

— И слышать этого не хочу,— сказал Бобби.— Посло нашей картины о нем никто и не вспомнит.

— Бобби, пельзя ли повторить?

— Фу, черт! Совсем забыл, что я за стойкой. А какой сегодня день, мы тоже забыли! Боже, храни королеву. Выпьем за ее здоровье, Том, я угощаю.

Он налил себе стаканчик рому, а Томасу Хадсону протянул бутылку бутсовского желтого джину, блюдечко с лимоном, пож и бутылку тоника «Швеппе».

— Стряпайте себе свое питье самп. Терпеть не могу эту мешанину.

Томас Хадсон налил поровну того и другого, добавил несколько капель из сосуда со вставленным в пробку перышком чайки и поднял было стакан, но оглянулся на матросов, сидевших у другого конца стойки.

— Вы что пьете? Скажите, как называется, если знаете.

— «Песья голова»,— ответил один из них.

— Точно, «Песья голова»,— сказал Бобби и, сунув руку в ящик со льдом, достал им по бутылке холодного эля.— Вот только стаканов нет,— сказал он.— Пашлись тут пьяницы, целый день швыряли стаканы в окно. Ну как, теперь у всех есть? За королеву, джентльмены! Не думаю, что ей так уж интересен этот остров, и сомневаюсь, чтобы она себя хорошо чувствовала здесь. Но — за королеву, джентльмены! Храни ее бог.

Все выпили.

— Замечательная, должно быть, женщина,— сказал Бобби.— Пожалуй, только чересчур чопорная для меня. Вот королева Александра, та больше в моем вкусе. Люблю таких. Но день рождения королевы мы отпразднуем как положено. Хотя остров паш маленький, патриотизма нам не занимать стать. Один здешний житель участвовал в войне, и ему оторвало руку. Это ли не патриотизм!

— Чей, говорите, сегодня день рождения? — спросил один из матросов.

— Королевы Марии Английской,— сказал Бобби.— Матери нынешнего короля-императора.

— Это та, что ли, в честь которой судно названо? — спросил другой матрос.

— Том,— сказал Бобби.— Следующий тост мы будем пить с вами вдвоем.

IV

Стемнело, и подул легкий ветер, так что и комары и мошки исчезли и суда уже вернулись в гавань, подпав на борт аутриггеры еще в проливе, и теперь стояли у причалов, которые тянулись от береговой линии в гавань. Отлив шел быстро, и огни судов дрожали на воде, отсвечивавшей зеленым и так стремительно убывавшей, что ее засасывало под настил причала и крутило воронкой за кормой большого катера, на который поднялся Томас Хадсон. В воде — там, где огни плескались между обшивкой катера и некрашенным настилом причала с крапцами из старых автомобильных шин, темными кругами отражавшимися в темноте у камней,— стояли, держась против течения, сарганы, приплывшие сюда на свет. Длинные, плоские, с прозеленью, как и вода, они не кормились тут, не играли; они только, подрагивая хвостами, держались против течения, зачарованные светом.

«Нарвал» — катер Джонни Гуднера, где они с Томасом Хадсоном ждали Роджера Дэвиса, — утыкался носом в убывающую воду, а кормой к корме за ним стояла яхта того самого человека, который весь день провел у Бобби. Джонни Гуднер сидел на стуле, положив ноги на другой стул, в правой руке у него был стакан «Томми Коллинза», а в левой — длинный зеленый стручок мексиканского перца.

— Замечательно, — сказал он. — Я откусываю помаленьку, и во рту у меня начинается пожар, а я остужаю его вот этим.

Он откусил первый кусочек, проглотил его, выдохнул «х-х!» сквозь свернутый трубочкой язык и потом долго тянул из высокого стакана. Его полная нижняя губа посасывала тонкую, типично ирландскую верхнюю, а улыбались одни серые глаза. Уголки губ у него всегда были приподняты, и поэтому казалось, что он вот-вот улыбнется или только что улыбнулся. Но рот мало что говорил о нем, если бы не тонкая верхняя губа. Присматриваться следовало к глазам. Рост и сложение у Джонни Гуднера были как у немного отяжелевшего боксера среднего веса, но сейчас, развалившись на двух стульях, он выглядел складно. А человека, потерявшего форму, такая вольная поза сразу выдает. Лицо у него было покрыто ровным заггаром, лупились только нос и лоб, уходивший назад вместе с редкими волосами. Шрам на подбородке мог бы сойти за ямочку, если бы приходился ближе к серединке, а переносица была чуть приплюснута. Сам по себе нос был не плоский. Он будто вышел из рук современного скульптора, который работал сразу в мраморе и стесал тут самую малость больше, чем следовало.

— Том, пропащая твоя душа. Чем ты был занят это время?

— Работал, и довольно упорно.

— Ну еще бы! — сказал Джонни Гуднер и отправил в рот второй кусок зеленого перца. Стручок был очень вялый, сморщенный, дюймов шести в длину.

— Только поначалу жжет, — сказал он. — Как любовь.

— Черта с два. Перец жжет не только поначалу.

— А любовь?

— К черту любовь, — сказал Томас Хадсон.

— Это что за настроения? Что за разговоры? Ты в кого это превращаешься у нас на острове? В чокнутого овцевода при отаре?

— Здесь овец нет, Джонни.

— Ну, в чокнутого крабовода,— сказал Джонни.— Мы же собираемся держать тебя здесь на привязи. Возьми по-пробуй перца.

— Я уже пробовал,— сказал Томас Хадсон.

— Про твои прошлые дела я все знаю,— сказал Джонни.— Не щеголяй передо мной своим славным прошлым. Ты, может, всех их выдумал. Знаю, знаю. Ты, может, первый ввез их на вьючных яках в Патагонию? Ну а я человек современный. Слушай, Томми. Перец фаршируют лососиной. Фаршируют морским окунем. Фаршируют чилийской скумбрией. Грудкой мексиканской горлицы. Индюшатиной и кротовым мясом. Мне его чем угодно фаршируй, я все беру. Вот, мол, я какой магнат, черт меня подери. Но это все извращения. Нет ничего лучше такого вот длинного, вялого, скучного, совсем не соблазнительного, без всякого фарша, простого перчика под коричневым соусом из чупанго. Ух ты, зверюга,— он снова дыхнул, высунув сложенный трубочкой язык,— пожалуй, я тебя все-таки малость перебрал.

Он приложился к стакану.

— Этот перец дает мне лишний повод выпить,— пояснил он.— Остужаю свою пасть. А ты что будешь?

— Пожалуй, еще одну порцию джина с тоником.

— Бой! — крикнул Джонни.— Еще порцию джина с тоником бване М'Кубва.

Фред, один из местных негров, которых капитан катера нанял для Джонни, подал стакан Томасу Хадсону.

— Пожалуйста, мистер Том.

— Спасибо, Фред,— сказал Томас Хадсон.— За королеву, дай ей бог здоровья!

И они выпили.

— А где наш милейший распутник?

— Он у себя дома. Скоро придет.

Джонни съел еще один стручок, на сей раз без всяких комментариев, допил виски и сказал:

— А на самом-то деле, как ты тут, старик?

— О'кей,— сказал Томас Хадсон.— Я уже научился жить в одиночку, да и работы хватает.

— Тебе нравится здесь? Если осесть навсегда?

— Нравится. Надоело мыкаться со всем, что есть на душе. Лучше уж на одном месте. Мне тут неплохо, Джонни. Совсем неплохо.

— Здесь хорошо,— сказал Джонни.— Для такого, как ты, с внутренним содержанием, здесь хорошо. А для та-

кого, как я, который то гоняется за этим самым, то от этого удирает, тут погиббель. А правда, что наш Роджер в красные записался?

— Значит, уже пошли толки?

— Я слышал кое-что, когда был в Калифорнии.

— А что с ним там случилось?

— Да я всего не знаю. Но, кажется, дело было плохо.

— Действительно плохо?

— У них там на этот счет свои понятия. Не то чтобы растление, если ты об этом. Но понимаешь, при тамошнем климате, да на свежих овощах, да все такое прочее, там не только футболисты здоровенные вырастают. Пятнадцатилетняя девчонка выглядит на все двадцать четыре. А в двадцать четыре она — что твоя Мэй Уитти. Если жениться не собираешься, посмотри внимательно на ее зубы. Впрочем, и по зубам возраста не определишь. И у всех у них мамаша или папаша, а то и оба, и все они голодные. Климат такой — аппетит очень развивается. Беда в том, что человек иной раз выиграет, и нет того чтобы поинтересоваться, есть ли у нее водительские права или карточка социального страхования. По-моему, в таких случаях надо бы судить по росту, по весу, а не только по возрасту и вообще проверять, на что они способны. Если судить только по возрасту, то часто получается несправедливо. И для нас и для них. В других видах спорта раннее развитие по наказуемо. Наоборот. Для юниоров особые нормы — вот это было бы справедливо. Как на скачках. Меня раз здорово подковали. Но Роджер погорел не на этом.

— А на чем я погорел? — спросил Роджер Дэвис.

В туфлях на веревочной подошве он бесшумно прыгнул с причала на палубу и стал — огромный, в спортивном свитере, размера на три больше, чем нужно, и в тесно облегающих попоношенных брюках из бумажной материи.

— Привет! — сказал Джонни. — Я не слышал вашего авонка. Вот говорю Тому: за что вас сцапали — не знаю, только не за малолетнюю.

— Прекрасно, — сказал Роджер. — И на этом точка.

— А вы не командуйте, — сказал Джонни.

— А я не команду, — сказал Роджер. — Я вежливо. А что, пить здесь разрешается? — Он посмотрел на яхту, которая стояла кормой к ним. — Это еще кто?

— Это те самые, из «Понсе». Вы разве не слышали?

— А-а! — сказал Роджер. — Давайте все-таки выпьем, хотя они и подали нам дурной пример.

— Бой! — крикнул Джонни.

Фред вышел из кубрика.

— Да, сэр, — сказал он.

— Выясни, чего желают сагибы.

— Что прикажете, господа? — спросил Фред.

— Мне того же, что пьет мистер Том, — сказал Роджер. — Он мой наставник и воспитатель.

— Много в этом году мальчиков в лагере? — спросил Джонни.

— Пока только двое, — сказал Роджер. — Я с моим воспитателем.

— Надо говорить: мы с моим воспитателем, — сказал Джонни. — А еще книжки пишете!

— Можно нанять человека, пусть исправляет грамматику.

— Еще нанимать. Лучше дарового пайдите, — сказал Джонни. — Я тут побеседовал с вашим воспитателем.

— Воспитатель говорит, ему здесь хорошо, он всем доволен. Он надолго здесь высадился.

— Ты бы сходил посмотреть, как мы живем-поживаем, — сказал Том. — Кое-когда он отпускает меня, и я хожу выпить.

— Женщины?

— Никаких женщин.

— Что же вы, мальчики, делаете?

— У меня весь день занят.

— Но вы и раньше здесь жили, а тогда что делали?

— Купались, ели, пили. Том работает, читаем, разговариваем, читаем, рыбачим, рыбачим, купаемся, пьем, спим...

— И никаких женщин?

— И никаких женщин.

— А это не вредно? Атмосфера вроде нездоровая. А опиума вы, мальчики, много курите?

— Как, Том? — спросил Роджер.

— Только высший сорт, — сказал Томас Хадсон.

— Выращиваете хороший урожай марихуаны?

— Выращиваем, Том? — спросил Роджер.

— Год плохой, — сказал Томас Хадсон. — Дожди все к чертовой матери залили.

— Нездоровая, на мой взгляд, атмосфера. — Джонни выпил. — Единственное спасительное обстоятельство — это то, что вы еще пьете. Вы, мальчики, не ударились ли в религию? Может, Тома осенил свет божий?

— Как, Том? — спросил Роджер.

— Отношения с богом без существенных перемен,— сказал Томас Хадсон.

— Теплые?

— Мы народ терпимый,— сказал Томас Хадсон.— Пожалуйста, упражняйтесь в любой вере. На острове есть бейсбольная площадка, можете там поупражняться.

— Я этому боженьке пошлю мяч повыше, в самый пуп, если он не попробует выйти к столбу,— сказал Роджер.

— Роджер,— укоризненно сказал Джонни.— Уже темнеет. Вы разве не видите, что наступают сумерки, сгущается тьма и мрак окутывает землю? А ведь вы писатель. В темноте неуважительно отзываться о боге не рекомендуется. А вдруг он стоит у вас за плечами с запертой битой.

— К столбу он выйдет обязательно,— сказал Роджер.— Я недавно видел, как он пристраивался.

— Не сомневайтесь, сэр,— сказал Джонни.— Да так запустит мяч, что мозги вам вышибет. Я видел, как он отбивает.

— Да. Надо думать, видели,— согласился с ним Роджер.— И Том видел, и я. Но мне все-таки хочется, чтобы он промазал.

— Давайте прекратим теологический спор,— сказал Джонни.— Надо чего-нибудь поесть.

— Этот старый сморчок, которому ты позволяешь водить твою посудину по океану, еще не разучился готовить? — спросил Томас Хадсон.

— Будет тушеная рыба,— сказал Джонни.— И еще ржанка с желтым рисом. Золотистая ржанка.

— Расписываешь, как специалист по интерьеру,— сказал Том.— В это время года никакого золота на них нет. Где ты подстрелил этих ржанок?

— На острове Южном. Мы там бросили якорь, чтобы выкупаться. Я два раза подсвистывал стаю и шлепал их одну за другой. Угощаю по две на брата.

Вечер был мягкий, и, пообедав, они сидели на корме, пили кофе, курили сигары, с другого катера пришли двое бездельников с гитарой и банджо, а на причале собрались негры, и оттуда то и дело слышались песни. В темноте на причале негры заводили какую-нибудь песню, и тогда ее подхватывал Фред Уилсон, у которого была гитара, а Фрэнк Харт трепькал на банджо. Томас Хадсон не умел петь, он сидел в темноте, откинувшись на спинку стула, и слушал.

На берегу у Бобби праздновали вовсю, и из открытой двери на воду падал яркий свет. Отлив все еще продолжался, и там, где вода была подсвечена, прыгала рыба. Все больше серые снапперы, подумал Том. Хватают пущенных на приманку рыбешек, которых относит от берега отливом. Несколько негритянских мальчишек сидели с лесками, и слышны были их разговоры, и негромкая брань, когда рыба срывалась с крючка, и шлепки выловленных снапперов о настил причала. Снапперы были крупные, а ребята ловили их на мягкость марлина, которого еще утром привезли на одном из катеров и уже взвесили, вздернули на крюк, сфотографировали и разделали на куски.

Слушать пение на причале собралась большая толпа, и Руперт Пиндер — огромный негр, который считал себя могучим бойцом и, по рассказам, как-то раз один дотащил на спине рояль с правительственного причала в старый клуб, который потом снесло ураганом, — крикнул:

— Капитан Джон, ребята говорят, у них во рту пересохло!

— Купи им чего-нибудь недорогого и полезного для здоровья.

— Слушаю, сэр, капитан Джон. Рому.

— Вот именно, — сказал Джон. — И бери сразу бутыль. Дешевле встанет.

— Большое спасибо, капитан Джон, — сказал Руперт. Он пошел сквозь толпу, которая торопливо расступалась, давая ему дорогу, и снова смыкалась позади него. Томасу Хадсону было видно, что все они двинулись к кабачку Роя.

В эту минуту с одного из катеров, стоявших у причала Брауна, с шипением взмыла в небо ракета и с треском вспыхнула, осветив пролив. Вторая, шипя, взлетела вкось и вспыхнула как раз над ближним концом их причала.

— Ах ты, черт! — сказал Фред Уилсон. — Чего же мы-то не послали за ракетами в Майами!

Ночь то и дело освещали вспышки с треском разрывавшихся ракет. Руперт со своей свитой снова появился на причале, неся на плече большую оплетенную бутыль.

С одного из катеров тоже запустили ракету, и она взорвалась над самой пристанью, осветив толпу, темные лица, шеи, и руки, и плоское лицо Руперта, его широкие плечи, и могучую шею, и оплетенную сеткой бутыль, нежно и горделиво прижавшуюся к его голове.

— Кружек,— сказал он своей свите, бросив это слово через плечо.— Эмалированных кружек.

— Есть жестяные, Руперт,— сказал кто-то.

— Эмалированные кружки,— сказал Руперт.— До-
станьте. Кушите у Роя. Вот деньги.

— Фрэнк, давай нашу ракетницу,— сказал Фред Уил-
сон.— Расстреляем те патроны, что есть, а новые где-ни-
будь достанем.

Пока Руперт величественно ждал эмалированных кру-
жек, кто-то принес кастрюлю, и Руперт палил в нее рому,
и она пошла по кругу.

— За маленьких людишек! — сказал Руперт.— Пейте,
скромные людишки.

Пение не умолкало, но пели без особенного складу. За-
одно с запуском ракет на некоторых катерах палили из
винтовок и пистолетов, а с причала Брауна стрекотал пи-
столет-пулемет, стрелявший трассирующими пулями. Сна-
чала он дал две очереди из трех и четырех пуль, а потом
выпустил целую обойму, перекинув над гаванью красивую
арку из красных трассирующих пуль.

Фрэнк Харт спрыгнул на корму с ракетницей в чехле
и с пачкой патронов, и как раз в эту минуту подоспели
кружки, и один из подручных Руперта стал разливать ром
и подавать кружки всем по очереди.

— Боже, храни королеву,— сказал Фрэнк Харт, заря-
дил ракетницу и послал сигнальный патрон вдоль при-
чала прямо в открытые двери бара мистера Бобби. Па-
трон ударил о бетонную стену правее двери, взорвался и
ярко вспыхнул на коралловой дороге, осветив все белым
огнем.

— Легче, легче,— сказал Томас Хадсон.— Так можно
людей обжечь.

— Катись ты со своим «легче»,— сказал Фрэнк.— По-
смотрим, удастся ли мне вдарить по комиссарскому дому.

— Смотрите, как бы не поджечь,— сказал ему Роджер.

— Я подожгу, я и за поджог буду платить,— сказал
Фрэнк.

Ракета описала полукруг, но не долетела до большого
белого дома, где жил английский правительственный ко-
миссар, и ярко вспыхнула, упав у его веранды.

— Милый наш комиссар! — Фрэнк снова зарядил ра-
кетницу.— Будешь знать, подлец, патриоты мы или нет.

— Легче, Фрэнк, легче,— останавливал его Том.— Не
надо дебоширить.

— Сегодня моя ночка, — сказал Фрэнк. — Королевина и моя. Не мешай мне, Том, сейчас буду лупить по причалу Брауна.

— Там бензин, — сказал Роджер.

— Недолго он там простоит, — ответил ему Фрэнк.

Трудно было сказать, мажет ли он, чтобы подразнить Роджера и Томаса Хадсона, или просто не умеет стрелять. Ни Роджер, ни Томас Хадсон не могли определить это, но оба они знали, что из ракетницы попадать точно в цель нелегко. А на причале был бензин.

Фрэнк встал, старательно прицелился, вытянув левую руку вдоль туловища, как дуэлянт, и выстрелил. Ракета попала не туда, где стояли баки с бензином, а на противоположный конец и рикошетом отлетела в пролив.

— Эй, там! — крикнул кто-то с одного из катеров, стоявших на причале у Брауна. — Какого черта балуетесь!

— Почти в самую точку, — сказал Фрэнк. — Теперь опять попробую по комиссару.

— А ну прекрати, — сказал ему Томас Хадсон.

— Руперт! — крикнул Фрэнк, не обращая внимания на Томаса Хадсона. — Дай выпить, а?

— Слушаю, сэр, капитан Фрэнк, — сказал Руперт. — Кружка у вас есть?

— Принеси кружку, — сказал Фрэнк Фреду, который стоял рядом и наблюдал за ним.

— Слушаю, сэр, мистер Фрэнк.

Фред соскочил вниз и вернулся с кружкой. Он так и сиял от волнения и удовольствия.

— Вы хотите поджечь комиссара, мистер Фрэнк?

— Если он загорится, — сказал Фрэнк.

Он подал кружку Руперту, и тот налил ее на три четверти и протянул ему.

— За королеву, храни ее бог! — Фрэнк влил все до дна.

Надо же было хватить такую порцию рому, да еще одним духом!

— Храни ее бог! Храни ее бог, капитан Фрэнк! — торжественно проговорил Руперт, и остальные подхватили:

— Храни ее бог! И правда, храни ее бог!

— А теперь примемся за комиссара, — сказал Фрэнк. Он выстрелил из ракетницы прямо вверх, чуть по ветру. Ракетница была заряжена парашютным патроном, и ветер понес яркую белую вспышку вниз, прямо над лодкой, стоявшей у них за кормой.

— Так вы в комиссара не попадете,— сказал Руперт.— Что же вы, капитан Фрэнк?

— Мне хотелось осветить эту прелестную сценку,— сказал Фрэнк.— С комиссаром торопиться некуда.

— Комиссар хорошо бы загорелся, капитан Фрэнк,— говорил ему Руперт.— Я не хочу вам подсказывать, но на острове уже два месяца не было дождя, и комиссарский дом сухой, как труха.

— А где констебль? — спросил Фрэнк.

— Констебль держится в стороне,— сказал Руперт.— Насчет констебля не беспокойтесь. Если отсюда кто выстрелит, ни одна душа этого не заметит.

— На причале все лягут ничком, и никто ничего,— слышался чей-то голос из задних рядов.— Ничего не слышали, ничего не видали.

— Я дам команду,— подстрекал его Руперт.— Все вернуться.— И добавил, подбадривая: — Дом сухой, как трут.

— А ну, проверим, как это у тебя получится,— сказал Фрэнк.

Он снова зарядил ракетницу парашютным патроном и выстрелил вверх и по ветру. При ослепительной, падающей вниз вспышке было видно, как люди лежат на причале ничком или стоят на четвереньках, зажмурив глаза.

— Да хранит вас бог, капитан Фрэнк,— слышался из темноты низкий торжественный голос Руперта, как только вспышка погасла.— Да сподобит он вас по великой милости своей поджечь комиссара.

— А где его жена и дети? — спросил Фрэнк.

— Мы их вытащим. Но беспокойтесь,— сказал Руперт.— Без вины никто не страдает.

— Ну как, подожжем комиссара? — Фрэнк повернулся к тем, кто был в кокпите.

— Да брось ты, ради бога,— сказал Томас Хадсон.— Что в самом деле!

— Я утром уезжаю,— сказал Фрэнк.— Так что с меня взятки гладки.

— Давайте спалим его,— сказал Фред Уилсон.— Местным, видно, это по душе.

— Спалите комиссара, капитан Фрэнк,— подзуживал его Руперт.— А вы как скажете, ребята? — обратился он к толпе.

— Спалите его. Спалите. Да сподобит вас господь поджечь его дом,— зашумели негры на причале.

— Есть такие, кто против? — спросил их Фрэнк.

— Спалите его, капитан Фрэнк. Никто ничего не видал. Никто ничего не слышал. Никто ничего не говорил. Спалите его.

— Надо малость попрактиковаться, — сказал Фрэнк.

— Если будешь его поджигать, проваливай с катера, — сказал Джонни.

Фрэнк посмотрел на него и покачал головой, но так, что ни Руперт, ни остальные на причале этого не заметили.

— Ну считайте, один пепел от него остался, — сказал он. — Налей мне еще, Руперт, чтобы я укрепился в своем решении.

Он протянул наверх свою кружку.

— Капитан Фрэнк, — Руперт нагнулся к нему, — это будет самое лучшее, что вы сделали в жизни.

Негры на причале затаили новую песню:

Капитан Фрэнк в порту,
Значит, вечером будет потеха.

Потом пауза и чуть выше:

Капитан Фрэнк в порту,
Значит, вечером будет потеха.

Вторую строку прогудели так, будто били в барабан. И дальше:

Комиссар обозвал Руперта черномазым псом.
Капитан Фрэнк выстрелил из ракетницы,
И гори, губернатор, огнем.

Потом снова перешли на ритмы Африки, которые четверо на катере слышали у негров — у тех, что тянули канат на паромов через реки, пересекающие дорогу к Момбасе, Малинди и Ламу. Негры дружно тянули канат и пели тут же сочиненные песни, описывая и высмеивая своих белых пассажиров.

Капитан Фрэнк в порту,
Значит, вечером будет потеха,
Капитан Фрэнк в порту.

Вызов, оскорбительный, отчаянный вызов звучал в мирной мелодии. Потом припев, гулкий, как рокот барабана:

Значит, вечером будет потеха.

— Вот видите, капитан Фрэнк? — подзуживал его Руперт, наклоняясь над кокпитом. — Вы еще ничем не отличились, а песню про вас уже поют.

— Я уже отличился, да еще как! — сказал Фрэнк Томасу Хадсону. Потом Руперту: — Пальну еще разок для тренировки.

— Тренировка — великое дело, — радостно проговорил Руперт.

— Капитан Фрэнк тренируется, как убивать, — сказал кто-то на причале.

— Капитан Фрэнк злос дикого кабапа, — слышался другой голос.

— Капитан Фрэнк — настоящий мужчина.

— Руперт, — сказал Фрэнк, — налей-ка еще кружку. Это не для храбрости. Просто чтобы рука не подвела.

— Господь да направит вашу руку, капитан Фрэнк. — Руперт протянул ему кружку. — Пойте песню про капитана Фрэнка, ребята.

Фрэнк выпил все до дна.

— Последний тренировочный выстрел, — сказал он, пустил ракету, и она, пролетев над яхтой, стоявшей у них за кормой, ударилась об один из бензиновых баков на причале у Брауна и отлетела в воду.

— Сволочь ты эдакая, — тихо сказал ему Томас Хадсон.

— Молчи, ханжа, — сказал Томасу Хадсону Фрэнк. — Это был мой шедевр.

В эту минуту из каюты на яхте вышел на палубу мужчина в пижамных штанах без куртки и закричал:

— Эй вы, свиньи! Прекратите немедленно! Здесь на яхте дама из-за вас заснуть не может!

— Дама? — переспросил Уилсон.

— Да, черт вас дери, дама, — сказал человек в пижамных штанах. — Моя жена. Запускают тут ракеты, стервецы, мешают ей спать. Разве заснешь под такой грохот?

— А вы бы дали ей спотворного, — сказал Фрэнк. — Руперт, пошли кого-нибудь за спотворным.

— Что же вы делаете, полковник? — сказал Уилсон. — Вели бы себя как полагается порядочному суиругу. Вот ваша жена и заснула бы. Ей, наверно, приходится угнетать свои порывы. Наверно, она обманулась в своих ожиданиях. Мой жене психоаналитик всегда так гозорит.

Фрэнк и Уилсон были отпыевые ребята, и Фрэнк, конечно, был кругом неправ, но владелец яхты, весь день бушвавший у Бобби, взял сейчас совершенно неправильный тон. Джон, Роджер и Томас Хадсон не сказали ни слова. Зато те двое времени не теряли, и, как только яхтсмен вы-

скачил на палубу с криком «свиньи», они взялись за дело дружно, точно партнеры по бейсболу.

— Свиньи поганые,— сказал яхтсмен. Словарь у него, видимо, не отличался богатством. Ему было лет тридцать пять — сорок, определить точнее было трудно, хотя он включил фонарь на палубе. Выглядел он лучше, чем ожидал Томас Хадсон, наслушавшись про него за день: наверно, успел выспаться. Тут Томас Хадсон вспомнил, что этот тип отсыпался еще у Бобби.

— Я бы посоветовал ей нембутал,— доверительным тоном сказал Фрэнк.— Если, конечно, у нее нет к нему аллергии.

— Не понимаю, почему она чувствует такую неудовлетворенность,— сказал Фред Уилсон.— В физическом смысле вы же прекрасный экземпляр. Вид у вас просто великолепный. Вы, наверно, гроза теннисного клуба. Такую форму сохраняете — по что вам это обходится? Погляди на него, Фрэнк. Ты видел когда-нибудь такую дорогостоящую верхушку у мужчины?

— А все-таки вы допустили ошибку, уважаемый,— сказал Фрэнк.— Не ту часть пижамы надели. Честно говоря, я впервые вижу, чтобы мужчина щеголял в одних пижамных штанах. Вы и в постель так ложитесь?

— Не мешайте даме уснуть, трепачи паршивые,— сказал яхтсмен.

— Спустились бы вы лучше вниз,— сказал ему Фрэнк.— А то как бы вам не влипнуть тут в историю из-за ваших словечек. Кто за вами присмотрит, шофера-то при вас нет. Вас в школу всегда шофер возит?

— Он не школьник, Фрэнк,— сказал Фред Уилсон, откладывая в сторону гитару.— Он уже большой. Он бизнесмен. Что, ты не можешь распознать бизнесмена, который ворочает крупными делами?

— Ты бизнесмен, сынок? — спросил Фрэнк.— Тогда беги вниз в каюту, это самое лучшее для тебя дело. А торчать здесь, наверху,— это вообще не дело.

— Он прав,— сказал Фред Уилсон.— На нас ты не наживешься. Ступай лучше к себе в каюту. А к шуму, ничего, привыкнешь.

— Свиньи грязные,— сказал яхтсмен, переводя взгляд с одного на другого.

— Уноси свое роскошное тело в каюту, слышал? — сказал Уилсон.— А дама твоя уж как-нибудь заснет. Я в этом не сомневаюсь.

— Свиньи, — сказал яхтсмен. — Свиньи паршивые.

— А другого словечка ты не придумаешь? — сказал Фрэнк. — *Свиньи* начинают здорово надоедать. Ступай вниз, ступай, а то простудишься. Будь у меня столь роскошный торс, я бы не стал рисковать им в такой ветреный вечер.

Яхтсмен оглядел их всех, точно стараясь запомнить.

— Ты нас не позабудешь, — сказал ему Фрэнк. — А забудешь, так я сам тебе напому при встрече.

— Падаль, — сказал яхтсмен, повернулся и ушел вниз.

— Кто он такой? — спросил Джонни Гудпер. — Я будто видел его где-то.

— Я его знаю, и он меня знает, — сказал Фрэнк. — Дрянный человек.

— А кто он такой, ты не помнишь? — спросил Джонни.

— Он барахло, — сказал Фрэнк. — Какая разница, кто он, что он, если это барахло.

— Пожалуй, никакой, — сказал Томас Хадсон. — Но вы оба уж очень на него навалились.

— А с барахлом так и надо. Наваливайся на него. Но мы не так уж грубо с ним обошлись.

— Свою антипатию вы от него, по-моему, не скрыли, — сказал Томас Хадсон.

— Я слышал собачий лай, — сказал Роджер. — Ракеты, наверно, напугали его собаку. Хватит этих ракет. Я знаю, вы развлекаетесь, Фрэнк. Вам везет, что никакой беды вы не натворили. Но зачем пугать несчастную собачонку?

— Это его жена лаяла, — весело сказал Фрэнк. — Давайте пальцем ему в каюту и осветим семейную сценку.

— Я отсюда уйду, — сказал Роджер. — Мне ваши шутки не нравятся. По-моему, всякие выкрутасы с автомобилями — это не смешно. По-моему, когда самолет ведет пьяный летчик — это не смешно. По-моему, пугать собак тоже не смешно.

— А вас тут никто не держит, — сказал Фрэнк. — Вы последнее время всем в печенку ввелись.

— Вот как?

— Конечно. Вы с Томом оба стали ханжами. Портите всякое веселье. Исправились, видите ли. Раньше сами же дураки были повеселиться. А теперь никто не смеет. Сознательные, видите ли, стали.

— Значит, это сознательность во мне заговорила, если я не хочу, чтоб подожгли причал Брауна?

— Конечно. Она и так может проявиться. А у вас ее хоть отбавляй. Слышал я, что вы там вытворяли в Калифорнии.

— Знаешь что, взял бы ты свой пистолет и пошел бы куда-нибудь в другое место развлекаться,— сказал Фрэнку Джошнни Гудпер.— Нам было весело, пока ты не начал безобразничать.

— Значит, ты тоже такой,— сказал Фрэнк.

— А нельзя ли все-таки полегче? — предостерег его Роджер.

— Я здесь единственный, кто еще умеет веселиться,— сказал Фрэнк.— А вы все переростки, религиозные психи, лицемеры, благодетели...

— Капитан Фрэнк! — Руперт наклонился над бортом причала.

— Руперт мой единственный друг.— Фрэнк поднял голову.— Да, Руперт?

— Капитан Фрэнк, а как же с комиссаром?

— Мы подождем его, Руперт, подождем, дружок.

— Дай бог вам здоровья, капитан Фрэнк,— сказал Руперт.— Рому не хотите?

— Мне и так хорошо,— сказал ему Фрэнк.— Ну, ложись!

— Ложись! — скомандовал Руперт.— Лицом вниз!

Фрэнк выстрелил над бортом причала, и ракета вспыхнула на усыпанной гравием дорожке почти у самой веранды комиссарского дома и сгорела там. Негры на причале охнули.

— Вот дьявол! — сказал Руперт.— Самую малость не попали. Не повезло. Еще раз, капитан Фрэнк.

В кокпите яхты, стоявшей у них за кормой, загорелся фонарь, и ее хозяин снова вышел из каюты. На сей раз он явился в белой рубашке, белых парусиновых брюках и в спортивных туфлях. Волосы у него были гладко причесаны, а лицо красное, в белых пятнах. Ближе всех, спиной к нему, стоял на корме Джон, а за ним с мрачным видом сидел Роджер. Между обоими судами было фута три воды; яхтсмен вышел на палубу и уставил палец на Роджера.

— Паскуда,— сказал он.— Вонючая, грязная паскуда.

Роджер поднял голову и удивленно взглянул на него.

— Вы, наверно, имеете в виду меня? — крикнул ему Фрэнк.— Тогда свинья, а не паскуда.

Яхтсмен не обратил на него внимания и снова пал на Роджера.

— Паскуда толстомордая. — Он почти задышался. — Жулик. Шарлатан. Жулик подзаборный. Паршивый писатель и дерьмовый художник.

— Что это вы? Кому вы все это говорите? — Роджер встал.

— Тебе. Тебе, паскуда. Тебе, шарлатан. Тебе, трус. Ах ты, паскуда. Паскуда грязная.

— Вы сошли с ума, — спокойно сказал Роджер.

— Паскуда! — Яхтсмен кричал через три фута воды, отделявшие одно судно от другого, будто дразня зверей в современном зоопарке, где их отгораживают от зрителей не решетки, а рвы. — Жулик.

— Это он про меня, — радостно сказал Фрэнк. — Вы разве со мной не знакомы? Я же свинья.

— Нет, про него. — Яхтсмен показал пальцем на Роджера: — Жулик.

— Слушайте, — сказал ему Роджер. — Вы же это не для меня говорите. Вы сыплете руганью только затем, чтобы потом повторить в Нью-Йорке все, что вы мне тут наговорили.

Это было сказано разумно, сдержанно, точно он на самом деле хотел, чтобы этот человек понял его и замолчал.

— Паскуда! — крикнул яхтсмен, все больше и больше распаляясь и вгоняя себя в истерику, ради которой он и оделся. — Грязная, вопючая паскуда!

— Вы это не для меня говорите, — еще спокойнее повторил Роджер, и Томас Хадсон понял, что дальнейшее у него уже решено. — Советую вам замолчать. А если хотите поговорить со мной, поднимитесь на причал.

Роджер пошел к причалу, и, против всех ожиданий, яхтсмен тоже полез туда как миленький. Правда, ему понадобилось прежде взвинтить себя, довести себя до точки. Негры подались назад, а потом окружили их кольцом, оставив им достаточно места для драки.

Томасу Хадсону было непонятно, на что рассчитывал этот человек, поднимаясь на причал. Они не обменялись ни словом, вокруг виднелись одни черные лица, и он развернулся в свинге, а Роджер ударил его по зубам левой, и на губах яхтсмена выступила кровь. Он снова развернулся, и Роджер ответил сильным двойным хуком по правому глазу. Он сделал захват, и Роджер правой дал

ему кулаком в живот с такой силой, что порвал свой свитер, а потом, оттолкнув, съездил его по лицу тыльной стороной открытой левой.

Негры наблюдали за дракой молча. Они держали их обоих в кольце, оставив им достаточно места для схватки. Кто-то включил на причале фонарь (наверно, Фред — бой Джонни, подумал Том), и все было хорошо видно.

Роджер кинулся на противника и сделал три быстрых хука по голове. Яхтсмен снова сделал захват, свитер на Роджере разорвался еще в другом месте, когда он оттолкнул противника и дал ему два раза по зубам.

— Хватит левой! — заорал Фрэнк. — Правой давай, правой! Врежь ему, стервецу!

— Имеете что-нибудь сообщить мне? — сказал Роджер и ударил его хуком по зубам.

Изо рта у яхтсмена хлестала кровь, вся правая сторона лица вспухла, правый глаз почти закрылся.

Яхтсмен вцепился в Роджера, и Роджер захватил его и не дал ему упасть. Дышал он тяжело и не говорил ни слова. Роджер держал его за локти, и Том видел, как он потирает ему изнутри большими пальцами сухожилия между бицепсами и предплечьем.

— Не хлещи на меня своей кровинцей, сволочь! — сказал Роджер и, размахнувшись левой, отогнул ему голову назад и снова ударил тыльной стороной руки по лицу. — Заказывай себе новый нос, — сказал он.

— Врежь ему, Роджер, врежь ему! — умолял его Фрэнк.

— Ты, болван, не видишь, что он делает! — сказал Фред Уилсон. — Изничтожает человека.

Яхтсмен вцепился в Роджера, но Роджер оттолкнул его.

— Ну, бей! — сказал он. — Что же ты? Бей!

Яхтсмен ударил его длинным боковым, но Роджер сделал нырок и вошел с ним в клинч.

— Тебя как зовут? — спросил он.

Яхтсмен ничего не ответил. Он только тяжело переводил дух, точно умирал от приступа астмы.

Роджер снова схватил его за локти.

— А ты, подлец, сильный, — сказал он. — Но кто тебе говорил, что ты умеешь драться?

Яхтсмен сделал слабый замах, и Роджер сгреб его, рванул на себя, крутнул разок и дважды ударил правым кулаком по уху.

— Ну как, постиг, что нельзя приставать к людям? — спросил он.

— Посмотрите на его ухо, — сказал Руперт. — Как виоградная гроздь.

Роджер снова держал яхтсмена за локти, нажимая с внутренней стороны на сухожилия ниже бицепсов. Томас Хадсон следил за выражением лица яхтсмена. Вначале оно испуга не выражало, просто было подлое, как у свиньи, как у подлейшего кабана. Но теперь он был перепуган насмерть. Ему, наверно, не приходилось слышать, что бывают драки, которые никто не останавливает. А может, в мозгу у него шевельнулось воспоминание о прочитанном где-то, когда унавшего затаптывают ногами. Он все еще пытался драться. Каждый раз, когда Роджер говорил ему: «Ну, бей!» — или отталкивал от себя, он пытался ударить его. Сдаваться он не хотел.

Роджер снова оттолкнул его прочь. Он стоял, не сводя с Роджера глаз. Как только Роджер разжимал свою хватку, которая делала этого человека совершенно беспомощным, страх его немного ослабевал и возвращалась подлость. Он стоял перепуганный, избитый — лицо изуродовано, губы в крови, а ухо — как перезрелая фи́га, потому что мелкие кровоизлияния в нем слились под кожей в большую гематому. И пока он стоял так, не чувствуя на себе рук Роджера, страх его ослабевал, а вместо страха накапливалась неистребимая подлость.

— Ну, что скажете? — спросил Роджер.

— Наскуда, — сказал он. И, сказав, прижал подбородок к груди, поднял стиснутые кулаки и стал боком к Роджеру, похожий на мальчишку, чье упрямство трудно переломить.

— Ну держись! — крикнул Руперт. — Ну, теперь будет по всем правилам.

Но то, что за этим последовало, не было ни особенно эффектным, ни особенно поучительным. Роджер быстро шагнул к своему противнику, поднял левое плечо и, замахнувшись правым кулаком снизу, ударил его справа по голове. Яхтсмен упал на четвереньки и уткнулся в настил лбом. Постоял так с минуту, упираясь лбом в доски настила, и потом мягко повалился на бок. Роджер посмотрел на него, подошел к краю причала и спрыгнул на катер.

Матросы понесли хозяина домой. Они не вмешивались в то, что происходило на причале, просто подошли туда,

где он лежал на боку, подняли и поспели провисавшее у них на руках тело. Кто-то из негров помог им спустить его с причала и внести в каюту. Тело внесли, и дверь за ним затворилась.

— Надо бы вызвать врача,— сказал Томас Хадсон.

— Он не очень сильно стукнулся, когда рухнул,— сказал Роджер.— Я беспокоился за причал.

— Последний удар по уху не пойдет ему на пользу,— сказал Джонни Гуднер.

— Физиономию вы ему загубили,— сказал Фрэнк.— А уж ухо! Первый раз вижу, чтобы ухо так разнесло. Сначала оно было как виноградная гроздь, а потом стало как апельсин.

— Голые руки — вещь опасная,— сказал Роджер.— Люди понятия не имеют, что ими можно натворить. В глаза бы мне не видать этого типа.

— Теперь, если встретитесь с ним, сразу его узнаете.

— Надеюсь, он очухается,— сказал Роджер.

— Драку вы провели просто блистательно, мистер Роджер,— сказал Фред.

— Ну ее к черту, эту драку,— сказал Роджер.— И кому она была нужна?

— Он сам во всем виноват,— сказал Фред.

— Бросьте огорчаться,— сказал Роджеру Фрэнк.— Я этих битых много перевидал. Ничего ему не сделается.

Негры расходились с причала, толкуя между собой о драке. Их смутил вид этого белого человека, когда его уносили на яхту, и вся их бравада насчет поджога комиссарского дома понемногу испарилась.

— Всего вам хорошего, капитан Фрэнк,— сказал Руперт.

— Уходишь, Руперт? — спросил его Фрэнк.

— Да, мы хотим заглянуть к мистеру Бобби, посмотрим, что там делается.

— Всего хорошего, Руперт,— сказал Роджер.— До завтра.

Роджер сидел мрачный, левая рука у него распухла и стала величиной с грейпфрут. Правую тоже разнесло, но не так сильно. Больше ничто не говорило о том, что он участвовал в драке, разве только оторванный ворот свитера, болтавшийся на груди. Один удар пришелся ему по голове, и на лбу вскочила небольшая шишка. Джон смазал ему ободранные, кровоточащие костяшки пальцев меркурохромом. Роджер даже не посмотрел на свои руки.

— Пошли к Бобби, поглядим, может, там идет веселье,— сказал Фрэнк.

— Вы не огорчайтесь, Родж,— сказал Фред Уилсон и взобрался на причал.— Только сосунки огорчаются.

Они зашагали по причалу — один с гитарой, другой с банджо — и пошли прямо на огни и пение, доносившееся из открытых дверей «Понсе-де-Леоп».

— Славный малый Фредди,— сказал Джонни Томасу Хадсону.

— Он всегда был славным малым,— сказал Томас Хадсон.— Но в паре с Фрэнком ему быть вредно.

Роджер молчал, и Томасу Хадсону было беспокойно за него — за него и за многое другое.

— Может, пора домой? — сказал ему Томас Хадсон.

— У меня все еще кошки на сердце скребут из-за этого тина,— сказал Роджер.

Он сидел спиной к корме и правой рукой держал левую.

— Пусть больше не скребут,— вполголоса сказал Джон.— Он уже на ногах.

— Да-а?

— Вон вышел, да еще с ружьем.

— Ой, худо мне будет! — сказал Роджер. Но голос у него был веселый. Он сидел спиной к корме и даже не оглянулся.

Яхтсмен вышел на корму, на сей раз в пижамных штанах и в куртке, но прежде всего бросалось в глаза ружье. Уже после ружья Томас Хадсон перевел взгляд на лицо, а лицо было страшное. Кто-то обработал его, на щеках были полоски пластыря, марли и мазки ртути. Только с ухом ничего не сделали. От боли до него, наверно, и дотронуться нельзя, подумал Томас Хадсон, и оно торчит жесткое, раздутое и выделяется теперь больше всего. Они молчали, и он тоже молчал, повернув к ним свою изуродованную физиономию и сжимая в руках ружье. Глаза у него так затекли, что он, должно быть, почти ничего не видел. Все молчали.

Роджер медленно повернул голову, увидел его и бросил через плечо:

— Идите поставьте ружье на место и ложитесь спать.

Он все стоял с ружьем в руках. Его распухшие губы шевельнулись, но он не мог выговорить ни слова.

— Выстрелить человеку в спину — на это подлости у вас хватит, только кишка тонка,— спокойно бросил через

плечо Роджер.— Идите поставьте ружье на место и ложитесь спать.

Роджер сидел все так же спиной к нему. И вдруг он решился на выходку, которая Томасу Хадсону показалась отчаянной.

— Вам не кажется, что этот тип напоминает леди Макбет, когда она выходит из своей опочивальни в ночной сорочке? — сказал он, обращаясь к остальным, кто был с ним на корме.

Томас Хадсон замер в ожидании. Но ничего не случилось, и, постояв еще немного, яхтсмен повернулся и ушел в каюту, унося с собой ружье.

— Вот теперь я вздохну свободно, — сказал Роджер.— Я чувствовал, как пот катится у меня из-под мышек прямо к ногам. Пошли домой, Том. Он очухался.

— Не очень-то он очухался, — сказал Джонни.

— Хватит с него, — сказал Роджер.— Тоже называется — человек.

— Пошли, Роджер, — сказал Томас Хадсон.— Пойдем, побудешь у меня.

— Ладно.

Они простились с Джоном и пошли по Королевскому шоссе к дому. Кругом все еще праздновали день рождения королевы.

— Хочешь, зайдём в «Понсе-де-Лсон»? — спросил Томас Хадсон.

— Ой, нет, — сказал Роджер.

— Я хотел сказать Фредди, что этот тип очухался.

— Ну и скажи. А я пойду к тебе.

Когда Томас Хадсон вернулся домой, Роджер ничком лежал на кровати в дальнем конце крытой веранды, обращенном в глубь острова. Было совсем темно, и праздничный шум еле доносился сюда из бара.

— Спишь? — спросил Томас Хадсон.

— Нет.

— Выпить хочешь?

— Да нет, пожалуй. Спасибо.

— Как рука?

— Распухла и болит. Но это пустяки.

— Тебе снова не по себе?

— Да. Накатило, да как!

— Завтра утром приедут ребята.

— Вот и хорошо.

— Ты правда не хочешь выпить?

— Нет, дружок. А ты пей.

— Я, пожалуй, хлебну виски па сон грядущий.

Томас Хадсон подошел к холодильнику, приготовил себе стакан виски с содовой, вернулся на веранду и сел там в темноте рядом с Роджером, лежавшим на кровати.

— Сколько же всякой сволочи гуляет по белу свету,— сказал Роджер.— Этот тип — порядочная дрянь, Том.

— Ты его кое-чему научил.

— Нет. Вряд ли. Я осрамил его и немножечко подпортил. Но он отыграется на ком-нибудь другим.

— Он сам попросился на драку.

— Конечно. Но я не довел дело до конца.

— Ты его только что не убил.

— Вот об этом я и говорю. Он теперь еще подлее будет.

— А может, ты его все-таки проучил, дал ему хороший урок?

— Нет. Вряд ли. То же самое было и в Калифорнии.

— А что там случилось? Ты мне так ничего и не рассказал.

— Была драка вроде сегодняшней.

— С кем?

Роджер назвал имя человека, занимавшего высокий пост в том, что именуется индустрией.

— Я не имел ни малейшего желания связываться с ним,— сказал он.— Это случилось в доме, где у меня возникли некоторые осложнения с женщиной, и, собственно говоря, мне там быть не полагалось. Весь вечер этот субъект допымал, и допымал, и допымал меня — куда хуже, чем это было сегодня. Наконец терпение мое лопнуло, и я дал ему, дал как следует, ни на что не глядя, и он неловко ударился головой о мраморные ступеньки бассейна. На беду, бассейн был рядом. В себя он пришел к началу третьего дня в «Ливанских кедрах», так что убийцей я не стал. Но у них все было на мази. Таких свидетелей вымуштровали, что, если б осудили за непреднамеренное убийство, считалось бы, что я легко отделался.

— Ну а дальше?

— А дальше, когда он смог вернуться к делам, мне такое обвинение припаяли, только держись. На все сто. Дальше некуда.

— В чем же тебя обвинили?

— Во всем. Пачками сыпали.

— Не хочешь мне сказать?

— Ист. Тебе это ни к чему. Поверь мне на слово, что это было подстроено. Такое на меня возвели, что люди и не заговаривают со мной об этом. Ты разве не заметил?

— Пожалуй.

— Поэтому я и скис после сегодняшней драки. Всякая дрянь гуляет на белом свете. Отпетые мерзавцы. Бить их — это еще ничего не решает. Отчасти потому они и провоцируют нас. — Он повернулся на кровати и лег навзничь. — Знаешь, Томми, зло — страшная вещь. И оно изощряется, как дьявол. А ведь в старину были какие-то понятия о добре и зле.

— Пожалуй, мало кто отнесет твои деяния в рубрику абсолютного добра, — сказал ему Томас Хадсон.

— Конечно. Да я и не претендую на это. Хотя мне жаль, что я такой. Борьба со злом не делает человека поборником добра. Сегодня я боролся с ним, а потом сам поддался злу. Оно поднималось во мне, как прилив.

— Всякая драка — мерзость.

— Знаю. Ну а как быть?

— Раз уж начал — побеждай.

— Правильно. Но мне стоило начать, и я сразу увлекся.

— Ты увлекся бы еще больше, если бы он действительно дрался.

— Надеюсь, — сказал Роджер. — Хотя кто его знает. Мне хочется уничтожить всю эту мерзость. Но если увлекаешься, значит, сам недалеко ушел от тех, с кем дерешься.

— Он — омерзительный тип, — сказал Томас Хадсон.

— Не омерзительнее, чем тот, в Калифорнии. Вся беда в том, что их слишком уж много. Они всюду, в каждой стране, Томми, и все больше и больше забирают власть. Мы живем в плохие времена, Томми.

— Когда они были хорошими?

— Были дни, когда нам с тобой жилось хорошо.

— Правильно. Нам хорошо жилось в разных хороших местах. Но времена-то были плохие.

— Я этого не понимал, — сказал Роджер. — Люди говорили, что времена хорошие, а потом от этих людей дым пошел. У всех тогда были деньги, а у меня не было. Потом и у меня завелись, а дела стали дрянью. Но все-таки тогда люди не казались такими подлецами и мерзавцами.

— Ты тоже знаешься с порядочной дрянью.

— Попадаются и хорошие люди.

— Таких немного.
— Но есть. Ты всех моих друзей не знаешь.
— Ты водишься со всякой шавтрапой.
— А чьи там сегодня были друзья? Твои или мои?
— Наши общие. Они не так уж плохи. Ничтожества, но не зlostные.

— Да, — сказал Роджер. — Не зlostные. Фрэнк — дрянцо. Порядочное дрянцо. Впрочем, зlostным я его не считаю. Но теперь я на многое смотрю иначе. А они с Фредом что-то очень уж быстро стали зловредными.

— Я отличаю добро от зла. И не говорю, что все это непонятно и не моего ума дело.

— А я с добром не очень знаком. У меня с ним никогда не получалось. Зло — это по моей части. Зло я сразу могу опознать.

— Скверно сегодня получилось. Жаль.

— Просто на меня хандра нашла.

— Ну как, спать? Спи здесь.

— Спасибо. Если можно, здесь и лягу. Но сначала я посижу в библиотеке, почитаю немножко. Где у тебя те австралийские рассказы, я в последний свой приезд их здесь видал.

— Генри Лоусон?

— Да.

— Сейчас разыщу.

Томас Хадсон лег спать, и, когда он проснулся среди ночи, свет в библиотеке все еще горел.

Когда Томас Хадсон проснулся, с востока дул легкий бриз и песок на пляже казался белым, как кость, под ярко-голубым небом, и маленькие облачка, бежавшие высоко вместе с ветром, отбрасывали на зеленую воду темные движущиеся пятна. Флюгер поворачивался на ветру, и утро было чудесное, пронизывавшее свежестью.

Роджер уже ушел, и Томас Хадсон позавтракал один и прочитал мэрилендскую газету, доставленную накануне. Он отложил ее с вечера, не читая, с тем чтобы просмотреть за завтраком.

— Когда мальчики приедут? — спросил Джозеф.

— Часов в двенадцать.

— Значит, к ленчу будут?

— Да.

— Я пришел, а мистера Роджера уже не было,— сказал Джозеф.— Он не завтракал.

— Может, к ленчу придет.

— Бой сказал, он вышел на веслах в море.

Кончив завтракать и прочитав газету, Томас Хадсон перешел на веранду, обращенную к морю, и принялся за работу. Работалось ему отлично, и он уже кончал, когда услышал шаги Роджера.

— Хорошо получается,— сказал Роджер, заглянув ему через плечо.

— Еще неизвестно.

— Где ты видал такие смерчи?

— Таких никогда не видал. Это я пишу на заказ. Как твоя рука?

— Припухлость еще есть.

Роджер следил за его кистью, а он не оглядывался.

— Кабы не рука, все это будто приспилось в дурном сне.

— Да, сон был дурной.

— Как ты думаешь, этот тип всерьез вышел с ружьем?

— Не знаю,— сказал Томас Хадсон.— И знать не хочу.

— Виповат,— сказал Роджер.— Мне уйти?

— Нет. Посиди здесь. Я сейчас кончу. Я не буду обращать на тебя внимания.

— Они ушли на рассвете,— сказал Роджер.— Я видел, как они ушли.

— А что ты там делал в такой час?

— Я кончил читать, а заснуть не мог, и вообще собственное общество не доставляет мне удовольствия. Решил пройтись до причала и посидел там с ребятами. «Понсе» так и не закрывалось на ночь. Я видел Джозефа.

— Джозеф говорил, что ты ушел в море на веслах.

— Греб правой. Пробовал разработать ее. И ничего, помогло. Теперь боли совсем нет.

— Вот. На сегодня, пожалуй, хватит,— сказал Томас Хадсон и стал промывать кисти и прибирать свое хозяйство.— Мальчики, наверно, сейчас вылетают.— Он посмотрел на часы.— А что, если мы пропустим на скорую руку?

— Прекрасно. Мне это весьма кстати.

— Двенадцати еще нет.

— А какая разница? Ты работать кончил, я на отдыхе. Но если у тебя такое правило, давай подождем до двенадцати.

— Ладно.

— Я тоже придерживался такого правила. Но иной раз утром, когда выпил бы и сразу ожил, хуже таких запретов ничего нет.

— Давай нарушим это правило,— сказал Томас Хадсон.— Перед встречей с ними я всегда здорово волнуюсь,— пояснил он.

— Знаю.

— Джо! — крикнул Томас Хадсон.— Припеси шейкер и что нужно для martinis.

— Слушаю, сэр. У меня уже все готово.

— Что это ты спозаранку? Мы, по-твоему, пропойцы, что ли?

— Нет, сэр, мистер Роджер. Просто я сообразил, для чего вы пустой желудок бережете.

— За нас и за мальчиков,— сказал Роджер.

— В этом году они у меня повеселятся. И ты оставайся с нами. Будут они тебе действовать на нервы — уйдешь в свою рыбацкую хижину.

— Что ж, поживу здесь, если тебе это не мешает.

— Ты мне никогда не мешаешь.

— С ними будет хорошо.

И с ними действительно было хорошо. Эти славные ребята жили в доме уже неделю. Лов тунца кончился, судов в гавани осталось мало, и жизнь снова текла медленно и спокойно, и погода была как всегда в начале лета.

Мальчики спали на койках на застекленной веранде, и человеку не так одиноко спать, когда, просыпаясь среди ночи, он слышит детское дыхание. С отмени дул ветер, и ночи стояли прохладные, а когда ветер стихал, прохлада приходила с моря.

Первое время мальчики держались немного скованно и были гораздо аккуратнее, чем потом. Впрочем, особой аккуратности не требовалось, лишь бы смахивали песок с ног при входе в дом, вешали снаружи мокрые шорты и надевали сухие. Утром, стеля постели, Джозеф проветривал их пижамы, вешал их на солнце, а потом складывал и убирал, и разбрасывать оставалось только рубашки и свитеры, которые они надевали по вечерам. Во всяком случае, теоретически было так. А на деле все их снаряжение валялось где придется. Томаса Хадсона это не раздражало. Когда человек живет в доме один, у него появ-

ляются очень строгие привычки, и соблюдать их ему только в удовольствие. Но если кое-что из заведенного порядка нарушается, это даже приятно. Он знал, что привычки снова вернутся к нему, когда мальчики уедут.

Сидя за работой на веранде, выходящей к морю, он видел, что большой его сын, средний и маленький лежат на пляже с Роджером. Они разговаривали, копались в песке и спорили, но о чем — ему не было слышно.

Старший мальчик был длинный и смуглый, шея, плечи и длинные ноги пловца и большие ступни, как у Томаса Хадсона. Лицом он смахивал на индейца, и был он веселого нрава, хотя в покое лицо у него принимало почти трагическое выражение.

Томас Хадсон однажды посмотрел на сына, когда тот сидел грустный, и спросил: «О чем ты думаешь, дружок?»

«О паживке», — ответил мальчик, и лицо у него сразу осветилось. Глаза и рот — вот что в минуты задумчивости придавало трагическое выражение его лицу, но стоило ему заговорить, и лицо сразу оживало.

Средний сын напоминал Томасу Хадсону бобренка. Волосы у него были того же оттенка, что и бровный мех, и на ощупь такие же, как у водяного зверька, и загорал он весь с ног до головы необычным, темно-золотистым загаром. Он всегда напоминал отцу звереныша, который живет сам по себе, здоровой и отзывчивой на шутку жизнью. Бобры и медведи очень любят шутить, а уж кто больше похож на человека, чем медведь. Этот мальчик никогда не будет по-медвежьи сильным и широким в плечах, и он никогда не будет спортсменом и не хочет им быть, но в нем есть чудесные свойства мелкого зверька, и голова у него работает хорошо, и жизнь налажена своя собственная. Он привязчивый и наделен чувством справедливости, и быть рядом с ним интересно. К тому же он всегда во всем сомневается, как истинный картезианец, и любит яростно спорить и поддразнивать умеет хорошо и беззлобно, хотя иной раз и перебарщивает. У него были и другие качества, о которых никто не знал, и двое других мальчиков питали к нему огромное уважение, хотя и поддразнивали его и разносили в пух и прах, если только удавалось нащупать уязвимое место. Как водится, они ссорились между собой и довольно ядовито дразнили друг друга, но воспитаны были хорошо и к взрослым относились уважительно.

Младший мальчик был светлый, а сложением — настоящий карманный крейсер. Физически он в точности повторял Томаса Хадсона, только в меньшем масштабе, короче и шире. Загорая, он покрывался веснушками, лицо у него было насмешливое, и вредным старикашкой он был с рождения. Но не только старикашкой, а также и чертенком. Он любил задевать своих старших братьев — была в его натуре темная сторона, которую никто, кроме Томаса Хадсона, не мог понять. Ни отец, ни сын об этом не задумывались, но они различали друг в друге эту особенность, знали, что это плохо, и отец относился к ней всерьез и понимал, откуда это у сына. Они были очень близки между собой, хотя Томас Хадсон жил с ним под одной крышей меньше, чем с остальными детьми. Этот младший мальчик, Эндрю, был отличный спортсмен — настоящий вундеркинд — и с первого же своего выезда обходился с лошадьми, как заправский лошадиник. Братья гордились им, но задаваться ему не позволяли. В подвиги этого мальчугана трудно было поверить, однако его видели в седле, видели, как он берет препятствия, и чувствовали в нем холодную профессиональную скромность. Он родился каверзным мальчишкой, а казался очень хорошим и свою каверзность подменял чем-то вроде задиристой веселости. И все-таки по натуре он был дурной мальчик, и все знали это, и он сам знал. Он просто по-хорошему держался, пока дурное зрело в нем.

Они лежали на песке вчетвером под обращенной к морю верандой: справа от Роджера — старший сын, Том — младший, по другую сторону — самый маленький, Эндрю, а средний, Дэвид, вытянулся на спине, с закрытыми глазами, рядом с Томом. Томас Хадсон промыл кисти и спустился к ним.

— Привет, папа, — сказал старший мальчик. — Ну как тебе работалось — хорошо?

— Папа, ты пойдешь купаться? — спросил средний.

— Вода что надо, папа, — сказал самый младший.

— Здравствуйте, папаша, — с улыбкой сказал Роджер. — Ну, как ваши малярные дела, мистер Хадсон?

— С малярными делами на сегодня покончено, джентльмены.

— Вот здорово! — сказал средний мальчик, Дэвид. — Поедем на подводную охоту?

— Поедем, но после ленча.

— Чудесно! — сказал старший.

— А если будет большая волна? — спросил младший, Эндрю.

— Для тебя, может, и большая, — сказал ему старший брат, Том.

— Нет, Томми, для всех.

— Когда море неспокойное, рыба забивается между камнями, — сказал Дэвид. — Боятся большой волны не меньше нас. У них, наверно, и морская болезнь бывает. Папа, бывает у рыбы морская болезнь?

— Конечно, — сказал Томас Хадсон. — В большую волну груперы заболевают морской болезнью в садках на шхунах идохнут.

— Что я тебе говорил? — сказал Дэвид старшему брату.

— Заболевают идохнут, — сказал Том-младший. — Но откуда известно, что это от морской болезни?

— Морской болезнью они, по-моему, в самом деле болеют, — сказал Томас Хадсон. — Но вот не знаю, мучает она их или нет, когда они плавают свободно.

— Но, папа, ведь среди рифов рыба тоже не может свободно плавать, — сказал Дэвид. — У них там разные ямы и норы, куда они прячутся. А в ямы они забиваются, потому что боятся крупной рыбы, и бьет их там не меньше, чем в садке на шхуне.

— Ну, все-таки не так сильно, — возразил ему Том-младший.

— Может, и не так сильно, — рассудительно подтвердил Дэвид.

— Но все-таки, — сказал Эндрю. И прошептал отцу: — Если они еще проспорят, мы никуда не поедем.

— А ты разве не любишь плавать в маске?

— Ужасно люблю, только боюсь.

— Чего же ты боишься?

— Под водой все страшно. Как только сделаю выдох, так мне становится страшно. Томми плавает замечательно, но под водой ему тоже страшно. Под водой из нас только Дэвид ничего не боится.

— Мне сколько раз было страшно, — сказал ему Томас Хадсон.

— Правда?

— По-моему, все боятся.

— Дэвид не боится. Где бы ни плавал. Зато теперь Дэвид боится лошадей, потому что они столько раз его сбрасывали.

— Эй ты, сопляк! — Дэвид слышал, что он говорил. — Почему меня лошади сбрасывали?

— Не знаю. Это столько раз было, я всего не помню.

— Так вот слушай. Я-то знаю, почему меня сбрасывали. В прошлом году я ездил на Красотке, а она ухитрялась так раздувать брюхо, когда ей затыгивали подпиругу, что потом седло сползало на бок вместе со мной.

— А у меня с ней таких неприятностей никогда не было, — съязвил Эндрю.

— У-у, сатана! — сказал Дэвид. — Опа, конечно, полюбила тебя, как все тебя любят. Может, ее надоумили, кто ты такой.

— Я вслух ей читал, что про меня пишут в газетах, — сказал Эндрю.

— Ну, тогда она, наверно, брала с места в карьер, — сказал Томас Хадсон. — Вся беда в том, что Дэвид сразу сел на ту старую запаленную лошадь. Ее у нас подлечили, а скакать ей было нигде, по пересеченной местности не очень-то поскачешь.

— А я, папа, не хваюсь, что усидел бы на ней, — сказал Эндрю.

— Еще бы ты хвалился, — сказал Дэвид. Потом: — А черт тебя знает, может, и усидел бы. Конечно, усидел бы. Знаешь, Энди, как она ходила под седлом первое время! А потом я стал бояться. Боялся, как бы не напороться на луку.

— Папа, а мы поедем на подводную охоту? — спросил Эндрю.

— В большую волну не поедем.

— А кто будет решать — большая или не большая?

— Я буду решать.

— Ладно, — сказал Энди. — По-моему, волна очень большая. Папа, а Красотка все еще у тебя на ранчо? — спросил он.

— Наверно, — сказал Томас Хадсон. — Я ведь сдал ранчо в аренду.

— Сдал в аренду?

— Да. В конце прошлого года.

— Но нам можно будет туда поехать? — быстро спросил Дэвид.

— Ну конечно. Там же есть большая хижина на берегу реки.

— Нигде мне так хорошо не было, как на твоём ранчо, — сказал Энди. — Конечно, не считая здешних мест.

— Насколько я помню, тебе больше всего нравилось в Рочестере, — поддел его Дэвид. В Рочестере Энди оставляли с нянькой на летние месяцы, когда остальные мальчики уезжали на Запад.

— Правильно. В Рочестере было замечательно.

— А помнишь, Дэви, мы вернулись домой той осенью, когда убили трех медведей, и ты стал ему рассказывать про это, и что он тебе ответил? — спросил Томас Хадсон.

— Нет, папа, такие давние вещи я плохо помню.

— Это было в буфетной, где вы, ребята, ели. Вам подали детский ужин, и ты стал ему рассказывать про медведей, и Анна сказала: «Ой, Дэви, как интересно! А дальше вы что сделали?» И вот этот вредный старикашка — ему было тогда лет пять-шесть — взял и сказал: «Тем, кого такие вещи интересуют, это, может, интересно. Но у нас в Рочестере медведи не водятся».

— Слышишь, наездник? — сказал Дэвид. — Хорош ты был тогда?

— Ладно, папа, — сказал Эндрю. — Расскажи ему, как он ничего не читал, кроме комиксов. Мы едем по Южной Флориде, а он читает комиксы и ни на что не желает смотреть. Это все после той школы, куда его отдали осенью, когда мы жили в Нью-Йорке, и где он набрался всякой фанаберии.

— Я все помню, — сказал Дэвид. — Папа может не рассказывать.

— С тебя это быстро скатило, — сказал Томас Хадсон.

— И хорошо, что скатило. Было бы ужасно, если б я таким остался.

— Расскажи им про меня, когда я был маленький, — сказал Том-младший, перевалившись на живот и схватив Дэвида за щиколотку. — Никогда в жизни я не буду таким паинькой, как про меня рассказывают про маленького.

— Я помню тебя маленьким, — сказал Томас Хадсон. — Ты был очень странным человечком.

— Он был странный, потому что жил в странных местах, — сказал младший мальчик. — Я тоже мог бы сделаться страшным, если бы жил и в Париже, и в Испании, и в Австрии.

— Он и сейчас странный, — сказал Дэвид. — Экзотический фон ему не требуется, наездник.

— Какой такой экзотический фон?

— Такой, какого у тебя нет.

— Нет, так будет.

— Замолчите, и пусть папа говорит, — сказал Том-младший. — Расскажи им, как мы с тобой ходили по Парижу.

— Тогда ты не был таким уж странным, — сказал Томас Хадсон. — В младенчестве ты отличался весьма здравым смыслом. В той квартире над лесопилкой мы с мамой часто оставляли тебя одного в люльке из бельевой корзины, и Ф. Кис — наш большой кот — укладывался у тебя в ногах и никого к тебе близко не подпускал. Ты окрестил себя Г'Нинг-Г'Нинг, и мы тебя называли Г'Нинг-Г'Нинг Грозный.

— Как это я мог выдумать такое имя?

— Наверно, слышал в трамвае, в автобусе. Звонок кондуктора.

— А по-французски я говорил?

— Нет, тогда еще плоховато.

— А расскажи, что было потом, когда я научился говорить по-французски?

— Потом я возил тебя в коляске — в дешевой, очень легкой, складной колясочке — по нашей улице и до «Клозери-де-Лиля», где мы завтракали, и я прочитывал газету, а ты наблюдал за всеми, кто проезжал и проходил по бульвару. Потом после завтрака...

— А что было на завтрак?

— Брионь и café au lait.

— И мне тоже?

— Тебе — капелька кофе в чашке с молоком.

— Это я помню. А куда мы оттуда шли?

— Я катил тебя через улицу от «Клозери-де-Лиля», мимо фонтана с бронзовыми конями, и с рыбой, и с русалками и по длинным каштановым аллеям, где играли французские ребятишки, а их няньки сидели на скамейках вдоль посыпанных гравием дорожек...

— А налево — Эльзасское училище, — сказал Том-младший.

— А направо — жилые дома...

— Жилые дома и дома со стеклянными крышами, где помещались мастерские художников, а эта улица идет вниз и налево, и она такая triste¹ от темных каменных стен, потому что эти дома на теневой стороне.

¹ Печальная (фр.).

— А это осенью, зимой или весной? — спросил Томас Хадсон.

— Поздней осенью.

— Потом лицо у тебя начинало мерзнуть, щеки и нос краснели, и мы входили в железные ворота в верхней части Люксембургского сада и шли вниз, к озеру, и огибали озеро один раз, а потом поворачивали направо к фонтану Медичи и статуям и выходили из ворот напротив Одеона и переулками к бульвару Сеп-Мишель...

— Буль-Миш...

— И по Буль-Миш мимо Клюни...

— А Клюни справа...

— Темный, мрачный, и по бульвару Сеп-Жермен...

— Это была самая интересная улица, и движение там было самое большое. Странно! Почему она казалась такой интересной и опасной? А ближе к улице Ренни, между «Двух макак» и перекрестком у «Липпа», там всегда было совершенно спокойно. Почему это, папа?

— Не знаю, дружок.

— Хотя бы что-нибудь там у вас случилось, не все же одни названия улиц слушать, — сказал Эндрю. — Падосли мне названия улиц в городе, где я никогда не был.

— Ну пусть что-нибудь случится, папа, — сказал Том-младший. — Про улицы мы с тобой одни поговорим.

— Тогда ничего особенного не случилось, — сказал Томас Хадсон. — Мы шли к площади Сен-Мишель и садились на террасе кафе, и твой папа рисовал, а на столе перед ним стоял *café-crème*, тебе же подавали пиво.

— Я и тогда любил пиво?

— Да, любил его хлебнуть. Но за едой предпочитал воду с капелькой красного вина.

— Помню. *L'eau rouge* ¹.

— *Exactement* ², — сказал Томас Хадсон. — Ты здорово налегал на *l'eau rouge*, но иногда не отказывался и от пива.

— А в Австрии я помню, как мы ехали на *luge* ³, и помню нашу собаку Шнауца и снег.

— А рождество там помнишь?

¹ Подкрашенная вода (*фр.*).

² Точно (*фр.*).

³ Сани (*фр.*).

— Ист. Тебя помню, и снег, и нашу собаку Шнауца, и мою няню. Она была очень красивая. И еще я помню маму на лыжах и какая она была красивая. Помню, я видел: вы с мамой спускаетесь на лыжах через фруктовый сад. Вот где это было, не знаю. Но Люксембургский сад я помню хорошо. Помню лодки днем на озере у фонтана в большом саду и деревья. Дорожки среди деревьев были посыпаны гравием, а когда мы шли к дворцу, слева под деревьями мужчины играли в кегли, а на дворце высоко-высоко — часы. Осенью пачинался листопад, и я помню, как деревья стояли голые, а дорожки были все в листьях. Больше всего я люблю вспоминать осень.

— Почему? — спросил Дэвид.

— Причин много. Как все пахло осенью, и карнавалы, и как гравий сверху был сухой, а под ним все сырое, и как ветер подгонял лодки на озере и сбрасывал с деревьев листья. Я помню, как голуби, теплые, с шелковистыми перышками, лежали у меня под одеялом. Ты убивал их перед самой темнотой, и я гладил их, и держал обеими руками, и грелся о них по дороге домой, пока они не остывали.

— А где ты их убивал, папа? — спросил Дэвид.

— Обычно около фонтана Медичи, перед самым закрытием сада. Он огорожен высокой железной решеткой, ворота запирают с наступлением темноты и всех оттуда выпроваживают. Сторожа ходят, предупреждают людей, что пора уходить, и запирают ворота. Они пройдут вперед, а я стреляю в голубей из рогатки, когда они опускаются на землю у фонтана. Во Франции делают замечательные рогатки.

— А ты сам их не делал? Ведь вы были бедные? — спросил Эндрю.

— Конечно, делал. Самая первая у меня была из ветки с развилкой, которую я срезал с молодого деревца в лесу Рамбуйе, когда мы гуляли там с матерью Тома. Я обстрогал эту ветку, и в писчебумажном магазине на площади Сен-Мишель мы купили широкие резинки, а из старой перчатки матери Тома сделали к рогатке кожаный мешочек.

— А чем ты стрелял?

— Галькой.

— А подходил к голубям близко?

— Подходил как можно ближе, чтобы сразу их подбросить с земли и сразу сунуть под одеяло.

— Помню одного еще живого,— сказал Том-младший.— Я припрятал его и всю дорогу не обмолвился о нем ни словом, потому что мне хотелось, чтобы он остался у меня. Голубь был очень крупный — перья почти пурпурные, шейка длинная и чудесная головка, а крылышки с белым, и ты позволил мне держать его на кухне, пока мы не достанем ему клетку. Ты привязал его там за лапку. Но в ту же ночь наш кот сцапал его и притащил ко мне в постель. Кот шел очень гордый, и тащил его точно тигр туземца, и вспрыгнул с ним ко мне на кровать. Эта кровать — квадратная — была у меня после бельевого корзинки. Корзинку я не помню. Вы с мамой ушли в кафе, и мы с котом остались дома одни, и я помню, что окна были открыты, а над лесопилкой стояла большая луна, и тогда была зима, и я чувствовал запах опилок. Помню, как наш большой кот шел ко мне, высоко задрал голову и волоча голубя по полу, а потом прыгнул и опустился ко мне на кровать. Я ужасно расстроился, что кот придушил моего голубя, но он был так горд и так радовался и мы с ним так дружили, что я тоже возгордился и обрадовался. Помню, он играл с голубем, а потом стал месить лапами у меня на груди и мурлыкать, а потом опять стал играть с ним. А под конец и он, и я, и голубь — все мы заснули. Я держал одну руку на голубе, и он держал одну лапу на голубе, и ночью я проснулся, а он ест его и громко мурлычет, точно тигр.

— Вот это гораздо интереснее, чем названия улиц,— сказал Эндрю.— Томми, а ты не испугался, когда он начал есть его?

— Нет. Этот кот был тогда моим другом. Самым близким другом. Ему, наверно, было бы приятно, если б я тоже стал есть его голубя.

— А ты бы попробовал,— сказал Эндрю.— Расскажи что-нибудь еще про ваши рогатки.

— Мама подарила тебе на рождество другую рогатку,— сказал Том-младший.— Она увидела ее в охотничьем магазине, ей хотелось купить тебе ружье, но, как всегда, не хватало денег. Она проходила мимо этого магазина, когда шла в *épicerie*¹, и каждый раз останавливалась посмотреть на ружья в витрине, и однажды увидела там рогатку и купила ее, потому что боялась, как бы эту рогатку не продали кому-нибудь, и припрятала ее до рождества.

¹ Бакалейная лавка (*фр.*).

Ей пришлось подделать счета, чтобы ты ни о чем не догадался. Она сколько раз мне об этом рассказывала. Я помню, как ты получил рогатку в подарок на рождество, а старую отдал мне. Но у меня тогда не хватало сил ее натягивать.

— Папа, а мы были когда-нибудь бедные? — спросил Эндрю.

— Нет. К тому времени, когда вы оба родились, я уже перестал нуждаться. Мы часто сидели без денег, но никогда не нуждались, как с матерью Тома.

— Расскажи еще про Париж, — сказал Дэвид. — Что вы еще делали с Томом?

— Что мы с тобой делали, дружок?

— Осенью? Мы покупали жареные каштаны у продавца на улице, и я согревал о них руки. Мы ходили в цирк и видели там крокодилов капитана Валя.

— Ты и это помнишь?

— Очень хорошо помню. Капитан Валь боролся с крокодилами (он произносил это слово «кругодил», как «круг»), а красивая девочка тыкала в них презубцем. Но самые большие крокодилы не желали даже двигаться. Цирк был очень красивый — круглый, красный с золотом, и там пахло цирковыми лошадьми. Ты ходил за кулисы выпить с мистером Кросби, и с укротителем львов, и с его женой.

— Ты помнишь мистера Кросби?

— Он не носил ни шляпы, ни пальто, как бы холодно ни было, а его дочка ходила с распущенными волосами, точно Алиса в Стране Чудес. На картинках, конечно. Мистер Кросби был очень нервный.

— А кого ты еще помнишь?

— Мистера Джойса.

— Какой он был?

— Он был высокий и худой, и у него были усы и борода клинышком, и он носил очки с толстыми-претолстыми стеклами и ходил высоко подняв голову. Помню, как он прошел мимо нас на улице без единого слова, и ты заговорил с ним, он остановился, разглядел нас сквозь свои очки, будто смотрел из аквариума, и сказал: «А, Хадсон, а я вас ищу», — и мы пошли вдвоем в кафе, на террасе было холодно, и мы сели в уголке около этой штуки... как она называется?

— Brazier.

— А что это такое? — спросил Эндрю.

— Это такая жестянка с дырками, их топят каменным или древесным углем и обогревают ими террасы, например, в кафе — сядешь к ним поближе, и сразу тепло — или беседки на скачках, где все стоят и тоже около них согреваются, — пояснил Том-младший. — В том кафе, куда мы ходили с папой и мистером Джойсом, они стояли вдоль всей террасы, и там было тепло и уютно даже в самую холодную погоду.

— Я вижу, ты провел большую часть своей жизни в кафе, в барах и во всяких таких местечках, — сказал младший мальчик.

— Что ж, и провел, — сказал Том. — Правда, папа?

— И спал крепким сном в коляске, пока папа забегал пропустить на скорую руку, — сказал Дэвид. — Вот уж чего я терпеть не могу, так это выражение «пропустить на скорую руку». По-моему, «на скорую руку» — это самая затяжная вещь на свете.

— О чем же мистер Джойс говорил? — спросил Тома-младшего Роджер.

— Ой, мистер Дэвис, я те времена плохо помню. Кажется, об итальянских писателях и о мистере Форде. Мистер Джойс терпеть не мог мистера Форда. Мистер Паунд тоже его раздражал. «Эзра просто взбесился, Хадсон», — сказал он раз папе. Вот это я запомнил, потому что мне казалось, бесят только собаки, и помню, я сидел и смотрел мистеру Джойсу в лицо, оно было у него румяное, как на морозе, и одно стекло в очках даже толще другого. Я сидел, смотрел и думал о мистере Паунде — он был рыжий, с остроконечной бородкой, и взгляд такой приятный, а во рту у него клубится что-то белое, как мыльная пена. Я думал, какой ужас, что мистер Паунд взбесился, и надеялся, что мы не наткнемся на него. Потом мистер Джойс сказал: «Форд Мэдокс Форд давным-давно сошел с ума», — и мне представился мистер Форд — лицо у него большое, бледное, какое-то смешное, глаза белесые, и рот с редкими зубами всегда полуоткрытый, и на подбородке у него тоже пена.

— Не надо больше, — сказал Эндрю. — А то мне это приснится.

— Рассказывай, рассказывай, — попросил Дэвид. — Это все равно как оборотни. Мама спрятала книжку про оборотней, потому что у Эндрю были кошмары.

— А мистер Паунд никого не искушал? — спросил Эндрю.

— Нет, паездник,— сказал ему Дэвид.— Это просто так говорится. Бешеный — значит не в своем уме. Собаки тут ни при чем. А почему он считал, что они бешеные?

— Не знаю,— сказал Том-младший.— Я был уже не такой маленький, как когда мы стреляли голубей в саду. Но я же не мог все запомнить, а кроме того, мистер Паунд и мистер Форд, которые пускают жуткие слюни, да еще, того и гляди, укусят, вышибли у меня из головы все остальное. Мистер Дэвис, а вы знали мистера Джойса?

— Знал. Он, твой отец и я — мы были большими друзьями.

— Папа был гораздо моложе мистера Джойса.

— Папа был тогда моложе всех.

— Но не моложе меня,— с гордостью сказал Том-младший.— Я, верно, был самым молодым другом мистера Джойса.

— Ах, как оп о тебе, должно быть, соскучился,— сказал Эндрю.

— Какая жалость, что он с тобой не познакомился,— сказал ему Дэвид.— Если бы ты не сидел в Рочестере, он мог бы удостоиться такой чести.

— Мистер Джойс — знаменитый человек,— сказал Том-младший.— Нужны ему были два таких сопляка!

— Это ты так думаешь,— сказал Эндрю.— А мистер Джойс вполне мог бы дружить с Дэвидом. Дэвид тоже пишет, для школьной газеты.

— Папа, расскажи нам еще про то время, когда ты, и Томми, и Томмина мама были бедными. Вы были настоящими бедняками, да?

— Они были очень бедные,— сказал Роджер.— Помню, ваш папа с утра готовил Тому-младшему его бутылочки на весь день, а потом шел на рынок купить овощи подешевле и получше. Я, бывало, иду в кафе завтракать, а он уже возвращается с рынка.

— Никто лучше меня во всем шестом арондисмане не умел выбрать рогеаух,— сказал Томас Хадсон мальчикам.

— Что такое рогеаух?

— Лук-порей.

— Это вроде такой длинной-длинной зеленой луковички,— сказал Том-младший.— Только обыкновенный лук блестит, как полированный, а этот нет. У этого блеск тусклый. И листья зеленые, а на концах белые. Его варят и потом едят холодным с оливковым маслом, укусом,

солью и перцем. Весь целиком едят. Ух, вкусно. Я его столько съел — наверно, больше всех на свете.

— А что такое шестой... этот, как его? — спросил Эндрю.

— Ты своими вопросами мешаешь разговаривать, — сказал ему Дэвид.

— Раз я не понимаю по-французски, должен же я спросить.

— Париж разделен на двадцать арондисманов, то есть районов. Мы жили в шестом.

— Может, ты нам что-нибудь другое расскажешь, папа, чтобы без арондисманов, — попросил Эндрю.

— Эх ты, спортсмен, до чего ж ты нелюбознательный, — сказал Дэвид.

— Неправда, я любознательный, — сказал Эндрю. — Но до арондисманов я не дорос. Мне всегда говорят: ты еще не дорос до того, до этого. Ну вот, я признаю: до арондисманов я не дорос. Это мне трудно.

— Какой был средний результат у Тая Кобба? — спросил его Дэвид.

— Триста шестьдесят семь.

— Это тебе не трудно?

— Отстань, Дэвид. Тебя интересуют арондисманы, а других интересует бейсбол.

— У нас в Рочестере, кажется, нет арондисманов.

— Да отстань же, наконец. Я только подумал, что папа и мистер Дэвис знают много такого, что для всех интересней этих... фу, черт, даже запомнить не могу.

— Пожалуйста, не чертыхайся при нас, — сказал ему Томас Хадсон.

— Извини, папа, — сказал мальчуган. — Но если мне мало лет, это же не моя вина, черт побери. Ой, извини еще раз. Я хотел сказать просто, что это не моя вина.

Он обиделся и расстроился. Дэвид был мастер дразнить его.

— Мало лет — это недостаток, который скоро проходит, — сказал ему Томас Хадсон. — Я знаю, трудно не чертыхнуться, когда разволнуешься. Но не пужно этого делать при взрослых. Когда вы одни, говорите себе что хотите.

— Ну, папа. Ведь я уже извинился.

— Ладно, ладно, — сказал Томас Хадсон. — Я и не браню тебя. Я просто объясняю. Мы так редко видимся, что приходится очень много объяснять.

— Не так уж много, папа,— сказал Дэвид.

— Да, пожалуй,— сказал Томас Хадсон.— В общем немного.

— При маме Эндрю никогда не чертыхается и не ругается,— сказал Дэвид.

— Если вы, ребята, хотите знать, какие бывают ругательства,— сказал Том-младший,— советую вам почитать мистера Джойса.

— Мне довольно и тех, которые я знаю,— сказал Дэвид.— Пока довольно.

— У моего друга мистера Джойса можно пайти такие слова и выражения, каких я и не встречал пикогда. Наверно, в этом его никто ни на каком языке не переплюнет.

— А он и создал потом целый новый язык,— сказал Роджер. Он лежал на спине, с закрытыми глазами.

— Я этого его нового языка не понимаю,— сказал Том-младший.— Тоже не досрос, должно быть. Но послушаю, что вы, ребята, скажете, когда прочтете «Улисса».

— Это не детское чтение,— сказал Томас Хадсон.— Совсем не детское. Вы там пичего не поймете, да и не нужно вам понимать. Серьезно. Подождите, пока станете старше.

— А я читал,— сказал Том-младший.— И ты прав, папа: когда я читал первый раз, я ничего не мог понять. Но я читал еще и еще, и теперь я уже одну главу понимаю и могу объяснить другим. Я очень горжусь, что был другом мистера Джойса.

— Папа, мистер Джойс правда считал его своим другом? — спросил Эндрю.

— Мистер Джойс всегда спрашивал про него.

— Конечно, черт побери, я был его другом,— сказал Том-младший.— У меня мало было таких друзей, как он.

— Мне кажется, объяснять эту книгу другим тебе, во всяком случае, рано,— сказал Томас Хадсон.— Повремени немного. А какую это главу ты так хорошо понял?

— Последнюю. Где дама разговаривает сама с собой.

— Монолог,— сказал Дэвид.

— А ты что, тоже читал?

— Конечно,— сказал Дэвид.— Версей, Томми мне читал.

— И объяснял?

— Объяснял как мог. Там есть вещи, до которых мы, видно, оба еще не доросли.

— А где ты взял эту книгу, Томми?

— В книжном шкафу у нас дома. Я ее захватил с собой в школу.

— Что-о?

— Я читал ребятам вслух отдельные места и рассказывал про мистера Джойса, как он был моим другом и сколько времени мы с ним проводили вместе.

— И ребятам нравилась книга?

— Были такие пай-мальчики, которые паходили ее слишком смелой.

— А учителя не проводали об этих чтениях?

— Как не проводали! Ты разве не знаешь, папа? Хотя да, ты в это время был в Абиссинии. Директор даже хотел меня исключить, но я ему объяснил, что мистер Джойс — знаменитый писатель и мой личный друг, и дело кончилось тем, что директор забрал у меня книгу и сказал, что отправит ее маме, а с меня взял слово, что без его разрешения я больше ничего не буду читать ребятам и не буду объяснять им то, чего они не понимают у классиков. Сначала, когда он еще хотел меня исключить, он сказал, что у меня испорченное воображение. Но оно у меня вовсе не испорченное, папа. Не больше испорченное, чем у других.

— А книгу-то он отправил?

— Отправил. Он было хотел ее конфисковать, но я ему объяснил, что это первое издание, и мистер Джойс сам подарил ее тебе с надписью, и как же можно ее конфисковать, раз она не моя. И он согласился, что нельзя, по-моему, ему было очень жаль.

— А мне когда можно будет прочесть эту книгу, папа? — спросил Эндрю.

— Еще не скоро.

— Томми же читал.

— Томми — друг мистера Джойса.

— Вот именно, — сказал Том-младший. — Папа, а с Бальзаком мы не были знакомы?

— Нет. Он жил в другую эпоху.

— А с Готье? Я нашел в шкафу еще две мировые книжки — «Озорные рассказы» Бальзака и «Мадемуазель де Мопен» Готье. Я пока не очень понимаю «Мадемуазель де Мопен», но читаю и стараюсь понять, и, по-моему, это здорово. Но раз мы с ними не были знакомы, не стоит, пожалуй, читать их ребятам, а то уж тут меня наверняка исключат.

— Хорошие это книги, Томми? — спросил Дэвид.

— Замечательные. Тебе обе понравятся, вот увидишь.

— А ты спроси директора, может, он тебе разрешит читать их ребятам,— сказал Роджер.— Это куда лучше, чем то, что ребята добывают сами.

— Нет, мистер Дэвис, я думаю, этого не надо делать. А то он опять станет говорить, что у меня испорченное воображение. И потом, если эти писатели не были моими друзьями, как мистер Джойс, ребята тоже отнесутся по-другому. Я не все понимаю в «Мадемуазель де Мопен», и мои объяснения не будут иметь веса, раз я не могу сослаться на дружбу с автором, как это было с книгой мистера Джойса.

— Хотел бы я послушать эти объяснения,— сказал Роджер.

— Что вы, мистер Дэвис. Для вас они слишком примитивные. Какой вам интерес их слушать. Вы же сами отлично все понимаете, что там написано, разве нет?

— Более или менее.

— Жаль все-таки, что мы не знали Бальзака и Гюте так же, как мистера Джойса.

— Мне самому жаль,— сказал Томас Хадсон.

— Но мы знали многих хороших писателей, правда?

— Безусловно,— сказал Томас Хадсон. Лежать на песке было тепло и приятно, и после утра, проведенного за работой, его совсем разморило. Он с удовольствием слушал болтовню сыновей.

— Пошли поплаваем, и домой,— сказал Роджер.— Уже становится жарко.

Томас Хадсон смотрел на них с берега. Все четверо неторопливо плыли в зеленой воде, отбрасывая тень на песчаное светлое дно. Ему видно было, как тела устремляются вперед, а тени скользят за ними, чуть сдвинутые преломлением солнечных лучей, как взлетают загорелые руки, как ладони врезаются в воду и разгребают ее в стороны и назад, как ритмично бьют по воде ноги и вскидываются головы, чтобы набрать воздуху в мерно и свободно дышащую грудь. Томас Хадсон стоял и смотрел, как они плывут по ветру, и чувствовал нежность ко всем четверым. Хорошо бы написать их так, думал он, только это очень трудно. Надо будет все-таки попробовать этим летом.

Самому ему лень было идти купаться, но он знал, что надо, и в конце концов пошел, чувствуя, как остуженная бризом вода приятно холодит горячие от солнца ноги, под-

пимаясь все выше, к паху, а потом он нырнул в теплую струю Гольфстрима и поплыл навстречу возвращавшейся четверке. Теперь, когда его голова была на одном уровне с ними, все выглядело иначе, тем более что они теперь плыли против ветра и волны захлестывали Эндрю с Дэвидом, которым приходилось делать усилия, чтобы продвигаться вперед. Томасу Хадсону они больше не казались четверкой каких-то морских животных. Их движения уже не были так свободны и красивы; видно было, что младшим мальчикам трудно преодолевать сопротивление ветра и воды. Может быть, это было не так уж и трудно. Но вода уже не казалась их родной стихией, как тогда, когда они плыли от берега. Получались две разные картины, и, может быть, вторая была даже лучше первой.

Все пятеро вышли из воды и паправились к дому.

— Вот почему мне больше нравится плавать под водой,— сказал Дэвид.— Не надо заботиться о дыхании.

— Ну и отправляйся после обеда на подводную охоту с папой и с Томми,— сказал ему Эндрю.— А я останусь с мистером Дэвисом.

— Вы разве остаетесь, мистер Дэвис?

— Могу и остаться.

— Если из-за меня, так не нужно,— сказал Эндрю.— Я себе найду сколько угодно запятий. Я просто думал, вы все равно хотите остаться.

— Пожалуй, я останусь,— сказал Роджер.— Полежу, почитаю.

— Вы только ему не поддавайтесь, мистер Дэвис. А то ведь он кого угодно околдует.

— Да нет, я в самом деле хочу остаться,— сказал Роджер.

Они все успели переодеться в сухие шорты и собрались на пижмей верапде. Джозеф принес миску салата с разной морской живностью, и все мальчики его ели, а Том-младший еще закивал пивом. Томас Хадсон сидел, откинувшись на спинку кресла, а Роджер стоял рядом с шейкером в руке.

— Меня всегда клонит ко сну после еды,— сказал он.

— Без вас будет скучно, мистер Дэвис,— сказал Том-младший.— Может, и мне остаться?

— Оставайся, Том,— сказал Эндрю.— Пусть папа и Дэвид отправляются вдвоем.

— Не воображай, что я буду играть с тобой в бейсбол,— сказал Том-младший.

— А мне и не нужно, чтобы ты играл. Тут есть один паренек, негр, он со мной поиграет.

— Все равно из тебя бейсболиста не получится,— сказал Том-младший.— Ростом не выйдешь.

— Я буду такого роста, как Дик Рудольф и Дик Керр.

— Попятня о них не имею,— сказал Том-младший.

— Скажите мне имя какого-нибудь жокея,— шепнул Дэвид Роджеру.

— Эрл Сэнди.

— Ты будешь такого роста, как Эрл Сэнди,— сказал Дэвид.

— Слушай, отправляйся ты на свою подводную охоту,— сказал Эндрю.— Мы с мистером Дэвисом будем друзьями, как Том и мистер Джойс. Да, мистер Дэвис? И я тогда смогу говорить в школе: «Это было в то лето, когда мы с мистером Дэвисом жили на острове в тропиках и писали свои неприличные рассказы, а мой папа в это время рисовал картины с голыми женщинами, которые вы все видели». Ведь ты же рисуешь голых жепщин, папа?

— Случается. Правда, у них довольно темная кожа.

— Вот еще,— сказал Эндрю.— Не все ли равно, какая у них кожа. А Том пусть себе забирает своего мистера Джойса.

— Ты на эти картины и смотреть не решишься,— сказал ему Дэвид.

— Может быть. Но я себя постепенно приучу.

— Папины этюды обнаженной натуры — пустяк по сравнению с той главой у мистера Джойса,— сказал Том-младший.— Просто ты еще малыш, вот тебе и кажется, что в обнаженной натуре есть что-то такое особенное.

— Ну и пусть. А я все равно возьму себе мистера Дэвиса с папиными иллюстрациями. Кто-то из ребят в школе говорил, что мистер Дэвис пишет очень неприличные рассказы.

— А я тоже возьму себе мистера Дэвиса. Я старый-пре-старый друг мистера Дэвиса.

— И мистера Пикассо, и мистера Брака, и мистера Миро, и мистера Массона, и мистера Паскина,— сказал Томас Хадсон.— Ты всех их знал.

— И мистера Уолдо Пирса,— сказал Том-младший.— Видишь, Энди, тебе со мной не сравняться. Слишком поздно начинаешь. Никак тебе со мной не сравняться. Ты еще

сидел в Рочестере и даже еще на свет не родился, а мы с папой уже где только не побывали. Я знал лично чуть не всех нынешних знаменитых художников. Многие из них были моими лучшими друзьями.

— Когда-нибудь должен же я начать, — сказал Эндрю. — Вот я и возьму мистера Дэвиса для начала. Вы можете не писать неприличные рассказы, если не хотите, мистер Дэвис. Я сам все буду выдумывать, как Томми выдумывает. Вы мне расскажете какие-нибудь ужасные случаи из своей жизни, а я все изображу так, как будто я при этом был.

— С чего это ты взял, что я выдумываю, — сказал Том-младший. — Папа и мистер Дэвис только мне помогают иногда освежать что-то в памяти. А я на самом деле был очевидцем и участником целой эпохи в живописи и литературе и, если нужно, могу хоть сейчас сесть писать мемуары.

— Томми, да ты совсем спятил, — сказал Эндрю. — Думай, что говоришь.

— Не рассказывайте ему ничего, мистер Дэвис, — сказал Том-младший. — Пусть пробивается своими силами, как мы пробивались.

— А ты не лезь, — сказал Эндрю. — Мы с мистером Дэвисом разберемся без тебя.

— Папа, расскажи еще что-нибудь про моих друзей, — сказал Том-младший. — Я знаю, что они были и что мы с ними встречались в разных кафе, но мне бы хотелось знать про них поподробнее. Ну хотя бы как про мистера Джойса.

— Ты мистера Паскина помнишь?

— Нет. То есть не очень. Какой он был из себя?

— Хорош друг, если ты даже не помнишь, какой он был из себя, — сказал Эндрю. — Что ж, я, по-твоему, через несколько лет забуду, какой из себя мистер Дэвис?

— Заткнись ты, — сказал ему Том-младший. — Пожалуйста, папа, расскажи про мистера Паскина.

— У мистера Паскина были рисунки, которые могли бы служить иллюстрациями к той главе «Улисса», что тебе понравилась.

— Да ну? Ух ты, вот здорово.

— Иногда, сидя против тебя в кафе, он рисовал на салфетке твой портрет. Он был невысок ростом, задира и большой чудаковатый. Почти круглый год ходил в котелке и был замечательный художник. Всегда у него был такой

вид, как будто он владеет каким-то секретом, чем-то, что он только что узнал и что ему очень интересно. Иногда этот секрет радовал его, а иногда делал очень грустным. Но всегда видно было, что у него есть секрет и что ему это интересно.

— Что же это был за секрет?

— Секрет пьянства, и наркотиков, и того, что так хорошо знал мистер Джойс в той последней главе, и умения писать замечательные картины. Лучше его в то время никто не умел писать, и это тоже входило в его секрет, а ему было все равно. То есть он считал, что ему все равно, а на самом деле было не все равно.

— Он был распутный?

— О да. Он был очень распутный, и это тоже составляло часть его секрета. Ему нравилось быть распутным, и совесть его не мучила.

— А мы с ним дружили?

— Да, очень. Он тебя называл Чудовище.

— Ух ты,— сказал обрадованно Том-младший.— Чудовище.

— Папа, а у нас есть картины мистера Паскина? — спросил Дэвид.

— Есть две или три.

— А маслом он Томми никогда не писал?

— Нет. Он его рисовал карандашом, чаще всего на салфетке или на мраморном столике в кафе. И называл его Страшным Пивным Чудовищем с Левого берега.

— Запиши себе, Том,— сказал Дэвид.

— У мистера Паскина было испорченное воображение? — спросил Эндрю.

— Вероятно.

— Ты разве не знаешь?

— Не знаю, но могу предположить. Пожалуй, это тоже была часть его секрета.

— А у мистера Джойса нет?

— Нет.

— И у тебя нет?

— Нет,— сказал Томас Хадсон.— Думаю, что нет.

— А у вас испорченное воображение, мистер Дэвис? — спросил Том-младший.

— Думаю, что нет.

— Вот и хорошо,— сказал Том-младший.— Я уже говорил директору школы, что и у папы и у мистера Джойса воображение не испорченное, а теперь и про мистера

Дэвиса смогу сказать, если он спросит. Насчет меня его очень трудно было разубедить. Но я не беспокоился. В школе есть один мальчик с испорченным воображением, так это сразу заметно. А как звали мистера Паскина?

— Жюль.

— Это как пишется? — спросил Дэвид.

Томас Хадсон сказал ему по буквам.

— А где теперь мистер Паскин? — спросил Том-младший.

— Он повесился.

— Ух ты! — сказал Эндрю.

— Бедный мистер Паскин, — набожно сказал Том-младший. — Я сегодня на ночь помолюсь за него.

— А я буду молиться за мистера Дэвиса, — сказал Эндрю.

— Делай это почаще, — сказал Роджер.

VI

Вечером, когда мальчики уже улеглись, Томас Хадсон и Роджер Дэвис сидели в большой комнате и разговаривали. Подводную охоту пришлось отменить из-за волнения на море, но после ужина мальчики выходили с Джозефом на ловлю снепперов. Вернулись они усталые и довольные и сразу же распрощались и ушли спать. Некоторое время еще слышно было, как они переговариваются между собой, но скоро все стихло.

Эндрю боялся темноты, и братья это знали, но никогда не дразнили его этим.

— Как ты думаешь, почему он боится темноты? — спросил Роджер.

— Не знаю, — сказал Томас Хадсон. — А ты никогда не боялся?

— Кажется, нет.

— А я боялся, — сказал Томас Хадсон. — Это о чем-нибудь говорит?

— Не знаю, — сказал Роджер. — Я боялся умереть и еще, что с моим братом что-нибудь случится.

— Я и не знал, что у тебя есть брат. Где он?

— Умер, — сказал Роджер.

— Прости, пожалуйста.

— Да нет, ничего. Мы тогда еще были мальчишками.

— Он был старше тебя?

— На год моложе.
— А что произошло?
— Мы катались на каное, и оно перевернулось.
— Сколько тебе тогда было лет?
— Двенадцать.
— Ты не рассказывай, если тебе тяжело.
— Вероятно, это не украсило мою жизнь. А ты в самом деле ничего не слыхал?

— Ничего и пикогда.
— Мне долгое время казалось, что всем на свете это известно. В детстве все воспринимается по-особому. Вода была очень холодная, он, наверно, сразу сдал. Но как бы там ни было, важно, что я вернулся домой, а он нет.

— Бедный мой Роджер.
— Не надо,— сказал Роджер.— Конечно, в двенадцать лет рано сталкиваться с такими вещами. И потом, я его очень любил и всегда боялся, что с ним что-нибудь случится. Мне ведь тоже пришлось плыть в холодной воде, но не мог же я говорить об этом.

— Где вы тогда жили?
— В штате Мэн. Отец, кажется, так мне этого и не простил, хоть старался быть справедливым. Не было потом дня, когда бы я не жалел, что это случилось не со мной. Но нельзя жить так всю жизнь.

— Как звали брата?
— Дэв.
— Ах, черт! Ты потому сегодня отказался от подводной охоты?

— Может быть. Хотя я достаточно часто занимаюсь подводной охотой. Но тут ведь не рассуждаешь, это как-то само собой решается.

— Ты уже не мальчик, чтоб так говорить.
— Я тогда нырял за ним несколько раз, но не мог найти,— сказал Роджер.— Было слишком глубоко, и вода очень холодная.

— Дэвид Дэвис,— сказал Томас Хадсон.
— Да. В нашем роду старший сын всегда Роджер, а второй — Дэвид.

— Родж, но ты все-таки сумел это превозмочь?
— Нет,— сказал Роджер.— Такое превозмочь нельзя, и рано или поздно приходится в этом сознаться. Мне стыдно, когда я об этом думаю, так же как вчера было стыдно из-за драки на причале.

— Тут тебе нечего было стыдиться.

— Было чего. Я тебе уже раз сказал. Не будем возвращаться к этому.

— Хорошо, не будем.

— Больше я никогда не стану драться. Никогда. Ты же не дерешься, хоть мог бы драться не хуже меня.

— Нет, не мог бы. А кроме того, я дал себе слово никогда не драться.

— И я тоже не буду драться, и исправлюсь, и перестану писать всякую дрянь.

— Вот это я очень рад услышать,— сказал Томас Хадсон.

— А как ты думаешь, сумею я написать что-нибудь стоящее?

— Попробуй. Почему ты бросил живопись?

— Потому что мне надоело себя обманывать. А теперь и с литературой то же самое.

— Что же ты надумал?

— Уеду куда-нибудь и напишу честный хороший роман — если выйдет.

— А зачем тебе уезжать? Оставайся здесь и пиши, когда ребята уедут. У тебя слишком жарко, чтобы работать.

— А тебе это не мешает?

— Нет, Родж. Мне ведь тоже бывает тоскливо одному. Нельзя все время от чего-то убегать. Но я, кажется, впадаю в риторику. Ладно, замолчал.

— Нет. Говори. Мне нужно, чтобы ты говорил.

— Если ты серьезно решил начать работать, начипай здесь.

— А ты не думаешь, что на Западе у меня бы лучше пошло дело?

— Для работы все места одинаковы. Главное — это не убегать.

— Нет, не все места одинаковы,— возразил Роджер.— Уж я знаю. Но там, где поначалу хорошо, потом становится плохо.

— Верно. Но здесь сейчас очень хорошо. Может быть, потом это изменится, но сейчас здесь прекрасно. И ты не будешь один вечером после работы, и я не буду оди. Мешать друг другу мы не станем, и увидишь, что тебе пойдет на пользу такая жизнь.

— Ты в самом деле веришь, что я могу написать хороший роман?

— Чтобы знать, нужно попробовать. То, что ты мне сегодня рассказал, — великолепный материал для романа, если только ты захочешь писать об этом. Начни с каноэ...

— А кончить чем?

— Дальше, после каноэ, уже пойдет вымысел.

— К чертям собачьим, — сказал Роджер. — Я настолько развращен, что стоит мне упомянуть о каноэ, и сейчас же в нем окажется прекрасная дева-индианка, а потом туда вскочит молодой Джонс, который спешит предупредить поселенцев о приближении Сесилия де Милля и пробирается вплавь, одной рукой цепляясь за сплетения водорослей, а в другой сжимая доброе старое кремневое ружье, и прекрасная индианка при виде него воскликнет: «Это ты, Джонс! Предадимся же любви, пока наш утлый челн скользит к водопаду, который когда-нибудь станет Ниагарой».

— Нет, — сказал Томас Хадсон. — Ты опишешь каноэ, и холодную воду озера, и как твой братишка...

— Дэвид Дэвис. Одиннадцать лет.

— Да. А потом будет вымысел, до самого конца.

— Не люблю концов, — сказал Роджер.

— Никто, вероятно, не любит, — сказал Томас Хадсон. — Но все имеет конец.

— Давай замолчим, — сказал Роджер. — Мне пора начать думать над этим романом. Томми, почему хорошо писать картины — удовольствие, а хорошо писать книги — сплошная мука? Я никогда не был хорошим художником, но даже мои картины доставляли мне удовольствие.

— Не знаю, — сказал Томас Хадсон. — Может быть, в живописи яснее традиция и направление и есть больше такого, на что можно опереться. Даже если отклонишься от главного направления большого искусства, все равно оно есть и может служить тебе опорой.

— А потом, мне кажется, живописью занимаются более достойные люди, — сказал Роджер. — Будь я стоящим человеком, из меня, может, и вышел бы хороший художник. Но, может, я такая сволочь, что из меня получится хороший писатель.

— Ну, знаешь, это чересчур упрощенный подход.

— А я всегда все чересчур упрощаю, — объявил Роджер. — Это одна из причин, почему я ни на что не го-жусь.

— Ладно, пошли спать.

— Я еще посижу, почитаю, — сказал Роджер.

Спали они хорошо. Томас Хадсон даже не проснулся, когда Роджер, уже далеко за полночь, вышел на веранду, служившую спальней. Утром, когда все сошлись к завтраку, оказалось, что ветер улегся, на небе ни облачка и можно посвятить день подводной охоте.

— Вы поедете, мистер Дэвис? — спросил Эндрю.

— Непременно поеду.

— Вот и хорошо, — сказал Эндрю. — Я рад.

— Как твое настроение, Энди? — спросил Томас Хадсон.

— Боюсь, — сказал Эндрю. — Как всегда. Но раз мистер Дэвис едет, я уже меньше боюсь.

— Никогда не надо бояться, Энди, — сказал Роджер. — Нестоящее это дело. Так меня учил твой папа.

— Все так учат, — сказал Эндрю. — Только тому и учат. А из всех умных ребят, которых я знаю, один Дэвид не боится.

— Закройся, — сказал Дэвид. — Воображаешь о себе невесть что.

— Мы с мистером Дэвисом всегда боимся, — сказал Эндрю. — Наверно, потому, что мы лучше всех все понимаем.

— Будь осторожен, Дэви, обещаешь? — сказал Томас Хадсон.

— Обещаю, папа.

Эндрю взглянул на Роджера и пожал плечами.

VII

За длинным рифом, куда они вышли в тот день на подводную охоту, лежали в глубине железные обломки старого развалившегося парохода, и ржавый металл его котлов торчал над водой даже в часы прилива. Ветер дул с юга, и Томас Хадсон стал на якорь с подветренной стороны рифа, но не вплотную к нему, а Роджер и мальчики держали наготове гарпуны и маски. Гарпуны эти были самые примитивные и все разные, у каждого на свой вкус.

Джозеф тоже вышел в море на гребной шлюпке. Он взял с собой Эндрю, и они вдвоем отправились к рифу, а остальные прыгнули с борта катера и поплыли.

— Папа, а ты что же? — крикнул Дэвид отцу, который стоял на мостике своего рыболовного катера. Маска с ова-

лом стекла над глазами, носом и лбом Дэвида, резиновый ободок, плотно прилегающий под носом к щекам и вдавливающийся в лоб, и тугая резиновая полоска, которая охватывала затылок, делали его похожим на героя псевдонаучных комиксов.

— Я потом к вам присоединюсь.

— Только не задерживайся, а то дождешься, что мы всю рыбу распугаем.

— Риф большой. Весь его вы не оплывете.

— Но я знаю две замечательные ямы там, за котламп. Нашел их, когда мы были здесь одни. Туда никто еще не совался. Там полно рыбы, и я решил оставить их на тот случай, когда мы будем здесь все.

— Да, помню. Через час я вас догоню.

— Я приберегу их для тебя,— сказал Дэвид и поплыл за остальными, держа в правой руке шестифутовый гарпун о двух зубьях, куском крепкой лески примотанных к грабовому древку. Он плыл, опутив лицо в воду, и разглядывал дно сквозь стекло маски. Дэвид был настоящим подводным существом, и теперь, когда он, такой загорелый, плыл, выставив из воды только мокрый затылок, Томас Хадсон больше чем когда-либо находил в нем сходство с бобренком.

Он следил, как Дэвид не спеша, ровно двигается вперед, взмахивая левой рукой и сгибая в коленях свои длинные ноги, и лишь изредка, с каждым разом все реже и реже кладет голову чуть набок, чтобы сделать вдох. Роджер и Том-младший плыли, сдвинув маски на лоб, и были далеко впереди. Эндрю и Джозеф сидели в шлюпке по ту сторону рифа. Эндрю еще не прыгнул в воду. Дул легкий ветер, вода за рифом светло пенилась, а риф был бурый, и за ним густо синело море.

Томас Хадсон спустился вниз, в камбуз, где Эдди чистил картошку над ведром, стоявшим у него между колен. Он то и дело посматривал через иллюминатор камбуза в сторону рифа.

— Нельзя мальчикам разъединяться,— сказал он.— Надо поближе к шлюпке.

— Думаешь, что-нибудь появится из-за рифа?

— Вода высокая. Это же весенний прилив.

— А прозрачная-то она какая,— сказал Томас Хадсон.

— В океане много всяких гадин,— сказал Эдди.—

Здесь в океане шутки плохи, если они учуют запах рыбы.

— Еще никто ни одной рыбы не поймал.

— Скоро поймают. И пусть сразу складывают ее в шлюпку, пока волна не подхватит запаха рыбы или запаха крови.

— Я поплыву к ним.

— Не надо. Крикните, чтобы держались вместе и бросали рыбу в шлюпку.

Томас Хадсон вышел на палубу и крикнул Роджеру то, что ему сказал Эдди. Роджер поднял гарпун и помахал им в знак того, что понял.

Эдди вышел в кокпит с кастрюлей, полной картошки, в одной руке и с ножом в другой.

— Возьмите то маленькое ружье, оно хорошее, и ступайте на палубу, мистер Том,— сказал он.— Не нравится мне это. Не нравится мне, что мальчишки плавают там в такой сильный прилив. Мы ведь уже почти в океане.

— Загоним их сюда.

— Нет. Я, может, просто психую. Плохо спал ночью. Я их так люблю, будто они мои собственные, и у меня из-за них на сердце черт-те что творится.— Он поставил кастрюлю с картофелем на пол.— Знаете, как мы сделаем? Запустите мотор, а я выберу якорь, и мы подойдем к рифу поближе и станем там. При таком сильном приливе и на ветру катер развернется. Давайте поближе к рифу.

Томас Хадсон запустил большой мотор и стал к штурвалу. Когда Эдди выбрал якорь, он увидел всех четверых в воде, и тут же Дэвид вынырнул на поверхность с высоко поднятым вверх гарпуном, на котором трепыхалась рыба, и Томас Хадсон услышал, как он окликнул шлюпку.

— К рифу поворачивайте! — крикнул Эдди, стоя на носу и держа в руках якорь.

Томас Хадсон медленно подвел катер почти вплотную к рифу и увидел большие бурые коралловые полипы, черных морских ежей на песке и лиловые онахала морского пера, покачивавшиеся ему навстречу вместе с приливом. Эдди бросил якорь, Томас Хадсон дал задний ход. Катер развернулся, и риф скользнул в сторону. Эдди травил канат до тех пор, пока он не натянулся как струна. Томас Хадсон выключил мотор, и они закачались на месте.

— Теперь мы за ними уследим,— сказал Эдди, стоя на носу.— Не могу я себе позволить такое беспокойство из-за этих мальчишек. Нарушает пищеварение, черт бы его побрал. А у меня с ним и так неладно.

— Я буду наблюдать за ними отсюда.

— Сейчас подам вам ружье, а сам займусь этой проклятой картошкой. Мальчики ведь любят картофельный салат по нашему рецепту?

— Еще бы. Роджер тоже любит. Только положи в него побольше крутых яиц и лука.

— Картофелины у меня будут целенькие, не разварятся. Вот, возьмите ружье.

Томас Хадсон коснулся ружья, и оно показалось ему бесформенным, тяжелым в своем чехле из овчины с подстриженной шерстью, пропитанной маслом, чтобы ружье не заржавело на морском воздухе. Он вытащил его за приклад и засунул чехол под настил мостика. Это был «манлихер-шенауер-256» с восемнадцатидюймовым стволом устаревшего образца, уже снятый с продажи. Ложа и цевье у него побурели, как ядро грецкого ореха, от смазки и трения, а ствол, раньше месяцами терпавшийся о седельный подсумок, был маслянистый, без единого пятнышка ржавчины. То место на прикладе, куда стрелок прижимается щекой, гладко лоснилось, и, отведя затвор, он увидел вращающуюся магазинную коробку, заполненную тремя пузатыми гильзами с длинными, тонкими, как карандаши, пулями, блеснувшими свинцом своих головок.

Ружье было слишком хорошее, чтобы держать его на катере, но Томас Хадсон так его любил и оно напоминало ему столько всяких событий, столько людей и столько мест, что он предпочитал иметь его при себе, тем более что в овчинном чехле с подстриженной, пропитанной маслом шерстью соленый воздух ружью ничуть не вредил. Ружье для того и существует, думал он, чтобы из него стреляли, а не хранили в чехле. Это ружье очень хорошее, и стрелять из него легко, и обучать стрельбе легко, и оно весьма кстати на катере. Ни одно другое из тех, что у него были, не давало ему такой уверенности в наводке и на близком и на среднем расстоянии, и он с удовольствием вынул его из чехла, отвел затвор и послал патрон в ствол.

Катер стоял почти неподвижно под ветром на прибывающей воде, и Томас Хадсон накиннул ремень ружья на одну из рукояток штурвала так, чтобы оно было под рукой, и лег на разложенный тут же на мостике надувной матрац. Лежа ничком и подставляя солнцу спину, он смотрел туда, где Роджер и мальчики ловили рыбу. Все они то и дело пыряли, оставались под водой кто сколько мог,

высовывали головы, чтобы набрать воздуха в легкие, опять исчезали и кое-когда появлялись с рыбой на гарпуне. Джозеф разъезжал на шлюпке от одного к другому, снимал рыбу с зубьев гарпуна и бросал ее в шлюпку. Томас Хадсон слышал его возгласы и смех, и, когда Джозеф стряхивал или снимал рукой рыбу с зубцов и швырял ее в тень на корме шлюпки, Томасу Хадсону была видна яркая рыба чешуя — красная, или красная с коричневыми крапинками, или красная с желтым, или в желтую полосу.

— Эдди, будь добр, дай мне чего-нибудь выпить! — крикнул он.

— А чего вы хотите? — Эдди высунулся из кокпита. Он был в старой фетровой шляпе, в белой рубашке, от яркого солнца глаза у него палились кровью, и Томас Хадсон заметил, что его губы смазаны меркурохромом.

— Что это у тебя со ртом? — спросил он.

— Так, кое-какие неприятности вчера вечером. Я только сейчас смазал. А что, очень заметно?

— Ты похож на захолустную шлюху.

— Ч-черт! — сказал Эдди. — Мазнул в темноте, не глядя. Просто так, на ощупь. Что же вам дать — с кокосовой водичкой? У меня кокосовая водичка есть.

— Прекрасно.

— А «Зеленого Айзека» не хотите?

— Еще лучше. Давай «Зеленого Айзека».

Томас Хадсон лежал на матрасе, пряча голову в тени приборной доски, и когда Эдди взойсел на мостик с высоким стаканом холодного питья, составленного из джина, лимонного сока, зеленоватой кокосовой воды и мелкого льда с несколькими каплями ангостурской настойки для придания ему ржаво-розового цвета, он поставил стакан в тень, чтобы лед не растаял, пока он смотрит на море.

— Дела у мальчиков идут неплохо, — сказал Эдди. — Рыбы на обед нам хватит.

— А что будет еще?

— К рыбе картофельное пюре. Еще салат из помидоров. Да вот этот, картофельный. С него и начнем.

— Звучит аппетитно. А картофельный готов?

— Картофель еще не остыл, Том.

— Эдди, а ты ведь любишь заниматься стряпней?

— Еще как люблю! Я люблю ходить в море на катере, и я люблю стряпать. А чего не люблю, так это скандалить, драться и попадать во всякие истории.

— Во всяких историях ты обычно держался молодцом.

— Я старался не ввязываться в них. Иной раз не избежишь, но я всегда старался.

— А что случилось вчера вечером?

— Ничего.

Ему не хотелось говорить об этом. Он никогда не говорил и о своем прошлом, где всяких историй было предостаточно.

— Ладно. А чем ты нас еще угостишь? Ребят надо кормить как следует. Они растут.

— Я испек дома пирог и захватил его сюда. На льду лежат два свежих ананаса. Нарежу их ломтиками.

— Отлично. А как рыба будет приготовлена?

— Как вам угодно. Выберем что получше из их улова и сварим или поджарим, кто как захочет. Дэвид только что поймал хорошую американскую сельдь. У него еще одна была, но он ее упустил. А эта большая. Только вот далеко он заплыл, слишком далеко. И рыбу все еще не отдал Джозефу, а тот, дьявол, гонит со своей шлюпкой к Энди.

Томас Хадсон поставил стакан в тень и поднялся.

— О господи! — сказал Эдди. — Смотрите.

Выделяясь на синей воде, точно коричневый шлюпочный парус, вспарывая волны, двигаясь вперед могучими, стремительными посылами хвоста, высокий треугольный плавник приближался к той яме у конца рифа, где мальчик в маске высоко поднимал над водой руку, в которой была рыба.

— О господи! — сказал Эдди. — Молот-рыба, сука океанная. О господи, Том! О господи!

Поздней Томас Хадсон вспоминал, что его больше всего поразила высота плавника и то, как он поворачивался и вздрагивал, точно собака, идущая по следу, и как он прорывался вперед, будто рыскал из стороны в сторону.

Он поднял свой «манлихер» и выстрелил, упреждая плавник. Получился перелет, вода фонтаном взметнулась вверх, и он вспомнил, что ствол ружья покрыт смазкой. Плавник по-прежнему буравил воду.

— Бросай ей рыбу, бросай рыбу! — крикнул Дэвиду Эдди и прыгнул с края рубки в кокпит.

Томас Хадсон снова выстрелил, и фонтан воды взметнулся теперь позади плавника. Он почувствовал, как ему свело желудок, будто что-то схватило его изнутри и дер-

жит, и выстрелил снова, стараясь целиться как можно точнее и чтобы рука не дрогнула, понимая все значение этого выстрела,— и водяной фонтан взлетел впереди плавника. Плавник шел все с тем же страшным напором. У Томаса Хадсона остался один выстрел, запасных патронов не было, а громадная акула была ярдах в тридцати от мальчика и двигалась к нему, все так же испарывая воду. Дэвид снял рыбу с гарпуна и держал ее в руке, маска была сдвинута у него на лоб, и он пристально смотрел на приближавшуюся акулу.

Томас Хадсон заставлял себя преодолеть скованность и собраться, заставлял себя сдерживать дыхание и не думать ни о чем другом, кроме выстрела; нажать на спуск и метить, чуть упреждая, в основание плавника, который подрагивал теперь сильнее, чем вначале. И вдруг он услышал, как с кормы застрочил автомат, и увидел, как вокруг плавника запрыгали фонтанчики. Потом короткая очередь, и вода вскипела у самого основания плавника. Он выстрелил, и стрекот послышался снова — дробный, тугой, и плавник завалился, вода вокруг него закипела, а потом молот-рыба — такая большая, какой он никогда не видел,— подвнялась из моря белым брюхом вверх и начала бешено крутиться на спине, взбаламучивая воду, как акваплан. Брюхо отсвечивало непристойной белизной, пасть шириной в ярд была как опрокинутая ухмылка, рога огромные, с глазами на концах. Она подскакивала и скользила по воде. Эдди строчил по ней из автомата, всаживал пули в ее белое брюхо, рвал его, оставляя на нем темные пятна, которые сразу же алели, и наконец она перевернулась на бок и пошла вниз, и Томас Хадсон увидел, как она крутится волчком, уходя под воду.

— Сюда их, окаянных, гоните,— услышал он голос Эдди.— Не могу я больше на это смотреть.

Роджер быстро подплывал к Дэвиду, а Джозеф уже спешил к ним, втащив Энди в шлюпку.

— Господи, твоя воля! — сказал Эдди.— Видали вы когда-нибудь такую акулицу? Слава богу, что они выходят на поверхность, когда идут за добычей. Слава богу! Они, сволочи, всегда плывут поверху. Видали, как она шла?

— Дай мне коробку с патронами,— сказал Томас Хадсон. Он еле держался на ногах, его мутило.— Все сюда! — крикнул он.

Они приблизились к шлюпке, и Роджер подсаживал в нее Дэвида.

— Теперь уж пусть ловят рыбу,— сказал Эдди.— Теперь все здешние акулы на эту набросятся. Эта весь океан сюда соберет. Видали, как она перевернулась брюхом вверх, а потом давай и давай крутиться? О господи, вот это молот-рыба! А мальчишка-то, видали, собирался ей рыбу бросить. Ах, Дэви, голубчик! Какой же ты у нас молодец!

— Пусть лучше будут на катере.

— Конечно, лучше на катере. Это я просто так говорю. Сейчас их подвезут. Подвезут, не беспокойтесь.

— Господи, какой это был ужас! Откуда у тебя взялся автомат?

— Комиссар стал ко мне вязаться, что я держу его дома, вот я и переправил его с берега на катер и сунул в ящик под койкой.

— Стрелять ты умеешь.

— Да как тут не суметь, когда на нашего Дэви, голубчика, шла акула, а он спокойно ждал ее, хотел бросить ей рыбу. Так прямо на акулу и глядел. Пусть я больше ничего в жизни не увижу после того, чего сейчас увидался.

Шлюпка подошла к борту, и все четверо поднялись на катер. Мальчишки были мокрые и очень взбудораженные, а Роджер — сам не свой от волнения. Он подошел к Эдди и пожал ему руку, и Эдди сказал:

— Нельзя было нам пускать их туда в такой прилив.

Роджер покачал головой и обнял Эдди за плечи.

— Это моя вина,— сказал Эдди.— Я здешний. А вы нет. Вы тут ни при чем. Я один в ответе.

— И ответили как надо,— сказал Роджер.

— Да ну вас! — сказал Эдди.— На таком расстоянии кто промахнется.

— Ты ее видел, Дэв? — очень вежливо спросил Эндрю.

— Сначала один плавник, только под конец всю. Я всю ее увидел еще до того, как Эдди выстрелил по ней, а потом она нырнула и всплыла на спине.

Эдди растирал Дэвида полотенцем, и Томасу Хадсону видно было, что ноги, спина и плечи у мальчика все еще покрыты мурашками.

— Первый раз в жизни вижу что-либо подобное,— сказал Том-младший.— Как она вынырнула из воды и переползла на спину! Первый раз в жизни такое вижу.

— И вряд ли еще увидишь,— сказал ему отец.

— Весу в ней, наверно, вся тысяча фунтов будет,— сказал Эдди.— Наверно, крупнее и не бывает. Господи, Роджер, видели, какой у нее плавник?

— Видел,— сказал Роджер.

— А может, мы ее выловим? — спросил Дэвид.

— А ну ее к дьяволу,— сказал Эдди.— Она так кувыром и пошла ко дну, и черт ее знает, где опустится. Футов на пятьсот заляжет, и весь океан будет ее жрать. Наверно, все туда ринулись.

— Жалко, мы ее не поймали,— сказал Дэвид.

— Спокойно, Дэвид, спокойно, милый. Вон по тебе еще мурашки бегают.

— Ты очень испугался, Дэв? — спросил Эндрю.

— Да,— ответил ему Дэвид.

— А что бы ты стал делать? — почтительным тоном спросил его Том-младший.

— Швырнул бы ей рыбу,— сказал Дэвид, и Томас Хадсон увидел, как его плечи окатило короткой волной мурашек.— А потом ударил бы гарпуном в самую морду.

— О господи! — сказал Эдди и отвернулся, не выпуская полотенца из рук.— Роджер, что вы будете пить?

— Яда у вас никакого нет? — спросил его Роджер.

— Перестань, Роджер,— сказал Томас Хадсон.— Мы все за это ответственные.

— Безответственные.

— Дело прошлое.

— Ладно.

— Я приготовлю коктейль на джине,— сказал Эдди.— Том как раз пил джин, когда это случилось.

— Мой коктейль так там и стоит.

— Теперь он уже невкусный,— сказал Эдди.— Я вам другой приготовлю.

— Ты молодец, Дэви,— с гордостью сказал брату Том-младший.— Вот подожди, я расскажу про тебя ребятам в школе.

— Они не поверят,— сказал Дэвид.— Если я тоже буду там учиться, не надо им говорить.

— Почему? — спросил Том-младший.

— Не знаю,— сказал Дэвид. И заплакал, как маленький.— Я не стерплю, если они не поверят.

Томас Хадсон поднял его на руки, и он прижался головой к его груди, а двое других отвернулись, и Роджер тоже отвел глаза в сторону, и тут Эдди вышел из камбу-

за с тремя стаканами в руках, опустив большой палец в один из них. Томас Хадсон понял, что он уже хватил спиртного внизу.

— Ты что это, Дэви? — спросил Эдди.

— Ничего.

— Вот и хорошо, — сказал Эдди. — Такие слова и слушать приятно. Слезай с рук, чертова перечница, кончай хныкать и дай отцу спокойно выпить.

Дэвид стал рядом с ним, вытянувшись во весь рост.

— А в отлив здесь можно ловить рыбу? — спросил он Эдди.

— Лови, никто тебя не тронет, — сказал Эдди. — Муре-ны попадают. Но крупнее их ничего не будет. В малую воду крупная рыба сюда не проходит.

— Папа, можно, мы в отлив опять сюда приедем?

— Что ж, если Эдди разрешит. Эдди теперь главный командир.

— Да ну вас, Том, — сказал Эдди. Он был счастлив, и его губы, красные от меркурохрома, были счастливы, а счастливее всего были его налитые кровью глаза. — Кто не сумел бы врезать этой паршивой акуле из той штуки, тому эту штуку надо выкинуть подальше от беды.

— Здорово ты этой акуле врезал! — сказал Томас Хадсон. — Просто замечательно. Так врезал, я и выразить не могу.

— И не выражайте, — сказал Эдди. — Я эту мерзкую сволочь до конца дней своих буду помнить — как она извернулась брюхом вверх. Видели вы когда-нибудь такую мерзость?

Они сидели в ожидании ленча, и Томас Хадсон смотрел на море, на Джозефа — как он подплывал в шлюпке к тому месту, где акула ушла под воду. Джозеф перегнулся через борт и смотрел в оптическую трубку.

— Видно что-нибудь? — крикнул ему Томас Хадсон.

— Глубина слишком большая, мистер Том. Она под риф ушла. Лежит, наверно, на самом дне.

— Эх, достать бы ее челюсти! — сказал Том-младший. — Отбелить бы их и повесить. Да, папа?

— Меня бы, наверно, кошмары из-за них мучили, — сказал Эндрю. — Очень хорошо, что у нас нет этих челюстей.

— Вот был бы трофей! — сказал Том-младший. — Его бы в школе показать.

— Если бы мы достали эти челюсти, их получил бы Дэв,— сказал Эндрю.

— Нет. Их бы получил Эдди,— сказал Том-младший.— Но если бы я попросил, думаю, он бы мне их отдал.

— Он отдал бы их Дэви,— сказал Эпдрю.

— Пожалуй, не стоит тебе опять идти в воду, Дэв,— сказал Томас Хадсон.

— Да это же не скоро, еще сколько времени после лепча пройдет,— сказал Дэвид.— Ведь падо ждать отлива.

— Я говорю о подводной охоте.

— Эдди сказал, что можно.

— Да, знаю. Но я все еще не отошел от испуга.

— Но Эдди-то знает.

— А может, ты сделаешь мне такой подарок и не пойдешь?

— Если хочешь, папа, пожалуйста. Но я так люблю плавать под водой. Больше всего на свете люблю. И если Эдди говорит, что...

— Хорошо. И вообще подарки выпрашивать не полагается.

— Да нет, папа, я, может, не так сказал. Если ты против, я не пойду. Но Эдди говорит...

— Ну а мурены? Эдди говорил про мурен.

— Папа, мурены всегда бывают. Ты сам учил меня не бояться мурен, говорил, как их отгоняют, и откуда их ждать, и в каких ямах они живут.

— Да, правильно. Но я же позволил тебе плавать там, где была эта акула.

— Папа, ведь мы все там были. Не взваливай на себя какую-то особенную вину. Я просто слишком далеко заплыл, у меня сорвалась хорошая сельдь с гарпуна и напустила в воду крови, а ее кровь почуяла акула.

— А как она примчалась — как гончая,— сказал Томас Хадсон. Он пытался освободиться от волнения. Мне приходилось видеть, как они мчат на такой скорости. Одна жила недалеко от Сигнальной скалы и каждый раз приплывала на запах наживки. Мне стыдно, что я не попал в эту.

— Твои пули ложились почти в цель,— сказал Том-младший.

— Вот именно, почти, а убить ее я все-таки не убил.

— Папа, она не за мной примчалась,— сказал Дэвид.— Она за рыбой.

— Заодно и с тобой бы расправилась,— сказал Эдди. Он накрывал на стол.— Не обольщайся, миленький, и ты бы не уцелел. От тебя пахло рыбой, и рыба кровь в воде. Она бы и на лошадь напала. На все бы напала, что ей ни подвернись. О господи! Перестань болтать, хватит. Придется мне еще выпить.

— Эдди,— сказал Дэвид.— А в отлив правда не опасно?

— Конечно, нет. Я же тебе говорил.

— Ты это для того, чтобы доказать что-то? — спросил Дэвида Томас Хадсон. Он успокоился и перестал смотреть на море. Он знал: Дэвид поступает так, как ему пужно; зачем, почему — не важно; и он знал, что не должен тут быть эгоистом.

— Да папа, просто я больше всего на свете это люблю, и день сегодня такой подходящий, и как знать, а вдруг налетит...

— И Эдди говорит...— перебил его Томас Хадсон

— И Эдди говорит...— во весь рот улыбнулся Дэвид.

— Эдди говорит, пропадите вы все пропадом. Садитесь есть, пока я всю еду за борт не выбросил.— Он стоял, держа на подносе салатницу, блюдо с подрумяненной рыбой и картофельное пюре.— Где этот Джо?

— Он поехал искать акулу.

— Вот псих!

Когда Эдди спустился вниз, а Том-младший стал передавать по столу тарелки с едой, Эндрю шепнул отцу:

— Папа, Эдди — пьяница?

Томас Хадсон пододвинул к себе холодный салат из картофеля под маринадом, посыпанного черным перцем крупного помола. Он научил Эдди готовить его, как готовили в Париже у «Липпа», и это было одно из лучших блюд, которыми Эдди угощал на катере.

— А ты видел, как он подстрелил акулу?

— Конечно, видел.

— Пьяницы так не стреляют.

Он положил салата на тарелку Эндрю и потом взял себе.

— Я потому спрашиваю, что мне отсюда виден камбуз, и, пока мы тут сидим, он уже раз восемь прикладывался к бутылке.

— Это его бутылка,— пояснил Томас Хадсон и положил Эндрю еще салату. Эндрю был сверхбыстрый едок.

Он говорил, что научился этому в школе.— Энди, ешь по-медленнее. Эдди всегда приносит на катер собственную бутылку. Хорошие повара почти все немножко выпивают. А некоторые и сильно пьют.

— Он восемь раз прикладывался, я видел. Стойте. Вот уже девятый.

— Иди ты к черту, Эндрю,— сказал Дэвид.

— Перестаньте,— сказал им обоим Томас Хадсон.

Вмешался Том-младший:

— Замечательный, прекрасный человек спасает жизнь твоему брату, но стоит ему сделать глоток или несколько глотков из бутылки, как ты обзываешь его пьяницей. Не место тебе среди людей, Энди.

— Я не обзывал его, а просто спросил папу, пьяница он или нет. Я не против пьяниц. Просто мне хочется знать, кто пьяница, а кто не пьяница.

— Как только у меня заведутся деньги, я куплю Эдди бутылку того, что он любит, и разопью ее с ним,— величественно объявил Том-младший.

— Это что такое? — Над трапом появилась голова Эдди с сигарой в уголке смазанного меркурохромом рта и в старой фетровой шляпе, сдвинутой на затылок, так что осталась белая полоска над загорелой частью лица.— Если я увижу, что вы не пиво пьете, а спиртное, смертным боем вас изобью. Всех троих. И хватит этих разговоров. Хотите еще картофельного пюре?

— Пожалуйста, Эдди,— сказал Том-младший, и Эдди спустился в камбуз.

— Вот уже десятый раз,— сказал Эндрю, глядя вниз.

— Замолчи, наездник,— сказал ему Том-младший. — Имей уважение к достойному человеку.

— Возьми еще рыбы, Дэвид,— сказал Томас Хадсон.

— А где тут моя большая сельдь?

— По-моему, она еще не поджарена.

— Тогда я возьму вот эту.

— До чего же они сладкие.

— Когда ловишь гарпуном, они еще вкуснее, если сразу есть, потому что из них вся кровь вышла.

— Папа, можно я позову Эдди выпить с нами? — спросил Том-младший.

— Конечно,— сказал Томас Хадсон.

— Он уже пил с нами. Вы разве не помпите? — перебил их Эндрю.— Мы пришли, и он сразу с нами выпил. Помните?

— Папа, можно я позову его выпить с нами еще раз и поест с нами тоже?

— Пожалуйста,— сказал Томас Хадсон.

Том-младший сбежал вниз, и Томас Хадсон услышал, как он сказал:

— Эдди, папа говорит, чтобы вы приготовили себе стаканчик, поднялись наверх и выпили и поели с нами.

— Да ну, Томми,— сказал Эдди.— Я среди дня никогда не ем. Позавтракаю утром, а потом вечером чего-нибудь пожую.

— Ну хоть выпейте с нами за компанию.

— Я уже парочку пропустил, Томми.

— Давайте со мной выпьем, а я буду пить пиво.

— Давай, Томми, давай,— сказал Эдди. Томас Хадсон услышал, как открылась и захлопнулась дверца холодильника.— За твоё здоровье, Томми!

Томас Хадсон услышал, как они чокнулись двумя бутылками. Он взглянул на Роджера, но Роджер смотрел на океан.

— За ваше здоровье, Эдди! — услышал он Тома-младшего.— Выпить с вами — для меня большая честь.

— Томми! — сказал ему Эдди.— А для меня большая честь выпить с тобой. Самочувствие у меня замечательное, Томми. Ты видел, как я подстрелил эту акулицу?

— Конечно, видел, Эдди. А вы не хотите немножко закусить с нами?

— Нет, Томми. Правда не хочу.

— Можно мне остаться здесь, чтобы вам не пришлось пить в одиночку?

— Брось, Томми, брось. Ты что-то не то надумал. Пить мне совсем не надо. И ничего мне не надо, только малость покухарить и заработать себе на жизнь. Самочувствие у меня отличное, Томми. Ты видел, как я подстрелил ее? Правда, видел?

— Эдди, лучше этого мне ничего не приходилось видеть. Я просто думал: может, вам хочется побыть с кем-нибудь, чтобы не чувствовать себя одиноким?

— В жизни своей не знал, что такое одиночество,— сказал ему Эдди.— Мне хорошо, и у меня есть здесь кое-что, от чего будет еще лучше.

— Эдди, а мне хочется побыть с вами.

— Нет, Томми. Вот возьми это блюдо с рыбой и иди наверх, где тебе место.

— А я вернусь и посижу с вами.

— Томми, я не болен. Будь я болен, мне было бы приятно, что ты со мной. А самочувствие, черт подери, у меня сейчас такое, какого никогда не было.

— Эдди, а вам хватит этой бутылки?

— Конечно, хватит! А нет, так я займу у Роджера или у твоего старика.

— Ну что ж, понесу рыбу наверх,— сказал Том-младший.— Мне очень приятно, что у вас хорошее самочувствие, Эдди. Это просто замечательно.

Том-младший принес в кокпит блюдо с американской сельдью, с желтыми и белыми окунями и серебрянкой. Все рыбы были с золотистой корочкой и глубоко, до белого мяса надрезаны по бокам треугольниками, и Том-младший стал передавать блюдо всем за столом.

— Эдди просил поблагодарить тебя, но он уже выпил,— сказал Том-младший.— И среди дня он никогда не ест. Ну как рыба, вкусная?

— Великолепная,— сказал ему Томас Хадсон.— Ешь, пожалуйста,— сказал он Роджеру.

— Хорошо,— сказал Роджер.— Буду есть.

— А вы еще ничего не ели, мистер Дэвис? — спросил Эндрю.

— Да, Энди. Но теперь поем.

VIII

Просыпаясь ночью, Томас Хадсон слышал ровное дыхание спящих сыновей и в лунном свете видел их всех троих и спящего Роджера тоже. Роджер теперь спал крепко, почти не ворочаясь во сне.

Томас Хадсон был счастлив, что они здесь, у него, и не хотел думать о том, что они снова уедут. Он и раньше, до их приезда, был по-своему счастлив, он давно уже научился жить и работать, не давая чувству одиночества достигнуть невыносимой остроты. Приезд мальчиков нарушал весь уклад жизни, созданный им для самозащиты, но к этим нарушениям он уже тоже привык.

По этому укладу, спокойному и необременительному, всему было свое время и место: усиленной работе, разным житейским делам, содержанию вещей в чистоте и порядке, еде и выпивке и приятному ожиданию того и другого, чтению новых книг и пересчитыванию многих старых. По

этому укладу прибытие ежедневной газеты было событием, но, поскольку ее доставляли не слишком аккуратно, неприбытие тоже особенно не огорчало. Входили в этот уклад разные мелкие уловки, с помощью которых одинокие люди обороняются от одиночества и даже умудряются вовсе его не ощущать: Томас Хадсон сам их придумывал и вводил в обиход, прибегая к ним и сознательно и бессознательно. Но с приездом мальчиков необходимость в них отпадала, и это само по себе было облегчением.

Тем трудней будет, думал он, когда придется все это начинать сначала. Он очень хорошо знал, как это будет. Первые полдня покажется даже приятно, что в доме тихо и чисто, и ничьи разговоры не мешают читать или думать, и можно молча смотреть на предметы, никому ничего не объясняя, и работать в полную силу, без помех, но потом, он знал, подступит одиночество. Сыновья успели снова заполнить собой большое место у него внутри, и, когда они оттуда уйдут, останется пустота, и некоторое время это будет очень трудно.

Его жизнь обрела прочные устои в работе, и в близости Гольфстрима, и в быте острова, и эти устои помогут ей выравняться. Все его привычки, повадки, ухищрения рассчитаны на то, чтобы справляться с одиночеством, хоть теперь он открыл одиночеству просторы, куда оно сразу же устремится, как только уедут мальчики. Но с этим ничего не поделаешь. Все равно это будет, а раз так, что пользы страшиться этого раньше времени.

Пока что лето складывалось благоприятно, удачно и радостно. Многое, что могло кончиться плохо, кончилось хорошо. Это относилось не только к таким драматическим происшествиям, как драка Роджера на причале, которая могла кончиться очень плохо, или встреча Дэвида с акулой; даже всякие мелкие происшествия кончались хорошо. Говорят, счастье скучно, думал он, лежа с открытыми глазами, но это потому, что скучные люди нередко бывают очень счастливы, а люди интересные и умные умудряются отравлять существование и себе и всем вокруг. Томасу Хадсону счастье никогда не казалось скучным. Он верил, что счастье — самая замечательная вещь на свете, и для тех, кто умеет быть счастливым, оно может быть таким же глубоким, как печаль. Может быть, это и не так, но он так считал очень долгое время, а этим летом счастье уже длилось целый месяц, и, хотя оно еще не оборвалось, ночью он уже тосковал по нему.

Он узнал почти все, что можно узнать, о жизни в одиночестве; и что значит жить с теми, кого любишь и кто любит тебя,— это он тоже знал. Он всегда любил своих детей, но раньше не сознавал, как сильно он их любит и как это плохо, что он живет с ними врозь. Ему бы хотелось, чтобы они всегда были с ним и чтобы мать Тома до сих пор оставалась его женой. Глупое желание, подумал он; с таким же успехом можно желать, чтобы тебе принадлежали все сокровища мира и ты мог бы справедливо распоряжаться ими по своему разумению; или чтобы ты рисовал, как Леонардо, и был живописцем не хуже Питера Брейгеля; или пользовался бы непререкаемой властью над всяким злом и умел безошибочно распознавать его в самом начале и пресекать легко и просто чем-нибудь вроде нажатия кнопки; и ко всему тому был бы всегда здоров и жил вечно, не разрушаясь ни телом, ни душой. А хорошо бы все это было так, думал Томас Хадсон в эту ночь. Хорошо, но невозможно, как невозможно, чтобы дети были с тобой или чтобы те, кого ты любишь, были живы, если они умерли или ушли из твоей жизни. Но среди всего невозможного кое-что все-таки возможно — и прежде всего способность чувствовать выпавшее тебе счастье и радоваться ему, пока оно есть и пока все хорошо. Было много такого, что в свое время делало его счастливым. Но то, что за этот месяц дали ему эти четверо, во многом не уступало тому, что когда-то умел дать один человек, а печалиться ему пока было не о чем. Совсем не о чем было печалиться.

Даже то, что он не спит, не огорчало его, а он помнил ту полосу в жизни, когда он совсем не мог спать и целые ночи лежал и думал о том, как это вышло, что он потерял всех своих сыновей, каким дураком он был. Думал обо всем том, что он делал потому, что не мог иначе, или ему казалось, что он не может иначе, и из одной гибельной ошибки впадал в другую, еще более гибельную. Но теперь это все уже прошлое, и он уже примирился с этим, и раскаяние уже не терзало его. Он был дураком, а дураков он не любил. Но это уже позади, а сейчас мальчики здесь, и они любят его, и он их любит. И пусть все будет так, как оно есть.

Они пробудут с ним весь намеченный срок, а потом уедут, и тогда снова наступит одиночество. Но это будет лишь этап на пути, который минует, и они приедут опять. Если Роджер захочет остаться работать здесь, он не будет в доме один и все будет гораздо легче. Но с Роджером ни-

когда не знаешь, на что можно рассчитывать и чего ожидать. Думая о Роджере, он улыбнулся в ночной тишине. Он было пожалел его, но тут же подумал, что это нечестно по отношению к Роджеру, потому что Роджер не принял бы жалости, и он отогнал ее и под мерное дыхание спящих скоро уснул и сам.

Его разбудил лунный свет, добравшийся до его изголовья, и он стал думать о Роджере и о тех женщинах, с которыми у него возникали осложнения в жизни. Оба они, и он и Роджер, вели себя с женщинами глупо и неправильно. Думать о собственных глупостях ему не хотелось, и он решил думать о глупостях Роджера.

Жалеть его я не буду, сказал он себе, так что ничего нечестного тут нет. У меня самого достаточно было осложнений, а потому нет ничего нечестного в том, что я думаю об осложнениях, которые были у Роджера. Со мной все это по-другому, я только одну женщину любил по-настоящему, и я ее потерял. Я отлично знаю, почему так случилось. Но об этом я больше не хочу и не стану думать. Так что, пожалуй, не стоит мне думать и о Роджере. Но лунный свет не давал ему уснуть, он всегда плохо спал при луне, и он все-таки стал думать о Роджере и его осложнениях с женщинами, иногда серьезных, иногда смешных.

Он вспомнил последнюю парижскую любовь Роджера — они оба тогда жили в Париже, — как она была хороша и какой фальшивой показалась ему с первого раза, когда Роджер привел ее в мастерскую. Роджер не замечал в ней никакой фальши. Она была его очередной иллюзией, и он щедро тратил на нее талант верности, данный ему природой, — пока не отпали препятствия к их браку. А тогда за один месяц Роджеру открылось в ней то, что всегда было ясно всем, кто ее знал. Вероятно, первый день прозрения был для него нелегким днем, но в мастерскую к Томасу Хадсону он явился тогда, когда процесс уже шел полным ходом. Он долго смотрел новые работы, умно и метко покритиковал их. А потом объявил:

— Я сказал этой Айре, что я на ней не женюсь.

— Рад слышать, — сказал Томас Хадсон. — Она была поражена?

— Не очень. У нас уже были кое-какие разговоры. Она — подделка.

— Да ну, — сказал Томас Хадсон. — В каком смысле?

— Во всех. С какой стороны ни возьми,

- А я считал, что она тебе нравится.
- Нет. Я старался, чтобы она мне понравилась. Но ничего не получалось, разве что в самом начале. Я просто был в нее влюблен.
- А что это значит — влюблен?
- Ты бы должен знать.
- Да,— сказал Томас Хадсон.— Я бы должен зпать.
- Разве тебе она не нравилась?
- Нет. Я ее с трудом выносил.
- Почему же ты молчал?
- Она была твоей любовью. И ты меня не спрашивал.
- Я ей сказал. Но нужно, чтобы так на том и осталось.
- Уезжай куда-нибудь.
- Нет,— сказал Роджер.— Пусть она уезжает.
- Мне казалось, что так будет проще.
- Этот город столько же мой, сколько ее.
- Знаю,— сказал Томас Хадсон.
- Тебе ведь тоже случалось выходить из игры, верно? — спросил Роджер.
- Да. В этой игре выиграть нельзя. Но выйти из игры можно. Может, тебе стоит хотя бы переменить quartier?
- Мне и здесь хорошо.
- Знакомая формула. Je me trouve très bien ici et je vous prie de me laisser tranquille ¹.
- Начинается она со слов je refuse de recevoir ma femme ²,— сказал Роджер.— И ее произносят, когда является huissier ³. Но это ведь не развод. Это только разрыв.
- А не будет тебе тяжело встречаться с ней?
- Нет. Это меня быстрее излечит. Особенно если придется слышать ее разговоры.
- А с ней что будет?
- Пусть сама соображает. Хитрости у нее хватит. Хватало же все эти четыре года.
- Пять,— сказал Томас Хадсон.
- Ну, в первый год она едва ли хитрила.
- Тебе лучше уехать,— сказал Томас Хадсон.— Если ты считаешь, что она не хитрила в первый год, тебе лучше уехать, и подальше.

¹ Мне здесь очень хорошо, и я вас прошу оставить меня в покое (*фр.*).

² Я отказываюсь видеть мою жену (*фр.*).

³ Судебный исполнитель (*фр.*).

— Ты не знаешь, какие она умеет писать письма. Если я уеду, будет еще хуже. Нет. Останусь здесь и загуляю всю. Это мне поможет излечиться окончательно.

После разрыва с той женщиной в Париже Роджер и в самом деле загулял вовсю. Он сам шутил и смеялся по этому поводу; но внутренне он был зол на себя, что свалил такого дурака, и всячески старался заглушить свой талант быть верным в любви и в дружбе — лучшее, что в нем было наряду с талантом художника и писателя и со многими славными человеческими и животными чертами. Он всем был неприятен в эту пору загула — и себе и другим, и он это знал, и злился из-за этого, и с еще большим азартом крушил столпы храма. А храм был прекрасный и прочно выстроенный, и такой храм внутри себя нелегко сокрушить. Но он делал для этого все, что мог.

У него были три любовницы одна за другой, женщины, с которыми Томас Хадсон мог в лучшем случае оставаться в рамках общепринятой вежливости, причем двух последних можно было объяснить разве что их сходством с первой. Эту первую он завел сразу же после своего неудачного романа; она была вроде бы такого пошиба, до какого он прежде не опускался, однако впоследствии сумела сделать карьеру, и не только в постели, — отхватила кусок одного из крупнейших состояний в Америке, а другое, не меньшее, закрепила за собой посредством законного брака. Ее звали Танис; Томас Хадсон помнил, как Роджер ежился при звуке этого имени и никогда не произносил его сам. Он ее называл суперстервой. Брюнетка с чудесной кожей, она выглядела юным, выхоленным, изощренно-порочным отпрыском фамилии Ченчи. Это было существо с нравственностью пылесоса и душой тотализатора, с хорошей фигурой и с лицом, которому порочное выражение придавало особую прелесть. С Роджером она пробыла ровно столько, сколько ей понадобилось, чтобы подготовиться к начальному скачку вверх.

Она была первой женщиной, бросившей Роджера, а не брошенной им, и это произвело на него такое сильное впечатление, что он нашел себе еще двух, похожих на нее, как сестры. Обеих, впрочем, он бросил сам, бросил почти буквально и, как казалось Томасу Хадсону, испытал от этого облегчение, хоть и не такое уж полное.

Вероятно, есть более тонкие и деликатные способы бросать женщин, чем без всяких ссор и обид попросту спросить разрешения отлучиться в мужскую комнату рестора-

на «21» и не вернуться назад. Но Роджер уверял, что он, во всяком случае, аккуратно расплачивался по счету, кроме того, ему приятно запомнить спутницу такой, какой он видел ее последний раз — одну за столиком в углу ресторана зала, в привычной и милой ей обстановке.

Последнюю он хотел было бросить в «Аисте», ее излюбленном ресторане, но побоялся, что это не понравится мистеру Биллингели, а он как раз собирался занять у мистера Биллингели денег.

— Где же ты ее в конце концов бросил? — спросил Томас Хадсон.

— В «Эль-Морокко». Пусть она остается у меня в памяти на фоне полосатых зебр. «Эль-Морокко» она тоже любила. Но заветным ее местечком, пожалуй, был «Кубик».

На смену им пришла одна из самых обманчивых на вид женщин, каких Томас Хадсон встречал на своем веку. Она была полной противоположностью тому типу Ченчи или Борджиа с Парк-авеню, к которому относились предыдущие три. Крепкая, ладная, с рыжеватыми волосами и длинными стройными ногами, с живым умным лицом. Не красавица, но куда привлекательней многих красоток. Особенно хороши были у нее глаза. Она с первого раза покорила своим умом, обаянием и любезностью и при этом была законченной алкоголичкой. Она не напивалась до безобразия, и пьянство еще не сказалось на ее внешности. Но она уже не могла жить без алкоголя. Обычно пьяницу можно узнать по глазам; у Роджера, например, по глазам сразу было видно, если он запил. Но у этой Кэтлин были удивительно красивые карие глаза, под цвет волос и милой россыпи веснушек на носу и щеках — знак здоровья и добродушного нрава, и по этим глазам ничего нельзя было распознать. Она выглядела как человек, ведущий здоровую жизнь на лоне природы, и как человек, который очень счастлив. А на самом деле она вела жизнь пьяницы. Она мчалась по неизвестной дороге неизвестно куда и на какое-то время прихватила с собой и Роджера.

Как-то утром он пришел в мастерскую, снятую Томасом Хадсоном по приезду в Нью-Йорк, и Томас Хадсон увидел, что вся тыльная сторона его левой руки покрыта ожогами от сигареты. Выглядело это так, как бывает, когда гасят окурки за окурком о крышку стола, только стол заменяла тыльная сторона руки.

— Это она так забавлялась вчера, — сказал он. — У тебя есть йод? Мне не хотелось идти с этим в аптеку.

— Кто она?
— Кэтлин. Счастливое дитя природы.

— А зачем ты позволил?

— Ее это развлекало, а наше дело — заботиться об их развлечениях.

— У тебя вся кожа на руке сожжена.

— Ничего, пройдет. Но теперь я на время уеду из Нью-Йорка.

— От себя все равно нельзя убежать.

— Да. Но зато от других можно.

— Куда же ты думаешь?

— Куда-нибудь на Запад.

— География — слабое средство против того, что тебя гложет.

— Согласен. Но спокойно пожить и как следует поработать — это всегда на пользу. Пусть я не излечусь, если перестану пить. Но если не перестану, мне наверняка будет еще хуже.

— Ну тогда уезжай ко всем чертям. Может, хочешь на мое ранчо?

— А оно все еще твое?

— Частично.

— А удобно это, чтобы я туда поехал?

— Вполне, — ответил ему Томас Хадсон. — Только жить там до весны трудновато, да и весной не очень-то легко.

— Чем трудней, тем лучше, — сказал Роджер. — Я хочу все начать сначала.

— Сколько раз ты уже начинал сначала?

— Много, — сказал Роджер. — И нечего тыкать мною это в нос.

И вот теперь он опять собирается начинать сначала, и любопытно, как оно у него получится на этот раз. Неужели он думает, что, впустую расходуя свой талант и работая на заказ, по готовой формуле добывания верных денег, можно научиться хорошо и правдиво писать? Все, что ни создает художник или писатель, — часть его ученичества и подготовки к тому главному, что еще предстоит сделать. Роджер извел, истощил, разменял на мелочи свой талант. Но, может быть, у него еще хватит физических сил и свободы ума, чтобы начать все снова? Всякий честный писатель, наделенный талантом, может написать хотя бы один хороший роман, думал Томас Хадсон. Но в те годы, что должны были быть годами ученичества, Роджер нещадно эксплу-

атировал свой талант, и кто знает, не растратил ли он его до конца. Не говоря уже о *métier*, думал он. Не наивно ли думать, что можно не ценить и не совершенствовать мастерства, пренебрегать им, пусть даже это пренебрежение — только поза, и в то же время рассчитывать, что, когда придет время, твой мозг и твои руки будут по-прежнему мозгом и руками мастера. Мастерству заменителей нет, думал Томас Хадсон. И таланту нет заменителей, и ни то ни другое не хранят в священном сосуде. Мастерство — оно в тебе. В твоём сердце, в твоей голове, в каждой частице тебя. И талант тоже в тебе, думал он. Это не набор инструментов, которыми ты паловчился орудовать.

Художникам лучше, думал он, потому что в их работе участвует больше вещей. И работаем мы руками, и наше *métier* осязаемо и конкретно. А вот Роджеру сейчас нужно снова браться за то, что он притупил, испортил, опошил, а существует все это только у него в голове. Но основа осталась, и эта основа — нечто тонкое, разумное и прекрасное. Прекрасное — вот слово, которое я бы употреблял с большой осторожностью, будь я писателем, подумал он. Но у Роджера есть то, что есть его сущность, и, если бы он мог так писать, как он тогда дрался на причале, получилось бы жестоко, но очень здорово. И если бы он размышлял так разумно, как тогда, после драки, тоже было бы здорово.

Лунный свет соскользнул с его изголовья, и постепенно он перестал думать о Роджере. Думать все равно не поможет. Либо он сумеет написать этот роман, либо нет. А как бы хорошо, если б он сумел. Я рад бы помочь ему. Может быть, мне это удастся, подумал он и с тем заснул.

IX

Утреннее солнце разбудило Томаса Хадсона, он спустился на берег, поплавал немного и успел позавтракать раньше, чем встали остальные. Эдди сказал, что сильного ветра ждать не приходится, может быть, даже будет полный штиль. Вся снасть на катере уже подготовлена, сказал он, и посланный мальчишка должен принести наживку.

Томас Хадсон спросил, проверил ли он снасть, — ведь катер давно уже не выходил на лов крупной рыбы, и Эдди

сказал, что проверил и выбросил ту леску, которая пришла в негодность. Он сказал, что хорошо бы еще запастись побольше лески в двадцать четыре нити и пемного — в тридцать шесть нитей, и Томас Хадсон обещал позаботиться об этом. А пока что Эдди заменил всю негодную леску, так что на обеих больших катушках намотано сколько нужно. Он также почистил и наточил все большие крючки и проверил все поводки и шарниры.

— Когда же ты все это успел?

— А я всю прошлую ночь возился со снастью,— сказал Эдди.— И новую сеть тоже привел в порядок. Все равно чертова луна спать не давала.

— Тебе тоже не спится в полнолуние?

— Прямо хоть не ложись, черт бы ее побрал.

— Эдди, ты думаешь, правда нехорошо спать, когда луна светит в лицо?

— Так старики говорят. Я не знаю. Но мне всегда скверно в такие ночи.

— Как по-твоему, поймем что-нибудь сегодня?

— Кто его знает. В это время года здесь попадаетесь здоровенная рыба. Вы что, хотите идти к Айзексову маяку?

— Мальчики просятся туда.

— Тогда надо выходить сразу же после завтрака. Для ленча я ничего стряпать не буду. Есть у меня картофельный салат, салат из крабов и пиво, еще приготовлю сандвичи. Для сандвичей есть ветчина из последней доставки и латук, а приправить можно горчицей и чатни¹. Ребятам горчица не вредна?

— По-моему, нет.

— Когда я был мальчишкой, мы горчицу не ели. А хорошая штука этот самый чатни. Не пробовали сандвичи с ним?

— Нет.

— Его когда первый раз прислали, я не знал, что это такое, и намазал на хлеб вместо джема. Здорово получилось. А теперь я им сдабриваю овсянку.

— У нас давно кэрри² не было.

— Мне на будущей неделе должны доставить баранью ногу. Раза на два нам хватит на жаркое, а может, и на один при таких едоках, как Том-младший и Эндрю, а потом сделаем кэрри.

¹ Острая приправа.

² Мясное блюдо с острыми пряностями и чесноком.

— Отлично. Что-нибудь от меня нужно до выхода в море?

— Ничего не нужно, Том. Поднимайте ребят и Роджера. Выпить хотите? Сегодня у вас нерабочий день. Можно и с утра пропустить стаканчик.

— Я выпью за завтраком холодного пива.

— Правильно. Ничто так не прочищает глотку.

— Джо здесь?

— Нет. Пошел искать мальчишку, которого я послал за наживкой. Сейчас дам вам позавтракать.

— Я пойду на катер.

— Нет, выпейте пива, прочитайте газету. На катере все в порядке, можете не беспокоиться. Уже несусь завтрак.

На завтрак была скобленка из солонины, залитая яйцами, кофе с молоком и большой стакан охлажденного сока грейпфрута. Томас Хадсон ни кофе, ни сока пить не стал, а съел скобленку, запивая ее очень холодным гейнсесским пивом.

— Поставлю пока на холод сок для ребят,— сказал Эдди.— А верно, хорошо начать день с бутылки такого пива?

— Так и спиться недолго, а, Эдди?

— Вы никогда не сопьетесь. Вы слишком любите работу.

— Но все-таки славно, когда с утра выпьешь немного.

— Еще бы не славно, черт побери. Да еще такое пиво.

— Но работать я бы после него не мог.

— А у вас сегодня день нерабочий, так какого черта? Допивайте бутылку, я вам другую принесу.

— Нет. Одной мне довольно.

Они отчалили в девять часов, когда уже начался отлив. Томас Хадсон стоял на мостике у штурвала и, пройдя через бапку, покрытую водой, взял курс прямо туда, где темнел Гольфстрим. Вода была так спокойна и так прозрачна, что при глубине тридцать морских саженей ясно видно было дно, и при сорока оно еще было видно, но уже словно в тумане, а потом вода потемнела, и дно исчезло, и вокруг была лишь темная синь Гольфстрима.

— День, наверно, будет чудесный, папа,— сказал Том-младший.— И море тихое.

— Да, совсем тихое. Вон только вдоль кромки Гольфстрима вода закручивается воронками.

— Разве вода не та же самая, что у нашего берега?

— Не всегда, Томми. Сейчас отлив, и Гольфстрим ото-

гнало от входа в гавань. А там, где береговая линия непрерывна, он уже опять подходит ближе.

— Отсюда кажется, что вода там такая же синяя, как здесь. Папа, а почему Гольфстрим такой синий?

— Плотность воды другая. Да и по составу она отличается.

— Чем глубже, тем вода вообще темнее.

— Только если смотришь сверху. А бывает, она почти лиловая от планктона.

— Почему?

— Вероятно, потому, что к синему примешивается красное. А вот Красное море оттого так и называется, что от планктона вода там совсем красная. Его там несметное количество.

— Тебе понравилось Красное море, папа?

— Очень. Жара была несусветная, но таких красивых рифов нигде больше не увидишь, и рыбы там много — и в период зимних муссонов и летних. Тебе бы понравилось.

— Я читал две книги о Красном море мистера де Монтфрида. Очень хорошие книги. Он был работоторговцем. Не в том смысле, как теперь говорят, если кто поставляет *белых рабынь*, а настоящий работоторговец старых времен. Он приятель мистера Дэвиса.

— Знаю, — сказал Томас Хадсон. — Я с ним тоже знаком.

— Мистер Дэвис рассказывал мне, что однажды мистер де Монтфрид приехал в Париж отдохнуть от своей работоторговли, так если он вечером ехал куда-нибудь с дамой в такси, он требовал, чтобы шофер откинул у машины верх, и по звездам указывал путь. Ну, например, ему нужно было проехать от моста Согласия к Мадлен. Так он не говорил шоферу просто, как сказал бы ты или я: везите меня к Мадлен или пересеките площадь Согласия, а потом поезжайте по Королевской улице. Нет, он определял путь к Мадлен по Северной звезде.

— Этого анекдота я не слыхал, — сказал Томас Хадсон. — Но я слышал про мистера Монтфрида много других анекдотов.

— Таким способом довольно трудно ездить по Парижу, верно, папа? Мистер Дэвис тоже одно время хотел заняться работоторговлей вместе с мистером де Монтфридом, но что-то помешало, не помню что. Ах да, вспомнил. Мистер де Монтфрид бросил работоторговлю и перешел на торговлю опиумом. Точно, точно.

— А торговлей опиумом мистер Дэвис не хотел заниматься?

— Нет. Он тогда говорил, что пусть уж опиумом занимаются мистер де Куинси и мистер Кокто. Они это делают так хорошо, сказал он, что несправедливо было бы мешать им. Я не совсем понял, что означали эти его слова. Папа, ты всегда объясняешь мне, что я ни спрошу, но, если все время задавать вопросы, это очень затрудняет разговор, так я решил лучше запоминать все, что мне непонятно, и как-нибудь обо всем сразу спрошу. Вот и это будет один из вопросов.

— У тебя их, наверно, накопились целые залежи.

— Да, порядочно. Сто, а может, и тысяча. Но до многого я с годами дохожу сам. Хотя кое о чем все равно придется спрашивать. Я, пожалуй, составлю список самого нужного и зимой использую для школьного сочинения. Есть много такого, что очень хорошо подойдет для сочинения.

— Ты любишь школу, Том?

— По-моему, школа просто необходимость, с которой приходится мириться. А любить ее едва ли кто любит, особенно если человек попробовал в жизни что-то другое.

— Не знаю. Я, например, терпеть не мог школу.

— И художественную школу тоже?

— Да. Я любил рисовать, но не любил уроки рисования.

— Я в общем ничего дурного про школу не скажу. Но когда привыкнешь жить среди таких людей, как мистер Джойс, и мистер Паскин, и ты, и мистер Дэвис, так общество мальчиков уже как-то не удовлетворяет.

— Разве тебе скучно в школе?

— Нет, почему? У меня много товарищей, и я люблю спорт — кроме тех игр, где все сводится к тому, чтобы перекидываться мячом, — и я очень серьезно занимаюсь по всем предметам. Но понимаешь, папа, это все-таки очень ограниченная жизнь.

— Мне и самому всегда так казалось, — сказал Томас Хадсон. — Но ведь ты ее разнообразишь как можешь.

— Да, конечно. Я стараюсь ее разнообразить. Но не так уж много тут можно сделать.

Томас Хадсон оглянулся туда, где за кормой бежала пенистая дорожка и две наживки волочились по ней, то прячась, то подпрыгивая на крутых завитках вспоротой катером воды. Дэвид и Эндрю сидели в рыболовных креслах

с удилищами в руках. Томас Хадсон видел только их спины. Не поворачивая головы, они следили за наживкой. Он перевел взгляд и увидел резвившуюся в стороне макрель: то одна, то две рыбки выскакивали и снова ныряли головой вниз, без шума и плеска — только сверкнув на солнце и сразу же скроются, почти не возмущив поверхности воды.

— Ключет! — услышал вдруг Томас Хадсон крик Тома младшего. — Ключет! Вон она, рыба! Смотри, смотри, Дэв, прямо за кормой!

Томас Хадсон увидел, как яростно забурлила в одном месте вода, но рыбы не было видно. Дэвид вставил комель удилища в гнездо и следил за леской, перекинутой через правый аутриггер. На глазах у Томаса Хадсона леска, до того лежавшая на поверхности воды длинной свободной петлей, натянулась и теперь под острым углом резала на ходу воду.

— Подсекай, Дэв. Подсекай сильнее! — крикнул появившийся на трапе Эдди.

— Подсекай, Дэв. Да подсекай же, ради бога, — взмолился Эндрю.

— Заткнись, — сказал ему Дэвид. — Я знаю, что делаю.

Он медлил подсекать, и леска быстро разматывалась, уходя в воду под тем же углом. Удилище выгнулось, и мальчик налегал на него, следя за разматывающейся леской. Томас Хадсон застопорил моторы, так что катер теперь только медленно поворачивался на месте.

— Ну что же ты, подсекай, — умолял Эндрю. — Или дай я подсеку.

Но Дэвид только палегал на удилище, а леска все разматывалась, и угол, под которым она уходила в воду, не менялся. Тормоз он освободил совсем.

— Это меч-рыба, папа, — сказал он, не оглядываясь. — Я видел меч, когда она высунулась из воды.

— Нет, честное слово? — воскликнул Эндрю. — Ух ты!

— Пожалуй, в самом деле пора подсекать. — Роджер теперь стоял рядом с Дэвидом. Он откинул напрочь спинку его кресла и застегивал пряжки на ремнях. — Подсекай, Дэв, и посильнее.

— А она успела заглотать крючок? — спросил Дэвид. — Не может быть, что она просто плывет, держа его во рту?

— Тем более нужно подсекать, а то она его выплюнет.

Дэвид уперся ногами, правой рукой подвинтил тормоз на катушке и с силой дернул, чувствуя тяжесть на другом

конце лески. Потом дернул еще раз и еще, так что удилище выгнулось, точно лук. Но леска продолжала разматываться. На рыбу его усилия никакого впечатления не произвели.

— Еще подсекай, Дэв,— сказал Роджер.— Вгони крючок поглубже.

Дэвид снова дернул изо всех сил. Катушка завертелась, жужжа, удилище согнулось так, что он едва удерживал его.

— Слава тебе, господи,— сказал он набожно.— Кажется, вошел как следует.

— Отпусти немного тормоз,— сказал Роджер.— Том, а ты теперь разворачивайся потихоньку, только следи за леской.

— Есть разворачиваться потихоньку, следить за леской,— отозвался Томас Хадсон.— Не тяжело тебе, Дэв?

— Что ты, папа, мне чудесно,— сказал Дэв.— Господи, только бы выловить эту рыбу!

Томас Хадсон медленно разворачивал катер вокруг его собственной кормы. Леска на катушке у Дэва была уже почти вся смотана. Томас Хадсон двинулся потихоньку рыбе навстречу.

— Ну, теперь подвинти тормоз и пачинай выбирать понемногу,— сказал Роджер.— Действуй с расчетом, пусть рыба чувствует.

Дэвид подавался вперед, выбирал и наматывал, подавался вперед, выбирал и наматывал с ритмичностью автомата, и катушка постепенно разбухала от наматывавшейся на нее лески.

— В нашей семье еще никому не удавалось поймать меч-рыбу,— сказал Эндрю.

— А ты не говори, пожалуйста, под руку,— сказал Дэвид.— Не говори под руку, понял?

— Не буду,— сказал Эндрю.— Я с тех пор, как она только клюнула, все время молюсь за тебя.

— Не разорвал бы ей крючок пасть,— шепнул Том-младший отцу. Тот, не выпуская штурвала из рук, все время оглядывался на корму и следил за наклоном лески, белевшей в синей воде.

— Будем надеяться. У Дэва для такой рыбы сил маловато.

— Только бы удалось ее вытащить,— сказал Том-младший.— Я бы все отдал за это. Все бы сделал. На все бы пошел. Энди, принеси Дэву напиться.

— Я принесу,— сказал Эдди.— Не спускай с нее глаз, Дэв, мой мальчик.

— Стоп, ближе не надо! — крикнул Роджер. Он был великий рыболов, и в море они с Томасом Хадсоном понимали друг друга с полуслова.

— Сейчас я ее заведу за корму,— откликнулся Томас Хадсон и опять очень мягко и медленно развернул катер, почти не взволновав поверхности моря.

Рыба теперь норовила уйти в глубину, и Томас Хадсон дал задний ход, чтобы хоть немного ослабить ее напор. Но даже это едва заметное приближение к рыбе сразу изменило картину: вершина удилища почти отвесно склонилась над водой, и леска теперь разматывалась рывками, так что удилище дергалось у Дэва в руках. Томас Хадсон дал малый вперед, чтобы леска не так круто уходила под воду. Он знал, как трудно сейчас приходится Дэvidу, но нельзя было допускать, чтобы леска разматывалась чересчур быстро.

— Если еще больше завинтить тормоз, боюсь, не лопнула бы леска,— сказал Дэвид.— Что теперь будет делать рыба, мистер Дэвис?

— Будет рваться ко дну, пока ты не остановишь ее,— сказал Роджер.— Или пока сама не остановится. Тогда можно будет начать подтягивать.

Леска все разматывалась и уходила под воду, разматывалась и уходила под воду. Удилище изогнулось так, что казалось, вот-вот переломится пополам, а леска была натянута, как виолончельная струна, и на катушке ее оставалось совсем мало.

— Папа, что мне теперь делать?

— Больше ничего. Ты делаешь все, что нужно.

— А она не зацепится за дно? — спросил Эндрю.

— Здесь дна нет,— сказал ему Роджер.

— Ты знай держи ее, Дэви,— сказал Эдди.— Ей в конце концов надоест, она и всплывет.

— Эти проклятые лямки замучили меня,— сказал Дэвид.— Они мне режут плечи.

— Хочешь, передай удилище мне,— предложил Эндрю.

— Еще чего,— сказал Дэвид.— Я просто сказал то, что есть, а ты, дурак, и обрадовался. Пусть режут, мне наплевать.

— Попробуй приладить ему большой пояс, Эдди! — крикнул с мостика Томас Хадсон.— Если ремни окажутся слишком длинными, можно леской прикрутить.

Эдди обернул Дэвида вокруг пояса стеганой мягкой прокладкой, затянул проходившие по ней ремешки и леской привязал кольца к катушке.

— Так гораздо легче,— сказал Дэвид.— Большое спасибо, Эдди.

— Теперь нагрузка у тебя будет не только на плечи, но и на спину,— сказал ему Эдди.

— Она уже почти всю леску смотала,— сказал Дэвид.— Вот проклятушая, тянет и тянет вниз.

— Том,— крикнул Эдди,— возьмите-ка немного к норд-весту! Кажется, она пошла вперед.

Томас Хадсон слегка повернул штурвал и мягко направил катер в открытое море. Впереди большим желтым пятном колыхалось скопление водорослей, и на нем сидела какая-то птица, а вода кругом была спокойная, синяя и такая прозрачная, что видно было, как в глубине ее разноцветными бликами играет преломленный свет.

— Вот видишь,— сказал Эдди Дэвиду.— Леска больше не разматывается.

Мальчик попробовал приподнять удилище и не смог, но леска действительно перестала рывками уходить под воду. Как и прежде, она была натянута, будто струна, и на катушке оставалось всего с полсотни ярдов. Но она не разматывалась больше. Дэвид прочно удерживал рыбу на крючке, а катер медленно-медленно продвигался по взятому курсу. Томас Хадсон смотрел, как белеет в синей воде леска, уходящая вглубь, лишь чуть-чуть отклоняясь от перпендикуляра, и вел катер так тихо, что почти не заметно было движения и совсем не слышно работы моторов.

— Видишь, Дэви, она ушла на нужную ей глубину и теперь плывет в нужном ей направлении. Скоро можно будет понемножку выбирать леску.

Загорелая спина мальчика горбилась от натуги, удилище сгибалось над водой, леска медленно скользила вперед, прорезая водную гладь, а где-то на глубине в четверть мили плыла большая рыба. Сидевшая на водорослях птица снялась и полетела к катеру. Она покружила у Томаса Хадсона над головой и улетела к другому скоплению водорослей, желтевшему поодаль.

— Ну-ка, попробуй немного выбрать,— сказал Роджер Дэвиду.— Раз ты удерживаешь рыбу, значит, можешь и подтянуть ее.

— Дайте-ка чуток вперед, Том! — крикнул, повернувшись к мостику, Эдди, и Томас Хадсон едва заметно прибавил ход.

Дэвид стал тянуть, напрягая все силы, но от этого только больше гнулось удилище и больше натягивалась леска. Казалось, мальчик прикован намертво к движущемуся под водой якорю.

— Ничего, не смущайся, — сказал ему Роджер. — Еще немного — и дело пойдет. Как чувствуешь себя, Дэви?

— Отлично, — сказал Дэвид. — С этой штукой на поясе я себя чувствую отлично.

— А ты сможешь выдержать до конца? — спросил Эндрю.

— Да ну тебя, — сказал Дэвид. — Эдди, дайте мне, пожалуйста, глоток воды.

— Куда это я поставил воду? — сказал Эдди. — Неужели вылил?

— Я сейчас принесу! — Эндрю быстро побежал вниз.

— Тебе ничего не нужно, Дэв? — спросил Том-младший. — Я тогда пойду на мостик, а то нас тут слишком много.

— Нет, Том, спасибо. Господи, ну почему она не поддается, эта проклятая рыба.

— Она очень большая, Дэв, — сказал ему Роджер. — С ней так просто не справишься. Надо потихоньку вести ее на крючке и стараться внушить ей, чтобы она всплыла, где тебе нужно.

— Говорите мне, что надо делать, и я буду стараться, пока не умру, — сказал Дэвид. — Я полагаюсь на вас.

— Это еще что за разговоры — «пока не умру», — сказал Роджер. — Такими вещами не шутят.

— А я и не шучу, — сказал Дэвид. — Я серьезно.

Том-младший вернулся к отцу на мостик. Оттуда им виден был Дэв, весь напрягшийся и прикованный к своей рыбе, и Роджер, стоявший рядом с ним, и Эдди, придерживавший кресло. Эндрю поднес стакан с водой к губам Дэвида. Тот пополоскал рот и сплюнул.

— Полей мне на руки, пожалуйста, — сказал он.

— Как ты думаешь, папа, он выдержит? — шепотом спросил Том отца.

— Рыба очень большая, очень тяжелая для него.

— Мне страшно, — сказал Том. — Я люблю Дэвида и не хочу, чтобы какая-то поганая рыба его доконала.

— Никто этого не хочет — ни я, ни Роджер, ни Эдди.

— Надо нам быть начеку. Если мы увидим, что ему неважно, кто-нибудь должен перенять у него рыбу — ты или мистер Дэвис.

— До этого еще далеко.

— Папа, ты не знаешь его, как мы знаем. Он будет напрягать силы, пока не надорвется.

— Ничего, Том, не тревожься.

— Не могу я не тревожиться, — сказал Том. — Я один такой в нашей семье, что всегда тревожусь за всех. Может, это пройдет с годами.

— Пока что тревожиться не из-за чего, — сказал Томас Хадсон.

— Но, папа, как такому мальчишке, как наш Дэвид, одолеть такую рыбу? Он в жизни не ловил ничего крупнее, чем парусник или сельдь.

— Рыба вымотается в конце концов. На крючке-то все-таки она.

— Это чудовище, а не рыба, — сказал Том. — И Дэвид так же не может освободиться от нее, как она от Дэвида. Просто не верится, что Дэв выловит такую рыбу. Все-таки лучше бы она попала тебе или мистеру Дэвису.

— Пока что Дэв держится молодцом.

Они мало-помалу продвигались все дальше в открытое море, где по-прежнему господствовал мертвый штиль. Все чаще попадались скопления водорослей, совсем желтых от солнца на полиловевшей воде; порой белая, почти отвесно натянутая леска зацепляла за них в своем движении, и тогда Эдди протягивал руку и высвобождал ее. Когда он, перегнувшись через борт, отрывал напутавшиеся на леску водоросли и откидывал их в сторону, Томас Хадсон видел изрезанную морщинами кирпичную шсю под полями старой фетровой шляпы и слышал, как он говорил Дэвиду:

— Она нас сейчас вроде как на буксире ведет, Дэви. Но чем дальше, тем больше она изматывается там, в глубине.

— Она и меня изматывает, — сказал Дэвид.

— У тебя голова не болит? — спросил Эдди.

— А ты ему надень что-нибудь на голову, — сказал Роджер.

— Не надо, я не хочу, мистер Дэвис. Лучше просто смочите мне волосы.

Эдди зачерпнул в ведро морской воды и, сложив горстью ладонь, намочил мальчику голову и заботливо отвел волосы со лба.

— Смотри, если заболит голова, сразу же скажи.

— Я себя отлично чувствую,— сказал Дэвид.— Говорите мне, что делать, мистер Дэвис.

— Попробуй опять выбрать леску немного,— сказал Роджер.

Дэвид снова дернул леску — раз, другой, третий, но ему так и не удалось подтянуть рыбу хоть на дюйм выше.

— Ладно. Не трать попусту силы,— сказал ему Роджер и добавил, обращаясь к Эдди: — Намочи кепи и надень ему на голову. Ветра ни малейшего, вот и печет, как в преисподней.

Эдди окунул в ведро полотняную кепочку с длинным козырьком и натянул ее Дэвиду на голову.

— Так мне соленая вода стекает в глаза, мистер Дэвис. Извините, но, честное слово, так хуже.

— Глаза я тебе сейчас промою,— сказал Эдди.— Роджер, дайте мне ваш платок. А ты, Энди, ступай принеси стакан чистой ледяной воды.

Согнув спину, упираясь ногами в перекладину, мальчик напрягал все свои силы, а катер все так же медленно скользил вперед. Справа по борту плескалась почти у самой поверхности стайка некрупной рыбы — макрели или тунца, и к этому месту уже слетались чайки, перекрикиваясь на лету. Но вся стайка скоро ушла в глубину, и птицы опустились на воду, ожидая, не появится ли она снова. Эдди обтер Дэви лицо, потом, снова окунув платок в стакан с водой, смочил ему шею и руки, а под конец намочил платок еще раз, слегка выжал его и положил мальчику на затылок.

— Ты скажи, если голова заболит,— повторил он опять.— Это никакое не малодушие. Это просто разумно будет. Штиль мертвый, и солнце печет так, что чертям тошно.

— Да я правда хорошо себя чувствую,— ответил Дэвид.— Вот только плечи болят и руки, а так все ничего.

— Это пускай болят,— сказал Эдди.— Это ты привыкай, скорее мужчиной станешь. Мы только не хотим, чтобы тебя хватил солнечный удар или чтоб у тебя от натуги жила лопнула.

— Что рыба дальше будет делать, мистер Дэвис? — спросил Дэвид. Голос у него был какой-то пересохший.

— Вероятно, то же, что и сейчас. А может, начнет кружить под водой. А может, всплывет.

— Надо же ей было уйти на такую чертову глубину, теперь у нас слишком мало лески, чтоб свободно маневрировать,— сказал Томас Хадсон Роджеру.

— Главное, что Дэви удалось задержать ее на этой глубине,— сказал Роджер.— Теперь она скоро изменит тактику. И вот тут-то мы ее возьмем в оборот. Ну-ка, Дэв, попытайся еще раз приподнять ее.

Дэв попытался, но и эта попытка ни к чему не привела.

— Ничего, сама всплывет,— сказал Эдди.— Вот увидишь. Еще немного, и тебе уже не придется тащить ее силой. Хочешь еще пополоскать рот?

Дэвид молча кивнул. Ему уже приходилось экономить дыхание.

— Можешь сделать глоток-другой,— сказал Эдди.— Остальное выплюнь.— Он повернулся к Роджеру.— Ровно час,— сказал он.— Голова ничего, Дэв?

Мальчик кивнул.

— Как он, по-твоему, папа? — спросил отца Том-младший.— Правда, как?

— По-моему, он молодцом,— сказал отец.— И раз Эдди рядом, с ним ничего не случится.

— Да, это верно,— согласился Том.— Но мне бы тоже хотелось как-то помочь. Пойду принесу Эдди чего-нибудь выпить.

— Принеси, пожалуйста, и мне тоже.

— Ой, с удовольствием. И мистеру Дэвису, да?

— Он сейчас едва ли захочет.

— А я спрошу.

— Потяни еще разок, Дэв,— почти шепотом сказал Роджер, и мальчик потянул изо всех сил, обеими руками сжимая катушку спиннинга.

— Ага, дюйм заработали,— сказал Роджер.— Выбери этот дюйм и попробуй опять, может, удастся подтащить ее повыше.

Вот когда началась настоящая схватка. До сих пор Дэвид только удерживал рыбу на крючке, а она плыла дальше в открытое море, и катер плыл, следуя ее движению. Но теперь уже нужно было постепенно поднимать рыбу кверху, следить за удилищем, распрямлявшимся по мере того, как леска выходила из воды, выбирать образующийся излишек лески, вновь наматывать ее на катушку и понемногу опускать удилище ниже.

— Спокойней, спокойней,— говорил ему Роджер.— Не спеши. Выбирай потихоньку.

Весь подавшись вперед, Дэв тянул и тянул, стараясь соразмерять свои силы с тяжестью на конце лески, скрытом еще глубоко под водой.

— Дэвид у нас классный рыболов, — сказал Том-младший. — Он ловил рыбу, когда был еще совсем малышом, но я и не знал, как здорово он управляется с этим делом. Он всегда сам подтрунивает над собой, говорит, что не приспособлен к спорту. А посмотреть на него сейчас!

— Черт с ним, со спортом, — сказал Томас Хадсон. — Ты что говоришь, Роджер?

— Дай вперед самую малость! — крикнул Роджер.

— Есть вперед самую малость, — повторил Томас Хадсон, и на этот раз, пользуясь тем, что расстояние между рыбой и катером сократилось, Дэвид успел выбрать побольше лески.

— Ты тоже не любишь спорт, папа? — спросил Том.

— Любил когда-то. Даже очень любил. А теперь нет.

— Я люблю теннис и фехтование, — сказал Том. — А все эти игры с мячом меня не увлекают. Потому, верно, что я вырос в Европе. Из Дэвида, при его уме, мог бы выйти отличный фехтовальщик, если бы он захотел этим заняться. Но он не хочет. Он любит только читать, ловить рыбу и стрелять и еще мастерить искусственных мух для наживки. Стреляет он лучше Энди, особенно в поле. А мухи у него получаются просто чудо. Папа, я тебе не мешаю своими разговорами?

— Конечно нет, Том.

Ухватившись за поручень, он смотрел назад, на корму, и туда же смотрел отец, положив руку ему на плечо. Плечо было соленое от морской воды, которой мальчики обливали друг друга из ведра до того, как клюнула рыба. От мельчайших крупинок соли, осевших на коже, оно чуть шершавилось под отцовской ладонью.

— Понимаешь, я очень волнуюсь за Дэвида, и мне просто пужно о чем-то говорить, чтоб отвлечься. Я сейчас ничего на свете так не хочу — только бы Дэвид выловил эту рыбу.

— Это рыбища, а не рыба. Вот увидишь, когда она покажется над водой.

— Я раз видел такую, уже очень давно, когда мы с тобой выходили на ловлю вдвоем. Она проткнула мечом большую макрель, которая у нас служила наживкой, выпрыгнула и выбросила крючок. Она мне долго снилась потом — такая громадина. Ну, пойду приготовлю вам выпить.

— Можешь не торопиться, — сказал ему отец.

Сидя в своем рыболовном кресле с откинутой напроочь спинкой, упираясь ногами в перекладину, Дэвид тянул леску из воды. Он тянул ее руками, плечами, спиной и затылком, поясницей и бедрами; отпускал, торопливо наматывал на катушку и снова тянул. Очень медленно — по дюйму, по два, по три за раз — лески на катушке прибавлялось.

— Как голова, ничего? — спросил Эдди Дэвида. Он стоял рядом и для большей устойчивости придерживал кресло за подлокотники.

Дэвид кивнул. Эдди пощупал его кепочку на макушке.

— Еще мокрая, — сказал он. — Ну, ты даешь этой рыбе жизни, Дэв. Молодец, работаешь, как машина.

— Теперь легче, чем когда надо было просто удерживать ее, — все тем же пересохшим голосом сказал Дэвид.

— Еще бы, — сказал Эдди. — Теперь все-таки дело хоть понемногу, но идет на лад. А тогда она просто выворачивала тебя наизнанку.

— Ты только не торопись сверх сил, — сказал Роджер. — Все у тебя получается великолепно.

— А как только она всплывет, мы ее багром, да? — спросил Эндрю.

— Перестанешь ты говорить мне под руку или нет? — сказал Дэвид.

— Я вовсе не говорю тебе под руку.

— Ну замолчи, Энди, я тебя прошу. Не обижайся, но замолчи.

Эндрю полез на мостик. На нем тоже была кепочка с длинным козырьком, но отец сразу заметил, что глаза у него мокрые, а губы дрожат, хоть он и отворачивался, чтобы скрыть это.

— Ты ничего плохого не говорил, — сказал ему Томас Хадсон.

Эндрю по-прежнему смотрел в сторону.

— Теперь, если рыба сорвется, он скажет, что это из-за меня, — горько пожаловался он. — А я только хотел, чтобы ничего не забыли.

— Вполне естественно, что Дэв нервничает, — сказал отец. — Но он все-таки старается быть сдержанным.

— Понимаю, — сказал Эндрю. — Он борется с этой рыбой не хуже, чем боролся бы мистер Дэвис. Только мне неприятно, что он обо мне так подумал.

— Многие легко раздражаются, когда на крючке большая рыба, тем более у Дэва это в первый раз.

— Но ты всегда сдержанный, и мистер Дэвис всегда сдержанный.

— Это теперь так. А когда мы с ним только учились ловить большую рыбу, всякое бывало — и злость, и грубость, и взаимные попреки. Мы просто черт знает до чего доходили.

— Правда?

— Самая настоящая правда. Нам казалось, что все нам желают зла, и мы вели себя соответственно. Обычное дело. Дисциплина, благоразумие — все это приходит потом. Мы научились быть сдержанными, убедились, что, если раздражаться и злиться, с большой рыбой не сладишь. И уж во всяком случае не получишь удовольствия от ловли. А были мы оба просто нестерпимы: злились, и бесновались, и ссорились — и удовольствия никакого не получали. Зато теперь мы всегда сдержанны, когда боремся с большой рыбой. Мы много говорили об этом и решили, что будем сохранять сдержанность при любых обстоятельствах.

— И я тоже буду, — сказал Эндрю. — Хотя с Дэвом это иногда трудно. Папа, как ты думаешь, он в самом деле выловит эту рыбу? Или это как сон, который проснешься — и нет его?

— Не будем говорить об этом.

— Опять я что-то не так сказал?

— Не в том дело. Просто считается, что разговоры приносят неудачу. Такая у старых рыбаков примета. Не знаю, откуда она взялась.

— Ладно, теперь буду молчать.

— Папа, возьми, пожалуйста. — Том снизу протягивал стакан, в три слоя обернутый бумажным полотенцем, чтобы лед не так быстро таял. Резинка плотно прижимала бумагу к стеклу. — Я добавил лимонного соку и немного настойки, а сахару не клал. Так будет хорошо? Или ты еще чего-нибудь хочешь?

— Очень хорошо. А кокосовой воды ты не подливал?

— Подлил. А Эдди я отнес чистого виски. Мистер Дэвис ничего не захотел. Энди, ты теперь будешь там, с папой?

— Нет, я уже иду вниз.

Том поднялся на мостик, а Эндрю спустился на корму.

Оглянувшись назад, Томас Хадсон заметил, что леска в воде словно бы начала отклоняться в сторону.

— Внимание, Роджер! — крикнул он. — Кажется, всплывает.

— Всплывает! — завопил Эдди. Он тоже заметил, как отклонилась леска. — Следи за катушкой, Дэви.

Томас Хадсон посмотрел, много ли на катушке лесы, чтобы рассчитать маневр судна. Еще и четверти всей длины не было выбрано, но не успел Томас Хадсон выпрямиться, как катушка, жужжа, завертелась у Дэва в руках, и Томас Хадсон поспешно дал задний ход, в то же время разворачивая катер носом к леске, которая отклонялась все больше и больше, а Эдди вопил:

— Назад, Том, прямо назад! Она сейчас всплывет, сволочь. Для разворота уже не хватит лески.

— Выше удищице, Дэв, — сказал Роджер. — Не давай ей сгибать его. — И Томасу Хадсону: — Еще назад, Том. Так, хорошо. Идешь прямо на нее.

И тут гладь океана вдруг раздалась за кормой, и огромная рыбина взмыла вверх бесконечным движением неправдоподобно могучего и длинного тела, на миг словно повисла в воздухе, серебрясь и синяя на солнце, и снова бухнула в воду — только фонтан пены взметнулся ей вслед.

— Ух ты! — сказал Дэвид. — Видели, какая?

— Один ее меч и то больше меня, — сказал Эндрю.

— Какая красивая, — сказал Том. — Она куда лучше той, что мне снилась.

— На нее держи, задним ходом! — крикнул Роджер Томасу Хадсону. А Дэвиду сказал: — Постарайся сейчас выбрать побольше лески. Видишь, целый клубок плавает в воде. Рыба поднялась с большой глубины, и свободной лески сейчас столько, что можно намотать целых полкатушки.

Томас Хадсон сумел задним ходом подойти так близко к рыбе, что леска почти перестала сматываться, и теперь Дэвид только поспевал выбирать и наматывать ее, торопливо вращая рукоятку.

— Убавь ходу! — крикнул Роджер. — А то мы пройдем над нею.

— Ну и громадина, не меньше тысячи фунтов, — сказал Эдди. — Выбирай леску, Дэв, голубчик, сейчас она пойдет легче легкого.

Поверхность океана была опять спокойная и пустынная, только там, где ее потревожила рыба, еще расходились по воде круги.

— Ты видел, сколько воды она выбросила, папа? — сказал Том-младший. — Прямо как будто море взорвалось изнутри.

— А ты видел, как высоко она взлетела, Том? Видел, какая она синяя-синяя и отлиывает серебром?

— И меч у нее тоже синий, — сказал Том-младший. — Весь синий, до самого кончика. Эдди, — крикнул он, — неужели в ней правда тысяча фунтов?

— Уж, наверно, не меньше. На глаз точно не скажешь. Но у такой громадины и вес должен быть подходящий.

— Нужно выбрать как можно больше лески, Дэви, пока она не натянута, — сказал Роджер. — Вот так, молодец.

Мальчик работал, как автомат, перематывая на катушку огромный клубок лески, плававший в воде, а катер meantime выравнивал курс, разворачиваясь так медленно, что казалось, он стоит на одном месте.

— А теперь что она будет делать, папа? — спросил Том отца.

Томас Хадсон следил за уклоном лески в воде и думал, что сейчас не мешало бы пройти немного вперед, но он знал, как трудно Роджеру рассчитать маневр, когда на катушке так мало лески. Один сильный бросок рыбы в сторону — и она может сорвать ее всю и уйти; оттого-то Роджер и хочет теперь выбрать побольше, пока можно. Томас Хадсон перевел взгляд на Дэвида и увидел, что он уже намотал с полкатушки и все еще продолжает наматывать.

— Ты что-то спросил? — оглянулся Томас Хадсон на Тома.

— Что, по-твоему, теперь будет делать рыба?

— погоди минутку, — сказал он, и, повернувшись назад, крикнул Роджеру: — Эй, Родж, как бы нам не пройти пад нею!

— Дай тогда самый малый вперед, — сказал Роджер.

— Есть самый малый вперед, — повторил Томас Хадсон. Теперь выбирать леску стало труднее, зато можно было не бояться, что рыба уйдет.

Вдруг леска снова стала разматываться, и Роджер закричал:

— Выключай!

Томас Хадсон выключил зажигание, и моторы заглохли.

— Выключено, — сказал он.

Роджер нагнулся к Дэвиду; тот по-прежнему, напрягаясь, налегал на удилище, а леска все скользила и скользила с катушки.

— Подвинти малость, Дэви,— сказал Роджер.— Пусть потрудится, если желает плыть побыстрей.

— Я боюсь, не сорвалась бы она,— сказал Дэвид. Но тормоз он подвинутил.

— Не сорвется,— сказал Роджер.— Ты ведь не завинтил до отказа.

Леска продолжала разматываться, но удилище снова согнулось, и мальчик, сопротивляясь напору, сильней уперся босыми ногами в деревянную перекладину. Вдруг леска перестала разматываться.

— Можешь выбрать немного,— сказал Роджер мальчику.— Она теперь начала кружить и сейчас идет к нам. Постарайся выбрать побольше.

Снова мальчик выбирал и наматывал, ждал, пока удилище выпрямится, выбирал и наматывал. Леска шла на удивление легко.

— Я все правильно делаю? — спросил он.

— Ты все делаешь замечательно,— сказал ему Эдди.— Крючок вошел крепко, не сомневайся. Я видел, когда она выпрыгнула из воды.

И тут, когда Дэвид хотел выбрать еще, леска вдруг опять стала разматываться.

— А, черт! — сказал Дэвид.

— Ничего, ничего,— сказал ему Роджер.— Так и должно быть. Она ведь описывает круг. Сначала шла к нам и отпускала леску. Теперь идет от нас и отнимает ее.

Медленно, упорно рыба сматывала туго натянувшуюся леску — сматала все, что мальчику только что удалось выбрать, и прихватила еще немного. Но тут мальчик удержал ее.

— Так, хорошо. Теперь опять выбирай,— спокойно сказал Роджер.— Она чуть расширила круг, но сейчас идет на тебя.

Томас Хадсон время от времени включал моторы, чтобы держать рыбу за кормой. Маневрируя катером, он старался помочь мальчику чем мог, а его самого и борьбу с рыбой препоручил Роджеру. Насколько он понимал, ничего другого ему не оставалось.

Рыба опять отняла немного лески. На следующем круге прихватила еще. Но почти половина всей лески была на катушке. Мальчик водил рыбу так, как и следовало, и

послушно выполнял советы Роджера. Но он уже явно уставал, на его загорелых плечах и на спине от соленой воды образовались соленые разводы.

— Ровно два часа,— сказал Эдди Роджеру.— Как голова, Дэви?

— Ничего.

— Не болит?

Мальчик мотнул головой.

— Можешь выпить немного воды,— сказал Эдди.

Дэвид кивнул и сделал несколько глотков из стакана, который Эндрю поднес ему к губам.

— Нет, правда, Дэви, как ты себя чувствуешь? — спросил его Роджер, низко наклонившись над ним.

— Отлично. Только вот спину, ноги и руки ломит.— Он закрыл на секунду глаза и вцепился пальцами в скобу спиннинга, а леска все разматывалась с катушки, несмотря на почти завинченный тормоз.

— Мне не хочется разговаривать,— сказал он.

— Теперь подтягивай,— сказал ему Роджер, и мальчик опять взялся за дело.

— Дэвид — подвижник и мученик,— сказал Том отцу.— Таких братьев, как Дэвид, больше ни у кого нет. Папа, ничего, что я разговариваю? Я очень волнуюсь.

— Говори, говори, Томми. Мы с тобой оба волнуемся.

— Знаешь, он всегда был молодцом. И ведь не какой-нибудь там гений или спортсмен, как Энди. Молодец, и все тут,— сказал Том.— Я знаю, ты его больше всех любишь, и так и надо, потому что он из всех нас самый хороший, и то, что сейчас происходит, ему на пользу, иначе ты бы не разрешил этого. Но я ужасно волнуюсь.

Томас Хадсон обнял его одной рукой за плечи и продолжал править другой, все время оглядываясь назад.

— А ты подумай, Том, как это на нем отразится, если мы велим ему прекратить. Роджер и Эдди знают, что делают, а я знаю, что они любят его и не допустят, чтобы он делал то, что ему не под силу.

— Но, папа, ведь Дэви если уж за что взялся, так удержу не знает. Правда. И он всегда будет делать то, что ему не под силу.

— Ты положишься на меня, а я положусь на Роджера и Эдди.

— Хорошо. Но сейчас я буду молиться за него.

— Молись,— сказал Томас Хадсон.— А почему ты говоришь, что я люблю его больше всех?

— Так и должно быть.

— Тебя я любил дольше всех.

— Не будем говорить о нас с тобой. Давай лучше оба помолимся за Дэви.

— Хорошо,— сказал Томас Хадсон.— Слушай. Мы подцепили эту рыбу в самый полдень. Теперь скоро должна появиться тень. Кажется, она уже есть. Сейчас я осторожно поверну катер так, чтобы тень падала на Дэви.

Томас Хадсон крикнул вниз Роджеру:

— Родж, как ты считаешь, можно мне тихонько повернуть катер, чтобы Дэви был в тени? На рыбе это нисколько не отразится. Она как ходила кругами, так и будет ходить.

— Прекрасно,— сказал Роджер.— Как это я сам не додумался.

— До сих пор тени еще не было,— сказал Томас Хадсон.

Он так медленно развернул катер вокруг кормы, что лишней лески почти не ушло. Голова и плечи Дэвида были теперь в тени, падавшей от кормовой стороны рубки. Эдди обтирал шею и плечи мальчика полотенцем и смачивал ему спиртом затылок и спину.

— Ну, как ты там, Дэви? — крикнул сверху Том-младший.

— Чудесно,— сказал Дэвид.

— Теперь я спокойнее за него,— сказал Том-младший.— Знаешь, в школе кто-то брякнул, что Дэвид мне сводный брат, а не родной, а я заявил, что у нас в семье сводных братьев нет. Папа, ну чего я так волнуюсь?

— Это пройдет.

— В такой семье, как наша, кому-то всегда приходится волноваться,— сказал Том-младший.— Но за тебя я больше не волнуюсь. Теперь только за Дэвида. Пойду, пожалуй, приготовлю вам еще по коктейлю. Пока смешиваешь напитки, можно молиться. Выпьешь еще, папа?

— Выпью, и с превеликим удовольствием.

— Эдди, наверно, это просто необходимо,— сказал мальчик.— Прошло почти три часа. За три часа Эдди пил только один раз. Это я оказался таким нерадивым. Папа, а откуда ты знал, что мистер Дэвис не станет пить?

— Мне казалось, он не захочет, пока Дэвиду так трудно приходится.

— Может, теперь выпьет, ведь Дэви сидит в тени. Все равно я ему предложу.

Он спустился на палубу.

— Нет, Томми, пожалуй, не стоит, — услышал Томас Хадсон ответ Роджера.

— Мистер Дэвис, вы за весь день ничего не выпили, — настаивал Том.

— Спасибо, Томми, — сказал Роджер. — Выпей за меня бутылку пива. — Потом он крикнул Томасу Хадсону: — Двинь чуть вперед, Том! А то она пойдет на нас.

— Есть двинуть чуть вперед, — повторил Томас Хадсон.

Рыба все еще кружила на большой глубине, но сокращала круги, поскольку катер шел туда, куда ей нужно. За наклоном лески теперь легче было следить. Она стала виднее в темной глубине воды, потому что солнце было за кормой, и Томасу Хадсону стало удобнее принаравливаться к движениям рыбы. Как им повезло, думал он, что день тихий; Дэвид просто не выдержал бы, если б ему пришлось вываживать эту рыбу даже в небольшую волну. Но волны не было никакой, и теперь, когда Дэвид сидел в тени, у Томаса Хадсона отлегло от сердца.

— Спасибо, Томми, — услышал он голос Эдди, а потом мальчик поднялся наверх со стаканом, обернутым в бумагу, и Томас Хадсон глотнул сначала немного, потом побольше и ощутил на языке холод, в котором была острота лимонного сока, душистая глянцеvitость ангостуры и терпкость джина, подкрепляющего ледяную стынть кокосовой воды.

— Ну, как, папа, ничего? — спросил мальчик. В руках у него была бутылка пива прямо со льда, покрывшаяся на солнце холодными капельками пота.

— Великолепно, — ответил ему отец. — Джина ты влил порядочно.

— Пришлось, — сказал Том-младший, — потому что лед тает очень быстро. Надо бы нам завести какие-нибудь подстаканники-термосы, чтобы лед не таял. Я займусь этим в школе. Попробую смастерить что-нибудь из пробковых пластинок. И может, преподнесу тебе в подарок к рождеству.

— Взгляни на Дэви, — сказал ему отец.

Дэвид так вываживал рыбу, точно его схватка с ней только что началась.

— Посмотри, какой он плоский, — сказал Том-младший. — Что грудь, что спина — одинаковые. И они будто склеены у него. Зато таких длинных мускулов на руках

больше ни у кого не увидишь — и бицепсы и трицепсы одинаковой длины. Странное у Дэви сложение, папа. И сам он странный, и вообще лучшего брата и быть не может.

Между тем Эдди опорожнил свой стакан и снова принялся обтирать Дэвиду спину полотенцем. Потом обтер ему грудь и длинные руки.

— Ну как ты, Дэви, ничего?

Дэвид кивнул.

— Слушай,— сказал ему Эдди.— У меня на глазах один человек — взрослый, сильный, плечи что у быка — струсил, отступился от рыбы, а ведь и половины не сделал того, чего ты уже добился.

Дэвид молча делал свое дело.

— Здоровенный дядя. Твой папа и Роджер тоже его знают. Он на рыбной ловле собаку съел. Все время рыбачит. Так вот, подцепил он как-то огромную рыбину и сдрейфил, отступился от нее, потому что она его измотала. Измотала его эта рыба, и он ее бросил. Держись, Дэви, держись.

Дэвид молчал. Он сберегал дыхание, продолжая поднимать и опускать удище и наматывать леску на катушку.

— Эта треклятая рыба — самец, потому она такая сильная,— сказал ему Эдди.— Будь это самка, ей давно бы капут, кишки бы лопнули, сердце бы разорвалось или икра бы из нее выперла. У этих рыб самцы сильнее. У других сильнее самки. А у меч-рыбы наоборот. У этой силищи много. Но ты ее доконаешь, Дэви.

Леска снова стала разматываться, и Дэвид закрыл глаза, уперся ногами в деревянную перекладину, откинулся назад и минуту отдыхал.

— Правильно, Дэви,— сказал Эдди.— Пока не работаешь, отдыхай. Рыба просто кружит, но тормоз и ее заставляет работать, так что она устает тоже.

Эдди повернул голову и заглянул вниз, и по его прищуре Томас Хадсон понял, что он смотрит на большие медные часы, укрепленные на стене каюты.

— Пять минут четвертого, Роджер,— сказал он.— Дэви, друг, уже три часа пять минут, как ты с ней во-ишься.

Теперь Дэвиду пора было бы выбирать леску, но она ровно разматывалась с катушки.

— Опять уходит в глубину,— сказал Роджер.— Держи крепче, Дэви... Том, тебе леску видно?

— Видно, хорошо видно, — ответил ему Томас Хадсон. Леска пока уходила вниз не очень круто, и он просматривал ее на большой глубине.

— Рыба, верно, пошла на дно, чтобы там подохнуть, — вполголоса сказал Томас Хадсон старшему сыну. — Тогда все пропало.

Том-младший покачал головой и закусил губу.

— Держи ее, держи изо всех сил, Дэви! — услышал Томас Хадсон голос Роджера. — Подвинти тормоз, но леска пусть разматывается.

Мальчик так крепко завинтил тормоз, что удилище и леска чуть не лопнули, и собрал все силы, готовясь к предстоящему испытанию, а леска разматывалась с катушки и уходила все ниже и ниже.

— Только задержи ее, и тогда она наша, — сказал Дэвиду Роджер. — Выключи моторы, Том.

— Уже выключил, — сказал Томас Хадсон. — Но, пожалуйста, можно немного подать назад, пользуясь течением.

— Ладно. Давай.

— Есть, — сказал Томас Хадсон.

Чуть отойдя назад, они отняли у рыбы леску, но так, самую малость, и теперь вся она, сверху донизу, натянута почти в отвес. На катушке оставалось совсем мало — меньше, чем было в самые критические минуты.

— Придется тебе выйти на край кормы, Дэви, — сказал Роджер. — И ослабь немного тормоз, тогда высвободишь комель.

Дэвид ослабил тормоз.

— Теперь укрепи комель в гнезде. Эдди, обхвати его свади поперек туловища.

— О господи! — сказал Том-младший. — Она пошла ко дну, папа!

Дэвид стоял на коленях у края кормы, держа удилище, которое так согнулось, что даже вершинка его была под водой, а торцом оно сидело в кожаном гнезде у мальчика на поясе. Эндрю схватил Дэвида сзади за ноги, а Роджер опустился рядом с ним на колени и следил, сколько лески уходит под воду и сколько ее остается на катушке. Он оглянулся на Томаса Хадсона и покачал головой.

На катушке не осталось и двадцати ярдов, а удилище до половины ушло под воду и тянуло Дэвида вниз. Потом на катушке осталось каких-нибудь пятнадцать ярдов. Потом уже и десяти не было. И тут леска перестала разма-

тываться. Мальчик висел над бортом, удилище почти целиком было под водой, но леска больше не сматывалась с катушки.

— Посади его обратно в кресло, Эдди. Только осторожнее,— сказал Роджер.— Не торопись. Он остановил рыбу.

Эдди подвел Дэвида к креслу, крепко обхватив его попереk туловища, чтобы неожиданный рывок рыбы не сдернул его за борт. Он посадил его, и Дэвид вставил комель удилища в гнездо, уперся ногами в переkладину и откинулся назад, взяв спиннинг на себя. Рыба немного поднялась.

— Подтягивай ее, только когда будешь выбирать леску,— сказал Дэвиду Роджер.— А остальное время пусть сама тянет. И делай передышку, отдыхай.

— Ну, доконал ты ее, Дэвид,— сказал Эдди.— Теперь все на твоей стороне. Только не торопись, не волнуйся, и тогда ей конец.

Томас Хадсон дал чуть-чуть вперед, чтобы рыба не ушла в сторону. Теперь вся корма была в тени. Катер медленно шел в открытое море, не встречая ни волны, ни ветра.

— Папа,— сказал Том-младший.— Я видел его ноги, когда смешивал вам коктейли внизу. Они все в крови.

— Он ободрал их о переkладину.

— Может, подложить подушку, чтобы он упирался в мягкое?

— Пойди спроси Эдди,— сказал Томас Хадсон.— Только Дэви не мешай.

Схватка с рыбой продолжалась уже четвертый час. Катер по-прежнему шел в открытое море, и, сидя в кресле, спинку которого теперь поддерживал Роджер, Дэвид медленно поднимал рыбу вверх. Он выглядел бодрее, чем час назад, но Томас Хадсон видел, что пятки у него в крови, стекавшей с подошв. На солнце она глянцеvито поблескивала.

— Как ноги, Дэв? — спросил Эдди.

— Ноги не больно,— сказал Дэвид.— Болят руки, плечи и спина.

— Не подложить тебе подушку под ноги?

Дэвид мотнул головой.

— Нет, еще прилипнут,— сказал он.— Они липкие от крови. Мне не больно. Правда не больно.

Том-младший поднялся наверх и сказал:

— Изуродует он себе ноги. И руки изуродует. Ладони были в волдырях, а теперь волдыри полопались. Ох, папа! Ну что делать?

— А если бы ему пришлось выгребать против сильного течения, Томми? Или подниматься на высокую гору, или держаться в седле, когда уже все силы вышли?

— Да, знаю. Но если такое творится у тебя на глазах, и с кем — с твоим братом, а ты стоишь в стороне, это ужасно, папа.

— Знаю, Томми, знаю. Но для мальчиков наступает время, когда им надо пройти через такое, если они хотят стать мужчинами. Наступило оно и для Дэви.

— Да, понимаю. Но стоит мне посмотреть на его руки и ноги, и я уже ничего не понимаю.

— Представь себе, что ты сам боролся бы с этой рыбой, хотелось бы тебе, чтобы я или Роджер отняли ее у тебя?

— Нет. Я бы умер, а не расстался с ней. Но смотреть на Дэви — это совсем другое дело.

— Надо о нем думать, — сказал отец. — О том, что для него важно.

— Да, конечно, — уныло проговорил Том-младший. — Но для меня ведь он просто Дэви. И как это нехорошо устроено в мире, что такое случается с твоим братом.

— Я тоже так считаю, — сказал Томас Хадсон. — Ты очень добрый мальчик, Томми. Только, пожалуйста, пойми: эту схватку можно было бы давным-давно прекратить, но, если Дэвид победит в ней, эта победа останется с ним на всю жизнь, и она же поможет ему справиться с тем, что его еще ждет впереди.

Тут заговорил Эдди. Он опять заглядывал в каюту.

— Ровно четыре часа, Роджер, — сказал Эдди. — Дэви, ты бы выпил воды. Ну, как ты сейчас?

— Отлично, — сказал Дэвид.

— Займусь и я делом, — сказал Том-младший. — Пойду приготовлю Эдди выпить. А ты не хочешь, папа?

— Нет. Пока не надо, — сказал Томас Хадсон.

Том-младший спустился вниз, а Томас Хадсон стал смотреть на Дэвида, на его медленные, усталые, но размеренные движения; на Роджера, который нагнулся над ним и говорил ему что-то вполголоса; на Эдди, который стоял на корме и следил за леской, под уклоном уходившей в воду. Томас Хадсон представил себе, каково там внизу,

где сейчас плавают меч-рыба. Темно, конечно, но рыба, наверно, видит в темноте — как лошади. Темно и очень холодно.

Одна она там плавает, думал он, или около нее есть еще какая-нибудь рыба? Других рыб они тут не видели, но это еще не значит, что рыба плавает одна. В темноте, в холоде, рядом с ней, может быть, плавают и другая.

Почему же рыба остановилась, уйдя под воду так глубоко? — думал Томас Хадсон. Может быть, она достигла доступного ей предела глубины, как самолет, у которого есть потолок подъема? Или же согнувшаяся снасть, круто завинченный тормоз и сила трения лески в воде наконец сломили ее сопротивление и теперь она тихо плывет вперед и поднимается, поднимается чуть выше, когда Дэвид подтягивает ее кверху, просто для того, чтобы ослабить напряжение? Так оно, вероятно, и есть, думал Томас Хадсон, и, если рыба еще не обессилела, Дэвиду предстоит нелегкая задача.

Том-младший принес Эдди его бутылку, и Эдди надолго приложился к ней, а потом попросил Тома поставить ее в ящик с наживкой.

— Там попрохладней, и под рукой у меня будет, — добавил он. — Если Дэви еще долго провозится с этой рыбой, я, чего доброго, алкоголиком стану.

— Я вам буду приносить вашу бутылку, когда только пожелаете, — сказал Эндрю.

— Когда я пожелаю, не приноси, — сказал ему Эдди. — Приноси, когда я тебя попрошу об этом.

Старший мальчик поднялся к Томасу Хадсону, и они увидели, что Эдди нагнулся над Дэвидом и пристально смотрит ему в глаза. Роджер обеими руками держал спинку кресла и следил за леской.

— Слушай, Дэви, — сказал мальчику Эдди, внимательно глядя ему в лицо. — Руки и ноги — это пустяки. Ну больно, ну на вид они прямо никуда, но это ничего. У рыболова и должны быть такие руки-ноги. Они раз от разу у тебя будут грубеть. А вот голова-то как?

— Отлично, — сказал Дэвид.

— Тогда храни тебя бог, и вываживай эту сволочь, вываживай. Скоро она здесь у нас будет.

— Дэви, — обратился к мальчику Роджер. — Может, мне за нее взяться?

Дэвид замотал головой.

— Это не значит, что ты сдаешься, — сказал Роджер. —

Здравый смысл того требует. Или я, или твой отец — мы за нее возьмемся.

— Я что-нибудь не так делаю? — с обидой спросил Дэвид.

— Нет. Ты все делаешь замечательно.

— Тогда зачем мне сдаваться?

— Она тебя измотала, Дэви, — сказал Роджер. — Не могу я допустить, чтобы она тебя замучила.

— Крючок-то у кого в пасти сидит? У нее, — прерывающимся голосом проговорил Дэвид. — Не она меня мучает. Я ее мучаю. Суку паршивую.

— Говори, Дэви. Все, что хочешь, говори, — сказал Роджер.

— Сука поганая. Сучья сука.

— У него слезы на глазах, — сказал Эндрю. Он поднялся наверх и стоял рядом с отцом и Томом-младшим. — Он ругается, чтобы не заплакать.

— Молчи, наездник, — сказал Том-младший.

— Уморит она меня, сука, ну и пусть, — сказал Дэвид. — Ой, нет! Зачем я ее ругаю! Я ее люблю.

— Ну а теперь помолчи, — сказал Дэвиду Эдди. — Побереги дыхание.

Эдди взглянул на Роджера, и Роджер пожал плечами, давая понять, что он не знает, как быть дальше.

— Если ты будешь так волноваться, я сам возьмусь за эту рыбу, — сказал Эдди.

— Я всегда волнуюсь, — сказал Дэвид. — Только не признаюсь в этом, вот никто и не знает, как я волнуюсь. А сейчас ничего особенного нет. Говорю много, вот и все.

— А теперь помолчи, не надо говорить, — сказал Эдди. — Успокойся, возьми себя в руки, и мы от нее не отстанем.

— Я ее не брошу, — сказал Дэвид. — Зачем я ее ругал? Не надо ее ругать. Лучше этой рыбы нет ничего на свете.

— Энди, дай мне бутылку спирта, — сказал Эдди. — Я разотру ему руки, ноги и плечи, — сказал он Роджеру. — От ледяной воды как бы судорогой не свело. — Он взглянул в каюту и сказал: — Ровно пять с половиной часов, Роджер. — Потом повернулся к Дэвиду: — Тебе не жарко, Дэви?

Мальчик покачал головой.

— В середине дня солнце шпарит прямо в темечко. Вот чего я боялся, — сказал Эдди. — Теперь с тобой ничего

не случится, Дэви. Держись, друг, добивай эту паршивую рыбу. Хорошо бы ее доконать еще засветло.

Дэвид кивнул.

— Папа, ты видел когда-нибудь, чтобы рыба так боролась? — спросил Том-младший.

— Видел, — ответил ему Томас Хадсон.

— И часто?

— Не помню, Томми. В Гольфстриме попадаются страшные рыбы. Но некоторые громадины ловятся легко.

— А почему так?

— Может быть, состарились, разжирели. Есть такие, которым давно пора бы подохнуть. Но самые крупные обычно так бьются на леске, что сами себя приканчивают.

День близился к вечеру, встречные суда уже не попадались им, заплыли они далеко и были где-то между островом и большим маяком Айзекса.

— Ну-ка, Дэви, еще попробуй поднять, — сказал Роджер.

Мальчик ссутулился, откинулся назад, сделав упор на поги, и на этот раз вершинка удилища медленно поднялась вверх.

— Идет, идет, — сказал Роджер. — Забирай у нее леску, подтягивай ее, подтягивай.

Мальчик приподнял удилище, и леска снова пошла на катушку.

— Она идет вверх, — сказал Дэвиду Роджер. — Правильно, так и действуй.

Дэвид работал, как машина или же как очень усталый мальчик, работающий за машину.

— Вот теперь в самый раз тащить, — сказал Роджер. — Она идет вверх. Дай немного вперед, Том. Будем брать ее с левого борта.

— Есть дать немного вперед, — сказал Томас Хадсон.

— Действуй по своему усмотрению, — сказал Роджер. — Надо так подвести эту рыбу, чтобы Эдди удобно было ее забagrить, а нам — набросить петлю. Поводком займусь я. Томми, ты иди вниз, будешь держать кресло, и следи, чтобы леска не захлестнула за удилище, когда я возьму поводок. Леска все время должна быть свободной, на случай если мне придется отпустить рыбу. Энди, ты будь при Эдди. Подавай ему все, что он потребует. Петлю подашь и дубинку.

Теперь рыба безостановочно шла вверх, и Дэвид ритмично поднимал и опускал удилище.

— Том, иди вниз, будешь править оттуда! — крикнул Роджер.

— А я уже и так иду, — ответил ему Томас Хадсон.

— Извини, — сказал Роджер, — Дэви, запомни: если мне придется отпустить ее, держи удилище повыше и чтобы леска за него не захлестнула. Как только я ухвачу поводок, ослабь тормоз.

— Леску наматывай ровно, — сказал Эдди. — Нельзя, чтобы ее заедало.

Томас Хадсон прыгнул с мостика в кокпит и взялся за штурвал снизу. Глубина просматривалась отсюда хуже, чем сверху, но, если случится что-нибудь непредвиденное, здесь сподручнее, да и держать связь с остальными легче. Странно находиться на том же уровне, где идет действие, после того как ты провел несколько часов, глядя на все это сверху, подумал он. Точно спустился из ложи на сцену или на ринг или стоишь вплотную к загородке вдоль трека. Люди кажутся больше и ближе, и все они выше роста, и фигуры у них не укороченные в ракурсе.

Он видел окровавленные руки Дэвида, глянцевито блестявавшие струйки на ногах и следы от лямок на спине и встретил его почти отчаянный взгляд, когда он повернул голову, доведя удилище вверх до предела. Томас Хадсон заглянул в якату — часы на стене показывали без десяти минут шесть. Теперь, когда он был так близко от воды, море казалось ему совсем другим, и, глядя из тени на согнутое удилище Дэвида, он видел белую леску, уходившую косо в толщу темной воды, и само удилище, равномерно двигавшееся вверх и вниз. Эдди стоял на коленях у борта с багром в обожженных солнцем веснушчатых руках и всматривался в полиловевшую воду, стараясь разглядеть там рыбу. Томас Хадсон заметил веревочные узлы на древке багра и веревку, привязанную к пиллерсу на корме, потом снова перевел взгляд на спину Дэвида, на его вытянутые ноги и длинные руки, державшие удилище.

— Тебе не видно, Эдди? — спросил Роджер, не отпуская спинки кресла.

— Нет еще. Води ее, Дэви, води.

Дэвид продолжал поднимать и опускать удилище; леска виток за витком продолжала наматываться на разбухшую катушку.

Вдруг рыба остановилась, удилище перегнулось вершинкой к воде, и леска опять стала разматываться.

— Нет! Не может быть! — сказал Дэвид.

— Может,— сказал Эдди.— От нее всего жди.

Дэвид медленно приподнял удилище, преодолевая его тяжесть, и вслед за этим медленным подъемом леска снова стала легко и равномерно наматываться на катушку.

— Опа только на минутку задержалась,— сказал Эдди. Сдвинув на затылок свою старую фетровую шляпу, он всматривался в чистую, темно-лиловую воду.— Вот она,— сказал он.

Томас Хадсон отскочил от штурвала и глянул за борт. Рыба показалась в глубине за кормой, маленькая, укороченная в ракурсе, и тут же на глазах у Томаса Хадсона стала расти — не с такой стремительностью, как вырастает летящий на тебя самолет, но так же неуклонно и грозно.

Томас Хадсон тронул Дэвида за плечо и вернулся к штурвалу. И тут он услышал голос Эндрю:

— Ой! Смотрите! — И увидел ее, не отходя от штурвала. Она плыла под водой прямо за катером — бурая, раздававшаяся в ширину и в длину.

— Так держать,— сказал Роджер, не оглядываясь.

И Томас Хадсон ответил:

— Есть так держать.

— О господи! Смотрите! — сказал Том-младший.

Теперь она выросла до огромных размеров — Томас Хадсон впервые видел такую меч-рыбу. Уже не бурая, а иссиня-лиловая по всей своей длине, рыба медленно, плавно двигалась в том же направлении, куда шел катер. Она двигалась за самой кормой и справа от Дэвида.

— Пусть так и идет, Дэви,— сказал Роджер.— Она хорошо идет, хорошо.

— Дай чуть вперед,— сказал Роджер, не сводя глаз с рыбы.

— Есть чуть вперед,— ответил Томас Хадсон.

— Мотай леску,— сказал Дэвиду Эдди.

Томас Хадсон увидел вертлюжок поводка, показавшийся над водой.

— Еще немного вперед,— сказал Роджер.

— Есть еще немного вперед,— повторил Томас Хадсон.

Он следил за рыбой и поворачивал катер в том направлении, куда она плыла. Теперь рыба была видна ему вся — лиловая длина ее тела, широкий, торчащий вперед меч, вспарывающий воду плавник на широкой спине и огромный хвост, который, почти не двигаясь, посылал ее вперед.

— Дай еще немного,— сказал Роджер.

— Есть дать еще немного.

Дэвид вывел поводок лески наружу.

— Ты готов, Эдди? — спросил Роджер.

— Готов, — сказал Эдди.

— Следи за ней, Том, — сказал Роджер и, наклонившись над кормой, ухватил поводок. — Ослабь тормоз, — сказал он Дэвиду и, поднимая, придерживая тяжелый поводок, стал медленно выводить рыбу ближе к багру.

Рыба шла наверх — широкая, длинная, как затонувшее бревно. Дэвид следил за ней, в то же время поглядывая на вершинку удилица и стараясь, чтобы его не захлестнуло леской. Впервые за шесть часов спина, руки и ноги у него не чувствовали напряжения, и Томас Хадсон видел, как подрагивают, дергаются у мальчика мускулы на ногах. Эдди с багром нагнулся над кормой, а Роджер медленно, равномерно вел поводок кверху.

— Больше тысячи фунтов потянет, — сказал Эдди. Потом очень тихо: — Роджер, крючок держится на ниточке.

— Сможешь дотянуться до нее? — спросил Роджер.

— Пока нет, — сказал Эдди. — Легче, легче, не спешите.

Роджер продолжал подтягивать поводок, и огромная рыба постепенно приближалась к катеру.

— Сейчас оборвется, — сказал Эдди. — На честном слове держится.

— А теперь достанешь? — спросил Роджер. Голос у него не изменился.

— Нет еще, — так же тихо сказал Эдди.

Роджер поднимал рыбу мягко, со всей осторожностью, на какую только был способен. И вдруг напряжение исчезло из его тела, и он выпрямился, держа в обеих руках провисший поводок.

— Нет. Нет. Нет. Боже мой, нет! — сказал Том-младший.

И в ту же минуту Эдди с багром кинулся в воду, пытаясь дотянуться до рыбы и забagrить ее.

Но все было напрасно. Огромная рыбина, похожая на большую темно-лиловую птицу, стояла в глубине, потом медленно пошла вниз. Они смотрели, как она опускалась, становясь все меньше и меньше, и наконец исчезла из виду.

Шляпа Эдди плавала по спокойной воде, а сам он держался за багор. Веревка от багра тянулась к пиллерсу

на корме. Роджер обнял Дэвида, и Томас Хадсон увидел, что плечи у мальчика трясутся. Но он предоставил его Роджеру.

— Спусти трап, помоги Эдди взлезть, — сказал он Тому-младшему. — Энди, возьми удилище. Вынь его из гнезда.

Роджер поднял Дэвида, донес его до койки у правого борта и положил там. Он продолжал обнимать мальчика, а тот лежал на койке ничком.

Эдди, весь мокрый, взлез на катер и стал переодеваться. Эндрю выловил багром его шляпу, а Томас Хадсон успел сходить в каюту за рубашкой и брюками для Эдди и за рубашкой и шортами для Дэвида. Он с удивлением отметил, что ничего не чувствует, кроме жалости и любви к Дэvidу. Эта схватка с рыбой иссушила в нем все другие чувства.

Когда он вернулся, Дэвид, голый, по-прежнему лежал на койке лицом вниз, а Роджер растирал его спиртом.

— Плечи больно и копчик, — сказал Дэвид. — Там, пожалуйста, потише, мистер Дэвис.

— Это где натерло, — сказал ему Эдди. — Сейчас отец смажет тебе руки и ноги меркурохромом. Это не больно.

— Надень рубашку, Дэви, — сказал Томас Хадсон. — А то простудишься. Том, припеси ему одеяло какое полегче.

Томас Хадсон смазал меркурохромом те места, где лямки натерли мальчику спину, и помог ему надеть рубашку.

— Я уже ничего, — тусклым голосом проговорил Дэвид. — Я хочу кока-колы. Можно, папа?

— Пожалуйста, — сказал Томас Хадсон. — А потом Эдди разогреет тебе суп.

— Я не голоден, — сказал Дэвид. — Я сейчас не смогу есть.

— Ну, подождем немного, — сказал Томас Хадсон.

— Я понимаю, каково тебе, Дэви, — сказал Эндрю, подавая ему бутылку кока-колы.

— Никому этого не понять, — сказал Дэвид.

Томас Хадсон объяснил старшему сыну, каким курсом идти к острову.

— Смотри, чтобы моторы работали синхронно, на триста оборотов, Томми, — сказал он. — Когда стемнеет, будет виден маяк, а потом я произведу корректировку.

— Ты меня почаще проверяй, папа. Скажи, тебе так же тошно, как мне?

— Тут ничего не поделаешь.

— А Эдди попытался что-то сделать,— сказал Том-младший.— Не каждый прыгнул бы в океан за какой-то рыбой.

— Эдди был на волоеке,— сказал ему отец.— Ты представляешь себе, что могло бы случиться, если бы он забагрил ее не с катера, а в воде?

— Эдди бы справился,— сказал Том-младший.— Ну как, синхронно они работают?

— К моторам надо прислушиваться,— сказал ему отец,— а не только на тахометры поглядывать.

Томас Хадсон подошел к койке и сел рядом с Дэвидом. Мальчик был закутан в легкое одеяло, и Эдди возился с его руками, а Роджер смазывал ему меркурохромом ноги.

— А-а, папа,— сказал он и посмотрел на Томаса Хадсона, а потом отвел глаза в сторону.

— Жаль, Дэви, очень жаль,— сказал ему отец.— Ты так с пей сражался. Лучше Роджера, лучше всех, кого я знаю.

— Большое спасибо, папа. Только не надо об этом говорить.

— Дать тебе чего-нибудь, Дэви?

— Если можно, еще кока-колы,— сказал Дэвид.

Томас Хадсон вынул из ящика для наживки бутылку охлажденной на льду кока-колы и откупорил ее. Он сел рядом с Дэвидом, и мальчик выпил всю бутылку, держа ее в руке, которую Эдди уже успел обработать.

— Суп скоро будет готов. Он уже закипает,— сказал Эдди.— Том, а соус не подогреть? К салату из крабов?

— Подогрей,— сказал Томас Хадсон.— Мы с утра ничего не ели. А Роджер так за весь день не выпил ни глотка.

— Только что — бутылку пива,— сказал Роджер.

— Эдди,— сказал Дэвид.— А сколько она весила, по правде?

— Больше тысячи фунтов,— сказал ему Эдди.

— Спасибо вам, что вы прыгнули за борт,— сказал Дэвид.— Большое спасибо, Эдди.

— Да ну, чего там! — сказал Эдди.— А что еще было делать?

— Папа, как по-твоему, в ней правда было тысяча фунтов? — спросил Дэвид.

— Безусловно,— сказал Томас Хадсон.— Мне такие громадины ни разу не попадались, ни марлины, ни меч-рыбы.

Солнце спряталось, и катер шел по спокойному морю, шел, урча моторами, быстро бороздя ту самую воду, по которой они так медленно продвигались все эти часы.

Эндрю тоже примостился на краю широкой койки.

— Ну, что, наездник? — сказал ему Дэвид.

— Если бы ты выловил эту рыбу, — сказал Эндрю, — ты стал бы самым знаменитым мальчиком на свете.

— А я не хочу быть знаменитым, — сказал Дэвид. — Предоставляю это тебе.

— А мы бы прославились как твои братья, — сказал Эндрю. — Серьезно.

— А я бы прославился как твой друг, — сказал Роджер.

— А я бы прославился как рулевой, — сказал Томас Хадсон. — А Эдди — как гарпунщик.

— Уж Эдди-то непременно прославился бы, — сказал Эндрю. — А Томми прославился бы тем, что он столько коктейлей приготовил. Идет страшная битва, а Томми знай носит стаканы.

— А рыба? Она бы не прославилась? — спросил Дэвид. Он уже был таким, как всегда. Во всяком случае, голос у него звучал, как всегда.

— Она бы прославилась больше всех, — сказал Эндрю. — Она бы себя обессмертила.

— Надеюсь, ей ничего не сделалось, — сказал Дэвид. — Надеюсь, она цела и невредима.

— Конечно, — сказал Роджер. — По тому, как в ней сидел крючок и как она сопротивлялась, я знаю, что ей ничего не сделалось.

— Когда-нибудь я вам расскажу, как все было, — сказал Дэвид.

— Расскажи сейчас, — потребовал Энди.

— Сейчас я устал, и вообще вы подумаете, я сумасшедший.

— Расскажи. Ну хоть немножко, — пристал к нему Эндрю.

— Не знаю, стоит или нет. Папа, как по-твоему?

— Давай, давай, — сказал Томас Хадсон.

— Ну... — сказал Дэвид, зажмурившись. — В самые тяжелые минуты, когда мне было труднее всего, я не различал, где она и где я.

— Понимаю, — сказал Роджер.

— И тогда я полюбил ее больше всего на свете.

— Прямо-таки полюбил? — спросил Эндрю.

— Да. Полюбил.

— Фью! Вот уж чего не понимаю,— сказал Эндрю.

— Когда она стала подниматься, я так ее любил, что сил моих не было,— сказал Дэвид, все еще зажмурившись.— Мне хотелось только одного: увидеть ее как можно ближе.

— Понимаю,— сказал Роджер.

— Теперь мне плевать, что я ее упустил,— сказал Дэвид.— И плевать мне, что я не поставил рекорда. А ведь думал, что мне хочется его поставить. Очень хорошо, что она цела и я цел. Мы с ней не враги.

— И хорошо, что ты поделился с нами,— сказал Томас Хадсон.

— Большое вам спасибо, мистер Дэвис, за то, что вы сказали мне, когда она в первый раз ушла вглубь.— Дэвид говорил, не открывая глаз.

Томас Хадсон так и не узнал, что сказал ему Роджер.

х

Вечером, в последние часы штиля, перед тем как поднялся ветер, Томас Хадсон сидел в своем кресле с книгой в руках. Остальные уже легли, а он знал, что заснуть не сможет, и решил читать до тех пор, пока не начнут слезаться глаза. Но из чтения тоже ничего не получалось, и тогда он стал думать о прошедшем дне. Он перебирал его в памяти весь с начала и до конца и думал о том, как далеко отошли от него сыновья, кроме разве Тома, или как далеко отошел он от них.

Дэвид отошел к Роджеру. Томас Хадсон всегда хотел, чтобы Дэвид взял от Роджера все, что возможно, потому что в действии Роджер был настолько же хорош и разумен, насколько нехорош и неразумен он был в своей жизни и своей работе. Для Томаса Хадсона Дэвид всегда оставался загадкой. Горячо любимой, но все же загадкой. Роджер понимал его лучше, чем родной отец. Томас Хадсон обычно радовался, что они так хорошо понимают друг друга, но сегодня ему от этого было как-то не по себе.

А еще его огорчил своим поведением Эндрю, хоть он и знал, что Эндрю есть Эндрю и что он еще ребенок и его нельзя судить слишком строго. Ничего плохого он, в сущности, не сделал, даже напротив. Но что-то в нем было такое, что не внушало доверия.

Ну можно ли так эгоистично и мелочно рассуждать о

тех, кого любишь, подумал он. Не лучше ли было просто вспомнить события дня без того, чтобы копаться в них, выискивая дурное? Ложись-ка в постель, сказал он себе, и постарайся уснуть. А все прочее к черту. И утром сразу включился в обычный жизненный ритм. Мальчикам не так уж много времени осталось пробыть здесь. Вот и позаботься о том, чтобы они получше провели это оставшееся время. Я старался, возразил он себе. Я старался, чтобы им было хорошо и Роджеру тоже. Тебе и самому было очень хорошо, подумал он. Да, конечно. Но вот сегодня мне отчего-то сделалось страшно. Ладно, сказал он себе; собственнo говоря, в каждом дне легко что-то найти, от чего может сделаться страшно. Ложись в постель, авось повезет, и ты успеешь выспаться до утра. И помни: главное — это чтобы завтра всем было хорошо и приятно.

Ночью поднялся юго-западный ветер, и к рассвету он дул с почти ураганной силой. Пальмы гнулись под ним, хлопали ставни, разлетались бумаги, и на песке оседала пена прибоя.

Когда Томас Хадсон встал, Роджера уже не было. Мальчики еще спали, и он позавтракал один, просматривая почту, пришедшую с рейсовым судном, которое раз в неделю доставляло с материка мясо, лед, свежие овощи, бензин и другие товары. Ветер дул так сильно, что Томасу Хадсону пришлось придавить чашкой лежавшие на столе письма, чтоб их не унесло.

— Может, дверь закрыть? — спросил Джозеф.

— Нет. Пока ничего не разбилось, не нужно.

— Мистер Роджер пошел прогуляться по берегу, — сказал Джозеф. — Он направился в тот конец острова.

Томас Хадсон продолжал читать письма.

— Вот газета, мистер Том, — сказал Джозеф. — Я ее утюгом разгладил.

— Спасибо, Джозеф.

— Мистер Том, это правда про вчерашнюю рыбу? То, что рассказывал Эдди?

— А что он тебе рассказывал?

— Какая она была огромная и как он ее почти забагрил.

— Все правда.

— Ах ты господи. Надо же было, чтоб как раз в это время мне пришлось переносить с рейсового судна лед и продукты. Будь я с вами, я нырнул бы и забагрил ее в воде.

— Эдди нырлял за ней,— сказал Томас Хадсон.

— Он мне этого не говорил,— сказал Джозеф, сбавив тон.

— Еще чашку кофе, пожалуйста, Джозеф, и я съел бы еще кусок папайи,— сказал Томас Хадсон. Он проснулся голодный, а от ветра голод у него разыгрался пуще.— А бекону не привезли на этот раз?

— Найдется, пожалуй, из прежних запасов.— сказал Джозеф.— У вас сегодня хороший аппетит.

— Пожалуйста, позови сюда Эдди.

— Эдди пошел домой полечить свой глаз.

— А что с ним случилось?

— Кто-то вчера заехал ему в глаз кулаком.

Томасу Хадсону нетрудно было догадаться, почему это случилось.

— А кроме глаза, все у него цело?

— Его вообще крепко избили,— сказал Джозеф.— Он ходил по всем барам и рассказывал такое, чему никто не хотел верить. Люди никогда не поверят тому, что он рассказывает. А жаль.

— Где же он дрался?

— Везде. Везде, где ему не верили. И все равно никто не хотел верить. Там, куда он попал уже поздно ночью, люди даже не знали толком, о чем речь, но говорили, что не верят, просто чтоб его подстрекнуть к драке. Наверно, на всем острове не осталось ни одного любителя драк, с которым бы он вчера не подрался. А сегодня вечером, помните мое слово, кое-кто еще придет с Миддл-Ки — нарочно, чтобы сцепиться с ним. На Миддл-Ки теперь завелось несколько отчаянных голов, с тех пор как там идет стройка.

— Надо будет мистеру Роджеру пойти с ним вместе,— сказал Томас Хадсон.

— Ух ты! — Джозеф весь просиял.— Будет, значит, потеха вечером.

Томас Хадсон выпил еще чашку кофе, съел кусок охлажденной папайи, политой лимонным соком, и четыре ломтика бекона, которые ему подал Джозеф.

— Я сразу заметил, что у вас сегодня хороший аппетит,— сказал Джозеф.— А когда я это замечаю, мне уж хочется не пропустить такой случай.

— Я ем очень много.

— Иногда,— сказал Джозеф.

Он налил ему чашку кофе, и Томас Хадсон забрал ее с собой, чтобы допить между делом — среди полученных писем было два, на которые нужно было ответить с обратной почтой.

— Сходи к Эдди домой, пусть он составит список того, что надо заказать на следующий рейс, — сказал он Джозефу. — И принесешь мне посмотреть. Для мистера Роджера остался кофе?

— Он уже пил, — сказал Джозеф.

Томас Хадсон дописывал наверху письма, когда явился Эдди со списком необходимых припасов. Выглядел Эдди неважно. Примочки глазу не помогли, губы и щеки сильно распухли. Одно ухо распухло тоже. Разбитые губы он намазал ртутной краской, и яркий их цвет придавал ему вид отнюдь не трагический.

— Я вчера свалил дурака, — сказал он. — Проверьте, Том, здесь, кажется, все, что нужно.

— А зачем было приходить? Взял бы себе сегодня выходной и посидел бы спокойно дома.

— Дома мне хуже, — сказал Эдди. — Ничего, я вечером равно лягу спать.

— И больше не ввязывайся в драки из-за этого дела, — сказал Томас Хадсон. — Все равно не поможет.

— Нашли кого уговаривать, — сказал Эдди, шевеля пурпуром своих рассеченных и вспухших губ. — Я ведь думал, что правда в конце концов себя покажет, а тут всякий раз подвертывался еще кто-то, и я вместе с моей правдой летел задницей вверх.

— Джозеф говорит, ты дрался не один раз.

— Я бы и еще дрался, да кто-то увел меня домой, — сказал Эдди. — Бенни добрая душа, что ли. Только благодаря ему да констеблю я и уцелел.

— Ты считаешь, что уцелел?

— Пусть не весь, но уцелел. Эх, черт, жаль, вас не было, Том.

— Мне совсем не жаль. А кому-нибудь там хотелось, чтобы ты и в самом деле не уцелел?

— Да нет, едва ли. Просто они думали доказать мне, что я вру. А вот констебль мне поверил.

— Неужели?

— Факт, поверил. Он да еще Бобби. Только они двое, а больше никто. Констебль сказал, ему бы дознаться, кто меня первый стукнул, он бы его засадил. Все утро меня сегодня допрашивал: ведь был же кто-то первый; а я ему

говору: был, только самый-то первый был я. Неудачный выдался вечер для правды, Том. Такой вечер, что хуже некуда.

— Так ты все-таки хочешь братья застряню?

— А что? — сказал Эдди. — Мы как раз получили мясо для бифштексов. Мясо что надо, настоящая вырезка. Посмотреть — залюбуешься. На гарнир думаю сделать картофельное пюре с подливкой и бобы лима. Еще можно приготовить салат из латука со свежими грейпфрутами. Потом ребята любят пироги, а у нас как раз есть консервированная малина с ежевикой — мировая начинка для пирога. И мороженое мы тоже получили, можно положить сверху. Ну, как по-вашему? Очень уж мне хочется подкормить этого пащенка Дэвида.

— Ты что собирался делать, когда прыгал в воду с багром?

— Я думал, всажу ей багор под самый плавник — она бы дернула, натянула веревку, и сразу бы ей конец. А я бы тем временем во всю мочь от нее и обратно на катер.

— Как она выглядела под водой?

— Она была широкая, как гребная лодка, Том. И вся лиловая, а глаз черный и величиной с вашу ладонь. Брюхо у нее отливало серебром, а меч был такой, что даже смотреть страшно. Она шла вглубь даже не очень быстро, но я бы не мог ее догнать, потому что древко у багра слишком легкое и все время всплывало на поверхность. Оно не давало мне нырнуть глубоко. Ничего бы не вышло.

— А она тебя видела?

— Черт ее знает. Вид у нее был такой, будто ей все ни к чему.

— По-твоему, она уже вымоталась?

— По-моему, она дошла. По-моему, она бы уже не стала бороться.

— Больше нам такой не видать.

— Да уж. Такая раз в жизни попадает. Я теперь и рассказывать про нее никому не стану, все равно не верят.

— Я хочу написать картину об этой рыбе, Дэвиду на память.

— Только напишите, чтоб было похоже. Не пишите по-чудному, как вы иногда любите.

— Я все напишу точнее, чем на фотографии.

— Вот и хорошо. Такие ваши картины мне нравятся.

— Очень трудно будет писать то, что под водой.

— Картина выйдет вроде той, которая у Бобби, со смерчами?

— Нет. Совсем другая, и, я надеюсь, лучше. Я сегодня же сделаю несколько этюдов к ней.

— А мне нравится та, что со смерчами,— сказал Эдди.— Бобби просто помешался на ней, и вот ему почему-то верят, когда он рассказывает, будто сам видел столько смерчей сразу, сколько там нарисовано. Но эту, с рыбой в воде, пожалуй, потрудней будет написать.

— Думаю, что как-нибудь справлюсь,— сказал Томас Хадсон.

— А не могли бы вы написать, как она выпрыгнула из воды?

— Думаю, что мог бы.

— Так напишите для мальчика две картины, Том. Одну — как рыба выпрыгивает из воды, а другую — как Роджер выводит ее на поводке, а Дав сидит в кресле с удивлением, и я тоже тут, стою рядом. Потом можно будет сфотографировать их.

— Сегодня же начну работать над этюдами.

— Если захотите что-нибудь у меня спросить, я буду на кухне. Ребята не просыпались еще?

— Нет, спят все трое.

— А, черт,— сказал Эдди.— Мне что-то на все стало наплевать после этой рыбы. Но надо же им приготовить еду повкуснее.

— Жаль, нет пивок — приставить бы тебе к глазу.

— А, черт, плевать мне на этот глаз. Видеть я им вижу, чего еще надо?

— Я не стану будить ребят, пусть спят сколько хочется.

— Ладно. Джо мне скажет, когда они проснутся, и я покормлю их завтраком. Только если они очень поздно встанут, дам им что-нибудь легкое, чтобы не перебить аппетит перед ленчем. Видали вы то мясо, что вчера доставили?

— Нет.

— Черт, цена, конечно, немалая. Том, но мясо роскошное. Тут на острове такого мяса никто за всю жизнь и не пробовал. Хотел бы я знать, как выглядит та скотинка, что дает такое мясо.

— Коротконогая, так что брюхо чуть не по земле тащится,— сказал Томас Хадсон.— И притом поперек себя шире.

— Вот это да,— сказал Эдди.— Хоть бы раз увидеть такую живьем. Здесь у нас если припрежут корову, так только когда она все равно вот-вот околеет с голоду. И мясо горькое-прегорькое. Наши местные обалдели бы, если б им показать такой кусок говядины, как у меня лежит на кухне. Они бы даже не поняли, что это такое. Заболели бы от одного вида.

— Мне бы надо успеть дописать письма,— сказал Томас Хадсон.

— Виноват, Том, ухожу.

Покончив со своей корреспонденцией, ответив даже на два деловых письма, отложенных было до следующей почты, проверив список, составленный Эдди, и выписав чек на всю стоимость заказа плюс те десять процентов, которыми английское правительство облагало всякий импорт с материка, Томас Хадсон пошел на пристань, где рейсовое судно уже готовилось в обратный путь. Капитан принимал от жителей заказы на продукты, лекарства, мануфактуру и галантерею, запасные части, металлические изделия и разные другие товары, которые доставлялись на остров с материка. В трюм судна загружали живых лангустов и другую морскую живность, палуба уже была уставлена корзинами ракушек и порожними баками из-под бензина и смазочного масла, а к капитанской каюте тянулась длинная очередь, терпеливо дожидавшаяся на ветру.

— Как у вас, все в порядке, Том? — крикнул из окна каюты капитан Ральф Томасу Хадсону.— А ты куда лезешь без очереди? — одернул он высокого негра в соломенной шляпе, сунувшегося было в каюту.— Кое-что, к сожалению, пришлось заменить. Мясо хорошее?

— Эдди говорит, великолепное.

— Очень рад. Ну, давайте сюда письма и заказ. Ветер все крепчает. Хочу пройти над большой банкой до того, как начнется отлив. Вот и приходится спешить, вы уж извините.

— Увидимся на той неделе, Ральф. Не теряйте из-за меня времени. Большое вам спасибо, дружище.

— Постараюсь на той неделе привезти все точно по списку. Том, вам, может быть, деньги нужны?

— Нет, у меня еще есть с прошлого раза.

— А то, если нужно, у меня наличности много. Ну, ладно. Чья теперь очередь? Твоя, Люшиэс? Говори, на что желаешь потратиться в этот раз.

Томас Хадсон прошел через всю пристань, где негры веселились, глядя, что вытворяет ветер с легкими ситцевыми платьями женщин и девушек, и зашагал по коралловой дорожке к «Понсе-де-Леон».

— А, Том,— встретил его мистер Бобби.— Входите, присаживайтесь. Где это вы пропадали? Мы только что кончили уборку, и заведение уже открыто. Давайте, давайте — когда еще так пьется, как с утра.

— Не рано ли?

— Взор. Есть хорошее импортное пиво. И эль «Песья голова» тоже есть.— Он сунул руку в ящик со льдом, достал бутылку пльзенского, откупорил и подал Томасу Хадсону.— Стакан вам, надеюсь, не требуется? Заправьтесь этим для начала, а потом уж решайте, будете пить что-нибудь настоящее или нет.

— У меня рабочий день пропадет.

— Ну и черт с ним. Вы и так слишком много работаете. Надо подумать о себе, Том. Жизнь вам отпущена одна-единственная. Нельзя же только и делать, что рисовать.

— Вчера мы выходили в море, и я совсем не работал.

Томас Хадсон смотрел на большой холст с тремя смерчами, висевший на стене в глубине бара. Хорошо написано, подумал Томас Хадсон. В меру всей его сегодняшней силы написано, подумал он.

— Мне ее пришлось перевесить повыше,— сказал Бобби.— Вчера тут один клиент до того разошелся, что попробовал влезть в лодку. Я ему сказал, что, если он прорвет ногой полотно, это ему обойдется в десять тысяч долларов. И констебль меня поддержал. Констебль хочет вас просить, чтобы вы и ему написали картину, он ее повесит у себя дома. У него есть одна идея.

— Что же это за идея?

— Он не хотел говорить. Сказал только, что есть очень любопытная идея и он хочет обсудить ее с вами.

Томас Хадсон подошел ближе и всмотрелся в картину. Кое-где поверхность была чем-то повреждена.

— Добротная вещь, прах ее возьми,— с гордостью сказал Бобби.— На днях тут один клиент вздумал запустить кружкой пива в крайний смерч — сбить его захотел. Так даже вмятинки не осталось. И места этого не найдешь. Пиво стекло себе, как водичка, и все. Да, Том, сработали вы ее на совесть, эту картину.

— Но все же так ее ненадолго хватит.

— Пока что ей, прах ее возьми, все пипочем,— сказал

Бобби.— Но я и сам думаю перевесить ее еще повыше. Этот вчерашний меня немного напугал.

Он протянул Томасу Хадсону еще бутылку пльзенского со льда.

— Том, я вам хочу сказать, до чего я огорчен, что так получилось с рыбой. Я ведь Эдди с мальчишеских лет знаю и знаю, что он никогда не врет. Ну по крайней мере в серьезных делах не врет. По крайней мере, если попросишь его говорить правду.

— Да, скверно получилось. Мне даже не хочется никому рассказывать об этом.

— И не надо,— сказал Бобби.— Я просто хотел, чтобы вы знали, до чего я огорчен. Ну, допивайте пиво, и я вам приготовлю чего-нибудь посущественней. Это не дело — начинать день в унынии. Что вы предпочитаете, чтобы взбодриться?

— Я и так бодр,— сказал Томас Хадсон.— Я сегодня собираюсь работать, а выпивка всегда отнимает у меня нужную легкость.

— Ладно, раз уж мне вас не уговорить, подожду, может, набежит кто-нибудь поговорчивей. Гляньте-ка на эту яхту, Том. Ох, и потрепало ее, наверно, в проливе: очень уж осадка мелкая.

Томас Хадсон глянул в распахнутую дверь и увидел входившее в гавань красивое белое судно типа плавучего дома. Эти суда обычно фрахтуют в Майами или другом ближнем порту для поездок вдоль флоридских островов, а в такой день, как вчера, безветренный и тихий, оно благополучно могло пересечь и Гольфстрим. Но сегодня ему, с его мелкой осадкой и громоздкими палубными надстройками, должно быть, пришлось нелегко. Удивительно, как оно вообще проскочило над большой банкой в такую волну.

Яхта дошла до середины гавани и стала на якорь. Томас Хадсон и Бобби смотрели на нее с порога. Она была вся белая и блестящая, и на палубе толпились люди, тоже все в белом.

— Клиенты,— сказал Бобби.— Надеюсь, приличная публика. К нам ни одна такая большая яхта не заходила с тех пор, как окончился лов тунца.

— Откуда она?

— Я ее первый раз вижу. Хороша, ничего не скажешь. Но только не для пролива строена.

— Вероятно, она вышла около полуночи, еще в штиль, а ветер застиг ее где-нибудь на полдороге.

— Скорей всего, так,— сказал Бобби.— Досталось ей, верно,— и покачало и побросало. Ветер прямо-таки шквальный. Ну, скоро мы узнаем, кого она нам привезла. Том, голубчик, дайте я вам приготовлю чего-нибудь. Просто не могу видеть, как вы сидите и не пьете.

— Ладно. Стакан джину с тоником,— сказал Томас Хадсон.

— Тоника не осталось. Джо вчера последний ящик забрал к вам домой.

— Ну, тогда виски с лимоном.

— Ирландского виски с лимоном и без сахара,— сказал Бобби.— Готовлю три. Вон Роджер идет.

Томас Хадсон оглянулся и увидел его.

Роджер вошел в бар. Он был босиком, в линялых бумажных штанах и полосатой тельняшке, севшей от частой стирки. Когда он облокотился о стойку, мышцы на спине выпукло обозначились под натянувшейся тканью. В темноватом помещении бара кожа его казалась совсем коричневой, а волосы были пегие от солнца и морской соли.

— Ребята все еще спят,— сказал он Томасу Хадсону.— Кто-то избил Эдди. Ты видел?

— Он вчера до поздней ночи дрался то с одним, то с другим, то с третьим,— сказал ему Бобби.— Но в общем так, ничего серьезного.

— Не люблю, когда с Эдди что-нибудь случается,— сказал Роджер.

— Да ничего страшного не случилось, Роджер,— заверил его Бобби.— Ну, пил, ну, лез в драку, если кто не верил его рассказам. Повредить ему ничего не повредили.

— Я все никак не могу успокоиться из-за Дэвида,— сказал Роджер Томасу Хадсону.— Не должны мы были до этого допускать.

— По-моему, он уже оправился,— сказал Томас Хадсон.— Во всяком случае, спит с вечера крепким сном. А если кто и виноват, так не ты, а я. Мое дело было вовремя прекратить это.

— Нет. Ты положился на меня.

— Я отец, я и виноват,— сказал Томас Хадсон.— Я не имел права перекладывать на тебя свою ответственность. Есть вещи, которые передоверить нельзя.

— Но я эту ответственность принял,— сказал Роджер.— Я не думал, что он пострадает. И Эдди так не думал.

— Знаю,— сказал Томас Хадсон.— Я и сам не думал. Мне казалось, что тут важно другое.

— И мне так казалось,— сказал Роджер.— А теперь я себя чувствую эгоистом и скотиной.

— Я отец,— сказал Томас Хадсон.— Вся вина на мне.

— Свинство, конечно, получилось с этой рыбой,— сказал Бобби, пододвинув к ним два стакана, а третий оставив себе.— Ну, давайте выпьем за то, чтобы в следующий раз попалась еще побольше.

— Нет,— сказал Роджер.— Еще побольше я даже видеть не хочу.

— Что с вами такое, Роджер? — спросил Бобби.

— Ничего.

— А я решил написать эту рыбу. Дэвиду на память,— сказал Томас Хадсон.

— Вот это здорово. Думаете, выйдет?

— Постараюсь, чтобы вышло. Она у меня перед глазами, и мне кажется, я сумею с ней справиться.

— Конечно, сумеете. Вы все сумеете. А любопытно, что за публика там на яхте.

— Слушай, Роджер, это ты, значит, прогуливал свою совесть по всему острову?

— И босиком,— сказал Роджер.

— А я вот свою принес сюда, с заходом на пристань к капитану Ральфу.

— Мне свою не удалось разгулять, а размачивать я и пытаться не буду,— сказал Роджер.— Хотя эта штука очень вкусная, Бобби.

— То-то,— сказал Бобби.— Сейчас приготовлю вам еще порцию. Лучшее средство против угрызений совести.

— Я не смел рисковать, когда это касалось ребенка,— сказал Роджер,— да еще чужого ребенка.

— Вопрос в том, ради чего ты рисковал.

— Это не меняет дела. С детьми рисковать нельзя.

— Верно. Я, однако, знаю, ради чего я рисковал. Не ради рыбы, как ты понимаешь.

— Понимаю,— сказал Роджер.— Но именно с ним не нужно было этого делать. С ним даже допускать ничего подобного нельзя было.

— Проспится, и все будет в порядке. Увидишь. Он очень душевно стойкий мальчик.

— Он мой герой,— сказал Роджер.

— Это, во всяком случае, лучше, чем когда ты сам был своим героем.

— Еще бы не лучше,— сказал Роджер.— Он ведь и твой герой тоже.

— Не спорю,— сказал Томас Хадсон.— Его на нас обоих хватит.

— Роджер,— сказал мистер Бобби.— Вы с Томом ни в каком не в родстве?

— А что?

— Да так, мне подумалось. Очень у вас много общего.

— Благодарю,— сказал Томас Хадсон.— А ты за себя сам поблагодаришь, Роджер?

— Благодарю от всей души, Бобби,— сказал Роджер.— Неужели, по-вашему, я похож на эту помесь художника с человеком?

— Вы похожи, как четвероюродные братья, а ребята похожи на вас обоих.

— Нет, мы не родня,— сказал Томас Хадсон.— Просто мы жили в одном и том же городе и часто делали одни и те же ошибки.

— Ну и пес с ним,— сказал мистер Бобби.— Пейте и оставьте свою совесть в покое. Нашли о чем говорить в баре ранним утром. Кто только мне не жалуется на угрызения совести — и негры, и матросы с грузовых барж, и яхтенные коки, и миллионеры, и жены миллионеров, и контрабандисты, и бакалейщики, и одноглазые ловцы черепах, и просто всякая сволочь. Не будем хоть начинать с этого день. В такую погоду пить надо, а не о совести разговаривать. Да и вообще эти разговоры устарели. С тех пор как появилось радио, все только и делают, что слушают Би-би-си. А для совести уже нет ни времени, ни места.

— И вы тоже слушаете, Бобби?

— Только Большого Бена. От остального меня тоска берет.

— Бобби,— сказал Роджер,— у вас хорошая голова и доброе сердце.

— Ошибаетесь насчет и того и другого. Но я рад, что вы хоть немножко повеселели.

— Это точно,— сказал Роджер.— Как вы думаете, кого нам привезла эта яхта?

— Клиентов,— сказал Бобби.— Выпьем-ка еще по стаканчику, чтобы я был готов обслужить их как следует, кто бы они ни были.

Пока Бобби выжимал из лимона сок и готовил коктейли, Роджер сказал Томасу Хадсону:

— Я не хотел пороть чушь насчет Дэви.

— Ты этого и не делал.

— Я хотел сказать вот что. А, черт, как бы это выразить попроще! Ты не зря съязвил насчет того, что я сам был своим героем.

— Я никакого права не имею язвить.

— Со мной имеешь. Вся беда в том, что в этой проклятой жизни так давно уже ничего не получается просто, а ведь я все время стараюсь, чтобы получалось.

— Ты будешь писать правдиво, просто и хорошо. Пусть это будет началом.

— А если я сам неправдив, непрост и нехорош? Смогу я так писать?

— Пиши так, как сможешь, только чтоб было правдиво.

— Я многое должен научиться лучше понимать, Том.

— Ты и учишься. Вспомни: наша последняя встреча до нынешнего твоего приезда произошла в Нью-Йорке, и ты тогда был с этой стервой — гасительницей окурков.

— Она покончила с собой.

— Когда?

— Когда я был в горах. Еще до того, как я переехал на побережье и стал писать ту картину.

— Прости, я не знал, — сказал Томас Хадсон.

— Рано или поздно это должно было случиться, — сказал Роджер. — Счастье мое, что я вовремя с нею расстался.

— Ты бы этого никогда не сделал.

— Не уверен, — сказал Роджер. — Мне такой выход представлялся довольно логичным.

— Ты бы этого не сделал хотя бы потому, что это был бы страшный пример для мальчиков. Что почувствовал бы Дэви?

— Дэви бы понял, мне кажется. И потом, знаешь, тут уж когда доходит до дела, не думаешь о том, как бы не послужить для кого-то дурным примером.

— Вот теперь ты действительно порешишь чушь.

Бобби пододвинул им наполненные стаканы.

— Роджер, такими разговорами вы даже меня вгоните в тоску. Я всякое привык слушать, мне за это деньги платят. Но от своих друзей я такого слушать не желаю. Так что перестаньте, Роджер.

— Уже перестал.

— Вот и хорошо, — сказал Бобби. — Пейте. Был тут как-то один приезжий из Нью-Йорка, он жил в гостинице,

но почти весь день околачивался здесь, у меня. Так он только про то и говорил, как он собирается покончить с собой. Ползими всем тут настроение портил. Констебль предупреждал его, что самоубийство противозаконно. Я просил констебля, пусть скажет ему, что разговоры о самоубийстве тоже противозаконны. Но констебль сказал, что для этого он должен раньше съездить в Нассау и получить инструкции. Но мало-помалу люди попривыкли к этому типу, а потом у него даже нашлись единомышленники. Однажды он тут завел разговор с Дылдой Гарри: так и так, мол, думаю кончать жизнь самоубийством и хорошо бы найти кого-нибудь для компании.

«Считайте, что уже нашли,— говорит ему Гарри.— Я — тот, кто вам нужен». И вот Дылда Гарри начинает его подговаривать, чтобы им вместе поехать в Нью-Йорк и там нахлестаться до полного ко всему омерзения, а потом влезть на самую высокую городскую крышу и с нее сигануть прямо в небытие. Должно быть, Дылда Гарри считал, что небытие — это что-то вроде пригорода. По преимуществу населенного ирландцами.

Приезжему этот план очень понравился, и они его обсуждали изо дня в день. Кое-кто еще пытался примазаться, было даже предложение организовать общество самоубийц и для упрощения дела ограничиться экскурсией в Нассау. Но Дылда Гарри твердо стоял на Нью-Йорке, и в один прекрасный вечер он наконец объявил приезжему, что жизнь ему окончательно опостылела и можно ехать.

Тут как раз Дылда Гарри получил от капитана Ральфа заказ на партию лангустов, и несколько дней он сюда не приходил, а приезжий эти дни пил уже вовсе без просыпу. У него было с собой какое-то снадобье вроде наштапыра, вот он его хлебнет, протрезвится немного — и опять сначала. Но, несмотря на снадобье, алкоголь в нем все накапливался и накапливался.

Его к тому времени все привыкли запросто звать Самоубийцей, и вот я ему как-то говорю: «Послушайте, Самоубийца, вы бы хоть сделали передышку, а то ведь и до небытия не дотянете».

«А я уже все,— говорит.— Я уже en route¹. Я уже отправляюсь в дорогу. Получите с меня за выпитое. Роковой выбор сделан».

¹ В пути (фр.).

Я ему даю сдачу, а он отмахивается. «Сдачи,— говорит,— не надо. Оставьте эти деньги для Гарри, пусть выпьет на них перед тем, как последовать за мной».

А сам выскочил из бара, да напрямик на причал Джонни Блейка, да бултых в воду, а ночь была темная, безлунная, и так его больше никто и не видал, пока через два дня труп не прибило к берегу на самой оконечности мыса. А ведь тогда всю ночь никто не ложился, искали, где только могли. Я так думаю, он расшиб себе голову о какую-нибудь бетонную штуковину под водой, и течение унесло его в море. Дылда Гарри вернулся на следующий день и оплакивал его, пока не пропил всю сдачу. Сдача-то была с двадцатидолларовой бумажки. А потом говорит мне: «Знаешь, Бобби, он, наверно, был псих, Самоубийца-то». И угадал — родственники потом прислали человека за телом, так этот человек говорил комиссару, что Самоубийца страдал какой-то механикально-депульсивной болезнью. У вас такой болезни не было никогда, Роджер?

— Нет,— сказал Роджер.— И теперь уже, надеюсь, не будет.

— Вот и хорошо,— сказал Бобби.— С небытием шутить шулки не надо.

— К матери небытие,— сказал Роджер.

IX

Ленч удался на славу. Бифштексы были подрумяненные, в полосках от рашпера, на котором они жарились. Пож легко входил сквозь корочку, а внутри мясо было нежное и сочное. Они подбирали подливку ложками, сливали ее на картофельное пюре, и на желтоватой белизне картофеля образовывались темные озера. Бобы лима в масле были целенькие, листья латука — упругие, прохладные, а грейпфрут — холодный.

От ветра у всех разыгрался аппетит, и Эдди поднялся к ним наверх и стал смотреть, как они едят. Лицо у него было страшное. Он сказал:

— Ну как вам мясо-то, ничего?

— Мясо замечательное,— сказал Том-младший.

— Жуйте как следует,— сказал Эдди.— Глотать пашпек — только добро переводить.

— Его и жевать не надо, просто во рту тает,— сказал Том-младший.

— А на сладкое будет что-нибудь? — спросил Дэвид.

— А как же? Пирог и мороженое.

— Ух ты! — сказал Эндрю. — А две порции можно?

— Смотри, с таким грузом, пожалуй, на дно пойдешь. Мороженое твердое как камень.

— А с чем пирог?

— Ягодный.

— А мороженое какое?

— Кокосовое.

— Откуда оно у нас?

— Привезли на рейсовом судне.

Они запивали еду холодным чаем, а Роджер и Томас Хадсон после сладкого попросили себе кофе.

— Эдди — замечательный повар, — сказал Роджер.

— Это у вас аппетит разыгрался.

— Такой бифштекс? Такой салат? Такой пирог? Нет, тут дело не только в аппетите.

— Повар он превосходный, — согласился с ним Томас Хадсон. — А как тебе кофе?

— Кофе отличный.

— Папа, — сказал Том-младший. — Если приезжие с яхты будут вечером у мистера Бобби, можно, мы пойдем туда и разыграем, будто Энди — пьяница?

— Мистеру Бобби это, пожалуй, не понравится. У него могут быть неприятности с констеблем.

— А я схожу туда заранее и все ему объясню и поговорю с констеблем. Он с нами дружит.

— Что ж, ладно. Объясни все мистеру Бобби и смотри не прозевай ту публику. А как же быть с Дэви?

— Может, на руках его донесем? Это будет даже очень кстати.

— Я надену туфли Тома и сам дойду, — сказал Дэвид. — Томми, а ты уже придумал, что делать?

— По дороге решим, — сказал Том-младший. — Веки выворачивать ты еще не разучился?

— Нет, что ты! — сказал Дэвид.

— Только сейчас, пожалуйста, не выворачивай, — сказал Энди. — А то меня стошнит, весь лэнч сразу отдам.

— Вот захочу, наездник, и тебя вырвет.

— Нет, только не сейчас. Попозже, пожалуйста.

— Может, мне с тобой пойти? — спросил Роджер Тома-младшего.

— Чудесно, мистер Дэвис, — сказал Том-младший. — Мы вместе что-нибудь придумаем.

— Тогда пошли,— сказал Роджер.— Дэви, ты бы соснул немножко.

— Можно,— сказал Дэвид.— Я почитаю-почитаю и засну. А ты, папа, что будешь делать?

— Я буду работать на верхней веранде.

— Тогда я лягу там на диване и буду смотреть, как ты работаешь. Тебе это не помешает?

— Нет. Наоборот.

— Мы скоро вернемся,— сказал Роджер.— А ты, Энди, пойдешь с нами?

— Мне не мешало бы поупражняться. Но, пожалуй, не стоит: а вдруг эти приезжие уже там.

— Сообразил, наездник,— сказал Том-младший.— Ты малый сообразительный.

Они ушли, а Томас Хадсон сел за мольберт. Некоторое время Энди смотрел, как он работает, но потом убежал куда-то, а Дэвид то смотрел, то принимался читать и не заговаривал с ним.

Томасу Хадсону хотелось начать с прыжка рыбы, потому что писать ее в воде будет гораздо труднее, и он сделал два этюда и обоими остался недоволен, а потом написал третий, который ему понравился.

— Посмотри, Дэви, похоже?

— Ой, папа, замечательно! Но когда рыба выпрыгивает из воды, ведь она поднимает целый фонтан, правда? А не только когда она падает обратно в море.

— Да, пожалуй,— согласился с ним отец.— Ей придется пробивать поверхность.

— Помнишь, как она взметнулась — такая длинная-длинная. С ней должно подняться много воды. Если уловишь это взглядом, вода с нее, наверно, так и струится, так и хлещет. А у тебя она идет вверх или вниз?

— Это ведь только этюды. Я хотел изобразить ее на самом взлете.

— Я знаю, что это только этюды. Ты уж меня извини, папа, что я вмешиваюсь. Я не хочу строить из себя знатока.

— Нет, мне интересно тебя послушать.

— А вот кто, наверно, все знает, так это Эдди. Он каждую мелочь схватывает быстрее, чем фотоаппарат, и все запоминает. Правда, Эдди — замечательный человек?

— Да, конечно.

— О нем ведь никто ничего не знает. Кроме Томми, пожалуй. Эдди мне больше всех нравится — после тебя и мистера Дэвиса. Стряпает он и то с душой, и столько всего

знает, и все умеет. Помнишь, как он подстрелил акулу и как бросился в море за той рыбой?

— А вчера вечером Эдди избили, потому что не поверили ему.

— Но, папа, с него как с гуся вода.

— Да. Он веселый, всем довольный.

— Даже сегодня веселый, после того, как ему так досталось. И по-моему, он рад, что ему пришлось прыгнуть в море за той рыбой.

— Конечно.

— Хорошо бы мистер Дэвис тоже был такой веселый, как Эдди.

— Мистер Дэвис — человек более сложный.

— Да, но я помню, когда он был веселый и беспечный. Я очень хорошо знаю мистера Дэвиса, папа.

— Сейчас он ничего, веселый. Хотя от его беспечности уже и следа не осталось.

— Про беспечность — про хорошую беспечность, я не в упор ему.

— Я тоже. Но он потерял уверенность в себе.

— Да, — сказал Дэвид.

— Хорошо бы он опять ее обрел. Может, еще и обретет, когда снова начнет писать. Знаешь, почему Эдди веселый? Потому что он делает свое дело хорошо и делает его изо дня в день.

— А мистер Дэвис, наверно, не может заниматься своим делом изо дня в день, как ты и Эдди.

— Да. И многое другое ему мешает.

— Знаю, знаю. Для мальчишки я слишком много всего знаю, папа. Томми знает в двадцать раз больше, он всякие ужасные вещи знает, и его это не ранит. А меня все ранит. Почему — сам не понимаю.

— Потому, что ты все это глубоко чувствуешь?

— Да, чувствую, и со мной что-то делается. Я будто отвечаю за чужие грехи. Если так может быть.

— Да, понимаю.

— Папа, ты извини меня за такие серьезные разговоры. Я знаю, это невежливо с моей стороны. Но мне иногда хочется поговорить, потому что мы много чего не знаем, а когда вдруг узнаем что-нибудь, это так на нас накатывает, ну будто волной обдаёт. Вот такой волной, какие сегодня ходят на море.

— Дэви, ты всегда можешь меня спрашивать о чем угодно.

— Да, знаю. Большое тебе спасибо за это. О некоторых вещах я спрашивать, пожалуй, подожду. Кое-что, наверно, надо самому, на собственной шкуре испытать.

— А может, в этом розыгрыше у мистера Бобби тебе лучше не участвовать? Пусть только Том и Энди? Помнишь, какие у меня были неприятности с человеком, который говорил, что ты всегда пьяный?

— Помню. За три года он видел меня пьяным целых два раза. Но что о нем говорить! Если я когда-нибудь действительно напьюсь, тогда это представление у мистера Бобби будет мне оправданием. Что два раза пьяный, что три — это ведь все равно. Нет, папа, мне обязательно надо участвовать.

— А последнее время вы разыгрывали эти сценки?

— Да. И у нас с Томом здорово получалось. Но с Энди еще лучше. Энди у нас просто талант. Он такие штуки откальывает. А у меня свой номер.

— Что же вы такое делали? — Томас Хадсон продолжал работать.

— Ты не видел, как я изображаю братца-идиотика? Монголоида?

— Нет, не видел. Ну а посмотри теперь, Дэви.— Томас Хадсон отодвинулся в сторону.

— Чудесно,— сказал Дэвид.— Теперь я вижу, чего ты добивался. Когда рыба повисает в воздухе, прежде чем упасть обратно в море. Папа, а картину ты правда мне подаришь?

— Да.

— Я буду ее беречь.

— Их будет две.

— Тогда одну я возьму в школу, а вторая пусть висит дома у мамы. Или ты хочешь оставить ее у себя?

— Нет. Может, маме она понравится. Расскажи, что вы там еще проделывали,— попросил Томас Хадсон.

— В поездках мы вытворяли бог знает что. Вот уж где лучше всего выходит, так это в поездках. Там самая подходящая публика. Такой, пожалуй, больше нигде не встретишь. Сидят, глазек, и деваться им некуда.

Томас Хадсон услышал голос Роджера в соседней комнате и стал мыть кисти и прибирать свое хозяйство.

Вошел Том-младший и сказал:

— Ну, папа, как дела? Хорошо поработалось? Можно я посмотрю?

Томас Хадсон показал ему и первый и второй этюды. Том-младший сказал:

— Мне оба нравятся.

— А какой больше? — спросил его Дэвид.

— Оба хороши, — ответил он. Томас Хадсон почувствовал, что Том-младший торопится и что голова у него занята чем-то другим.

— Ну, как там у вас, получилось? — спросил его Дэвид.

— Колоссально, — сказал Том-младший. — Если мы не подведем, то получится замечательно. Там вся компания с яхты, и мы их здорово разыграли. С мистером Бобби и с констеблем все обговорили до того, как те пришли. Спектакль был такой: мистер Дэвис пьян в стельку, а я его урезониваю.

— Ты не переигрывал?

— Да что ты! — сказал Том-младший. — Ты бы видел мистера Дэвиса. Он пьянел с каждым стаканом, но постепенно, едва заметно.

— А что он пил?

— Чай. Бобби влил чай в бутылку из-под рома. А для Энди заготовлена бутылка из-под джина, и в ней вода.

— Как же ты урезонивал мистера Дэвиса?

— Я будто умолял его не пить. Но так, чтобы меня не слышали. Мистер Бобби с нами заодно, только он пьет настоящее виски.

— Тогда надо поторопиться, — сказал Дэвид. — Пока мистер Бобби совсем не окосел. А как мистер Дэвис?

— Замечательно. Он артист, большой артист, Дэви.

— Где Энди?

— Внизу, репетирует перед зеркалом.

— А Эдди тоже будет в этом участвовать?

— И Эдди и Джозеф.

— Они не запомнят, что им надо говорить.

— У них всего одна реплика.

— Одну реплику Эдди еще, пожалуй, запомнит, а насчет Джозефа я сомневаюсь.

— Ему только повторить ее следом за Эдди.

— А констебль посвящен в дело?

— Конечно.

— А сколько там человек в этой компании?

— Семеро, из них две девушки. Одна миленькая, а другая просто прелесть. Она уже начала жалеть мистера Дэвиса.

— Ух ты! — сказал Дэвид. — Пошли скорее!

— Как же ты туда дойдешь? — спросил Дэвида Том-младший.

— Я его донесу, — сказал Томас Хадсон.

— Папа, позволь мне в тапочках, — сказал Дэвид. — Я надену тапочки Тома. Буду идти на наружной стороне ступни. Это совсем не больно и произведет впечатление.

— Ну, ладно. Тогда пойдемте. Где Роджер?

— Они с Эдди перехватили на скорую руку. Пьют за его сценические таланты, — сказал Том-младший. — Уж очень долго он на одном чае сидел, папа.

Ветер по-прежнему дул свирепо, когда они вошли в «Понсе-де-Леон». Люди с яхты сидели у стойки и пили ром. Вид у них был симпатичный — загорелые, все в белом. Держались они вежливо, сразу подвинулись, освобождая место у стойки. Двое мужчин и девушка сидели с одного ее конца, там, где был автомат, а трое и вторая девушка — с другого, ближе к двери. У автомата сидела та, про которую Том сказал «просто прелесть». Но другая была тоже очень недурна. Роджер, Томас Хадсон и мальчишки подошли прямо к стойке. Дэвид даже старался не прихрамывать.

Мистер Бобби взглянул на Роджера и сказал:

— Опять вы тут?

Роджер кивнул с безнадежным видом, и Бобби поставил перед ним бутылку из-под рома и стакан.

Роджер молча протянул за бутылкой руку.

— Опять пьете, Хадсон? — сказал Бобби Томасу Хадсону. Выражение лица у него было строгое, нравоучительное. Томас Хадсон кивнул. — Пора бы прекратить, — сказал Бобби. — Всему есть границы, прах вас побери.

— Мне только немножко рому, Бобби.

— Того, что он пьет?

— Нет. Бакарди.

Мистер Бобби налил рому в стакан и подал его Томасу Хадсону.

— Вот, пейте, — сказал он. — Хотя отпустить вам не следовало бы.

Томас Хадсон выпил стакан залпом, и ром согрел, вдохновил его.

— Еще налейте, — сказал он.

— Через двадцать минут, Хадсон, — сказал Бобби. Он бросил взгляд на часы за стойкой.

Люди с яхты уже начали посматривать на них, но сдержанно, не нарушая приличий.

— А ты, малый, что будешь? — спросил Бобби Дэвида.

— Вы что, забыли, что я бросил пить? — грубо ответил ему Дэвид.

— С каких же это пор?

— Со вчерашнего вечера. Память, что ли, у вас отшибло?

— Ах, извините, — сказал мистер Бобби. И сам выпил. — Еще запоминай тут за каждым подонком. Я только об одном прошу: уведите этого Хадсона из моего заведения, у меня тут приличные клиенты сидят.

— Я пью тихо, не буяню, — сказал Томас Хадсон.

— Да уж, будьте любезны. — Мистер Бобби закупорил бутылку, стоявшую перед Роджером, и поставил ее обратно на полку.

Том-младший одобрительно кивнул ему и стал что-то шептать Роджеру. Роджер уронил голову на руки. Потом поднял ее и показал пальцем на бутылку. Том-младший замотал головой. Бобби взял бутылку, откупорил ее и поставил перед Роджером.

— Допивайтесь до чертиков, — сказал он. — Мне-то что, в конце концов.

Теперь те, что сидели по краям стойки, стали следить за ними повнимательнее, но по-прежнему сдержанно. Посещение значных мест было у них в программе, но вели они себя сдержанно и вообще казались людьми симпатичными.

Тут впервые заговорил Роджер.

— Этому крысенку налейте, — сказал он Бобби.

— Что будешь пить, сыпок? — спросил мистер Бобби у Эндрю.

— Джин, — сказал Энди.

Томас Хадсон старался не смотреть на соседей, но он чувствовал их реакцию.

Бобби поставил перед Энди бутылку и стакан. Энди налил стакан до краев и поднял его, глядя на Бобби.

— За ваше здоровье, мистер Бобби, — сказал он. — Первый раз за весь день пью.

— Пей, пей, — сказал Бобби. — Ты что-то поздно пришел сегодня.

— У него папа деньги отобрал, — сказал Дэвид. — Те, что мама подарила ему на день рождения.

Том-младший уставился в лицо Томасу Хадсону и заплакал. Он не пересаливал, не всхлипывал, но смотреть на него было тяжело. Все замолчали, а потом Энди сказал:

— Мистер Бобби, налейте мне еще, пожалуйста.

— Сам наливай,— сказал Бобби.— Горемычное ты дитя.— Потом повернулся к Томасу Хадсону.— Хадсон,— сказал он.— Вот вам еще стакан, и хватит, уходите.

— А я не буяню, зачем мне уходить? — сказал Томас Хадсон.

— Знаю я вас, недолго вы так продержитесь,— грозно сказал Бобби.

Роджер показал на бутылку, и Том-младший вцепился ему в рукав. Он сдерживал слезы, он был мужественный, хороший мальчик.

— Мистер Дэвис,— сказал он.— Не надо.

Роджер не вымолвил ни слова, и мистер Бобби опять поставил перед ним бутылку.

— Мистер Дэвис, вам же надо писать вечером,— сказал Том-младший.— Вы же обещали, что будете писать сегодня вечером.

— А как ты думаешь, почему я пью? — сказал ему Роджер.

— Но, мистер Дэвис, когда вы писали «Бурю», вы же обходились без выпивки.

— Помолчал бы ты лучше,— сказал ему Роджер.

Том-младший был страдалец — мужественный, исполненный терпения.

— Я помолчу, мистер Дэвис. Но вы же сами меня просили останавливать вас. Может, пойдем домой?

— Ты славный мальчик, Том,— сказал Роджер.— Но мы останемся здесь.

— До каких же пор, мистер Дэвис?

— До самого что ни на есть конца.

— Зачем, мистер Дэвис? — сказал Том.— Не надо. Право, не надо. Ведь когда у вас уже глаза не глядят, вы и писать не можете.

— Диктовать буду,— сказал Роджер.— Как Мильтон.

— Диктуете вы прекрасно, это я знаю,— сказал Том-младший.— Но сегодня утром мисс Фелпс стала вынимать страницы из машинки, а там все впереमेжку с музыкой.

— Я пишу оперу,— сказал Роджер.

— Опера у вас получится замечательная, мистер Дэвис. Но вам не кажется, что сначала надо дописать роман? Ведь вы же получили под него большой аванс.

— Вот ты его и дописывай,— сказал Роджер.— Сюжет тебе известен.

— Сюжет я знаю, мистер Дэвис, сюжет у вас изумительный, но ведь там опять про ту самую девушку, которая умерла в предыдущей вашей книге, и читателей это может запутать.

— Дюма тоже так писал.

— Что ты к нему пристаешь,— сказал Томас Хадсон Тому-младшему.— Сможет он писать после твоих приставаний?

— Мистер Дэвис, подыщите себе хорошую, опытную секретаршу, пусть она за вас пишет. Я слышал, что многие писатели так делают.

— Нет. Не по карману.

— А меня, Роджер, не хочешь в помощники? — спросил Томас Хадсон.

— Хочу. Нарисуй мой роман.

— Вот здорово! — сказал Том-младший.— Папа, ты правда рисуешь?

— За один день все сделаю,— сказал Томас Хадсон.

— И рисуй кверху ногами, как Микеланджело,— сказал Роджер.— Покрупнее нарисуй, чтобы король Георг мог без очков разглядеть.

— Нарисуешь, папа? — спросил Дэвид.

— Да.

— Прекрасно,— сказал Дэвид.— Наконец-то я слышу толковые слова.

— А это не трудно, папа?

— Кой черт трудно! Может, слишком легко. А какая там девица?

— Та самая, про которую мистер Дэвис всегда пишет.

— За полдня ее нарисую,— сказал Томас Хадсон.

— И кверху ногами,— сказал Роджер.

— Нельзя ли без похабства? — сказал ему Томас Хадсон.

— Мистер Бобби, можно мне еще стопочку? — попросил Энди.

— А ты сколько уже выпил, сынок?

— Всего две.

— Тогда валяй,— сказал Бобби и дал ему бутылку.— Слушайте, Хадсон, когда вы заберете отсюда эту картину?

— Покупателей не нашлось?

— Нет,— сказал Бобби.— Она у меня тут все загромождает. И вообще действует мне на нервы. Забирайте ее отсюда.

— Простите,— обратился к Роджеру один из людей с яхты.— Это полотно продается?

— С вами-то кто разговаривает? — Роджер взглянул на него.

— Никто,— сказал человек с яхты.— Вы Роджер Дэвис?

— Он самый.

— Если эту картину написал ваш друг и она продается, я бы хотел поговорить с ним о цене,— сказал человек с яхты, поворачиваясь к Томасу Хадсону: — Вы ведь Томас Хадсон?

— Вот именно.

— Ваша картина продается?

— К сожалению, нет,— сказал Томас Хадсон.

— Но бармен говорит...

— Он псих,— сказал Томас Хадсон.— Славный малый, но псих.

— Мистер Бобби, можно мне еще стопочку? — очень вежливо попросил Эндрю.

— Пожалуйста, крошка,— сказал Бобби и налил ему из бутылки.— Знаешь, что надо бы сделать? Надо бы нарисовать на этикетке твою здоровенькую, прелестную рожицу и наклеить ее на бутылки с джином вместо этих идиотских пучков ягод. Хадсон, нарисовали бы вы этикетку для джина с прелестной мордочкой Энди.

— И тогда пустим в продажу новую марку,— сказал Роджер.— Есть джин «Старый Том», а у нас будет «Весельчак Энди».

— Финансирую предприятие,— сказал Бобби.— Джин можно гнать прямо здесь, на острове. Негритята будут разливать его по бутылкам и наклеивать этикетки. Продавать можно шепотом и в розницу.

— Возврат к художественным ремеслам,— сказал Роджер.— Как во времена Уильяма Морриса.

— А из чего мы будем его гнать, мистер Бобби? — спросил Эндрю.

— Из рыбы,— сказал Бобби.— А также из креветок.

Люди с яхты уже не смотрели ни на Роджера, ни на Томаса Хадсона, ни на мальчиков. Все их внимание устремилось теперь на Бобби, и вид у них был обеспокоенный.

— Так как же насчет полотна? — сказал все тот же человек.

— Какое полотно вы имеете в виду, уважаемый? — спросил его Бобби, опрокинув наскоро еще стакан виски.

— Вон то, большое, где три смерча и человек в лодке.

— Где? — спросил Бобби.

— Вон там, — сказал человек с яхты.

— Прошу прощения, сэр, но с вас, по-моему, хватит. Вы находитесь в приличном заведении. Здесь у нас не бывает ни смерчей, ни человеков в лодках.

— Я говорю вон о той картине.

— Не раздражайте меня, сэр. Никаких картин там нет. Будь здесь произведение живописи, оно висело бы над стойкой, там, где ему и полагается, и нарисована была бы на нем голая женщина в роскошной позе, вся как есть.

— Я говорю вон о той картине.

— Какой картине, где?

— Вон там.

— Я с удовольствием угощу вас сельтерской, сэр. Для протрезвления. И кликну вам рикшу, — сказал Бобби.

— Рикшу?

— Да. Если желаете знать правду. Вы сами рикша. Выпили, и хватит с вас.

— Мистер Бобби, — очень вежливо спросил Энди. — А с меня тоже хватит?

— Нет, дружок. Конечно, нет. Наливай себе сам.

— Спасибо, мистер Бобби, — сказал Энди. — Это уже четвертая.

— Да хоть бы и сотая, — сказал Бобби. — Ты же моя гордость.

— Пошли-ка отсюда, Хэл, — сказал тому, кто хотел купить картину, его приятель.

— Да мне хочется купить эту картину, — сказал первый. — Если цена будет подходящая.

— А мне хочется уйти отсюда, — стоял на своем второй. — Потеха потехой, но смотреть, как дети хлещут ром, — это, пожалуй, уж слишком.

— Неужели вы даете этому маленькому мальчику джии? — спросила Бобби недурненькая блондинка, та что сидела в конце стойки ближе к двери. Она была высокого роста, с очень светлыми волосами и симпатичными веснушками. Веснушки у нее были не как у рыжих, а как у блондинок, у которых кожа не обгорает, а покрывается ровным загаром.

— Да, мэм.

— По-моему, это мерзость,— сказала девушка.— Это отвратительно, это мерзко и преступно.

Роджер старался не смотреть на нее, а Томас Хадсон сидел, опустив глаза.

— А что ему, по-вашему, пить, мэм? — спросил Бобби.

— Ничего. Ему вообще пить незачем.

— Это, пожалуй, несправедливо,— сказал Бобби.

— Ах, несправедливо? Значит, отравлять ребенка алкоголем — это справедливо?

— Слышишь, папа? — сказал Том-младший.— Я же говорил, что Энди не следует пить.

— Из трех братьев он один пьет, мэм, поскольку вот этот малый пить бросил,— попытался убедить ее Бобби.— Значит, по-вашему, справедливо лишать единственного из трех столь невинного удовольствия?

— Справедливо? — сказала девушка.— Да вы чудовище. И вы чудовище,— сказала она Роджеру.— И вы тоже,— сказала она Томасу Хадсону.— Все вы мне омерзительны. Видеть вас не могу.

В глазах у нее стояли слезы, она повернулась спиной к мальчикам и к мистеру Бобби и сказала своим спутникам:

— Хоть бы вы вмешались.

— По-моему, это все в шутку,— сказал один из мужчин.— Вроде того грубияна официанта, которого нанимают, чтобы он дерзил гостям. Или как блатной язык.

— Нет, не в шутку. Этот мерзкий тип наливает ему джина. Это же отвратительно, это же трагедия.

— Мистер Бобби,— спросил Томас Хадсон,— а мне больше пяти не положено?

— Сегодня нет,— сказал Бобби.— Я не желаю, чтобы вы расстраивали даму своим поведением.

— Да уведите вы меня отсюда,— сказала девушка.— Не хочу я на это смотреть.— Она заплакала, и двое ее спутников вышли из бара вместе с ней, а Томасу Хадсону, Роджеру и мальчикам стало не по себе.

К ним подошла вторая девушка — та, что была по-настоящему прелестна. Очень красивое загорелое лицо, волосы рыжеватые. Она была в брюках, и Томас Хадсон сразу заметил, что сложение у нее замечательное, а шелковистые волосы колыхались в такт шагам. Ему показалось, что он уже где-то видел эту девушку.

— Ведь это не джиг? — спросила она Роджера.

— Нет. Конечно нет.

— Пойду успокою ее,— сказала девушка.— Она уж очень расстроилась.

И пошла к двери и, выходя, улыбнулась им. Она была просто прелесть.

— Ну вот и все, папа,— сказал Энди.— Можно нам кока-колы?

— А мне пива. Если что не расстроит ту даму,— сказал Том-младший.

— Из-за пива она вряд ли расстроится,— сказал Томас Хадсон.— Разрешите угостить вас? — спросил он человека, который хотел купить картину.— Мы тут дурачились, вы уж нас простите.

— Что вы, что вы,— сказал тот.— Это было очень интересно. Мне все понравилось. Очень понравилось. Я всегда интересовался писателями и художниками. Ведь вы все это, наверно, на ходу сочиняли?

— Да,— сказал Томас Хадсон.

— Так вот насчет этой картины...

— Она собственность мистера Сондерса,— пояснил ему Томас Хадсон.— Я написал эту картину в подарок ему. Вряд ли он ее продаст. Впрочем, картина его, и он волен делать с ней все, что захочет.

— Хочу, чтобы она висела у меня,— сказал Бобби.— И не предлагайте за нее больших денег, потому что тогда я расстроюсь.

— А мне бы очень хотелось повесить у себя эту картину.

— И мне тоже,— сказал Бобби.— Вот она у меня и висит.

— Но, мистер Сондерс, такой ценной картине в баре не место.

Бобби начинал злиться.

— Отвяжитесь от меня,— сказал он.— Нам было весело. Мы тут так веселились! И вот, на-поди, женщина распустила нюни, и все пошло к черту. Я знаю, она рассуждает правильно. Но какого дьявола! Эти правильные рассуждения хоть кого из себя выведут. Моя старуха тоже рассуждает правильно и поступает правильно, а я из-за нее каждый день на стену лезу. А ну вас с вашими рассуждениями. Заявились сюда и сразу — вынь да положь вам эту картину!

— Но, мистер Сондерс, вы же сами потребовали, чтобы ее убрали отсюда. Значит, она продается?

— Это все чепуха,— сказал Бобби.— Это мы вас разыгрывали.

— Так картина *не* продается?

— Нет. Картина *не* продается, и *не* отдается, и *не* выдается.

— Ну что ж поделаешь. Но если она все-таки будет продаваться — тогда вот моя карточка.

— Прекрасно,— сказал Бобби.— Может, у Тома в мастерской есть что-нибудь на продажу. Есть, Том?

— Нет. Вряд ли,— ответил Томас Хадсон.

— Мне бы хотелось посмотреть ваши работы,— сказал человек с яхты.

— Я сейчас ничего не выставлю,— ответил ему Томас Хадсон.— Если хотите, могу дать вам адрес галереи в Нью-Йорке.

— Благодарю вас. Разрешите, я запишу.

Вечная ручка была при нем, и он записал адрес на обороте своей визитной карточки, а другую дал Томасу Хадсону. Потом поблагодарил Томаса Хадсона еще раз и предложил ему выпить.

— А вы не могли бы назвать мне примерную цену ваших больших полотен?

— Нет,— ответил ему Томас Хадсон.— Это вы справьтесь у моего агента.

— Я сразу же с ним повидаюсь, как только приеду в Нью-Йорк. Вот эта ваша картина чрезвычайно меня заинтересовала.

— Благодарю вас,— сказал Томас Хадсон.

— Значит, она не продается? Окончательно?

— О господи! — сказал Бобби.— Перестаньте вы, в самом деле. Картина моя. Том для меня ее написал, потому что я подал ему идею.

Человек, видно, решил, что «шуточки» опять пошли в ход, и улыбнулся понимающей улыбкой.

— Я не хочу приставать...

— А пристаёте прямо с ножом к горлу,— сказал ему Бобби.— Ну, хватит. Пейте, я угощаю, а про картину забудьте.

Мальчики разговаривали с Роджером.

— Пока не прервали, у нас неплохо получалось. Правда, мистер Дэвис? — сказал Том-младший.— Я не слишком переигрывал?

— Все было замечательно,— сказал Роджер.— Вот только Дэви не пришлось выступить.

— А я готовился к роли страшилища,— сказал Дэвид.

— Ты бы ее на месте уложил,— сказал Том-младший.— Она и так расстроилась, а ты собирался еще скорчить страшную рожу.

— Я как раз вывернул веки и хотел вскочить в таком виде,— сказал им Дэвид.— Нагнулся, вывернул, а тут как раз все и кончилось.

— Жаль, что попалась такая добрая дама,— сказал Энди.— Я даже не успел показать, как на меня ром действует. Теперь уже все, больше наш номер здесь не повторить.

— Мистер Бобби-то что выделял! — сказал Том-младший.— Мистер Бобби, вы были великолепны.

— Жаль, жаль, что пришлось прекратить,— сказал Бобби.— И констебль не успел прийти, и я только-только начал входить в роль. Теперь буду знать, что чувствуют знаменитые актеры на сцене.

Девушка появилась в дверях. На ветру фигуру ее облепило свитером, волосы отнесло назад. Она подошла к Роджеру.

— Ей не хочется сюда возвращаться. Но она ничего, успокоилась.

— Не выпьете ли с нами? — спросил ее Роджер.

— С удовольствием.

Роджер назвал ей всех их по именам, а она сказала, что ее зовут Одри Брюс.

— Можно мне прийти посмотреть ваши работы?

— Пожалуйста,— сказал Томас Хадсон.

— И я бы тоже пришел вместе с мисс Брюс,— сказал тот настырный человек.

— Вы что, ее отец? — спросил Роджер.

— Нет. Я ее старый друг.

— Вам нельзя,— сказал Роджер.— Дождитесь Дня Старых Друзей. Или предъявите приглашение от организационного комитета.

— Прошу вас, не надо грубить,— сказала Роджеру девушка.

— Увы, я, кажется, уже нагрубил.

— И больше не надо.

— Слушаюсь.

— Давайте по-хорошему.

— Ладно.

— Я оценила реплику Тома про ту девушку, которая встречается в каждой вашей книге.

— Правда, оценили? — спросил ее Том-младший. — Я ведь просто поддразнивал мистера Дэвиса. На самом деле это неверно.

— А по-моему, верно — отчасти.

— Приходите к нам, — сказал ей Роджер.

— А моих друзей можно привести?

— Нет.

— Никого?

— А вы без них не можете?

— Могу.

— Вот и хорошо.

— В котором часу мне прийти?

— Когда хотите, — сказал Томас Хадсон.

— А к ленчу меня пригласят?

— Безусловно.

— Как здесь славно, на этом острове, — сказала она. — И как приятно, что все мы такие хорошие.

— Дэвид изобразит вам страшилище, — сказал ей Энди. — А то он не успел, потому что пришлось кончать.

— Боже мой! — сказала она. — Сколько нам всего предстоит!

— Вы надолго здесь? — спросил ее Том-младший.

— Не знаю.

— А яхта здесь надолго? — спросил Роджер.

— Не знаю.

— Что же вы знаете? — сказал Роджер. — Это я по-хорошему спрашиваю.

— Не очень много. А вы?

— По-моему, вы прелесть, — сказал Роджер.

— О-о! — сказала она. — Благодарю вас.

— Вы здесь еще побудете?

— Не знаю. Может быть.

— Пойдемте-ка лучше к нам, вместо того чтобы пить здесь, — сказал Роджер.

— Нет, лучше здесь, — сказала она. — Здесь так хорошо.

ХII

Назавтра ветер улегся, и Роджер с мальчиками пошли купаться, а Томас Хадсон сидел на верхней веранде и пил. Эдди сказал, что соленая морская вода не страшна для израненных ног Дэвида, нужно только сразу же после купания наложить свежие повязки. Работая, Томас Хад-

сон время от времени поглядывал на море и на пловцов. Он думал о том, выйдет у Роджера что-нибудь со вчерашней девушкой или нет, но эти мысли отвлекали его от работы, и он их отогнал. Трудней было отогнать другую мысль — о том, до чего эта девушка похожа на мать Томамладшего, какой он ее впервые увидел. Впрочем, мало ли девушек умудрялись каким-то образом казаться ему похожими на нее, думал он, продолжая работать. Он был убежден, что еще встретится с этой девушкой и даже будет встречаться часто. Это было ясно по всему. Ну что ж, она живописна, и она как будто славная девушка. А если она ему напоминает мать Томми, тем хуже. Тут ничего не поделаешь. Бывало это с ним, не раз и не два — бывало и проходило. Он продолжал работать.

Он уже знал, что картина будет удачная. Вот с другой, где рыба должна быть написана в воде, ему придется помучиться. Пожалуй, с нее надо было начать, подумал он. Но теперь уж лучше довести эту до конца. А той можно будет заняться после того, как они уедут.

— Давай я перенесу тебя, Дэви,— услышал он голос Роджера.— А то забьется песок, больно будет.

— Хорошо,— сказал Дэвид.— Только сперва я ополосну ноги в океане.

Роджер донес его до дому и усадил в кресло у самой двери, выходявшей на берег. Когда они проходили под верхней верандой, Томас Хадсон услышал, как Дэвид спрашивал:

— Мистер Дэвис, вы думаете, она придет?

— Не знаю,— сказал Роджер.— Надеюсь, что придет.

— Правда, она красивая, мистер Дэвис?

— Очень.

— Мне кажется, мы ей понравились. Мистер Дэвис, а что она вообще делает, как вы думаете?

— Не знаю. Не спрашивал.

— Томми в нее влюблен. И Энди тоже.

— А ты?

— Не знаю. Я так легко не влюбляюсь, как они. Но мне бы хотелось увидеть ее опять. Мистер Дэвис, а она не шлюха, по-вашему?

— Не знаю. Непохоже. С чего это ты?

— Томми говорит, что влюблен в нее, но что она, скорей всего, просто шлюха. А Энди говорит, пусть, ему это не мешает.

— Непохоже,— еще раз повторил Роджер.

— Мистер Дэвис, а эти ее спутники, правда они какие-то странные?

— Есть немножко.

— Интересно, что они вообще делают?

— А вот она придет, мы у нее и спросим.

— Вы думаете, она придет?

— Придет,— сказал Роджер.— Можешь не беспокоиться.

— Это Энди и Томми беспокоятся. А я влюблен не в нее. Вы знаете в кого. Я вам рассказывал.

— Помню. Она, между прочим, на нее похожа,— сказал Роджер.

— Может быть, она ее видела в кино и нарочно старается быть на нее похожей,— сказал Дэвид.

Томас Хадсон продолжал работать.

Роджер возился с ногами Дэвида, когда она показалась на пляже. Она была босиком, в купальном костюме и в юбке из той же материи, а в руке она несла пляжную сумку. Томасу Хадсону было приятно увидеть, что ноги у нее так же хороши, как лицо и как грудь, форму которой он вчера угадал под свитером. Плечи и руки были чудесные, и вся она была коричневая от загара. Никакой косметики, только губы подкрашены: они были чудесного рисунка, и ему захотелось увидеть их без помады.

— Вот и я,— сказала она.— Не опоздала?

— Нет,— ответил ей Роджер.— Мы уже выкупались, но я пойду еще.

Роджер выдвинул кресло на самый пляж, и, когда девушка наклонилась над Дэвидом, ее волосы перевесились вперед, открыв на затылке тугие, короткие завиточки, которые Томасу Хадсону хорошо видны были сверху. Они серебрились от солнца на загорелой коже.

— Что это у него с ногами? — спросила она.— Беденький.

— Я стер их до крови, когда тащил из воды большую рыбу,— сказал Дэвид.

— Очень большую?

— Мы точно не знаем. Она сорвалась.

— Какая жалость.

— Да ну, что там,— сказал Дэвид.— Мы уже и забыли.

— А купаться с этим ничего, можно?

Роджер мазал стертые места ртутнохромом. Они были сухие и чистые, только кожа немного сморщилась от соленой воды.

— Эдди говорит, это даже полезно,— сказал Дэвид.

— Кто такой Эдди?

— Наш повар.

— А повар у вас и за врача?

— Он хорошо разбирается в таких вещах,— объяснил Дэвид.— И мистер Дэвис тоже сказал, что можно.

— А что еще скажет мистер Дэвис? — спросила она Роджера.

— Что он рад вас видеть.

— Очень приятно. Вы молодежь, вчера бурно провели вечер?

— Не слишком,— сказал Роджер.— Сыграли в покер, потом я почитал немного и лег спать.

— Кто выиграл в покер?

— Энди и Эдди,— сказал Дэвид.— А вы что делали?

— Мы играли в триктрак.

— А как вам спалось? — спросил Роджер.

— Хорошо. А вам?

— Великолепно,— сказал он.

— Из нас один Томми умеет играть в триктрак,— сказал девушке Дэвид.— Его выучил один непутевый человек, который потом оказался феей.

— Неужели? Грустная история.

— Как Томми рассказывает, она не такая уж грустная,— сказал Дэвид.— Плохого ничего не случилось.

— По-моему, про фей всегда грустно слушать,— сказала она.— Бедные феи.

— Да нет, тут даже интересно было,— сказал Дэвид.— Понимаете, этот непутевый человек, который учил Томми играть в триктрак, стал ему объяснять, кого называют феями и почему, и рассказывать ему про греков и про Дамона и Пифинию, и про Давида и Ионафана. Вроде того, как в школе рассказывают про икру и молоки у рыб или про пчел, как они оплодотворяют растения пыльцой. А Томми его спросил, читал ли он книгу Андре Жида. Как эта книга называется, мистер Дэвис? Не «Коридон», а другая, где про Оскара Уайльда?

— «*Si le grain ne meurt*»¹,— сказал Роджер.

— Ужасная книга, а Томми брал ее с собой в школу и читал ребятам. Читал и переводил — ребята ведь не понимали по-французски. В общем это порядочная скука,

¹ «Если зерно не погибнет» (фр.).

но, когда мистер Жид попадает в Африку, тут-то и начинается ужасное.

— Я читала,— сказала девушка.

— А, тем лучше,— сказал Дэвид.— Значит, вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, этот человек, который учил Томми играть в триктрак, а потом оказался феей, он страшно удивился, когда Томми упомянул эту книгу, но и обрадовался тоже, потому что ему можно было не начинать своих объяснений, так сказать, с пчел и цветочков. «Я,— сказал он,— очень рад, что ты знаешь», или что-то в этом роде. А Томми ему ответил — мне так понравился этот ответ, что я его заучил наизусть: «Мистер Эдвардс, у меня к гомосексуализму интерес чисто академический. Большое спасибо, что вы меня научили играть в триктрак, и всего вам хорошего». У Тома тогда были замечательные манеры,— сказал Дэвид.— Он только что вернулся из Франции, где жил вместе с папой, и у него были замечательные манеры.

— А ты тоже жил во Франции?

— Мы все там жили, только в разное время. Но один Томми хорошо это помнит. У Томми вообще самая лучшая память. И он все запоминает очень верно. А вы когда-нибудь жили во Франции?

— Очень долго жила.

— Вы там учились?

— Да. В одном парижском пригороде.

— Придет Томми — надо будет вам поговорить с ним,— сказал Дэвид.— Он так знает Париж и его пригороды, как я — здешние отмели и рифы. Даже, наверно, лучше.

Она теперь сидела в тени, падавшей от веранды, и пропускала между пальцами ног струйки белого песка.

— Расскажи мне про отмели и рифы,— попросила она.

— Я вам лучше их покажу,— сказал Дэвид.— Возьмем гребную лодку и поедем с вами на отмели, а там можно будет поплавать и поохотиться под водой — если вы это любите. А иначе большой риф и не рассмотришь как следует.

— С удовольствием поеду.

— Кто там с вами на яхте? — спросил Роджер.

— Люди. Вам они не понравятся.

— Почему же, они, кажется, симпатичные.

— Мы непременно должны разговаривать в таком стиле?

— Нет,— сказал Роджер.

— Один вам вчера продемонстрировал образец настойчивости. Это самый богатый и самый скучный. Но, может быть, довольно о них? Все они очень хорошие и замечательные, и с ними можно умереть со скуки.

Прибежал Том-младший, а за ним Эндрю. Они купались в другом конце пляжа, а выйдя из воды, увидели девушку около кресла Дэвида и пустились бегом по слежавшемуся песку. Эндрю по дороге отстал и совсем запыхался.

— Не мог меня подождать? — сказал он Тому-младшему.

— Прости, Эндрю, — ответил Том. И потом обратился к девушке: — Доброе утро. Мы вас не дождались и пошли купаться.

— Извините, что опоздала.

— Вы не опоздали. Мы все будем купаться еще раз.

— Я не буду, — сказал Дэвид. — Идите все сейчас. А то я тут уже слишком разговорился.

— Что прибой сильный, пусть вас не смущает, — сказал Том-младший девушке. — Тут дно понижается отлого, не сразу.

— А нет здесь акул или барракуд?

— Акулы приплывают только ночью, — сказала ей Роджер. — А барракуд бояться нечего. Они нападают, только если вода грязная и мутная.

— Они тогда могут напасть по ошибке, — объяснил Дэвид. — Заметят, в воде что-то белеет, а что — не разглядеть. Мы тут постоянно встречаем барракуд во время купания.

— Плынешь и вдруг видишь такую уродину чуть не рядом, только поглубже, — сказал Том-младший. — Они очень любопытные, эти барракуды. Но чаще всего они сразу же уплывают.

— А вот если у вас рыба в сетке или на гарпуне, — сказал Дэвид, — на рыбу они непременно бросятся, могут тогда и вас задеть ненароком. Они ведь страх какие быстрые.

— Или когда вы плывете среди стаи лобанов или сардин, — сказал Том-младший. — Тут они могут вас зацепить, врезавшись в стаю.

— А вы держитесь между Томми и мной, — сказал ей Энди. — Тогда ничего с вами не случится.

Волпы с грохотом обрушивались на берег, и, пока разбившаяся волна уползала назад, давая место новой, на

полосу твердого сырого песка успевали слететься морские зуйки и ржанки.

— А может, не стоит купаться в такую волну, когда ничего не видно?

— Почему не стоит,— сказал Дэвид.— Нужно только осторожно ступать по дну до того, как бросишься вплавь. А вообще в такую волну даже меньше шансов наткнуться на морского кота.

— Мы с мистером Дэвисом будем оберегать вас,— сказал Том.

— И я буду вас оберегать,— сказал Энди.

— Вряд ли вам встретится какая-нибудь рыба в полосе прибоя,— сказал Дэвид.— Разве что маленькие помпано. Они приплывают к берегу кормиться песчаными блохами. На них приятно смотреть в воде, они любопытные и доверчивые.

— Вас послушать, так кажется, будто собираешься купаться в аквариуме,— сказала девушка.

— Энди научит вас выпускать воздух из легких так, чтобы дольше держаться под водой,— продолжал Дэвид.— Том вам расскажет, что нужно делать, чтобы спастись от мурены.

— Перестань ее запугивать, Дэв,— сказал Том-младший.— Это ведь он у нас подводный король, а мы нет. Но именно потому, мисс Брюс...

— Одри.

— Одри,— повторил Том и запнулся.

— Так что же ты хотел сказать, Томми?

— Забыл,— сказал Томми.— Ну, пошли в воду.

Томас Хадсон еще немного поработал. Потом сошел вниз и, присев около Дэвида, стал смотреть на четверку пловцов, то показывавшихся, то вновь исчезающих среди гребней пены. Девушка купалась без шапочки и в воде была вся гладкая, как тюлень. Плавала она не хуже Годжера, уступая ему только в силе движений. Наконец они вышли на берег и, ступая по твердому песку, пошли к дому; мокрые волосы девушки, откинутые со лба, облепили голову, ничем не маскируя ее природную форму, и Томас Хадсон подумал, что еще не встречал женщины с таким прелестным лицом и красивым телом. Кроме одной, подумал он. Кроме одной, которая была самой прелестной и самой красивой. Брось думать об этом, сказал он себе. Смотри на девушку и радуйся, что она здесь.

— Ну как купание? — спросил он ее.

— Замечательно, — улыбнулась она ему. — Но я ни одной рыбы не видела, — сказала она Дэвиду.

— Трудно увидеть, когда так много пены, — сказал Дэвид. — Разве если столкнешься вплотную.

Она села на песок и обхватила руками колени. Ее пересохшие волосы падали до самых плеч, а Том-младший и Энди сидели по обе ее стороны. Роджер растянулся на песке лицом к ней и положил голову на скрещенные руки. Томас Хадсон отворил забранную проволочной сеткой дверь, поднялся наверх и снова сел за работу. Это будет самое лучшее, решил он.

А девушка, теперь скрытая от глаз Томаса Хадсона, сидела на песке и смотрела на Роджера.

— Взгрустнулось? — спросила она.

— Нет.

— Думы одолевают?

— Может быть. Не знаю сам.

— В такой день, как сегодня, приятно совсем ни о чем не думать.

— Ладно. Не думать, так не думать. А на волны смотреть можно?

— Это никому не заказано.

— Хотите, искупаемся еще раз?

— Попозже.

— Кто вас учил плавать? — спросил ее Роджер.

— Вы.

Роджер поднял голову и посмотрел на нее.

— Помните пляж на Антибском мысу? Маленький пляж на Иден-Рок. Я часто смотрела, как вы прыгали с вышки на Иден-Рок.

— Откуда вы взялись, черт побери, и как ваше настоящее имя?

— Я приехала, чтобы встретиться с вамп, а мое имя я вам уже сказала: Одри Брюс.

— Нам уйти, мистер Дэвис? — спросил Том-младший.

Роджер ему даже не ответил.

— Как ваше настоящее имя?

— Когда-то я была Одри Рэйберн.

— А зачем вы приехали со мной встретиться?

— Захотела и приехала. А что, напрасно?

— Нет, — ответил Роджер. — Кто вам сказал, что я здесь?

— Один противный субъект, которого я повстречала в Нью-Йорке у знакомых. У вас с ним была драка. Он сказал, что вы здесь болтаетесь на берегу и пробавляетесь чем придется.

— Не так уж плохо пробавляюсь,— сказал Роджер, глядя на море.

— Он еще много чего про вас говорил. И все не слишком лестное.

— С кем вы были тогда в Антибе?

— С мамой и Диком Рэйберном. Теперь вспоминаете?

Роджер сел и уставился на нее. Потом вскочил, схватил ее в объятия и расцеловал.

— Будь я неладен,— сказал он.

— Так я не напрасно приехала? — спросила она.

— Девчонка,— сказал Роджер.— Неужели это в самом деле вы?

— Требуются доказательства? Не желаете верить на слово?

— Я не запомнил никаких тайных примет.

— А как я вам теперь нравлюсь?

— Безмерно.

— Не воображали же вы, что я на всю жизнь останусь похожей на жеребенка? Помните, вы мне как-то сказали в Отейле, что я похожа на жеребенка, и я плакала.

— Но это ведь был комплимент. Я сказал, что вы похожи на жеребенка с иллюстрации Теньеля к «Алисе в Стране Чудес».

— А я плакала.

— Мистер Дэвис и Одри,— сказал Энди.— Мы идем выпить кока-колы. Вам принести?

— Мне не нужно. А вам, девчонка?

— Я бы с удовольствием выпила.

— Пошли, Дэв?

— Нет. Я хочу дослушать.

— Ну знаешь ли — а еще брат называется,— сказал ему Том-младший.

— Принесите и мне кока-колы,— попросил Дэвид.— Продолжайте, мистер Дэвис, я вам не буду мешать.

— Мне ты не мешаешь, Дэви,— сказала девушка.

— Куда же вы девались потом и почему вы теперь Одри Брюс?

— Тут довольно сложная история.

— Могу себе представить.

— Мама в конце концов вышла замуж за некоего Брюса.

— Я его хорошо знал.

— Я его очень любила.

— Я пас,— сказал Роджер.— Ну, а «Одри» откуда?

— Это мое второе имя. Я на него перешла потому, что мне не очень нравилось мамино.

— А мне не очень правилась сама мама.

— Мне тоже. Я любила Дика Рэйберна, и я любила Билла Брюса, а в вас я была влюблена и в Томаса Хадсона была влюблена. Он меня тоже не узнал, да?

— Не знаю. Он ведь чудак, мог и узнать, да промолчать. Но он говорит, что вы похожи на мать Томми.

— Я бы хотела, чтобы это было так.

— Нечего вам хотеть, потому что это так и есть.

— Вы правда на нее похожи,— сказал Дэвид.— Уж мне можете верить. Простите, пожалуйста, Одри, что я вмешиваюсь и вообще что я тут торчу.

— Не были вы влюблены ни в меня, ни в Тома,— сказал Роджер.

— А вот и была. Вы этого знать не можете.

— Где теперь ваша мама?

— Она замужем за неким Джефффри Таунсендом и живет в Лондоне.

— И все еще употребляет наркотики?

— Да. И все еще красива.

— В самом деле?

— Вот именно в самом деле. Не думайте, что это дочернее пристрастие.

— Когда-то вы были примерной дочерью.

— И примерной католичкой. Я за всех молилась. За все болела душой. Я соблюдала за маму все посты, чтобы снискать ей благодать легкой смерти. А как горячо я молилась за вас, Роджер.

— Жаль, это не очень мне помогло,— сказал Роджер.

— И мне жаль,— сказала она.

— А еще неизвестно, Одри. Вдруг да поможет когда-нибудь,— сказал Дэвид.— То есть я не хочу сказать, что мистер Дэвис нуждается в этом. Я вообще про молитвы.

— Спасибо, Дэв,— сказал Роджер.— А куда девался Брюс?

— Он умер. Вы разве не помните?

— Нет. Что Дик Рэйберн умер, это я помню.

— Не удивительно.

— Да.

Вернулись Томми и Энди с запотевшими бутылками кока-колы, и Энди подал одну бутылку девушке, а другую Дэвиду.

— Спасибо,— сказала девушка.— Замечательно, что холодная.

— А знаете, Одри, я вас вспомнил,— сказал Том-младший.— Вы приходили в мастерскую с мистером Рэйберном. И всегда молчали. И мы все вместе ходили в цирк — вы, я, папа и мистер Рэйберн, и на скачки мы ездили. Только вы тогда не были такая красивая.

— Неправда, была,— сказал Роджер.— Можешь спросить папу.

— Мне очень жаль мистера Рэйберна,— сказал Том-младший.— Я хорошо помню, как это случилось. Его убило во время соревнований по бобслею — санки сорвались на крутом повороте и врезались в толпу. Он перед тем долго болел, и мы с папой его навещали. А потом сталправляться, и ему захотелось поехать на эти соревнования. Лучше бы он не ездил. Мы при этом не были. Простите, Одри, может быть, вам тяжело вспоминать об этом.

— Он был хороший человек,— сказала Одри.— Но мне не тяжело, Томми. Прошло уже столько лет.

— А со мной или с Дэвидом вы не были знакомы? — спросил Энди.

— Как же это могло быть, наездник? Нас тогда еще на свете не было,— сказал Дэвид.

— А откуда мне знать,— сказал Энди.— Я про Францию ничего не помню и не думаю, чтобы ты помнил много.

— Я этого и не говорю. Томми помнит Францию за нас всех. А я потом буду помнить этот остров. И еще я помню все папины картины, которые видел.

— А те, где скачки, помнишь? — спросила Одри.

— Те, что видел, помню все.

— Там на некоторых есть я,— сказала Одри.— В Лонгшане, в Отейле, в Сен-Клу. Но всегда только с затылка.

— А, если с затылка, тогда я вас помню,— сказал Том-младший.— У вас были распущенные длинные волосы, а я сидел на два ряда выше вас, чтобы лучше видеть. День был чуть туманный — знаете, бывают такие осенние дни, когда воздух будто полон сизого дыма,— и места у нас были на верхней трибуне, прямо против канавы с водой, а большой барьер и каменная стенка приходились слева от

еас. Финиш был ближе к нам, а канава с водой на другой стороне круга. И всегда я был позади вас и чуть повыше, если только мы не стояли внизу, у дорожки.

— Ты мне тогда казался очень смешным мальчуганом.

— Я, наверно, и был смешной. А вы всегда молчали. Может, вам не о чем было говорить с таким малышом. Но правда ипподром в Отейле чудесный?

— Замечательный. Я там в прошлом году была.

— Может, и мы побываем этим летом, Томми,— сказал Энди.— А вы тоже ездили с ней на скачки, мистер Дэвис?

— Нет,— сказал Роджер.— Я был только ее учителем плавания.

— Вы были моим героем.

— А папа не был вашим героем? — спросил Эндрю.

— Конечно, был. Но я не давала себе мечтать о нем, потому что он был женат. Когда они с матерью Тома разошлись, я написала ему письмо. Там с большой силой говорилось о моих чувствах и о моей готовности занять место матери Тома, если это возможно. Но я так и не отправила это письмо, потому что он женился на матери Дэви и Энди.

— Да, не так все просто в жизни,— сказал Том-младший.

— Расскажите нам еще про Париж,— сказал Дэвид.— Раз мы туда едем, нам нужно узнать о нем побольше.

— Я помню, Одри, как мы, бывало, стояли у самых перил и лошади, после заключительного препятствия, мчались прямо на нас, словно вырастая с каждой секундой, и помню глухой стук копыт по дерну, когда они наконец пролетали мимо.

— А ты помнишь, как в холодные дни мы теснились к большим braziers, чтобы согреться, и ели бутерброды, купленные в баре?

— Лучше всего бывало осенью,— сказал Том-младший.— Домой мы возвращались в открытом экипаже, помните? Через Булонский лес и потом вдоль берега, а кругом уже сумерки, и жгут сухие листья, и буксиры тянут баржи по Сене.

— Как это ты так хорошо все запомнил? Ведь ты был совсем крошечным мальчуганом.

— Я помню каждый мост от Сюрена до Шарантона,— сказал Том-младший.

— Быть не может.

— Я не взялся бы перечислить их по названиям. Но они у меня все в голове.

— Не поверю я, что ты все это помнишь. И потом, река ведь довольно безобразна кое-где и многие мосты тоже.

— Знаю. Но ведь я еще после вас очень долго жил в Париже, и мы с папой чуть не все берега исходили пешком. И где красиво и где безобразно, и во многих местах я с приятелями ловил рыбу.

— Ты правда ловил рыбу в Сене?

— Правда.

— И твой папа тоже?

— Не так часто, но иногда ловил — в Шарантоне. Но обычно ему после работы хотелось размяться, и мы с ним ходили и ходили, пока я не уставал до того, что уже не мог идти дальше, и тогда мы возвращались домой на автобусе. А когда у нас стало больше денег, то в экипаже или на такси.

— Но были же у вас деньги в тот год, когда мы ездили на скачки.

— Наверно, были,— сказал Том-младший.— Вот этого я точно не помню. Скорей всего — когда были, когда нет.

— А у нас всегда были деньги,— сказала девушка.— Мама выходила замуж только за людей с большими деньгами.

— Значит, вы богатая, Одри? — спросил Том-младший.

— Нет,— сказала девушка.— Мой отец частью истратил, частью потерял свое состояние после того, как женился на маме, а ни один из моих отчимов меня не обеспечил.

— Вам деньги не нужны,— сказал ей Эндрю.

— Знаете что, живите у нас,— сказал ей Томми.— Вам у нас будет очень хорошо.

— Заманчивое предложение. Но не могу же я жить на ваш счет.

— Мы откуда едем в Париж,— сказал Энди.— Поедьте с нами. Вот будет здорово. Мы с вами вдвоем осмотрим все арондисманы.

— Надо будет подумать,— сказала девушка.

— Хотите, я вам приготовлю коктейль, чтобы легче было принять решение,— сказал Дэвид.— В книгах мистера Дэвиса всегда так поступают.

— Вы меня подпоить хотите.

— Известный прием торговцев живым товаром,— сказал Том-младший.— А когда жертва приходит в себя, оказывается, она уже в Буэнос-Айресе.

— Ну, значит, ей дали чего-нибудь адски крепкого,— сказал Дэвид.— До Буэнос-Айреса неблизкий путь.

— Ничего нет крепче martinis, который приготовляет мистер Дэвис,— сказал Эндрю.— Угостите ее своим martinis, мистер Дэвис.

— Хотите, Одри? — спросил Роджер.

— Выпью, если не слишком долго ждать ленча.

Роджер поднялся, а Том-младший пересел к девушке поближе. Энди теперь сидел у ее ног.

— Смотрите, Одри, лучше не пейте,— сказал Том-младший.— Ведь это первый шаг. Помните, *ce n'est que le premier pas qui compte*¹.

Наверху Томас Хадсон продолжал накладывать мазок за мазком. Он невольно слушал их разговор, но ни разу не глянул вниз после того, как они вернулись с купания. Ему трудно приходилось в том панцире работы, который он создал себе для защиты от внешнего мира, но он думал: если я брошу работать сейчас, я могу совсем лишиться этой защиты. Ведь будет довольно времени для работы, когда они все уедут, возразил он себе. Но он знал, что бросать сейчас работу нельзя, что тогда рушится вся система безопасности, которую он себе создал работой. Сделав ровно столько, сколько сделал бы, если б их тут не было, думал он. Потом приберу все и пойду вниз, а Райиберна, и Париж, и все прошлое выкину из головы. Но, работая, он чувствовал, как внутри уже закрадывается тоска одиночества. Работай, сказал он себе. Держись и не изменяй своим привычкам, они скоро понадобятся тебе.

Когда Томас Хадсон отработал положенное и спустился вниз, мысли его еще были заняты живописью. Он сказал девушке: «Привет!», потом отвернулся в сторону. Потом снова посмотрел на нее.

— Я поневоле все слышал,— сказал он.— Или, если хотите, подслушал. Очень рад, что мы, оказывается, старые друзья.

— И я рада. А вы меня в самом деле не узнали?

— Может быть, и узнал,— сказал он.— Ну, пора к столу. Вы уже высохли, Одри?

— Я приму душ и переоденусь,— сказала она.— У меня с собой блузка и юбка.

¹ Стоит только сделать первый шаг (*фр.*).

— Скажи Джозефу и Эдди, что мы готовы,— сказал Томас Хадсон Тому-младшему.— Идемте, Одри, я покажу вам, где душ.

Роджер ушел в дом.

— Мне было бы неприятно думать, что я сюда попала обманом,— сказала девушка.

— Вы этого и не сделали,— сказал Томас Хадсон.

— Я могу ему чем-нибудь помочь, как вам кажется?

— Попробуйте. Для спасения его души нужно, чтобы он стал хорошо работать. Я по душам не специалист. Но я знаю, что свою он продешевил, когда первый раз приехал на побережье.

— Но ведь он теперь пишет новый роман. И роман замечательный.

— Откуда вы это знаете?

— Читала в газете. В статье Чолли Никербокера, кажется.

— А-а,— сказал Томас Хадсон.— Ну, тогда, значит, так и есть.

— Вы правда думаете, что я могу ему помочь?

— Попробуйте.

— Это все не так просто.

— Просто ничего не бывает.

— Рассказать вам почему?

— Нет,— сказал Томас Хадсон.— Лучше вы причешитесь, оденьтесь и приходите наверх. А то пока он ожидает, ему может попасться на глаза другая женщина.

— Вы раньше таким не были. Мне казалось, вы самый добрый человек на свете.

— Очень жаль, что я изменился. Но я искренне рад встрече, Одри.

— Мы ведь старые друзья, правда?

— Еще бы,— сказал он.— Ну, скорей приводите себя в порядок, переодевайтесь и приходите наверх.

Он отвернулся, и она скрылась за дверью душа. Он сам не мог понять, что такое с ним происходит. Но радость этих летних недель вдруг пошла в нем на убыль, как во время смены течений за отмелью, когда в узком проливе, ведущем в открытое море, начинается отлив. Всматриваясь в море и в береговую линию, он заметил, что течение уже изменилось и на вновь обнажившейся полосе мокрого песка деловито хлопочут береговые птицы. Он еще раз долгим взглядом окинул берег и ушел в дом.

Последние несколько дней они провели чудесно. Все шло ничуть не хуже, чем в прежние дни, и предотъездной грусти не было. Яхта ушла, и Одри сняла комнату над баром «Понсе-де-Леон», но жила она у них, спала на закрытой веранде в дальнем конце дома и пользовалась гостевой комнатой.

О своей любви к Роджеру она больше не говорила. А единственное, что Роджер сказал о ней Томасу Хадсону, было: «Она замужем за каким-то сукиным сыном».

— Неужели ты рассчитывал, что она всю жизнь будет тебя ждать?

— Как бы там ни было, а он сукин сын.

— Так всегда бывает. Но подожди, ты еще обнаружишь в нем привлекательные черты.

— Он богатый.

— Вот это, наверно, и есть его привлекательная черта,— сказал Томас Хадсон.— Такие девушки всегда выходят замуж за сукиных сынов, а у них всегда оказывается какая-нибудь привлекательная черта.

— Ладно,— сказал Роджер.— Хватит об этом.

— Книгу писать ты будешь?

— Обязательно. Этого она от меня и ждет.

— Вот почему ты решил взяться за дело.

— Отвяжись, Том,— сказал ему Роджер.

— Хочешь пожить на Кубе? Там у меня всего лишь хибарка, но мешать тебе никто не будет.

— Нет. Я думаю поехать на Запад.

— В Калифорнию?

— Нет. Не в Калифорнию. А что, если я поживу у тебя на ранчо?

— На ранчо у меня осталась только хижина на дальнем берегу реки.

— Вот и прекрасно.

Девушка и Роджер совершали длинные прогулки по берегу, купались вдвоем и с мальчиками. Мальчики выходили на рыбную ловлю, брали с собой Одри порыбачить и поплавать в масках около рифа. Томас Хадсон много работал, и, пока он сидел за мольбертом, а мальчики проводили время на море, ему было приятно думать, что скоро они вернутся домой и будут обедать или ужинать вместе с ним. Он беспокоился, когда они плавали в масках, но знал, что

Роджер и Эдди не позволят им заплывать далеко. Как-то раз все они отправились с утра удить на блесну, добрались до самого дальнего маяка на краю отмели, чудесно провели день и выловили несколько макрелей, белобочек и трех крупных скумбрий. Он написал скумбрию со странной сплюсненной головой, с полосками, опоясывающими ее длинное обтекаемое тело, и подарил картину Энди, который поймал из трех самую крупную. На заднем плане картины были летние облака в небе, высокий маяк с паучьими лапами и зеленые берега.

Потом наступил день, когда старенький гидроплан Сикорского описал круг над домом и сел в заливе, и они подвезли к нему на шлюпке своих мальчиков. На другой Джо-зеф вез их чемоданы. Том-младший сказал:

— До свидания, папа. Лето мы провели у тебя замечательно.

Дэвид сказал:

— До свидания, папа. Нам было очень хорошо. Ты не беспокойся о нас. Ничего с нами не случится.

Эндрю сказал:

— До свидания, папа. Спасибо тебе за чудесное, чудесное лето и за то, что мы едем в Париж.

Они взобрались по трапу на гидроплан и помахали Одри, которая стояла на причале, и крикнули ей:

— До свидания! До свидания, Одри!

Роджер помог им взобраться, и они сказали:

— До свидания, мистер Дэвис! До свидания, папа! — И еще раз, очень громко, так, чтобы слышно было на причале: — До свидания, Одри!

Потом дверь закрыли, задраили, и остались только лица за стеклами небольших окошек, а потом лица, залитые водой, плеснувшей в стекла, когда гидроплан заработал своими старыми кофейными мельницами. Томас Хадсон подался назад от вихря брызг, и допотопный, уродливый гидроплан вырулил на старт и поднялся на легком ветру, а потом сделал круг в воздухе и, уродливый, медлительный, ровпо пошел своим курсом через залив.

Томас Хадсон знал, что Роджер и Одри тоже собираются в дорогу, и, так как рейсовое судно ожидалось на следующий день, он спросил Роджера, когда они решили уезжать.

— Завтра, старик, — сказал Роджер.

— С Уилсоном?

— Да, я просил его вернуться за нами.

— Я только хотел знать, сколько мне всего заказывать.

И на следующий день они тоже улетели. На прощание Томас Хадсон поцеловал девушку, а она поцеловала его. Накануне, прощаясь с мальчиками, Одри плакала и, прощаясь с ним, тоже заплакала, и обняла его, и прижалась к нему.

— Берегите его и себя тоже берегите.

— Постараюсь, Том. Вы были так добры к нам.

— Глупости!

— Я буду писать тебе,— сказал Роджер.— Поручения какие-нибудь есть? Что я там должен делать?

— Живи, радуйся. И напиши, как там у вас все сложится.

— Обязательно. Она тоже тебе напишет.

И вот они уехали, и по дороге домой Томас Хадсон зашел к Бобби.

— Здорово одиноко вам будет,— сказал Бобби.

— Да,— сказал Томас Хадсон.— Мне будет здорово одиноко.

XIV

Как только мальчики уехали, Томас Хадсон затосковал. Но ему казалось, что это естественная тоска по сыновьям, и он продолжал работать. Конец твоего мира приходит не так, как на великом произведении искусства, описанном мистером Бобби. Его приносит с собой местный паренек — рассыльный из почтового отделения, который вручает тебе радиogramму и говорит:

— Распишитесь, пожалуйста, вот здесь, на отрывном корешке. Мы очень сожалеем, мистер Том.

Он дал рассыльному шиллинг. Но рассыльный посмотрел на монету и положил ее на стол.

— Мне чаевых не надо, мистер Том,— сказал он и ушел.

Он прочитал телеграмму. Потом положил ее в карман, вышел на веранду и сел в кресло. Он вынул телеграмму и прочитал ее еще раз. ВАШИ СЫНОВЬЯ ДЭВИД И ЭНДРЮ ПОГИБЛИ ВМЕСТЕ С МАТЕРЬЮ В АВТОМОБИЛЬНОЙ КАТАСТРОФЕ ПОД БИАРРИЦЕМ. ДО ВАШЕГО ПРИЕЗДА ВСЕ ХЛОПОТЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ ПРИМИТЕ НАШЕ ГЛУБОЧАЙШЕЕ СОЧУВСТВИЕ.

Подписано парижским отделением нью-йоркского банка.

Вошел Эдди. Он узнал все от Джозефа, который узнал все от радиста.

Эдди сел рядом с ним и сказал:

— Мать твою. Как такое могло случиться, Том?

— Не знаю,— сказал Томас Хадсон.— Наверно, они на что-нибудь налетели или их кто-нибудь ударил.

— Уж наверно не Дэви вел машину.

— Наверно, не Дэви. Но теперь это уже не имеет значения.

Томас Хадсон смотрел на плоскую синеву моря и на густо синевущий Гольфстрим. Солнце стояло низко и скоро должно было зайти за облака.

— Думаете, она правила?

— Вероятно. А может, у них был шофер. Какая разница?

— Думаете, Энди?

— Может быть. Она могла ему позволить.

— Он малый самонадеянный,— сказал Эдди.

— Был самонадеянный,— сказал Томас Хадсон.— Теперь уже вряд ли.

Солнце садилось, а перед ним стлались облака.

— Как только наши выйдут на связь, надо послать телеграмму Уилсону, чтобы он прилетел сюда пораньше и пусть позвонит и закажет мне билет в Нью-Йорк.

— А пока вас не будет, что мне делать здесь?

— Да так, присматривай за всем. Чеки на каждый месяц я оставляю. Если начнутся ураганы, найми людей, сколько потребуется, чтобы помощь у тебя была хорошая и на катере и в доме.

— Будет сделано,— сказал Эдди.— Но теперь мне на все это на...

— Мне тоже,— сказал Томас Хадсон.

— У нас есть Том-младший.

— Да, пока есть,— сказал Томас Хадсон и впервые заглянул в глубокую бесконечную перспективу ожидающей его впереди пустоты.

— Как-нибудь справитесь,— сказал Эдди.

— Конечно. А когда я не справлялся?

— Поживете в Париже, а потом поезжайте к себе на Кубу, и пусть Том-младший там с вами побудет. Писать на Кубе вам хорошо, вот и отвлекетесь.

— Конечно,— сказал Томас Хадсон.

— Путешествовать будете, это тоже хорошо. Будете ездить на огромных пароходах, мне всегда на таких хотелось поплавать. Все их перепробуйте. Пусть везут вас по своим путям-дорогам.

— Конечно.

— Ах, мать твою! — сказал Эдди. — И какого хрена нашего Дэви убило?

— Не надо, Эдди, — сказал Томас Хадсон. — Этого нам не дано знать.

— Да пропади все пропадом! — сказал Эдди и сдвинул шляпу на затылок.

— Как сумеем, так и сыграем, — сказал Томас Хадсон. Но теперь он знал, что для него игра не стоит свеч.

xv

Пересекая океан на «*He de France*», Томас Хадсон понял, что ад не обязательно такой, каким описывал его Данте или кто-нибудь другой из великих бытописателей ада, а может быть и комфортабельным, приятным, милым твоему сердцу пароходом, увозящим тебя на восток, в страну, к которой ты всегда приближался, заранее предвкушая свой проезд туда. Кругов в этом аду насчитывалось много, и они не имели таких четких границ, как у великого флорентийского эгоцентрика. Он сел на пароход рано, ища в нем (теперь это было уже ясно) спасения от города, где его пугали встречи с людьми, которые будут заговаривать с ним о случившемся. Он думал, что на пароходе сумеет прийти к какому-то соглашению со своим горем, еще не зная, что горю никакие соглашения не помогут. Излечить его может только смерть, а все другое лишь притупляет и обезболивает. Говорят, будто излечивает его и время. Но если излечение приносит тебе нечто иное, чем твоя смерть, тогда горе твое, скорее всего, не настоящее.

Одно из средств, которое притупляет его временно, притупляя в тебе вообще все остальные чувства, — это пьянство. Есть и другое, отвлекающее тебя от мыслей о нем, — и это работа. Оба эти средства были известны Томасу Хадсону. Но он знал также, что пьянство убьет в нем способность хорошо работать, а работа уже столько лет лежала в основе его жизни, что он не мог позволить себе потерять эту способность.

Но поскольку он знал, что несколько дней работать не сможет, то решил пить, читать, заниматься моционом и, замучившись за день, спать мертвым сном. Он спал в самолете. Но в Нью-Йорке спать не мог.

Теперь он сидел в своей двойной каюте люкс, куда поильщики уже внесли его чемоданы и большую пачку купленных им журналов и газет. Он решил, что с такого чтения начинать будет легче всего. Он отдал стюарду свой билет и попросил его принести бутылку перрье и льду. Когда это было подано, он достал из чемодана бутылку шотландского виски, откупорил ее и приготовил себе питье. Потом перерезал бечевку, которой была связана пачка журналов и газет, и разложил их на столе. Номера были свеженькие, девственные по сравнению с теми, которые приходили на остров. Он взял «Нью-Йоркер». На острове он всегда берегал этот журнал к вечеру, и ему уже давно не приходилось видеть номер «Нью-Йоркера», вышедший на этой же неделе и не перегнутый пополам. Он сидел в глубоком, удобном кресле и пил виски и понимал, что невозможно читать «Нью-Йоркер», если те, кого ты любишь, умерли всего несколько дней назад. Он взял «Тайм» и «Тайм» смог читать — все, включая раздел «Некрологи», где были оба его мальчика — мертвые, и был указан их возраст, возраст их матери, не совсем точно, указано ее семейное положение и то, что она развелась с ним в 1933 году.

В журнале «Ньюсуик» сведения были те же самые. Но когда Томас Хадсон прочел эту краткую заметку, у него осталось странное чувство, будто автор ее пожалел погибших мальчиков.

Он смешал себе еще одну порцию и подумал, что лучше всего для смеси с виски годится перрье, потом прочел от корки до корки «Тайм» и «Ньюсуик». Какого черта ее понесло в Биарриц? — подумал он. Вполне могла бы поехать в Сен-Жан-де-Люс.

И понял, что виски уже немного помогло ему.

Отрешись от них, сказал он себе. Помни, какие они были, а остальное вычеркни из памяти. Рано или поздно придется это сделать. Так сделай это теперь.

Читай дальше, сказал он. И тут пароход отчалил от пристани. Он шел очень медленно, и Томас Хадсон даже не взглянул в иллюминатор. Он сидел в удобном кресле и просматривал кипу газет и журналов и пил шотландского виски с перрье.

Не стоит перед тобой никакой проблемы, сказал он. Ты отрешился от них, и они исчезли. Да и вообще нельзя было так любить этих мальчиков. Нельзя было любить мальчиков, и их мать нельзя было любить. Вот ведь что виски делает! — сказал он себе. Какое блистательное разрешение всех наших проблем. *Мудрец алхимик разрешил труднейшую задачу. Из олова он сотворил дерьмо. Нет, не вышло... Из олова он сотворил ко злату и дерьмо в придачу.* Вот так лучше.

Интересно, где сейчас Роджер со своей девицей, подумал он. Где находится Томми, видимо, известно в банке. А где я — я сам знаю. Я сижу здесь с бутылкой «Старого лосося». Завтра я все это из себя выпарю в гимнастическом зале. Усядусь там на велосипед, который никуда не приезжает, и на механическую лошадку. Вот что мне требуется. Хорошенько протрястись на механической лошадке. Потом основательный массаж. Потом я встречу с кем-нибудь в баре, и мы поговорим о том о сем. Ведь всего шесть дней. Шесть дней прожить можно.

Ночью он заснул и, проснувшись, услышал, как пароход одолевает море, и, вдохнув морской запах, подумал было, что он у себя дома, на острове, и что его разбудил дурной сон. Потом он понял, что это не сон, и почувствовал тяжелый запах смазки на раме открытого иллюминатора. Он зажег свет и выпил минеральной воды. Его мучила жажда.

На столике стоял поднос с сэндвичами и фруктами, который принес накануне стюард, и в ведерке с бутылкой перья еще остался лед.

Он знал, что надо что-нибудь съесть, и посмотрел на часы, висевшие на стене. Было двадцать минут четвертого. В морском воздухе веяло прохладой, и он съел сэндвич и два яблока, а потом вынул из ведерка несколько кусочков льда и приготовил себе питье. От «Старого лосося» почти ничего не осталось, но у него была еще бутылка, и в прохладе раннего утра он сидел в удобном кресле и читал «Нью-Йоркер». Оказывается, он уже мог его читать, и, кроме того, пить на рассвете было очень приятно.

Годами он придерживался железного правила — не пить по ночам и не пить до конца работы, если день был рабочий. Но теперь, проснувшись ночью, он почувствовал тихую радость, что правилу конец. Это был возврат чисто животной радости или способности ощущать радость, кото-

рую он испытал впервые после того, как пришла та телеграмма.

Хороший журнал «Нью-Йоркер», подумал он. Его, видимо, можно читать на четвертый день после того, как что-то случилось. Не на первый, не на второй и не на третий. Но на четвертый можно. Такую вещь полезно знать. Следом за «Нью-Йоркером» он стал читать «Ринг», а потом все, что было читабельно, а также и нечитабельно в «Атлантик монсли». Потом приготовил себе третью порцию и взялся за «Харперс». Вот видишь, сказал он себе, все и обошлось.

После того как все ушли, он лежал на полу, усталым циновкой, и прислушивался к ветру. По-прежнему сильно штормило с северо-запада, и он расстелил на полу в большой комнате одеяла, бросил туда же подушки, подпер их мягкой спинкой от кресла, которую прислонил к одной из ножек стола, и, надев кепку с длинным козырьком, чтобы затенить глаза, стал просматривать свою корреспонденцию в ярком свете настольной лампы. Кот лежал у него на груди, и он прикрыл его и себя легким одеялом и одна за другой вскрывал и прочитывал письма, понемножку прихлебывая виски с водой, а в промежутках отставлял стакан в сторону на пол. Когда понадобится, рука сама его найдет.

Кот мурлыкал, но Томас Хадсон этого не слышал, так как мурлыканье у него было беззвучное, и, держа письмо в одной руке, он пальцем другой притронулся к горлу кота.

— У тебя микрофон в горле, Бойз,— сказал он.— Скажи, ты меня любишь?

Кот легонько месил его грудь лапами, только чуть задевая когтями шерсть толстого синего свитера, и Томас Хадсон ощущал ласково разлитую тяжесть его длинного мягкого тела и под пальцами чувствовал его мурлыканье.

— Стерва она, Бойз,— сказал он коту и вскрыл другое письмо.

Кот подсунул голову ему под подбородок и потерял о него.

— Они, Бойз, все до дна из тебя выскребут,— сказал он и погладил кошачью голову своим щетинистым подбо-

родком.— Женщины вас не любят. Жаль, что ты не пьешь, Бой. Остальное ты уж почти все умеешь.

Кота сперва называли по имени крейсера «Бойз», но уже давно Томас Хадсон стал звать его просто Бой.

Второе письмо он прочитал до конца без комментариев и, протянув руку за стаканом, отхлебнул виски.

— Так,— сказал он.— Что-то, брат, ничего не получается. Знаешь что, Бой, ты читай эти письма, а я буду лежать у тебя на груди и мурлыкать. Хорошо?

Кот поднял голову и потерся о его подбородок, а он потерся о кошачью голову, проведя своим колючим подбородком у кота между ушами и дальше по затылку и между лопатками, и вскрыл третье письмо.

— Ты беспокоился о нас, Бойз, когда там началось? — спросил он.— Видел бы ты, как мы влетели в гавань, когда волны уже перехлестывали через Морро! Ты бы перепугался насмерть. Примчало нас домой на этих чертовых бурунах, словно доску для сёрфинга.

Кот лежал довольный, дыша в такт с человеком. Большой кот, длинный и ласковый, подумал о нем Томас Хадсон, и худой от слишком усердной ночной охоты.

— Как у тебя шли дела, пока меня не было, а, Бой? — Он отложил письмо и поглаживал кота под одеялом.— Много наловил?

Кот повернулся на бок и подставил живот, чтобы его погладили, как он делал это в те дни, когда был котенком, когда жил еще счастливо и беззаботно.

К тому времени, как он дочитал третье и самое длинное письмо, этот большой, белый с черным кот уже спал. Он спал в позе сфинкса, только голову положил на грудь Томасу Хадсону.

Я очень рад, думал Томас Хадсон. Надо бы раздеться, принять ванну и лечь как следует в постель, но нет горячей воды, да я и не хотел бы спать сегодня на кровати. Все еще кругом ходуном ходит, кровать бы меня сбросила. Но и здесь я вряд ли засну, когда эта зверюга на мне лежит.

— Бой,— сказал он,— придется мне тебя снять, чтобы я мог лечь на бок.

Он поднял тяжелое обмякшее тело кота, которое вдруг ожило у него в руках, а потом опять обмякло, и положил его рядом с собой, затем сам повернулся так, чтобы опираться на правый локоть. Кот теперь лежал у него за спиной. Он был недоволен, пока его перекладывали, но потом

опять заснул, прикорнув к Томасу Хадсону. Тот снова вынул те три письма и вторично все их перечитал. Газеты он решил не читать и, протянув руку, выключил свет и теперь тихо лежал, чувствуя ягодицами тепло кошачьего тела. Он лежал, обхватив руками одну подушку, а голову положив на другую. Снаружи ветер дул во всю мочь, и пол комнаты словно бы покачивался, как корабельный мостик. Перед возвращением Томас Хадсон не сходил с мостика девятнадцать часов.

Он лежал и старался заснуть, но не мог. Глаза у него очень устали, и он не хотел ни зажигать свет, ни читать, просто лежал и дожидался утра. Сквозь одеяла он чувствовал циновку, сплетенную по размеру большой комнаты и привезенную с Самоа на крейсере за полгода до Пирл-Харбора. Она покрывала весь плиточный пол комнаты, но там, где стеклянная дверь вела в патио, циновка загнулась и встопорщилась от движений двери, и Томас Хадсон чувствовал, как ветер забирается под нее и ее треплет, когда проникает в просвет под дверной рамой. Он думал о том, что ветер по крайней мере еще один день будет дуть с северо-запада, потом перейдет на север и наконец иссякнет на северо-востоке. Так он всегда передвигался зимой, но может случиться, что он на несколько дней застрянет на северо-востоке и будет еще очень сильно дуть перед тем, как превратиться в *brisa*, что было местным названием северо-восточного пассата. И пока он будет с почти ураганной силой дуть с северо-востока, навстречу Гольфстриму, он разведет очень сильное волнение, и уж в это-то время, конечно, ни одна немецкая подлодка не сможет всплыть. Так что, думал он, мы просидим на берегу не меньше четырех суток. А уж потом они наверняка всплывут.

Он думал и о своем последнем выходе, о том, как шторм настиг их в шестидесяти милях дальше по береговой линии и в тридцати от берега, и о жутком обратном рейсе, когда он решил лучше идти в Гавану, а не в Байя-Онду. Да, он таки заставил свое суденышко поработать. Заставил-таки. И было еще многое, что надо будет проверить. Пожалуй, было бы лучше пристать в Байя-Онде. Но последнее время они слишком часто там бывали. Да еще он уезжал на целых двенадцать дней, а рассчитывал обойтись десятью. О некоторых вещах он был недостаточно осведомлен и не знал, сколько может продлиться этот шторм, поэтому решил вернуться в Гавану и признать свою неудачу. Утром он выкупается, побреется, почистится и

пойдет с докладом к морскому атташе. Может быть, они захотят, чтобы он еще последил за берегом. Но он твердо знал, что в такую погоду никакие вражеские лодки не всплывут, это для них совершенно невозможно. Вот это, собственно, и было главное. Если он в этом прав, тогда и остальное будет в порядке. Хотя и не всегда все бывает так просто. Далеко не всегда.

Твердым полом ему сильно намяло правую ногу, правое бедро и правое плечо, и он теперь лежал на спине, опираясь на мышцы плеч, а колени подтянул кверху под одеялом и толкался в него пятками. Это немного сняло с него усталость, и он положил левую руку на кота и погладил его.

— Ты чудно умеешь отдыхать, Бой, и ты так сладко спишь, — сказал он коту. — Значит, тебе не так уж плохо пришлось.

Он подумал, не выпустить ли кого-нибудь из других котов для компании и чтоб было с кем поговорить, пока Бойз спит. Но потом решил, что не надо. Бойз обидится и будет ревновать. Когда они вчера подъехали в большой машине, Бойз уже околачивался возле дома, поджидая их. Он страшно волновался и, пока они выгружались, все время пугался под ногами, с каждым здоровался и то вбегал в дом, то выбегал, как только отворяли дверь. Наверно, он каждый вечер ждал их здесь с тех самых пор, как они уехали. Когда Томас Хадсон получал приказ об отъезде, кот узнавал об этом с первой минуты. Конечно, о приказе он знать не мог, зато ему хорошо были известны даже самые первые признаки сборов в дорогу, и, по мере того как подготовка проходила дальнейшие стадии, вплоть до заключительного беспорядка — ночевки чужих людей в доме (Томас Хадсон всегда требовал, чтобы в полночь они уже спали, если предстояло выезжать до рассвета), — кот становился все более взвинченным и нервным, а когда они начинали грузиться в машину, он уже был сам не свой, и приходилось его запирать, чтобы он не погнался за ними по подъездной аллее и дальше в деревню и на шоссе.

Как-то раз, проезжая по Центральному шоссе, Томас Хадсон увидел сбитого машиной кота, и этот кот, только что сбитый машиной и уже мертвый, был как две капли воды похож на Боя. Спина у него была черная, а горло, грудь и передние лапы — белые, и на мордочке такая же черная полумаска. Он знал, что это не может быть Бой, потому что все это происходило более чем в шести милях

от фермы, и все же у него похолодело внутри, и он остановил машину и пошел назад, поднял кота и удостоверился, что это не Бой, а потом положил его на обочину дороги, чтобы его уж больше не могли переехать. Кот был ухоженный, гладкий, видно было, что это чей-то кот, и Томас Хадсон оставил его у дороги, чтобы хозяева могли его увидеть и узнать о его судьбе и хоть не мучиться больше неизвестностью. Если бы не это, он взял бы кота в машину и похоронил на ферме.

Когда вечером Томас Хадсон возвращался на ферму, тело кота уже не лежало на том месте, где он его оставил, и он решил, что, должно быть, хозяева его нашли. В тот же вечер уже дома, сидя за книгой в большом кресле с Бойвом, примостившимся рядом, Томас Хадсон вдруг подумал: что бы он делал, если бы Бойза так же вот убило? Судя по припадкам отчаяния, находившим иногда на Бойза, кот питает к нему подобные же чувства.

Он из-за всего волнуется еще больше, чем я. Зачем это ты, Бой? Если бы ты так не расстраивался, тебе бы лучше жилось. Я же вот стараюсь быть спокойным, сколько могу, говорил себе Томас Хадсон. Правда, стараюсь. А Бой не может.

Когда они уходили в море, Томас Хадсон и там думал о Бойзе, о его странных привычках, о его отчаянной, безгадежной любви. Он вспоминал, как увидел его в первый раз, когда тот был еще котенком и играл со своим отражением в стеклянной крышке табачного прилавка в баре, что был выстроен в Кохимаре прямо на утесах, высящихся над гаванью. Они как-то раз заглянули в этот бар солнечным рождественским утром. В баре было еще несколько пьяных, осевших там после вчерашнего пированья, но восточный ветер, продувавший насквозь и бар и ресторан, был так свеж, а солнечный свет так ярок и воздух так чист и прохладен, что ясно было — это утро не для пьяниц.

— Закрой дверь, а то ветер, — сказал один из них хозяину.

— Нет, — ответил хозяин. — Мне нравится этот ветер. А если для вас он слишком свеж, так пойдите поищите себе где-нибудь затишек.

— Мы платим за то, чтобы нам было удобно, — сказал еще один из этих последышей ночной попойки.

— Нет. Вы платите только за то, что выпили. А для удобства поищите другое место.

Томас Хадсон смотрел через открытую террасу на море, темно-синее в белых барабках, и на рыбацьи лодки, бороздившие его по всем направлениям, волоча наживку для дельфинов. Человек шесть рыбаков сидели в баре да еще сколько-то за двумя столами на террасе. Это были рыбаки, которым вчера сильно повезло с уловом или которые считали, что погода и течение еще удержатся, и поэтому решили остаться на рождество дома.

Никто из них не ходил в церковь, даже на рождество, и никто не одевался, как полагалось по рыбацкой моде. Это были самые непохожие на рыбаков рыбаки, хоть они и были из самых лучших. Они ходили в старых соломенных шляпах, а то и вовсе без шляп. Одевались во всякое старье и ходили если не босиком, то в простых башмаках. Рыбака всегда можно было отличить от деревенского — *guajiro*¹, — потому что деревенские, приезжая в город, надевали особого покроя складчатые рубашки, широкие шляпы, узкие брюки и сапоги для верховой езды и почти все имели при себе мачете, а рыбаки носили любые ошметки и всегда были веселы и уверены в себе. Деревенские, наоборот, были очень сдержанны и застенчивы, пока, конечно, не напивались. Но по чему можно было сразу безошибочно узнать рыбака — это по его рукам. У стариков руки были узловатые и темные, усеянные коричневыми пятнами, а пальцы и ладоши все в глубоких рапах и в шрамах от работы с ручной крючковой снастью. У молодых руки не были узловатые, но коричневые пятна были и у них, и глубокие шрамы тоже; и волосы на руках и предплечьях у всех, кроме самых темных брюнетов, были выбелены соленой водой и солнцем.

Томас Хадсон вспоминал, как в это рождественское утро — утро первого военного рождества — хозяин бара спросил его: «Не хотите ли креветок?» — и принес большое блюдо с горой свежесваренных креветок, и поставил его на стойку, а сам стал резать тонкими ломтиками лимон и раскладывать ломтики на блюде. Креветки были большие и розовые, и усы у них свисали чуть не на фут со стойки, и хозяин взял одну и расправил усы до полной длины и сказал, что они длиннее, чем даже у японского адмирала.

Томас Хадсон оторвал японскому адмиралу шейку, ватем большими пальцами взломал скорлупу у него на

¹ Кубинский крестьянин (*исп.*).

животе и высосал всю креветку, и она была такая свежая и шелковистая на зубах и такая ароматная оттого, что была сварена в морской воде и приправлена свежим лимонным соком и черным перцем-горошком,— Томас Хадсон еще подумал, что лучших он нигде не едал, ни в Малаге, ни в Таррагоне, ни в Валенсии. И тут-то котенок подбежал к нему — бегом промчался через весь бар — и стал тереться о его руку и выпрашивать креветку.

— Они слишком большие для тебя, кискин,— сказал Томас Хадсон. Но все же отщипнул пальцами кусочек и подал котенку, и тот, ухватив его, побежал обратно на витрину табачного прилавка и стал есть быстро и жадно.

Томас Хадсон разглядывал этого котенка с его красивой черно-белой расцветкой — белая грудь, и белые передние лапки, и черная полумаска на лбу и вокруг глаз,— наблюдал, как он рычит и пожирает креветку, и спросил наконец, чей это котенок.

— Захотите — ваш будет.

— У меня дома уже есть двое. Персидские.

— Подумаешь, важность — двое! Возьмите еще и этого. Чтобы в их будущем потомстве было немножко кохинмарской крови.

— Папа, можно нам его взять? — спросил один из его сыновей, о которых он теперь никогда не позволял себе думать. Мальчик поднялся по ступенькам с террасы, где он смотрел, как возвращаются к берегу рыбацьи лодки — как рыбаки убирают мачты, выгружают смотанную кругами снасть, сваливают рыбу на берег.— Папа, пожалуйста, возьмем его! Он такой красивый.

— Ты думаешь, ему будет хорошо вдали от моря?

— Конечно. А тут ему скоро станет очень плохо. Ты же видел на улицах, какие они жалкие, эти бродячие коты? А когда-то, наверно, были такие же, как он.

— Возьмите его,— сказал хозяин.— Ему будет хорошо на ферме.

— Слушай, Томас,— заговорил один из рыбаков, который, сидя за столом, прислушивался к их разговору.— Если тебе нужны коты, так я могу достать тебе ангорского из Гуанабакоа. Настоящего ангорского.

— А он точно мужского пола?

— Не меньше, чем ты,— сказал рыбак. За столом все засмеялись. На этом построены почти все испанские шутки.

— Только у него там шерсть.— Рыбаку захотелось вторично вызвать смех, и это ему удалось.

— Папа, ну, пожалуйста, возьмем этого котенка,— сказал мальчик.— Он мужского пола.

— Ты уверен?

— Я знаю, папа. Знаю.

— Ты и о персидских говорил то же самое.

— Персидские — другое дело, папа. С персидскими я ошибся и признаю это. Но теперь я знаю, папа. Знаю точно.

— Слушай, Томас. Хочешь тигрового ангорского из Гуанабакоа? — спросил рыбак.

— Да что он такой за особенный кот? Для колдовства, что ли?

— При чем тут колдовство? Этот кот никогда даже не слышал ни о каком колдовстве. Он больше христианин, чем ты.

— *Es muy posible*¹,— сказал другой рыбак, и они опять засмеялись.

— Сколько же он стоит, этот знаменитый кот? — спросил Томас Хадсон.

— Нисколько. Это подарок. Настоящий ангорский тигр. Это рождественский подарок.

— Иди сюда, в бар, выпьем, и ты мне его опишешь.

Рыбак поднялся по ступенькам. На нем были очки в роговой оправе и линиялая чистая голубая рубашка, которая выглядела так, как будто еще одной стирки ей не выдержать. На спине между лопатками она стала тоненькой, как кружево, и ткань уже начинала расползаться. Штаны были тоже линиялые, цвета хаки, и даже на рождество он был босиком. Лицо и руки у него загорели до черноты. Он положил свои руки, все в шрамах, на прилавок и сказал хозяину:

— Виски с лимонадом.

— Меня от лимонада тошнит,— сказал Томас Хадсон.— Мне с минеральной.

— А мне полезно с лимонадом,— сказал рыбак.— Я люблю «Канада драй». А когда без лимонада, то мне противен вкус виски. Да ты послушай меня, Томас. Это же серьезный кот.

— Папа,— сказал мальчик,— пока вы с этим господином не начали пить, скажи, мы возьмем этого котенка?

¹ Это очень возможно (*исп.*).

Он привязал пустую скорлупу от креветки к обрывку белой хлопковой веревочки и играл с котенком, а тот, встав на задние лапки, словно вздыбленный геральдический лев, бил передними по этой приманке, которую мальчик раскачивал перед ним.

— Тебе очень хочется его взять?

— Ты же знаешь, что хочется.

— Ну возьми.

— Вот спасибо, папа. Большое тебе спасибо. Я его отнесу в машину и приласкаю, чтобы он скорее привык.

Томас Хадсон видел, как мальчик шел через дорогу, прижимая котенка к груди, и как потом вместе с котенком уселся на переднем сиденье. Верх машины был откинут, и Томас Хадсон из бара хорошо видел мальчика в ярком солнечном свете с приматыми ветром каштановыми волосами. Но котенка ему не было видно, потому что мальчик посадил его на сиденье, а сам пригнулся, прячась от ветра, и гладил котенка.

Теперь мальчика уже не было в живых, а котенок вырос и стал уже старым котом и пережил мальчика. А меня с Бойзом, думал Томас Хадсон, связывает теперь такое чувство, что ни один из нас не хотел бы пережить другого. Не знаю, думал он, часто ли случалось, чтобы человек и животное любили друг друга настоящей любовью. Наверно, это очень смешно. Но мне не кажется смешным.

Нет, думал Хадсон, на мой взгляд, это не более смешно, чем то, что кот мальчика пережил его самого. Много, конечно, бывает нелепого, как, например, когда во время игры Бойз сперва зарычит, потом испустит вдруг этот трагический крик и весь оцепенеет, припав к Томасу Хадсону длинным своим телом. Слуги рассказывали, что иногда после отъезда Томаса Хадсона кот по нескольку дней ничего не ел, но голод в конце концов брал свое. Хотя бывали дни, когда он пытался жить охотой и не приходил кормиться вместе с другими котами, но в конце концов все-таки приходил — первым выскакивал из комнаты через спины других толпящихся у двери котов, как только эту дверь растворял слуга, несший им поднос с мясным фаршем, и тут же влетал обратно, опять через спины других котов, суетившихся вокруг своего кормильца.

Ел он всегда очень быстро и, кончив, сейчас же стремился уйти из кошачьей комнаты. Прочие коты ему были ни к чему.

Томас Хадсон уже давно утвердился в мысли, что Бойз считает себя человеческим существом. Он с ним не выпивал, как мог бы сделать медведь, по ел все то же, что и он, даже такие вещи, до которых другой кот и не дотронулся бы. Томас Хадсон помнил, как однажды за завтраком в прошлом году он предложил Бойзу ломтик свежего охлажденного манго. Бойз съел его с наслаждением, и с тех пор, пока Томас Хадсон оставался на берегу и манго еще не сошло, кот каждое утро получал свою порцию. Приходилось подавать ему ломтики прямо в рот — они были скользкие, и кот не мог ухватить их с тарелки, и Томас Хадсон придумывал, что надо бы сделать такую решеточку, вроде решетки для тостов, чтобы кот мог сам брать ломтики и есть не спеша.

Как-то осенью, когда на аллигаторовых грушах — aguacates по-местному, — на этих больших темно-зеленых деревьях поспели первые плоды, тоже зеленые, только чуть более темные и блестящие, чем окружающая их листва, Томас Хадсон — он в тот раз весь сентябрь оставался на берегу, занимаясь ремонтом катера перед поездкой на Гапти, — предложил Бойзу ложечку мякоти из середины плода, куда на место вынутых зернышек налито было немного уксуса и растительного масла, и кот съел и потом за каждой трапезой съедал половинку aguacate.

— Мог бы влезть на дерево и сам себе достать, — скавал раз коту Томас Хадсон, когда они гуляли вместе по холмам, окружавшим его владения. Бойз, конечно, ничего не ответил.

Но однажды вечером Томас Хадсон все-таки обнаружил Боя на аллигаторовой груше, выйдя в сумерки погулять и посмотреть, как стаи черных дроздов тянутся к Гаване, куда они каждый вечер слетались из всех окрестностей, с юга и востока, чтобы с шумом устраиваться на почлег в ветвях испанских лавров на Прадо. Томас Хадсон любил смотреть, как дрозды взлетали из-за холмов, и первые летучие мыши появлялись из своих убежищ, и маленькие совки пускались в ночной полет, когда солнце садилось в море за Гаваной и на холмах зажигались огни. В тот вечер Бойз, почти всегда гулявший с ним, куда-то запропастился, и Томас Хадсон взял с собой Большого Козла, одного из сыновей Бойза, широкоплечего и широколицего, с толстой шеей и потрясающими усами, черного драчливого кота. Козел никогда не охотился. Он был боец и производитель, и дел ему хватало. Но он был боль-

шой комик, только не в том, что касалось его работы, и любил гулять, особенно если Томас Хадсон во время прогулки вдруг сильно пинал его ногой, так что он сразу валялся на бок, а Хадсон ногой поглаживал ему живот. Можно было совершенно не бояться, что погладишь слишком сильно или слишком грубо; Козлу было даже безразлично — босой ли ногой его гладят или в башмаке.

Томас Хадсон нагнулся и похлопал его — Козел любил, чтобы его хлопали посильнее, как большого пса; но не успел он выпрямиться, как вдруг заметил Бойза высоко на аллигаторовой груше. Козел посмотрел вверх и тоже его увидел.

— Что ты там делаешь, безобразник? — крикнул ему Томас Хадсон. — Или ты уже приспособился есть их прямо с дерева?

Бойз поглядел вниз и увидел Козла.

— Спускайся скорее и пойдем гулять, — сказал Томас Хадсон. — Я дам тебе *aguacate* на ужин.

Бойз посмотрел на Козла и ничего не сказал.

— Ты там такой красивый среди этих темных листьев. Что ж, оставайся, если хочешь.

Бойз теперь смотрел куда-то в сторону, и Томас Хадсон вместе с черным котом пошли дальше, пробираясь между деревьями.

— Спят ли, что ли, ты как думаешь, Козел? — спросил Томас Хадсон. И потом, желая сделать приятное коту, добавил: — Помнишь, как мы тогда ночью не могли найти лекарство?

Лекарство было магическим словом для Козла, и едва он услышал его, как повалился на бок, чтобы его погладили.

— Помнишь лекарство? — спросил его Томас Хадсон, и этот большой грубый кот стал извиваться в приступе буйного восторга.

Лекарство стало для него магическим словом после того, как однажды вечером Томас Хадсон напился не как-нибудь, а по-настоящему, и Бойз не захотел спать у него в постели. Принцесса тоже никогда не спала у него, когда он напивался, и Вилли тоже. Никто не хотел у него спать, когда он напивался, только Одинокый — так раньше называли Большого Козла — и Брат Одинокого, или, точнее сказать, его сестра, ужасно незадачливая кошка с бездной всяких горестей и редкими минутами восторга. А Козел даже больше любил Хадсона пьяным, чем трез-

вым, или, может быть, ему так казалось, потому что только тогда ему удавалось пробраться в столь желанную для него постель. Но в тот вечер Томас Хадсон, уже четыре дня находившийся на берегу, был пьян по-настоящему. Началось это в полдень во «Флоридите», где он спервапил с кубинскими политиками, забегавшими перехватить чего-нибудь наскоро, потом с владельцами рисовых и сахарных плантаций, с кубинскими правительственными чиновниками, выпивавшими в свой обеденный перерыв, со вторым и третьим секретарями посольства, которые эскортировали кого-то во «Флоридиту», с неизбежными агентами ФБР, любезными и так усердно работавшими под обыкновенных, средних, нормальных молодых американцев, что их профессия была всякому ясна не хуже, чем если бы они носили ведомственный значок на своих полотняных белых или полосатых костюмах. Константе готовил им двойные охлажденные дайкири, они не отдавали алкоголем, но зато выпивший чувствовал себя так, как будто совершал скоростной спуск на лыжах по глетчеру в облаке снежной пыли, а после шестого или восьмого стакана так, как будто совершал этот спуск без каната. Заходили знакомые Томаса Хадсона, флотские, и он шил с ними, а потом парни из так называемого «хулиганского флота», или береговой охраны, и онпил с ними тоже. Но это было как-то уж чересчур близко к его работе, а он о пей-то и хотел забыть и поэтому пошел в дальний конец бара, где сидели старые почтенные шлюхи, шикарные старые шлюхи, с которыми всякий завсегда «Флоридиты» хоть разок да переспал за последние двадцать лет. Там он уселся на стул, съел сандвич и выпил еще несколько двойных охлажденных.

Когда он в этот вечер вернулся на ферму, он был очень пьян, и ни один кот не хотел лечь с ним, кроме Козла, у которого не было ни повышенной чувствительности к запаху рома, ни предубеждения против пьянства, и ему даже очень нравился роскошный запах шлюх, густой и сдобный, как хороший фруктовый рождественский торт. Оба они крепко заснули — Козел громко мурлыча, всякий раз как просыпался, — и под конец Томас Хадсон, проснувшись и вспомнив, сколько он выпил, сказал Козлу:

— Надо нам принять лекарство.

Козлу понравился звук этого слова, символизирующего всю роскошную жизнь, коей он сейчас был участником, и он замурлыкал еще громче.

— Где лекарство, Козел? — спросил Томас Хадсон. Он включил лампу на ночном столике у кровати, но она не загорелась. Этим штормом, который держал его на берегу, возможно, сорвало провода, или произошло короткое замыкание, до сих пор не исправленное, и тока не было. Он протянул руку к ночному столику, чтобы взять большую двойную капсулу секонала, последнюю, которая у него оставалась, — проглотив ее, он мог бы опять заснуть и утром проснуться без похмелья. Шаря в темноте, он печально сбросил ее со стола и теперь не мог найти. Он шарил и шарил по полу, но найти не мог. Спичек возле кровати он не держал, потому что был некурящий, а электрическим фонариком в его отсутствие пользовались слуги, и батареи израсходовались.

— Козел, — сказал он. — Мы должны найти лекарство. Он встал с постели, и Козел тоже спрыгнул на пол, и они вдвоем стали искать. Козел залез под кровать, не зная, что, собственно, он ищет, но стараясь изо всех сил, и Томас Хадсон сказал ему:

— Лекарство, Козел. Ищи лекарство.

Козел издавал под кроватью хныкающие крики и рыскал по всем направлениям. Наконец он вышел, мурлыча, и Томас Хадсон, ощупывая пол, паткнулся рукой на капсулу. Она была пыльная и вся в паутине. Кот отыскал ее.

— Ты нашел лекарство, — сказал Козлу Томас Хадсон. — Ты же чудо-кот.

Держа капсулу в ладони, он обмыл ее водой из графина, стоявшего у кровати, потом проглотил и запил водой, а после этого он лежал, прислушиваясь к тому, как она начинает действовать, и хвалил Козла, а большой кот мурлыкал в ответ на похвалы, и с тех пор «лекарство» стало для него магическим словом.

В море Томас Хадсон наряду с Бойзом думал и о Козле. Но в Козле не было ничего трагического. Ему случалось попадать в тяжелые передряги, но все у него было цело, и, даже избитый в самых страшных боях, он никогда не выглядел жалким. Даже в тот раз, когда он не смог дойти до дома и лежал под манговым деревом возле террасы, задыхаясь и настолько мокрый от пота, что видно было, какие у него широкие плечи и какие узкие и худые бока, лежал, не в силах пошевелиться или поглубже втянуть воздух в легкие, — даже тогда он не был жалким. У него была широкая львиная голова, и, как лев, он никогда не признавал себя побежденным. Он был привязан к Томасу

Хадсону, и Томас Хадсон был привязан к нему, уважал его и любил. Но о настоящей любви между ними, как это было у Томаса Хадсона с Бойзом, тут, конечно, не могло быть и речи.

Бойз вел себя все хуже и хуже. В тот день, когда Томас Хадсон и Козел застали его на аллигаторовой груше, он пропадал до ночи, и его еще не было, когда Томас Хадсон лег спать. Томас Хадсон спал тогда на большой кровати в дальней комнате, где с трех сторон были большие окна, и по ночам пассатный ветер продувал ее насквозь. Просыпаясь ночью, Томас Хадсон прислушивался к голосам ночных птиц, так и на этот раз он лежал без сна и слушал, когда Бойз вспрыгнул из сада на оконный карниз. Бойз был молчаливый кот, но, вспрыгнув на карниз, он сейчас же позвал Томаса Хадсона, и тот подошел к окну и отворил его. Бойз соскочил на пол. Он держал в зубах двух кустарниковых крыс.

В лунном свете, который падал в окно, протянув тень от ствола сейбы и поперек широкой белой постели, Бойз пачал играть с кустарниковыми крысами. Он прыгал и вертелся, гонял их лапами, как мяч в крикете, а потом уносил одну в сторону и, припав сперва к полу, стремительно кидался затем на другую — играл так же азартно, как когда был котенком. Наконец он унес обеих крыс в ванную, а немного спустя Томас Хадсон ощутил, как чуть подался тюфяк под тяжестью, когда кот прыгнул на постель.

— Так, значит, ты вовсе не лакомился плодами с дерева? — спросил он у кота. Бойз потерся головой о его голову. — Ты, значит, охотился и оберегал наши владения? Мой старый кот и брат Бойз. А с этими что ты теперь делаешь — съешь их?

Бойз только терся о Томаса Хадсона и мурлыкал своим беззвучным мурлыканьем, а потом, уставший после охоты, он заснул. Но спал беспокойно и утром не выказал никакого интереса к этимдохлым крысам.

Уже светало, и Томас Хадсон, которому так и не удалось заснуть, следил, как нарождается свет и серые стволы королевских пальм понемногу выступают из серой предутренней мглы. Сперва он видел только стволы и абрисы крон. Потом, когда стало посветлее, можно было разглядеть, что кроны раскачиваются на ветру, а еще позже,

когда из-за холмов начало подниматься солнце, стволы пальм уже были беловато-серыми, их мечущиеся листья — ярко-зелеными, трава на холмах — бурой после зимней засухи, а дальние холмы с их известняковыми вершинами, казалось, были увенчаны снежными гребешками.

Он встал с пола, надел мокасины и старый макинтош и, не потревожив Бойза, спавшего свернувшись на одеяле, прошел из большой комнаты в столовую и оттуда на кухню. Кухня была в дальнем конце северного крыла дома, а снаружи свирепствовал ветер, колотя голыми ветвями деревьев по стенам и окнам. Ледник был пуст, и в стенном кухонном шкафу тоже ничего не было, кроме приправ, банок с американским кофе и липтоновским чаем да еще арахисового масла для стряпни. Повар-китаец каждое утро покупал на рынке дневной запас продовольствия. Томаса Хадсона не ждали, и китаец, конечно, уже ушел на рынок за провизией для слуг. Придет кто-нибудь из них, подумал Томас Хадсон, пошлю его купить фруктов и яиц.

Он вскипятил воды и заварил чай, налил себе чашку и, поставив на блюдце, упес обратно в большую комнату. Солнце уже стояло высоко, в комнате было светло, и, сидя в большом кресле, он пил горячий чай и при свежем и ярком зимнем солнечном свете разглядывал висевшие по стенам картины. Пожалуй, стоило бы некоторые перевесить, подумал он. Самые лучшие висят в спальне, а я теперь в спальне никогда и не бываю.

Если смотреть из этого кресла, комната кажется прямо огромной после тесноты на катере. Он не знал, какой она длины. То есть знал, когда заказывал циновку, а потом забыл. Но какая бы она ни была длинная, в это утро она казалась еще в три раза длиннее. Есть такие мелочи, которые всегда замечаешь, когда только что вернулся на берег, например вот это и то, что в леднике пусто. А вот чувство, что пол качается, как качался катер на высокой беспорядочной зыби, которую развел норд-вест, почти с ураганной силой дуя наперерез мощному течению, это чувство теперь совсем исчезло. Оно было теперь так же далеко от него, как и само бурное море. Море можно было увидеть и отсюда, если из открытых дверей белой комнаты или из окон смотреть на облепленные деревьями ближние холмы и прорезавшую их шоссеиную дорогу, потом на дальние голые холмы, некогда служившие городу укреплением, потом на гавань и на белизну города за ней. Но

море, если смотреть на него так, было всего лишь синевой за далекой белой россыпью города. Оно было так же далеко от него сейчас, как все то, что ушло в прошлое, и раз теперь даже ощущение качки не напоминает о нем, то пусть так все и остается, по крайней мере до тех пор, пока не придет время снова отправляться в плавание.

Пусть себе фрицы ближайšie четыре дня владеют морем, думал он. Интересно, подплывают ли к ним рыбы в местах погружения и играют ли кругом в такую погоду, как сейчас? До какой глубины доходит волнение? В этих водах на любой глубине водится рыба. И рыбам, наверно, очень интересно. У некоторых подлодок дно, должно быть, очень грязное, и рыбы непременно там вертятся. Впрочем, сейчас, может быть, оно и не очень грязное, не в таких местах они ходят. Но рыбы все равно будут вертеться вокруг них. На мгновение он представил себе, каково сегодня в открытом море — как там ходят горы синей воды и ветер рвет белую пену с гребешков, — а затем отстранил все это от себя.

Кот, спавший на одеяле, проснулся, когда Томас Хадсон протянул руку и погладил его. Он зевнул, вытянул передние лапы, потом снова свернулся калачиком.

— Никогда не было у меня женщины, которая бы просыпалась тогда же, когда и я, — сказал Томас Хадсон. — А теперь даже и кота такого у меня нет. Ладно уж, спи дальше, Бой. Тем более что все это вранье. Была у меня такая женщина, которая просыпалась, когда и я, и даже раньше меня. Ты ее не знаешь, ты никогда не знал сколько-нибудь путной женщины. Не везло тебе, Бой. Ну и черту все это.

Знаешь что? Надо бы нам найти хорошую женщину. Мы могли бы оба в нее влюбиться. Если бы ты мог ее содержать, я б тебе ее уступил. Хотя, правда, я никогда не видал такой женщины, чтобы долго могла питаться кустарниковыми крысами.

Чай на время притупил его голод, но теперь он опять был очень голоден. Будь он сейчас в море, он бы уже час назад плотно позавтракал, а до того, наверно, еще выпил кружку чаю. На обратном пути стряпать нельзя было из-за качки, и Томас Хадсон, стоя на мостике, съел несколько сэндвичей с солониной и толстыми ломтиками сырого лука. Но сейчас он уже опять был голоден и злился, что в кухне не нашлось никакой еды. Надо бы купить консервов и держать их здесь на такой случай, подумал он.

Но тогда придется запирать их на ключ, чтобы слуги не извели все раньше времени, а я это ненавижу — держать в доме еду под замком.

В конце концов он налил себе шотландского виски с годой, сел в кресло и принялся читать накопившиеся газеты, чувствуя, как от выпивки затуманивается голод и смягчается нервное беспокойство, всегда терзавшее его в первое время по возвращении домой. Можешь сегодня попить, если захочешь, сказал он себе. После того как сдать рапорт. Если будет такой холоднщ, народу во «Флоридите» соберется немного. А все-таки приятно будет слять там посидеть. Он колебался, где ему пообедать: там или лучше в «Пасифико»? В «Пасифико» тоже будет холодно, но я надену свитер и пальто, подумал он, и там есть столик под стеной возле стойки, где не дует.

— Жаль, ты не любишь ездить, — сказал он коту. — А то мы могли бы прокатиться в город.

Бойз не любил ездить. Он каждый раз думал, что его собираются везти к ветеринару. А ветеринаров он до сих пор боялся. Вот Козел, тот чувствовал бы себя в машине как дома. И на катере он вел бы себя как заправский моряк, если бы только не брызги. Надо бы пойти выпустить их всех. Жаль, я не мог привезти им какой-нибудь подарок. Вот съезжу в город, куплю им кошачьей мяты, и пусть Козел, и Вилли, и Бой будут сегодня вечером от псе пьяны. Кажется, еще есть немного кошачьей мяты в буфете у кошек в комнате, боюсь только, она совсем пересохла и потеряла силу. В тропиках она очень быстро теряет силу, а которая выращена в саду, в той и вовсе никакой силы нет. Жаль, у нас, кошек, нет ничего столь же безвредного, как кошачья мята, и столь же сильно действующего. Почему не выдумали до сих пор такого снадобья, от которого можно было бы так же хорошо пьянеть?

Кошки очень странно относятся к кошачьей мяте. Бойз, Вилли, Козел, Брат Одинокого, Малыш, Шкурка и Генерал — все были настоящие паркоманы, Принцесса — так слуги прозвали Бэби, голубую персидскую кошечку, — никогда к ней даже не притрагивалась; то же самое и Дядя Волчик, серый персидский кот. У Дяди Волчика, который был столь же глуп, сколь красив, это могло происходить от тупости или косности — он никогда не решался сразу попробовать что-нибудь непривычное и без конца подозрительно обнюхивал всякую новую еду, пока ее не съедали остальные кошки и ему ничего не оставалось. По

Принцесса, бабушка всех этих котов, интеллигентная, деликатная, очень принципиальная, аристократичная и необыкновенно ласковая, не выносила даже запаха кошачьей мяты и бежала от нее, точно страхась гнусного порока. Принцесса была такая деликатная и аристократичная кошечка, дымчато-серая, с золотыми глазами и утонченными манерами, и держалась с таким достоинством, что в свои периоды течки она могла служить иллюстрацией, объяснением и, наконец, обличением тех скандальных историй, что случаются иной раз в королевских фамилиях. После того как Томас Хадсон повидал Принцессу во время ее течки — не в первый трагический раз, но когда она уже была взрослой, и красавицей, и на его глазах вдруг сменила все свое достоинство и уравновешенность на самую безудержную распущенность, — он понял, что должен до смерти хоть раз изведать любовь какой-нибудь настоящей принцессы, столь же прелестной, как эта.

Она должна быть такой же степенной, и деликатной, и прекрасной, как Принцесса, пока они еще только будут влюбляться друг в друга, а потом, в постели, такой же бесстыжей и разнузданной. Эта принцесса иногда снилась ему по ночам, и он понимал, что никакая действительность не может быть лучше его снов, но он все-таки жаждал, чтобы они сбылись и стали явью, и был совершенно уверен, что так оно и будет, если только есть на свете такая принцесса.

Беда в том, что, за исключением итальянских, которые не шли в счет, единственная принцесса, с которой у него завязалась однажды любовь, была почти что дурпушкой — с толстоватыми щиколотками и не очень стройными ногами. Правда, зато у нее была нежная кожа северянки и блестящие, хорошо ухоженные волосы, и ему нравилось ее лицо, и ее глаза, и она вся, и так приятно было держать ее руку в своей, когда они стояли вдвоем на палубе парохода, идущего по каналу навстречу огням Исмائيлии. Они очень нравились друг другу и были уже очень близки к тому, чтобы влюбиться, настолько близки, что ей приходилось следить за интонациями своего и его голоса, когда они бывали на людях; настолько близки, что сейчас, когда они держались за руки в темноте, он ясно и без всяких сомнений чувствовал, что между ними происходит. Чувствуя это и будучи в этом уверен, он сказал ей об этом и кое о чем ее спросил, так как они стремились к полной откровенности между собой.

— Мне бы очень хотелось,— ответила она.— Вы сами это знаете. Но я не могу. И это вы тоже знаете.

— Но можно же что-то устроить,— сказал Томас Хадсон.— Всегда можно что-то устроить.

— Вы думаете — в спасательной шлюпке? — сказала она.— Мне не хотелось бы в спасательной шлюпке.

— Слушайте...— начал он, и положил руку ей на грудь, и почувствовал, как грудь приподнялась, оживая под его пальцами.

— Как хорошо,— сказала она.— Но не забывайте, их две.

— Не забуду.

— Ох, как чудно,— сказала она.— Ведь я люблю вас, Хадсон. Я только сегодня догадалась.

— Как?

— Просто догадалась, и все. Не так уж это было трудно. А вы ни о чем не догадались?

— Мне не надо было догадываться,— солгал он.

— Тем лучше,— сказала она.— Но спасательная шлюпка не годится. Ваша каюта не годится. И моя тоже.

— Может быть, пойти в каюту барона?

— Но у барона всегда кто-нибудь есть в каюте. Барон — развратник. Правда, интересно, что у нас тут есть развратник барок, совсем как в старину?

— Да,— сказал он.— Но ведь можно раньше удостовериться, что там никого нет.

— Нет. Это не годится. Просто люби меня сейчас крепко-крепко. Чувствуй, что любишь меня изо всех сил, и держи меня, как сейчас.

Он послушался и потом прижал ее к себе еще крепче.

— Нет,— сказала она.— Так не надо. Так я не вытерплю.

Потом она сама прижалась к нему и спросила:

— А тебе ничего? Ты выдержишь?

— Да.

— Хорошо. Я буду крепко тебя держать. Нет. Не целуй меня. Если ты станешь целовать меня здесь, на палубе, так тогда и все остальное можно.

— А почему бы и нельзя?

— Где, Хадсон? Где? Скажи мне на милость, где?

— Я скажу тебе, зачем.

— Насчет «зачем» я и сама знаю. Где — вот в чем вопрос.

— Я тебя люблю.

— Да. Я тоже тебя люблю. И ничего хорошего тут не выйдет, кроме того, что мы оба любим друг друга, но и это, конечно, хорошо.

— Давай сядем.

— Нет. Будем стоять здесь, как сейчас.

— Тебе приятно?

— Да. Очень. Ты сердишься?

— Нет. Но нельзя же так до бесконечности.

— Хорошо, — сказала она и, повернув голову, быстро его поцеловала, а потом опять стала глядеть вдаль, в пустыню, мимо которой они скользили в ночи. Была зима, и ночь была прохладная, и они стояли, тесно прижавшись друг к другу, и смотрели вдаль. — Ну, тогда пусть. В конце концов норковая шуба в тропиках тоже на что-нибудь годится.

Огни теперь были уже гораздо ближе, а берег капала и вся земная даль за ним по-прежнему скользили мимо.

— Тебе сейчас стыдно за меня? — спросила она.

— Нет. Я очень тебя люблю.

— Но это плохо для тебя, и я эгоистка.

— Нет. Это совсем не плохо для меня, и ты не эгоистка.

— Ты только не считай, что это все было зря. Это не было зря. Для меня нет.

— Ну тогда, значит, и не зря. Поцелуй меня.

— Нет. Не могу. Ты только обними меня покрепче.

Позже она сказала:

— А тебе не интересно, люблю ли я его?

— Нет. Он очень гордый.

— Я открою тебе один секрет.

Она открыла ему этот секрет, который не оказался для него такой уж неожиданностью.

— Это очень дурно?

— Нет, — сказал он. — Это забавно.

— Ох, Хадсон, — сказала она, — я очень тебя люблю. Ты теперь пойдешь отдохнуть, а потом возвращайся сюда. Не распысь ли нам бутылку шампанского в «Ритце»?

— Это будет чудно. А как насчет твоего супруга?

— Он все еще играет в бридж. Я вижу его в окне. А когда кончит, пойдет нас искать и тоже выпьет с нами.

И они пошли в бар «Ритца», который был на корме, и выпили бутылку сухого перрье-жуэ 1915 года, потом еще одну, а немного погодя к их столику подсел и принц. Принц был очень любезен и нравился Хадсону. Он с женой, как и Хадсон, охотился в Восточной Африке, и они встре-

чались в клубе Мутайга и у Торра в Найроби и на одном пароходе плыли из Момбасы. Пароход этот совершал кругосветные рейсы и делал остановку в Момбасе, перед тем как следовать дальше по своему маршруту — сперва Суэц, потом Средиземное море и как конечный пункт Саутгемптон. Это был пароход суперлюкс, каждая каюта состояла из нескольких комнат. Он весь был запродаан под круиз, как это делалось в те годы, но несколько пассажиров сошли на берег в Индии, и один из тех господ, которые всегда все знают, сказал Хадсону в клубе, что на пароходе есть пустые каюты и можно получить их сравнительно недорого. А Хадсон сказал принцу и принцессе, которые сохранили очень неприятные воспоминания о том, как они летели в Кепию на одном из «хэндли пэйджей», тогда еще весьма тихих, и о том, какой это был долгий и утомительный перелет. Поэтому они пришли в восторг и от самой идеи морского путешествия, и от умеренности платы.

— Это будет чудесная поездка, — сказал принц. — И какой вы молодец, что все это разузнали. Я завтра же утром позвоню в пароходство.

Поездка и в самом деле оказалась чудесной. Индийский океан был синий-пресиний, пароход медленно вышел из нового порта, и Африка осталась позади — старый белый город с большими деревьями и со всем зеленым пространством за ним, — и волны, разбивавшиеся о риф, когда пароход шел мимо, а потом он начал набирать скорость и вышел в открытый океан, и летучие рыбы стали выпрыгивать из воды впереди корабля. Африка превратилась в длинную голубую черту на горизонте, и стюард уже бил в гонг, а Томас Хадсон, принц с принцессой и развратник барон, который был другом их дома и жил где-то в Европе, сидели вчетвером в баре и пили сухое мартини.

— Не обращайтесь внимания на этот гонг, — сказал барон. — Позавтракаем в «Ритце». Согласны?

На пароходе Томас Хадсон не спал с принцессой, хотя ко времени прибытия в Хайфу все то, что они делали, привело их в состояние какого-то экстаза отчаяния, такое острое, что их следовало бы обязать по суду спать друг с другом, пока хватит сил, — просто ради успокоения нервов, если не ради чего другого. Вместо этого они решили из Хайфы съездить автомобилем в Дамаск. На пути туда Томас Хадсон сидел впереди рядом с шофером, а супруги сзади. Томас Хадсон повидал небольшой кусочек Святой

земли и небольшой кусочек страны, где подвизался Т.-Э. Лоуренс, а на обратном пути Томас Хадсон с принцессой сидели сзади, а принц впереди, рядом с шофером. На обратном пути Томас Хадсон видел перед собой главным образом затылок принца и затылок шофера, и только сейчас он припомнил, что дорога из Дамаска в Хайфу, где стоял их пароход, шла вдоль реки, и в одном месте высокие берега сближались, образуя теснину, узкую, как на мелкомасштабной рельефной карте, и там посредине реки был островок. Почему-то из всего виденного за эту поездку Томас Хадсон лучше всего запомнил этот островок.

Поездка в Дамаск мало чему помогла, и, когда они уходили из Хайфы, и пароход взял направление на Средиземное море, и Хадсон с принцессой стояли на палубе, где было холодно от резкого норд-оста, разводившего такую волну, что корабль уже начинало медленно покачивать, она сказала ему:

— Надо что-нибудь сделать.

— А если говорить начистоту?

— Пожалуйста. Я хочу лечь в постель и не вставать неделю.

— Неделя — это не так много.

— Ну месяц. Но нужно, чтобы это было сейчас, а сейчас мы не можем.

— Пойдем в каюту барона.

— Нет. Я хочу, чтобы это было там, где мы сможем ни о чем не тревожиться.

— Как ты теперь себя чувствуешь?

— Как будто я схожу с ума и уже довольно далеко зашла по этой дорожке.

— В Париже мы будем любить друг друга в постели.

— А как же я уйду из дому? У меня нет опыта, я не знаю, как это сделать.

— Скажешь, что хочешь походить по магазинам.

— Но ходить по магазинам тоже надо с кем-нибудь.

— Ну и пойдти с кем-нибудь. Разве нет у тебя никого, кому ты можешь довериться?

— Есть, конечно. Но мне так ужасно-ужасно не хотелось бы это делать.

— Ну, тогда не делай.

— Нет. Это нужно. Я понимаю, что нужно. Но от этого не легче.

— Ты разве никогда до сих пор ему не изменяла?

— Никогда. И думала, что никогда не изменю. Но теперь я только этого и хочу. Только мне неприятно, что кто-то чужой будет знать.

— Мы что-нибудь придумаем.

— Пожалуйста, обними меня и прижми к себе крепко-крепко, — сказала она. — Не будем ни говорить, ни думать, ни беспокоиться. Только прижми меня крепко и очень меня люби, потому что мне все теперь больно.

Немного погодя он сказал ей:

— Слушай, это всякий раз будет так же плохо для тебя, как сейчас. Ты не хочешь ему изменять и не хочешь, чтобы кто-нибудь знал. Но ведь это же неизбежно.

— Я хочу этого. Но не хочу обижать его. Но я должна. Это уже больше не в моей воле.

— Ну так пусть это будет. Сейчас.

— Но сейчас это очень опасно.

— Неужели ты думаешь, что хоть кто-нибудь на этом пароходе, кто нас видел и слышал и знает, хоть на секунду поверит, что ты еще не спала со мной? Да и все, что было до сих пор, разве оно так уж отличается?

— Конечно, отличается. Большая разница. От того, что было, не может быть детей.

— Ты неподражаема, — сказал он. — Честное слово.

— Но если будет ребенок, я буду только рада. Он очень хочет ребенка, да вот не получается. Я пересплю с ним сейчас же после, и он никогда не узнает, что это наш.

— Может быть, все-таки не стоит спать с ним *сейчас же после*.

— Пожалуй. Ну, на следующую ночь.

— Как давно ты уже не спишь с ним?

— Я сплю с ним каждую ночь. Мне это нужно, Хадсон. Я все время такая возбужденная, что мне это нужно. И по-моему, это одна из причин, почему он теперь так поздно играет в бридж, ему бы хотелось, чтобы я успела заснуть до его прихода. Он как будто стал немного уставать с тех пор, как мы с тобой влюбились друг в друга.

— А ты в первый раз влюбилась, с тех пор как за него вышла?

— Нет. Мне очень жаль, но нет, не в первый. Я уже несколько раз влюблялась. Но никогда ему не изменяла, даже мысли такой не было. Он такой добрый и мягкий и такой хороший муж, и я так к нему привыкла, и он меня любит и всегда добр со мной.

— Пойдем лучше в «Ритц» и выпьем шампанского,— сказал Томас Хадсон. Чувства его становились какими-то противоречивыми.

В баре «Ритца» было пусто, и официант принес им вино на один из столиков у стены. Теперь там всегда держали сухое перрье-жуэ 1915 года на льду, и официант просто спросил:

— Вино то же самое, мистер Хадсон?

Они выпили друг за друга, и принцесса сказала:

— Я люблю это вино. А ты?

— Очень.

— О чем ты сейчас думаешь?

— О тебе.

— Понятно. Я тоже только о тебе и думаю. Но что ты думаешь обо мне?

— Я думаю, что нам надо сейчас пойти ко мне в каюту. Мы слишком много болтаем и все ходим вокруг да около и ни к чему не приходим. Сколько сейчас по твоим часам?

— Десять минут двенадцатого.

— Сколько там у вас времени? — спросил он у официанта, который подавал им вино.

— Четверть двенадцатого, сэр.— Официант поглядел на часы в баре.

Когда он отошел и уже не мог их слышать, Томас Хадсон спросил:

— До которого часа он будет играть в бридж?

— Он сказал, что будет играть очень поздно и чтобы я его не ждала и ложилась спать.

— Допьем вино и пойдем ко мне. У меня там тоже есть немного.

— Хадсон, по ведь это же очень опасно.

— Всегда будет опасно,— сказал Томас Хадсон.— Но если топтаться на месте, как сейчас, это становится во много раз опаснее.

Когда потом он провожал ее до супружеской каюты, а она говорила, что не надо, а он ответил, что так гораздо естественнее, принц все еще играл в бридж. Потом Томас Хадсон пошел опять в «Ритц», где еще было открыто, и велел подать бутылку того же самого вина, и стал читать газеты, взятые на борт в Хайфе. При этом он вдруг сообразил, что это в первый раз за много дней у него нашлось время почитать газеты, и он чувствовал себя

отдохнувшим и с большим удовольствием читал газеты. Потом, когда бридж кончился и принц, проходя мимо, заглянул в бар, Томас Хадсон предложил ему выпить стаканчик, перед тем как идти спать; сейчас принц нравился ему еще больше, чем всегда, он даже испытывал к нему какое-то родственное чувство.

Томас Хадсон и барон сошли с корабля в Марселе. Большинство других пассажиров решили ехать дальше, до конечного пункта, которым был Саутгемптон. В Марселе они с бароном обедали в маленьком кафе в Старом Порту, за выставленным на тротуар столиком, ели *moules marinées*¹ и попивали из графинчика *vin rosé*². Томас Хадсон был очень голоден и вспомнил, что, в сущности, был почти все время голоден с тех самых пор, как они ушли из Хайфы.

Да я, кстати, и сейчас чертовски голоден, подумал он. Куда к черту они подевались, все эти слуги? Хоть бы один показался. А на дворе ветер становился все холоднее. Это напомнило Хадсону тот холодный день в Марселе, когда они с бароном, подняв воротники пальто, сидели за столиком кафе на крутой улочке, сбегавшей вниз, к порту, и ели *moules*, разламывая тонкие черные ракушечки, которые надо было вылавливать из горячей наперченной молочной похлебки с плавающим по ней горячим растопленным маслом, пили вино из Тавеля, на вкус такое, каким Прованс был на взгляд, и смотрели, как ветер раздувает юбки рыбацек, и туристов, и дурно одетых портовых проституток, когда те взбирались по крутой, вымощенной булыжником улочке, подхлестываемые мистралем.

— Вы очень пахальный молодой человек, — сказал барон.

— Хотите еще *moules*?

— Нет. Я хочу чего-нибудь посолиднее.

— Возьмем еще *bouillabaisse*³?

— Два супа?

— Я голоден. И мы теперь не скоро опять сюда попадем.

— Да, у вас есть-таки основания быть голодным. Ладно. Возьмем *bouillabaisse* и хороший *château brian*, это

¹ Маринованные съедобные ракушки (*фр.*).

² Розовое (*фр.*).

³ Суп с рыбой (*фр.*).

очень тонкое вино. Придется мне вас подкормить, распутник вы этакий.

— Что вы теперь думаете делать?

— Гораздо интереснее, что вы теперь думаете делать. Вы ее любите?

— Нет.

— А, ну слава богу. Для вас сейчас самое лучшее пемедля это прикончить. Самос лучшее.

— Опп приглашали меня к себе, на рыбную ловлю.

— Будь это охота, так, может, стоило бы,— сказал бароп.— А рыбная ловля — это очень холодно и очень неприятно. И нечего ей делать из своего мужа дурака.

— Он, наверно, все знает.

— Нет, не знает. Знает только, что она влюблена в вас. И ничего больше. Вы дженгльмен, так что все, что вы сделаете, будет правильно. Но ей нечего делать из своего мужа дурака. Вы ведь на ней не женитесь?

— Нет.

— Да она все равно не могла бы выйти за вас замуж, и нечего прикипать ему горе, разве только если вы ее любите.

— Нет. Не люблю. Теперь я это знаю.

— Ну так я думаю, что вам падо все это прикончить.

— Я тоже так думаю.

— Рад, что вы согласны со мной. А теперь скажите мне по правде, какая она?

— Очень мила.

— Глупости. Я знал ее мать. Вот если б вы знали ее мать!

— Сожалею, что не знал.

— Да, уж действительно стоит пожалеть. Не понимаю, как это вы спутались с такими добропорядочными и скучными людьми. Или, может быть, она вам пужпа для вашей живописи или чего-нибудь подобного, а?

— Нет. Это так не делается. Она мне очень нравилась. И сейчас нравится. Но я не люблю ее, и вообще все это стало чересчур сложным.

— Очень рад, что вы поняли. Ну, и куда же вы теперь думаете поехать?

— В Африке мы только что были.

— Совершенно верно. А почему бы вам не пожить немного на Кубе или на Багамских островах? И я бы, пожалуй, к вам присоединился, если бы достал денег дома.

— А вы надеетесь достать?

— Пет.

— Я, пожалуй, поживу немного в Париже. Давно не бывал в большом городе.

— Ну, какой это город — Париж. Лондон — вот город. Хочу посмотреть, что делается в Париже.

— Я вам все могу рассказать, что там делается.

— Да пет, я не о том. Хочу посмотреть картины, и кое с кем повидаться, и побывать на скачках — на Шести-дневной и в Отейле, в Энгигене и в Ле Трамблэ. Почему бы и вам там не задержаться?

— Смотреть на скачки я не люблю. А играть — денег нет.

К чему сейчас все это вспоминать, подумал он. Барон умер, фрицы заняли Париж, а ребенок у принцессы так и не родился. Не будет его крови ни в каком королевском доме, разве что когда-нибудь пойдет у него из носу кровь в Букингемском дворце, что маловероятно. Если через двадцать минут никто из слуг не явится, я сам пойду в деревню и добуду яиц и немного хлеба. Это же черт знает что — быть голодным в собственном доме, думал он. Но уж очень я устал, идти не хочется.

Тут он услышал, что в кухне кто-то шевелится, и нажал кнопку зуммера, вделанную под крышкой большого стола, и услышал, как он дважды прожужжал в кухне.

Вошел младший слуга, похожий не то на молодого фавна, не то на святого Себастиана, с обычным своим вкрадчивым, хитрым и долготерпеливым выражением лица, и спросил:

— Вы звонили?

— А ты не слышал, что ли? Где Марио?

— Пошел за почтой.

— Как там кошки?

— Очень хорошо. Ничего нового. Большой Козел подрался с Эль Гордо. Но мы уже полечили ему раны.

— Бойз вроде бы похудел.

— Слишком много бегают по почам.

— А как Принцесса?

— Немпужко было загрустила. Но теперь уже опять хорошо ест.

— Трудно сейчас достать мясо?

— Мы доставали в Которро.

- Как собаки?
- Все здоровы. У Негриты опять будут щенята.
- Не могли вы поддержать ее взаперти?
- Мы пробовали, да она удрала.
- Еще что случилось?
- Ничего. Как вам ездило?
- Без происшествий.

Пока он говорил — коротко и раздраженно, как всегда с этим мальчишкой, которого он уже дважды увольнял и каждый раз принимал обратно, когда приходил его отец просить за него, — в комнату вошел Марио, старший слуга, неся письма и газеты. Он улыбался, и темное его лицо было веселым, добрым и ласковым.

- Как съездили?
- Под конец потрепало немножко.
- *Figúrate*. Воображаю. Сильный был норд. Вы ели?
- Тут нечего было есть.
- Я принес яиц, молока и хлеба. *Tú* ¹, — обратился он ко второму слуге, — ступай приготовить завтрак для кабаль-
еро. Как вам приготовить яйца?
- Как всегда.
- *Los huevos como siempre* ², — сказал Марио. — Бойз вас встретил?
- Да.
- Он очень скучал в этот раз. Больше, чем всегда.
- А как остальные?
- Да ничего, только вот у Козла с Толстяком страш-
ная была драка. И Принцесса погрустила немножко. Но
потом это прошло.
- *Y tú?* ³
- Я? — Он застенчиво улыбнулся, польщенный. —
У меня все хорошо, благодарю вас.
- А как твоё семейство?
- Все здоровы, благодарю вас. Папа уже опять ра-
ботает.
- Очень рад.
- Он и сам рад. Кто-нибудь из ваших друзей почевал
здесь?
- Нет. Все поехали в город.
- Устали, наверно.

¹ Ты (*исп.*).

² Яйца, как обычно (*исп.*).

³ А ты? (*исп.*)

— Как не устать.

— Тут звонили разные господа. Я всех записал. Только вот поймете ли вы. Я никогда не знаю, как писать английские имена.

— Пиши, как слышишь.

— Но я, пожалуй, и слышу не так, как вы.

— Полковник заходил?

— Нет, сэр.

— Припеси мне виски с минеральной водой,— сказал Томас Хадсон.— И, пожалуйста, молока для кошек.

— В столовую или сюда?

— Виски сюда. Молоко для кошек в столовую.

— Сию минуту,— сказал Марио. Он пошел в кухню и вернулся со стаканом виски.— Кажется, я сделал достаточно крепко,— сказал он.

Сейчас мне побриться или после завтрака, размышлял Томас Хадсон. Надо бы сейчас. Для того я и заказал виски, чтобы перетерпеть, пока буду бриться. Ладно, иди в ванную и побрейся. А, да ну его к черту, подумал он. Нет. Иди побрейся. Это полезно для морального состояния, и, кроме того, сразу же после завтрака надо будет ехать в город.

Он прихлебывал виски, пока намыливался, и после того как намылился, и опять, когда вторично намыливался. Он три раза менял лезвия, с трудом одолевая двухнедельную щетину на щеках, на шее и подбородке. Кот ходил кругом и смотрел, как он бреется, и терся о его ноги. Потом вдруг бросился вон из комнаты, и Томас Хадсон понял, что он услышал звяканье мисочек для молока о плиточный пол столовой. Томас Хадсон не слышал ни зова, ни этого звяканья, но Бойз услышал.

Томас Хадсон кончил бриться и, налив в правую ладонь превосходного чистого девяностоградусного спирта, который здесь, на Кубе, стоял не дороже, чем в Штатах жалкий разбавленный спирт для растирания, смочил им лицо и прислушался к тому, как от жалящего холода успокаивается раздражение кожи после бритья.

Сахара я не ем, табака не курю, подумал он, но зато получаю удовольствие от продукции здешних винокуров.

Окна в ванной были до половины закрашены, так как мощный камнем патио тянулся вокруг всего дома, но в верхней части окон стекло было чистое, и Томас Хадсон видел, как листья пальм мечутся на ветру. Ого, ветер еще сильнее, чем я думал. А ведь скоро пора будет выходить

в новый рейс. Впрочем, кто его знает. Все зависит от того, как поведет себя этот шторм, когда перекочет на северо-восток. До чего ж хорошо было эти последние несколько часов не думать о море. Ну, значит, так и будем продолжать. Не будем вовсе думать ни о море, ни о том, что на нем, или под ним, или как-либо с ним связано. Не стоит даже составлять списка всего того, чего мы о море думать не будем. Совсем ничего не будем о нем думать. Будем знать, что оно существует, и хватит. И еще кое о чем тоже. Об этом мы тоже не будем думать.

— Где сеньор хочет завтракать? — спросил Марио.

— Где угодно, только подальше от этой рута¹ — от моря.

— В большой комнате или в вашей спальне?

— В спальне. Вытащи плетеное кресло и поставь все на столик рядом.

Он выпил горячего чая и съел одно яйцо и несколько тостов с апельсиновым джемом.

— А фруктов нет?

— Только бананы.

— Принеси несколько штук.

— Так вредно же после спиртного.

— Это предрассудок.

— А вот пока вас не было, тут в деревне один человек умер оттого, что наелся бананов, после того как пил ром.

— А может, он был просто пьянчужка и опился ромом?

— Нет, сеньор. Этот человек умер сразу оттого, что выпил совсем немножко рома, а потом съел много бананов. Это были его собственные бананы, из его сада. Он жил на горке за деревней и работал на седьмом автобусном маршруте.

— Царство ему небесное, — сказал Томас Хадсон. — Принеси-ка мне бананов.

Марио принес бананы — маленькие, желтые, спелые, с дерева в саду. Очищенные, они были едва ли больше мужского пальца и очень вкусные. Томас Хадсон съел пять штук.

— Следи, как я буду умирать, — сказал он. — И приведи сюда Принцессу, пусть съест второе яйцо.

— Я уже дал ей яйцо в честь вашего возвращения, — сказал Марио. — И еще дал по яйцу Бойзу и Вилли.

¹ Шлюха (исп.).

— А Козлу?

— Садовник сказал, что ему вредно много есть, пока раны не зажили. Его здорово потрепали.

— Что это за драка у них вышла?

— Очень свирепая. Чуть не целую милю бежали и все дрались. Мы их потеряли в колючем кустарнике за садом. Дрались они без крика, теперь они всегда так дерутся. Не знаю, кто победил. Сперва пришел Большой Козел, и мы стали лечить его раны. Он пришел в патно и лег возле цистерны с водой. Наверх вскочить не мог. Потом, через час, пришел Толстяк, и ему мы тоже полечили раны.

— А помнишь, как они дружили, когда были котятами?

— Помню, как же. Но теперь, боюсь, Толстяк убьет Козла. Он на добрый фунт тяжелей.

— Козел — великий босц.

— Да, сеньор. Но подумайте сами — что значит лишний фунт веса.

— Я думаю, для котов это не так много значит, как для бойцовых петухов. Ты все расцениваешь с точки зрения петушиного боя. И для людей это не так много значит, разве только когда боксеру приходится быстро спускать вес и он от этого слабнет. Когда Джек Демиси завоевал первенство мира, он весил всего сто восемьдесят пять фунтов. А Уиллард весил двести тридцать. Козел и Толстяк оба крупные коты.

— По тому, как они дерутся, лишний фунт — это огромное преимущество, — сказал Марио. — Если б их заставляли драться на приз, те, кто делает ставки, уж никак бы не упустили из виду лишний фунт веса. Лишнюю унцию и то приняли бы в соображение.

— Принеси мне еще бананов.

— Сеньор, умоляю вас.

— Ты правда веришь в эту чепуху?

— Это не чепуха, сеньор.

— Ну, тогда принеси мне еще виски с минеральной.

— Если вы мне приказываете...

— Я тебя прошу.

— Если вы просите, это приказание.

— Ну так принеси.

Марио принес виски со льдом и холодной шипучей минеральной воды, и Томас Хадсон взял все это и сказал:

— Ну, следи, как я буду умирать. — Но тревожное выражение на темном лице юноши отбило у Томаса Хадсона

охоту его дразнить, и он сказал: — Да что ты, я же знаю, что мне от этого ничего не будет.

— Сеньор знает, что делает. Но мой долг был протестовать.

— Ну вот и хорошо. Ты протестовал. Что, Педро пришел уже?

— Нет, сеньор.

— Как только придет, скажи ему, чтобы приготовил «кадиллак», и мы сейчас же поедem в город.

Ну, теперь иди, прими ванну, сказал себе Томас Хадсон. Потом оденешься, как полагается для Гаваны. Потом поедешь в город повидать полковника. Отчего ж тебе плохо? Какие еще у тебя огорчения? Огорчений у меня довольно, подумал он. В изобилии. Земля изобилия. Море изобилия. Воздух изобилия.

Он сидел в плетеном кресле, поставив ноги на подножку, которая выдвигалась из-под сиденья, и разглядывал картины на стенах своей спальни. В изголовье кровати — дрянной кровати с плохоньким матрацем, купленной из экономии по дешевке, так как он все равно здесь не спал, разве только в случаях ссор, — висел «Гитарист» Хуана Гриса. *Nostalgia hecha hombre*¹, подумал он. Люди не знали, что от этого умирают. На противоположной стене над книжным шкафом висел «Monument in Arbeit» Пауля Клее. Томас Хадсон не любил эту картину так, как он любил «Гитариста», но ему нравилось на нее смотреть, и он вспомнил, какой неприличной она ему казалась, когда он только что купил ее в Берлине. Краски были такие же непристойные, как на таблицах в медицинских книгах отца, где были показаны разные виды шанкров и других венерических язв. И как пугалась этой картины его жена, пока не научилась понимать ее странный колорит как данность и рассматривать ее только как произведение искусства. Сейчас он знал о ней не больше, чем когда в первый раз увидел ее в галерее Флехтгейма, в доме у реки в ту чудесную холодную осень в Берлине, когда они были так счастливы. Но это была хорошая картина, и он любил смотреть на нее.

Над другим шкафом висела одна из масоновских рощ. Это была «*Ville d'Avray*», и ее Томас Хадсон любил так же, как он любил «Гитариста». Самое замечательное в

¹ Тоска, воплощенная в человеке (*исп.*).

картинах было то, что их можно было любить без страданий, и самые лучшие были великой радостью, потому что в них осуществилось то, чего ты сам всегда старался достичь. Но раз это сделано — все равно хорошо, хотя сделано оно и не тобой.

Бойз вошел в комнату и прыгнул к нему на колени. Он великолепно прыгал и мог без всяких видимых усилий вскочить на самый верх высокого шифоньера в большой спальне. Сейчас, прыгнув невысоко и очень аккуратно, он разлегся на коленях у Томаса Хадсона и стал любовно месить их передними лапами.

— Я смотрю на картины, Бой. Тебе лучше бы жилось, если б ты любил картины.

Хотя, может быть, он столько же получает удовольствия от прыжков и почной охоты, как я от картин, подумал Томас Хадсон. Жаль, конечно, что он не умеет их видеть. Впрочем, кто знает. У него мог бы оказаться ужасный вкус в живописи.

— Интересно, Бой, какие бы тебе картины нравились. Наверно, тот голландский период, когда писали такие чудесные натюрморты с рыбами, устрицами и дичью. Ну, ну, полегче. Сейчас день, а не ночь, а днем не полагается нежничать.

Но Бойз продолжал нежничать, и Томас Хадсон повалил его на бок, чтобы успокоить.

— Надо же, Бой, все-таки соблюдать приличия, — сказал он. — Я вот в угоду тебе даже не пошел поздороваться с остальными котами.

Бойз был счастлив, и Томас Хадсон, положив ему руку на горло, чувствовал под пальцами его мурлыканье.

— Надо мне вымыться, Бой. Ты полжизни проводишь за этим занятием. Но ты это делаешь собственным языком. И в это время ты на меня ноль внимания. Пока ты моешься, ты точно деловой человек в своей конторе. Это, мол, дело. Это нельзя прерывать. Ну а со мной иначе. Вот мне сейчас надо выкупаться. А я вместо того сижу и напиваюсь с утра, как какой-нибудь паршивый пьянчужка. Вот в чем разница между нами. Зато ты не можешь простоять восемнадцать часов за штурвалом. А я могу. Две-три — в любое время. Восемнадцать — если потребуется. А на этот раз — девятнадцать. Но я не умею прыгать и охотиться по почам, как ты. Хотя иногда ночью случалось и нам лихо поохотиться. Но у тебя твой радар в усах. А у голубя, наверно, в этих наростах над клювом.

Во всяком случае, у всех почтовых голубей есть такие паросты. Какие там у тебя ультракороткие частоты, а, Бой?

Бойз лежал тяжелый, плотный, длинный, беззвучно мурлыкающий и очень счастливый.

— Что говорит твой локатор, Бой? Какова у тебя ширина импульса? Какова у тебя частота повторения импульса? Знаешь, в меня ведь встроен магнетрон. Только ты никому не говори. Но в дальнейшем при более высокой разрешимости, достигнутой с помощью УВЧ, вражеских шлюх можно будет обнаруживать на более далеком расстоянии. Это все микроволны, Бой, и ты сейчас их мурлыкаешь.

Так вот, значит, как ты выполняешь свое решение не думать больше о море, пока не придет пора идти в новый рейс. Не море ты хотел забыть. Ты сам знаешь, чтолюбишь море и нигде в другом месте не хотел бы жить. Выйди на балкон, посмотри на него. Оно не жестокое и не бессердечное, ничего из этого Quatsch¹. Просто вон оно, там, и ветер движет им, и течение движет им, и они борются на его поверхности, но там — в глубинах — все это ничего не значит. Будь благодарен за то, что снова поплывешь по нему, и скажи ему спасибо за то, что оно твой дом. Оно твой дом. И не болтай и не думай о нем всякой чепухи. Не море твоя беда. Вот ты как будто уже начал кое-что соображать, сказал он себе. Хотя на суше этого по тебе не видно. Ладно, сказал он себе. В море приходится столько соображать, что на суше уже не хочется.

Берег, конечно, приятное место, подумал он. Вот сегодня посмотрим, до какой степени оно может быть приятным. После того как я повидаюсь с этим чертовым полковником. Я, конечно, всегда рад повидать его, потому что это укрепляет мое моральное состояние. Но не будем входить в это, подумал он. Не будем портить этим такой приятный день. Я пойду повидаться с ним. Но я не буду, так сказать, входить в полковника. В него уже много вошло такого, что никогда не выйдет обратно. И уже многое из него вышло, чего обратно уже не загонишь. Так что нет, не нужно тебе входить в полковника. Я и не буду. Только пойду повидать его и сдам свой рапорт.

Он допил виски, снял кота с колен, встал, еще посмотрел на все три картины, потом пошел в ванную и принял

¹ Вздор (нем.).

душ. Нагреватель был включен только после того, как утром пришли слуги, так что горячей воды было еще немного. Но Томас Хадсон хорошенько намылился, вымыл голову и под конец ополоснулся холодной водой. Потом надел белую фланелевую рубашку, темный галстук, фланелевые брюки, шерстяные носки, десять лет назад купленные грубые английские башмаки, кашемировый свитер и старую твидовую куртку. Затем позвонил Марио.

— Педро здесь?

— Да, сеньор. Он уже вывел машину.

— Приготовь мне «Тома Коллинза» с кокосовой водой и горькой настойкой. И поставь стакан в пробковый подстаканник.

— Да, сеньор. Пальто наденете?

— Возьму с собой на случай, если будет холодно на обратном пути.

— К ленчу вернется?

— Нет, и к обеду тоже нет.

— На котов не хотите взглянуть, прежде чем уехать? Они все на солнышке греются под стеной, где нет ветра.

— Нет. Повидаю их вечером. Я хочу привезти им подарок.

— Пойду приготовлю вам выпить. Минутку задержусь из-за кокосовых орехов.

Ну почему, черт возьми, я не захотел повидать котов? Не знаю. Совершенно не понимаю. Это что-то повое.

Бойз шел за ним следом, немного встревоженный его отъездом, но не впадал в панику, так как не было ни багажа, ни сборов.

— Может быть, я это сделал ради тебя, Бой,— сказал Томас Хадсон.— Не волнуйся. Я вернусь попозже всероком или утром. И надеюсь, с прочищенными мозгами. Да как следует прочищенными. Тогда, может, подумаемся до чего-нибудь толкового. *Vámonos a limpiar la escopeta*¹.

Из ярко освещенной большой комнаты, которая все еще казалась ему огромной, Томас Хадсон перешел по каменным ступенькам в еще более яркий свет кубинского зимнего утра. Собаки прыгали вокруг его ног, и печальный пойнтер тоже подошел, подобострастно извиваясь и мотая опущенной головой.

— Ах ты бедное горемычное животное,— сказал Томас Хадсон пойнтеру и похлопал его по спине, и пес в ответ

¹ Пойдем прочистим ружье (*исп.*).

повилял ему хвостом. Остальные собаки — все беспородные — были веселы и прыгали в возбуждении от холода и ветра. На ступеньках валялось несколько сухих сучьев, обломанных за ночь ветром с сейбы, росшей в патио. Из-за машины вышел шофер, демонстративно дрожа от холода, и сказал:

— С добрым утром, сеньор Хадсон. Как съездили?

— Да ничего, неплохо. А как наши машины?

— Все в идеальном порядке.

— Как бы не так, — сказал Томас Хадсон по-английски.

И затем, обращаясь к Марио, который уже спускался по ступенькам, держа в руках высокий стакан с темной, ржавого цвета жидкостью, заключенный в пробковый подстаканник, примерно на полдюйма не доходивший до его верхнего края, Томас Хадсон добавил:

— Принеси свитер для Педро. Такой, что спереди застегивается. Из вещей мистера Тома. И вели смести этот мусор со ступенек.

Томас Хадсон дал шоферу подержать стакан и пагнул-ся к собакам, лаская их. Бойз сидел на ступеньках и с презрением их оглядывал. Тут была Негрита, небольшая черная сучка, уже слегка посветлевшая от возраста, хвост у нее торчал закорючкой, а тонкие ножки чуть не сверкали, когда она с таким увлечением прыгала; мордочка у нее была острая, как у фокстерьера, а глаза ласковые и умные.

Томас Хадсон увидел раз ночью в баре, как она бежала вслед за кем-то из клиентов, и спросил у официанта, какой она породы.

— Кубинской, — ответил тот. — Она тут уже четвертый день мыкается. Каждого провожает к машине, по опи все захлопывают дверцу у нее перед носом.

Опи взяли ее с собой в усадьбу, и за два года у нее ни разу не было течки, и Томас Хадсон уже было решил, что она слишком стара, чтобы рожать. А затем в один прекрасный день ему пришлось силком увести ее от большого полицейского пса, и с тех пор у нее пошли рождаться щенята — от полицейского пса, от бульдога, от пойнтиера, и еще чудесный ярко-рыжий щенок, чьим отцом мог бы, пожалуй, быть ирландский сеттер, если бы только не были у этого щеночка грудь и плечи как у бульдога и хвост закорючкой, как у самой Негриты.

Теперь ее сыновья прыгали вокруг, а она опять была беременна.

— С кем она теперь повязалась? — спросил Томас Хадсон у шофера.

— Не знаю.

Подавая шоферу свитер, в который тот немедленно и облачился, сбросив свою потертую форменную куртку, Марио сказал:

— Отец — тот драчливый пес из деревни.

— Ну, прощайте, собачки, — проговорил Томас Хадсон. — До свиданья, Бой, — сказал он коту, который вдруг прыжками пробился среди собак к машине. Томас Хадсон, уже сидевший в машине, держа обернутый пробкой стакан, высунулся из окна и протянул руку к коту, а тот, встав на задние лапы, стал тыкаться головой в его пальцы. — Не расстраивайся, Бой. Я вернусь.

— Бедный Бойз, — сказал Марио. Он поднял кота и держал его на руках, и кот смотрел вслед машине, пока она поворачивала, огибая клумбу, и потом покатила по ерсовой, размытой ливнем подъездной аллее и скрылась наконец за склоном холма и высокими манговыми деревьями. Тогда Марио унес кота в дом и спустил его на пол, по кот тотчас вскочил на подоконник и опять стал смотреть туда, где дорога скрывалась за холмом.

Марио погладил его, но кот не успокоился.

— Бедный Бойз, — сказал Марио. — Бедный, бедный Бойз.

Машина подъехала к воротам, шофер выскочил, бросил цепь, снова забрался на место и вывел машину на улицу. Навстречу им шел молодой негр, шофер крикнул ему, чтобы он закрыл ворота, негр улыбнулся во весь рот и утвердительно кивнул.

— Это младший брат Марио.

— Да, знаю, — сказал Томас Хадсон.

Они выехали на убогую деревенскую улочку и свернули к Центральному шоссе. Мимошли деревенские домишки, две бакалейные лавочки — в открытых дверях мелькнули стойки, ряды бутылок над ними, а по бокам полки с консервными банками. Последний бар и огромный испанский лавр, протянувший свои ветви над дорогой, остались позади, и они покатили вниз по старому, мощенному камнем шоссе. Шоссе между двух рядов высоких старых деревьев шло под уклон мили три. По обеим его сторонам были питомники, маленькие фермы, большие фермы с ветхими испанскими домами колониального стиля, поделенными на клетушки, с заброшенными пастби-

щами, по которым бежали улицы, утыкавшиеся в склоны холма, заросшие бурой от засухи травой. Единственная зелень в этой зеленой стране оставалась сейчас вдоль речного русла, где стояли высокие серые стволы королевских пальм с перекошенными ветром зелеными кронами. Ветер дул сухой, северный — сухой, резкий и холодный. Такие ветры уже успели охладить Флоридский залив, и поэтому сегодняшний норд не принес с собой ни тумана, ни дождя.

Томас Хадсон глотнул коктейля, в котором чувствовалась свежесть сока зеленого лимона, смешанного с безвкусной кокосовой водой, которая была все же куда ощутимее, чем любая газировка. Коктейль был креплён добротным гордоновским джином, и джин оживлял эту смесь у него на языке, глотать ее было приятно, а ангостурская горькая придавала ей упругости и колера. Пьешь — и у тебя такое ощущение, будто ты коснулся надутого ветром паруса, подумал он. Вкуснее этого напитка ничего нет.

В пробковом подстаканнике лед не таял, и вода не разжижала коктейля, и он с нежностью поглаживал стакан пальцами и смотрел на места, мимо которых они проскакали.

— Почему ты не идешь вниз накатом? Экономил бы горючее.

— Если прикажете, я выключу зажигание, — ответил шофер. — Но ведь горючее-то казенное.

— А ты попрактикуйся, — сказал Томас Хадсон. — По крайней мере узнаешь, как это делается, когда горючее у нас будет не казенное, а свое собственное.

Теперь они ехали по равнине, где слева от дороги были цветочные хозяйства, а справа стояли домики плетельщиков корзин.

— Надо будет позвать плетельщика, чтобы починил большую циновку в гостиной, там, где она протерлась.

— Sí, señor¹.

— Ты знаешь какого-нибудь?

— Sí, señor.

Шофер, которого Томас Хадсон очень не любил за его круглое невежество, за глупость и гонор, за непонимание мотора и варварское отношение к машине и за лень, отвечал ему односложно, официально, обидевшись на резкое замечание насчет экономии горючего. Несмотря на все

¹ Да, сеньор (*исп.*).

свои недостатки, шофер он был первоклассный, то есть великолепно, мгновенно реагируя, водил машину по кубинским улицам с их бестолковым, неврастеническим движением. Кроме того, он слишком много знал об их действительности, и уволить такого было не просто.

— Тебе не холодно в одном свитере?

— No, señor¹.

Ах, чтоб тебя! — подумал Томас Хадсон. Чего ты буркаешь? Ну погоди, сейчас я тебя разговорю.

— Как у вас дома, холодно было вчера ночью?

— Ужасно холодно! Nogoroso! Вы даже представить себе не можете, как холодно.

Мир между ними был восстановлен, и они въехали на мост, где несколько месяцев назад было обнаружено туловище девушки, которую ее любовник-полисмен разрезал на шесть кусков, завернул каждый в оберточную бумагу и разбросал по Центральному шоссе. С тех пор река пересохла. А в тот вечер вода в ней поднялась, и машины стояли на набережной под дождем цепочкой на полмили, пока шоферы главели на это историческое место.

Утром газеты поместили на первых полосах фотографию туловища, и в одной статейке указывалось, что эта девушка, несомненно, была туристкой из Северной Америки, поскольку ее ровесницы, проживающие в тропиках, более развиты физически. Каким образом успели установить ее точный возраст, Томас Хадсон не имел понятия, так как голову обнаружили гораздо позднее в рыбацьем порту Батабано. Но туловищу с газетных фотографий действительно было далеко до лучших фрагментов греческих статуй. Впрочем, она не была американской туристкой, а, как выяснилось, обзавелась своими прелестями, уж какие они там у нее были, здесь, в тропиках. На некоторое время Томасу Хадсону пришлось отказаться от ремонта дороги за воротами усадьбы, так как любому рабочему, который вздумал бы побежать или просто ускорить шаг, грозила опасность, что за ним погонятся с криком: «Вон он! Держи, лови! Вон кто изрубил ее на куски!»

Они переехали через мост и поднялись вверх по холму в Луйяно, где слева открывался вид на Эль-Серро, каждый раз папوماввший Томасу Хадсону Толедо. Не Толедо Эль Греко. А ту часть настоящего Толедо, которая видна с

¹ Нет, сеньор (*исп.*).

холма. Машина одолевала последние футы подъема, и он на минуту ясно увидел это — Толедо, настоящий Толедо, а потом дорога нырнула вниз, и с обеих сторон подступила Куба.

Вот эту часть пути в город он никогда не любил. Из-за нее-то он и брал с собой в дорогу что выпить. Я пью, чтобы отгородиться от нищеты, грязи, четырехсотлетней пылищи, от детских соплей, от засыхающих пальмовых листьев, от крыш из распрямленных молотком старых жестянок, от шаркающей походки незалеченного сифилиса, от сточных вод в руслах пересохших ручьев, от насекомых на облезлых шеях домашней птицы, от струпов на шеях стариков, от старушечьей вони, от орущего радио, думал он. А так поступать нельзя. Надо всмотреться поближе во все это и что-то делать. Но вместо этого ты таскаешь за собой свою выпивку, как в прежние времена люди не расставались с нюхательными солями. Впрочем, нет. Это не совсем так, подумал он. Тут некая комбинация из того, как я пью и как пили в «Переулке, где торгуют джином» у Хогарта. И еще ты пьешь перед разговором с полковником, подумал он. Ты всегда теперь пьешь или за что-нибудь, или отгораживаясь от чего-нибудь, подумал он. Черта с два! Сколько раз ты пил просто так. И сегодняхватишь как следует.

Он надолго приложился к стакану, и питье ополоснуло ему рот своей чистотой, свежестью и холодком. Теперь пойдет худший участок дороги, с трамвайной линией и с машинами, которые стоят у железнодорожного переезда вилотную одна к другой, дожидаясь, когда поднимут шлагбаум. Впереди, за гущей застрявших машин и грузовиков, высился тот холм с крепостью Атарес, где за сорок лет до его рождения был расстрелян полковник Криттенден и еще несколько человек после провала экспедиции в Байя-Онде и где погибли сто двадцать два американских добровольца. Еще дальше небо пересекал густой дым, поднимающийся из высоких труб гавапской Электрической компании, а под виадуком старая, мощенная булыжником дорога шла параллельно гавани, где вода у берега была черная и маслянистая, как осадок на дне цистерн в танкере. Шлагбаум подняли, они поехали дальше и ушли из-под свирепого норда; пароходы с деревянной обшивкой — нелепые, жалкие торговые суда военного времени — стояли у залитых креозотом причальных свай, и вся пакость со всей гавани, черная, чернее креозота, и воню-

чая, как давно не чищенная помойка, плескалась об их корпуса.

Он увидел знакомые суда. Один старый баркас был такой большой, что подводная лодка не отказала ему во внимании и угостила его миной. Баркас доставил сюда лес, а вывозит груз сахара. Следы попадания были все еще видны на нем, хотя с тех пор его успели отремонтировать, и Томас Хадсон вспомнил, как они проходили в море мимо этого баркаса и видели у него на палубе живых китайцев и мертвых китайцев. Я думал, что хоть сегодня-то ты не будешь думать о море.

Нет, думать о нем падо, сказал он себе. Тем, кто ходит в море, куда лучше, чем вот этим, мимо которых мы только что проезжали. Гавайна, загаженная уже три-четыре сотни лет пазад,— это не море. У входа она не так уж плоха. И со стороны Касабланки тоже не плоха. Вспомни, что в этой гавани ты когда-то педурно проводил время по вечерам.

— Посмотри,— сказал он. Заметив, куда он глядит, шофер хотел остановить машину. Но он велел ехать дальше.— Вези к посольству,— сказал он.

Смотрел он на старую супружескую чету, которая ютилась в дощатой, крытой пальмовыми листьями пристройке у каменной забора, отгораживающего железнодорожные пути от участка, где Электрическая компания держала уголь, доставленный в гавань. Забор был весь черный от угольной пыли, так как уголь, вывезенный из гавани, сгружали поверху, а до железнодорожного полотна не было и четырех футов. Крыша пристройки круто шла к стене, и под ней едва хватало места на двоих. Муж и жена, жившие здесь, сидели сейчас у входа и кипятили кофе в жестяной банке. Это были негры, шелудивые от старости и грязи, одетые в тряпье, сшитое из мешков из-под сахара. Очень дряхлые негры. Собаки при них он не увидел.

— У е! регго? ¹ — спросил он шофера.

— Я давно ее не вижу.

Они уже несколько лет проезжали мимо этой пристройки, и женщина, чьи письма он читал прошлой ночью, не раз восклицала:

— Какой позор!

— Тогда почему же ты ничем не поможешь им? — спросил он ее однажды.— Почему ты всегда ужасаешься

¹ А где собака? (исп.)

и так хорошо пишешь о всяких ужасах и палец о палец не ударишь, чтобы покончить с ними?

Женщина рассердилась на него, остановила машину, вышла из нее, подошла к пристройке, дала старухе двадцать долларов и сказала:

— Иайдите себе жилье получше и купите что-нибудь поесть на эти деньги.

— Sí, señorita ¹,— сказала старуха.— Вы очень любезны.

В следующий раз, проезжая мимо, они увидели стариков на прежнем месте. Старики весело помахали им. Они купили собаку. Причем собака была беленькая, маленькая, курчавая — той породы, подумал он, которая явно не предназначена для участия в торговле углем.

— Как по-твоему, куда девалась их собака? — спросил Томас Хадсон шофера.

— Сдохла, должно быть. Хозяевам самим есть нечего.

— Надо им другую достать,— сказал Томас Хадсон.

Пристройка осталась далеко позади, теперь слева были покрытые грязновато-белой штукатуркой стены Генерального штаба кубинской армии. У входа в небрежной, но горделивой позе стоял солдат-кубинец, не очень темнолицый, в застиранном обмундировании цвета хаки, в кепи — поновее, чем у генерала Стиллзуэлла, и с винтовкой, удобнейшим образом покоившейся на его костлявом плече. Он рассеянно посмотрел на их машину. Видно было, что ему холодно на северном ветру. Походил бы взад и вперед и согрелся бы, подумал Томас Хадсон. А если простоит на одном месте, не расходуя лишней энергии, то скоро до него дойдет солнце и он согреется. Вряд ли он давно служит, уж очень худ, подумал он. К весне, если мы еще будем ездить сюда весной, я его, пожалуй, не узнаю. Винтовка ему, наверно, здорово тяжела. Жаль, что нельзя стоять на посту с легкой пластмассовой винтовочкой, вот как матадоры, работая мулетой, пользуются теперь деревянной шпагой, чтобы кисть не уставала.

— А что слышно про ту дивизию, которую генерал Бенитес должен был ввести в бои на европейском фронте? — спросил он шофера.— Она уже отбыла?

— Todavía no. Нет еще,— сказал шофер.— Но генерал учится ездить на мотоцикле. Рано утром раскатывает по Малекону.

¹ Да, сеньорита (исп.).

— Значит, дивизия моторизованная,— сказал Томас Хадсон.— А что в этих свертках, которые солдаты и офицеры выносят из Генерального штаба?

— Рис,— сказал шофер.— Нам рис привезли.

— А его трудно достать?

— Невозможно. Цепя подскочила до небес.

— Ты теперь плохо питаешься?

— Очень плохо.

— Почему? Ты же ешь у меня. Я плачу за продукты, сколько бы они ни стоили.

— Я о доме говорю.

— А когда ты ешь дома?

— По воскресеньям.

— Придется купить тебе собаку,— сказал Томас Хадсон.

— Собака у нас есть,— сказал шофер.— Очень красивая и умная собака. Меня любит не знаю как. Я шага не могу сделать, чтобы она не кинулась за мной. Но, мистер Хадсон, у вас ни в чем нет недостатка, и вы ни понять, ни представить себе не можете, какие страдания принесла война кубинскому народу.

— Да, голод, паверно, сильный.

— Вы даже представить себе не можете, как мы голодаем.

Да, не могу, подумал Томас Хадсон. Совершенно не могу. Не могу себе представить, почему в этой стране — и вдруг голод. А тебя, сукина сына, следовало бы расстрелять за то, как ты относишься к моторам. Расстрелять, а не подкармливать. Я бы сам тебя расстрелял, и с величайшим удовольствием. Но вслух он сказал:

— Попробую, может, достану тебе рису для дома.

— Большое вам спасибо. Если бы вы знали, как нам, кубинцам, тяжело сейчас живется.

— Да, наверно, пелегко,— сказал Томас Хадсон.— Жаль, что я не могу взять тебя с собой в море. Ты бы отдохнул немного.

— В море, должно быть, тоже трудно.

— Да, трудно,— сказал Томас Хадсон.— Трудно даже в такие вот дни, как сегодня.

— Каждый из нас несет свой крест.

— А я бы взял свой крест и воткнул бы его кое-кому в culo¹.

¹ Зад (исп.).

— Надо проявлять спокойствие и терпение, мистер Хадсон.

— Muchas gracias ¹, — сказал Томас Хадсон.

Они свернули на улицу Сан-Исидро. Она начиналась у центрального вокзала и напротив входа на заброшенную тихоокеанскую пристань, где когда-то пришвартовывались суда из Майами и Ки-Уэст и где садились старые гидросамолеты Панамериканской компании. Теперь эта пристань была закрыта, так как тихоокеанские суда взяли себе военно-морской флот, а Панамериканская компания перешла на «ДС-2» и «ДС-3», и они приземлялись в аэропорту ранчо Бойерос, а там, где раньше садились гидропланы, теперь пришвартовывались суда-охотники береговой пограничной охраны и кубинского военного флота.

Эту часть Гаваны Томас Хадсон хорошо знал еще в прежние годы. А та, которую он любил теперь, была тогда просто дорогой в Матансас. Невзрачный район, крепость Атарес, пригород, названия которого он не знал, а дальше мощенная кирпичом дорога и поселки по обе ее стороны. Мчишься мимо них и не отличаешь один поселок от другого. В этой же части города он знал каждый бар, каждый погребок, а улица Сан-Исидро славилась своими публичными домами на весь портовый район. Теперь улица захирела, бордели на ней не работали с тех самых пор, как их прикрыли, а проституток вывезли обратно в Европу. Эта грандиозная операция была похожа на отход из Вильфранша американских кораблей, базирующихся на средиземноморский порт, когда все девицы махали им на прощание, только тут все было наоборот — французский пароход с этими девицами уходил из Гаваны, и вся набережная была забита народом, причем помахать им на прощание с берега, с пристани, с мола пришли не только мужчины. Женщины — кто наняв моторку, кто на шлюпках — описывали круги около парохода и шли рядом с ним, когда он покидал пролив. Томас Хадсон помнил, как это было грустно, хотя многим проводы проституток показались очень смешными. Но что в проститутках смешного, он никогда не мог понять. Отправка их почему-то считалась событием комическим. Впрочем, после того как пароход ушел, многие загрустили, а улица Сан-Исидро так и не оправилась после нанесенного ей удара. Ее название

¹ Большое спасибо (исп.).

все еще трогает меня, подумал он, а ведь эта улица стала теперь совершенно неинтересной, да и белые на ней почти не попадаются, разве только шоферы грузовиков или посыльные, развозящие покупки на дом. В Гаване были и веселые улицы — те, где жили одни негры, были и опасные, целые районы опасных улиц, как, например, улица Иисуса и Марии в двух шагах отсюда. Но улица Сан-Исидро осталась такой же унылой, как и в те дни, когда всех проституток с нее вывезли.

Теперь машина въехала в порт — к тому месту, откуда ходил паром до Реглы и где пришвартовывались суда береговой охраны.

Вода в гавани была темная, беспокойная, но приливная волна шла без барашков. Вода была слишком уж темная, хотя после черной мерзости того, что плескалось у берега, она казалась свежей и чистой. Поглядев на залив, он увидел покой его зеркала, защищенного от ветра холмами над Касабланкой, увидел те места, где стояли на якоре рыбачьи шхуны, где пришвартовывались канонерки кубинского флота и где бросило якорь и его собственное судно, хотя и не видное отсюда. По ту сторону залива он видел старинную желтую церковь и беспорядочно разбросанные дома Реглы — розовые, зеленые и желтые, цистерны и трубы нефтеочистительного завода в Белоте, а позади них, ближе к Кохимару, высокие серые холмы.

— Видите свой катер? — спросил шофер.

— Нет. Отсюда его не видно.

Они ехали против ветра; дым из труб Электрической компании относился назад, и утро было ясное, прозрачное, воздух словно только что промытый, чистый — такой, как на ферме среди холмов. Люди, ходившие по пристани, видимо, зябли на северном ветру.

— Поехали сначала во «Флоридиту», — сказал шоферу Томас Хадсон.

— До посольства всего четыре квартала.

— Да. Но я сказал, что хочу сначала во «Флоридиту».

— Как вам угодно.

Они въехали в город и ушли из-под ветра, и, просижая мимо складских помещений и магазинов, Томас Хадсон учуял запах муки, слежавшейся в мешках, и мучной пыли, запах только что вскрытых упаковочных ящиков, запах поджаренного кофе, который действовал на него сильнее утренней порции виски, и чудесный запах та-

бака, еще сильнее ударивший ему в нос, когда машина свернула направо к «Флоридите».

«Флоридита» стояла на одной из его любимых улиц, но он старался не ходить по ней днем — узкие тротуары, сильное движение, а по ночам, когда движение прекращалось, кофе здесь не жарили и окна складов были на запоре, так что и табаком не пахло.

— Закрыто, — сказал шофер. Железные шторы на обоих окнах кафе были еще спущены.

— Так я и думал. Тогда сворачивай на Обиспо к посольству.

По Обиспо он ходил пешком тысячи раз и днем и ночью. Ездить по этой улице он не любил, потому что она быстро кончалась, но откладывать свою явку к полковнику поводов у него больше не было, и он допил коктейль и посмотрел на машины, идущие впереди, на прохожих, на движение у перекрестка и решил приберечь улицу на после, когда можно будет прогуляться по ней пешком. Машина остановилась у здания посольства, и он вошел туда.

При входе полагалось записать свое имя, фамилию и цель посещения. У стола сидел грустный чиновник с выщипанными бровями и усиками на самых уголках верхней губы. Чиновник поднял голову и подвинул ему бумагу. Томас Хадсон даже не взглянул на нее и вошел в лифт. Чиновник пожал плечами и погладил свои бровки. Уж очень они у него выделялись на лице. Но такие все-таки опрятнее, чем густые, косматые, к тому же они гармонируют с его усиками. А тоньше его усиков и быть ничего не может, если уж заводить, так только такие. Более тоненьких нет ни у Эррола Флинна, ни у Пипчо Гутьерреса, ни даже у Хорхе Негрете. А все-таки он скотина, этот Хадсон, прошел мимо и даже не взглянул на него.

— Какого-то *maricón*¹ посадили у двери, — сказал Томас Хадсон лифтеру.

— Никакой это не *maricón*. Так — никто.

— Как тут у вас дела?

— Хорошо. Отлично. Как всегда.

На четвертом этаже он вышел и пошел по коридору. Он открыл дверь, среднюю из трех, и спросил офицера, сидевшего за столом, тут ли полковник.

¹ Женеподобный мужчина, гомосексуалист (*исп.*).

- Он вылетел в Гуантанамо сегодня утром.
- Когда вернется?
- Он сказал, что, может быть, полетит на Гаити.
- Для меня ничего нет?
- У меня нет.
- Он ничего не просил передать мне?
- Сказал, чтобы вы никуда не отлучались.
- Какое у него было настроение?
- Отвратительное.
- А выглядел как?
- Ужасно.
- Ругал меня?
- Да нет как будто. Просил только передать вам, чтобы вы никуда не отлучались.
- Ничего такого, о чем мне следует знать?
- Нет. А разве должно быть?
- Вы это бросьте.
- Ладно. Вам, наверно, туго там пришлось. Но вы не здесь, не с ним работаете. Вы ходите в море. А я плывал на...
- Легче, легче.
- Где вы сейчас обретаетесь? За городом?
- Да. Но сегодня почую здесь.
- Он сегодня не вернется, ни днем, ни вечером. А когда прилетит, я вас вызову.
- А он в самом деле не ругал меня?
- Да ничего подобного. Что это вы? Совесть нечиста?
- Нет. А кто-нибудь еще меня ругает?
- Насколько я знаю, даже адмирал вас не ругает.
- Сматывайтесь отсюда и напейтесь за меня.
- Я сначала за себя напьюсь.
- И за меня тоже.
- Это зачем же? По-моему, вы что ни вечер, то пьяны.
- Мне этого мало. Как там Хендерсон?
- Хорошо. А что?
- Ничего.
- А что?
- Ничего. Просто так спрашиваю. Жалобы у вас есть?
- Мы сюда жаловаться не ходим.
- Ах, какой герой! Истинный вождь!
- Мы предъявляем обвинения.
- Э-э, нет! Вы лицо гражданское.
- Провалитесь в тартарары!
- А зачем мне проваливаться? Я и так в тартарарах.

— Вызовите меня, как только он приедет. И передайте мой привет господину полковнику и скажите господину полковнику, что я являлся.

— Слушаю, сэр.

— А почему «сэр»?

— Из вежливости.

— Всего хорошего, мистер Холлинз.

— Всего хорошего, мистер Хадсон. И чтобы ваших людей по первому требованию можно было разыскать.

— Покорно благодарю, мистер Холлинз.

В коридоре он встретил знакомого капитана. Тот вышел из шифровального отдела. Капитан был загорелый (загар получен за игрой в гольф и на пляже Хайманитаса); загар и здоровый вид скрывали его неблагополучие. Он был еще молод и считался знатоком Дальнего Востока. Томас Хадсон познакомился с ним еще в Маниле, где он представлял фирму по продаже автомобилей с филиалом в Гонконге. Он говорил по-тагальски и на хорошем кантонском. Знал и испанский. И поэтому очутился в Гаване.

— А-а, Томми,— сказал он.— Когда вы приехали?

— Вчера вечером.

— Как дороги?

— Ничего, пыльные.

— Перевернетесь вы когда-нибудь в этой проклятой машине.

— Я осторожно езжу.

— Положим, это верно,— сказал капитан, которого звали Фред Арчер. Он обнял Томаса Хадсона за плечи.— Дайте я вас потрогаю.

— Зачем?

— Чтобы поднять настроение. Как потрогаю вас, так настроение сразу становится лучше.

— Вы давно не обедали в «Пасифике»?

— Недели две туда не заглядывал. Поедем?

— В любое время.

— Обедать мне некогда, а ужинать — пожалуйста. Вечер у вас занят?

— Вечер — нет. Дальше — занято.

— У меня тоже. Где мы встретимся? Во «Флоридите»?

— Приезжайте туда, как только ваша лавочка закроется.

— Прекрасно. Потом вернусь обратно. Так что напиваться нам нельзя.

— Неужели вы, черти, по ночам работаете?

— Я работаю,— сказал Арчер.— Но это движение не получило широкого размаха.

— Ужасно рад повидаться с вами, мистер Фредди,— сказал Томас Хадсон.— У меня при виде вас настроение тоже улучшается.

— А зачем это вам? — сказал Фред Арчер.— У вас ведь все в порядке.

— Вы хотите сказать — было в порядке.

— Было, есть и будет.

— Негритянками, что ли, заняться?

— Негритянки вам ни к чему, братец. Этого самого у вас всегда хватает.

— Запишите мне это как-нибудь на бумажке, Фредди. Такое полезно почитать рано поутру.

— А как ваш катер?

— Ничего. Несу за него материальную ответственность на тридцать пять тысяч долларов.

— Да, знаю. Видел этот документ в сейфе. С вашей подписью.

— Почему же такое безобразное отношение к документам?

— Золотые ваши слова.

— Это что, везде так?

— Нет, не везде. И вообще сейчас дело поставлено лучше. Гораздо лучше, Томми.

— Вот и хорошо,— сказал Томас Хадсон.— Благая мысль венчает день.

— Может, зайдете к нам? У нас новые работники, они вам понравятся. Очень славные ребята.

— Нет, не зайду. Они знают что-нибудь о наших делах?

— Конечно нет. Знают только, что вы ходите в море, и хотят с вами познакомиться. Они понравятся вам. Хорошие парни.

— Как-нибудь в другой раз познакомимся,— сказал Томас Хадсон.

— Есть, сэр,— сказал Арчер.— Так я к вам приду, как только мы здесь закруглимся.

— Во «Флоридиту».

— Конечно. Куда же еще?

— Я что-то плохо соображаю.

— Ум за разум заходит? — сказал Арчер.— Так как, захватить мне с собой этих ребят?

— Нет. Разве только вам уж очень захочется. Там, может, кое-кто из них будет.

— Вот уж не думал, что вашей братии охота встречаться на берегу.

— Заскучают, вот и сходятся.

— А их надо бы сгрести в одну кучу и посадить под замок.

— Такие отовсюду выберутся.

— Ну, идите,— сказал Арчер.— А то опоздаете туда.

Фред Арчер отворил дверь в комнату напротив шифровального отдела, а Томас Хадсон пошел по коридору и спустился по лестнице, не воспользовавшись лифтом. На улице солнце светило так ярко, что ему резало глаза, а с северо-северо-запада все еще дул сильный ветер.

Он сел в машину и велел шоферу ехать по улице О'Райли к «Флоридите». Перед тем как машина развернулась на площади у посольства и здания Ayuntamiento¹ и выехала на О'Райли, он увидел высокие волны у входа в гавань и тяжело подскакивающий в проливе буй. Море у входа в гавань кипело, бурлило, прозрачно-зеленые волны разбивались о скалы у подножия крепости дель Морро, и белые барашки, увенчивающие их, сверкали на солнце своей белизной.

Выглядит это замечательно, сказал он себе. Почему «выглядит»? Это и на самом деле замечательно. За такую красоту надо выпить. Ах ты, черт побори, подумал он. Хорошо бы я действительно был таким твердокаменным, каким меня считает Фредди Арчер. А я и на самом деле твердокаменный. Никогда не отказываюсь, иду всегда охотно. Какого черта им еще нужно? Чтобы я глотал «торпекс» за завтраком? Или совал его под мышки, как табак? Прекрасный способ заработать желтуху, подумал он. Почему тебе пришла в голову такая мысль? Трусись, Хадсон? Нет, не трушу, сказал он. Просто у меня такая реакция. Многие из них до сих пор еще не классифицированы. Во всяком случае, мною. Да, мне бы хотелось быть таким твердокаменным, каким меня считает Фредди, вместо того чтоб быть просто человеком. А человеческим существом быть интереснее, хоть и гораздо мучительнее. Еще как мучительно, вот, например, сейчас. А быть таким, каким тебя считают, было бы хорошо. Ну, хватит. Об этом тоже не думай. Не думаешь об этом, значит, оно и не

¹ Городское управление (исп.).

существует. Черта с два, не существует! Но такова моя установка, которая меня держит, подумал он.

Бар во «Флоридите» был уже открыт. Он купил две вышедшие газеты «Крисоль» и «Алерта», прошел с ними к стойке и сел на высокий табурет слева у самого ее конца. За спиной у него была стена, которая выходила на улицу, с левого бока — стена, что за стойкой. Он заказал двойной охлажденный дайкири без сахара. Заказ принял Педрико, разинувший рот в улыбке, походившей на оскал умершего от перелома позвоночника. Тем не менее улыбка эта была искренняя, адресованная именно ему. Он стал читать «Крисоль». Бои шли сейчас в Италии. Те места, где воевала Пятая армия, были ему неизвестны, он знал плацдарм по другую сторону гор, где действовала Восьмая армия, и стал вспоминать его, когда Игнасио Натера Ревельо вошел в бар и стал рядом с ним.

Педрико поставил перед Игнасио Натерой Ревельо бутылку «Виктории», стакан с большими кусками льда, бутылку содовой, и Ревельо поспешно смешал себе коктейль, а потом, повернувшись к Томасу Хадсону, установил ему в лицо своими роговыми очками с зелеными стеклами, притворяясь, будто только что увидел его.

Игнасио Натера Ревельо, высокий, худой, был одет в белую полотняную рубашку, белые брюки, черные шелковые носки, начищенные до блеска коричневые английские ботинки. Лицо у него было красное, усики щеточкой; желтовато-зеленые стекла очков защищали воспаленные близорукие глаза. Волосы белесые, гладко прилизанные. Видя, как ему не терпится выпить, можно было подумать, что это у него первый стакан за день. Это было далеко не так.

— Ваш посол ведет себя как идиот,— сказал он Томасу Хадсону.

— Ну, тогда мое дело табак,— сказал Томас Хадсон.

— Нет, нет. Кроме шуток. Выслушайте меня. Это строго между нами.

— Пейте, пейте. Я ничего не желаю слушать.

— А послушать не мешает. И принять какие-то меры тоже не мешает.

— Вы не озябли? — спросил его Томас Хадсон. — В одной рубашке, в легких брюках.

— Я не зябкий.

И трезвым тоже никогда не бываешь, подумал Томас Хадсон. Первый стакан пьешь в маленьком баре возле

дома, а сюда добираешься уже совсем на бровях. Ты, верно, и не заметил, когда одевался, какая сегодня погода. Да, подумал он. А ты сам? Когда ты выпил сегодня утром свою первую порцию и сколько хватил до той, что пьешь сейчас? Не бросай первый камень в пьяниц. Да дело не в пьянстве, подумал он. Пусть пьет, пожалуйста. Только уж очень он нудный. Зануд жалеть нечего и шадить их тоже не обязательно. Брось, сказал он, брось. Ты же хотел развлекаться сегодня. Ну и отдыхай, получай удовольствие.

— Кинем кости — кому платить? — сказал он.

— Прекрасно, — сказал Игнасио. — Вы и начинайте.

Томас Хадсон метнул, выбросил трех королей и остался в выигрыше.

Выиграть было приятно. Не то чтобы коктейль стал вкуснее от этого, но выбросить сразу трех королей было очень приятно, и он с удовольствием выиграл у Игнасио Натеры Ревельо, потому что Игнасио был сноб и зануда, а возможность выиграть у него придавала ему какую-то долю полезности и значения.

— Теперь кинем на следующую порцию, — сказал Игнасио Натера Ревельо.

Он из тех снобов и зануд, которых даже за глаза величаешь всеми тремя именами, подумал Томас Хадсон, так же как в мыслях у тебя он всегда сноб и зануда. Вроде тех, кто ставит цифру III после своей фамилии. Томас Хадсон Третий. Томас Хадсон Третий сидит в клозете.

— Вы случайно не тот Игнасио Натера Ревельо, который Третий?

— Конечно, нет. Что вы, не знаете, как зовут моего отца?

— Да, правильно. Конечно, знаю.

— И братьев моих знаете. Имя деда вам тоже известно. Перестаньте валять дурака.

— Постараюсь перестать, — сказал Томас Хадсон. — Из всех сил буду стараться.

— Вот и хорошо, — сказал Игнасио Натера Ревельо. — Вам это только на пользу.

Устремив все свое внимание на предстоящий ход — на самое трудное, самое блистательное из всего, что он совершит за первую половину дня, — Игнасио Натера Ревельо щеголевато повел рукой и метнул из стакана четырех валетов.

— Бедный мой друг, — сказал Томас Хадсон. Он

встряхнул кости в тяжелом кожаном стакане и с нежностью прислушался к их стуку.— Милые, симпатичные косточки. Такие они добротные, такие аппетитные,— сказал он.

— Ну, давайте, хватит дурить.

Томас Хадсон метнул на слегка влажную стойку трех королей и две десятки.

— Хотите пари?

— Мы и так на пари играем,— сказал Игнасио Натера Ревельо.— Ну, за чей счет вторая порция?

Томас Хадсон любовно встряхнул кости и метнул даму и валета.

— А сейчас — идем на пари?

— Уж очень вам везет.

— Ладно. Тогда беру коктейлями.

Он метнул короля и туза, которые степенно, гордо выкатились из стакана.

— Вот везет бродяге!

— Еще раз двойной охлажденный дайкири без сахара и что закажет Игнасио,— сказал Томас Хадсон. Игнасио начинал правиться ему.— Слушайте, Игнасио,— сказал он.— Я первый раз вижу, чтобы на мир смотрели сквозь зеленые очки. Сквозь розовые — да. Сквозь зеленые — нет. Вам не кажется, будто все какое-то травянистое? И будто вы на лужайке? У вас не бывает такого ощущения, будто вас выпустили погостить?

— Зеленый цвет самый полезный — глаза отдыхают. Это доказано крупнейшими окулистами.

— А вы знаете с крупнейшими окулистами? Буйный, верно, народ.

— Личных знакомств среди них у меня нет, я только своего знаю. Но он в курсе последних достижений медицины. Лучший окулист в Нью-Йорке.

— А мне нужен лучший в Лондоне.

— Лучшего лондонского окулиста я тоже знаю. Но самый лучший в Нью-Йорке. Я с удовольствием вас к нему направляю.

— Метнем еще разок.

— Давайте. Ваш черед.

Томас Хадсон взял кожаный стакан и почувствовал надежную увесистость больших костей, которыми играют во «Флоридите». Он чуть шевельнул их, боясь спугнуть их благосклонность и щедрость, и метнул трех королей, десятку и даму.

— Сразу три короля. Это clásico¹.

— Ну не прохвост ли вы,— сказал Игнасио Натера Ревельо и выбросил туза, двух дам и двух валетов.

— Еще двойной охлажденный дайкири совсем без сахара и что закажет дон Игнасио,— сказал Томас Хадсон. Педрико вскоре вернулся со своей обычной улыбкой и с заказом. Миксер он поставил перед Томасом Хадсоном, в нем осталась по крайней мере еще одна порция дайкири.

— Я с утра и до вечера могу вас обыгрывать,— сказал Томас Хадсон.

— Беда в том, что это, кажется, так и есть.

— Кости меня любят.

— Хоть что-нибудь вас любит.

Томас Хадсон, в который раз за последний месяц, почувствовал, как по голове у него побежали мурашки.

— Что вы этим хотите сказать, Игнасио? — чрезвычайно вежливо осведомился он.

— Хочу сказать, что *мне* вас любить не за что, вы меня буквально ограбили.

— А-а,— сказал Томас Хадсон.— За ваше здоровье.

— За ваши похороны,— сказал Игнасио Натера Ревельо.

Томас Хадсон снова почувствовал, как по голове у него побежали мурашки. Он опустил левую руку и кончиками пальцев тихонько постучал по низу стойки, стараясь, чтобы Игнасио Натера Ревельо не видел этого.

— Очень мило с вашей стороны,— сказал он.— Сыграем на следующую порцию?

— Нет,— сказал Игнасио Натера Ревельо.— Я и так большие деньги вам проиграл, и все за один день.

— Какие деньги? Вы проиграли только выпивку.

— Я обычно расплачиваюсь за выпитое.

— Игнасио,— сказал Томас Хадсон.— Вы уже третий раз говорите мне довольно неприятные вещи.

— У меня настроение довольно неприятное. Вам бы кто-нибудь так нахамил, как мне этот ваш посол, будь он проклят.

— Повторяю, я ничего не хочу слушать.

— Вот, вот! А жалуетесь, что я говорю вам неприятные вещи. Милый мой Томас. Мы с вами добрые друзья. Я столько лет знаю вас и вашего сына Тома. Кстати, как он?

¹ Классически (исп.).]

- Он убит.
 - Простите меня. Я не знал.
 - Ничего,— сказал Томас Хадсон.— Выпьем, я плачу.
 - Я виноват. Простите меня. Пожалуйста, простите.
- Как это случилось?
- Я еще ничего не знаю. Когда узнаю, скажу вам.
 - Где он погиб?
 - Не знаю. В каких местах летал — знаю, а больше ничего.
 - А в Лондоне он был? Видался с нашими друзьями?
 - Конечно. Он несколько раз туда летал и всегда заходил к Уайту и видался со всеми, кто там бывает.
 - Хотя это утешительно.
 - Что?
 - Я хочу сказать, приятно, что он повидал наших друзей.
 - Безусловно. И я уверен, что Тому было там хорошо. Ему везде было хорошо.
 - Выпьем за него?
 - Нет. К чертям,— сказал Томас Хадсон. Все опять нахлынуло на него; все, о чем он старался не думать; все горе, которое он отметал от себя, от которого отгораживался и не допускал ни одной мысли о нем ни во время рейса, ни сегодня утром.— Не надо.
 - А по-моему, надо,— сказал Игнасио Натера Ревелью.— По-моему, это как нельзя более кстати. Мы воздадим ему должное. Но платить буду я.
 - Хорошо. Выпьем за него.
 - В каком он был чине?
 - Лейтенант.
 - Мог бы дослужиться до подполковника или по крайней мере эскадрильей бы командовал.
 - Что там говорить о чинах.
 - Хорошо, не будем,— сказал Игнасио Натера Ревелью.— За моего дорогого друга и за вашего сына Тома Хадсона. *Dulce es mori pro patria*¹.
 - За свинячью задницу,— сказал Томас Хадсон.
 - В чем дело? Моя латынь хромает?
 - Не мне судить, Игнасио.
 - Но вы всегда блистали латынью. Я знаю это от ваших школьных товарищей.

¹ Сладко умереть за родину (*искаж. лат.*).

— Моя латынь совсем никуда,— сказал Томас Хадсон.— Так же как и мой греческий, и мой английский, и моя голова, и мое сердце. Я сейчас могу говорить только на охлажденном дайкири. *Tú hablas frozen daiquiri tú?*¹

— По-моему, Тому следует оказать немножко больше уважения.

— Том и сам был завзятый шутник.

— Это верно. У него было прекрасное, тончайшее чувство юмора. И он был один из самых красивых юношей, каких я знал, и с прекрасными манерами. А какой спортсмен! Высшего класса!

— Да, правильно. Диск он метал на сто сорок два фута. Играл и защитника и левого нападающего. Был прекрасным теннисистом, отлично стрелял влет, ловил фохель.

— Он был великолепным спортсменом и прекрасным атлетом. Один из самых лучших спортсменов, каких я только знал.

— В одном ему только не повезло.

— В чем?

— В том, что он погиб.

— Не расстраивайтесь, Томми. Вспоминайте, какой он был. Солнечная натура, веселый, столько всего сулил впереди. Какой смысл расстраиваться?

— Смысла никакого,— сказал Томас Хадсон.— И расстраиваться больше не будем.

— Значит, вы со мной согласны? Вот и хорошо. Так приятно было поговорить о нем. И так тяжело услышать эту весть. Но вы, конечно, справитесь со своим горем, и я тоже справлюсь, хотя вам, отцу, в тысячу раз тяжелее. На чем он летал?

— На «спитфайре».

— На «спитти». Буду представлять себе мысленно, как он ведет «спитти».

— Стоит ли вам беспокоиться.

— А что? Я их в кино видал. У меня есть книги об английском воздушном флоте, и мы получаем сводки Британского информационного бюро. Там есть прекрасные материалы. Я отлично представляю себе, как Том выглядел. Наверно, с парашютом, в летной форме и спасательном жилете, в огромных, тяжелых башмаках. Просто

¹ А ты умеешь говорить на охлажденном дайкири? (исп.-англ.)

вижу его. А теперь мне пора домой — обедать. Поедьте со мной? Лютезия будет вам очень рада.

— Нет, мне надо встретиться тут кое с кем. Большое спасибо.

— Всего вам хорошего, старик, — сказал Игнасио Натера Ревельо. — Я уверен, вы это преодолеете.

— Спасибо за помощь. Вы были очень добры.

— Да при чем тут доброта? Я любил Тома. Как и вы. Как все мы его любили.

— Спасибо за угощение.

— Я как-нибудь все у вас отыграю.

Он вышел. Рядом с Томасом Хадсоном появился вдруг один из его людей. Смуглый малый, курчавые темные волосы коротко подстрижены, веко на левом глазу чуть опущено, глаз искусственный, но это не было заметно, так как правительство преподнесло ему четыре разноцветных глаза — налитый кровью, чуть красноватый, слегка замутненный и совсем чистый. Сейчас в глазнице у него сидел второй — чуть красноватый, и он уже был навеселе.

— Здорово, Том. Когда ты приехал в город?

— Вчера, — ответил Томас Хадсон и добавил медленно, почти не шевеля губами: — Спокойно, бродяга. Не устраивай тут цирк.

— Ничего я не устраиваю. Просто выпил немножко. Если меня взрежут, то какую надпись увидят на моей печенке? *Конспирация*. Я король конспирации. И ты сам это знаешь. Подожди, Том. Я стоял рядом с этим типом, который работает под англичанина, и не мог не слышать вашего разговора. Томми погиб?

— Да.

— Ах, мать твою! — сказал матрос. — Ах, мать твою!

— Я не хочу говорить об этом.

— Понимаю, Том. Но когда ты узнал?

— Перед нашим последним выходом.

— Мать твою!

— Что ты делаешь сегодня?

— Я обещал встретиться кое с кем в «Баскском баре», перекусим там и поедем к девушкам.

— А где будешь завтра обедать?

— В «Баскском баре».

— Скажи Пако, чтобы он позвонил мне, когда вы туда придете. Ладно?

— Ладно. Домой чтобы позвонил?

— Да. Ко мне домой.

— Поедем с нами к девкам? Мы собираемся к Генри, в его «Дом греха».

— Может, и поеду.

— Генри охотится сейчас за девушками. С самого завтрака рыщет. Разка два уже переспал. Он все старается раззадорить тех двух сучек, которых мы подцепили в курзале. Правда, на свету они обе оказались такие хари, хуже некуда. Но больше ни фига не нашли. Черт его знает, что стало с этим городом. Сучек Генри держит у себя в «Доме греха», на всякий случай, а сам ездит туда-сюда вместе с Умницей Лил. Они на машине.

— Ну и как, получается что-нибудь?

— По-моему, нет. Генри приспичило, подавай ему ту маленькую. Которую он каждый день видит во «Фронтоне». Умница Лил не берется ее уговорить, потому что она побаивается — уж очень он здоровенный. Умница Лил говорит, с тобой она пойдет, а с Генри ни за что, боится, что он такой большой и тяжелый, и вообще она всего о нем наслышалась. Но Генри только ее и хочет, потому что эти две сучки его совсем доконали. Давай ему ту малепькую, он, видите ли, в нее влюбился. Влюбился, и все тут. Но сейчас, наверно, она у него из головы выскочила, потому что он опять упражняется с теми сучками. А все-таки поесть-то ему надо, и мы сговорились встретиться в «Баскском баре».

— Да, покормите его как следует,— сказал Томас Хадсон.

— Не захочет — не заставишь. Это только тебе удается. А мне нет. Но я буду просить его: ешь, Генри, ешь. Умолять его буду. И сам покажу ему пример.

— Пусть Пако его покормит.

— Идея! Пако это в самый раз.

— Думаешь, он не проголодается после таких подвигов?

— А ты как думаешь?

И тут в бар вошел самый рослый человек, какого Томас Хадсон знал когда-либо, и самый широкоплечий, и самый веселый, и самый благовоспитанный — вошел, улыбаясь во все лицо, даже в этот прохладный день покрытое крупными бисеринами пота. Его большая рука была протянута для приветствия. Он весь был такой большой, что с его появлением все в баре словно уменьшились в росте, а улыбка у него была ясная и открытая. На нем были ста-

рые синие штапы, рубаха, какие носят крестьяне-кубинцы, и сандалии на веревочной подошве.

— Том,— сказал он.— Ты здесь, бродяга. А мы вот все носимся, ищем девиц.

В помещении, куда ветер не проникал, его большое красивое лицо вспотело еще сильнее.

— Мне тоже дайкири, Педрико. Двойную порцию. Даже больше, если это возможно. Вот здорово, что мы встретились, Том. Да, совсем позабыл. Ведь со мной Умница Лил. Иди сюда, моя прелесть.

Умница Лил вошла в боковую дверь. Она выигрывала, когда сидела у стойки в дальнем конце, пряча за ее полированным деревом тучность расплывшегося тела, так что только красивое смуглое лицо было на виду. Но сейчас, по дороге от двери, прятаться было некуда, и она вперевалочку пронесла себя к стойке так быстро, как только можно было без видимой торопливости, и влезла на табурет, с которого только что поднялся Томас Хадсон. Ему теперь оставалось только сесть на соседний табурет и тем прикрыть ее с фланга.

— Здравствуй, Том,— сказала она и поцеловала Томаса Хадсона.— Генри просто несносен.

— Вовсе я не несносен, моя прелесть,— сказал ей Генри.

— Несносен, несносен,— сказала она.— И с каждым разом становишься все несноснее. Томас, хоть бы ты меня защитил от него.

— Чем же это он так несносен?

— Влюбился в одну девчущку, совсем малявочку, и вот подай ему только ее. А малявочка с ним сегодня идти не может, да если бы и могла, не пошла бы, она его боится, потому что он такой большой и в нем двести тридцать фунтов весу.

Генри Вуд покраснел, совсем взмок от смущения и разом сглотнул половину своего дайкири.

— Двести двадцать пять,— сказал он.

— Что я тебе говорил? — сказал смуглый матрос.— Разве я именно это не говорил?

— А с какой стати ты тут вообще что-то кому-то говоришь? — спросил Генри.

— Две суки. Две потаскухи. Две паршивые портовые дешевки. Две шлюхи, у которых на уме только одно: деньги. Мы их пробуем. Потом меняемся и пробуем опять. Они

обе еще остыть не успели. А когда я сказал одно дружеское душевное слово, так я, видите ли, грубиян.

— Да, в общем-то они были не первый сорт, — сказал Генри и снова покраснел.

— Первый сорт? Облить их бензином да поджечь — вот что с ними надо было сделать.

— Какой ужас, — сказала Умница Лил.

— А я самый ужасный человек, мадам, — сказал смуглый. — Так себе и заметьте.

— Вилли, — сказал Генри. — Хочешь, я тебе дам ключ от «Дома греха», и ты сходишь посмотришь, все ли там в порядке.

— Не хочу, — сказал Вилли. — Ключ у меня свой есть, ты об этом, видно, забыл, а ходить туда и смотреть, все ли там в порядке, я не хочу. Вышвырнуть оттуда этих двух потаскух, тогда все и будет в порядке.

— Ну а если мы ничего лучше не достанем?

— Должны достать. Лилиан, ты бы слезла с табурета и пошла вызвонила кого-нибудь по телефону. И черт с ней, с этой карлицей. Выкинь эту гномиху из головы, слышишь, Генри? Будешь забивать себе такой чужью голову — станешь психом. Я-то знаю. Я сам психом был.

— Ты и теперь псих, — сказал ему Томас Хадсон.

— Может, и так, Том. Тебе виднее. Но гномихи мне не требуются (он выговаривал «гыномихи»). Если Генри хочет спать с гыномихой, его дело. Но только это блажь, все равно как если б он хотел спать с однорукой или с одноногой. Так что пусть он забудет про свою гыномиху, и пусть Лилиан отправляется к телефону.

— Я на любую приличную девушку согласен, какая найдется. Ты, надеюсь, не возражаешь, Вилли?

— Приличные девушки нам ни к чему, — сказал Вилли. — С ними только свяжись, так и вовсе психом станешь. Верно я говорю, Томми? Приличные девушки — да это же всего на свете опасней. Сразу тебе припадают соучастие в преступных действиях, или изнасилование, или покушение на изнасилование. Нет, к матери приличных девушек. Нам нужны шлюхи. Хорошие, чистые, миленькие, занятные, недорогие шлюхи. Которые знают свое дело. Лилиан, почему не идешь к телефону?

— Хотя бы потому, что он занят, — сказала Умница Лил. — И вон какой-то тип у табачного прилавка уже ожидает, когда он освободится. Дурной ты человек, Вилли.

— Я ужасный человек, — сказал Вилли. — Другого

такого скверного человека тебе не встретить. Но я все-таки хотел бы, чтоб наши дела были получше налажены, чем теперь.

— Ладно, пропустим еще по стаканчику, — сказал Генри. — А там, я уверен, Лилиан нам подыщет кого-нибудь из своих знакомых. Ведь подыщешь, моя прелесть?

— Будь покоен, — сказала Умница Лил по-испански. — Неужели же не подыщу? Но только звонить я буду из уличного автомата. Не отсюда. Звонить отсюда — это и неудобно и неприлично.

— Опять отсрочка, — сказал Вилли. — Ладно. Не стану спорить. Пусть будет еще одна отсрочка. Но только тогда уж давайте пить.

— А чем ты до сих пор занимался, интересно? — спросил Томас Хадсон.

— Люблю я тебя, Томми, — сказал Вилли. — Чем ты сам до сих пор занимался?

— Пил с Игнасио Натерой Ревельо.

— Звучит похоже на итальянский крейсер, — сказал Вилли. — Не было итальянского крейсера с таким названием?

— Кажется, нет.

— А похоже.

— Ну-ка, дай мне взглянуть на чеки, — сказал Генри. — Сколько вы с ним выпили, Том?

— Чеки у Игнасио. Он мне проиграл выпивку, он и платил.

— А все-таки сколько? — спросил Генри.

— По четыре порции, что ли.

— А до того что ты пил?

— По дороге сюда — одного «Тома Коллинза».

— А дома?

— Ну, дома много чего.

— Ты же просто горький пьяница, — сказал Вилли. — Педрико, еще три двойных охлажденных дайкири, а даме — что она пожелает.

— Un highbolito con agua mineral ¹, — сказала Умница Лил. — Томми, давай пересядем к тому концу стойки. Они тут не любят, когда я сижу у этого конца.

— А ну их к чертям, — сказал Томас Хадсон. — В кои-то веки сошлись вместе старые друзья, так нельзя спокойно выпить по стаканчику где хочется. Ну их к чертям.

¹ Хайболл с минеральной водой (исп.).

— Сиди где сидишь, моя прелесть, и никого не слушай,— сказал Генри. Но тут он заметил в глубине бара двух знакомых плантаторов и пошел к их столику, не дожидаясь заказанного.

— Ну, все,— сказал Вилли.— Теперь он и про гыномиху забудет.

— Очень он рассеянный,— сказала Умница Лил.— Уж такой рассеянный.

— Это от той жизни, которую мы ведем,— сказал Вилли.— Все ищем развлечений просто так, чтобы развлекаться. Искать развлечений нужно с толком.

— А вот Том не рассеянный,— сказала Умница Лил.— Том грустный.

— Слушай, кончай эту хреновину,— сказал Вилли.— Моча тебе в голову ударила, что ли? Этот ей рассеянный. Тот ей грустный. А еще раньше я был ужасный. Дальше что? Всякая шлюха тут будет критику наводить на людей. Ты что, не знаешь, что твое дело веселиться и других веселить?

Умница Лил заплакала настоящими слезами, крупными и блестящими, как в кино. У нее всегда были наготове настоящие слезы, как только захочется, или понадобится, или обидит кто-нибудь.

— Эта шлюха умеет лить такие слезы, каких мать падо мной не проливала,— сказал Вилли.

— Зачем ты меня так обзываешь, Вилли?

— Брось, Вилли, слышишь? — сказал Томас Хадсон.

— Вилли, ты злой и жестокий человек, и я тебя знать не хочу,— сказала Умница Лил.— Не знаю, почему такие люди, как Томас Хадсон и Генри, с тобой водятся. Ты просто пакостник, вот ты кто.

— Что ж ты — дама, а такие слова говоришь,— сказал ей Вилли.— Пакостник — некрасивое слово. Все равно что плевок на конце сигары.

Томас Хадсон опустил руку ему на плечо.

— Пей, Вилли. Не у тебя одного невесело на душе.

— У Генри весело. Сказать бы ему то, что ты мне скавал, он сразу заскучал бы.

— Я тебе ответил на твой вопрос.

— Да не в том дело. Какого черта ты давишься своим горем и молчишь? Почему не поделился ни с кем за две недели?

— Горе разделить нельзя.

— Скрыга ты, вот ты кто,— сказал Вилли.— Копишь горе, как скрыга копит золото в сундуке. Никак я этого от тебя не ожидал.

— Перестань, Вилли, не падо,— сказал Томас Хадсон.— Спасибо тебе, но не надо. Я и сам справлюсь.

— Копи, копи, скрыга. Но не думай, что так будет легче. Ни хрепа не легче, я знаю, ученый.

— Я тоже ученый,— сказал Томас Хадсон.— Так что давай без дураков.

— Ну как хочешь. Может, для каждого лучше своя система. Но я ведь вижу, как тебя за это время подвело.

— Просто я много пью, и устал, и еще не успел отойти хоть немного.

— От той письма были?

— Да. Целых три.

— Ну и как?

— Хуже некуда.

— Н-да,— сказал Вилли.— Тоже радости мало. Ну, копи хоть это, все-таки кое-что.

— Кое-что у меня есть.

— Да, как же. Кот Бойз со своей любовью. Знаем. Слыхали. Как он, кстати, поживает, этот сукин кот?

— Все такой же, как был.

— Этот кот из меня душу выматывает,— сказал Вилли.— Ей-богу, выматывает.

— Он, конечно, истосковался.

— Верно ведь? Если б мне столько приходилось тосковать, сколько этому коту, я бы давно уже спятил. Чего еще будешь, Томми?

— Повторю опять.

Вилли обхватил рукой внушительную талию Умницы Лил.

— Ладно, Лилли,— сказал он.— Ты славная девушка. Я тебя обидеть не хотел. Виповат. Меня чувства одолели.

— Больше не будешь так говорить?

— Нет. Пока снова не одолеют чувства.

— Ну, выпьем,— сказал ему Томас Хадсон.— Твое здоровье, бродяга.

— Вот это другой разговор,— сказал Вилли.— Вот теперь ты на человека похож. Жаль, твоего кота Бойза нет с нами. Он бы гордился тобой. Понял, значит, что я имел в виду, когда говорил насчет того, чтобы поделиться?

— Да,— сказал Томас Хадсон.— Понял.

— Ну и ладно,— сказал Вилли.— Ну и хватит об этом.

Мусор весь из дома вон, едет мусорный фургон. Нет, ты посмотри на этого поганца Генри. Такой прохладный день, а он весь мокрый от пота. С чего бы это он так взмок?

— Из-за девочек,— сказала Умница Лил.— Он на девочках совсем помешался.

— Верно, что помешался,— сказал Вилли.— Пробуравь ему голову в любом месте, так из дырки сразу девки ползут. Помешался. Слово какое-то хлипкое, неужели лучше не нашла?

— Но-испански это довольно крепкое слово.

— Помешался? Да ну, ерунда. Вот выдастся сегодня свободное время, подберу тебе словечко похлеще.

— Том, давай пересядем к тому концу стойки, там я не буду как на иголках и можно будет поговорить спокойно. Только не угостишь ли меня сандвичем? А то я с самого утра поесть не успела. Ношусь с Генри.

— Я пошел в «Баскский бар»,— сказал Вилли.— Приводи его туда, Лил,

— Ладно,— сказала Умница Лил.— А может быть, я его отправлю, а сама здесь останусь.

Она величаво прошествовала мимо мужчин, сидевших у стойки, одним улыбаясь, с другими заговаривая на ходу. И все отвечали ей уважительно и ласково. Почти каждый из тех, с кем она обменивалась приветствиями, когда-нибудь да любил ее за двадцать пять лет. Наконец она дошла до конца стойки, села и улыбнулась издали Томасу Хадсону, и он тотчас пошел за ней, захватив с собой все свои чеки на выпитое. У нее была милая улыбка, и чудесные темные глаза, и красивые черные волосы. Как только вокруг лба и вдоль пробора начинала вылезать седина, Умница Лил просила у Томаса Хадсона денег на парикмахерскую, и когда она выходила оттуда, волосы опять были черные и блестящие, как у молодой девушки, и даже не выглядели крашеными. Ее гладкая кожа походила на оливковую слоновую кость — если бы слоновая кость когда-нибудь бывала оливковой — с легким дымчато-розовым оттенком. Томасу Хадсону цвет ее кожи напоминал выдержанную древесину mahagua в месте распила, когда она только что отшлифована чистым песком и слегка навощена. Нигде больше не встречал он этот дымчатый тон, чуть даже ударающий в прозелень. Правда, розового налета у mahagua не было. Розовый налет получался от румян, которыми Умница Лил подцвечивала свои щеки, гладкие, как у молодой китаяночки. Красивое ее лицо улыбалось

ему, когда он шел к ней вдоль стойки, и чем ближе, тем оно становилось красивее. Но вот он сел, и рядом с ним оказалось большое грузное тело, и заметен стал слой румян на лице, и от тайны этого лица ничего не осталось, но все-таки и вблизи оно было красивым.

— А ты все еще хороша, Умница,— сказал он ей.

— Ох, Том, я стала такая толстая. Мне даже стыдно.

Он положил руку на ее мощное бедро и сказал:

— Ты симпатичная толстуха.

— Мне стыдно, когда я прохожу через бар.

— У тебя это получается красиво. Плынешь, точно корабль.

— Как наш дружок?

— Отлично.

— А когда я увижу его?

— Когда пожелаешь. Хоть сейчас.

— Нет, сейчас не нужно. Том, о чем это Вилли тут говорил? Я что-то не все поняла.

— Да так, психовал просто.

— Нет, он не психовал. Про тебя, про какие-то твои огорчения. Это насчет твоей сеньоры?

— Нет. Ну ее к матери, мою сеньору.

— Что толку ругать ее, когда ее здесь нет.

— Да. Это тоже верно.

— Так что же это за огорчения у тебя?

— Ничего. Огорчения, и все тут.

— Расскажи мне, Том. Прошу тебя.

— Нечего и рассказывать.

— Мне можно рассказать, ты же знаешь. Генри мне всегда по ночам рассказывает про свои огорчения и плачет. Вилли мне рассказывает ужасные вещи. Не про огорчения, а кое-что пострашней огорчений. Все мне все рассказывают. Только ты вот не хочешь.

— Мне не станет легче, если я расскажу. Мне от этого всегда только хуже становится.

— Том, зачем Вилли говорит мне всякие гадости? Он же знает, что для меня это прямо как ножом по сердцу — слушать такие слова. Он же знает, что я сама никогда никаких таких слов не говорю и ничего не делаю свинского и противного природе.

— Оттого-то мы и зовем тебя Умницей Лил.

— Если бы мне сказали: будешь делать такое — разбогатеешь, а не будешь — останешься навсегда в бедности, — я бы предпочла остаться в бедности.

— Знаю. Ты, кажется, хотела съесть сандвич?

— Это когда я проголодаюсь. Сейчас я еще не проголодалась.

— Тогда, может, выпьешь еще со мной?

— Охотно. Слушай, Том, что я тебя еще хочу спросить. Вилли сказал, у тебя есть кот, который в тебя влюблен. Неужели правда?

— Правда.

— Какой ужас!

— Что же тут ужасного? Я и сам влюблен в этого кота.

— Фу, даже слышать не хочу. Ты меня нарочно дразнишь. Том, не надо меня дразнить. Вилли вот дразнил меня и довел до слез.

— Я этого кота очень люблю,— сказал Томас Хадсон.

— Перестань, довольно об этом. Скажи мне лучше, когда ты меня поведешь в бар, куда ходят психи из сумасшедшего дома?

— Как-нибудь на днях.

— Неужели психи в самом деле ходят туда так же, как мы,— выпить, людей повидать?

— Совершенно так же. Вся разница в том, что на них штаны и рубахи из мешковины.

— А это правда, что ты играл в бейсбольной команде сумасшедшего дома, когда там был матч с колонией прокаженных?

— Еще бы! У них никогда не было лучшего подающего.

— А как ты вообще к ним попал?

— Ехал раз мимо, возвращаясь с ранчо Бойерос, и мне приглянулось место.

— Ты правдаводишь меня в этот бар?

— Конечно, свожу. Если тебе не страшно.

— Страшно. Но с тобой мне будет не так страшно. Мне для того и хочется сходить туда. Чтоб было страшно.

— Среди этих психов есть замечательные люди. Тебе понравится.

— Мой первый муж был псих. Но он был тяжелый псих.

— А как тебе кажется, Вилли не псих?

— Ну что ты. Просто у него трудный характер.

— Он очень много тяжелого перенес.

— А кто нет? Но Вилли слишком любит козырять этим.

— Вряд ли. Я знаю. Можешь мне поверить.

— Тогда поговорим о чем-нибудь другом. Видишь, вон стоит человек, разговаривает с Генри?

— Вижу.

— Он в постели ничего, кроме свинских штук, не признает.

— Бедный.

— Он вовсе не бедный. Он богатый. Но ему нравится только *porquerías*¹.

— А тебе никогда не нравилось *porquerías*?

— Никогда. Спроси кого хочешь. И с женщинами я тоже никогда в жизни не баловалась.

— Умница Лил.

— А что, разве ты хотел бы, чтобы я была другая? Тебе ведь *porquerías* ни к чему. Тебе нужен простой любви и радости и потом спокойно заснуть. Я тебя знаю.

— *Todo el mundo me conoce*².

— Нет, все не знают. Все о тебе воображают певесть что. А я тебя знаю.

Томас Хадсон снова пил охлажденное дайкири без сахара, и сейчас, приподняв тяжелый, с заиндевевшими краями стакан, он смотрел на его содержимое, зеленоватопрозрачное под шапкой пены, и оно напоминало ему море. Взбитая сверху пена походила на след за кормой, а прозрачная жидкость внизу была как морская волна, когда катер взрезает ее на мелководье над глинистым дном. Почти точно такой же цвет.

— Жаль, нет папитков цвета морской воды на глубине восьмисот саженьей, когда стоит мертвый пилить, и солнце палит почти отвесно, и море кишит планктоном.

— Что? — спросила Умница Лил.

— Ничего. Давай пить эту мелководную жижу.

— Том, что с тобой такое? Что-нибудь не ладится?

— Нет.

— Ты сегодня ужасно грустный и как будто чуть-чуть постарел.

— Это от северного ветра.

— Но ты всегда говорил, что северный ветер бодрит тебя и придает тебе силы. Как мы часто любили с тобой оттого, что дул северный ветер.

— Очень часто.

¹ Свинство (*исп.*).

² Меня все знают (*исп.*).

— Ты всегда хвалил северный ветер, и ты купил мне вот это пальто — носить, когда он задует.

— Что ж, пальто красивое.

— Я бы его уже десять раз могла продать,— сказала Умница Лил.— Ты даже не представляешь, сколько на него было охотниц.

— Сегодня подходящая для него погода.

— Развеселись, Том. Ты же всегда такой веселый, когда выпьешь. Допей свой стакан и закажи еще.

— Это нельзя пить быстро, лоб заболит.

— Ну, тани медленно, глоток за глотком. А я, пожалуй, выпью еще один highbolito.

Она сама приготовила себе хайболл, взяв бутылку, заранее поставленную перед ней Серафином, и Томас Хадсон посмотрел и сказал:

— Ну что это за питье — одна пресная вода. И цвет такой, как у воды в реке Файрход до слияния с Гиббоном, от которого образуется Мэдисон. Долей еще виски, тогда хоть получится цвет той речушки, что впадает в Медвежью реку у кедровой рощи за Ваб-Ми-Ми.

— Какое смешное название «Ваб-Ми-Ми»,— сказала она.— А что оно означает?

— Не знаю,— ответил он.— Просто так называется индейский поселок. Я, наверно, когда-то знал, как перевести, да забыл. Это на языке оджибвеев.

— Расскажи мне про индейцев,— попросила Умница Лил.— Про индейцев даже интереснее, чем про психов.

— Здесь, на побережье, индейцев немало. Только эти индейцы — поморяне, они больше рыбаки и угольщики.

— Про кубинских индейцев ты мне не рассказывай. Они все *mulatos*¹.

— Нет, это неверно. Среди них есть и чистокровные индейцы. Их предков привезли сюда, наверно, пленниками с Юкатана.

— Не люблю *yucatecos*².

— А я люблю. Даже очень.

— Расскажи лучше про Ваб-Ми-Ми. Это на Дальнем Западе?

— Нет, это на Севере. Недалеко от Канады.

— В Канаде я была. Ездила раз в Монреаль на экскурсионном пароходе. Но шел дождь, и ничего не было

¹ Мулаты (*исп.*).

² Юкатанцев (*исп.*).

видно, и мы в тот же вечер уехали поездом обратно в Нью-Йорк.

— И все время, что вы плыли, шел дождь?

— Не переставая. А пока мы еще не вошли в устье реки, был туман и временами шел снег. Нет уж, бог с ней, с Канадой. Расскажи про Ваб-Ми-Ми.

— Это был небольшой городок с лесопилкой на берегу реки. Прямо через городок проходила железная дорога, и у самого полотна громоздились кучи опилок. На реке была устроена запань, и речное русло было на несколько миль запружено бревнами. Как-то раз я там ловил рыбу, вздумал перейти с удочкой на другой берег и ползком стал перебираться с бревна на бревно. Вдруг одно бревно под мной повернулось, и я очутился в воде. А когда я хотел выкарабкаться, оказалось, что надо мной сплошной бревенчатый свод. Сколько я ни шарил руками в темноте в поисках щели или просвета, мои пальцы встречали только древесную кору. Нигде не было такого места, чтобы можно было раздвинуть два бревна и пролезть между ними.

— Что же ты стал делать?

— Утонул.

— Ой, не шути так,— сказала она.— Скорей расскажи, что ты сделал.

— Я сразу же понял, что медлить нельзя. Стал пядь за пядью ощупывать ближайшее бревно, пока не нащупал то место, где оно прижималось к соседнему. Тогда я уперся обеими руками и до тех пор подталкивал его кверху, пока бревна чуть-чуть не разошлись. Я быстро просунул в просвет кисти рук, потом предплечья и локти и, уже работая локтями, развел бревна настолько, что смог высунуть голову и выпростать руки до самых плеч. Долго я лежал между двумя бревнами, обняв их руками и чувствуя, как нежно я их люблю. От бревен вода в реке казалась коричневой. А в речушке, впадающей неподалеку, она была такого цвета, как то, что ты сейчас пьешь.

— Мне бы ни за что не раздвинуть этих бревен.

— Я и сам не надеялся, что смогу их раздвинуть.

— Сколько времени ты пробыл под водой?

— Не знаю. Знаю только, что я очень долго лежал между бревнами, отдыхая, прежде чем решился действовать дальше.

— Этот рассказ мне нравится. Но после него меня будут мучить кошмары. Расскажи мне что-нибудь веселое, Том.

— Хорошо, — сказал он. — Дай подумать.

— Нет. Рассказывай сразу, не задумываясь.

— Хорошо, — сказал Томас Хадсон. — Когда Том-младший был еще совсем маленький...

— *Qué muchacho más guapo!*¹ — перебила его Умница Лил. — *Qué noticias tienes de él?*²

— *Muy buenas*³.

— *Me alegro*⁴, — сказала Умница Лил, и при мысли о Томе-младшем, о летчике, глаза у нее наполнились слезами. — *Siempre tengo su fotografía en uniforme con el sagrado corazón de Jesús arriba de la fotografía y al lado la virgen del Cobre*⁵.

— Ты свято веришь в богородицу дель Кобре?

— Верю. Слепо верю.

— Вот и продолжай верить.

— Она денно и пощно заботится о Томе.

— Прекрасно, — сказал Томас Хадсон. — Серафим, еще одну двойную порцию, пожалуйста. Ну, так хочешь слушать веселую историю?

— Да, пожалуйста, — сказала Умница Лил. — Попрошу тебя, расскажи что-нибудь веселое. А то мне опять стало грустно.

— Это веселая история, — сказал Томас Хадсон. — Когда мы в первый раз поехали с Томом в Европу, ему исполнилось всего три месяца, а пароходик был древний, маленький, тихоходный, и море большей частью было бурное. На пароходе пахло трюмной водой, и машинным маслом, и медью иллюминаторов, покрытых смазкой, и *lavabos*⁶, и дезинфекцией — большими розовыми лепешками, которые клали в писсуары...

— *Pues*⁷, что-то не очень весело.

— *Sí, mujer*⁸. Ни черта ты не понимаешь. Это веселая история, очень веселая. Так, продолжаю. Кроме того, на нашем пароходе пахло ванными, и ты должен был мыться

¹ Какой красивый мальчик! (*исп.*)

² Какие у тебя вести от него? (*исп.*)

³ Очень хорошие (*исп.*).

⁴ Я очень рада (*исп.*).

⁵ Его фотография в военной форме висит у меня под изображением святого сердца Иисусова и рядом с богородицей дель Кобре (*исп.*).

⁶ Уборными (*исп.*).

⁷ Ну (*исп.*).

⁸ Да, женщина (*исп.*).

в определенные часы, а не помоешься — тогда стюард при ванной будет презирать тебя; пахло горячей соленой водой, льющейся из медных кранов в кабине, и мокрой деревянной решеткой на полу, и накрахмаленной курткой стюарда. Кроме того, там пахло дешевой английской стряпней, что способна испортить человеку настроение, и потухшими окурками сигарет «Вудбайна», «Плейерс» и «Голд флейкс» в курительной комнате и всюду, где их ни бросят. Там не было ни одного приятного запаха, а ты ведь знаешь, что от англичан — и от мужчин и от женщин — идет специфический дух, они сами его чувствуют, как негры чувствуют наш запах, и поэтому им надо очень часто мыться. От коровы, когда она дыхнет на тебя, пахнет сладко, а вот от англичан — нет. И курение им не помогает, трубка может только добавить кое-что к их запаху. Правда, твид у них пахнет хорошо, и кожаная обувь, и седельное снаряжение тоже хорошо пахнет. Но на пароходе седельного снаряжения не бывает, а твид пропитан вонью потухшей трубки. Единственный приятный запах на этом пароходе можно было почувствовать, уткнувшись носом в высокий стакан с сухим искристым девопским сидром. Сидр пах замечательно, и я утыкался в него носом по мере своих возможностей. Иногда даже превышая их.

— Pues. Вот это уже немножко повеселее.

— А сейчас пойдет самое веселое. Наша каюта была расположена низко — чуть выше уровня воды, так что иллюминатор приходилось держать закрытым. В него было видно, как вода мчится мимо и какой плотной зеленой стеной кидается она на стекло. Мы связали наши кофры и чемоданы и устроили из них заграждение у койки, чтобы Том не падал, а когда приходили проверить его, он каждый раз встречал нас смехом, если, конечно, не спал.

— Трехмесячный и уже смеялся?

— Он всегда смеялся. Я не помню, чтобы Том когда-нибудь плакал в младенчестве.

— ¡ Qué muchacho más lindo y más guapo! ¹

— Да,— сказал Томас Хадсон.— Рассказать тебе еще одну веселую историю о нем?

— Почему ты разошелся с его очаровательной матерью?

— Вышло такое странное стечение обстоятельств. Ну так как, хочешь еще одну веселую историю?

¹ Какой красивый и милый мальчик! (исп.)

— Да. Только чтобы в ней было поменьше запахов.

— Вот этот охлажденный дайкири, так хорошо взбитый, похож на волну, когда нос парохода, делающего по тридцать узлов, испарывает ее и она разваливается на две стороны. А что, если б охлажденный дайкири еще и фосфоресцировал?

— Добавь в него фосфора. Только, по-моему, это будет вредно. У нас на Кубе бывает, что люди совершают самоубийство, наевшись спичечных фосфорных головок.

— И выпив *tinte rápido*. А что это такое «быстрые чернила»?

— Это такая жидкость, ею красят обувь в черный цвет. Но девушки — те, кому не повезло в любви или кого обманули женихи, сделав с ними нехорошее и так и не женившись на них, чаще всего обливаются спиртом и поджигают себя. Это классический способ самоубийства.

— Да, знаю,— сказал Томас Хадсон.— *Auto da fe*.

— Это уж наверняка,— сказала Умница Лил.— При этом не выживешь. Вся голова в ожогах, и обычно ожоги и по всему телу. Быстрые чернила — это чаще всего просто красивый жест. *Йод au fond*¹ тоже чаще всего красивый жест.

— О чем это вы, упыри, тут болтаете? — спросил бармен Серафин.

— О самоубийствах.

— *Нау mucho*²,— сказал Серафин.— Особенно среди бедного люда. Я не припомню, чтобы кто-нибудь из богатых кубинцев кончал с собой. А ты?

— А я помню,— сказала Умница Лил.— Было несколько таких случаев. И все хорошие люди.

— Уж ты запомнишь что надо и что не надо,— сказал Серафин.— Сеньор Томас, а вы не хотите заесть чем-нибудь свой дайкири? *Un poco de pescado? Puerco frito?*³ Закуски?

— *Sí*,— сказал Томас Хадсон.— Давайте, что у вас пайдется.

Серафин поставил перед ним блюдо с хрустящими коричневыми ломтиками жареной свинины и блюдо с красным снеппером, запеченным в тесте так, что розовато-красная кожаца его была покрыта желтой корочкой, а под

¹ В сущности (*фр.*).

² Их много (*исп.*).

³ Что-нибудь рыбное? Жареную свинину? (*исп.*)

ней белела нежная мякоть. Серафим был рослый малый, не очень-то церемонный на язык, и ступал он тоже не церемонясь, потому что носил башмаки на деревянной подошве, постукивающие на мокром полу за стойкой, где всегда было что-нибудь расплескано.

— Холодное мясо подать?

— Нет. Хватит и этого.

— Бери все, что ни предложат, Том,— сказала Умница Лил.— Ты же знаешь здешние порядки.

Про этот бар было известно, что даровыми коктейлями тут не угощают. Зато гости могли получать бесплатную горячую закуску, куда входили не только жареная рыба и свинина, но и кусочки жареного мяса и гренки с сыром и ветчиной. Кроме того, бармены смешивали коктейли в огромных миксерах, и после разлива там всегда оставалось по меньшей мере еще порции полторы.

— Теперь тебе не так грустно? — спросила Умница Лил.

— Да.

— Скажи мне, Том. Что тебя так огорчает?

— *El mundo entero* ¹.

— А кого же не огорчает то, что творится во всем мире? И день ото дня все хуже и хуже. Но нельзя же только и делать, что сокрушаться из-за этого.

— Законом это не преследуется.

— А зачем законы, мы сами понимаем, что хорошо, что плохо.

Дискуссии с Умницей Лил на этические темы не совсем то, что мне требуется, подумал Томас Хадсон. А что тебе, дьяволу, требуется? Тебе требовалось как следует напиться, и ты, вероятно, уже пьян, хоть и не замечашь этого. Того, что тебе нужно, ты получить не можешь, и твои желания никогда больше не исполнятся. Но ведь есть различные паллиативы, вот и воспользуйся ими. Действуй, Хадсон. Действуй.

— *Voy a tomar otro de estos grandes sin azúcar* ²,— сказал он Серафиму.

— *En seguida, don Tomás* ³,— сказал Серафим.— Вы что, хотите перекрыть свой же рекорд?

— Нет. Я просто пью, и пью спокойно.

¹ Весь мир (*исп.*).

² Еще одну двойную порцию без сахара (*исп.*).

³ Сю минуту, дон Томас (*исп.*).

— Когда ставили рекорд, вы тоже пили спокойно,— сказал Серафин.— Спокойно и мужественно, с утра и до вечера. И вышли отсюда на своих на двоих.

— Плевал я на свой рекорд.

— Имеете шанс побить его, если будете много пить и мало закусывать,— сказал ему Серафин.— Тогда шансы у вас есть.

— Том, побей рекорд,— сказала Умница Лил.— Я буду свидетельницей.

— Не нужны ему свидетели,— сказал Серафин.— Я свидетель. А кончу смену, передам счет Константе. Помните тот день, когда вы поставили рекорд? Так вот вы уже сейчас его перекрыли.

— Плевал я на свой рекорд.

— Вы в хорошей форме, пьете отлично, без перерывов, и пока на вас ничего не сказывается.

— К матери мой рекорд.

— Ладно. Como usted quiere¹. Счет я веду на всякий случай, вдруг вы передумаете.

— Со счета он не сойдет,— сказала Умница Лил.— Чеки-то у него с копиями.

— Тебе что нужно, женщина? Тебе нужен настоящий рекорд или фиговый?

— Ни то и ни другое. Я хочу highbolito con agua mineral.

— Como siempre²,— сказал Серафин.

— Я коньяк тоже пью.

— Мне бы лучше не видеть, как ты пьешь коньяк.

— Знаешь, Том, я однажды, когда садилась в трамвай, упала и чуть не погибла.

— Бедная Лил,— сказал Серафин.— Какая у тебя жизнь — полная опасностей и всяких переживаний!

— Уж лучше твоей — с утра до вечера стоишь за стойкой в деревянных башмаках и угождаешь пьяницам.

— Это моя работа,— сказал Серафин.— А угождать таким выдающимся пьяницам, как ты, для меня большая честь.

В бар вошел Генри Вуд. Он стал рядом с Хадсоном — высокий, весь потный, взволнованный переменой в ранее принятых планах. Что может доставить ему большее удовольствие, подумал Томас Хадсон, чем внезапное изменение планов!

¹ Как хотите (исп.).

² Как всегда (исп.).

— Мы едем к Альфреду в его «Дом греха», — сказал Генри. — Хочешь с нами, Том?

— Вилли ждет тебя в «Баскском баре».

— Пожалуй, на этот раз Вилли нам брать незачем.

— Тогда так и скажи ему.

— Хорошо, я ему позвоню. А ты поедешь, Том? Будет очень весело.

— Тебе надо бы поесть.

— Я закажу себе большой сытный обед. Ну, как твои дела?

— Мои дела хорошо, — сказал Томас Хадсон. — Отлично.

— Будешь перекрывать свой рекорд?

— Нет.

— Вечером увидимся?

— Вряд ли.

— Если хочешь, я приеду и переночую у тебя.

— Нет. Развлекайся. Только поешь чего-нибудь.

— Я закажу себе великолепный обед. Даю честное слово.

— Не забудь позвонить Вилли.

— Вилли я позвоню. Можешь не беспокоиться.

— А где у Альфреда этот «Дом греха»?

— У него великолепно. Дом смотрит на гавань, хорошо обставлен, и вообще там замечательно.

— Я спрашиваю адрес.

— Адрес я не знаю, но я передам с Вилли.

— Ты не думаешь, что Вилли обидится?

— А что поделаешь, Том? Не могу я пригласить его туда. Ты знаешь, как я люблю Вилли. Но есть места, куда я не могу таскать его за собой. Ты знаешь это не хуже меня.

— Ладно. Только не забудь позвонить ему.

— Честное слово, позвоню. И даю слово, что закажу себе шикарный обед.

Он улыбнулся, похлопал Умницу Лил по плечу и вышел. Для такого гиганта походка у него была удивительно красивая.

— А какие у него девочки в «Доме греха»? — спросил Томас Хадсон Умницу Лил.

— Да нет их, все разбежались, — сказала Умница Лил. — Там есть нечего. И выпивки, по-моему, тоже маловато. Куда ты поедешь — туда или, может, ко мне?

— К тебе, — сказал Томас Хадсон. — Но попозже.

— Расскажи мне еще что-нибудь веселое.

— Хорошо. Но о чем?

— Серафим,— сказала Лил.— Дай Томасу еще одну порцию двойного охлажденного, без сахара. Tengo todavía mi highbolito¹.— Потом, обратившись к Томасу Хадсону: — Вспомни, когда тебе жилось всего веселее. Только чтобы без запахов.

— Без запахов не обойдется,— сказал Томас Хадсон. Он смотрел, как Генри Вуд прошел через площадь и сел в спортивную машину очень богатого сахарного плантатора по имени Альфред. Генри Вуд был слишком громоздкий для такой машины. Громоздкость ему во всем мешает, подумал Томас Хадсон. Но есть кое-какие дела, где она не помеха. Нет, сказал он себе. Сегодня же у тебя свободный день. Пользуйся своим свободным днем.— О чем же тебе рассказать?

— О том, о чем я тебя просила.

Он смотрел, как Серафим паклоняет миксер над высоким бокалом и как шапка дайкири завитками переливается через его край на стойку. Серафим надел на бокал снизу картонный кружок, и Томас Хадсон поднял его — тяжелый, холодный — за тонкую ножку и сделал большой глоток, и, прежде чем проглотить, задержал дайкири во рту, холодя им язык и зубы.

— Хорошо,— сказал он.— Самые веселые дни в моей жизни были те, когда я мальчишкой просыпался утром и мне не надо было идти в школу и не надо было работать. По утрам я всегда просыпался очень голодным и чувствовал запах росы на траве и слышал, как ветер шумит в верхушках деревьев, если было ветрено, а если ветра не было, тогда я слышал лесную тишину и покой озера и ловил первые утренние звуки. Первым звуком иногда был полет зимородка над водой, такой спокойной, что его отражение скользило по ней, а он летел и стрекотал на лету. Иногда это цокала белка на дереве около дома, подергивая хвостом в такт своему цоканью. Часто это был голос ржанки, доносившийся с холмов. И всякий раз, когда я просыпался и слышал первые утренние звуки, хотел есть и вспоминал, что ни идти в школу, ни работать не надо, мне было так хорошо, как никогда больше не бывало.

— Даже с женщинами?

¹ У меня еще есть немного (*исп.*).

— С женщинами я бывал счастлив. Отчаянно счастлив. Невыносимо счастлив. Так счастлив, что самому не верилось — казалось, ты пьян или сошел с ума. Но такого счастья, как с моими мальчиками, когда они были со мной, или как по утрам в детстве, я никогда больше не испытывал.

— Как это может быть? Один, без людей — и счастлив не меньше, чем с людьми.

— Это все ерунда. Ты сама просила меня рассказать первое, что придет в голову.

— Вовсе нет. Я просила, расскажи мне веселую историю о самом приятном, что у тебя было в жизни. А какая же это история? Проснулся человек, и ему стало приятно. Ты расскажи настоящую.

— О чем?

— Чтобы там была любовь.

— Какая любовь? Небесная или земная?

— Да ну тебя. Просто настоящая любовь и чтоб было весело.

— Об этом могу рассказать очень интересную историю.

— Вот и рассказывай. Еще порцию заказать?

— Сначала дай эту допью. Так вот. Это было в Гонконге, в городе замечательном, где я веселился вовсю. Там очень красивая бухта, а на материковом ее берегу стоит город Каулун. Сам Гонконг расположен на холмистом острове, покрытом густыми рощами, наверх там ведут извилистые дороги, всюду разбросаны виллы, а город внизу, у подножия холмов, как раз напротив Каулуна. Между Гонконгом и Каулуном курсируют современные быстроходные паромы.

Каулун красивый город, тебе бы он очень понравился. Чистый, хорошо спланированный, рощи подходят к самым его окраинам, а рядом с двором женской тюрьмы прекрасный участок для охоты на лесных голубей. Мы ходили охотиться на этих голубей — они крупные, красивые, с прелестным лиловатым оперением на шейке, а полет у них стремительный, сильный. Охота шла в сумерках, когда они прилетали на ночлег к огромному лавровому дереву, которое росло у побеленной стены тюремного двора. Иногда мне удавалось подстрелить голубка, быстро летящего по ветру над самой моей головой, и он падал на тюремный двор, и я слышал, как арестантки поднимали из-за него драку, кричали, визжали от восторга, а потом опять крик и визг, когда охранник-пенджабец, разогнав

их, подбирал птицу и, как человек обязательный, выносил ее нам из служебной калитки.

Район на материке за Каулуном называется Новые Территории. Среди холмов в рощах там водилось много лесных голубей, и по вечерам бывало слышно их перекличку друг с другом. В этих местах мне часто приходилось видеть, как женщины и дети копают землю у обочин дорог и ссыпают ее в корзины. Увидев человека с ружьем, они убегали и прятались в лесу. Как выяснилось, землю они копали потому, что в ней был вольфрам. В те годы вольфрам очень ценился.

— *Es un poco pesada esta historia*¹.

— Нет, Умница Лил. Эта история совсем не скучная. Подожди, не торопись. Сам по себе вольфрам действительно *pesado*². Но это все очень любопытно. Добывать его, оказывается, легче легкого. Копай землю и вывози ее или собирай камни. В Эстремадуре, в Испании, есть целые деревни, где дома сложены из камней с высоким содержанием вольфрама, и каменные изгороди в полях тоже из этой руды. А тамошние крестьяне живут бедно. В те времена вольфрам был в такой цене, что мы использовали транспортные самолеты «ДС-2» — сейчас они летают отсюда в Майами — для доставки его с полей Нам Янга в Свободном Китае в аэропорт Кай-Так в Каулуне. А оттуда его морем вывозили в Соединенные Штаты. Вольфрам — редкий металл, он считался жизненно необходимым в нашей подготовке к войне, так как его употребляли при изготовлении стали, а на Новых Территориях любой мужчина, любая женщина выкапывали столько земли, сколько могли унести в плоской корзине на голове, и сгружали эту землю в большом сарае, где ее продавали из-под полы. Я выяснил это на голубиной охоте и довел до сведения людей, которые были заняты скупкой вольфрама на материке. Моими сообщениями никто не заинтересовался, по я продолжал свое и пошел с докладом выше, и наконец один крупный военный, которому не было никакого дела до того, что вольфрам на Новых Территориях расхищается, сказал мне: «Друг мой, вы же знаете, разработки в Нам Янге ведутся». Но по вечерам, когда мы охотились около женской тюрьмы и видели, как старый двухмоторный «дуглас», только что перелетев через японскую линию

¹ Это немного тяжелая история (*исп.*).

² Тяжелый (*исп.*).

фронта, появляется из-за холмов и идет на снижение к аэропорту, груженный мешками с вольфрамом, нам странно было представить себе, что многие женщины в женской тюрьме отбывают срок за незаконную добычу вольфрама.

— Sí, es raro ¹, — сказала Умница Лил. — Но когда же будет про любовь?

— Когда захочешь, тогда и будет, — сказал Томас Хадсон. — Но если ты послушаешь про места, где все это происходило, тогда мой рассказ произведет на тебя еще большее впечатление.

Около Гонконга много островов и заливчиков и вода в море чудесная, чистая. Новые Территории — это холмистый, заросший лесами полуостров на материке, а остров, где построен город Гонконг, лежит в большой, синей, глубокой бухте, протянувшейся от Южно-Китайского моря до самого Кантона. Зимой погода там была как у нас сейчас, когда норд переходит в ураган с дождями, и спать там было прохладно.

Я просыпался по утрам и даже в дождь шел на рыбный рынок. Тамошняя рыба почти такая же, как паша, а основное, что идет у них в пищу, — это красный групер. А еще там были бочковатые, мокро поблескивающие помпано и огромные креветки, я таких громадин нигде больше не видел. Рыбный рынок особенно хорош был рано утром, когда туда приносили свежую, только что выловленную, мокро поблескивающую рыбу. Неизвестные мне сорта попадались, но мало, а кроме рыбы, там торговали и дикими утками, пойманными в силки: шилохвосты, чирки, связи — и селезни и уточки — в зимнем оперении, а такого нежного, сложнейшего, как у наших вальдшнепов, узора оперения я у диких уток никогда раньше не видел. Я любовался этими птицами, их невероятным оперением, прекрасными глазами, любовался жирной, мокро поблескивающей, только что выловленной рыбой и прекрасными овощами, выращенными на человеческих экскрементах, именующихся там «ночной подкормкой», а овощи были такие красивые — что твои змеи. Я ходил на рынок каждое утро и каждое утро испытывал наслаждение.

Еще по утрам на улицах всегда встречались похоронные процессии. Провожающие были одеты во все белое, оркестр играл веселые мотивы. В тот год на похоронах чаще всего можно было услышать «Минуты счастья вновь

¹ Да, это странно (исп.).

пришли». Днем эта песенка все время стояла у тебя в ушах, потому что люди мерли как мухи, а ведь на этом острове, по слухам, жили четыреста миллионеров, не считая тех, что обосновались в Каулуне.

— *Millonarios chinos?*

— Да, главным образом миллионеры-китайцы. Но были и всякие другие. Я сам знал многих миллионеров, и мы часто обедали вместе в знаменитых китайских ресторанах. В Гонконге было несколько шикарных ресторанов, не уступающих самым известным в мире, а кантонская кухня великолепна. В тот год среди моих лучших друзей были десять миллионеров, которых я знал только по их инициалам — Х. М., М. Я., Т. В., Х. Ж. и тому подобное. Так именовались все важные китайцы. Кроме того, я дружил с тремя китайскими генералами, один из них приехал из Уайтчепела в Лондоне и служил инспектором полиции — замечательный был человек; и еще с шестью летчиками Китайской национальной авиакомпании, которые получали баснословные деньги, но стоили того; еще был у меня знакомый полисмен, и не совсем нормальный австралиец, и много англичан офицеров, и... Но не буду утруждать тебя перечислением всех моих друзей. Стольких хороших, близких дружков у меня больше не было ни до, ни после Гонконга.

— *Cuándo viene el amor?*¹

— Я все думаю, какую амог пустить первой. Ладно. Вот тебе одна моя амог.

— Только чтобы было интересно, а то мне немножко надоел твой Китай.

— И напрасно. Ты бы влюбилась в него так же, как я.

— Почему же ты не остался там?

— Нельзя там было оставаться, того и гляди, могли прийти япошки.

— *Todo está jodido por la guerra*².

— Да,— сказал Томас Хадсон.— Согласен.— Он никогда не слышал от Умницы Лил такого крепкого словца и, услышав его, удивился.

— *Me cansan con la guerra*³.

— Мне тоже,— сказал Томас Хадсон.— Я здорово устал от нее. Но вспоминать Гонконг никогда не устаю.

¹ Когда начнется про любовь? (*исп.*)

² От войны все в дерьме (*исп.*).

³ Надоела мне эта война (*исп.*).

— Ну, так Расскажи мне о нем побольше. Это bastante interesante¹. Но я хотела послушать про любовь.

— Да знаешь, там все было так интересно, что времени на любовь почти не оставалось.

— А кто у тебя была там первая?

— Первой была очень высокая и красивая китайка, сильно европеизированная, эмансипированная, но она не хотела приходить ко мне в гостиницу, говоря, что тогда все об этом узнают, и ночевать у нее дома тоже не позволяла, потому что тогда узнает прислуга. Но ее овчарка уже знала о нас. Она сильно нам все осложняла.

— Тогда где же вы с ней сходились?

— Сходились, как молокососы сходятся,— там, где мне удавалось ее уговорить, главным образом в машинах, в лодках.

— Бедный наш дружок мистер Икс!

— Конечно, бедный.

— И тем ваша любовь и ограничивалась? Вы так-таки и не провели ни одной ночи вместе?

— Нет.

— Бедный Том. А стояла она таких терзаний?

— Кто ее знает. Кажется, стояла. Мне, конечно, надо было снять дом, а не оставаться в отеле.

— «Дом греха» тебе надо было снять, как это здесь делают.

— Не люблю я эти «Дома греха».

— Да, знаю. Но если уж она так тебе была нужна.

— Это все как-то обошлось. Тебе еще не надоело слушать?

— Нет, Том, что ты! Про такое не надоест. Чем же это все кончилось?

— Однажды мы ужинали с этой девушкой, а после ужина долго катались в лодке, и это было замечательно, только не очень удобно. У нее была чудесная кожа, все, что предшествует тому самому, очень возбуждало ее, и губы у нее были тонкие, но отягощенные любовью. Потом мы вышли из лодки и пошли к ней в дом, а там эта овчарка, и надо было стараться, чтобы никто не проснулся, и наконец я ушел к себе в отель, неудовлетворенный, усталый от споров, хотя она и была права. Но зачем тогда эта дурацкая эмансипация, если нельзя лечь в постель с мужчиной? Если уж провозглашать эмансипацию, тогда надо

¹ Довольно интересно (исп.).

прежде всего дать свободу простыням. Словом, я был настроен мрачно и *frustrado*¹.

— Я никогда не видела, чтобы ты был *frustrado*. Это, наверно, очень смешно.

— Нет, не смешно. Я был злющий в ту ночь, все мне казалось отвратительным.

— Ну, рассказывай дальше.

— Взял я ключ у портье с таким настроением, что и черту все на свете. Отель был большой, и мрачный, и мрачно роскошный, и я поднялся на лифте, зная, что меня ждет большой, и роскошный, и мрачный, и неуютный номер и не ждет прекрасная китаянка. Прохожу по коридору, отпираю массивную дверь своего огромного мрачного номера, и как ты думаешь, что я там вижу?

— Что ты там видишь?

— Трех совершенно прелестных молодых китаянок, таких прелестных, что моя китаянка, которую мне не удалось в тот день заполучить, рядом с ними выглядела бы школьной учительницей. До того они были хороши, что просто выдержать невозможно, и ни одна из трех ни слова не говорила по-английски.

— Откуда же они взялись?

— Один из моих миллионеров прислал. Они мне передали записку от него. Записка была на толстой бумаге в веленовом конверте, и там было сказано только: «С приветом от С. В.».

— И что ты стал делать?

— Я ведь совершенно не знал их обычаев, поэтому я сперва поздоровался с каждой за руку, потом перецеловал всех по очереди, потом предложил пойти вместе под душ, чтобы лучше перезнакомиться между собой.

— На каком языке ты им это предложил?

— На английском.

— И они поняли?

— Я им все очень хорошо объяснил.

— А что было дальше?

— Я не знал, как быть, мне еще ни разу не приходилось ложиться в постель с тремя девушками сразу. Две — это еще куда ни шло спяну, хотя я знаю, что ты этого не одобряешь. Но три — это уже целая компания, и я просто не знал, как быть. Я спросил, не желают ли они выпить, но они не пожелали. Тогда я выпил сам, и мы все

¹ Подавленно (*исп.*).

вчетвером сели на кровать — по счастью, кровать была огромных размеров, а девушки маленькие. А потом я выключил свет.

— Ну и как это было?

— Чудесно. Никогда бы не думал, что можно обнимать трех девушек сразу. Но оказалось, что можно. Тем более в темноте. Мне даже спать не хотелось. Но в конце концов я заснул, а когда проснулся, они все три спали и при утреннем свете были так же хороши, как накануне. Это были самые красивые девушки, каких я когда-либо видел.

— Лучше, чем я при нашем первом знакомстве двадцать пять лет назад?

— Нет, Лил. No puede ser ¹. Но ведь они были китаянки, а ты знаешь, как китаянки могут быть хороши. У меня и раньше бывали китаянки.

— Но целых три сразу.

— Да, три — это многовато. Для любви нужна только одна, это я согласен.

— Ты не думай, что я ревную. Ты ведь их не искал сам, и потом, это был подарок. Вот ту, что с собакой, что не захотела с тобой спать, ее я ненавижу. Но скажи мне, Том, как ты себя чувствовал утром?

— Я себя чувствовал так, как будто меня выжали. Как будто во мне ничего не осталось, одна пустота. Спина у меня не гнулась, поясница болела так, что не прикоснись, и я чувствовал себя развратником до мозга костей.

— И первым делом ты выпил.

— Первым делом я выпил, и тогда мне стало немного лучше, а на душе так совсем хорошо.

— А потом что ты сделал?

— Посмотрел на них, как они спят все втроем, и пожалел, что у меня нет фотоаппарата. Прелестная получилась бы фотография. Но я все еще чувствовал себя выжатым, и меня мучил голод, и я подошел к окну посмотреть, какая погода, и увидел, что идет дождь. Я обрадовался, решив, что можно будет весь день проваляться в постели. Но сперва нужно было позавтракать и позаботиться о завтраке для девушек. Я заперся в ванной, принял душ, потом потихоньку оделся и вышел из комнаты, осторожно притворив за собою дверь, чтобы не хлопнула. Внизу, в утреннем кафе при отеле, я плотно позавтракал —

¹ Этого не может быть (исп.).

ел копчушки, булочки с джемом, шампиньоны и бекон. За завтраком я выпил целый чайник чаю и двойную порцию виски с содовой, но ощущение пустоты не проходило. Я просмотрел утреннюю гонконгскую газету на английском языке и при этом все думал: в котором же часу здесь встают? Потом я прошел через вестибюль к главному подъезду и выглянул на улицу. Дождь лил еще сильнее. Я хотел было зайти в бар, но он еще не открылся. Виски к завтраку мне приносили из служебного буфета. Дольше ждать не хотелось, и я поднялся к себе в номер. Отпер дверь и увидел, что китайки исчезли.

— Какая жалость.

— Вот и я тогда так подумал.

— Что же ты стал делать? Выпил, наверно.

— Да. Я выпил, а потом еще раз принял душ, хорошенько вымывшись с мылом, и тут меня стали вдвойне одолевать сожаления.

— Un doble remordimiento?

— Нет, не двойное сожаление, а два рода сожалений. О том, что я спал с тремя девушками, и о том, что они исчезли.

— Со мной по утрам тебя тоже, бывало, одолевали сожаления. Но ты быстро с ними справлялся.

— Верно. Я со всем умею быстро справляться, такой я человек. И я всегда был подвержен сожалениям. Но в то утро в отеле сожаления были просто гигантские, и притом вдвойне.

— И ты опять выпил.

— Как это ты догадалась? Да, а потом позвонил своему миллионеру. Но его нигде не было. Ни дома, ни в конторе.

— Наверно, он был в своем «Доме греха».

— Скорей всего. И туда же отправились мои китайки, рассказать, как у нас прошла ночь.

— Но где он сумел раздобыть трех таких красивых девушек? В Гаване теперь трех красавиц не раздобудешь. Ты не представляешь себе, как я сегодня намучилась, чтобы достать что-нибудь сносное для Генри и Вилли. Правда, утром это еще труднее.

— Ну, у гонконгских миллионеров это было поставлено по-деловому. Их агенты рыскали по всей стране. По всему Китаю. Совсем как антрепренеры бейсбольной команды «Бруклин Доджерс» в поисках пополнения. Только в каком-нибудь городе или деревне объявится красави-

ца, они уже тут как тут — купили и доставили для обучения, выхаживания и подготовки.

— Но как эти девушки могли выглядеть утром не хуже, чем вечером, ведь, наверно, у них были прически *tuu estilizado*¹, как у всех китаянок. А чем сложнее прическа, тем трудней сохранить ее после такой ночи.

— А у них вовсе не было сложных причесок. У них волосы были подрезаны и распущены по плечам, как носили в то время американки, да и теперь еще многие носят. И чуть-чуть завиты. Так этому С. В. нравилось. Он бывал в Америке и, наверно, смотрел американские фильмы.

— И больше они у тебя не появлялись?

— Появлялись, но уже по одной. С. В. посылал их мне время от времени в виде подарка. Но трех сразу больше никогда не посылал. Они были новенькие, попятно, что он их приберегал для себя. И кроме того, он говорил, что не хочет подрывать мои моральные устои.

— Наверно, хороший был человек. А где он теперь?

— Его, кажется, расстреляли.

— Бедняга. Мне очень понравилась эта история, Том, и ты ее рассказал по возможности деликатно. И вроде бы сам немного развеселился.

Вроде бы так, подумал Томас Хадсон. Ну что ж, для этого я сюда и пришел. Разве нет?

— Слушай, Лил,— сказал он.— Не хватит ли нам пить?

— А как ты себя чувствуешь?

— Лучше.

— Подай Томасу еще двойной охлажденный, без сахара. А я уже немощко пьяненькая. Мне больше ничего не надо.

Я действительно чувствую себя лучше, подумал Томас Хадсон. То-то и странно. Всегда тебе становится лучше, все в конце концов преодолеваешь. Только одного нельзя преодолеть, это — смерти.

— Ты была когда-нибудь мертвая? — спросил он Лил.

— Конечно нет.

— *Yo tampoco*².

— Зачем ты так говоришь? Мне страшно, когда ты так говоришь.

¹ Вычурные (*исп.*).

² Я тоже (*исп.*).

— Я не хотел пугать тебя, милая. Я никого не хочу пугать.

— Мне приятно, когда ты называешь меня милая.

Все это без толку, подумал Томас Хадсон. Неужели нельзя придумать что-нибудь другое, не менее действенное, чем сидеть и пить во «Флоридите» с потасканной старушкой Лил на том конце стойки, где обычно сидят старые шлюхи и напиваются в лоск? У тебя только четыре свободных дня, неужели же нельзя провести их как-нибудь получше? Где? — подумал он. У Альфреда, в его «Доме греха»? Тебе и здесь неплохо. Где найдешь лучшую или хотя бы равноценную выпивку, а раз уж ты взялся пить, так пей, братец, на всю катушку. Этим ты сейчас занят, и пусть это занятие будет тебе по душе — по душе на всех частотах. Ты всегда одобрял и любил это занятие, так что изволь любить и сейчас.

— Люблю, — сказал он вслух.

— Что?

— Пить. Не просто пить, а пить вот эти двойные охлажденные, без сахара. Если бы выпить столько, сколько я выпил, да с сахаром, пожалуй, стошнило бы.

— Ya lo seо¹. А если бы кто другой выпил столько, сколько ты, да без сахара, он, наверно, умер бы.

— Может, я тоже умру.

— Еще чего! Ты просто побьешь свой рекорд, а потом мы пойдем ко мне и ты заснешь и на самый худой конец будешь храпеть.

— А я храпел последний раз?

— Nogгоges². И называл меня десятью разными именами.

— Извини.

— Ничего. Мне было смешно. Я кое-что узнала о тебе, о чем раньше не догадывалась. А другие девушки не обижаются, когда ты называешь их по-разному?

— Других девушек у меня нет. Жена — есть.

— Я изо всех сил стараюсь, чтобы она мне нравилась, стараюсь не думать о ней плохо, но это очень трудно. Ругать ее при себе, конечно, никому не позволяю.

— Я ее буду ругать.

— Нет. Не надо. Это пошло. Я терпеть не могу две вещи. Мужчин, когда они плачут. Я знаю, плакать им

¹ Я думаю (исп.).

² Ужас (исп.).

иногда приходится. Но я этого не люблю. И еще не терплю, когда они ругают своих жен. А почти все этим занимаются. Так что ты свою, пожалуйста, не ругай, мне так хорошо с тобой, не порть мне удовольствия.

— Ладно. Пошла она к черту. Не будем о ней говорить.

— Том, прошу тебя. Ты же знаешь, я считаю ее красавицей. Она и есть красавица. Правда. Pero no es mijer raга tí¹. Но не будем ее ругать.

— Хорошо.

— Расскажи мне еще что-нибудь веселое. Если тебе будет весело рассказывать, тогда можно и без любви.

— Нет у меня веселых историй.

— Зачем ты так говоришь? Ты их сотни знаешь. Выпей еще одну порцию и расскажи мне веселую историю.

— А ты почему ничего не расскажешь?

— Что же мне рассказывать?

— Что-нибудь для укрепления этой, как ее, морали.

— Tú tienes la moral muy baja².

— Конечно. Я это прекрасно знаю. Но ты бы все-таки рассказал мне что-нибудь такое для укрепления.

— Этим тебе надо заниматься. Сам знаешь. Все другое, все, что ни попросишь, я сделаю. И это ты тоже знаешь.

— Ладно. Так ты правда хочешь послушать еще одну веселую историю?

— Да, пожалуйста. Вот твой бокал. Еще одна веселая история и еще один дайкири, и тебе станет совсем хорошо.

— Ручаешься?

— Нет,— сказала она и заплакала, глядя на него, заплакала легко и естественно, будто вода забила в роднике.— Том, что с тобой? Почему ты мне ничего не говоришь? Я боюсь спросить. Это?

— Это самое,— сказал Томас Хадсон. Тогда она заплакала навзрыд, и он обнял ее за плечи при всем честном народе и стал успокаивать. Она плакала некрасиво. Она плакала откровенно и сокрушительно:

— Бедный мой Том,— сказала она.— Бедный Том.

— Возьми себя в руки, mijer, и выпей коньяку. Вот теперь мы с тобой повеселимся.

— Не хочу я веселиться. Я никогда больше не буду веселиться.

¹ Но она тебе не подходит (исп.).

² У тебя очень низкая мораль (исп.).

— Постой,— сказал Томас Хадсон.— Видишь, как бывает, когда расскажешь людям все как есть.

— Сейчас я развеселюсь,— сказала она.— Подожди, дай мне минутку. Я схожу в уборную и успокоюсь.

Да уж, будь любезна, подумал Томас Хадсон. Потому что мне очень плохо, и, если ты не перестанешь плакать или заговоришь об этом, я отсюда смоюсь. А если я смоюсь отсюда, куда мне, к черту, деваться? Он понимал, что возможности его ограничены и что никакой «Дом греха» тут не поможет.

— Дай мне еще двойного охлажденного дайкири без сахара. No sé lo qué pasa con esta mujer¹.

— Она плачет, как из лейки льет,— сказал бармен.— Вот кого бы пустить вместо водопровода.

— А как там дела с водопроводом?— спросил Томас Хадсон.

Его сосед слева — веселый коротышка со сломанным носом (в лицо Томас Хадсон его знал, но ни имени, ни политических убеждений вспомнить не мог) — сказал:

— Это cabrones²! За воду они всегда деньги вытянут, потому что без воды не обойдешься. Без всего прочего можно обойтись, а воду ничто не заменит. Без воды как ты обойдешься? Так что на воду они деньги у нас всегда вытянут. И значит, хорошего водопровода здесь не будет.

— Я что-то не совсем вас понимаю.

— Sí, hombre³. Денег на водопровод они всегда наберут, потому что водопровод — вещь необходимая. Значит, проводить его не станут. Будете вы резать курочку, которая несет вам золотые водопроводы?

— А почему не провести водопровод, хорошо заработать на нем и словчить как-нибудь еще?

— Лучше, чем с водой, не словчишь. Пообещайте людям воду, вот вам и деньги. Какой политик будет проводить хороший водопровод и тем самым ставить крест на своем truco⁴? Политики неопытные, бывает, постреливают друг друга из-за всяких мелких дел, но кто захочет выбивать истинную основу из-под политической экономики? Предлагаю тост за таможеню, за махинации с лотереей, за твердые цены на сахар и за то, чтобы у нас никогда не было водопровода.

¹ Я не знаю, что происходит с этой женщиной (*исп.*).

² Бранное слово (*исп.*).

³ Да, друг (*исп.*).

⁴ Здесь: мошенничество, афера (*исп.*).

— Prosit,— сказал Томас Хадсон.

Во время их разговора из дамской уборной появилась Умница Лил. Лицо она привела в порядок и не плакала, но вид у нее был убитый.

— Ты знаешь этого джентльмена? — спросил Томас Хадсон, представляя ей своего нового или же вновь обретенного старого знакомого.

— Знает, но только в постели,— сказал этот джентльмен.

— Cállate ¹,— сказала Умница Лил.— Он политик,— пояснила она Томасу Хадсону.— Muy hambriento en este momento ².

— Хочу пить,— поправил ее политик.— К вашим услугам,— сказал он Томасу Хадсону.— Что будем заказывать?

— Двойной охлажденный дайкири без сахара. Бросим кости, кому платить?

— Нет, плачу я. У меня здесь неограниченный кредит.

— Он хороший человек,— шепотом сказала Томасу Хадсону Умница Лил, а хороший человек тем временем старался привлечь внимание ближайшего бармена.— Политик. Но очень честный и очень веселый.

Политик обнял Лил за талию.

— Ты с каждым днем худеешь, mi vida ³,— сказал он.— Мы с тобой, наверно, одной политической партии.

— Водопроводной,— сказал Томас Хадсон.

— Ну нет! Что это вы? Хотите отнять у нас хлеб наш насущный и напустить нам полон рот воды?

— Выпьем за то, чтобы puta gueerra ⁴ скорее кончилась,— сказала Лил.

— Пьем.

— За черный рынок,— сказал политик.— За нехватку цемента. За тех, кто контролирует цены на черные бобы.

— Пьем,— сказал Томас Хадсон и добавил: — За рис.

— За рис,— сказал политик.— Пьем.

— Как тебе сейчас — лучше? — спросила Умница Лил.

— Конечно, лучше.

Томас Хадсон взглянул на нее и увидел, что она, того и гляди, опять зальется слезами.

¹ Замолчи (*исп.*).

² Сейчас он хочет есть (*исп.*).

³ Жизнь моя (*исп.*).

⁴ Шлюха-война (*исп.*).

— Только попробуй заплакать,— сказал он.— Я тебе физиономию разобью.

На стене за стойкой висел литографированный плакат, на котором был изображен человек в белом костюме, а под ним надпись: «Un Alcalde Mejor». «За лучшего мэра». Плакат был большой, и «лучший мэр» смотрел прямо в глаза всем здешним пьянчугам.

— За «Un Alcalde Mejor»,— сказал политик.— За худшего мэра.

— Будете баллотироваться? — спросил его Томас Хадсон.

— А как же?

— Вот и хорошо! — сказала Умница Лил.— Давайте изложим нашу политическую платформу.

— Это не трудно. Лозунг у нас завлекательный: «Un Alcalde Mejor». А, собственно, зачем нам платформа?

— Без платформы нельзя,— сказала Лил.— Ты как считаешь, Томас?

— Считаю, что нельзя. Ну а если так: долой сельские школы?

— Долой! — сказал кандидат в мэры.

— Menos guaguas у reos¹,— предложила Умница Лил.

— Прекрасно. Автобусы ходят реже и возят хуже.

— А почему бы нам вообще не разделаться с транспортом? — сказал кандидат.— Es más sencillo².

— Правильно,— сказал Томас Хадсон.— Cero transporte³.

— Коротко и благородно,— сказал кандидат.— И сразу видно, что мы люди беспристрастные. Но этот лозунг можно развить. Если так: Cero transporte aéreo, terrestre, marítimo⁴.

— Прекрасно! Вот теперь у нас настоящая платформа. А что мы скажем о проказе?

— Poga una lerga más grande para Cuba⁵,— сказал кандидат.

— Por el cáncer cubano⁶,— сказал Томас Хадсон.

¹ Меньше автобусов и похуже (исп.).

² Это еще проще (исп.).

³ Никакого транспорта (исп.).

⁴ Никакого воздушного, наземного и морского транспорта (исп.).

⁵ За распространение проказы на Кубе (исп.).

⁶ За рак на Кубе (исп.).

— Por una tuberculosis ampliada, adecuada y permanente para Cuba y los cubanos¹, — сказал кандидат. — Это малость длинновато, но по радио прозвучит хорошо. Как мы относимся к сифилису, единоверцы мои?

— Por una sífilis criolla cien por cien².

— Прекрасно, — сказал кандидат. — Долой пенициллин и все прочие штучки американского империализма.

— Долой, — сказал Томас Хадсон.

— По-моему, нам надо выпить, — сказала Умница Лил. — Как вы к этому относитесь, *corregigionarios*³?

— Блестящая мысль, — сказал кандидат. — Никому другому она и в голову не могла бы прийти.

— Даже тебе? — сказала Умница Лил.

— Наваливайтесь на мой кредит, — сказал кандидат. — Посмотрим, выдержит ли он такую атаку. Бар-мен, бар-друг, всем нам того же самого, а вот этому моему политическому соратнику без сахара.

— Вот хорошая идея для лозунга, — сказала Умница Лил. — Кубинский сахар кубинцам.

— Долой Северного Колосса! — сказал Томас Хадсон.

— Долой! — повторили остальные.

— Наши лозунги должны больше касаться внутренних дел и городских проблем. Пока мы воюем, пока мы все еще союзники, вникать в международные отношения не следует.

— Тем не менее лозунг «Долой Северного Колосса!» должен остаться в силе, — сказал Томас Хадсон. — Колосс ведет глобальную войну, и сейчас самое время валить его. Этот лозунг необходим.

— Когда меня выберут, тогда и свалим.

— За Un Alcalde Peor, — сказал Томас Хадсон.

— За всех за нас. За пашу партию, — сказал Alcalde Peor. Он поднял стакан.

— Надо запомнить все обстоятельства рождения нашей партии и написать ее манифест. Какое сегодня число?

— Двадцатое. Более или менее.

— Двадцатое — чего?

— Двадцатое более или менее февраля. El grito de la «Floridita»⁴.

¹ За полноценный, массовый, постоянный туберкулез для Кубы и кубинцев (*исп.*).

² За стопроцентный креольский сифилис (*исп.*).

³ Единоверцы (*исп.*).

⁴ Призыв к восстанию, брошенный в «Флоридите» (*исп.*).

— Торжественный момент! — сказал Томас Хадсон. — Ты умеешь писать, Умница Лил? Можешь все это увековечить?

— Писать я умею. Но сейчас я ничего не напишу.

— Есть еще несколько проблем, по которым мы должны определить свою позицию, — сказал Alcalde Peor. — Слушайте, Северный Колосс, почему бы вам не заплатить за следующую порцию? Вы убедились, что мой кредит мужественно выдержал все наши атаки. Но мы же знаем, что он на исходе, так зачем его, бедняжку, еще и приканчивать? Давайте, Колосс, давайте.

— Не называйте меня Колоссом. Мы же против этого Колосса.

— Ладно, хозяин. А вы, собственно, чем занимаетесь?

— Я ученый.

— *Sobre todo en la sama* ¹, — сказала Умница Лил. — Он глубоко изучил Китай.

— Ладно. Все равно этот раз платите вы, — сказал Alcalde Peor. — И давайте дальше обсуждать нашу платформу.

— Что мы скажем о Домашнем очаге?

— Это предмет священный. Домашний очаг пользуется таким же уважением, как и религия. Тут надо проявить осторожность и деликатность. Ну, скажем, так: *Abajo los padres de familias* ²?

— Это уважительно. Но не лучше ли просто — Долой Домашний очаг?

— *Abajo el Home* ³. Чувства здесь выражены прекрасные. Но многие могут спутать этот очаг с настоящим очагом.

— А о Детях что скажем?

— Пустите детей и не мешайте им приходить ко мне, как только они достигнут возрастного ценза и смогут участвовать в выборах, — сказал Alcalde Peor.

— Теперь Развод, — сказал Томас Хадсон.

— Тоже щекотливая тема, — сказал Alcalde Peor. — *Bastante espinoso* ⁴. А вы сами как относитесь к разводу?

— Может, развода касаться не следует? А то это будет противоречить нашей кампании в пользу Домашнего очага.

¹ Особенно в постели (*исп.*).

² Долой отцов семейств (*исп.*).

³ Долой очаг! (*англ.-исп.*)

⁴ Довольно щекотливая (*исп.*).

— Ладно, отставить. Теперь давайте посмотрим...

— Куда ты посмотришь? — сказала Умница Лил. — Ты же совсем окосел!

— Не осуждай меня, женщина, — сказал Alcalde Peog. — Одну вещь мы должны сделать.

— Какую?

— Orinar¹.

— Поддерживаю, — услышал себя со стороны Томас Хадсон. — Это основное.

— Отсутствие водопровода тоже основное. А это основано на воде.

— Вернее, на алкоголе.

— По сравнению с водой процент алкоголя невелик. В основе вода. Вот вы ученый. Какой процент воды у нас в организме?

— Восемьдесят семь целых и три десятых процента, — сказал Томас Хадсон наугад, зная, что это неверно.

— Точно, — сказал Alcalde Peog. — Ну как, пойдем, пока поги ходят?

В мужской уборной спокойный, благородного вида негр читал розенкрейцеровскую брошюру. Он прорабатывал недельное задание по курсу изучаемых им наук. Томас Хадсон почтительно приветствовал его, и негр также почтительно ответил ему.

— На улице сегодня холодно, сэр, — заметил служитель, читавший религиозную брошюру.

— В самом деле, холодно, — сказал Томас Хадсон. — Как твои занятия?

— Очень хорошо, сэр. Не хуже, чем можно было ожидать.

— Прекрасно, — сказал Томас Хадсон. Потом, обратившись к Alcalde Peog, у которого что-то там не ладилось: — В Лондоне есть клуб, одна половина членов которого испытывает трудности с мочеиспусканием, а другая страдает недержанием мочи. Я тоже был членом этого клуба.

— Великолепно, — сказал Alcalde Peog, закончив свою работу. — Как он назывался, этот клуб? Не El Club Mundial²?

— Нет. По правде говоря, я забыл его название.

— Забыли название своего клуба?

¹ Помочиться (*исп.*).

² Клуб всего мира (*исп.*).

— Да. А что тут такого?

— Давайте сделаем еще разок. Сколько стоит помочь?

— Сколько дадите, сэр.

— Я плачу,— сказал Томас Хадсон.— Обожаю платить за это дело. Будто цветы покупаешь.

— Может, это был Королевский автоклуб? — спросил негр, подавая ему полотенце.

— Нет, ни в коем случае.

— Извините, сэр,— сказал адепт розенкрейцеров.— Я знаю, это один из самых больших клубов в Лондоне.

— Правильно,— сказал Томас Хадсон.— Один из самых больших. Вот, возьми, купишь себе на это что-нибудь хорошее.— Он дал негру доллар.

— Зачем вы дали целый песо? — спросил Alcalde Peor, когда они вышли за дверь и вернулись в сутолоку бара-ресторана и в грохот, доносившийся с улицы.

— Он мне не нужен.

— Nombre,— сказал Alcalde Peor.— Как вы себя чувствуете? Хорошо? О'кей?

— Вполне,— сказал Томас Хадсон.— Вполне о'кей. Большое вам спасибо.

— Как ездилось? — спросила со своего табурета у стойки Умница Лил. Томас Хадсон посмотрел на нее и опять словно бы впервые увидел. Она показалась ему много толще и гораздо темнее лицом.

— Хорошо ездилось,— сказал он.— В путешествии всегда встречаешь интересных людей.

Умница Лил положила руку ему на бедро и ласково сжала, но он уже не смотрел на Умницу Лил, он смотрел мимо смуглых кубинских лиц и светлых панам, мимо пьющих и играющих в кости, туда, где за распахнутыми дверьми белела залитая солнцем площадь, и вдруг увидел, как к дверям подкатила машина, и швейцар, сняв фуражку, отворил заднюю дверцу, и из машины вышла она.

Это была она. Только она умела выйти так из машины, деловито, и легко, и красиво, и в то же время так, будто она оказывала большую честь тротуару, ступив на него ногой. Вот уже много лет все женщины старались походить на нее, кое-кто даже не без успеха. Но стоило появиться ей — и становилось ясно, что это лишь жалкие подделки. Сейчас на ней была военная форма. Она улыбнулась швейцару, о чем-то его спросила, он ответил, сияя

от удовольствия, и она прошла прямо в бар. За ней шла еще одна женщина, тоже в военной форме.

Томас Хадсон встал с места, что-то сдавило ему грудную клетку, и сделалось трудно дышать. Она уже заметила его и шла к нему по свободному неширокому проходу между стойкой и столиками. Ее спутница шагала следом.

— Извините меня,— сказал Томас Хадсон Умнице Лил и Alcalde Peor.— Мне нужно поговорить с одной знакомой.

Они встретились на середине прохода, и он сжал ее в объятиях. Они сжимали друг друга так, что, кажется, крепче уже нельзя было, и он целовал ее крепко и бережно, и она тоже целовала его и руками ощупывала его плечи.

— Ты,— сказала она.— Ты. Ох, ты.

— Чертовка,— сказал он.— Как ты попала сюда?

— Очень просто — из Камагуэя.

На них стали оглядываться, и он приподнял ее, все так же тесно прижимая к себе, и еще раз поцеловал, а потом снова поставил на пол и взял за руку и потянул к столику у стены.

— Здесь нельзя так,— сказал он.— Нас могут арестовать.

— Ну и пусть арестуют,— сказала она.— Знакомься, это Гинни. Моя секретарша.

— Привет, Гинни,— сказал Томас Хадсон.— Помогите мне усадить эту сумасшедшую за столик.

Гинни была симпатичная очень некрасивая девица. Одеты они обе были одинаково: офицерская куртка, только без знаков различия, рубашка с галстуком, юбка, чулки и ботинки на низком каблуке. На голове пилотка, а на левом плече нашивка, каких Томас Хадсон раньше никогда не видал.

— Сними пилотку, чертовка.

— Не полагается.

— Сними.

— Ну так и быть.

Она сняла пилотку и тряхнула рассыпавшимися волосами, а потом, откинув голову, посмотрела на Томаса Хадсона, и он увидел знакомый открытый лоб, и знакомую колдовскую волнистость волос все такого же цвета спелой пшеницы с серебристым отливом, и высокие скулы, и чуть запавшие щеки под ними, чуть запавшие, от чего, как ни взглянешь, так и защемят сердце, и плосковатый нос, и

размазанные его поцелуями губы, и прелестный подбородок, и линию шеи.

— Как я выгляжу?

— Сама знаешь.

— Тебе уже приходилось целовать женщину в таком костюме? И оцарапываться о пуговицы армейского образца?

— Нет.

— А ты меня любишь?

— Я тебя всегда люблю.

— Нет, а вот сейчас, сию минуту — любишь?

— Да, — сказал он, и у него запершило в горле.

— Тем лучше, — сказала она. — Плохо бы тебе было, если бы не любил.

— Ты сюда надолго?

— Только до вечера.

— Я хочу еще поцеловать тебя.

— Ты же сказал, что за это нас арестуют.

— Ладно, потерпим. Что ты будешь пить?

— Есть тут порядочное шампанское?

— Да. Но есть и местные напитки, которые очень хороши.

— Очевидно. Сколько порций ты уже выпил сегодня?

— Не знаю. Десять или двенадцать.

— Но пьяного в тебе только тени под глазами. Ты влюблен в кого-нибудь?

— Нет. А ты?

— Потом разберемся. Где твоя стерва-жена?

— В Тихом океане.

— Хорошо бы поглубже. Саженой так на тысячу. Ох, Томми, Томми, Томми, Томми, Томми.

— Ты в кого-нибудь влюблена?

— Кажется, да.

— Негодяйка.

— Ужасно, правда? Первый раз мы встречаемся после того, как я ушла от тебя, и ты ни в кого не влюблен, а я влюблена.

— Ты ушла от меня?

— Это моя версия.

— Он славный?

— Он? Да, очень славный, как бывают славными дети.

Я очень нужна ему.

— А где он сейчас?

— Это военная тайна.

— И ты туда едешь?

— Да.

— К какому ты принадлежишь ведомству?

— Мы — СОДВ¹.

— Это все равно что УСС²?

— Да нет же, глупый. Не прикидывайся дурачком и не строй из себя обиженного только потому, что я влюблена в кого-то. Ты же ведь не спрашиваешь моего совета, когда собираешься в кого-то влюбиться.

— Ты его очень любишь?

— Я вовсе не говорила, что я его люблю. Я сказала, что влюблена в него. А хочешь, сегодня даже и влюблена не буду, раз тебе это неприятно. Я ведь здесь только на один день. Я не хочу быть нелюбезной.

— Ну тебя к черту, — сказал он.

— Может быть, мне взять машину и вернуться в отель? — спросила Гинни.

— Нет, Гинни. Мы сперва выпьем шампанского. У тебя машина есть? — спросила она Томаса Хадсона.

— Есть. Стоит там на площади.

— Можем мы поехать к тебе?

— Конечно. Позавтракаем здесь и поедem. А можно прихватить чего-нибудь и поесть дома.

— До чего это замечательно вышло, что мне удалось попасть сюда.

— Да, — сказал Томас Хадсон. — А откуда ты вообще знала, что здесь можно кое-кого встретить?

— Мне сказал один человек на аэродроме в Камагуэе, что ты здесь бываешь. И мы решили: не найдем тебя — посмотрим Гавану.

— Так давай посмотрим Гавану.

— Нет, — сказала она. — Пусть уж Гинни одна смотрит. А может быть, у тебя кто-нибудь есть, кто бы показал Гинни Гавану?

— Найдется.

— Только к вечеру мы должны вернуться в Камагуэй.

— В котором часу самолет?

— В шесть, кажется.

— Все устроим, — сказал Томас Хадсон.

К их столику подошел молодой человек, кубинец.

¹ Служба организации досуга войск.

² Управление стратегических служб.

— Простите, пожалуйста,— сказал он.— Мне хотелось бы получить у вас автограф.

— С удовольствием,— сказала она.

Он подал ей открытку с изображением бара и Константе за стойкой, сбивающего коктейль, и она расписалась актерским размашистым почерком, так хорошо знакомым Томасу Хадсону.

— Не стану говорить, что это для моей маленькой дочки или для сына-школьника,— сказал молодой человек.— Это для меня самого.

— Тем приятнее,— сказала она и улыбнулась ему.— Очень мило, что вы меня попросили об этом.

— Я видел все ваши фильмы,— сказал молодой человек.— Я считаю вас самой красивой женщиной в мире.

— Чудесно,— сказала она.— Пожалуйста, продолжайте считать так.

— Не окажете ли вы мне честь выпить со мной?

— Мы тут пьем с моим другом.

— Я вашего друга знаю,— сказал молодой человек.— Мы знакомы уже много лет. Можно к вам подсесть, Том? Тем более у вас две дамы.

— Мистер Родригес, диктор городского радио,— сказал Томас Хадсон.— А как ваша фамилия, Гинни?

— Уотсон.

— Мисс Уотсон.

— Рад познакомиться, мисс Уотсон,— сказал диктор. Он был красивый молодой человек, черноволосый, загорелый, с ласковыми глазами, приятной улыбкой и большими, хватистыми руками бейсболиста. Он и в самом деле играл в бейсбол, и не только в бейсбол, но и в азартные игры, и в его привлекательности было нечто от привлекательности профессионального игрока.

— Может быть, мы позавтракаем все вместе? — сказал он.— Сейчас как раз время ленча.

— Нам с мистером Хадсоном нужно съездить за город,— сказала она.

— Я охотно позавтракала бы с вами,— сказала Гинни.— Вы мне очень понравились.

— А он — приличный человек? — спросила она Томаса Хадсона.

— Даже отличный. Во всей Гаване лучшего не найдешь.

— Большое спасибо, Том,— сказал диктор.— Так вы решительно отказываетесь от завтрака?

— К сожалению, нам нужно ехать,— сказала она.— Мы и так задержались. Встретимся в отеле, Гинни. Спасибо, мистер Родригес.

— Вы, бесспорно, самая красивая женщина в мире,— сказал мистер Родригес.— Я всегда это знал, но сейчас я в этом убедился.

— Пожалуйста, продолжайте так считать,— сказала она, и мгновение спустя они уже были на площади.— Что ж,— сказала она.— Все очень хорошо получилось. Гинни он понравился, и он, кажется, милый.

— Он очень милый,— сказал Томас Хадсон, и шофер отворил перед ними дверцу машины.

— Ты сам милый,— сказала она.— Жаль только, что ты уже так много выпил сегодня. Потому-то я и замяла разговор о шампанском. Кто была твоя смуглая приятельница у стойки бара?

— Просто моя смуглая приятельница у стойки бара.

— Хочешь выпить еще? Можно остановиться где-нибудь по дороге.

— Нет. А ты хочешь?

— Ты же знаешь, я никогда не пью спиртного. Но от бокала вина я бы не отказалась.

— Дома у меня есть вино.

— Вот и чудесно. Теперь можешь меня поцеловать. Здесь нас не арестуют.

— *Adonde vamos?*¹ — спросил шофер, не поворачивая головы.

— *A la finca*², — сказал Томас Хадсон.

— Ах, Томми, Томми, Томми,— сказала она.— Ну что же ты меня не целуешь? Пусть он видит, это ведь ничего, правда?

— Да. Это ничего. Можешь потом ему вырезать язык, если хочешь.

— Не хочу. И вообще не хочу никаких жестокостей, теперь и никогда. Но ты милый, что предложил это.

— Идея была недурная. Расскажи мне о себе. Ты все прежняя люби-меня?

— Я такая же, как была.

— Правда, такая же?

— Конечно, такая же. В этом городе я твоя.

— До отправления самолета.

¹ Куда поедет? (исп.)

² В усадьбу (исп.).

— Точно,— сказала она и поудобней устроилась на сиденье машины.— Посмотри,— сказала она.— Все нарядное, светлое осталось позади, и кругом грязно и неприглядно. Всегда с нами бывало так.

— Не всегда.

— Да, пожалуй,— сказала она.— Не всегда.

Они смотрели на все грязное и неприглядное кругом, и ее зоркий взгляд и грациозный ум мгновенно отмечали то, что он сумел разглядеть лишь за долгие годы.

— Вот теперь уже лучше,— сказала она. За всю жизнь она ни разу не солгала ему, и он тоже старался ей не лгать, но это очень плохо удавалось.

— Ты все еще меня любишь? — спросила она.— Говори как есть, не приукрашивай.

— Да. Ты сама должна знать.

— Я знаю,— сказала она и в доказательство обняла его, если это могло служить доказательством.

— Кто он, твой теперешний?

— Не будем о нем говорить. Тебе бы он не понравился.

— Скорей всего,— сказал он и так крепко прижал ее к себе, что казалось, еще немного — и что-нибудь будет сломано, если один из них не высвободится. Это была старая их игра, и в конце концов высвободилась она и ничего не сломалось.

— Ты всегда выигрываешь,— сказала она.— Тебе хорошо, у тебя грудей нет.

— У меня многого нет, что есть у тебя. Ни таких длинных ног, ни лица, на которое взглянешь — и защемит сердце.

— Зато у тебя есть многое другое.

— Ну как же,— сказал он.— Например, по ночам — общество кота и подушки.

— Сегодня я заменю тебе это общество. Долго еще нам ехать?

— Одиннадцать минут.

— Слишком долго при данных обстоятельствах.

— Хочешь, я возьму руль и доеду за восемь?

— Нет, не надо. Лучше вспомни, как я учила тебя быть терпеливым.

— Это было самое разумное и нелепое, чему меня в жизни учили. Давай вкратце повторим урок.

— А нужно?

— Нет. Все равно уже только восемь минут осталось.

— У тебя дома уютно? Постель широкая?

— Увидишь,— сказал Томас Хадсон.— Что, уже начались обычные сомнения?

— Нет,— сказала она.— Но я хочу широкую-широкую постель. Чтобы можно было совсем забыть про армию.

— Есть широкая постель,— сказал он.— Настолько, что и для армии места хватит.

— Не хамя,— сказала она.— Знал бы ты этих Сынов воздуха. Даже самые лучшие под конец демонстрируют фотографии своих жен.

— Слава богу, что я их не знаю. Мы хоть, может, и задубели от морской воды, но по крайней мере не именуем себя Сынами моря.

— Расскажи мне про это,— попросила она, угнездив руку у него в кармане.

— Нет.

— Я так и знала, и я потому тебя и люблю. Но мне любопытно, и люди спрашивают меня, и я тревожусь.

— Любопытно — это куда ни шло,— сказал он.— А тревожиться незачем. Хотя, по пословице, любопытство кошку сгубило. У меня есть кошка, и она очень любопытна.— Он вспомнил Бойза и продолжал: — А тревоги гудят дельцов, даже в полном расцвете сил. Мне за тебя не нужно тревожиться?

— Только как за актрису. И то не очень. Еще всего две минуты. Здесь красиво, мне нравится. А можно, мы позавтракаем в постели?

— А вдруг потом нас сморит сон?

— Ну и пусть, это не страшно. Лишь бы только я не упустила самолет.

Машина теперь круто взбиралась вверх по старой булыжной дороге, обсаженной большими деревьями.

— А ты ничего не боишься упустить?

— Только тебя,— сказал он.

— Нет, а в смысле обязанности.

— Разве я похож на человека, у которого есть обязанности?

— Кто тебя знает. Ты превосходный актер. Хуже никогда не видала. Милый ты мой, сумасшедший, я тебя так люблю,— сказала она.— Я пересмотрела тебя во всех твоих главных ролях. Больше всего ты мне нравился в роли Верного Мужа, она у тебя очень искренне получалась. Помнишь, например, у «Ритца» в Париже?

— Да, там роль Верного Мужа особенно удавалась мне,— сказал он.— Как Гаррику в Олд-Бейли.

— Ты что-то путаешь,— сказала она.— По-моему лучше всего ты играл эту роль на «Нормандии».

— Когда ее сожгли, я неделю ни о чем думать не мог.

— Тебе случалось и побивать этот рекорд.

— Да,— сказал он.

Машина остановилась, и шофер вышел отпереть ворота.

— Так вот где мы живем.

— Да. На самом верху. Извини, дорога в ужасном состоянии.

Машина еще немного поднялась в гору, поросшую деревьями манго и отцветающими уже фламбоянами, обогнула загон для скота и выехала на круглую подъездную аллею. Он отворил дверцу, и она ступила на землю, будто великодушно и щедро одаривая ее своим прикосновением.

Она взглянула на дом, увидела раскрытые окна спальни. Окна были большие и почему-то напомнили ей «Нормандию».

— Пропущу самолет,— сказала она.— Могу я заболеть в конце концов? Болеют же другие женщины.

— У меня есть два знакомых врача, которые под присягой подтвердят, что ты больна.

— Чудесно,— сказала она, уже поднимаясь по лестнице.— Но нам не придется для этого приглашать их к обеду?

— Нет,— сказал он и распахнул перед ней двери.— Я с ними сговорюсь по телефону и пошлю шофера за свидетельством.

— Решено,— сказала она.— Я больна. И пусть на этот раз войска развлекаются сами.

— Ты все равно улетишь.

— Нет. Я буду развлекать тебя. Наверно, тебя давно уже никто как следует не развлекал.

— Да.

— И меня — да. Как правильно в этом случае — «да» или «нет»?

— Не знаю.— Он крепко сжал ее и заглянул ей в глаза, потом отвел взгляд в сторону. Они стояли у входа в большую спальню, и он толчком отворил дверь.— Пожалуй, «нет»,— сказал он задумчиво.

Окна были распахнуты настежь, по комнате гулял ветер, но сейчас, при солнце, это даже было приятно.

— Совсем как на «Нормандии». Ты это нарочно для меня сделал, чтоб было похоже на «Нормандию»?

— Конечно, дорогая,— солгал он.— А ты как думала?

— Ох и лгун же ты, хуже меня.

— Где уж мне до тебя.

— Лгать не нужно. Просто притворимся, что ты это сделал для меня.

— Для тебя,— сказал он.— Только ты выглядела немногим иначе.

— А покрепче обнять человека ты не можешь?

— Не поломав ему костей — нет,— сказал он. И добавил: — Во всяком случае, стоя.

— А кто сказал, что мы непременно должны стоять?

— Не я,— сказал он и, подхватив ее на руки, понес к постели.— Дай только закрою жалюзи. Я ничего не имею против того, чтобы ты развлекала армию. Но для развлечения слуг в кухне имеется радио. Мы им не нужны.

— Иди скорее,— сказала она.

— Иду.

— Вспомни все, чему я тебя учила когда-то.

— Я и так помню.

— Не всегда.

— Ну вот,— сказал он.— Когда мы с ним познакомились?

— Мы просто встретились. Ты разве не помнишь?

— Слушай, давай лучше не будем ничего вспоминать и не будем разговаривать, не будем, не будем, не будем.

Немного спустя она сказала:

— Даже на «Нормандии» людям иногда хотелось есть.

— Сейчас вызову стюарда.

— Но ведь этот стюард не знает нас.

— Так узнает.

— Нет. Лучше выйдем отсюда, я хочу посмотреть дом. Что ты написал за последнее время?

— Что, что. Ничего.

— У тебя разве нет свободного времени?

— Как это свободного?

— Ну, когда ты на берегу.

— Что это значит «на берегу»?

— Том,— сказала она. Они дошли до большой комнаты и усьелись в глубокие старые кресла, и она сняла туфли, чтобы ощутить под ногами циновку, устилавшую пол. А потом свернулась в кресле клубочком, распусшив свои волосы ему в угоду и потому что она знала, как это на него действует, и теперь при каждом движении ее головы они колыхались тяжелой шелковистой массой.

— А, чтоб тебя,— сказал он.— Милая,— добавил он.

— Я уже привыкла к твоим проклятиям,— сказала она.

— Не будем об этом говорить.

— Зачем ты на ней женился, Том?

— Потому что ты была влюблена.

— Причина не слишком основательная.

— Никто этого и не утверждал. Я-то во всяком случае. Но может быть, мы не будем обсуждать мои старые ошибки, в которых я уже раскаялся?

— Если захочу — будем.

Вошел большой черный с белым кот и начал тереться об ее ноги.

— Он спутал тебя со мной,— сказал Томас Хадсон.— Впрочем, он, вероятно, знает, что делает.

— Так это...

— Именно. Он самый. Бой,— позвал он.

Кот подошел и вспрыгнул к нему на колени. Ему было все равно, чьи это колени.

— Мы можем оба любить ее, Бойз. Ты посмотри на нее хорошенько. Другой такой женщины тебе вовек не увидеть.

— Это тот кот, с которым ты спишь в постели?

— Да. А что, есть возражения?

— Никаких. Он куда симпатичней человека, с которым сплю я, хотя у него такие же грустные глаза.

— Нам непременно нужно о нем разговаривать?

— Нет. Так же как тебе не нужно пытаться меня уверить, что ты не выходишь в море, хотя веки у тебя воспалены, и в уголках глаз белые сгустки, и волосы выгорели от солнца, и...

— И шагаю я по-матросски, враскачку, и на левом плече у меня сидит попугай, и я больно дерусь своей деревянной ногой. Дорогой мой глупыш, я действительно выхожу иногда в море, потому что я маринист и делаю зарисовки для Музея естественной истории. Даже война не должна мешать научным исследованиям.

— О, священная наука,— сказала она.— Что ж, постараюсь запомнить этот вымысел и придерживаться его. Том, ты правда насколько ее не любишь?

— Нисколько.

— И все еще любишь меня?

— Ты могла бы судить по некоторым признакам.

— А вдруг это тоже роль? Любовник, неизменно хранящий верность предмету своей любви, с какими бы шлю-

хами его этот предмет ни заставлял. Ты и по-своему Синаре не был верен.

— Я всегда говорил, что образованность тебя погубит. Меня уже в девятнадцать лет не интересовали эти стихи.

— А я всегда говорила, что если бы ты побольше писал и серьезно работал над своими картинами вместо того, чтобы придумывать небылицы и влюбляться во всяких...

— Жениться на всяких, хотела ты сказать.

— Нет. Жениться — это, конечно, плохо. Но ты влюбляешься, а после этого я не могу тебя уважать.

— Какие знакомые милые слова: «После этого я не могу тебя уважать». Продай мне их, я дам любую цену, чтобы только изъять их из обращения.

— Теперь я тебя уважаю, Том. Ты ведь ее не любишь, правда?

— Я люблю тебя и уважаю тебя, а ее я не люблю.

— Ну вот и чудесно. Как хорошо, что я заболела и не могу лететь.

— А ведь я в самом деле тебя уважаю. Отношусь с уважением к любой глупости, которую ты делаешь или сделала когда-то.

— И ты чудесно ведешь себя со мной и всегда исполняешь данные мне обещания.

— Какое, кстати, было последнее?

— Не знаю. Но если было какое-нибудь, ты паверняка его не сдержал.

— Может быть, обойдем это, радость моя?

— Хорошо, если б это можно было обойти.

— А давай попробуем. Мы ведь многое умели обходить.

— Нет. Не умели. Тому есть реальные доказательства. Тебе всегда кажется, что физическая близость — это в любви все. Ты не думаешь, что любимой женщине хотелось бы гордиться тобой. Не стараешься проявлять иногда нежность в мелочах.

— Не разыгрываю младенца, которого нужно нянчить и опекать, — тебе ведь именно такие мужчины нравятся.

— Если б только ты больше нуждался во мне и я чувствовала, что я тебе в самом деле нужна, а не только дай-и-возьми и убери-я-не-голоден.

— Слушай, зачем мы приехали сюда? Морализировать?

— Мы приехали потому, что я люблю тебя и хочу, чтобы ты был достоин самого себя.

— А также тебя, и господа бога, и прочих абстракций. Но я даже в живописи не абстракционист. Ты, наверно, требовала бы от Тулуз-Лотрека, чтобы он не шатался по публичным домам, а от Гогена, чтобы он не болел сифилисом, а от Бодлера, чтобы он пораньше возвращался домой. Я себя не равняю с ними, но все-таки — ну тебя к черту.

— Никогда я такой не была.

— Была. А к тому же еще твоя работа. Эти чертовы съемки с утра и до вечера.

— Я отказалась бы от съемок.

— Ну, конечно. Я в этом не сомневаюсь. И выступала бы в почных клубах, а меня определила бы в вышибалы. Помнишь, мы строили такие планы?

— Какие новости у Тома?

— Все в порядке, — сказал он, и колющий озноб прошел у него по телу.

— Он мне вот уже три недели не пишет. Можно бы, кажется, выбрать время для матери за такой срок. Он всегда писал очень аккуратно.

— Знаешь, как оно бывает с ребятами на войне. А может быть, сейчас задерживают всю переписку. Это иногда делается.

— Помнишь, когда он был маленький и совсем не говорил по-английски?

— А ты помнишь, какой оравой он верховодил в Гстааде? И в Энгадине и в Цуге.

— У тебя есть какие-нибудь его новые фотографии?

— Только та, которая и у тебя есть.

— Я бы выпила чего-нибудь, что в этом доме можно выпить.

— Все, что угодно. Пойду поищу кого-нибудь из слуг. Вино в погребе.

— Только не уходи надолго.

— Не подходящие слова для нас с тобой.

— Не уходи надолго, — повторила она. — Слышишь? И никогда я не требовала, чтобы ты пораньше возвращался домой. Не в этом была беда. Ты сам знаешь.

— Знаю, — сказал он. — И я не уйду надолго.

— Может быть, твой слуга приготовит нам и поест?

— Может быть, — сказал Томас Хадсон. И прибавил, обращаясь к коту: — Ты пока побудь с нею, Бойз.

Зачем? — думал он. Зачем я солгал? Зачем затеял эту комедию осторожничанья? Не потому ли, что, как говорит

Вилли, я хочу сохранить свое горе для себя одного? Но разве я правда такой?

А что было делать? — думал он. Как сказать матери о гибели сына сразу же после возврата к любовной близости с пей? Как самому себе сказать об этом? Когда-то у тебя па все находился ответ. Вот найди ответ и сейчас.

Нет ответа. Пора бы уж тебе это знать. Нет и не может быть.

— Том, — услышал он ее голос. — Мне тоскливо одной, а кот, как он ни старайся, не может заменить мне тебя.

— Сбрось его на пол. Я сейчас, только наколю лед. Слуга ушел в деревню.

— Да бог с ним. Мне уже не хочется пить.

— Мне тоже, — сказал он и вернулся в комнату, мягко ступая по циновке после гулкого изразцового пола. Он взглянул на нее и убедился, что она здесь, не исчезла.

— Ты не хочешь о нем говорить, — сказала она.

— Не хочу.

— А почему? Разве так не лучше?

— Он слишком похож на тебя.

— Не в том дело. Скажи мне. Он погиб?

— Да, погиб.

— Обними меня, Том, только крепче. Я, кажется, правда заболела.

Он почувствовал, что ее бьет дрожь, и он опустился на колени у кресла, и обнял ее, и чувствовал, как она дрожит всем телом. Потом она сказала:

— Бедный ты мой. Бедный, бедный. — Помолчав, она сказала еще: — Прости меня за все, что я когда-нибудь делала или говорила.

— Ты меня прости.

— Бедный ты, и бедная я.

— Бедные все, — сказал он, но не добавил: «Бедный Том».

— Больше тебе нечего мне рассказать?

— Нет. Только это.

— Вероятно, мы потом научимся справляться.

— Очень может быть.

— Я бы хотела заплакать, но у меня внутри только пустота, от которой мутит.

— Понимаю.

— У всех это случается?

— Почти. Но у нас это уже больше случиться не может.

— Мне теперь кажется, будто мы в доме у мертвого.
— Я жалею, что не сказал тебе, как только мы встретились.

— Да нет, все равно,— сказала она.— Ты всегда был такой, все откладывал. Я не жалею.

— Я так нестерпимо хотел тебя, что поступил как эгоист и дурак.

— Это не эгоизм. Мы всегда любили друг друга. Только слишком часто совершали ошибки.

— Особенно я.

— Нет. Мы оба. Давай больше никогда не будем ссориться, хорошо?

Что-то вдруг произошло в ней, она наконец разрыдалась и сказала:

— О Томми, я не могу, не могу это вынести.

— Я понимаю,— сказал он.— Родная моя, дорогая, прекрасная. Я тоже не могу.

— Мы были такие молодые, и глупые, и такие красивые оба, а Томми — господи, до чего же он был хорош...

— Весь в мать.

— Теперь этого уже и не докажешь ничем.

— Моя бедная любимая девочка.

— Что же мы будем делать дальше?

— Ты будешь заниматься своим делом, а я — своим.

— Нельзя ли нам хоть немного побыть вместе?

— Только если не уляжется ветер.

— Так пусть дует подольше. Иди ко мне — или, может быть, это нехорошо сейчас?

— Том бы не осудил нас за это.

— Я тоже так думаю. Помнишь, как ты ходил на лыжах, посадив его к себе на плечи, и мы спускались с гор уже в сумерках и пели, проходя через сад за гостиницей?

— Я все помню.

— Я тоже,— сказала она.— Почему мы были такие глупые?

— Мы были не только влюбленными, но и соперниками.

— Увы, да. Но ведь ты никого другого не любишь, правда? Ведь теперь это все, что у нас осталось.

— Нет. Можешь мне верить.

— И я нет. А мы не могли бы вернуться друг к другу, как тебе кажется?

— Не знаю, что бы из этого вышло. Можно попробовать.

- Долго еще продлится война?
— Спроси у того, кто над нею хозяин.
— Несколько лет?
— Год-два во всяком случае.
— А тебя тоже могут убить?
— Вполне.
— Тогда что толку?
— Ну а если меня не убьют?
— Не знаю. Может быть, теперь, когда Тома нет, мы не станем злостововать и давать волю самому дурному в себе.
— Я могу постараться. Злобы у меня нет, а с дурным в себе я научился справляться. Правда.
— Вот как? Это проститутки тебя умудрили?
— Должно быть. Но если мы будем вместе, они мне не понадобятся.
— Ты всегда умел для всего найти красивые слова.
— Ну вот. Уже начинается.
— Нет. Ведь мы в доме у мертвого.
— Ты это уже говорила.
— Извини, пожалуйста,— сказала она.— Но я не знаю, как по-другому сказать то же самое. У меня сейчас как-то немеет внутри.
— Чем дальше, тем больше будет неметь,— сказал он.— И вначале это не дает облегчения. Но потом будет легче.
— Скажи мне все самое худшее, что тебе известно, может быть, тогда быстрее онемеет совсем.
— Хорошо,— сказал он.— Как же я люблю тебя, господи.
— И всегда любил,— сказала она.— Ну, говори же.
Он сидел у ее ног и не смотрел на нее. Он смотрел на кота Бойза, который лениво развалился на циновке в солнечном прямоугольнике, падавшем от большого окна.
— Он был сбит зенитным орудием во время разведывательного полета в районе Абвиля.
— Он не выпрыгнул с парашютом?
— Нет. Машина сгорела. Вероятно, его убило сразу.
— Слава богу,— сказала она.— Слава богу, если так.
— Я почти уверен в этом. Он бы успел выпрыгнуть.
— Ты мне правду говоришь? Может быть, парашют сгорел после того, как он выпрыгнул?
— Нет,— солгал он, решив, что на сегодня довольно.
— От кого ты узнал?

Он назвал знакомое имя.

— Тогда это верно, — сказала она. — У меня больше нет сына и у тебя тоже. Надо привыкать к этому. Больше ты ничего не знаешь?

— Нет, — сказал он, стараясь, чтобы это прозвучало как можно правдивей.

— А мы будем жить дальше?

— Именно.

— Чем же?

— Ничем, — сказал он.

— Можно я останусь и буду с тобой?

— Едва ли в этом есть смысл, — сказал он. — Как только немного утихнет, я должен буду уйти в рейс. Ты не из болтливых, и ты умеешь похоронить то, что слышишь от меня. Так вот, похорони это.

— Но я бы могла быть с тобой, пока ты здесь, а потом дожидаться твоего возвращения.

— Не стоит, — сказал он. — Я никогда не знаю, когда мы вернемся, и потом, тебе будет тяжелее без работы. Если хочешь, побудь, пока мы не уйдем в рейс.

— Хорошо, — сказала она. — Я побуду с тобой это время, и никто нам не помешает думать о Томе. И любить друг друга, как только ты скажешь, что можно.

— Эта комната никак не связана с Томом.

— Да. А с кем она связана, тех я самый дух изгоню отсюда.

— Может быть, нам правда поесть чего-нибудь и выпить по стакану вина?

— Бутылку вина, — сказала она. — Он был такой красивый мальчик, Том. И такой забавный, и такой добрый.

— Послушай, из чего ты сделана?

— Из того, что ты любишь, — сказала она. — С примесью стали.

— Не пойму, куда девались все слуги, — сказал Томас Хадсон. — Они, правда, не ждали, что я вернусь сегодня домой. Но кто-то, во всяком случае, должен дежурить у телефона. Сейчас принесу вино. Оно уже, наверно, холодное.

Он откупорил бутылку и налил два стакана. Это было то вино, которое он приберегал для своих возвращений и пил его, уже успев поостыть после рейса, и на поверхности дружелюбно вскипали мелкие аккуратные пузырьки.

— За нас и за все, чего у нас уже нет, и за все, что у нас будет.

— Было,— сказал он.

— Было,— сказала она. Потом она сказала: — Единственное, чему ты всегда оставался верен,— это хорошему вину.

— Большое достоинство, не правда ли?

— Извини, мне не нужно было упрекать тебя утром, что ты много выпил.

— Ты знаешь, это мне очень помогает. Смешно, а это так.

— Что именно — то, что ты пил, или упреки?

— То, что я пил. Охлажденное, в высоких стаканах.

— Возможно. И я впредь воздержусь от замечаний — разве насчет того, что в этом доме очень трудно дожидаться какой-нибудь еды.

— Умей терпеть. Сколько раз ты меня этому учила.

— Я терплю,— сказала она.— Только я голодна. Я теперь понимаю, почему люди едят на поминках.

— Ничего, будь циничной, если тебе от этого легче.

— И буду, не беспокойся. Не прикажешь ли извиняться за каждое сказанное слово? Я уже раз извинилась, хватит.

— Слушай, ты,— сказал он.— Я живу с этим на три недели дольше тебя и, должно быть, уже нахожусь в другой стадии.

— Ну конечно, ты всегда в другой стадии, более значительной и интересной. Я тебя знаю. Не пора ли тебе возвращаться к своим шлюхам?

— Может быть, ты все-таки перестанешь?

— Нет. Мне так лучше.

— Кто это написал «Помилуй всех женщин, Мария»?

— Мужчина, конечно,— сказала она.— Какая-то сволочь в брюках.

— Хочешь, я прочитаю тебе эту вещь целиком?

— Нет. И вообще ты мне уже надоел со своим «на три недели дольше» и со всем прочим. Если я пестроевая, а ты занят чем-то настолько секретным, что даже спишь только с кошкой, чтобы не проговориться во сне, это...

— Тебе все еще не ясно, почему мы расстались?

— Расстались потому, что ты мне надоел. Ты всегда любил меня, и не мог не любить, и теперь не можешь.

— Это верно.

Рядом, в столовой, стоял мальчик-слуга и все слышал. Он и прежде не раз становился невольным свидетелем ссор и всегда огорчался этим так, что его даже в пот ки-

дало. Он любил своего хозяина, любил его кошек и собак и с почтительным восхищением относился к красивым женщинам, бывавшим в доме, и, когда они ссорились, ему было невыразимо грустно. А эта женщина красивее всех других, и все равно кабальеро ссорится с ней, и она говорит кабальеро недобрые слова.

— Сеньор,— сказал он, подходя к двери.— Простите великодушно. Но не выйдете ли вы в кухню, мне нужно кое-что передать вам.

— Извини, дорогая.

— Все какие-то тайны,— сказала она и налила себе еще вина.

— Сеньор,— сказал мальчик, когда они вышли.— Звонил лейтенант и просил вас немедленно явиться, даже повторил два раза: немедленно. Он сказал, что вы знаете куда и что это по делу. Я не хотел разговаривать по напему телефону и позвонил из деревни во «Флоридиту». Там мне сказали, что вы поехали сюда.

— Хорошо,— сказал Томас Хадсон.— Большое тебе спасибо. Пожалуйста, изжарь нам с сеньорой яичницу и скажи шоферу, чтобы готовил машину.

— Слушаю, сэр.

— Что случилось, Том? Что-нибудь нехорошее?

— Меня вызывают на работу.

— Ты ведь говорил, что в такой ветер нельзя.

— Говорил. Но это не от меня зависит.

— Мне остаться здесь?

— Оставайся, если хочешь. Можешь почитать письма Тома, а к шести мой шофер отвезет тебя на аэродром.

— Хорошо.

— Можешь взять письма себе, если хочешь, и фотографии тоже, и все, что попадетсЯ. Просмотри все ящики моего стола.

— А ты все-таки изменился.

— Может, кой в чем и изменился,— сказал он.— Пойди в мастерскую, взгляни на работы,— сказал он.— Там есть неплохие вещи, написанные раньше, до всего. Возьми, что понравится. Есть твой портрет, неплохой.

— Я возьму его,— сказала она.— Какой ты хороший, когда ты хороший.

— Почитай и ее письма, если захочешь. Среди них есть уникальные, прямо хоть в музей. Их тоже можешь взять, если это тебя позабавит.

— Ты, видно, думаешь, что я разъезжаю с сундуком.

— Ну, прочтешь, а потом спустишь в унитаз в са-молете.

— Вот разве что.

— Я еще постараюсь вернуться к твоему отъезду. Но не знаю, удастся ли, так что не жди. Если шофер должен будет задержаться со мной, я пришлю такси, и оно отве-тет тебя в отель или на аэродром.

— Хорошо.

— Если тебе что понадобится, скажи мальчику. Он тебе и выгладить может что пужно, а ты пока падень что-нибудь из моих вещей.

— Хорошо. Ты только люби меня, Том, и пусть такое, как только что было, этому не мешает.

— Не бойся. Это все пустяки, а не любить тебя я не могу, ты же сама сказала.

— Вот пусть так оно и будет.

— Это не от меня зависит. Возьми любые книги, все, что тебе приглянется в доме, а мою яичницу, всю или половину, отдай Бойзу. Ему только нужно нарезать по-мельче, он так любит. Ну, мне пора. И так уже вышла задержка.

— До свидания, Том.

— До свидания, чертовка. Смотри береги себя. А мно, верно, не предстоит ничего серьезного.

Он толкнул дверь и вышел. Кот прошмыгнул в кори-дор вместе с ним и смотрел на него, задрав мордочку вверх.

— Ничего, Бойз, все в порядке, — сказал он коту. — Я еще покажусь тут до выхода в море.

— Куда ехать? — спросил шофер.

— В город.

Не могу представить себе, чтобы нам нашлось дело в такую погоду. А может, и обнаружено что-нибудь. Может, кто-нибудь терпит бедствие в море. Черт, только бы не впустую опять. Не забыть бы составить коротенькое заве-щание, чтобы дом в случае чего достался ей. И не забыть заверить его в посольстве и положить в сейф. Она моло-дец, сумела принять это и не сломиться. Но до нее еще не дошло по-настоящему. Жаль, когда дойдет, меня с ней не будет. Жаль, я ничем не могу помочь ей. А может, еще смогу, если на этот раз все сойдет благополучно, и на сле-дующий тоже, и на через следующий.

Ладно, пока пусть сойдет на этот раз. Интересно, возь-мет ли она письма и прочее. Надеюсь, возьмет, и надеюсь,

она не забудет дать Бойзу яичницу. Когда холодно, у него всегда разыгрывается голод.

Разыскать людей будет нетрудно, вот только как катер, выдержит ли еще рейс до ремонта. Ну один-то выдержит. Один-то наверняка выдержит. Рискнем, во всяком случае. Запасных частей у нас хватит. Удалось бы только поближе подойти, это главное. А хорошо было бы, если бы не понадобилось выходить сегодня. Наверно, хорошо было бы. Да, черта с два.

Давай разберемся. Сына ты потерял. Любовь потерял. От славы уже давным-давно отказался. Остается долг, и его нужно исполнять.

А в чем он, твой долг? В том, что ты на себя взял. А все прочее, что ты на себя брал в жизни?

Она в это время лежала на постели в большой спальне, комнате, чем-то напоминавшей «Нормандию», и кот Бойз лежал около нее. Яичницу она так и не могла съесть, а вино показалось ей безвкусным. Всю яичницу она отдала Бойзу, нарезав на маленькие кусочки, а сама выдвинула верхний ящик стола, и увидела почерк сына на голубых конвертах со штампом цензуры, и вернулась назад, и ничком бросилась на кровать.

— И тот и другой,— сказала она коту, разнеженному яичницей и теплом, исходившим от женщины, которая была рядом.— И тот и другой,— сказала она.— Скажи, Бойз, что же нам теперь делать?

Кот тихонько урчал.

— Ты тоже не знаешь, Бойз,— сказала она.— И никто не знает.

I

Они подходили к острову, где за длинной песчаной береговой полосой росли кокосовые пальмы. Бухту перекораживал риф, и сильный восточный ветер разбивал о него волны, то и дело открывая проход туда. На берегу не было ни души, а песок был такой белый, что резал глаза своей белизной.

Человек, стоявший на мостике, разглядывал берег. Вон там, казалось бы, должны быть хижины, но никаких хижин не было. Ни хижин, ни лодок в лагуне.

— Ты ведь бывал здесь раньше, — сказал он своему помощнику.

— Да.

— Разве не там должны стоять хижины?

— Там они и были. Деревня и на карте значится.

— А сейчас ее нет как нет, — сказал старший. — Лодок в зарослях тоже не видно?

— Ничего не вижу.

— Придется войти в бухту и стать на якорь, — сказал капитан. — Проход этот я знаю. Здесь раз в восемь глубже, чем кажется.

Он посмотрел вниз, в зеленоватую воду, и увидел на дне большую тень своего судна.

— Хороший грунт есть восточнее того места, где была деревня, — сказал его помощник.

— Знаю. Трави якорь с правого борта. Там я и стану. При таком ветре — он день и ночь дует — насекомых не будет.

— Да, сэр.

Они стали на якорь, и катер, не столь уж большой, чтобы кто-нибудь, кроме владельца, мог хотя бы мысленно называть его судном, лег по ветру за рифом, о который разбивались зеленоватые волны с белыми гребешками пены.

Человек, стоявший на мостике, проследил, чтобы его судно свободно и крепко держалось на якоре. Потом он посмотрел на берег и выключил моторы. Он смотрел и смотрел на берег и не мог понять, в чем дело.

— Возьми с собой троих и поглядите, что там случилось, — сказал он. — Я немного посплю. И помните, что вы ученые.

Когда они считались учеными, оружия у них не было видно — в руках мачете, на головах широкополые соломенные шляпы, какие носят багамские ловцы губок. Команда называла их *sombregos científicos*¹. Чем больше была шляпа, тем она считалась научнее.

— Кто-то спер мою научную шляпу, — сказал широкоплечий баск с густыми, сросшимися на переносице бровями. — Дайте-ка мне связку гранат во имя науки.

— Возьми мою шляпу, — сказал ему другой баск. — Она в два раза научнее твоей.

— Ого, какая она у тебя научная! — сказал широкоплечий. — Я в этой шляпе что твой Эйнштейн. Томас, можно нам брать образцы породы?

— Нет, — сказал капитан. — Антонио знает, что ему делать. А вы глядите там в оба, не хлопайте своими научными буркалами.

— Я пойду искать воду.

— Это позади того места, где была деревня, — сказал капитан. — Проверьте, какая она. Ее надо взять побольше.

— H_2O , — сказал баск. — Вот она, ученость-то. Эй ты, дерьмовый ученый, ты, шляпокрад, дай сюда четыре пятигаллонных бутылки, чтобы нам не зря мотаться.

Второй баск поставил в шлюпку четыре оплетенные бутылки.

Капитан слышал, как они переговариваются между собой.

— Не тычь меня в спину своим дерьмовым научным веслом.

— Это я для пользы науки.

— К такой-то матери науку с ее братцем.

— С ее сестрицей.

— А звать сестрицу *Penicilina*.

Капитан смотрел, как они гребут к слепаще белому берегу. Мне самому надо было поехать, подумал он. Но я всю ночь провел на ногах и у штурвала стою уже двенад-

¹ Научные шляпы (исп.).

цать часов. Антонио не хуже меня во всем разберется. Но все-таки, что же там случилось?

Он посмотрел на риф, потом перевел взгляд на берег, потом на чистую воду, которая струилась вдоль борта и закручивалась воронками с подветренной стороны судна. Потом закрыл глаза, повернулся на бок и заснул.

Проснулся он, когда шлюпка подошла к борту, и по лицам людей понял, что дело плохо. Его помощник обливался потом, как с ним всегда бывало, когда случалась какая-нибудь беда или приходили дурные вести. Человек он был сухощавый, и пот его прошибал не часто.

— Кто-то сжег хижины, — сказал он. — Кто-то разделся с людьми, в золе лежат трупы. Отсюда ничего не учуешь, потому что ветер в ту сторону.

— Сколько трупов?

— Мы насчитали девять. А их, может, и больше.

— Мужчины или женщины?

— И те и другие.

— Следы какие-нибудь остались?

— Ничего не осталось. С тех пор прошел дождь. Ливень. Песок и сейчас рябой.

Широкоплечий баск, которого звали Ара, сказал:

— Они уже с неделю валяются мертвые. Птицы до них еще не добрались, а крабы там уже трудятся.

— Откуда ты знаешь, что они неделю лежат мертвые?

— Точнее трудно сказать, — ответил Ара. — Но неделя, пожалуй, прошла. Судя по следам крабов, дождь шел дня три назад.

— А как вода?

— На вид ничего.

— И вы привезли ее?

— Да.

— Зачем бы им отравлять воду? — сказал Ара. — Запах у нее был хороший, я попробовал и налил в бутылки.

— Не следовало тебе пробовать.

— Запах хороший. Чего это мне опасаться, что она отравлена?

— Кто их убил?

— Откуда нам знать?

— Вы никого не выследили?

— Нет. Мы вернулись сказать тебе. Ты здесь командир.

— Ладно, — сказал Томас Хадсон. Он сошел вниз и пристегнул револьвер к поясу. С другой стороны висели пожны с пожом, а револьвер всей своей тяжестью лежал

у него на бедре. В камбузе он остановился, взял ложку и сунул ее в карман.— Ара и Генри, пойдите со мной на берег. Вилли, ты отвезешь нас и, пока будешь ждать, пощи креветок. Питерс пусть спит.— Помощнику он сказал: — Проверь, пожалуйста, моторы и все баки с горючим.

Вода над белым песчаным дном была прозрачная, чудесная, и сквозь нее он видел каждую бороздку, каждую морщинку на песке. Когда шлюпка села днищем на песчаный нанос, они пошли к берегу вброд, и Томас Хадсон почувствовал, как маленькие рыбешки резвятся у его ног, посмотрел вниз и увидел, что это крохотные помпано. А может, и не помпано, подумал он. Но на вид они точно такие же и ведут себя дружелюбно.

— Генри,— сказал он, когда они вышли на берег.— Ты обойди остров с наветренной стороны до магноровой рощи. Посмотри, нет ли там чьих следов или еще чего-нибудь. Потом вернешься сюда, ко мне. Ара, ты пойдешь в ту сторону, задание у тебя то же самое.

Ему не надо было спрашивать, где лежат трупы. Он увидел следы, которые вели к ним, и услышал, как громяхают крабы в сухом кустарнике. Он посмотрел вдаль на свое судно, на линию прибора, на Вилли, который сидел в покачивавшейся на волне шлюпке и, перегнувшись через борт, высматривал в оптическую трубу креветок.

Надо так надо, подумал он, и тогда чем скорее, тем лучше. Но день этот был явно рассчитан на что-то другое. Странно, что здесь, где это совсем не нужно, прошли обильные дожди, а на нас хоть бы капля упала. Сколько уже времени мы видим, как дожди идут то справа, то слева, а нам ничего не достается.

Дул сильный ветер, дул непрерывно, и днем и ночью, вот уже больше пятидесяти суток. Он стал неотделимой частью Томаса Хадсона и не действовал ему на нервы. Ветер подбадривал его, придавал ему силы, и он надеялся, что ветер не утихнет.

Всегда мы ждем чего-то, а оно не идет и не идет, подумал он. Но в ветреные дни ждать проще, чем в штиль или когда начинаются капризные, злобные штормы. Вода где-нибудь да найдется. Ладно, пусть будет сушь. А воду мы всегда найдем. На всех здешних островках есть вода, надо только суметь отыскать ее.

Хватит, сказал он себе. Давай кончай с этим.

Ветер помог ему покончить с этим. Сидя на корточках под спаленными солнцем кустами дикого винограда, он

пересыпал пригоршнями песок, и ветер относил от него запах того, что лежало перед ним. В песке, к своему недоумению, он ничего не обнаружил, но, прежде чем идти дальше, осмотрел с наветренной стороны все пространство около сожженных хижин. Он надеялся найти то, что искал, без лишних усилий. Но тут ничего не было.

Потом, сев на корточки спиной к ветру, то и дело поворачиваясь, и хватая ртом воздух, и задерживая дыхание, он стал ковырять ножом угольно-черную жижу, которую пожирали крабы. Нож наткнулся на что-то твердое у кости, и он выскреб это ложкой. Потом с ложки скатил на песок, снова стал скрести и ковырять и нашел в остатках еще три. Потом повернулся лицом к ветру и вычистил о песок нож и ложку. Эти четыре пули он прихватил вместе с пригоршней песка и, держа в левой руке нож и ложку, пошел сквозь кусты назад.

Огромный, непристойно белый краб стал на его пути и, попятившись, поднял вверх свои клешни.

— Ты, мальчуган, туда? — сказал ему Томас Хадсон. — А я оттуда.

Краб удерживал свои позиции, высоко задрав остро распыленные клешни.

— Ишь какой ты вымахал, — сказал Томас Хадсон. Он не спеша вдвинул нож в ножны, ложку опустил в карман. Потом пересыпал песок с четырьмя пулями в левую руку. Правую старательно вытер о штанину. Потом взялся за свой потемневший от пота, хорошо смазанный «магнум-357». — Еще не поздно, есть шанс спастись, — сказал он крабу. — Никто тебя не осуждает. Ты услаждаешь себя как можешь и выполняешь свой долг.

Краб не шелохнулся, все так же высоко держа клешни. Он был очень большой, с добрый фут в ширину, и Томас Хадсон выстрелил ему между глаз, и от краба ничего не осталось.

— Эти «магнумы» теперь трудно получить, потому что ими вооружили увиливающих от призыва агентов ФБР, которые охотятся за такими же увиливающими от призыва молодчиками, — сказал Томас Хадсон. — Но надо же человеку пальнуть кое-когда, иначе и стрелять разучишься.

Бедняга краб, подумал он. Ведь он же занимался своим делом. Только вот остановился он зря — полз бы себе и полз.

Он вышел на берег и увидел свое судно, и ровную линию прибоя, и Вилли, который бросил якорь и теперь нырял за креветками. Томас Хадсон как следует почистил нож, отскреб и вымыл ложку, а потом вымыл все четыре пули. Он держал эти пули на ладони и разглядывал их, как старатель, который промывает песок, отыскивая в лотке золотые крупинки, и вдруг видит там четыре самородка. Головки у всех четырех пуль были черные. Теперь, когда мяса на них не осталось, был ясно виден короткий виток нарезки. Это были девятимиллиметровые пули образца, принятого для шмейссеровского автомата.

Он радовался, глядя на них.

Ведь подобрали за собой все гильзы, подумал он. А вот это оставили, будто визитные карточки. Теперь мне надо все как следует обдумать. Мы знаем две вещи. Здесь они в живых никого не оставили и лодки отсюда увели. Вот с этого и начинай, друг мой. У тебя, говорят, хорошо работает голова. Подумай как следует.

Но думать он не стал. Вместо этого он лег на спину, поднял револьвер и положил его между ног, а сам стал смотреть на скульптуру, которую ветер и песок сработали из топляка. Топляк был серый, испещренный песком и стоял, зарывшись нижним концом в мелкий белый песок. Точно на художественной выставке. Отличный экспонат для Salon d'Automne¹.

Он слышал рев волн, разбивавшихся о риф, и думал: хорошо бы написать это. Он лежал и смотрел в небо, где ничего не было, кроме восточного ветра, а четыре пули покоились у него в застегнутом кармашке для мелочи. Он знал, что в них весь оставшийся смысл его жизни, но сейчас не хотел думать об этом, не хотел давать ход практическим рассуждениям, которых от него ждали. Буду любоваться вот этим куском серого дерева, подумал он. Теперь мы знаем, что противник — вот он и что ему не миновать встречи с нами. А нам не миновать встречи с ним. Но до возвращения Ары и Генри думать об этом нет никакой необходимости. Ара обязательно что-нибудь найдет. Что-нибудь должно обнаружиться, а он малый не промах. Песчаный берег может много наврать, но правда обязательно где-нибудь проступит. Он нащупал пули в кармашке шортов, а потом подтянулся на локтях туда, где песок был суше и даже белее, если только такая белиз-

¹ Осенний салон (фр.).

на поддавалась сравнению, и лег, прислонившись головой к серому топляку, с револьвером между ног.

— И давно ты стал моей девушкой? — сказал он револьверу. — Не отвечай, — сказал он револьверу, — лежи там тихо, смирно, а придет время, ты у меня убьешь кого-нибудь получше этого сухопутного краба.

II

Он лежал, глядя на линию прибоя, и к тому времени, когда Ара и Генри появились на берегу, у него уже почти все было обдумано. Он увидел их, отвел взгляд в сторону и снова стал смотреть на море. Он пытался не думать об этом, пытался ослабить напряжение и не мог. Пока они не подойдут, он будет лежать спокойно, ни о чем таком не думая — только о волнах, разбивающихся о риф. Но времени на это ему не хватило. Они подошли слишком быстро.

— Нашли что-нибудь? — спросил он Ару, который сел под серым топляком. Генри сел рядом с ним.

— Одного нашел. Молодой человек. Убит.

— Факт, немец, — сказал Генри. — В одних шортах, длинноволосяй. Блондин, волосы выгоревшие, пегие. Лежит, уткнувшись лицом в песок.

— Его застрелили?

— Да. Выстрелом в поясницу и в затылок, — сказал Ара. — Rematado¹. Вот пули. Я их отмыл.

— А у меня, — сказал Томас Хадсон, — четыре таких.

— Девятимиллиметровые, от «люгера»? — спросил Генри. — Того же калибра, что и наши.

— Эти, с темными головками, от автомата, — сказал Томас Хадсон. — Благодарю вас, доктор, что вы извлекли их.

— Рад стараться, — сказал Ара. — Та, что в шею, прошла навывлет, я ее в песке нашел. Вторую Генри вырезал.

— Вырезал, и ничего, — сказал Генри. — На солнце, на ветру он вроде подсох. Нож будто в пирог вошел. Этот совсем другой, не то что те. Почему его убили, Том?

— Не знаю.

— А как ты думаешь? — спросил Ара. — Зачем они сюда зашли — ремонтироваться?

¹ Прикончили (исп.).

— Нет. Они свою подлодку бросили.

— Да, правильно,— сказал Ара.— И увели лодки отсюда.

— Но почему же они убили этого матроса? — спросил Генри.— Я, может, непонятливый, так ты уж извини, Том. Но ты же знаешь, как мне хочется помочь всем, чем могу, и я так рад, что мы наконец-то вошли с ними в соприкосновение.

— Какое там соприкосновение,— сказал Томас Хадсон.— Один только запашок.

— Но, Том, кто же убил матроса и почему его убили?

— Семейные неурядицы,— сказал Томас Хадсон.— Ты видел когда-нибудь, чтобы человека из добрых чувств убивали выстрелом в позвоночник? А вот в затылок ему выстрелили, чтобы прикончить — это уже из добрых чувств.

— Может, их было двое? — сказал Ара.

— Гильзы ты нашел?

— Нет,— сказал Ара.— Я искал их там, где им бы следовало упасть. Даже если стреляли из пулемета, их бы не выбросило дальше того места, где я искал.

— Тут, наверно, действовал тот же дотошный стервец, который и там подобрал гильзы.

— Куда они могли уйти отсюда? — спросил Ара.— Куда они направились на лодках?

— К югу, конечно,— сказал Томас.— Ты что, не знаешь, что на север им нельзя?

— А мы куда пойдем?

— Я стараюсь разгадать, что у них на уме,— сказал Томас Хадсон.— Только фактов у меня маловато.

— А трупы, а угнанные лодки? — сказал Генри.— Ты все сообразишь, Том.

— Одно нам известно — оружие, а вот где они бросили свою подлодку и сколько их? Смешай все это и добавь, что вчера ночью мы так и не добились связи с Гуантанамо, да подсчитай все островки к югу отсюда плюс то время, которое уйдет у нас на доставку воды на борт. Добавь еще Питерса, и готово — подавай кушанье на стол.

— Все будет хорошо, Том.

— Конечно,— сказал Томас Хадсон.— Хорошо — плохо, это в нашем деле близнецы.

— Но ты не сомневаешься, что мы этих немцев найдем?

— Ни минуты! — сказал Томас Хадсон.— А теперь пойді крикни Вилли — пусть идет сюда. Антонио надо

приниматься застряпню. Будем есть сегодня тушеных креветок. Ара, даю тебе три часа, наполни водой все бочки. Скажи Антонио, чтобы занялся моторами. Я хочу выйти отсюда засветло. Больше тебе ничего не попало на острове? Ни свиней, ни птицы?

— Ничего,— ответил Ара.— Они все забрали.

— Ну что ж, придется им поскорее все это скушать. Кормить живность нечем, льда тоже нет. Немцы — народ хитрый, они и черепах в это время года наловят. Я думаю, мы найдем их в Лобосе. Логично предположить, что они придут в Лобос. Скажи Вилли, чтобы он доверху забил ледник ракушками, а воды мы возьмем только до следующего островка.

Оп замолчал, обдумывая что-то.

— Нет, виноват. Не то сказал. Воду таскай до заката, а судно я выведу отсюда, когда взойдет луна. Три часа мы потеряем, зато потом шесть выгадаем.

— Ты пробовал воду? — спросил Ара.

— Пробовал,— сказал он.— Вода хорошая, чистая. Ты был прав.

— Спасибо,— сказал Ара.— Так я пойду позову Вилли. Он уже сколько времени пырлет.

— Том, а мне что делать? — спросил Генри.— Остаться с тобой, или таскать воду, или, может, еще что?

— Таскай воду, а когда совсем уморишься, ложись спать. Ночью постоишь со мной на мостике.

— Привезти тебе рубашку или свитер? — спросил Генри.

— Пожалуй, рубашку и самое легкое одеяло,— сказал Томас Хадсон.— Песок сухой, сейчас можно и на солнце спать. А попозже на ветру похолодает.

— Какой тут песочек! Я такого сухого, рассыпчатого в жизни своей не видал.

— Это ветры его взбили за много лет.

— Томми, поймаете вы их?

— Конечно, поймаете,— сказал Томас Хадсон.— Никаких сомнений быть не может.

— Ты уж меня прости за мою дурость,— сказал Генри.

— За твою дурость тебя еще в люльке простили,— сказал Томас Хадсон.— Ты храбрец, Генри, и я тебя люблю и верю тебе. И никакой ты не дурень.

— Ты правда думаешь, что у нас будет бой с ними?

— Наверняка будет. Но ты об этом не думай. Думай о разных разностях. Думай о том, что тебе надо делать, и

помни, что у нас у всех должно быть хорошее настроение, пока не начнется бой. О бое думать буду я.

— Я сделаю все, что от меня требуется,— сказал Генри.— Жалко, этот бой нельзя прорепетировать, тогда я бы еще лучше выполнил свой долг.

Томас Хадсон сказал:

— И так справишься. Нам этого боя не миновать.

— Уж очень ждать долго,— сказал Генри.

— Ждать всегда долго,— сказал ему Томас Хадсон.— Особоенно когда гоняешься за кем-нибудь.

— Ты бы поспал,— сказал Генри.— Ты теперь совсем не спишь.

— Я посплю,— сказал Томас Хадсон.

— А как ты думаешь, Том, где они бросили свою подлодку? — спросил Ара.

— Лодки они увели отсюда и всех здешних поубивали, допустим, неделю назад. Значит, это та самая подлодка, о которой шла речь в Камагуэе. Но пока она еще была на плаву, они добрались на ней сюда. На резиновых лодках в такой ветер не ходят.

— Значит, подлодка затонула где-то недалеко, к востоку отсюда.

— Правильно. И тогда им, голубчикам, пришлось совсем раскрыться,— сказал Томас Хадсон.

— А до дома-то еще далеко,— сказал Генри.

— Теперь еще дальше будет,— сказал Ара.

— Немцы — чудной народ,— сказал Томас Хадсон.— В общем-то они храбрые, некоторые вызывают просто восхищение. И вдруг такие вот мерзавцы попадают.

— Давайте лучше делом займемся,— сказал Ара.— Поговорить можно и ночью, на вахте, чтобы ко сну не клонило. А ты отдохни, Том.

— Тебе надо поспать,— сказал Генри.

— Что отдых, что сон — все едино.

— Нет, неверно,— сказал Ара.— Тебе важно выспаться, Том.

— Что ж, попробую,— сказал Томас Хадсон. Но когда он остался один, ему так и не удалось заснуть.

И надо же им было так напакостить здесь, думал он. Ничего, мы все равно их накроем. Здешние люди могли бы только рассказать нам, сколько было немцев и как они вооружены. За это, очевидно, и стоило их убить — с немецкой точки зрения. Что, мол, с ними считаться — негры! Но до некоторой степени это выдает их. Если они пошли

на такое убийство, значит, руководствовались каким-то планом, значит, надеялись, что их подберут свои. Опять же этот план мог вызвать разногласия, иначе зачем им было убивать своего. Впрочем, с ним могли расправиться за что угодно. Может, он повел лодку на погружение, когда она должна была всплыть и пробираться домой.

Ну и что нам дадут мои домыслы? — подумал он. Полагаться на них нельзя. Может, так было, а может, нет. Но если было, значит, лодка пошла на погружение в виду берега, и пошла быстро. Следовательно, с собой они почти ничего не успели взять. Может быть, тот матросик тут ни при чем и зря его убили.

Сколько у них лодок, тоже не известно, потому что на двух — на трех здешние жители могли уйти за черепахами. Так что тебе остается только ломать голову и обследовать ближайшие островки.

Но что, если они пересекли Старый Багамский пролив и пристали к берегам Кубы? Ну, конечно! Как же ты раньше об этом не подумал? Для них это наилучший выход.

А если так, то из Гаваны они могут добраться домой на любом испанском судне. Правда, в Кингстоне суда проходят проверку. Но риск тут наименьший, многим удавалось проскочить это препятствие. А наш Питерс, собака! Надо же, рация у него отказала. ПСО, подумал он: Пункт Связи Отказал. Нам дали большой передатчик, а он с этим красавцем не справился. Как он его запорол, понятия не имею. Но вчера в наш час ему не удалось связаться с Гуантанамо, а если и сегодня ночью ничего не выйдет, тогда мы сядем в калошу. А, к черту! — подумал он. Калоша еще ничего, есть места и похуже. Спи, сказал он себе. Это самое толковое, что ты можешь сделать сейчас.

Он поерзал плечами, укладываясь на песке, и заснул под рев волн, разбивавшихся о риф.

III

Томас Хадсон спал, и ему снилось, что сын его Том не убит, и что два других мальчика живы и здоровы, и что война окончилась. Ему снилось, что мать Тома спит вместе с ним, навалившись на него во сне, как это часто бывало. Он всем телом ощущал ее тело, погами ее ноги, и грудью ее грудь, и губами ее сонно ищущие губы. Шелковистая масса ее волос накрыла ему глаза и щеки, и он отвел свои

губы от ее губ, и захватил прядь волос в рот, и не выпускал. Потом, не просыпаясь, он нащупал револьвер на поясе и сдвинул его в сторону, чтобы не мешал. Потом затих под тяжестью ее тела, медленно и ритмично покачиваясь вместе с ней, чувствуя на лице шелковистую завесу ее волос.

Было это, когда Генри накрыл его с головой легким одеялом, и Томас Хадсон пробормотал во сне:

«Спасибо тебе, что ты такая ласковая и теплая и что так тесно прижимаешься ко мне. Спасибо, что ты так скоро вернулась и что ты не слишком худая».

— Эх, бедняга,— сказал Генри, заботливо оправляя одеяло. Потом он подхватил две пятигаллонные оплетенные бутылки, взвалил их на плечи и ушел.

«А я думала, тебе хочется, чтобы я похудела, Том,— сказала женщина во сне.— Ты говорил, что когда я худею, то становлюсь похожа на молодого козленка, а лучше молодого козленка ничего и вообразить нельзя».

«Ах ты,— сказал он.— Ну, кто кого будет любить, ты меня или я тебя?»

«Оба вместе,— сказала она.— Если ты согласен, конечно».

«Люби ты меня,— сказал он.— Я очень устал».

«Ты просто лентяй,— сказала она.— Дай-ка я сниму с тебя револьвер и положу рядом. А то он все время мешает».

«Положи его на пол,— сказал он.— И пусть все будет так, как должно быть».

Когда все уже было так, как должно быть, она сказала:

«Ты хочешь, чтобы я была тобой или ты мной?»

«Тебе право выбора».

«Я буду тобой».

«Я тобой быть не сумею. Но попробовать можно».

«Попробуй — смеха ради. Главное, не старайся беречь себя. Старайся все отдать и все взять тоже».

«Ладно».

«Ну как, получается?»

«Да,— сказал он.— И это чудесно».

«Вот теперь понимаешь, что мы чувствуем?»

«Да,— сказал он.— Да, понимаю. Отдавать не так трудно».

«Только отдавать нужно все-все. А ты рад, что я вернула тебе мальчиков и что по почам я прихожу к тебе прежней чертовкой?»

«Да. Я рад и счастлив, а теперь откинь волосы с моего лица, и дай мне твои губы, и обними меня так крепко, чтобы нельзя было дышать».

«Сейчас. А ты — меня, хорошо?»

Проснувшись, он нащупал рукой одеяло и не сразу понял, что все это только привиделось ему во сне. Он повернулся на бок, и боль от вдавившейся в бедро кобуры возвратила его к действительности, но внутри теперь было еще более пусто — приснившийся сон оставил новую пустоту. Постепенно он разглядел, что еще светло, разглядел шлюпку, которая везла на судно пресную воду, разглядел белую пену мерно ударяющих в риф бурунов. Он лег на другой бок, подоткнул под себя одеяло и, положив голову на руки, заснул опять. Он спал без просыпу, пока его не разбудили к началу вахты, и больше уже не видел никаких снов.

IV

Он простоял за штурвалом всю ночь, и вместе с ним до полуночи нес вахту Ара, а потом Генри. Волны били им в борт, и править при такой качке было нелегко — похоже на спуск верхом с крутой горы, думал он. Едешь все время вниз и вниз, а иной раз вильнешь поперек склона. Только море — это не одна, а много гор, оно как пересеченная местность.

— Говори со мной, — сказал он Аре.

— О чем говорить, Том?

— О чем угодно.

— Питерс опять не смог поймать Гуантанамо. Он эту штуку совсем доконал. Новую, большую.

— Знаю, — сказал Томас Хадсон, стараясь спускаться с горы как можно тише, чтобы судно не так качало. — Он там пережег что-то и не может починить.

— Но он слушает, — сказал Ара. — Вилли с ним — следит, чтобы он не заснул.

— А кто следит, чтобы не заснул Вилли?

— Вилли-то не заснет, — сказал Ара. — Он такой же бессонный, как ты.

— А ты сам?

— Я всю ночь могу не ложиться, если надо. Хочешь, передай мне штурвал.

— Нет. Мне тогда нечего будет делать.

— Очень тебе скверно, Том, а?

— Не знаю. Как скверно может быть человеку?

— Ведь все равно не поможет,— сказал Ара.— Принести тебе бурдюк с вином?

— Нет. Принеси лучше бутылку холодного чая да проверь, как там Питерс и Вилли. Все вообще проверь.

Ара ушел, и Томас Хадсон остался один с ночью и морем, и по-прежнему это было как езда по сильно пересеченной местности на лошади, прибавлявшей ходу, когда дорога шла под уклон.

На мостик поднялся Генри с бутылкой холодного чая в руках.

— Как идем? — спросил он.

— Идем — лучше не надо.

— Питерс по старой рации установил связь с полицией Майами. Со всеми патрульными машинами. Вилли рвется поговорить с ними сам. Но я сказал, что нельзя.

— Правильно сделал.

— Питерс говорит, по УКВ что-то вроде бурчали по-немецки, но это, наверно, далеко отсюда — там, где у них база.

— Тогда бы он ничего не услышал.

— Забавная сегодня ночь, Том.

— Не такая уж забавная, как тебе кажется.

— Ну, не знаю. Скажи мне курс, и я стану к штурвалу, а ты ступай вниз.

— Питерс сделал запись в журнале?

— Само собой.

— Скажи Хуану, пусть определит наши координаты и сообщит мне, а Питерс пусть занесет все в журнал. Когда, говоришь, эти сучьи дети бурчали?

— Когда я поднялся наверх.

— Скажи Хуану, пусть не копаются и чтобы все было занесено в журнал.

— Слушаю, Том.

— Как там прочие чудики?

— Спят все. И Хиль тоже спит.

— Ну, давай живей к Питерсу, пусть отметит наши координаты в журнале.

— Тебе это так нужно?

— Я-то знаю, где мы находимся. Слишком хорошо, черт дери, знаю.

— Ладно, Том,— сказал Генри.— Постарайся все-таки быть поспокойнее.

Генри вернулся на мостик, но Тому разговаривать не хотелось, и Генри молча стоял с ним рядом, пошире расставив ноги для упора. Час спустя он сказал:

— Вижу маяк, Том. По правому борту, примерно на двадцать градусов в сторону от нашего курса.

— Правильно.

Когда они уже были на траверзе светящейся точки, он развернул судно и поставил его кормой к открытому морю.

— Теперь пойдет резво, конюшня близко, — сказал он Генри. — Мы входим в протоку. Разбуди Хуана, пусть тоже поднимется сюда, а сам держи глаза нараспашку. Ты поздно заметил маяк.

— Виноват, Том. Может, будем теперь нести вахту по четверо?

— Пока не рассвело, не пужно, — сказал Томас Хадсон. — А там я тебе дам команду.

Может быть, они проскочили под отмелью, думал Томас Хадсон. Только едва ли. Ночью они бы не решились на такое, а в дневное время подводники побоятся отмели. Скорей всего, они теперь развернутся там же, где развернулся я. А потом пойдут себе потихоньку протокой так же, как мы собираемся сделать, и облюбуют самый высокий выступ кубинского побережья. От портов им лучше держаться подальше, так что они просто будут идти по ветру, Конфитес постараются обойти стороной — там радиостанция, и это им хорошо известно. Но запасы продовольствия надо пополнять и запасы пресной воды тоже. Самое разумное для них было бы подойти поближе к Гаване, высадиться где-нибудь близ Бакуранао и уже оттуда пробираться куда нужно. Я пошлю радиогамму из Конфитеса. Указаний спрашивать не буду. А то, если полковника нет на месте, нас это задержит. Просто сообщу то, что есть и как думаю действовать. Пусть принимают свои меры. А Гуантанамо будет принимать свои, а Камагуэй — свои, а Ла-Фэ — свои, а ФБР — свои; глядишь, через неделю что-нибудь получится.

К черту, подумал он. Я сам до них доберусь за эту неделю. Придется же им остановиться, чтобы набрать воды и сварить чего-нибудь поесть, а то там вся живность окоченеет с голоду. Скорей всего, они будут плыть по ночам, а в дневное время постараются не двигаться. Так логика подсказывает, так я сам поступил бы на их месте. Попробуй-ка влезть в шкуру толкового немца — командира под-

водной лодки, как бы ты справился со всеми его заботами?

Забот у него немало, думал Томас Хадсон. И самая большая забота — это мы, о чем он и не подозревает. Ничего опасного он в нас не видит. Так, безобидные людишки на катере.

Ты только не разжигай в себе кровожадность, подумал он. Ничего и никого ты этим не вернешь. Шевели мозгами и радуйся, что у тебя есть какое-то дело и есть в этом деле хорошие помощники.

— Хуан, — сказал он. — Что видишь, друг?

— Один хреновый океан кругом.

— А прочие джентльмены, кто что видит?

— Ни хрена, — сказал Хиль.

— Мой хреновый желудок видит кофе. Но до него еще далеко, — сказал Ара.

— Вижу землю, — вдруг сказал Генри. Он ее только что заметил — квадратное пятнышко над горизонтом, будто кто-то приложил к постепенно светлевшему небу большой палец, запачканный чернилами.

— Это мыс за Романо, — сказал Томас Хадсон. — Спасибо, Генри. Вот что, чудики, вы теперь ступайте пить кофе, а сюда пришлите другую четверку удальцов — им предстоит увидеть много удивительного и занятного.

— Тебе принести кофе, Том? — спросил Ара.

— Нет. Я лучше чаю выпью, когда вы заварите свежий.

— Мы не так давно заступили на вахту, Том, — сказал Хиль. — Нам еще рано сменяться.

— Ладно, ладно, идите пить кофе, дайте и другим удальцам возможность прославить себя.

— Том, ты вроде говорил, что фрицы, наверно, в Лобоссе.

— Да. Но теперь я думаю иначе.

Они ушли вниз, а на смену им поднялась новая четверка.

— Джентльмены, — сказал Томас Хадсон. — Прошу вас поделить между собой страны света. Что, кофе есть внизу?

— Сколько душе угодно, — сказал его помощник. — И чай тоже. И моторы в полной исправности, и воды мы зачерпнули совсем немного для такой волны.

— Как там Питерс?

— Ночью пил виски из собственной бутылки. Из той, что с ягненком на этикетке. Но спать не спал. Вилли тоже прикладывался к его бутылке и не давал ему заснуть.

— В Конфитесе заправимся горючим и по части продовольствия кое-чем разживемся.

— Погрузка много времени не займет, но я успею зарезать свинью и ошпарить ее,— сказал помощник.— Дам радистам со станции четверть туши, они мне помогут управиться, а разделывать буду уже на ходу. А ты поспи, пока мы будем грузиться. Хочешь, я тебя сейчас сменю?

— Нет. Мне нужно будет послать из Конфитеса три радиогаммы, а потом вы будете грузиться, а я буду спать. А после Конфитеса возобновим погоню.

— В направлении к порту?

— А что? Может, мы их и потеряем на какое-то время. Но уйти они от нас все равно не уйдут. Ладно, об этом еще успеется. Как ребята?

— Ты же их знаешь. Об этом тоже еще успеется. Возьми круче к берегу, Том. Течение благоприятное, и это сократит нам путь.

— Мы много потеряли из-за качки?

— Да нет, не особенно. Но вообще нам досталось,— сказал помощник.

— Ya lo сео,— сказал Томас Хадсон.— Верю.

— Кроме этой подлодки, здесь в окрестностях ничего не должно быть. Наверно, это та, которую сочли потопленной. Шла она из Ла-Гуайры, так что они могут быть и у Кингстона и всюду, где есть горючее. И с базой, наверно, держат связь.

— Они могут и здесь показаться.

— Да, за грехи наши.

— И за свои собственные.

— Ничего, мы будем действовать осторожно и с умом.

— Скорей бы начать,— сказал Томас Хадсон.

— Задержки до сих пор не было.

— Для меня все разворачивается слишком медленно.

— Ладно,— сказал помощник.— Ты только ухитрись поспать в Конфитесе, а там увидишь, все пойдет быстрее быстрого.

▼

Впереди уже виднелась площадка наблюдательной вышки острова и высокая сигнальная мачта. И то и другое было покрашено белой краской и раньше всего бросалось в глаза. Потом Томас Хадсон увидел приземистые

радиомачты и ржавый остов выброшенного на камни судна, заслонявший домик, где помещалась радиостанция. Конфитес не слишком живописно выглядел с этой стороны.

Восходящее солнце светило Томасу Хадсону в спину, и ему нетрудно было найти между рифами проход пошире, а потом, лавируя среди мелей и коралловых островков, вывести судно к удобному для причала месту. Песчаный пляж полумесяцем огибал защищенную от ветра бухту, а дальше земля на острове была покрыта пересохшей травой, и только с наветренной стороны громоздились большие плоские камни. Глядя в зеленую воду, сквозь которую просвечивало песчаное дно, Томас Хадсон прошел по самому центру бухты и стал на якорь, почти ткнувшись носом в берег. Солнце уже взошло, над радиостанцией и служебными постройками развевался кубинский флаг. Сигнальная мачта торчала голая, обдуваемая ветром. Кругом не было ни души, только флаг, новенький, чистый и яркий, хлопал на ветру.

— Вероятно, прибыла смена, — сказал Томас Хадсон. — Когда мы последний раз уходили отсюда, флаг был как линиялая тряпка.

Он огляделся по сторонам: бочки с горючим стояли там, где он их оставил, а на том месте, где он велел закопать предназначенные для него бруски льда, высились песчаные холмики. Они были похожи на свежие могилы, а над ними носились чернокрылые чайки — крачки, гнездившиеся среди камней с наветренной стороны острова. Впрочем, в сухой траве на подветренной стороне тоже попадались их гнезда. Сейчас они носились взад и вперед, то по ветру, то наперерез ветру, то ныряя вниз, к траве и камням, и оглашая воздух тоскливыми, жалобными криками.

Кто-нибудь, наверно, охотится за яйцами к завтраку, подумал Томас Хадсон. Тут из камбуза добеся запах жареной ветчины, и он, подойдя к краю мостика, крикнул, чтобы завтрак ему принесли сюда, наверх. Он внимательно оглядывал остров. А вдруг они здесь, думал он. Вдруг они захватили Конфитес.

Но в эту-минуту на дорожке, спускавшейся от радиостанции к берегу, показался человек в шортах, и Томас Хадсон узнал лейтенанта. Он сильно загорел, не стригся месяца три и, увидев Томаса Хадсона, весело закричал:

— Как плавалось?

— Хорошо, — сказал Томас Хадсон. — Идите сюда, пивом угостим.

— Потом,— сказал лейтенант.— Лед, и пиво, и продовольствие для вас доставили два дня назад. Лед мы закопали в песок. Остальное там, в доме.

— Какие новости?

— Дней десять назад самолеты вроде бы потопили одну подлодку в районе Гуинчоса. Но это было еще до вашего выхода в рейс.

— Да,— сказал Томас Хадсон.— Это было две недели назад. Или речь не о той?

— О той самой.

— Еще какие новости?

— Позавчера другая подлодка сбила дозорный аэростат в районе Кайо Саля.

— Это точно?

— Пока только по слухам. Ну и потом ваша свинья.

— А что со свиньей?

— Как раз в этот день доставили для вас живую свинью, а она на завтра уплыла в море и утонула. А мы еще кормили ее целые сутки.

— *Qué ruengo más suicido*¹,— сказал Томас Хадсон.

Лейтенант расхохотался. У него было веселое лицо, смуглое от загара, и он был далеко не глуп. Если он валял дурака, так только для собственного развлечения. Ему был дан приказ оказывать всяческое содействие Томасу Хадсону и ни о чем его не спрашивать. Томасу Хадсону был дан приказ воспользоваться радиостанцией и ни о чем не рассказывать.

— Других новостей нет? — спросил он.— Не заходили сюда лодки багамских ловцов губок или ловцов черепах?

— А что им здесь делать? У них там и губок и черепах сколько угодно. Хотя на прошлой неделе мы тут видели две лодки, вернее, шхуны ловцов черепах. Они обогнули мыс и, видно, хотели зайти в бухту, но передумали и пошли на Кайо Крус.

— Интересно, что им тут нужно было.

— Не знаю. Вы, скажем, курсируете в здешних водах с научными целями. А вот зачем ловцам черепах бросать самые черепаший места и приплывать сюда — непонятно.

— Сколько там было человек?

— Мы только видели тех, кто стоял у руля. На обеих шхунах были устроены вроде бы шалаши из пальмовых листьев. Может быть, черепахам пужна тень.

¹ Свинья-самоубийца (*исп.*).

— А рулевые были белые или негры?

— Белые, но загорелые дочерна.

— Никаких названий или номеров не было на борту?

— Может, и были, но на таком расстоянии ничего нельзя было разобрать. Я объявил на острове угрожаемое положение, однако за двое суток ничего решительно не произошло.

— Когда именно они здесь проходили?

— За день до получения ваших припасов, и вашего льда, и вашей свиньи-самоубийцы. Через одиннадцать дней после потопления вашей авиацией той подлодки. За три дня до того, как вы сами пожаловали сюда. А что, это были ваши знакомые?

— Вы о них сообщили, конечно?

— Разумеется. И не получил никакого ответа.

— Мне нужно отправить три радиограммы, можно будет?

— Конечно. Пришлите только тексты на станцию, и все немедленно передадут.

— Сейчас мы начнем грузить лед и горючее и переносить на катер продукты. Может, там есть что-нибудь, что пригодилось бы вам?

— Не знаю. Там был приложен список. Я расписался в получении, но написано было по-английски, так что прочесть я не мог.

— А кур или индеек не прислали?

— Прислали,— сказал лейтенант.— Я их отложил особо, хотел сделать вам сюрприз.

— Этим мы с вами поделимся,— сказал Томас Хадсон.— И пивом поделимся тоже.

— Хотите, мои люди помогут вам грузить бензин и лед?

— Отлично. Большое спасибо. Я бы хотел часа через два уже спать с якоря.

— Понятно. Нас, как видите, опять не сменили. Обещают через месяц.

— Еще через месяц?

— Да.

— А как ваши люди, не ропщут?

— У меня тут почти все — штрафники.

— Большое спасибо за помощь. Весь ученый мир вам благодарен.

— И Гуаптанамо тоже?

— Гуаптанамо — Афины современной науки.

— Мне кажется, эти шхуны прятались где-то неподалеку отсюда.

— Мне тоже так кажется,— сказал Томас Хадсон.

— Шалаши были из листьев кокосовой пальмы, еще совсем зеленых.

— Скажите мне все, что вы еще знаете.

— А я больше ничего и не знаю. Давайте ваши радиogramмы. Я не хочу подниматься к вам на борт, чтобы не мешать и не отнимать у вас времени.

— Если в наше отсутствие пришлют что-нибудь скоропортящееся, пожалуйста, возьмите себе.

— Спасибо. Такая досада, что ваша свинья утопилась в море.

— Ничего,— сказал Томас Хадсон.— У каждого из нас свои заботы.

— Я скажу моим людям, чтобы они на борт не поднимались, пусть только помогут перенести все.

— Спасибо,— сказал Томас Хадсон.— Так вы ничего больше не можете вспомнить о тех шхунах?

— Они были такие, как все шхуны ловцов череных. Обе совершенно одинаковые. Как будто один мастер их строил. Они обогнули риф и уже разворачивались для входа в бухту. А потом повернули по ветру и пошли на Кайо Крус.

— По эту сторону рифа?

— Шли по эту, пока не скрылись из виду.

— А что вы такое говорили про подлодку в районе Кайо Саля?

— Она всплыла и снарядом сбила дозорный аэростат.

— На вашем месте я бы не отменял угрожаемого положения.

— А я и не отменял его,— сказал лейтенант.— Оттого-то вы и не видели никого на берегу.

— Я видел птиц, которые летают кругом.

— Бедные птицы,— сказал лейтенант.

VI

Они шли фордевиндом, держа курс на запад, огибая риф с обращенной к острову стороны. Горючее в баки было залито, ледник набит льдом, и в камбузе дежурная смена опципывала и потрошила кур. Другая смена была занята чисткой оружия. Мостик затянули брезентом до половины

человеческого роста, на борту укрепили две длинные доски, огромными буквами вещавшие о научных целях экспедиции. Заглядывая за борт, чтобы проверить глубину, Томас Хадсон видел, как на вспененную катером воду летят и ложатся куриные перья.

— Держи как можно ближе к берегу, только так, чтобы не наскочить на мель,— сказал он Аре.— Ты же эти места знаешь.

— Знаю, что это довольно рискованно,— сказал Ара.— Где мы должны стать на якорь?

— Я хочу пошарить немного вокруг Кайо Круса.

— Пошарить можно, только это вряд ли что-нибудь даст. Не думаешь же ты, что они так и торчат там.

— Нет. Но, может, их видели местные рыбаки. Или угольщики.

— Хоть бы этот ветер улегся,— сказал Ара.— Денька два-три мертвого штиля — вот бы нам что нужно.

— За Романо штиля не жди.

— Знаю. Но здесь ветер дует прямо как в горном ущелье. Если он не уляжется, нечего и рассчитывать на удачу.

— До сих пор все у нас шло как надо,— сказал Томас Хадсон.— Может, еще повезет. Вдруг они захватили радиостанцию в Лобосе и оттуда радировали, чтобы другая подлодка пришла им на выручку?

— Значит, они не знали, что другая подлодка уже там.

— Наверное даже. За десять дней они могли далеко уйти.

— Если хотели,— сказал Ара.— Ладно, Том, хватит рассуждать. У меня от рассуждений голова болит. Лучше уж возиться с горючим. Ты все рассуди сам, а мне давай команду, как держать.

— Держи прежним курсом, только помни об этой ока-
янной Миперве. Не налететь бы там на подводный риф.

— Ладно.

Может быть, от удара у нее рация вышла из строя, думал Томас Хадсон. Но ведь наверняка там была запасная установка для таких случаев. Однако Питерсу ни разу не удалось поймать ее по УКВ после того, как ее подбили. И все-таки это ничего не доказывает. Ничто ничего не доказывает; достоверно только одно: три дня назад две шхуны прошли здесь тем курсом, которым сейчас идем мы. Спросил я его, были ли у них шлюпки на палубе? Нет, забыл. Но, паверно, были, ведь он же сказал, что это обык-

новенные шхуны, на каких ходят ловцы черепах, если не считать шалашей из пальмовых листьев.

Сколько людей? Неизвестно. Есть ли раненые? Неизвестно. Какое оружие? Известно только, что есть один автомат. Куда направляются? Туда же, куда и мы за ними, — пока что.

Может быть, удастся обнаружить что-нибудь между Кайо Крусом и Мегано, думал он. Стаи птиц — вот и все, что ты обнаружишь, наверно, да еще следы игуан на песке, где они пробирались к воде.

Ну, хотя бы это тебе поможет не думать о другом. О чем другом? Нет больше ничего другого, и думать тебе не о чем. Как это не о чем? Ты должен думать об этом судне, и о людях на нем, и о тех сволочах, за которыми ты охотишься. А кончишь тут — вернешься к своим зверям, и съездишь в город, чтобы там напиться в дым, так, чтобы тебя потом приволокли замертво, и переспишь с кем придется, а там — очухаешься и будешь готов начинать все сначала.

Может быть, на этот раз тебе удастся изловить этих сволочей. Не ты уничтожил их подводную лодку, но ты был немного причастен к ее уничтожению. И если тебе удастся выследить ее экипаж, ты этим принесешь немалую пользу.

Так почему же тебе все это вроде бы ни к чему, спросил он себя. Почему ты не видишь в них убийц и не испытываешь тех праведных чувств, которые должен испытывать? Почему просто скачешь и скачешь вперед, точно лошадь, потерявшая наездника, но не сошедшая с круга? Потому что все мы убийцы, сказал он себе. Все, и на этой стороне и на той, если только мы исправно делаем свое дело, и ни к чему хорошему это не приведет.

Но ты все-таки должен это делать, сказал он себе. Да, конечно. Но гордиться этим я не должен. Я только должен это делать хорошо. Я не нанимался получать от этого удовольствие. Ты и вообще не нанимался, сказал он себе. И тем хуже.

— Пусти, Ара, я сам буду править, — сказал он.

Ара передал ему штурвал.

— А ты продолжай наблюдение по правому борту. Смотри только, чтобы солнце не слепило тебе глаза.

— Сейчас схожу за биноклем. Слушай, Том. Почему ты не хочешь, чтобы я правил и чтобы вахту несли сразу

четверо? Ты же очень устал, даже на остановке у острова не дал себе отдохнуть.

— Четверым сейчас на вахте делать нечего. Это понадобится позже.

— Но ты уже устал, Том.

— Мне не хочется спать. Понимаешь, если они идут почками и близко к берегу, без поломки у них не обойдется. Тогда они вынуждены будут пристать, чтобы исправить повреждение, и тут-то мы их настигнем.

— Это не причина, чтобы тебе не знать ни сна, ни отдыха, Том.

— Я этим делом занимаюсь не для форсу,— сказал Томас Хадсон.

— Никто никогда так и не думал.

— Слушай, Ара, что ты чувствуешь к этим сволочам?

— Просто думаю: вот мы доберемся до них, перестреляем сколько нужно будет, а остальных захватим с собой.

— Ну а бойня, которую они устроили?

— Не хочу сказать, что мы на их месте поступили бы так же. Но им это, видно, казалось необходимым. Не ради удовольствия же они это сделали.

— А свой, которого они убили?

— Генри несколько раз готов был убить Питерса. Мне самому иногда хочется его убить.

— Да, такое бывает,— согласился Томас Хадсон.

— Я просто не думаю обо всем этом, вот оно меня и не беспокоит. А ты вместо того, чтобы изводить себя беспокойными мыслями, лег бы и почитал. Раньше ведь ты всегда так делал.

— Сегодня я буду спать. Вот станем на якорь, я почиताю и усну. У нас есть в запасе четыре выигранных дня, хоть оно и незаметно. Теперь от нас требуется только одно: искать как следует.

— Рано или поздно они попадут к нам в руки — не к нам, так к другим,— сказал Ара.— Не все ли равно? У нас есть своя гордость, но это гордость особая, о которой люди понятия не имеют.

— Да, я и забыл,— сказал Томас Хадсон.

— Это гордость без тщеславия,— продолжал Ара.— Дерьмо ей брат, неудача — сестра, а со смертью она в законном браке.

— Велика должна быть сила такой гордости.

— Очень велика, — сказал Ара. — Ты о ней не забывай, Том, и не изводи себя попусту. У нас тут у всех эта гордость есть, даже у Питерса. Хотя я и не люблю Питерса.

— Спасибо тебе за твои слова, — сказал Томас Хадсон. — Мне иногда, правда, до того невтерпеж становится, думаешь, хрен с ним со всем.

— Том, — сказал Ара. — У человека только и есть что гордость. Бывает, ее у него слишком уж много, и тогда это грех. Ради гордости все мы иногда делаем то, что кажется невозможным. А мы идем на это. Но нужно, чтобы гордость была подкреплена разумом и осмотрительностью. Тебе сейчас этого недостает, и я прошу тебя: будь осмотрителен. Ради нас и ради судна.

— Кого это нас?

— Всех нас.

— Ладно, — сказал Томас Хадсон. — Крикни, чтоб тебе припесли твой бинокль.

— Том, пойми меня.

— Я понял. И очень благодарен тебе. Я сегодня на совесть поужинаю и буду спать сном невинного младенца.

Аре не стало смешно от этих слов, а он всегда думал, что смешное должно быть смешным.

— Постарайся, Том, — сказал он.

VII

Они бросили якорь с подветренной стороны Кайо Круса в бухте между двумя островами.

— Бросим-ка еще другой якорь, раз уж будем здесь стоять! — крикнул Томас Хадсон своему помощнику. — Не нравится мне здешний грунт.

Помощник пожал плечами и наклонился над вторым якорем, а Томас Хадсон подал судно немного вперед, против течения, глядя, как травянистый берег медленно скользит мимо борта, а потом дал задний ход и выждал, пока второй якорь не зарылся как следует в песок. Судно теперь стояло носом к ветру, а зыбь отлива бежала мимо. Даже в этом укрытом месте ветер был довольно силен, и Томас Хадсон понимал, что, когда отлив сменится приливом, судно повернет бортом к волне.

— Ну и черт с ним, — сказал он. — Пусть его покачает.

Но помощник тем временем спустил шлюпку, и сейчас они уже травили кормовой якорь. Томас Хадсон увидел,

что этот якорь, маленький «дэнфорт», был сброшен с таким расчетом, чтобы удерживать катер носом к ветру, когда начнется прилив.

— Уж привесили бы заодно еще парочку,— крикнул он.— Тогда его можно было бы выдать за особую породы паука.

Помощник ухмыльнулся.

— Давай к борту. Я поеду на берег.

— Нет, Том,— сказал помощник.— Пусть Ара и Вилли едут. Я перевезу их на берег. А потом вторую партию — в Мегано. Хочешь, чтобы они взяли с собой *piños*¹?

— Нет. Будьте учеными.

Я мирюсь с тем, что мною вертят как хотят. Это, пожалуй, значит, что мне и в самом деле надо отдохнуть. Беда только в том, что я и усталости не чувствую и спать мне не хочется.

— Антонио,— позвал он.

— Да? — откликнулся помощник.

— Я возьму надувной матрац, и две подушки, и хороший коктейль.

— Какой именно?

— Джин с кокосовой водой, с ангостурой и лимоном.

— А, «Томини»,— сказал помощник, обрадованный тем, что Томас Хадсон опять захотел выпить.

— И притом двойной.

Генри забросил на мостик надувной матрац и сам поднялся следом, держа под мышкой книгу и журнал.

— Тут ты за ветром,— сказал он.— Хочешь, я раздвину немного брезент для вентиляции?

— С каких это пор со мной такие нежности?

— Том, мы посоветовались и все решили, что тебе нужно отдохнуть. Ты так себя загонял, никто бы не выдержал. И ты не выдержал.

— Чушь,— сказал Томас Хадсон.

— Может быть,— сказал Генри.— Я говорил им, что, по-моему, ты в форме и можешь еще держаться и дальше. Но другие беспокоятся, и они меня убедили. А ты попробуй разубедить. Но сейчас дай себе все-таки передышку.

— Я себя чувствую как нельзя лучше. И плевать я на все хотел.

¹ Деток (исп.).

— Вот то-то и есть. Ты не желаешь сходить с мостика. Желаешь стоять все вахты подряд у штурвала. И плевать на все хотел.

— Ладно,— сказал Томас Хадсон.— Картина ясная. Но пока что здесь все-таки команду я.

— Я это не в каком-нибудь дурном смысле, честное слово.

— Правильно. Забудь,— сказал Томас Хадсон.— Стану отдыхать. Как прочесывать заросли на острове, знаешь?

— Да уж, надо думать, знаю.

— Вот и займись Мегано.

— Точно. Вилли и Ара уже уехали. А мы, вторая партия, только ждем, когда Антонио пригонит назад шлюпку.

— Как там у Питерса?

— Полдня возился с этой большой рацией. Думает, что теперь как будто наладил.

— Это бы здорово. Если я засну, разбуди меня, как только вернетесь.

— Хорошо, Том.— Генри нагнулся и взял то, что ему подали снизу. Это был высокий стакан с ржавого цвета жидкостью и кусочками льда, обернутый сложенным вдвое бумажным полотенцем и перетянутый резинкой.— Двойной «Томини»,— сказал Генри.— Выпей, потом почитай и спи. Стакан можешь поставить вон в одну из ячеек для гранат.

Томас Хадсон отхлебнул из стакана.

— Приятно,— сказал он.

— Тебе всегда нравилось. Все будет хорошо, Том.

— Да уж все, что мы сейчас можем сделать, надо делать как следует.

— Главное — отдохни хорошенько.

— Постараюсь.

Генри сошел вниз, и Томас Хадсон услышал приближающийся стук шлюпочного мотора. Стук затих, послышались голоса, потом снова стук, но уже удаляющийся. Томас Хадсон немного подождал, прислушиваясь. Потом взял стакан и высоко через борт выплеснул его содержимое, а ветер подхватил это и отнес к корме. Томас Хадсон сунул стакан в подходящую по размеру ячейку в тройном стеллаже и ничком растянулся на надувном матрасе, обняв его обеими руками.

В этих пальмовых шалашах у них, наверно, были раненные. А может быть, они просто хотели спрятать поболь-

ше народу. Но навряд ли. Будь их много, они бы заявили сюда в первую же ночь. Надо было мне самому поехать на берег. Впредь так и буду делать. Хотя Ара и Генри молодцы первый сорт и Вилли тоже молодец. И я должен быть молодцом. Да уж постарайся сегодня вечером, сказал он себе. И устрой им травлю, настоящую и без пощады, не делай ошибок и смотри, чтобы как-нибудь их не прозевать.

VIII

Он почувствовал, что его трогают за плечо. Это был Ара, и он сказал:

— Том, одного мы достали, Вилли и я.

Томас Хадсон сбежал вниз, и Ара за ним.

Немец лежал на корме, закутанный в одеяло. Под головой у него были две подушки. Питерс сидел рядом на палубе, держа в руках стакан с водой.

— Посмотрите, что у нас тут есть,— сказал он.

Немец был очень худ, подбородок и впалые щеки уже обросли белокурой бородкой. Волосы у него были длинные и спутанные, и в последнем дневном свете, какой бывает, когда солнце почти уже зашло, он был похож на святого.

— Он не может говорить,— сказал Ара.— Мы с Вилли уже пробовали. И между прочим, держись так, чтоб ветер не дул от него к тебе.

— Да, я еще с трапа учуял,— сказал Томас Хадсон.— Спроси, не нужно ли ему чего-нибудь,— обратился он к Питерсу.

Радист заговорил с пленным по-немецки, и тот повел глазами на Томаса Хадсона, но ничего не сказал и не повернул головы. Томас Хадсон услышал стук мотора и, оглянувшись на бухту, увидел шлюпку, выплывавшую из огней заката. Она была так нагружена, что сидела в воде выше ватерлинии. Он снова поглядел на немца.

— Спроси, сколько их там. Скажи: нам надо знать. Скажи: это очень важно.

Питерс снова заговорил с немцем — мягко и, как показалось Томасу Хадсону, даже ласково.

Немец с трудом выговорил три слова.

— Он говорит, что ничто не важно,— сказал Питерс.

— Скажи: он ошибается. Мне необходимо знать. И спроси, не сделать ли ему укол морфия.

Немец дружелюбно посмотрел на Томаса Хадсона и произнес три слова.

— Он говорит, теперь ему уже не больно,— сказал Питерс. Он быстро заговорил по-немецки, и опять Томас Хадсон уловил в его речи ласковую интонацию, но, может быть, такая интонация была присуща самому языку.

— Уймись-ка, Питерс,— сказал Томас Хадсон.— Переводи только то, что я говорю, и переводы точно, слышишь?

— Да, сэр,— сказал Питерс.

— Скажи ему, что я могу заставить его говорить.

Питерс что-то сказал немцу, и тот обратил глаза к Томасу Хадсону. Это были старческие глаза, вставленные в лицо молодого человека, только постаревшее, как старест топляк, и почти такое же серое.

— Nein,— медленно выговорил немец.

— Он говорит — нет,— перевел Питерс.

— Это я и сам понял,— сказал Томас Хадсон.— Вилли, пойди принеси ему теплого супа и коньяку немного захвати. Питерс, спроси его, если я не буду требовать, чтобы он говорил, так, может, он все-таки не откажется от морфия? Скажи, у нас его много.

Питерс перевел, и немец посмотрел на Томаса Хадсона и улыбнулся скупой северной улыбкой.

Он что-то почти неслышно сказал Питерсу.

— Он говорит спасибо, но ему уже не нужно, а морфий лучше поберечь.

Тут он еще что-то тихо сказал Питерсу, и тот перевел:

— Он говорит, вот на прошлой неделе морфий был бы ему очень кстати.

— Скажи ему, что я уважаю его за его мужество,— сказал Томас Хадсон.

Антонио уже подходил на шлюпке вместе с Генри и остальными, ездившими на Мегано.

— Потихо поднимайтесь на борт,— сказал им Томас Хадсон.— И держитесь подальше от кормы. Там у нас фриз умирает, и я хочу, чтобы он умер спокойно. Что вы обнаружили?

— Ничего,— сказал Генри.— Ровнехонько ничего.

— Питерс,— сказал Томас Хадсон.— Говори с ним, сколько хочешь. Может, что-нибудь выудишь. Мы с Вилли и Арой пойдем выпьем.

Внизу он сказал:

— Ну как у тебя с супом, Вилли?

— Да попалась мне тут похлебка из моллюсков,— сказал Вилли.— Она еще теплая. Сейчас дам ему.

— Почему тогда не суп из бычьего хвоста или индийский с приностями? — сказал Томас Хадсон.— Это его еще вернее прикончит. А где куриный бульон?

— Есть и куриный бульон, да я не хотел ему давать. Это же для Генри.

— И правильно,— сказал Генри.— Чего ради нам с ним цацкаться?

— А мы вовсе и не цацкаемся. Когда я велел насчет супа, я подумал, что тарелка горячего бульона и глоток другой коньяку помогут ему заговорить. Но он говорить не будет. Налей-ка мне джину, Ара.

— Они сделали для него укрытие, Том, и у него была хорошая постель из веток, и вдоволь воды, и еда в глиняном горшке. Старались сделать, чтобы ему было удобно, и канавки прорыли в песке для стока. От берега к укрытию протоптаны были дорожки, и ходило по ним человек восемь или десять. Не больше десяти. Мы с Вилли очень осторожно его несли. Обе его раны гангренозные, и по правому бедру гангрена уже высоко поднялась. Может, зря мы его сюда притащили, лучше было вам и Питерсу поехать туда и допросить его на месте? Если так, то это я виноват.

— У него было оружие?

— Нет. Ни оружия, ни личного опознавательного знака.

— Дай мне мой джин,— сказал Томас Хадсон.— Как по-твоему, когда были срезаны ветки для укрытия?

— По-моему, не позже, чем вчера утром. Но я, конечно, не уверен в этом.

— Вообще-то он хоть что-нибудь говорил?

— Нет. Как увидел пас с автоматами, так и сделался точно деревянный. Вот только испугался Вилли. Должно быть, когда увидел его глаз. А когда мы его подняли, он улыбнулся.

— Чтобы показать, что он еще может улыбаться,— вставил Вилли.

— И сразу сомлел,— сказал Ара.— Долго еще ему умирать, как ты считаешь, Том?

— Не знаю.

— Ну, пойдем-ка наверх и выпивку с собой возьмем,— сказал Генри.— Я не доверяю Питерсу.

— Сперва съедим эту похлебку,— сказал Вилли.— Я голоден. А ему можно согреть банку с куриным бульоном, если Генри согласен.

— Если он от этого заговорит, тогда пожалуйста,— сказал Генри.

— Ну, навряд ли,— сказал Вилли.— Но, видно, и в самом деле свинство — совать ему эту похлебку, когда он так плох. Отнеси ему коньяку, Генри. Может, он его любит, как мы с тобой.

— Не тревожьте его,— сказал Томас Хадсон.— Он хороший фриц.

— Ну как же,— сказал Вилли.— Все фрицы хорошие, когда лапки сверху поднимают.

— Он не поднимал лапок,— сказал Томас Хадсон.— Он просто умирает.

— И с большим достоинством,— сказал Ара.

— Ты что, тоже записался в обожатели фрицев? — спросил его Вилли.— Значит, вас теперь двое — ты да Питерс.

— Прекрати, Вилли,— сказал Томас Хадсон.

— А тебе-то что? — сказал ему Вилли.— Ты же всего-навсего выдохшийся вожак горсточкой пыльных обожателей фрицев.

— Пойдем на бак, Вилли,— сказал Томас Хадсон.— Ара, когда суп согреется, отнеси ему на корму. А вы, все, кто хочет, можете идти смотреть, как этот фриц умирает. Только не лезьте к нему.

Антонио хотел было пойти за Вилли и Томасом Хадсоном, но Томас Хадсон отрицательно покачал головой, и Антонио вернулся в камбуз.

Уже почти стемнело. Томас Хадсон только-только различал лицо Вилли. При таком освещении оно показалось ему более приятным, может быть и потому, что он стоял со стороны его зрячего глаза. Томас Хадсон посмотрел на Вилли, на обе якорные цепи, на еще маячившее в сумраке дерево на берегу. Ненадежный здесь грунт — песок, подумал он и сказал:

— Ну, Вилли, выкладывай, что там тебе еще не дает покоя?

— Ты,— сказал Вилли.— Изматываешь себя до полусмерти, потому что у тебя сын погиб. У всех дети умирают, не знаешь, что ли?

— Знаю. Еще что?

— Этот хреновый Питерс и этот хреновый фриц развели смрад на всю корму, и вообще, что это за судно такое, на котором первым помощником — кок?

— Как он стряпает?

— Стряпает он что надо и насчет вождения мелких судов знает побольше, чем мы все, вместе взятые, включая и тебя.

— Да, гораздо больше.

— А, к матери все это, Том. Ты не думай, что я злюсь на тебя. Мне не на что злиться. Просто я привык к другим порядкам. Но мне нравится это судно, и люди все мне здесь нравятся, кроме этого дерьмового Питерса. Только ты перестань себя изматывать.

— А я не изматываю,— сказал Томас Хадсон.— Я ни о чем не думаю, кроме работы.

— Ох, до чего же возвышенно, прямо набить тебя оплсками да на кресте распять,— сказал Вилли.— Ты бы лучше о шлюхах думал.

— Что ж, мы в общем к ним и держим путь.

— Вот это другой разговор.

— Вилли, а ты сейчас как — ничего?

— Конечно. А что? Просто этот фриц меня разбередил. Они ведь так аккуратно его устроили, как мы никого бы устроить не сумели. Или, может, сумели бы, будь у нас время. А они вот нашли время. Ну, положим, они не знали, что мы так близко. Но как им не знать, что кто-то за ними гонится? Теперь уж все за ними гонятся. А они так заботливо его устроили, как только можно устроить человека в таком состоянии.

— Верно,— сказал Томас Хадсон.— И тех на острове они тоже очень заботливо устроили.

— Да,— сказал Вилли.— Вот в том-то и беда.

Тут вошел Питерс. Он всегда держался как солдат морской пехоты, даже когда был не в лучшем виде, и очень гордился той подлинной дисциплиной без внешних формальностей, которая была правилом на судне. Он больше чем кто-либо умел этим пользоваться. Но сейчас, войдя, он стал по стойке «смирно» и отдал честь, из чего стало видно, что он пьян, и сказал:

— Том, то есть, простите, сэр. Он умер.

— Кто умер?

— Пленный, сэр.

— Хорошо,— сказал Томас Хадсон.— Включи свой генератор и постарайся связаться с Гуантанамо.

У них, наверно, что-нибудь для нас есть, подумал он.

— Пленный говорил? — спросил он Питерса.

— Нет, сэр.

— Вилли, — сказал Томас Хадсон, — как ты себя чувствуешь?

— Очень хорошо.

— Возьми несколько магниевых лампочек и сделай с него два снимка в профиль, с одной и с другой стороны. Откинь одеяло, и стяни с него шорты, и сделай один снимок во весь рост, как он там лежит на корме. Еще один снимок анфас головы и один — анфас во весь рост.

— Слушаю, сэр, — сказал Вилли.

Томас Хадсон поднялся на мостик. Он слышал, как заработал генератор, и видел вспышки магниевых лампочек. Там, наверху, где все подсчитывают, не поверят даже тому, что у нас вообще был пленный. Доказательств нет. Кто-нибудь скажет, что это было просто мертвое тело, которое фрицы спихнули в море, а мы выбрали. Надо было раньше его сфотографировать. А, ладно, ну их к чертям. Может, завтра мы остальных добудем.

Подошел Ара.

— Том, кого ты назначишь отвезти его на берег и похоронить?

— Кто сегодня меньше всех работал?

— Все много работали. Я возьму с собой Хилья, и мы вдвоем все сделаем. Зароем его в песок над линией прилива.

— Лучше повыше.

— Я пришлю Вилли, и ты ему скажи, какую надпись сделать на доске. У меня в кладовой есть подходящая доска от ящика.

— Присылай Вилли.

— Зашить тело в брезент?

— Нет. Только заверните в его собственное одеяло. Присылай Вилли.

— Что пужно? — спросил Вилли.

— Сделай на доске надпись: «Неизвестный немецкий матрос» и поставь дату.

— Хорошо, Том. Мне съехать на берег для похорон?

— Нет, Ара и Хилья поедут. Сделай надпись и отдохни, выпей чего-нибудь.

— Как только Питерс поймает Гуантанамо, я пришлю тебе сказать. А ты сам не хочешь сойти вниз?

— Нет. Я и тут отдыхаю.

— И каково это — бодрствовать на мостике такого большого корабля, с сознанием своей ответственности и всякой прочей дерьмовой хреповины?

— Примерно так же, как делать надпись на той доске.

Пришла радиограмма из Гуантанамо. Расшифрованная, она гласила: ПРОДОЛЖАЙТЕ ТЩАТЕЛЬНЫЕ ПОИСКИ ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ.

Это нам, сказал про себя Томас Хадсон. Он лег и тут же заснул, и Генри укрыл его легким одеялом.

IX

За час до рассвета Томас Хадсон уже был внизу и смотрел на барометр. Оказалось, что барометр упал на четыре десятых, и он разбудил помощника и показал ему.

Помощник посмотрел и кивнул.

— Ты же видел вчера грозовые тучи над Романо,— сказал он.— А теперь они переходят на юг.

— Завари мне, пожалуйста, чаю,— попросил Томас Хадсон.

— У меня есть холодный в бутылке на льду.

Томас Хадсон пошел на корму, отыскал ведро и тряпку и вымыл палубу. Ее уже успели помыть, но он вымыл еще раз и прополоскал тряпку. Потом взял бутылку с холодным чаем, поднялся на мостик и стал ждать, когда рассветет.

Еще до света его помощник выбрал кормовой якорь, потом они с Арой выбрали бортовой якорь и наконец втроем с Хилем втащили шлюпку на борт. Потом помощник откачал трюмную воду и проверил моторы.

Помощник высунул голову наверх и сказал:

— Теперь можно в любое время.

— Почему столько набралось воды?

— Да там у меня сальник один разболтался. Я уже подтянул его немного. Но пусть лучше набирает воды, чем чтобы моторы перегревались.

— Хорошо. Пошли ко мне Ару и Генри. Будем уходить.

Они выбрали якорь, и Томас Хадсон повернулся к Аре:

— Покажи мне еще раз то дерево.

Ара показал. Оно виднелось чуть повыше линии прилива в бухте, которую они покидали, и Томас Хадсон карандашом поставил на карте маленький крестик.

— Питерсу больше не удалось поймать Гуантанамо?
— Нет. У него опять перегорело.
— Ну что ж, мы идем по пятам за ними, и впереди их тоже кто-то ждет, и у нас есть приказ.

— Ты думаешь, Том, ветер в самом деле переменится?

— По барометру выходит, что так. Увидим, когда он опять посвежеет.

— Около четырех часов ветра почти совсем не было.

— Допимают тебя мошки?

— Только днем.

— Сойди вниз и опрыскай там все. Какого черта там возить их с собой?

День был прекрасный, и, глядя назад, на бухту, где они стояли на якорь, глядя на берег и чахлые деревья Кайо Круса, так хорошо им обоим знакомого, Ара и Томас Хадсон видели высокие, громоздившиеся над сушей облака. Кайо Романо так возвышался над морем, словно это был уже материк, а над ним еще выше в небе стояли облака, суля то ли южный ветер, то ли штиль, то ли прибрежные шквалы.

— Ара, что бы ты подумал, если б был немцем? — спросил Томас Хадсон. — Что бы ты сделал, если б видел все это и понимал, что очень скоро заштилет?

— Попытался бы пробраться в глубь какого-нибудь острова, — сказал Ара. — Вот что я бы сделал.

— Но для этого нужен проводник.

— Я достал бы проводника, — сказал Ара.

— Где бы ты его взял?

— У рыбаков на Антоне или где-нибудь поглубже на Романо. Или на Коко. Там, наверно, рыбаки сейчас солят рыбу. На Антоне, может, даже нашелся бы вельбот.

— Попробуем сперва Антон, — сказал Томас Хадсон. — Приятно проснуться утром и стать к штурвалу, когда солнце светит тебе в спину.

— Если бы солнце всегда светило в спину, когда стоишь у штурвала, да еще погода была, как сегодня, океан был бы совсем уютным местечком.

День был прямо летний, и шквала ничто не предвещало. День весь был как доброе обещание, и море лежало вокруг светлое и гладкое. Они ясно видели дно, пока не перешли на большие глубины, и как раз там, где и следовало, показалась Минерва и волны, разбивающиеся у ее коралловых рифов. То была зыбь, оставшаяся после пас-

сатов, непрерывно дувших два месяца. Но и эти волны разбивались мягко и ласково, с какой-то послушной регулярностью.

Как будто океан говорит: все мы теперь друзья, и никогда больше не будет у нас ни ссор, ни схваток, думал Томас Хадсон. Почему он такой коварный? Река может предать тебя и быть жестокой, но часто она и добра и благожелательна. Какой-нибудь ручей может стать твоим другом на всю жизнь, если только ты не причинишь ему зла. Но океан непременно должен обмануть, прежде чем он расправится с тобой.

Томас Хадсон снова поглядел, как вздымалась и опала водная гладь, показывая все островки Минервы так аккуратно и в таком привлекательном виде, как будто океан старался их продать в качестве завидных участков под застройку.

— Не принесешь ли мне сандвич? — попросил Ару Томас Хадсон. — Из солонины с луком или яичницы с ветчиной и с луком. После завтрака составь вахту из четырех человек и приведи их сюда, и пусть проверят все бинокли. Я сперва выйду в открытое море, а потом уже повернем на Антон.

— Хорошо, Том.

Что бы я делал без этого Ары, подумал Томас Хадсон. Ты чудесно выспался, сказал он себе, и чувствуешь себя как нельзя лучше. У нас есть приказ, и мы сидим у них на хвосте и тесним их к другим, которые их поджидают. Ты выполняешь приказ и посмотри, какое прекрасное утро дано тебе для слежки за ними. Только как-то чересчур уж все хорошо.

Они прошли по проливу, настороженно следя за всем вокруг, но ничего не увидели, кроме приветливо колышущегося утреннего моря и длинной зеленой полосы Романо за грядой мелких островков.

— С таким ветром они далеко не уйдут, — сказал Генри.

— Никуда они не уйдут, — сказал Томас Хадсон.

— А мы высадимся на Антоне?

— Конечно. И все прочедем.

— Мне правится Антон, — сказал Генри. — Хорошее место, есть где отстаиваться при тихом море так, чтобы никто не тронул.

— Подальше от берега можно и попасться, — сказал Ара.

В небе показался небольшой самолет; он шел низко и направлялся к ним. Белый, и маленький, и ярко освещенный солнцем.

— Самолет,— сказал Томас Хадсон.— Скажи там, что-бы подняли большой флаг.

Самолет летел все в том же направлении, пока не прошел совсем низко над судном. Тогда он сделал над ним два круга, затем повернул и ушел на восток.

— Это ему даром бы не сошло, если б это были не мы, а те, кого он искал,— сказал Генри.— Его бы сбили.

— Он бы успел сообщить координаты на Кайо Франсес.

— Пожалуй,— сказал Ара.

Двое других басков ничего не сказали. Они стояли спина к спине и просматривали каждый свой квадрат.

Немного погодя тот баск, которого на катере называли Джордж, потому что его звали Эухенио, а Питерсу не всегда удавалось это выговорить, обратиться к Томасу Хадсону, сказал:

— Самолет возвращается в восточном направлении между дальними островами и Романо.

— Домой полетел завтракать,— сказал Ара.

— Он про нас доложит,— сказал Томас Хадсон.— И глядишь, этак через месяц все уже будут знать, где мы находились сегодня утром.

— Если только не спутает координаты у себя на карте,— сказал Ара.— Том, смотри, это уже Паредон Гранде. Примерно в двадцати градусах по левому борту.

— У тебя зоркие глаза,— сказал Томас Хадсон.— Это он, точно. Поверну-ка я к берегу, и будем искать проход на Антон.

— Положи лево руля на девяносто градусов и, по-моему, как раз попадешь.

— Во всяком случае, упрусь в берег, а потом пойдем вдоль, пока не наткнемся на этот чертов проход.

Они шли к длинной цепи зеленых островков, которые сперва казались торчащими из воды черными колыями, потом постепенно обретали форму и цвет, а под конец становились видны и песчаные берега. Томасу Хадсону очень не хотелось менять широкий пролив, ласковые волны, красоту раннего утра в открытом море на кропотливую работу по прочесыванию лесистых островков. Но поведение самолета, летевшего сперва в их сторону, а потом круто повернувшего обратно, могло означать только одно: что па

восточном направлении вражеские суда не обнаружены. Конечно, это мог быть обыкновенный патруль. Но логичнее предположить иное. К тому же обыкновенный патруль и над проливом прошел бы в обоих направлениях.

Он видел, как Антон, густо поросший лесом и приятный на вид остров, вырастал перед ним, и, подвигаясь все ближе к берегу, Томас Хадсон искал глазами известные ему ориентиры. Надо было найти самое высокое дерево на вершине острова и точно совместить его с небольшой седловиной на Романо. С этим ориентиром он мог попасть куда надо, даже если бы солнце было ему в глаза и вода сверкала, как расплавленное стекло.

Сегодня это не было нужно. Но он все проделал практики ради, нашел дерево, подумал, что на этом, столь подверженном ураганам побережье надо было бы избрать ориентиром что-нибудь более долговечное, потом пошел тихонько вдоль берега, пока дерево не вдвинулось точно в выемку седловины, и круто повернул. Катер очутился в узкой протоке меж двух мергельных, едва покрытых водой берегов, и Томас Хадсон сказал Аре:

— Попроси Антонио забросить крючки. Может, выудим что-нибудь съедобное. В этой протоке целый буфет на дне.

Дальше он прошел уже прямо вперед по своему первому ориентиру. У него появился было соблазн даже не смотреть на берега, а просто идти в заданном направлении, но он понял, что это в нем действует тот избыток гордыни, о котором говорил Ара, и он очень осторожно вел судно вдоль правого берега, следя за фарватером, а не только полагаясь на далекие ориентиры. Это было похоже на езду по прямым улицам нового городского района, и приливная волна бежала в ту же сторону, сперва бурая, а потом светлая и прозрачная. Еще не добравшись до того места, которое Томас Хадсон заранее облюбовал для стоянки, он услышал отчаянные крики Вилли: «Ры-ы-ба! Ры-ы-ба!» — и, оглянувшись, увидел, как за кормой выскочил из воды большой тарпон. Пасть у него была разинута, он был огромен, солнце сверкало на его серебристой чешуе и на длинном зеленом хлысте его спинного плавника. Он яростно дернулся и шлепнулся в воду, подняв целый вихрь брызг.

— *Sábalo* ¹, — с отвращением сказал Антонио.

¹ Рыба бешепка (*исп.*).

— Никчемный *sábaló*, — сказали баски.

— Можно, я с ним повоюю, Том? — спросил Генри. — Мне хочется его поймать, хоть он и не годится в пищу.

— Перейми его у Антонио, если на него не пацелился Вилли. Скажи Антонио, чтобы шел на бак. Будем становиться на якорь.

Пока травили якорную цепь, тарпоп продолжал прыгать за кормой, но на это никто не обращал внимания, разве только ухмылялись мельком.

— Второй не нужен, думаешь? — крикнул Томас Хадсон помощнику. Тот покачал головой. Когда якорь крепко засел, Антонио поднялся на мостик.

— Катер теперь все выдержит, Том, — сказал он. — Любой шквал. Все что угодно. Ну, покачает его на месте, с якоря все равно не сорвет.

— В котором часу можно ждать шквала?

— После двух.

— Спусти шлюпку, — сказал Томас Хадсон. — И дай мне с собой лишнюю канистру горючего. Нам нужно будет гнать что есть духу.

— Кто еще поедет?

— Только мы трое — Ара, Вилли и я. Не хочу перегружать шлюпку.

х

В шлюпке они все трое завернули *piños* в свои плащи. Это были томпсоновские автоматы в чехлах из овчины мехом внутрь. Чехлы кроил и шил Ара, не учившийся портновскому ремеслу, а Томас Хадсон пропитал стриженный мех овчины каким-то защитным маслом, издававшим легкий запах карболки. Оттого, что автоматы так уютно лежали в своих меховых колыбельках и колыбельки так уютно покачивались, когда висели, открытые, в одном из отделений под мостиком, баски и прозвали автоматы «детishками».

— Дай нам фляжку воды, — сказал Томас Хадсон помощнику. Когда Антонио принес фляжку, тяжелую и холодную, с широкой завинчивающейся пробкой, Томас Хадсон передал ее Вилли, и тот уложил ее где-то под передней банкой. Ара любил править шлюпкой, поэтому сидел на корме, Томас Хадсон — в середине, а Вилли пристроился на носу.

Ара повел шлюпку прямо к острову, а Томас Хадсон смотрел на облака, громоздившиеся в небе над сушей. Когда они вышли на мелководье, Томас Хадсон увидел сероватые раковины съедобных моллюсков, торчавшие из песка. Ара нагнулся вперед и спросил:

— Берег будем осматривать, Том?

— Да, пожалуй, лучше сейчас, пока дождь не пошел.

Ара погнал шлюпку к берегу, приподняв мотор точно в последний момент. В одном месте приливом размыло песок, образовался небольшой заливчик, в него-то Ара и загнал шлюпку и косо врезал ее в песок.

— Вот мы и дома,— сказал Вилли.— Как эту потаскуху зовут?

— Антон.

— Не Антон Большой, и не Антон Маленький, и не Антон Вонючий Козел?

— Просто Антон.

— Ты ступай вон к тому мысу на востоке, обогни его и иди дальше — мы тебя потом подберем. Я быстро осмотрю берег с этой стороны. Ара пройдет на шлюпке до следующего мыса, оставит ее там и осмотрит все, что за мысом. А я потом нагоню его на шлюпке, и мы вернемся за тобой.

Вилли взял своего піѳо, завернутого в плащ, и взвалил себе на плечо.

— Если я найду фрицев, можно их перестрелять?

— Полковник сказал — всех, кроме одного,— пояснил Томас Хадсон.— Уж постарайся оставить кого потолковее.

— Я у каждого проверю коэффициент умственных способностей, прежде чем открывать огонь

— Ты сперва у себя проверь.

— У меня-то он невелик, а то разве я был бы здесь,— сказал Вилли и пустился в путь. Он шествовал с видом величайшего презрения, но осматривал все так дотошно, как не всякий бы сумел.

Томас Хадсон объяснил Аре по-испански, что каждый из них должен делать, и затем столкнул шлюпку на воду. Сам он двинулся вдоль берега, со своим піѳо под мышкой, чувствуя, как песок забивается между пальцами его босых ног. Шлюпка уже огибала маленький мыс впереди.

Он был рад очутиться снова на суше и шел так быстро, как только можно было идти, одновременно осматривая окрестность. Идти по берегу было приятно, и здесь у Томаса Хадсона не возникало дурных предчувствий,

как утром, в открытом море. Жуткое какое-то было утро, подумал он. Может быть, именно от тишины на море. И облака в небе все еще грозмятся. Но ничего плохого не случилось. Сейчас на жарком солнышке не было ни москитов, ни мошек, и впереди Томас Хадсон увидел высокую белую цаплю, которая стояла, глядя в мелкую воду и нацелясь на что-то головой, шеей и клювом. Она не улетела, когда Ара проехал мимо в шлюпке.

Надо тщательно все обыскать, подумал Томас Хадсон, хоть я и не верю, что тут что-нибудь есть. На сегодня они заштилевали, так что мы ничего не теряем. Но было бы непроситительно их прозевать. Почему я так мало о них знаю, подумал он. Это моя вина. Надо было мне там самому съехать на берег и осмотреть укрытие, которое они устроили для раненого, и следы на песке. Я расспрашивал Вилли и Ару, а они, конечно, свое дело знают. Но все-таки надо было поехать самому.

Тут все дело в том, что мне противно с ними сталкиваться, подумал он. Это мой долг, и я хочу их поймать и поймаю. Но не могу отделаться от чувства какой-то общности с ними. Как у заключенных в камере смертников. Бывает ли, чтобы люди в камере смертников не увидели друг друга? Думаю, что нет, если они не душевнобольные.

Как раз в эту минуту цапля вдруг сиялась и полетела вдоль берега дальше. Потом, спланировав на своих больших белых крыльях и сделав несколько неловких шагов, она снова стала наземь. Как жаль, что я ее спугнул, подумал Томас Хадсон.

Он проверил весь берег выше черты прилива. Но следов не было, кроме следов черепахи, которая проползла тут дважды. Один широкий след к морю, другой обратно да еще рыхлое углубление, где она лежала.

Нет у меня времени выкопать черепашьи яйца, подумал он. Облака понемногу сгущались и наплывали ближе.

Если бы фрицы побывали с этой стороны острова, они, конечно, вырыли бы яйца. Он посмотрел вперед, но не увидел шлюпки, потому что там выступал другой, закруглявшийся, мыс.

Он шел по песку, плотному после прилива, и смотрел, как раки-отшельники тащат на себе свои раковины и как более проворные крабы перебегают полосу песка и соскальзывают в море. Справа в неглубокой протоке он увидел что-то серое — косяк лобанов и их движущиеся тени на песчаном дне. Увидел еще тень очень большой барра-

куды, которая подстерегала лобанов, а потом и саму ее, длинную, бледную, серую и как будто застывшую в неподвижности. Он шел и шел и вскоре миновал рыб и уже опять подходил к цапле.

Посмотрим, сумею ли я пройти мимо и не спугнуть ее, подумал он. Но как раз когда он почти поравнялся с ней, стая лобанов вдруг выскочила из воды. Прыгали они неуклюже, лупоглазые и головастые, серебряные на солнце и все же некрасивые. Томас Хадсон обернулся: ему хотелось и понаблюдать за лобанами, и разглядеть барракуду, которая, очевидно, напала на них. Но хищной рыбы он не увидел — только дикие прыжки испуганных лобанов. Потом стая опять соединилась в воде в серую движущуюся массу, а когда он повернул голову, цапли уже не было. Она летела на своих белых крыльях над зеленой водой, а впереди был только желтый песок и темнел ряд деревьев на мысу. Облака все больше сгущались за Романо, и Томас Хадсон прибавил шагу, стремясь скорее обогнуть мыс и найти оставленную Арой шлюпку.

От быстрой ходьбы он пришел в возбуждение и подумал, что, наверно, никаких фрицев поблизости нет. Он не мог бы так себя чувствовать, если бы они были близко. Впрочем, не знаю. Может, и мог бы, если бы думал, что их нет, и не знал, что ошибается.

На мысу песок был совсем светлый, и он подумал: хорошо бы здесь полежать. Славное местечко. Потом далеко впереди он увидел на берегу шлюпку и подумал: а ну его. Буду сегодня спать на судне и буду любить надувной матрац или, скажем, мостик. Почему бы мне не любить мостик? Мы с ним так давно вместе, впору пожениться. Уж наверно, про нас с ним давно ходят сплетни. Пора узаконить наши отношения. А ты что делаешь? Топаешь по нему и стоишь на нем. Нечего сказать, хорошее обращение! И еще проливаешь на него холодный чай. Это уж совсем нелюбезно. И для чего ты его бережешь? Чтобы умереть на нем? Он, без сомнения, это оценит. Ходи по нему, стой на нем и умри на нем. Это будет очень мило. Но я тебе скажу, что ты сейчас действительно можешь сделать — это перестать нести чепуху и хорошенько тут все обследовать и подобрать Ару.

Он шагал дальше по отмели и старался больше ни о чем не думать, а только замечать окружающее. Он хорошо знал свой долг и никогда не пытался от него уклониться. Вот и сегодня он съехал на берег — хотя и любой из

команды мог бы это сделать с тем же успехом, — потому что, если он оставался на судне, а они ничего не находили, он чувствовал себя виноватым. Он внимательно во все вглядывался. Но не мог не думать.

Может быть, на той стороне, у Вилли, дела идут живее, подумал он. Может быть, Ара уже напал на что-нибудь. Я бы именно здесь высадился, будь я на месте фрицев. Это первое удобное для них место. Но они могли его проскочить и пройти дальше. Или, наоборот, раньше свернуть, между Паредоном и Крусом. Но не думаю, потому что их бы заметили с маяка, а ночью в темноте никогда бы им оттуда не пробраться вглубь, даже будь у них проводник. Скорей всего, они прошли дальше. Может, мы найдем их на Коко. Или где-нибудь поблизости. Тут рядом есть еще островок, который тоже не мешает обшарить. Надо помнить, что они все время руководствуются картой. Если только не взяли здесь какого-нибудь рыбака в проводники. Дыма я нигде не видел, не похоже, чтоб кто-нибудь тут жег уголь. Ну, я рад, что этот остров будет у нас прочесан до дождя. Я люблю это делать. Только вот финал мне не нравится.

Он столкнул шлюпку на воду и сел в нее, смыв при этом песок с ног. Своего пипо, завернутого в дождевик, он положил так, чтобы его легко было достать, и завел мотор. Он не питал такой любви к подвесному мотору, как Ара, и, заводя его, всегда помнил о том, что нужно продуть и прососать карбюратор и что могут подгореть свечи или пропасть искра — словом, обо всех радостях общения с малыми моторами. Но у Ары никогда не было трудностей с зажиганием, и, если мотор вытворял что-нибудь неположенное, Ара воспринимал это с оттенком восхищения — так, как шахматист мог бы воспринять блестящий ход противника.

Томас Хадсон двигался вдоль берега, но Ара ушел далеко вперед, и его не было видно. Он, наверно, уже на полпути к Вилли, подумал Томас Хадсон. Но Ара в конце концов обнаружился почти у самых мангровых зарослей, где кончался песок и прямо из воды поднимались тяжелые и зеленые мангровые деревья с их воздушными корнями, похожими на перепутанные коричневые сучья.

И тут он заметил, что в зарослях торчит мачта. Больше ничего он не увидел. Только минуту спустя заметил Ару, который залег за невысокой песчаной дюной, так, чтобы глядеть поверх ее гребня.

Он почувствовал, что у него точно иголками закололо голову, как бывает, если вдруг увидишь, что прямо на тебя по правой стороне дороги несется машина. Но Ара услышал стук мотора, и повернул голову, и поманил Томаса Хадсона к себе. Томас Хадсон пристал к берегу наискосок от Ары.

Баск влез в шлюпку, держа обмотанного плащом піпо дулом вперед на правом плече, прикрытом старой полосатой рубашкой. Вид у него был довольный.

— Иди по протоке, она тебя сама выведет,— сказал Ара.— Мы там встретимся с Вилли.

— Это одна из тех шхун?

— Факт,— сказал Ара.— Но я уверен, они ее бросили. Скоро будет дождь, Том.

— Ты что-нибудь видел?

— Ничего.

— Я тоже.

— Это хороший островок. Я нашел старую тропинку к воде. Но там давно уже не ходили.

— На той стороне, где Вилли, тоже должна быть вода.

— А вот и Вилли,— сказал Ара.

Вилли сидел на песке, поджав ноги, со своим піпо на коленях. Томас Хадсон подождал к нему шлюпку. Вилли поглядел на них. Черные волосы свисали ему на мокрый от пота лоб, здоровый глаз был голубой и сердитый.

— Где вы, говнюки, пропадали? — спросил он.

— Давно они были здесь, Вилли?

— Вчера, судя по их дерьму. Или мне следовало сказать — по их экскрементам?

— Сколько их было?

— Восемь, которые могли экскрементировать. И у троих из них был понос.

— Еще что?

— У них был проводник или лодман — или какая там у него кличка.

В проводники они взяли местного рыбака. Рыбак жил в хижине, крытой пальмовыми листьями, и солил и сушил на решетке нарезанное полосками мясо барракуды, а потом продавал его китайцам, а те скупали его для китайских лавочников, которые продают сушеную барракуду под видом трески. Рыбак насолил и насушил огромное количество рыбы, судя по виду решетки.

— Фрицы кушай треска много-много,— сказал Вилли.

— Это на каком языке?

— На моем личном,— сказал Вилли.— Тут у всех свой язык. У басков, например, или еще у кого. Есть возражения?

— Рассказывай дальше.

— Бай-бай тут все возле дыма,— сказал Вилли.— Кушай свинкино мясо. То самое, что взяли, где устроили бойню. У главный фриц нет консервы или бережет.

— Не валяй дурака и говори по-людски.

— Масса Хадсон все равно терий день, потому ливневые осадки, сопровождаемые шквальными ветрами. Лучше слушай Вилли, знаменитый следопыт пампасов. Вилли говори свой язык.

— Прекрати.

— Слушай, Том, кто дважды паходил фрицев?

— А что случилось со шхуной?

— Шхуна больше нету. Много гнилой доска. Из корма одна доска вон упал.

— Шли в темноте, наверно, наткнулись на что-нибудь.

— Должно быть, так. Ну ладно, больше не буду. Они ушли на запад, к солнцу. Восемь человек и проводник. А может, и девять, если капитан не мог экскрементировать по причине своей высокой ответственности, что случается и с нашим капитаном, когда у него неполадки, а тут еще дождь собрался. Шхуна, что они бросили, провожала насквозь и вся загажена свиньями, и курами, и тем фрицем, которого мы похоронили. У них еще один раненый, но, кажется, не тяжело, судя по бинтам.

— Гной?

— Да. Но чистый гной. Хочешь все это сам посмотреть или поверишь мне на слово?

— Я верю каждому твоему слову, по посмотреть все-таки хочу.

Он все увидел: следы, костер, возле которого они спали и на котором стряпали, брошенные бинты, заросль, которую они использовали как отхожее место, капавку, которую шхуна прорезала в песке, когда они загнали ее па берег. Теперь уже шел сильный дождь и палетали первые порывы шквала.

— Наденьте плащи и спрячьте пiños под ними,— сказал Ара.— Мне же вечером придется их укладывать.

— Я тебе помогу,— сказал Вилли.— Мы дышим фрицам в затылок, Том.

— Но впереди у них обширная территория, и с ними человек, знающий местность.

— Вот у тебя всегда так, — сказал Вилли. — Что он может знать, чего мы не знаем?

— Очень многое.

— Ну и хрен с ним. Вот доберемся, и я вымоюсь с мылом на корме. Ух, до чего стосковалась кожа по хорошей пресной воде и мылу!

Дождь теперь так лил, что, когда они вышли из-за мыса, трудно было даже найти судно. Шквал передвинулся к океану и был так свиреп, а дождь так силен, что пытаться разглядеть судно было все равно что смотреть на какой-нибудь предмет сквозь струи водопада. Все бочки в одну минуту переполнит, подумал Томас Хадсон. Из крапов в камбузе вода уже, наверно, в море хлещет.

— Том, сколько дней назад был последний дождь? — спросил Вилли.

— Надо посмотреть в корабельном журнале. Что-то вроде пятидесяти.

— Похоже, это уже муссон начинается, — сказал Вилли. — Дай мне тыкву, я буду вычерпывать.

— Не замочи своего пи́ю.

— Приклад у меня между колен, а ствол на левом плече под плащом, — сказал Вилли. — Такого комфорта он в жизни своей не видал. Дай мне тыкву.

На корме все купались голышом. Мылились, стоя то на одной ноге, то на другой, нагибаясь, чтобы не сразу смыло, а потом, растершись, откидывались назад, прямо под хлещущий дождь. Смуглые тела казались белыми в этом странном освещении. Томасу Хадсону вспомнились купальщики Сезанна, но потом он решил, что интересней бы это получилось у Эйкинса. А потом подумал, что следовало бы ему самому это написать: катер на фоне сокрушительной белизны прибоя, прорвавшей серую пелену дождя, и чернота налетевшего шквала, и мгновенный проблеск солнца, сделавший серебряными дождевые струи и осиявший купальщиков на корме.

Он подвел шлюпку к борту, и Ара забросил конец, и вот они уже были дома.

XI

Вечером, во время дождя, он проверил все места, где после долгих засушливых дней обнаружилась течь, и присмотрел за тем, чтобы всюду были подставлены ведра, а самые щелки, пропускавшие воду, были обведены толстой

карандашной чертой; и, когда все это было сделано и дождь перестал, он посоветовался со своим помощником и с Арой, и они распределили все вахты, установили обязанности каждого из команды и договорились о разных других делах. После ужина те, кто был свободен от вахты, сели играть в покер, а Томас Хадсон поднялся на мостик. Он взял с собой свой опрыскиватель, надувной матрац и легкое одеяло.

Он решил полежать и отдохнуть, не думая ни о чем. Иногда это ему удавалось. Иногда он просто думал о звездах, не философствуя, или об океане — вне связанных с ним задач, или о восходе солнца — без тревоги за наступающий день.

Он чувствовал себя с головы до ног очень чистым после того, как с мылом вымылся на корме под дождем. Вот буду просто лежать и радоваться ощущению чистоты, думал он. Он знал, что не стоит теперь думать о женщине, бывшей матерью его сына, и о том, как они любили друг друга, о тех местах, где они бывали вдвоем, и о днях, когда произошел их разрыв. И о Томе тоже думать не нужно. Это он запретил себе, как только узнал.

О двух других тоже ни к чему было думать. Их он тоже потерял, и теперь думать о них ни к чему. Все это он обменял на новую лошадь и должен твердо сидеть в седле. Вот и лежи тут и радуйся, что ты такой чистый после дождя и мыла, и постарайся вовсе не думать ни о чем. Одно время это у тебя неплохо получалось. Может быть, тебе удастся заснуть и увидеть во сне что-нибудь смешное или просто приятное. Лежи спокойно и смотри в ночь и не думай. Ара или Генри разбудят тебя, если Питерсу вдруг удастся что-нибудь поймать.

Скоро он и в самом деле заснул. Он опять был мальчишкой-подростком и верхом взбирался на крутой склон ущелья. Потом ущелье раздвинулось и показалась песчаная отмель у прозрачной реки, такой прозрачной и чистой, что можно было разглядеть каждый камешек на дне, и видно было, как одурелая форель чуть не выпрыгивает из воды в погоне за плывущими по течению мошками. Он сидел на лошади и наблюдал за форелью, когда Ара разбудил его.

В радиোগрамме было сказано: **ПРОДОЛЖАЙТЕ УСИЛЕННЫЙ ПОИСК ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ** — и кодовая подпись.

— Спасибо,— сказал Томас Хадсон.— Если будет еще что-нибудь, сообщи.

— Конечно. Ты спи пока дальше, Том.

— Я видел замечательный сон.

— Не рассказывай мне его. Тогда он, может, и сбывается.

Он снова заснул и, уже засыпая, улыбнулся при мысли, что, в сущности, выполняет приказ: продолжает поиск в западном направлении. И зашел я на запад довольно далеко, подумал он. Дальше, чем там могли предполагать.

Он спал, и ему снилось, что хижина сгорела и что кто-то подстрелил его олененка, успевшего вырасти в оленя. Кто-то подстрелил и его собаку: он нашел ее под деревом мертвую и проснулся весь в поту.

Сны — тоже не решение вопроса, сказал он себе. Лучше уж относиться к ним попросту и не ждать от них анестезирующего действия. Давай-ка продумаем это до конца.

Все, что у тебя теперь есть,— это твоя главная задача и те частные задачи, которые приходится решать попутно. Это все, что у тебя теперь есть, так что относись к этому по-хорошему. Больше тебе никогда не будут сниться приятные сны, поэтому спать, может, вовсе не стоит. Просто нужно лежать и чтобы голова у тебя работала, пока не откажет, а уж если заснешь — будь готов ко всяким кошмарам. Ночные кошмары — таков твой выигрыш в азартной игре, которую затеял кто-то другой. Ты принял правила и сделал ставку, и вот что тебе выпало: тяжелый, беспокойный сон. А могла выпасть и полная бессонница. Но этот свой выигрыш ты обменял на то, что у тебя есть теперь, так что не жалуйся. Вот сейчас тебя уже клонит ко сну. Так спи, только будь готов проснуться весь в поту. Ну и что? А ничего, совсем ничего. Но ведь было время, когда ты всю ночь спал с женщиной, которую ты любил, и был счастлив и просыпался, только когда она будила тебя, потому что ей хотелось любви. Можешь вспоминать то время, Томас Хадсон, не знаю только, станет ли тебе легче от этого.

Хотел бы я знать, есть ли у них перевязочный материал для второго раненого. Если они успели раздобыть перевязочный материал, могли успеть и еще кое-что раздобыть. А что именно? Как ты думаешь, что у них есть, кроме того, о чем тебе известно? Едва ли много чего. Ну,

пистолеты, может, несколько автоматов. Может, немного взрывчатки, которую они попытаются приспособить к делу. Я обязан исходить из возможности, что у них есть и станковый пулемет. Только не думаю. Вряд ли им хочется драться. Чего им хочется — это выбраться к чертям отсюда и попасть на испанский пароход. Будь они расположены драться, они бы в ту ночь вернулись и захватили Конфитес. Хотя кто знает. Может, что-нибудь насторожило их. Может, они увидели на берегу наши бочки с горючим и подумали, что мы на ночь возвращаемся туда. Ведь они же не знают, кто мы. Они могли увидеть бочки на берегу и решить, что на Конфитес базируется какое-то судно, потребляющее много горючего. И потом, едва ли им хочется драться, имея уже раненых на борту. Правда, шхуна с этими ранеными могла бы где-нибудь отстояться ночью, а те, кто способен к бою, высадились бы и захватили радиостанцию, если им очень нужно было связаться со второй подлодкой. Хотел бы я знать, куда девалась эта вторая подлодка. Что-то очень с ней странно все.

Подумай-ка лучше о чем-нибудь более веселом. Например, как приятно будет стоять у штурвала спиной к солнцу. Но помни, что, наевшись соленой рыбы, они теперь лучше разбираются в местных условиях, так что придется тебе поработать головой. Он заснул и проснулся только за два часа до рассвета, когда его стали кусать мошки. Мысли о деле успокоили его, и он проспал это время без всяких спов.

II

Они снялись с якоря еще до рассвета, и Томас Хадсон повел судно по узкой, похожей на канал протоке между двух отмелей, серевших по сторонам. К восходу солнца он уже выбрался из этой протоки и, осторожно минуя каменистые выступы большого рифа, взял курс на север, туда, где синело открытое море. Можно было выиграть в расстоянии, пройдя вдоль рифа с внутренней стороны, но там путь был бы опаснее.

Ветер улегся, и море было настолько спокойно, что волны лишь тихо плескались у камней. Но день обещал быть горячим и душным, и можно было ждать, что после полудня налетит шквал.

Его помощник взошел на мостик и огляделся кругом. Потом стал всматриваться в дальнюю полосу берега, где торчала высокая, безобразная башня маяка.

— Можно было спокойно идти с внутренней стороны.

— Знаю,— сказал Томас Хадсон.— Но так лучше, по моему.

— День будет как вчера. Только еще жарче.

— Они не уйдут далеко.

— Они никуда не уйдут. Они где-нибудь выжидают. На маяке тебе скажут, шли они через проход между Паредоном и Коко или нет.

— Верно.

— Я схожу к маяку на шлюпке,— сказал Антонио.— Я знаю смотрителя. А вы можете подождать меня у маленького островка против мыса. Я мигом обернусь.

— Пожалуй, и бросать якорь не стоит.

— Ну, якорь нетрудно выбрать, у тебя достаточно дюжких парней.

— Пошли наверх Вилли и Ару, если они поели. Едва ли кто рискнет здесь показаться, уж очень близко от маяка, и, потом, треклятое солнце так бьет в глаза, что ничего и не увидишь. Но все-таки пошли еще Джорджа, и Генри тоже. Наше дело — ничего не упустить.

— Том, ты не забывай только, что подводные камни в этих местах попадают даже там, где вода уже совсем сияя.

— Не забываю, тем более что их можно увидеть.

— Чай будешь пить холодный?

— Да. И пожалуйста, сделай мне сандвич. Только раньше вышли людей на вахту.

— Сейчас вышлю. С кем-нибудь из них передам тебе чай, а сам буду готовить шлюпку к спуску.

— Смотри только, разговор там веди осторожно.

— Для этого я и вызвался идти туда сам.

— Захвати рыболовную снасть. Меньше вызовешь подозрений, когда шлюпка подойдет к маяку.

— Верно,— сказал его помощник.— Хорошо бы еще захватить им каких-нибудь гостинцев.

Четверо поднялись на мостик и заняли каждый свой пост. Генри спросил:

— Ничего не видал, Том?

— Видал черепаху, а над ней летала чайка. Я все думал, она опустится черепахе на спину, но она не опустилась.

— Mi capitán ¹,— сказал Джордж. Хоть тоже баск, он был более рослый, чем Ара, и он был хороший спортсмен и отличный моряк, но во многом другом далеко уступал Аре.

— Mi señor obispo ²,— сказал Томас Хадсон.

— Ладно, Том,— сказал Джордж.— Если я вдруг увижу большую подлодку, тебе доложить?

— Если такую, как ты в тот раз увидел, лучше оставь ее при себе.

— Та мне до сих пор по почам снится,— сказал Джордж.

— Слушай, перестань ее поминать,— сказал Вилли.— Я только что позавтракал.

— Мы тогда как оглянулись, так на мне прямо вся шерсть дыбом встала,— сказал Ара.— А ты что почувствовал, Том?

— Страх.

— Вижу, всплывает,— продолжал Ара.— И вдруг Генри кричит: «Том, это авианосец!»

— А я виноват, что ли, если она была похожа. Я бы и сейчас так сказал.

— Она мне существование отравила,— сказал Вилли.— С того дня я так и хожу сам не свой. За пятак зарекся бы еще когда-нибудь выходить в море.

— Вот тебе двадцать центов, и можешь сойти на берег в Паредон-Гранде,— сказал Генри.— Там тебе еще сдачи дадут.

— А я не хочу сдачи. Я лучше возьму пересадочный билет.

— Да ну? — сказал Генри. После двух последних посещений Гаваны между ними кошка пробежала.

— Слушай, ты, богач,— сказал Вилли.— Мы тут никаких подлодок не ищем, а то ты бы и на мостик не взошел, нехватив прежде для храбрости. Мы просто собираемся перебить десяток фрицев, улепетывающих на дрянной посудине. А это даже тебе по плечу.

— Ты все-таки двадцать центов возьми,— сказал Генри.— Пригодятся когда-нибудь...

— Засунь их себе в...

— А ну хватит, ребята,— сказал Томас Хадсон.— Хватит, говорю.— Он пристально посмотрел на обоих.

¹ Мой капитан (исп.).

² Сеньор епископ (исп.).

— Извини, Том,— сказал Генри.

— Извиниться и я могу,— сказал Вилли.— Хоть и не за что.

— Том, смотри,— сказал Ара.— Что это там почти у самого берега?

— Скала, которую обнажил отлив,— сказал Томас Хадсон.— На карте она показана чуть восточнее.

— Нет, я не об этом. Дальше смотри, примерно на полмили дальше.

— А это человек. Ловит крабов или проверяет вентери.

— Может, стоило бы потолковать с ним?

— Он с маяка, а на маяке уж Антонио со всеми потолкует.

— Ры-ыба! Ры-ыба! — закричал помощник, и Генри спросил:

— Можно, я займусь ею, Том?

— Давай. А Хиля пошли сюда.

Генри сошел вниз, и немного спустя большая рыба выпрыгнула из воды — это была барракуда. Еще немного спустя Томас Хадсон услышал, как крикнул Антонио, возная ей под жабры багор, а потом раздались глухие удары дубины по голове. Он ждал громкого всплеска, когда мертвая рыба будет снова брошена в воду, и смотрел назад, чтобы увидеть, насколько она велика. Но всплеска не было, и тогда он вспомнил, что в этом районе кубинского побережья барракуду употребляют в пищу, и Антонио, должно быть, решил подарить ее служащим маяка. Вдруг снова раздался двукратный крик: «Ры-ыба!» — по на этот раз над поверхностью воды ничего не показалось, только зажужжала разматывающаяся леска. Он выровнял курс и застопорил оба мотора. Потом, видя, что леска продолжает разматываться, выключил один мотор совсем и медленно развернулся по направлению к рыбе.

— Агуха! — закричал помощник.— И здоровенная.

Генри уже выводил рыбу, и вся она видна была за кормой, причудливо вытянутая в длину, с полосами на спине, четко потемневшими в синеве прозрачных верхних слоев воды. Казалось, ее уже можно достать багром, но тут она вдруг дернула головой и, круто рванувшись вглубь, мгновенно исчезла из виду.

— Всегда они пытаются спастись таким рывком,— сказал Ара.— А быстрая — как пуля.

Но Генри очень скоро снова подвел рыбу к корме, и они увидели сверху, как забагрили и втащили на борт

тугую, подрагивающую тушу. Полосы у нее на спине ярко синели, челюсти, острые, как пож, раскрывались и закрывались с пенужной теперь судорожной четкостью. Антонио уложил ее вдоль кормы, и она забила хвостом по дощатому настилу.

— *Qué peto más hermoso!* ¹ — сказал Ара.

— Да, хороша агуха, — согласился Томас Хадсон. — Но если так будет продолжаться, мы отсюда до полудня не уйдем. Пусть удочки остаются, а поводки нужно снять, — сказал он помощнику. Он снова развернулся и, наверстывая потерянное время, по при этом стараясь, чтобы все выглядело так, будто они по-прежнему заняты рыбной ловлей, взял курс на каменистую оконечность мыса, где стоял маяк.

Пришел Генри и сказал:

— Хороша рыбаца, а? Ее бы не на такую снасть брать. Странной формы голова у этих агух.

— Сколько она потянет? — спросил Вилли.

— Антонио говорит, не меньше шестидесяти. Вилли, ты уж извини, что я тебя не успел позвать. Это бы твоя должна быть рыба.

— Да чего там, — сказал Вилли. — Я с ней и не справился бы так быстро, как ты, и вообще пора нам заниматься своим делом. Было бы время, мы бы тут до дьявола рыбы наловили.

— А мы сюда приедем как-нибудь после войны.

— Черта с два, — сказал Вилли. — После войны я уеду в Голливуд, наймусь там в консультанты по части того, как валять дурака на море.

— Это ты сумеешь.

— Еще бы не суметь. Уже больше года практикуюсь, подготовка у меня будет хоть куда.

— Ты что это сегодня с утра в мерихлюндии, Вилли? — спросил Томас Хадсон.

— А черт его знает. Встал с левой ноги.

— Вот что, сходи-ка в камбуз и, если мой чай уже остыл, принеси его, пожалуйста, сюда. Антонио занят разделкой рыбы, так ты уж мне и сандвич приготовь. Ладно?

— Ладно. С чем сандвич?

— С арахисовым маслом и с луком, если луку у нас еще много.

¹ Какал у нее красивая кираса! (исп.)

— Есть приготовить сандвич с арахисовым маслом и с луком, сэр.

— И постарайся избавиться от своей мерихлюндии.

— Есть, сэр. Уже избавился, сэр.

Когда он ушел, Томас Хадсон сказал:

— Ты с ним полегче, Генри. Мне этот сукин сын очень нужен, он свое дело здорово знает. Просто на него мерихлюндия напала.

— Я и то стараюсь, Том. Но уж очень с ним трудно.

— Больше нужно стараться. Зачем ты его подначивал насчет двадцати центов?

Томас Хадсон не отрывал глаз от ровной поверхности воды, от коварно безобидного на вид рифа, выступавшего из воды слева по борту. Он любил проходить в опасной близости к рифу, когда солнце было у него за спиной. Это как бы шло в возмещение за все те случаи, когда приходилось править против солнца, и за многое другое тоже.

— Извини, Том,— сказал Генри.— Буду теперь следить за всем, что говорю или думаю.

Вилли принес чай в бутылке из-под рома, которая была обернута бумажным полотенцем, в двух местах перехваченным резинкой, чтобы держалось.

— Холодный как лед, шкипер,— сказал он.— Я его еще изолировал для верности.

Он протянул Томасу Хадсону сандвич, завернутый в обрывок бумажного полотенца, и сказал:

— Сандвич-шедевр, фирменное название «Гора Эверест». Только для высшего начальства.

В недвижимом воздухе до Томаса Хадсона явственно донесся запах спиртного.

— Тебе не кажется, Вилли, что ты сегодня рановато начал?

— Нет, сэр.

Томас Хадсон посмотрел на него испытующе.

— Как ты сказал, Вилли?

— Нет, сэр. Вы не расслышали, сэр?

— Ну вот что,— сказал Томас Хадсон.— Мне тебя пришлось переспросить. А ты меня слушай так, чтобы не переспрашивать. Немедленно ступай вниз. Уберешь камбуз как следует, тогда иди на бак, чтоб быть у меня на глазах, и приготовься бросать якорь.

— Есть, сэр. Я себя что-то плохо чувствую, сэр.

— А мне па... как ты себя чувствуешь, морской законник. Если ты себя сейчас чувствуешь плохо, так скоро почувствуешь много хуже.

— Есть, сэр,— сказал Вилли.— Я себя плохо чувствую, сэр. Мне бы надо показаться судовому врачу.

— Он должен быть в носовом кубрике. Пойдешь мимо — стукни в дверь, посмотри, там он или нет.

— Я и сам так думал, сэр.

— Что ты такое думал?

— Ничего, сэр.

— Пьян вдребезину,— сказал Генри.

— Нет, он не пьян,— сказал Томас Хадсон.— Слыпить он выпил. Только в голове у него мутится не от этого.

— Он уже давно какой-то чудной,— сказал Ара.— Но он всегда был чудной. Никто из нас не перенес того, что перенес он. Я, например, вовсе ничего не перенес.

— Том перенес предостаточно,— сказал Генри.— А пьет холодный чай.

— Ладно, не будем раскисать и разнюживаться,— сказал Томас Хадсон.— Ничего я не перенес, а холодный чай — мой любимый напиток.

— Что-то раньше ты его так не любил.

— Век живи — век учишься, Генри.

Они уже были почти на траверзе маяка, впереди показалась скала, которую нужно было обойти, и ему хотелось прекратить этот пустой разговор.

— Ступай и ты на бак, Ара, посмотри, как он там. И не оставляй его одного. Генри, ты смотай и убери удочки. А Джордж пусть поможет Антонио со шлюпкой. Можешь даже сойти с ним на берег, Джордж, если он пожелает.

Оставшись один на мостике, он провел судно почти у самой скалы, откуда потянуло запахом гуано, и, обогнув мыс, выбрал место для якорной стоянки. Глубина там была не больше двух морских саженьей, дно было чистое, ровное, и сильно чувствовалось течение. Он поглядел на покрашенный белой краской дом и на старомодную башню маяка, потом оглянулся туда, где за торчавшей из воды высокой скалой зеленели островки, все в мангровых зарослях, а еще дальше темнел низкий, голый, скалистый берег Кайо Романо. Так долго жили они, не считая частых отлучек, в виду этого длинного, странного, кишевшего москитами острова, так хорошо знали многие его уголки, столько раз он служил им ориентиром в конце рейсов, удачных и неудачных, что Томас Хадсон невольно

испытывал волнение, когда на горизонте возникали или же, наоборот, постепенно скрывались знакомые очертания. И вот сейчас он опять перед глазами, особенно голый и мрачный с этой стороны, словно кусок бесплодной пустыни, протянувшейся в море.

На этом большом острове можно было встретить диких лошадей, и диких коз, и диких свиней; не раз, должно быть, находились люди, воображавшие, что им удастся его освоить. В глубине его были и холмы, покрытые сочной растительностью, и живописные долины, и рощи строевого леса, и однажды группа французов попыталась обосноваться на Романо и построила целый поселок, получивший название Версаль.

Теперь все каркасные дома поселка были заброшены, кроме одного, самого большого. Как-то раз Томас Хадсон пришел туда в поисках пресной воды и увидел собак, толкавшихся среди свиней, которые копались в луже. И собаки и свиньи были серыми от москитов, облепивших их сплошной пеленой. Этот остров был райским местом, когда несколько дней подряд дул восточный ветер; можно было сутки идти с ружьем среди великолепной природы, такой же девственной, как в те дни, когда Колумб высадился на этом побережье. Но стоило ветру улеться, как с болот налетали тучи москитов. Слово «тучи» здесь отнюдь не метафора, думал он. Они в самом деле налетали тучами и могли закусать человека насмерть. Нет, те, кого мы ищем, едва ли укрылись на Романо, думал он. В такой штиль это невозможно. Скорей всего, они прошли дальше.

— Ара, — позвал он.

— Что нужно, Том? — спросил Ара. Он всегда подтягивался на руках и вспрыгивал на мостик легко, как акробат с литым из стали телом.

— Ну, что там?

— Вилли не в себе, Том. Я его увел в тень и дал ему выпить и уложил его. Теперь он лежит спокойно, только очень уж пристально смотрит в одну точку.

— Может, ему напекло голову солнцем?

— Может, и так. А может, что другое.

— А остальные где?

— Хиль и Питерс спят. Хиль всю ночь дежурил при Питерсе, не давал ему заснуть. Генри тоже спит, а Джордж пошел на шлюпке с Антонио.

— Им уже пора бы вернуться.

— Они и вернутся.

— Вилли совсем нельзя быть на солнце с его головой. Болван я, что послал его на бак. Думал о дисциплине, а о чем нужно — не подумал.

— Я там разбираю и чищу большой пулемет, да еще все взрыватели пришлось проверять, не отсырели ли во время дождя. Вчера мы, как кончили играть в покер, все разобрали, вычистили и смазали.

— Да, в такую сырость стреляли или не стреляли, а проверять нужно каждый день.

— Знаю,— сказал Ара.— Надо бы ссадить Вилли. Только где?

— На Кайо Франсесе?

— Можно. Но лучше бы в Гаване, а оттуда пусть его отправят куда-нибудь. Он будет болтать, Том.

У Томаса Хадсона промелькнула мысль, о которой он сразу же пожалел.

— Не надо было нам брать человека, которого демобилизовали из-за больной головы,— сказал Ара.

— Верно. А мы взяли. Да мало ли мы всяких хреновых ошибок наделали?

— Не так уж много,— сказал Ара.— Можно, я пойду кончать свою работу?

— Иди,— сказал Томас Хадсон.— И большое тебе спасибо.

— A sus órdenes ¹,— сказал Ара.

— Жаль, не могу приказать что-нибудь поумнее,— сказал Томас Хадсон.

Подошла шлюпка с Антонио и Джорджем. Антонио сразу же поднялся на мостик, предоставив Джорджу с помощью Генри втаскивать на борт шлюпку и мотор

— Ну что? — спросил Томас Хадсон.

— Они, очевидно, прошли мимо ночью, еще до того, как совсем заштило,— сказал Антонио.— Если бы они свернули в протоку, их бы заметили с маяка. Старик лодочник, который ездит проверять вентери, никакой шхуны не видел. Он болтун страшный и, уж наверно, не умолял бы, если бы видел,— так мне сказал смотритель маяка. Если хочешь, мы можем вернуться и сами поговорить со стариком.

— Не нужно. Наверно, они сейчас в Пуэрто-Рико или в Гильермо.

¹ Готов выполнить приказ (*исп.*).

— Да, при таком дохлом ветерке они едва ли успели зайти куда-нибудь дальше.

— Ты точно уверен, что они не могли пройти ночью через эту протоку?

— Самый лучший на свете лощман не провел бы их тут.

— Значит, надо искать их у Коко с подветренной стороны или ближе к Гильермо. Будем сниматься с якоря и в путь.

Место здесь было гиблое, и он с осторожностью обходил все, что видел, держась саженой на сто от береговых извилин. Берег был низкий, скалистый, кругом множество рифов и больших отмелей, сейчас обнаженных отливом. Вахту несли по четверо, и слева от Томаса Хадсона стоял Хиль. Томас Хадсон все время смотрел на берег, видел пятна мангровых зарослей вдалеке и думал: занес же нас черт сюда в такую погоду. Высоко в небе уже собирались тучи, и шквал, пожалуй, мог налететь раньше, чем он ожидал. За Пуэрто-Коко есть три местечка, где непременно нужно пошарить, думал он. Придется немножко прищипить свою лошадку, чтобы быстрее домчала туда.

— Генри,— сказал он,— пожалуйста, стань к штурвалу и держи двести восемьдесят пять оборотов. Я хочу пойти взглянуть, как там Вилли. Если увидишь что-нибудь, мне просигналь. А ты, Хиль, перейди на его место к правому борту. Со стороны берега наблюдение можно снять. Там всюду слишком мелко, чтобы могла укрыться шхуна.

— Я бы все-таки последил за этой стороной, Том, если не возражаешь,— сказал Хиль.— Есть тут один кривой проливчик, который выходит почти к самой бухте, и проводник мог отвести их туда и спрятать в мангровых зарослях.

— Ладно,— сказал Томас Хадсон.— Я тогда пошлю наверх Антонио.

— В большой бинокль я разгляжу мачту даже среди зарослей.

— Черта с два ты ее разглядишь. А впрочем, может быть.

— Мне бы очень хотелось, Том. Если не возражаешь.

— Я ведь уже согласился.

— Извини, Том. Но понимаешь, мне кажется, если у них есть проводник, он мог их туда завести. Мы сами как-то заходили туда.

— И потом должны были тем же путем выбираться обратно.

— Все так. Но представь себе, вдруг им пришлось второпях искать укрытия из-за штиля. А мы пройдем дальше и минуем их.

— Это, конечно, нежелательно. Только вряд ли тебе удастся разглядеть мачту с такого расстояния. И потом, они бы тогда замаскировали ее, чтобы она не видна была с воздуха.

— Все так,— чисто по-испански упорствовал Хиль.— Но у меня очень зоркие глаза, и этот бинокль с двенадцатикратным увеличением, и при такой тихой погоде вообще хорошая видимость, и...

— Да я ведь сказал тебе: ладно.

— Все так. Но надо же мне было объяснить.

— Ты и объяснил,— сказал Томас Хадсон.— И если ты действительно вдруг обнаружишь мачту, можешь увешать ее земляными орехами и засунуть мне в зад.

Хиль немножко обиделся, но потом решил, что это очень остроумная шутка, особенно насчет земляных орехов, и, приставив бинокль к глазам, стал так усиленно глядываться в мангровые заросли, что глаза у него чуть не вылезли из орбит.

А Томас Хадсон впизу разговаривал с Вилли, все время поглядывая на море и на берег. Его всегда поражало, насколько меньше видишь, когда спустишься с мостика, и, если внизу все было в порядке, он считал, что глупо ему покидать свой пост. Он всегда старался быть в контакте со своими людьми настолько, насколько это необходимо, и по возможности избегал бессмыслицы формального надзора. Но он все больше и больше власти передавал Антонию, сознавая его превосходство как моряка, и Аре, сознавая его превосходство вообще. Оба они превосходят меня во многом, думал он, и все же командовать должен я, используя их способности, их опыт и их личные качества.

— Вилли,— сказал он.— Ну как ты тут?

— Я жалею, что по-дурацки вел себя, Том. Но мне правда что-то совсем нехорошо.

— Ты же знаешь, какие правила есть для тех, кто пьет,— сказал Томас Хадсон.— Нет никаких правил. И я, черт побери, не хочу пускать в ход разные там словечки вроде чести и достоинства.

— И не надо,— сказал Вилли.— Ты же знаешь, что я не пьяница.

— Пьяниц мы на борт не берем.

— Если не считать Питерса.

— Мы его не брали. Его дали нам. У него свои трудности.

— Бутылка — вот его главная трудность, — сказал Вилли. — И мы не успеем оглянуться, как его хреповые трудности станут нашими трудностями.

— Ладно, черт с ним, — сказал Томас Хадсон. — Что-нибудь еще тебя точит?

— Да вообще.

— Что вообще?

— А то, что я наполовину псих и ты наполовину псих, а вся команда у нас — наполовину святые, а наполовину оголтелые.

— Не такая уж это плохая комбинация — святого с оголтелым.

— Верпо. Даже замечательная. Но я привык, чтоб все уж как-то было в большем порядке.

— Слушай, Вилли, ничего с тобой серьезного нет. Просто от солнца у тебя сделалось нехорошо в голове. И помому, пить тебе сейчас не стоит.

— По-моему, тоже, — сказал Вилли. — Я вовсе не строю из себя какого-то ядреного хлюпика, Том. Но скажи, ты когда-нибудь сходил с ума по-настоящему?

— Нет. Мне это ни разу не удалось.

— Паршивое это дело, — сказал Вилли. — И сколько бы оно ни длилось, это всегда слишком долго. А пить я брошу.

— Не надо. Пей, только в меру, как ты всегда пил.

— Я для того и пил, чтобы отогнать от себя это.

— Мы всегда пьем для чего-нибудь.

— Точно. Но я ведь без дураков. Я бы тебе не стал врать, Том.

— Все мы врем. Но я не думаю, что ты бы стал врать намеренно.

— Ступай на свой мостик, — сказал Вилли. — Я же вижу, как ты все смотришь на воду, будто это девушка, которая вот-вот уйдет от тебя. Я больше ничего не буду пить, кроме разве морской воды, а сейчас я пойду помогу Аре ломать каждую вещь на куски и составлять снова.

— Не пей, Вилли.

— Сказал, не буду, — значит, не буду.

— Верю.

— Слушай, Том, можно тебе задать один вопрос?

— Хоть десять.
— Очень тебе скверно?
— Пожалуй, что очень.
— А спать ты можешь?
— Мало.
— Но прошлую ночь спал?
— Спал.
— Это после прогулки на берегу,— сказал Вилли.— Ну, ступай наверх и забудь про меня. Я буду заниматься делом вместе с Арой.

хш

В поисках следов, оставленных пемцами, они обследовали отмель в Пуэрто-Нюко, объехали на шлюпке и мангровые заросли в глубине островка. Там были места, где вполне могла бы укрыться большая шхуна. Но их поиски ни к чему не привели, к тому же и шквалы начались раньше обычного, и под проливным дождем море стало взвиваться вверх белыми кипящими всплесками.

Томас Хадсон обследовал всю отмель и, обогнув лагуну, прошел в глубь островка. Он побывал в тех местах, куда слетаются в прилив фламинго, видал и стаи ибисов — сосос,— от которых островок и получил свое название, и парочку розовых колпиц, копавшихся в мергеле на берегу лагуны. Колпицы были очень красивы — ярко-розовые на фоне серого мергеля, движения изящные, быстрые, с порывом вперед, но в них чувствовалась удручающая, вызванная вечным голодом безликость — то, что свойственно некоторым болотным птицам. Понаблюдать за ними подольше ему не удалось, так как он хотел проверить,— может быть, люди, которых они искали, оставили шхуну в мангровых зарослях, а сами поднялись выше, спасаясь от москитов.

Он ничего там не обнаружил, кроме места, где когда-то обжигали уголь, вышел на отмель и уже сидел в шлюпке у Ары, когда налетел первый порыв шквального ветра.

Ара обожал выходить на шлюпке в дождь, в сильный шквал, и Томас Хадсон узнал от него, что поиски ничего не дали. Теперь все уже были на катере, кроме Вилли, который забрался на самый дальний конец острова за мангровую рощу.

— А ты что-нибудь обнаружил? — спросил Ара.

— Нет, ничего.

— Под этим дождевиком Вилли немного поостынет. Вот отвезу тебя и за ним поеду. Как ты думаешь, Том, где они?

— В Гильермо. Я бы на их месте туда подался.

— И я тоже. И Вилли так считает.

— Как он там?

— Прямо землю роет. Ты же его знаешь, Том.

— Да, — сказал Томас Хадсон. Они подошли к катеру, и он взобрался на борт.

Томас Хадсон видел, как Ара развернул шлюпку и скрылся в белопенном шквале. Потом он крикнул вниз, чтобы ему дали полотенце, и вытерся досуха, стоя на корме.

Генри сказал:

— А выпить не хочешь, Том? Ты же промок насквозь.

— С удовольствием.

— Неразбавленного рому?

— Что ж, хорошо, — ответил Томас Хадсон. Он сошел вниз за свитером и шортами и увидел, что люди настроены весело.

— Мы все выпили неразбавленного рому, — сказал Генри и подал ему налитый до половины стакан. — Я считаю, что, если выпить да сразу же обсушиться, тогда не простудишься. Как по-твоему?

— А-а, Том! — сказал Питерс. — Присоединяешься к пашей компании? Мы для здоровья пьем.

— Ты когда проснулся? — спросил его Томас Хадсон.

— Когда бульканье услышал.

— Вот я сам как-нибудь ночью побулькаю, тогда посмотрим, проснешься ты или нет.

— Не трудись, Том. Вилли проделывает это каждую ночь.

Томас Хадсон решил не пить рома. Потом, увидев, что все пьют и все держатся бодро и весело, несмотря на невеселые дела, которые их ожидают, передумал: с его стороны это, пожалуй, было бы слишком педантично и добродетельно. Кроме того, ему хотелось выпить.

— Давай поделимся, — сказал он Питерсу. — Из всех сукиных сынов ты единственный, кто спит с наушниками лучше, чем без наушников.

— Чего тут делить? — сказал Питерс, позволяя себе отступить от служебной дисциплины. — Ни тебе, ни мне не получится.

— Ну, так наливай себе отдельно,— сказал Томас Хадсон.— Я это пойло не меньше, чем ты, люблю.

Остальные наблюдали за ними, и Томас Хадсон видел, как ходят скулы у Генри.

— Пей до дна,— сказал Томас Хадсон.— И смотри, чтобы твои таинственные механизмы работали сегодня ночью на полную катушку. Уж ты постарайся — и ради себя и ради нас.

— Ради всех нас,— сказал Питерс.— А кто здесь на катере самый работяга?

— Ара,— сказал Томас Хадсон и, оглядев их всех, сделал первый глоток из стакайна.— Да и все прочие не хуже, мать их так.

— Твое здоровье, Том,— сказал Питерс.

— Твое здоровье,— сказал Томас Хадсон и почувствовал, как эти слова холодно и вяло сходят у него с языка.— За здоровье короля наушников,— сказал он, стараясь восстановить что-то утерянное.— За всяческое бульканье,— добавил он, теперь уже далеко шагнув по тому пути, который следовало избрать с самого начала.

— За здоровье моего командира,— сказал Питерс, слишком натягивая струну.

— Формулировка — дело твое,— сказал Томас Хадсон.— Уставом это не предусмотрено. Но так и быть. Можешь повторить это еще раз.

— Твое здоровье, Том.

— Спасибо,— сказал Томас Хадсон.— Но быть мне последним сукиным сыном, если я выпью за твое здоровье до того, как ты и вся твоя аппаратура будете действовать исправно.

Питерс посмотрел на Томаса Хадсона, и дисциплина сковала ему лицо, а тело его, порядком изувеченное, приняло осанку человека, отслужившего три срока на пользу дела, в которое он верил, и расставшегося с ним ради чего-то другого, как это произошло и с Вилли. Он сказал машинально, без всяких попыток вложить иной смысл в свои слова:

— Слушаю, сэр.

— Твое здоровье,— сказал Томас Хадсон.— И подвижни там все свои хреновые чудеса.

— Слушаю, Том,— сказал Питерс. Сказал от всего сердца, без всяких подковырок.

Ну, пожалуй, хватит, подумал Томас Хадсон. Тут я поставлю точку и пойду на корму ждать появления своего

другого трудного ребеночка. Не могу я относиться к Питерсу так, как к нему относятся остальные. Все его недостатки известны мне не хуже, чем им. Но в нем что-то есть. Он как ложь, в которой ты зашел так далеко, что уже недолго до правды. Он не справляется с нашей аппаратурой — это верно. Но, может, он способен на что-нибудь более серьезное?

Вилли тоже хорош, подумал он. Один другого стоит. Пора бы ему и Аре вернуться.

Сквозь дождь и белые всплески волн, закручивавшихся под хлесткими ударами ветра, он увидел шлюпку. Они поднялись на борт мокрые до нитки. Дождевики не тот, ни другой не надели, а завернули в них своих пифос.

— Здорово, Том,— сказал Вилли.— Мокрая задница и пустое брюхо — вот все наши достижения.

— Прими моих деток,— сказал Ара, подавая наверх закутанные в дождевики автоматы.

— Так-таки ничего?

— Ничего в десятикратном размере,— сказал Вилли. С него лило на корму, и Томас Хадсон крикнул Хиллю, чтобы тот принес два полотенца.

Ара подтянул бакштовом шлюпку и поднялся на борт.

— Ничего, ничего и еще раз ничего,— сказал он.— Том, в такой дождь нам должны бы засчитать сверхурочные.

— Автоматы надо почистить немедленно,— сказал Вилли.

— Сначала сами обсушимся,— сказал Ара.— Меня хоть выжми. То никак не мог под дождь попасть, то вымок так, что даже на заднице гусиная кожа.

— Знаешь, Том,— сказал Вилли.— Эти мерзавцы могут выйти в шквальный ветер с зарифленными парусами. Если только у них пороху хватит.

— Да, мне это тоже приходило в голову.

— С утра, в штиль, они, наверно, прячутся, а как шквал, так сразу выходят в море.

— Как ты думаешь, где они?

— Думаю, не дальше Гильермо. А впрочем, кто их знает.

— Завтра на рассвете мы выйдем и у Гильермо поймем их.

— Может, поймем, а может, они уже уйдут оттуда.

— Все может быть.

— Какого черта у нас радара нет?

— А чем он нам помог бы сейчас?

— Ладно, молчу,— сказал Вилли.— Ты меня извини, Том. Но охотиться с УКВ за объектом, на котором нет радио...

— Да, правильно,— сказал Томас Хадсон.— Значит, преследование мы ведем плохо? По-твоему, можно лучше?

— Да, можно. Ничего, что я так говорю?

— Ничего.

— Мне бы только поймать этих сволочей и убить всех до одного.

— А что это даст?

— Ты забыл, какую бойню они устроили?

— Хватит причитать, Вилли. Ты уже давно на морской охоте, тебе это не к лицу.

— Ладно. Просто я хочу их убить. Такое желание дозволено?

— Это уже лучше, чем болтать про бойню. Но мне нужен язык с подводной лодки, которая проводила операции в здешних водах.

— Твой последний язык был что-то не очень разговорчивый.

— Да. Но ты бы тоже молчал на его месте, если б был при последнем издыхании.

— Ладно уж,— сказал Вилли.— Можно, я пойду хвачу, что мне законно причитается?

— Пожалуйста. Переоденься в сухие шорты, в сухую рубашку и не цепляйся к людям.

— Ни к кому?

— Пора бы тебе поумнеть,— сказал Томас Хадсон.

— Пора бы тебе помереть,— сказал Вилли и улыбнулся во весь рот.

— Вот таким я тебя люблю,— сказал ему Томас Хадсон.— Таким и оставайся.

XIV

В эту ночь молния сверкала не переставая, громыхал гром и часов до трех утра лил дождь. Питерс ничего не добился по радио, и они заснули в жаре, в духоте, а потом, после дождя, на них палтели мошки и всех перебудили. Томас Хадсон побрызгал впиз «флитом», и там закашлялись, но возиться и шлепать себя стали меньше.

Он разбудил Питерса, обрызгав его всего «флитом», и Питерс замотал головой в наушниках и тихо сказал:

— Я все время пробую, Том. Но ничего не могу поймать.

Томас Хадсон посветил фонариком на стену и увидел, что барометр идет вверх. Значит, у фрицев будет попутный бриз, подумал Томас Хадсон. Опять они не могут пожаловаться, что им не везет. Надо обдумать это обстоятельство.

Он вернулся на корму и обрызгал «флитом» всю каюту, не разбудив спящих.

Потом сел и стал смотреть, как светлеет ночь, и время от времени опрыскивал себя «флитом». Дезинсекторы у них все кончились, только «флита» было много. Правда, когда он попадал на потную кожу, там начинало жечь, но все же это было лучше мошек. От москитов песчаная мошка отличалась тем, что, пока она не сядет, ее приближения не слышно, а зуд начинается сразу после укуса. В этом месте появлялась припухлость размером с маленькую горошину. Кое-где на побережье и на островах мошки были особенно злые. Во всяком случае, их укусы почему-то казались гораздо больнее. Но, может быть, подумал он, все зависит от состояния нашей кожи, насколько она загорела, огрубела. Как эту мошкару терпят местные жители, просто не представляю себе. Надо быть очень выносливым, чтобы жить здесь, на побережье, и на Багамских островах, когда пассаты не дуют.

Он сидел на корме, прислушиваясь, поглядывая по сторонам. Высоко в небе шли два самолета, и он слушал гул их моторов, пока они не затихли.

Мощные бомбардировщики, идут без посадки на Камагуэй по пути в Африку или куда-нибудь еще, а к нам это не имеет никакого отношения. Ну что ж, по крайней мере их не донимают песчаные мошки. Меня они тоже не донимают. Да ну, плевал я на них. Легко сказать — плевал. Хорошо бы поскорее рассвело — и уйти отсюда. Спасибо Вилли, мы проверили весь путь до конца мыса, а дальше я пойду узкой протокой, держась вдоль берега. Там есть только одно опасное место, но при дневном свете я его разгляжу даже в штить. А там сразу — Гильермо.

На рассвете они вышли в море, и Хиль, самый зоркий из них, осматривал в двенадцатикратный бинокль зеленую береговую линию. Они шли так близко к берегу, что можно было разглядеть сломанную ветку на мангровом дереве. Томас Хадсон стоял у штурвала. Генри вел наблюдение за морем. Вилли стоял с Хилем.

— Во всяком случае, здесь они уже побывали,— сказал Вилли.

— Надо все-таки проверить,— сказал Ара. Он стоял с Генри.

— Конечно, надо,— сказал Вилли.— Я просто так — отмечаю.

— А где же этот чертов патруль, который высылают на рассвете с Кайо Франсеса?

— Разве по воскресеньям патрулируют? — спросил Вилли.— По-моему, сегодня как раз воскресенье.

— Надо ждать бриза,— сказал Ара.— Посмотрите на облака — перистые.

— Я только одного боюсь,— сказал Томас Хадсон.— Как бы они не прошли протокой у Гильермо.

— А мы это дело проверим.

— Давайте поскорее туда доберемся,— сказал Вилли.— А то у меня уже нервы не выдерживают.

— Оно и заметно,— сказал Генри.

Вилли взглянул на него и сплюнул через борт.

— Спасибо, Генри,— сказал он.— А я и хотел, чтоб было заметно.

— Хватит вам,— сказал Томас Хадсон.— Видите вот там справа по борту большой выступ коралла вровень с водой? Как бы нам не напороться на него. За этим рифом, джентльмены, лежит Гильермо. Посмотрите, как там все зелено. Настоящая земля обетованная.

— Очередной дерьмовый остров, и больше ничего,— сказал Вилли.

— А дыма от костров угольщиков не видно? — спросил Томас Хадсон.

Хиль медленно повел бинноклем и сказал:

— Нет, Том.

— Какой может быть дым после вчерашнего дождя? — сказал Вилли.

— Вот сейчас ты и ошибся, друг мой,— сказал Томас Хадсон.

— Может, и ошибся.

— Да. Дождь, бывает, всю ночь льет как из ведра, а большим обжигам ничего не делается. Я помню, как дождь хлестал однажды трое суток и нигде не погасло.

— У тебя тут опыта больше,— сказал Вилли.— Ладно. Дым может быть. Надеюсь, мы этот дым увидим.

— Банка здесь очень коварная,— сказал Генри.— В такой шторм им вряд ли удалось пройти ее.

Они увидели четырех крачек и двух чаек, круживших над этой банкой. Птицы что-то пашли там и пыряли в воду за добычей. Крачки каркали, чайки пронзительно кричали.

— Что они там нашли, Том? — спросил Генри.

— Не знаю. Может, косяк рыбы? Только он на большой глубине, им не достать.

— Этим бедным птичкам приходится вставать еще раньше нас, чтобы добыть себе пропитание, — сказал Вилли. — Не ценят люди, сколько у них трудов на это уходит.

— Как ты решил идти, Том? — спросил Ара.

— Поближе к берегу и вон туда, к самой дальней точке острова.

— А этот полукруглый островок будешь обследовать — что там за обломки?

— Обогну их на близком расстоянии, а вы смотрите в бинокли. На якорь я стану в бухте у Гильермо.

— Мы станем на якорь, — сказал Вилли.

— Само собой. Чего это ты огрызаешься с самого утра?

— Я не огрызаюсь. Наоборот, я прихожу в восторг от океана и от этих распрекрасных берегов, которые впервые открылись взорам Колумба. Мне, слава богу, не пришлось служить под его началом.

— А я думал, ты служил, — сказал Томас Хадсон.

— Я, когда лежал в госпитале в Сан-Диего, прочитал книжку о нем, — сказал Вилли. — И с тех пор считаю себя специалистом по Колумбу, а корабль у него был хуже нашей хреновой посудины.

— Наш катер не посудина и тем более не хреновая.

— Да, — сказал Вилли. — Пока еще нет.

— Ладно, ты, сподвижник Колумба. Видишь, градусас в двенадцати по правому борту обломки торчат из воды?

— Это пусть смотрит вахта штирборта, — сказал Вилли. — Но я эти обломки своим единственным глазом отлично вижу, на них сидит олуша с Багамских островов. Она, наверно, прилетела там в подкрепление.

— Вот и хорошо, — сказал Томас Хадсон. — Теперь мы не пропадем.

— Из меня, наверно, мог бы получиться великий орнитолог, — сказал Вилли. — Моя бабка курей разводила.

— Том, — сказал Ара. — А ближе цельзя подойти? Вода сейчас высокая.

— Можно, — ответил Томас Хадсон. — Скажи Антонио, пусть пройдет на нос и доложит мне, какая тут глубина.

— Глубина большая, Том! — крикнул Антонио. — До самого берега. Ты же знаешь эту протоку.

— Да, знаю. Просто хотел удостовериться.

— Может, мне стать у штурвала?

— Нет, не надо, — сказал Томас Хадсон. — Спасибо.

— Вот сейчас весь остров у нас как на ладони, — сказал Ара. — Осмотри его в бинокль, Хиль. Весь осмотри. А после тебя я.

— Кто же ведет наблюдение за первым четвертным румбом? — спросил Вилли. — Когда это вы переложили руль?

— Когда Том попросил тебя посмотреть на обломки, тогда мы руль и переложили. Переключивание происходит автоматически. Теперь ты стоишь со штирборта.

— Уж очень ты специально выражаешься, — сказал Вилли. — Если хочешь щегольнуть специальным языком, тогда не ошибайся. Говорил бы просто — с правого борта, с левого борта.

— Ты первый сказал — вахта штирборта, — ответил ему Генри.

— Правильно. А отныне буду изъясняться только так: вверх по лестнице, вниз по лестнице, перед катера, зад катера.

— Вилли, стань рядом с Хилем и Арой и осмотри, пожалуйста, берег в бинокль, — сказал Томас Хадсон. — Берег и ближайшую треть острова.

— Слушаю, Том, — сказал Вилли.

Если на этой стороне Кайо Гильермо, которая почти круглый год находится под ветром, было человеческое жилье, его нетрудно было бы увидеть. Но, двигаясь вдоль берега, они ничего такого не заметили. Когда катер вышел на траверз мыса, Томас Хадсон сказал:

— Я постараюсь пройти поближе к мысу, а вы все смотрите в бинокли. Если что-нибудь увидите, мы остановимся и спустим шлюпку.

Подул бриз, море начинало слегка разыгрываться, но прилив не давал волнам разбиваться о банку, а гнал их дальше. Томас Хадсон смотрел вперед, на маленький скалистый островок. Он знал, что у западной оконечности его лежит затопившее судно; в прилив оно выступало из воды коричнево-красным горбом. А дальше была неглубокая бухта с песчаным, отлогим берегом, но, чтобы попасть в нее, надо было обогнуть затопившее судно.

— А тут люди живут,— сказал Ара.— Я вижу дым.

— Правильно,— сказал Вилли.— Поднимается он с навстреченной стороны, а ветром его относит на запад.

— Дым примерно в центре песчаного берега с той стороны,— сказал Хиль.

— Мачту не видать?

— Никаких мачт,— сказал Хиль.

— Может, они убирают ее на день,— сказал Вилли.

— Становись по своим местам,— сказал Томас Хадсон.— Ара, ты стань рядом со мной. Вилли, скажи Питерсу: пусть выходит на связь. Услышат его, не услышат, все равно надо стараться.

— Как по-твоему, что там? — спросил его Ара, когда остальные ушли.

— Если б я был рыбаком да вялил бы рыбу, то куда же еще мне было бы идти с Гильермо, когда стоит штиль и от москитов спасения нет?

— Я бы тоже сюда перебрался.

— Уголь тут никто не обжигает, дым небольшой. Значит, костер развели не так давно.

— Или это догорает старый.

— Да, у меня тоже была такая мысль.

— Через пять минут все узнаем.

Они обогнули затонувшее судно, на обломках которого сидела другая олуша, и Томас Хадсон подумал: наши союзники — народ расторопный. Катер вошел в бухту с подветренной стороны, и Томас Хадсон увидел узкий песчаный берег, стену зелени за ним и хибарку, над крышей которой поднимался дым.

— Слава тебе, господи,— сказал он.

— Вот именно,— сказал Ара.— Я тоже опасался кое-чего другого.

Никаких шхун тут не было.

— По-моему, мы им на пятки наступаем. Сойди на берег вместе с Антонио, да поскорее. Расскажите мне потом, что вы там увидите. Судно я подведу к самому берегу. Остальные пусть будут на своих местах и ничем себя не выдают.

Шлюпка развернулась и двинулась к острову. Томас Хадсон увидел, как Ара и Антонио идут к хибарке. Шли они быстро, только что не бежали. Окликнули, есть ли там кто. Из хибарки вышла женщина. Она, видимо, была индианка — смуглая, босая, с распущенными, длинными, почти по пояс волосами. Пока она говорила с Арой и

Антонио, из хибарки вышла другая жепщина. Эта тоже была смуглая, длинноволосая, на руках она держала ребенка. Кончив разговаривать, Ара и Антонио пожали обеим женщинам руки и вернулись к шлюпке. Они оттолкнулись от берега, включили мотор и пошли к катеру.

Антонио и Ара сразу поднялись на мостик. Шлюпку втащили на борт.

— Там две женщины,— сказал Антонио.— Мужчины ушли на рыбную ловлю. Та, у которой ребенок, видела, как шхуна вошла в протоку. Это было, когда подул бриз.

— Значит, часа полтора назад,— сказал Томас Хадсон.— Сейчас уже начался отлив.

— Да,— сказал Антонио.— Вода убывает очень быстро, Том.

— Когда спадет совсем, нам оттуда не выйти.

— Да.

— Как же быть?

— Судно твое — решай сам.

Томас Хадсон круто переложил руль, включил оба мотора на две тысячи семьсот оборотов и повел катер к мысу.

— Они, пожалуй, сами на мель сядут,— сказал он.— Пропади все пропадом.

— В случае чего бросим якорь,— сказал Антонио.— Если сядем на мель, грунт тут мергелевый. Мергель и тина.

— И подводные камни,— сказал Томас Хадсон.— Пошли сюда Хилия, надо следить за вежами. Ара и ты, Вилли, проверьте все оружие. Антонио, ты, пожалуйста, стань рядом со мной.

— Сволочная эта протока,— сказал Антонио.— Но пройти можно.

— По малой воде пройти здесь пельзя. Но может, те сукины сыны тоже сядут на мель, а может, ветер утихнет.

— Ветер не утихнет, Том,— сказал Антонио.— Для пассата он слишком упорный, тугой.

Томас Хадсон посмотрел на небо и увидел длинные белые космы облаков, гонимых восточным ветром. Потом посмотрел вперед, на мыс самого большого острова, на ближние отмели, которые уже начинали проступать из-под воды. Он чувствовал: вон там его и прижмет. Потом посмотрел на лабиринт мелких островков, казавшихся просто зелеными пятнами на воде.

— Ну как, вежи еще не видно, Хиль? — спросил он.

— Нет, Том.

— Это, наверно, будет ветка или просто палка.

— Ничего пока не вижу.

— Она должна быть прямо по посу.

— Вижу, Том. Длинная палка. Прямо по посу.

— Спасибо, — сказал Томас Хадсон.

Отмели по обе стороны протоки были светло-желтые на солнце, а отливное течение, идущее им навстречу из лагуны, отсвечивало зеленью. Оно было не грязное, не замутившее мергелем, потому что ветер еще не успел взбаламутить море. Это помогало ему вести катер.

Но вот он увидел за вехой такой узкий поворот, что по голове у него побежали мурашки.

— Ничего, Том, проведешь, — сказал Антонио. — Держи ближе к правому берегу. Я уж точно увижу этот поворот, как только он откроется.

Томас Хадсон двигался на самом малом ходу почти впортык к правому берегу. Он взглянул налево и увидел, что левый берег еще ближе, и взял лево руля.

— Тины много поднимаем? — спросил он.

— Тучи.

Они подошли к коварному повороту, и там оказалось не так плохо, как он ожидал. В узких местах протоки идти было куда труднее. Поднялся ветер, и, когда они пошли бортом к нему, Томас Хадсон почувствовал своими голыми плечами его сильные порывы.

— Вежа прямо по посу, — сказал Хиль. — Это всего-навсего ветка.

— Да, вижу.

— Держи все так же, ближе к правому берегу, Том, — сказал Антонио. — Лавировать теперь осталось недолго.

Томас Хадсон жался к правому берегу так близко, точно ставил машину у тротуара. Впрочем, берег был похож не на тротуар, а на изрытое снарядами, утопающее в грязи поле сражения тех времен, когда бои велись сосредоточенным артиллерийским огнем, — поле сражения, вдруг словно поднявшееся со дна океана и растянувшееся справа от него, точно рельефная карта.

— Много тины выбрасываем?

— Много, Том. Вот пройдем поворот и станем на якорь. По эту сторону Контрабандо. Или с подветренной стороны Контрабандо, — предложил Антонио.

Томас Хадсон повернул голову и увидел Кайо Контрабандо — маленький, зеленый, веселый островок — и сказал:

— Нет, к черту. Хиль, осмотри остров и протоку, нет ли тут их шхуны. Впереди вижу еще две вехи.

По этой протоке идти было легко. Но дальше он увидел песчаную косу, которую уже обпоякала вода. Чем ближе они подходили к Кайо Контрабандо, тем уже становилась протока.

— Обходи эту веху слева,— сказал Антонио.

— Я так и делаю.

Они обогнули сухую ветку, служившую вехой. Темная, она трепалась на ветру, и Томас Хадсон подумал, что при таком ветре глубина у них будет меньше, чем при средней малой воде.

— Тины по-прежнему много? — спросил он Антонио.

— Много, Том.

— Что ты там видишь, Хиль?

— Только вехи.

Вода становилась мутно-белой, потому что ветер уже поднимал волны, и теперь нельзя было разглядеть ни дна, ни берегов, обозначавшихся, только когда вода скатывала с них.

Невесело, подумал Томас Хадсон. Но им тоже невесело. Волей-неволей придется менять галс. Они, наверно, настоящие мореходы. Теперь мне надо решать, какой протокой они пойдут — старой или новой. Это зависит от их лощмана. Если он молодой, то, наверно, выйдет в новую протоку. Ту, которую промыло ураганом. Если старый, то, наверно, пойдет старой — по привычке и потому, что там идти спокойнее.

— Антонио,— сказал он.— Какой протокой лучше идти — старой или новой?

— Они обе плохие. Так что разница небольшая.

— А как бы ты поступил?

— Я бросил бы якорь с подветренной стороны Контрабандо и дождался бы там прилива.

— К утру прилив еще не будет в полной силе.

— То-то и оно. Но ты спрашивал меня, как бы я поступил.

— Попробую все-таки пройти по этой дерьмовой протоке.

— Судно твое, Том. Но если не мы, так кто-нибудь другой их поймают.

— А почему Кайо Франсес не патрулируют здесь с воздуха?

— Сегодня утром один патрулировал. Ты разве не видел?

— Нет. А почему ты не сказал мне?

— Я думал, ты его видишь — маленький гидроплан.

— Вот дьявол,— сказал Томас Хадсон.— Я, наверно, на носу тогда был, а генератор работал.

— Ну, теперь это не имеет значения,— сказал Антонио.— Том, двух следующих вещей я что-то не вижу.

— А ты видишь две следующие вещи, Хиль?

— Я никаких вещей не вижу.

— А ну их к черту,— сказал Томас Хадсон.— От меня сейчас одно требуется: обойти следующий дерьмовый островок так, чтобы не угодить на песчаную косу, которая тянется от него на север и на юг. Потом мы подойдем к тому большому острову с мангровой рощей, а дальше су-немся в старую или в новую протоку.

— Восточный ветер гонит оттуда всю воду.

— А ну его к черту, этот восточный ветер,— сказал Томас Хадсон. И когда он произнес эти слова, они прозвучали как самое древнее, самое кощунственное проклятие из всех, что связаны с христианской религией. Он знал, что проклинает вернейшего друга всех мореходов. И поскольку проклятие уже слетело с его уст, извиняться он не стал. Он повторил его.

— Не то ты говоришь, Том,— сказал Антонио.

— Да, верно,— согласился Томас Хадсон. А потом, принеся мысленно покаяние, прочитал, пемного путая: «Вей, западный ветер, вей, дождиком нас кропи сильней. Когда бы милая моя со мной в постели здесь была». Это тот же самый проклятый ветер, только дует он с других широт, подумал он. Они налетают с разных континентов. Но оба хорошие, надежные, дружелюбные. Потом он снова повторил про себя: «Когда бы милая моя со мной в постели здесь была».

Вода стала теперь такой мутной, что ориентироваться можно было только по расстоянию между берегами и по скату воды с них. На носу стоял с лотом Джордж, в руках у Ары был длинный шест. Они измеряли глубину и докладывали результаты на мостик.

У Томаса Хадсона появилось странное чувство, что все это уже когда-то было, когда-то приснилось ему в дурном сне. Они прошли много трудных протоков. Но и это уже слу-

чалось с ним. Может, всю жизнь случалось. Однако сейчас все требовало от него такого напряжения, что он чувствовал одновременно и свою власть над происходящим, и себя в его власти.

— Ты видишь что-нибудь, Хиль?

— Ничего не вижу.

— Позвать сюда Вилли?

— Нет. Что Вилли увидит, то и я увижу.

— Все-таки ему надо быть здесь.

— Как хочешь, Том.

Через десять минут они сели на мель.

xv

Они сели на мель, образовавшуюся из тины и наноса песка и почему-то не отмеченную вехой. Отлив еще продолжался, ветер дул сильнее, вода была мутная. Впереди виднелся средней величины зеленый остров, словно бы низко сидящий в воде, а левее были разбросаны маленькие островки. Слева и справа из-под убывающей воды начали показываться плешины голых берегов. Томас Хадсон видел стаи птиц, которые кружили в воздухе и садились на землю покормиться.

Антонио поднял шлюпку на борт и вдвоем с Арой бросил носовой якорь и два правобортных — полегче.

— Может, бросить еще один носовой? — спросил Томас Хадсон своего помощника.

— Нет, Том. По-моему, не надо.

— Если поднимется ветер, как бы нас не погнало навстречу приливу.

— Да нет, Том, вряд ли. Хотя кто его знает.

— Давай с наветренной стороны бросим маленький, а большой передвинем дальше в подветренную сторону. Так будет спокойнее.

— Ладно, — сказал Антонио. — Лучше так, чем опять садиться на мель в каком-нибудь гиблом месте.

— Ну, конечно, — сказал Томас Хадсон. — Но об этом уже был разговор.

— Бросать якорь надо.

— Знаю. Я просто попросил тебя бросить еще один, тот, что поменьше, а большой передвинуть.

— Да, Том, — сказал Антонио.

— Выбирать якоря любит Ара.

— Выбирать якоря никто не любит.

— Ара любит.

Антонио улыбнулся и сказал:

— Ну, может быть. Ладно уж, соглашусь с тобой.

— Рано или поздно мы с тобой всегда соглашаемся.

— Только не было бы слишком поздно.

Томас Хадсон проследил за выполнением этого маневра, потом перевел взгляд вперед, на зеленый островок, где отлив обнажил корни мангровых деревьев, и там начинала собираться темнота. Может быть, они отсиживаются в бухте на южной стороне острова, подумал он. Ветер не утихнет часов до двух, до трех, а на рассвете, когда начнется прилив, они, пожалуй, попытаются вырваться оттуда и войдут в любую из двух проток. Потом — в тот большой, как озеро, залив, где можно без забот, без хлопот плыть всю ночь. А к следующему рассвету войдут в хорошую протоку по ту сторону залива. Все решит ветер.

С тех пор как они сели на мель, у него было такое чувство, что ему дана передышка. В ту минуту он ощутил сильный толчок, точно его самого ударило. Морское дно здесь было не каменистое, он понял это по толчку, ощутил в руках и в ступнях. Но посадка на мель ударила его, как пуля. И только потом пришло ощущение передышки, какое наступает после того, как тебя ранило. Ему еще казалось, будто все это происходит в дурном сне, будто все это когда-то уже было. Но если было, то как-то по-другому, а сейчас, когда они сидят на мели, ему дана временная передышка. Он знал, что передышка короткая, но и это было хорошо.

Ара поднялся на мостик и сказал:

— Здешний грунт хорошо держит, Том. Якоря засели как следует. А когда большой поднимем, можно будет быстро сняться с места.

— Да, вижу. Спасибо.

— Ты не огорчайся, Том. Эти сукины дети, может, совсем близко, может, вон за тем островом.

— А я не огорчаюсь. Просто злюсь на задержку.

— Автомобиля ты не угробил, судна не потопил. Ну, сели на мель, ждем, когда нас прилив с нее спимет, только и всего.

— Да, правильно.

— Оба штурвала целы, а судно сидит задницей в иле. Только и всего.

— Знаю. Это я его туда засадил.

— Как он сел легко, так и сойдет.

— Конечно, сойдет.

— Том! Тебя что-то тревожит?

— Что меня может тревожить?

— Ничего. Это я за тебя тревожусь.

— Ну их к черту, эти тревоги,— сказал Томас Хадсон.— Ты и Хиль ступайте вниз. Проследите там, все ли сытно поели, все ли настроены бодро. А потом мы поедем и обыщем этот островок. Больше нам делать нечего.

— Мы с Вилли сейчас можем поехать. Даже не поевши.

— Пет. Я поеду с Питерсом и с Вилли.

— Не со мной?

— Нет. Питерс знает немецкий. Только не говори ему, что он поедет. Разбуди его, и пусть выпьет побольше кофе.

— А почему мне нельзя?

— Шлюпка мала, не влезешь.

Хиль передал ему большой бинокль и сошел вниз вместе с Арой. Томас Хадсон внимательно осмотрел островок; высокие мангровые деревья мешали разглядеть то, что было за ними. На твердом грунте острова росли и другие деревья — еще выше, так что ему не удалось разглядеть, торчит ли мачта в глубине полукруглой бухты. От бинокля глаза у него устали, и он сунул его в футляр, накинул ремень на крючок, а бинокль положил на стеллаж для гранат.

Было приятно, что он снова один на мостике и может воспользоваться данной ему короткой передышкой. Он смотрел на птиц, копавшихся на берегу, и вспоминал, как много они значили для него в детстве. Теперь отношение к ним у него было другое, и убивать их ему совсем не хотелось. Вспомнил, как он сидел с отцом в укрытии, расставив ловушки на речной косе, и как птицы прилетали туда на обнажившийся в отлив берег, и как он подсвистывал им, когда они кружили у них над головой. Свист получался печальный, он и сейчас свистнул и завернул одну стайку. Но, описав дугу над сидевшим на мели катером, птицы полетели к дальнему концу острова на кормежку.

Он повел биноклем, осматривая горизонт, и никакой шхуны не увидел. Может быть, они вывели ее новой протокой в пролив между островами, подумал он. Хорошо бы их поймал кто-нибудь другой. Теперь без боя мы их не возьмем. Не станут они сдаваться какой-то шлюпке.

Он так долго думал за них, что даже устал. Наконец-то я чувствую настоящую усталость, подумал он. Что мне делать, я знаю, так что это все просто. Чувство долга — замечательная вещь. Не знаю, что бы я стал делать после гибели Тома, если бы не чувство долга. Ты мог бы заниматься живописью, сказал он себе. Или делать что-нибудь полезное. Да, может быть, подумал он. Но повиноваться чувству долга проще.

Вот то, что ты делаешь сейчас, тоже полезно. Не сомневайся. То, что ты делаешь, помогает положить конец всему этому. Только ради этого мы и трудимся. А что там дальше, одному богу известно. Мы уже сколько времени ищем этих молодчиков, и неплохо ищем, а сейчас у нас десятиминутная отсрочка, и после нее снова продолжай выполнять свой долг. Неплохо ищем? — подумал он. Черта с два! Очень хорошо ищем.

— Ты есть не хочешь, Том? — крикнул ему Ара.

— Нет, друг, я не проголодался, — сказал Томас Хадсон. — Дай мне бутылку с холодным чаем, она стоит на льду.

Ара подал бутылку, и Томас Хадсон взял ее и прислонился к борту. Он глотнул холодного чая, глядя на большой остров, лежавший впереди. Корни мангровых деревьев были видны теперь ясно, а сам остров будто стал на ходули. Потом слева показалась стая фламинго. Они летели низко над водой — красивые, яркие на солнце. Длинные шеи вытянуты вниз, нелепые ноги болтаются, тельце неподвижное, а розовые с черным крылья машут ритмично, унося их к илистому берегу, который виднеется впереди, чуть вправо. Томас Хадсон смотрел на фламинго с их нацеленными вниз черно-белыми клювами, и в розовых отсветах, падавших от них на небо, терялась несуразность этих птиц, и каждая из них казалась ему удивительной и прекрасной. Они приблизились к зеленому острову и вдруг всей стаей круто свернули вправо.

— Ара! — крикнул он вниз.

Ара поднялся на мостик и сказал:

— Да, Том?

— Возьми трех піфос, к каждому по шесть дисков, и снеси их в шлюпку и туда же двенадцать гранат и санитарную сумку. И пошли сюда, пожалуйста, Вилли.

Розовые фламинго сели на берег далеко справа и принялись деловито кормиться. Томас Хадсон смотрел на них, когда к нему подошел Вилли.

— Погляди на этих паршивых фламинго,— сказал он.

— Они летели над островом и чего-то испугались. Я уверен, что там стоит шхуна или какое-нибудь другое судно. Хочешь пойти туда со мной, Вилли?

— Конечно.

— Ты уже посл?

— Приговоренный к смерти позавтракал с аппетитом.

— Тогда помоги Аре.

— Ара с нами пойдет?

— Я беру Питерса, потому что он говорит по-немецки.

— А нельзя вместо него Ару? Я не хочу быть рядом с Питерсом во время боя.

— Питерс поговорит с ними, тогда, может, и боя не будет. Слушай, Вилли. Мне нужны пленные, и я не хочу, чтобы погиб их проводник.

— Больно много условий ты ставишь, Том. Их там не то восемь, не то девять человек, а нас трое. И кому вообще известно, есть ли у них проводник?

— Нам известно.

— Катись ты к матери со своим благородством.

— Я спросил тебя, хочешь ли ты пойти с нами.

— Пойти-то я пойду,— сказал Вилли.— Только вот этот Питерс.

— Питерс будет драться. Пошли сюда, пожалуйста, Антонио и Генри.

— Ты думаешь, они там? — спросил Антонио.

— Я в этом почти уверен.

— Том, можно я пойду с вами? — спросил Генри.

— Нет. Шлюпка берет только троих. Если с нами что-нибудь случится, дай по шхуне очередь, чтобы она не ушла, когда начнется прилив. Потом найдешь ее в длинном заливе. Она будет повреждена. Может быть, даже не дойдет туда. Если удастся, возьми пленного, доставь его на Каю Франсес и сдай там под расписку.

— А нельзя мне с вами вместо Питерса? — спросил Генри.

— Нет, Генри. Что поделасшь? Он говорит по-немецки. Команда у тебя хорошая,— сказал он Антонио.— Если у нас все обойдется, я оставлю на шхуне Вилли и Питерса с тем, что мы там обнаружим, а пленного привезу на катер в шлюпку.

— Нашего последнего пленного ненадолго хватило.

— А я постараюсь привезти годного, крепкого, здорового. Идите вниз и проверьте, все ли там закреплено. Я хочу посмотреть на фламинго.

Он стоял на мостике и смотрел на фламинго. Тут дело не только в их окраске, думал он. Не только в том, что черный цвет лежит на светло-розовом. Все дело в их величине и в том, что, если разглядывать их по частям, они уродливы и в то же время изысканно прекрасны. Это, наверно, древняя птица, сохранившаяся с незапамятных времен.

Он смотрел на них невооруженным глазом, потому что не детали были ему нужны, а розовое пятно на серо-буrom берегу. Туда прилетели еще две стаи, и краски берега стали теперь такого цвета, какой он не осмелился бы нанести на холст. А может, и осмелился и написал бы так, подумал он. Приятно посмотреть на фламинго, прежде чем пускаться в этот путь. Пойду. Не надо давать людям время задуматься или встревожиться.

Он сошел вниз и сказал:

— Хиль, поднимись туда и смотри на остров, не отрываясь от бинокля ни на минуту. Генри, если услышишь пальбу, а потом шхуна покажется из-за острова, вдарь ей, сволочи, по носовой части. Остальные пусть следят в бинокли за уцелевшими, а ловить их будете завтра. Пробоину в шхуне надо заделать. На шхуне есть лодка. Лодку тоже отремонтируйте и пользуйтесь ею, если мы не очень ее изуродуем.

Антонио спросил:

— Какие еще будут приказания?

— Никаких. Еще следите за работой кишечника и старайтесь вести непорочный образ жизни. Мы скоро вернемся. А теперь, благородные ублюдки, пошли.

— Моя бабка уверяла, что я не ублюдок, — сказал Питерс. — Говорила, что другого такого хорошенького, вполне законнорожденного ребеночка во всем округе не найти.

— Моя мамаша тоже клялась, что я не ублюдок, — сказал Вилли. — Куда нам садиться, Том?

— Когда ты спереди, шлюпка сядет на ровный киль. Но если хочешь, на нос перейду я.

— Садись на корму и правь, — сказал Вилли. — Вот теперь корабль у тебя что надо.

— Значит, мно козырь вышел, — сказал Томас Хадсон. — Делаю карьеру. Прошу на борт, мистер Питерс.

— Счастлив быть у вас на борту, адмирал,— сказал Питерс.

— Ни пуха вам ни пера,— сказал Генри.

— Помирай поскорее! — крикнул ему Вилли. Мотор заработал, и они пошли к силуэту острова, который теперь казался ниже, потому что сами они были только чуть выше уровня моря.

— Я подойду к шхуне с борта, и мы поднимемся на пее, а окликать их не будем.

Они кивнули молча, каждый со своего места.

— Нацепите на себя свою амуницию. Пусть ее видно, плевал я на это,— сказал Томас Хадсон.

— Да ее и прятать тут некуда,— сказал Питерс.— Я нагружился, как бабушкин мул.

— Вот и ладно. Мул хорошая животиная.

— Том, обязан я помпить, что ты толковал про ихнего проводника?

— Помпить помпи, по и мозгами шевели.

— Ну-с, так,— сказал Питерс.— Теперь нам все па-сквозь ясно.

— Давайте помолчим,— сказал Томас Хадсон.— На шхуну полезем все сразу, а если эта пемчура впизу, ты им крикни по-ихнему, чтоб выходили и чтоб руки вверх. И хватит разговаривать, потому что голоса далеко разно-сятся, дальше, чем стук мотора.

— А если они не выйдут, тогда что делать?

— Тогда Вилли бросает гранату.

— А если они все на палубе?

— Откроем огонь, каждый по своему сектору. Я — по корме. Питерс — по средней части. Ты — по носовой.

— Так гранату мне бросать или нет?

— Конечно, бросай. Нам пужны раненые, которых еще можно спасти. Поэтому я и захватил санитарную сумку.

— А я думал, ты ее для нас взял.

— И для нас. Теперь помолчим. Вам все ясно?

— Я все дерьма,— сказал Вилли.

— А затычки для задниц нам выдали? — спросил Питерс.

— Затычки сбросили с самолета сегодня утром. Ты разве не получил?

— Нет. Но моя бабка говорила, что у меня такое вя-лое пищеварение, какого на всем Юге ни у одного ребс-

ночка не найдешь. Одна моя пеленка лежит в качестве экспоната в Смитсоновском институте.

— Перестань трепаться,— вполголоса сказал Вилли, откинувшись назад, чтобы Питерс его лучше расслышал.— И все это мы должны проделать при свете, Том?

— Сейчас, не откладывая.

— Ой, лихо мне, голубчику, будет,— сказал Вилли.— В какую компанию я попал — кругом одно ворье, одни ублюдки.

— Заткнись, Вилли. Посмотрим, как ты драться будешь.

Вилли кивнул и своим единственным зрячим глазом уставился на зеленый остров, который будто привстал на цыпочки на коричневато-красных корнях мангровых деревьев.

Прежде чем шлюпка обогнула мыс, он сказал еще только:

— На этих корнях попадаются хорошие устрицы.

Томас Хадсон молча кивнул.

XVI

Они увидели шхуну, когда обогнули мыс и вошли в пролив, отделяющий этот остров от другого — маленького. Шхуна стояла носом к берегу, с ее мачты свисали виноградные плети, палуба была устлана свежесрезанными мангровыми ветками.

Вилли снова откинулся назад и тихо проговорил Питерсу почти в самое ухо:

— Лодки на ней нет. Передай дальше.

Питерс повернулся своим веснушчатым, покрытым пятнами лицом к Томасу Хадсону и сказал:

— Лодки на ней нет, Том. Наверно, съехали на берег.

— Мы поднимаемся на борт и потопим ее,— сказал Томас Хадсон.— План действий тот же. Передай дальше.

Питерс нагнулся и сказал это Вилли на ухо. Они подошли к шхуне со всей скоростью, какую только могли выжать из маленькой тархтелки — мотора, и Томас Хадсон ловко, без малейшего толчка подвел шлюпку к борту. Вилли ухватил как шкафута, откинул его назад, и они почти одновременно, все втроем, взобрались на палубу шхуны. Под ногами у них были мангровые ветки, издававшие безжизненно свежий запах, и Томас Хадсон увидел обвитую виноградными плетями мачту, и это опять было как

во сне. Он увидел открытый люк, и открытый форлюк, и набросанные на них поверху ветки. На палубе никого не было.

Томас Хадсон взмахом руки послал Вилли на нос мимо первого люка, а на форлюк навел автомат. Он проверил спуск у предохранителя. Его босые ноги ощущали твердую округлость веток, скользкость листьев и теплоту деревянной палубы.

— Скажи им, чтобы выходили с поднятыми руками, — полногласно бросил он Питерсу.

Питерс грубо, гортанно заговорил по-немецки. Ответа на его слова не последовало — все как было, так и осталось.

У бабушкина внучка недурная дикция, подумал Томас Хадсон и сказал:

— Повтори: пусть выходят. Даю им десять секунд. Обращение с ними будет как с военнопленными. Потом сосчитай до десяти.

Питерс говорил так, словно вещал судьбу всей Германии. Голос у него звучит великолепно, подумал Томас Хадсон и, быстро повернув голову, посмотрел, не видно ли лодки. Но увидел он только темные корни и зеленую листву мангровых деревьев.

— Сосчитай до десяти и бросай гранату, — сказал он. — Вилли, следи за этим дерьмовым люком.

— Он, мать его, ветками прикрыт.

— Сунь туда гранату, только после Питерса. Протолкни ее внутрь, не бросай.

Питерс сосчитал до десяти. Высокий, свободный в движениях, как бейсболист на подаче, он взял автомат под мышку, выдернул зубами чеку, задержал гранату, уже окутанную дымом, в руке, точно поддавая ей жару, и швырнул ее из-под руки, как настоящий Карл Мейс, в темную дыру люка.

Глядя на него, Томас Хадсон подумал: пу и актер! И ведь ему кажется, что там никого нет.

Томас Хадсон бросился на палубу, держа открытый люк на прицеле. Граната, брошенная Питерсом, взорвалась с ослепительной вспышкой, с грохотом, и Томас Хадсон увидел, как Вилли раздвигает ветки над форлюком, прежде чем сузуть туда гранату. И вдруг справа от мачты, там, где с нее свисали виноградные плети, он увидел дуло винтовки, высунувшееся между ветками над тем форлюком, около которого был Вилли. Он выстрелил по

ней, но она сама дала пять выстрелов, простучавших быстро, дробно, как детская трещотка. Тут же следом, ярко сверкнув, взорвалась граната Вилли, и Томас Хадсон взглянул на него и увидел, как он срывает чеку с другой гранаты. Питерс лежал на боку, уткнувшись головой в фальшборт. Кровь с его головы стекала в шпигат.

Вилли швырнул гранату, и звук взрыва был совсем другой, потому что, прежде чем взорваться, граната далеко прокатилась под палубой.

— Как ты думаешь, остался там кто-нибудь в живых из этих подонков? — крикнул Вилли.

— Я сейчас отсюда брошу, — сказал Томас Хадсон. Он пригнулся и побежал, чтобы не попасть под обстрел из большого люка, сорвал чеку с удобно схваченной его рукой серой, тяжелой, плотной гранаты и, обогнув открытый люк, швырнул ее на корму. Раздался треск, гул, и над вздыбившимися досками палубы потянулись струйки дыма.

Вилли остановился около Питерса, Том подошел и тоже посмотрел на него. Он был почти такой же, как всегда.

— Вот и потеряли мы своего переводчика, — сказал Вилли. Веко на зрячем глазу у него подергивалось, но голос звучал обычно.

— Быстро она садится, — сказал Томас Хадсон.

— Да она уже сидела на мели. А теперь дает крен на концевые бимсы.

— Столько у нас неделанного осталось, Вилли.

— И обменялись поровну. Одного на одного. Но проклятую шхуну все-таки потопили.

— Знаешь что, езжай-ка ты поскорее на судно и возвращайся сюда с Генри и с Арой. Антонио скажешь, что, как только прилив снимет судно с мели, пусть ведет его к мысу.

— Сначала мне надо вблизи все проверить.

— Я сам проверю.

— Нет, — сказал Вилли. — Это мое дело.

— Ну а как ты сам, друг?

— Хорошо. Только опечален вестью о гибели мистера Питерса. Поискать, что ли, тряпку какую прикрыть ему лицо? И положить его надо так, чтобы голова была повыше, а то шхуна дает сильный крен.

— А что с тем фрицем на носу?

— Вдребезги разнесло.

Вилли уехал за Арой и Генри. Томас Хадсон лежал под прикрытием высокого фальшборта шхуны. Ногами он упирался в люк и следил, не появится ли лодка. По другую сторону люка лежал Питерс, лицо его было закрыто немецкой рабочей курткой. Вот не замечал, что он такой длинный, подумал Томас Хадсон.

Они с Вилли вдвоем осмотрели шхуну; все в ней было разворочено. На борту оказался только один немец — тот самый, который убил Питерса, вероятно, приняв его за командира. Они обнаружили еще шмейссеровский автомат и около двух тысяч патронов в металлическом ящике, вскрытом при помощи плоскогубцев или ключа для консервов. Те, кто съехал на берег, видимо, были вооружены, так как оружия на борту не оказалось. Лодка была по меньшей мере шестнадцати футов в длину, судя по киль-блокам и царапинам, которые она оставила на палубе. Еды у немцев было еще много — главным образом вяленая рыба и сильно прожаренная свинина. Своего раненого товарища они оставили на шхуне; он и застрелил Питерса. У немца было тяжелое ранение в бедро, почти зажившее, и в мякоть левого плеча, тоже почти зажившее. Еще имелись подробные карты побережья и Вест-Индских островов, непочатый ящик беспощинных сигарет «Кэмел» с печатью «Снабжение Морского ведомства», но ни кофе, ни чая, ни капли спиртного.

Теперь надо было рассудить, что они предпримут. Где они сейчас? Ведь, конечно, слышали или видели небольшое сражение, которое разыгралось на шхуне. Могут вернуться и за своим провиантом. Видели, наверно, что на плюшке с мотором ушел один человек, а судя по стрельбе и взрывам гранат, на шхуне могли остаться трое — или убитых, или тяжелораненых. Да, вернуться на шхуну за своим провиантом или еще за чем-нибудь припрятанным, а потом, ночью, будут прорываться к побережью. Если лодка сядет на мель, они сами ее и снимут.

А лодка эта, наверно, суденышко надежное. Радиста у Томаса Хадсона нет, и он не может передать описание этой лодки, следовательно, искать ее никто не станет. Еще, если фрицы захотят и если у них хватит дерзости, ночью они могут попытаться захватить катер. Что маловероятно.

Томас Хадсон обдумал это со всех сторон. И решил, что, скорее всего, фрицы зайдут в мангровую рощу, вы-

ташат лодку на берег и спрячут ее. Если мы углубимся туда за ними, они уничтожат нас из засады. А потом выйдут в открытый внутренний залив, пройдут дальше и ночью попытаются пройти мимо Кайо Франсеса. Это нетрудно. Провиант раздобудут по пути или отнимут его где-нибудь и выйдут на запад к одному из немецких отрядов в районе Гаваны, а там их подберут и спрячут. Найти более надежную лодку ничего не стоит. Захватят или украдут.

Мне надо рапортовать в Кайо Франсес, доставить туда Питерса и получить дальнейшие распоряжения. До прихода в Гавану неприятностей не будет. На Кайо Франсесе начальником лейтенант, а с ним никаких осложнений не предвидится — живо договоримся, и Питерса можно будет там оставить.

Льда у нас на него хватит, и там же я заправлюсь горючим, а лед возьму на Кайбарьене.

Этих фрицев надо поймать во что бы то ни стало. Но я не намерен подставлять Вилли, Ару и Генри неизвестно за каким хреном под огонь автоматов, которым нас будут поливать из мангровой рощи. Судя по тому, что мы видели на шхуне, их восемь человек. Сегодня у меня была возможность застукать их со спущенными штанами, а я ее упустил, потому что они слишком удачливые и, кроме того, очень деловиты.

Одного человека мы потеряли, к тому же радиста. Зато пересадили их на лодку. Если я эту лодку увижу, мы ее уничтожим, а остров блокируем и выследим их там. Но соваться в ловушку, где восемь против троих, я не собираюсь. Если мне всыпят за это, пусть. Так или иначе всыпят. За то, что у меня погиб Питерс. Если б погиб кто-нибудь из добровольцев, плевать бы они хотели. Им это безразлично, а мне и моему судну — нет.

Скорее бы мои сюда подъехали, подумал он. Я не хочу, чтобы эта немчура увидела, что мы тут натворили у них на шхуне, не хочу в одиночку вести с ними сражение на безымянном острове. И что они там делают? Может быть, пошли за устрицами? Вилли говорил что-то про устриц. Может быть, они не хотят находиться днем на шхуне — вдруг се выследят с самолета. Но пора бы им знать, в какие часы здесь патрулируют с воздуха. А, дьявол, скорее бы они появились, и дело с концом. Я-то прикрыт, а они, прежде чем подняться на борт, будут все у меня под прицелом. А как ты думаешь, почему раненый не обстрелял

нас, когда мы влезали на шхуну? Ведь он же слышал стук мотора. Может быть, спал? Ведь мотор работает очень тихо.

Слишком много у меня всяких вопросов, подумал он, и я не уверен, что рассчитал все правильно. Может, не следовало нам брать шхуну. Но это, кажется, было необходимо. Мы разворотили ее и потеряли Питерса и убили одного немца. Результаты не очень блистательные, но все же в нашу пользу.

Он услышал стрекот мотора и повернул голову. Шлюпка огибала мыс, но сидел в ней на корме только один человек. Это был Ара. Шлюпка шла с большой осадкой, и он догадался, что Вилли и Генри лежат в ней ничком. Хитер Вилли, подумал он. Теперь немцы, спрятавшиеся на острове, решат, что едет кто-то один, и причем совсем не тот, кто прошел в ту сторону. Хитро это или нет, не знаю. Но Вилли, наверно, рассчитал правильно.

Шлюпка подошла к шхуне с подветренной стороны, и Томас Хадсон увидел могучую грудь Ары, его длинные руки и смуглое лицо — такое серьезное сейчас, увидел, как по ногам его пробегает первая дрожь. Генри и Вилли лежали в шлюпке ничком, положив голову на руки.

Когда шлюпка остановилась с подветренной стороны шхуны, крепившейся от острова к морю, и Ара ухватился за поручни, Вилли лег на бок и сказал:

— Поднимайся на борт, Генри, и ползи к Тому. Ара передаст тебе снаряжение. И то, что от Питерса осталось, тоже возьми.

Генри осторожно пополз на животе по наклонной палубе. Проползая мимо Питерса, он метнул на него взгляд.

— Том, — сказал он.

Томас Хадсон положил руку ему на плечо и чуть слышно проговорил:

— Пробирайся на нос, там и ляжешь. И чтобы тебя не было видно над фальшбортом.

— Хорошо, Том, — сказал рослый детина и пополз медленно, дюйм за дюймом вниз, пробираясь к носу. Ему пришлось переползти через ноги Питерса, и он взял его автомат, обоймы и заправил обоймы за пояс. Потом сунул руку в карман Питерса, вынул оттуда гранаты и пристегнул их к поясу. Он похлопал Питерса по ногам и, держа оба автомата за стволы, пополз дальше к своему посту в носовой части шхуны.

Проползая по наклонной палубе, подминая под себя поломанные мангровые ветки, он заглянул в развороченный форлюк. То, что он увидел там, никак не отразилось на его лице. Добравшись до фальшборта с подветренной стороны, он положил оба автомата справа от себя, потом проверил автомат Питерса и вставил в него новую обойму. Остальные обоймы положил вдоль фальшборта, отстегнул от пояса гранаты и тоже приладил их так, чтоб были под рукой. Удостоверившись, что Генри занял свою позицию и смотрит на зеленый остров, Томас Хадсон отвернулся от него и заговорил с Вилли, который лежал на дне шлюпки, зажав от солнца оба своих глаза — и зрячий и искусственный. На нем были рваные шорты, выгоревшая рубашка цвета хаки с длинными рукавами, на ногах — резиновые туфли. Ара сидел на корме, и Томас Хадсон прежде всего увидел густую шапку его черных волос и то, как его большие руки вцепились в фальшборт. Ноги у Ары все еще подрагивали, но Томас Хадсон знал, что он всегда первичаает перед боем, а стоит только делу начаться, как его поведение становится выше всяких похвал.

— Вилли, — сказал Томас Хадсон, — ты все рассчитал?

Вилли открыл свой зрячий глаз, а искусственный так и остался у него зажмуренным.

— Я прошу разрешения отбыть на дальний конец острова и посмотреть, что там делается. Этих сволочей нельзя отсюда выпускать.

— Я поеду с тобой.

— Нет, Томми. Я это паршивое дело знаю. Такова моя профессия.

— Одного тебя я не пущу.

— А туда только одному и надо ехать. Ты уж положишься на меня, Томми. Ара вернется и поможет тебе, в случае если я там их обнаружу. А если все обойдется благополучно, он подойдет к берегу и заберет меня.

Оба глаза у него были открыты, и он пристально смотрел на Томаса Хадсона, будто старался продать ему какую-то штуку, которая хоть и пужна в хозяйстве, да неизвестно, хватит ли на нее денег у покупателя.

— Все-таки я поеду с тобой.

— Слишком много шума будет. Нет, правда, Том, я это паршивое дело знаю. Я крупный специалист по такого рода дерьмовым делам. Лучшего специалиста ты не найдешь.

— Ладно. Поезжай, — сказал Томас Хадсон. — А лодку их подорви.

— А как ты думаешь, что я там собираюсь делать? По пляжу гулять?

— Ну, если ехать, так поезжай.

— Том, у тебя сейчас поставлены два капкапа. Один на катере, другой здесь. Ара с тобой куда угодно поедет. Потерять ты можешь только пушечное мясо — одного морского пехотинца, белобилетника. Чего же ты, в самом деле?

— Хватит болтать, — сказал Томас Хадсон. — Проваливай к чертовой матери, и да благословит тебя господь дерьмовым венцом.

— Подыхай поскорее, — сказал ему Вилли.

— Ты, я вижу, в форме, — сказал Томас Хадсон и быстро объяснил Аре по-испански, что им предстоит делать.

— Не беспокойся, — сказал Вилли. — Я из положения лежа все ему объясню.

Ара сказал:

— Я скоро вернусь, Том.

Томас Хадсон увидел, как Ара запустил мотор и как плюпка отошла от шхуны, увидел широкую спину и черные волосы Ары, сидевшего на корме, и Вилли, лежащего на дне шлюпки. Вилли перевернулся на бок, и голова его пришлась вровень с ногами Ары, так что теперь они могли переговариваться.

Хороший, смелый, беспутный сукин сын, подумал Томас Хадсон. Старина Вилли. Он подтолкнул меня, когда я уже начал сдавать. Крепкий моряк, даже покалеченный моряк — это в нашем поганом положении лучшее, что может быть. А положение у нас поганое. Желаю вам удачи, мистер Вилли. И не подыхайте, пожалуйста.

— Как ты там, Генри? — тихо спросил он.

— Хорошо, Том. Какую Вилли доблесть проявил — сам вызвался ехать на остров.

— Доблесть? Он и слова такого не знает, — сказал Томас Хадсон. — Просто решил, что это его долг.

— Я жалею, что мы с ним не дружили.

— Когда дело плохо, тогда все мы дружим.

— Отныне я буду дружить с ним.

— Отныне мы все собираемся много чего свершить, — сказал Томас Хадсон. — Уж скорее бы оно наступило, это «отныне».

Они лежали на горячей палубе, наблюдая за островом. Солнце сильно припекало им спины, но ветер охлаждал. Спина у них были почти такие же черные, как у индианок, которых они видели сегодня утром на дальнем острове. Кажется, что это было давным-давно, как и вся моя жизнь, подумал Томас Хадсон. И это, и открытое море, и длинные рифы с разбивающейся о них волной, и темный бездонный тропический океан за ними — все было сейчас так же далеко от него, как и вся его жизнь. А ведь с таким бризом мы могли уйти в открытое море и выйти на Кайо Франсес, и Питерс ответил бы на их позывные, и мы сегодня вечером уже пили бы холодное пиво. Не думай об этом, сказал он себе. Ты сделал как должно.

— Генри,— сказал он.— Как ты там?

— Великолепно, Том,— очень тихо ответил Генри.— Скажи, осколочная гравата может взорваться от того, что перегрелась на солнце?

— Никогда не видал такого. Но, конечно, солнечный нагрев может повысить чувствительность ее запала.

— Надеюсь, у Ары есть вода,— сказал Генри.

— Они с собой брали воду. Ты разве не помнишь?

— Нет, Том, не помню. Я был занят собственным снаряжением и не обратил внимания.

Тут сквозь шум ветра они услышали стрекот подвешенного мотора. Томас Хадсон осторожно повернул голову и увидел шлюпку, огибавшую мыс. Она высоко поднимала нос над водой, на корме сидел Ара. На таком расстоянии уже можно было разглядеть его широкие плечи и шапку черных волос. Томас Хадсон опять повернулся лицом к острову и увидел, как из роши в самой его середине поднялась ночная цапля. Потом он увидел, как две каравайки тоже поднялись, описали круг и — сперва быстрые взмахи крыльев, потом планирующий спуск, потом опять быстрые взмахи крыльев — улетели по ветру в сторону маленького острова.

Генри тоже следил за ними, и он сказал:

— Вилли, наверно, уже далеко вглубь забрался.

— Да,— сказал Томас Хадсон.— Они взлетели с того высокого хребта в середине острова.

— Значит, кроме него, там никого нет.

— Да, если это Вилли их спугнул.

— Но он сейчас примерно там и должен находиться, если дорога не слишком тяжелая.

— Ты смотри лежи, не поднимайся, когда Ара подъедет.

Ара провел шлюпку вдоль накрепившегося подветренного борта шхуны и зацепил якорь за планшир. Потом осторожно, с медвежьей споровкой, вскарабкался на борт. Он привез бутылку воды и чай в бутылке из-под джина; обе бутылки были обвязаны крепкой рыболовной леской и подвешены у него на шее. Он ползком подобрался к Томасу Хадсону и лег рядом.

— Как бы мне этой водицы? — попросил Генри.

Ара сложил свое имущество возле Томаса Хадсона, отвязал бутылку с водой и пополз по наклонной палубе повыше люков, туда, где лежал Генри.

— Пей,— сказал он.— Только купаться в ней не вздумай.

Он хлопнул Генри по спине, пополз обратно и опять лег рядом с Томасом Хадсоном.

— Том,— очень тихо проговорил он.— Мы ничего там не увидели. Я высадил Вилли на той стороне острова, почти что напротив нас, если смотреть по прямой, и пошел к нашему судну. Поднялся на борт с подветренной стороны — не с той, где остров. Все объяснил Антонио, и он меня понял. Потом я заправил мотор горючим и прихватил запасную канистру, да вот еще воды и холодного чая прямо со льда.

— Отлично,— сказал Томас Хадсон. Он сполз чуточку вниз по наклонной палубе и сделал долгий глоток из бутылки с холодным чаем.— Большое тебе спасибо за чай.

— Это Антонио вспомнил. Мы многое забыли в спешке, когда уезжали.

— Передвинься немного к корме, чтобы держать остров под прицелом.

— Хорошо, Том,— сказал Ара.

Они лежали так на солнце и на ветру, и каждый наблюдал за островом. Иногда вдруг взлетали одна-две птицы, и оба понимали, что этих птиц вспугнул либо Вилли, либо те, другие.

— Вот, наверно, злится Вилли на птиц,— сказал Ара.— Про них-то он и не подумал, когда забирался вглубь.

— Да, это все равно что воздушные шары запускать,— ответил Томас Хадсон.

Задумавшись, он повернулся и посмотрел через плечо.

Все это ему теперь совсем не нравилось. Слишком много птиц взлетало с острова. Какие, собственно, основания были у нас думать, что те, другие, сейчас там, в глубине острова? И главное: для какой надобности было им туда забираться? Лежа на палубе, он, точно какую-то пустоту в груди, ощущал подозрение, что их с Вилли обманули. Может быть, конечно, пикто и не старался нас обставить. Но странно все-таки, что столько птиц взлетает, подумал он. Еще парочка караваск поднялась недалеко от берега, и Томас Хадсон повернулся к Генри и сказал:

— Генри, пожалуйста, спустись в форлюк и последи, что делается на той стороне.

— Очень уж там мерзко.

— Я знаю.

— Хорошо, Том.

— Гранаты и диски оставь тут. Возьми піфо и одну гранату сунь в карман.

Генри соскользнул в люк и стал смотреть на островки, маскировавшие пролив. Выражение его лица не изменилось. Но он плотно сжимал губы, чтобы сохранять его неизменным.

— Ты уж извини меня, Генри,— сказал ему Томас Хадсон.— Но тебе придется потерпеть.

— Я этого не боюсь,— сказал Генри. Тут нарочитая строгость, так тщательно надетая им на лицо, вдруг распалась, и он улыбнулся своей чудесной доброй улыбкой.— Просто это не совсем та обстановка, в какой я мечтал бы провести лето.

— Я тоже. Но сейчас все получается не так просто.

Из мангровой рощи взлетела выпь, и Томас Хадсон услышал ее пронзительный крик и проследил за ее первым, устремленным вниз полетом по ветру. Потом он попробовал представить себе путь Вилли сквозь мангровые заросли по вспархиванию и полету птиц. Когда они переставали взлетать, это значило, что Вилли повернул назад. Если немного погода опять что-то их вспугивало, это значило, что Вилли осматривает наветренный склон острова. Через три четверти часа Томас Хадсон увидел, как испуганно взлетела большая белая цапля и медленными тяжелыми взмахами крыльев двинулась против ветра, и он сказал:

— Значит, Вилли теперь вышел на берег. Посылай за ним следом на мыс.

— Вижу его,— через минуту сказал Ара.— Только что помахал нам. Лежит чуть повыше отмели.

— Поезжай, привези его. И пока будете ехать, пусть лежит, не встает.

Ара сполз в шлюпку со своим автоматом и двумя гранатами в карманах. Он сел на корме и оттолкнулся от шхуны.

— Том, кипь мне, пожалуйста, бутылку с чаем.

Для верности Ара поймал ее обеими руками, а не одной, как он обычно делал. Ему нравилось ловить гранаты одной рукой и в самых трудных положениях, нравилось зубами выдергивать чеку. Но чай этот предназначался для Вилли; Ара знал, что Вилли пришлось вытерпеть на острове, хоть это и не дало результатов, и он бережно уложил бутылку под кормой и пощупал, не нагрелась ли она.

— Что скажешь, Том? — спросил Генри.

— Хреновое наше дело. Сейчас по крайней мере.

Вскоре шлюпка уже стояла борт о борт со шхуной, а Вилли лежал на дне шлюпки, обеими руками держа бутылку с чаем. Руки и лицо у него были все в царапинах и в крови, один рукав оторван. Лицо, искусанное москитами, распухло, и всюду, где тело не было закрыто одеждой, виднелись бугорки от москитных укусов.

— Ни черта там нету, Том,— сказал он.— Не бывали они на этом острове. А мы с тобой не больно хитры оказались.

— Неверно.

— То есть как?

— После того как шхуна села на мель, они пошли на лодке в глубь острова. То ли решили отсиживаться там, то ли чтобы разведать протоки — уж этого не знаю.

— Думаешь, они видели, как мы взбирались на шхуну?

— Либо все могли видеть, либо ничего. Они были слишком низко над водой, оттуда трудно что-нибудь увидеть.

— Могли услышать — мы же были у них с наветренной стороны.

— Может быть, и слышали.

— Так что же теперь?

— Ты отправляйся на судно, а потом пришли Ару за Генри и за мной. Они, пожалуй, еще вернутся.

— А как с Питерсом? Мы можем его взять.

— Ну, так берите сейчас.

— Томми, ты не с той стороны к этому подходишь. Мы оба ошибались, и я вовсе не подаю тебе советов.

— Я знаю. Я спущусь в задний люк, как только мы с Арой уберем Питерса.

— Пусть лучше он один это делает,— сказал Вилли.— Они могут увидеть вас издали. Но различить то, что плоско лежит на палубе, без бинокля нельзя.

Томас Хадсон объяснил это Аре, и Ара взобрался наверх и управился с Питерсом очень легко и без всяких эмоций — только обвязал ему голову парусиной. Он не выказал ни грубости, ни излишних чувств и сказал только, после того как поднял Питерса и спустил его головой вперед в шлюпку:

— Какой он весь твердый, точно дубовый.

— Потому, наверно, и говорят про покойника, что он дал дуба,— сказал Вилли.— Ты разве этого не слышал?

— Да,— сказал Ара.— Мы их зовем «fiambres», это значит «холодное мясо» — ну, знаешь, как в ресторане, где можно взять рыбу, а можно холодное мясо. Но я думал о Питерсе. Он всегда был такой гибкий.

— Я в аккурате его доставлю, Том. Тебе еще что-нибудь нужно?

— Удача мне нужна,— сказал Томас Хадсон.— Спасибо за разведку, Вилли.

— Обычная дерьмовая работенка,— сказал Вилли.

— Скажи Хилу, пусть смажет тебе царапины мертиолатом.

— Плевать на царапины,— сказал Вилли.— Буду бегать, как дикарь из джунглей.

Томас Хадсон и Генри смотрели из обоих люков на ломаную и зазубренную линию мелких островов, лежавших между ними и длинным заливом, который служил проходом в глубь острова. Они разговаривали, не понижая голоса, так как знали, что тех, других, не может быть нигде ближе, чем на этих маленьких зеленых островках.

— Ты покарауль,— сказал Томас Хадсон.— Я пойду выброшу за борт их боеприпасы и еще раз посмотрю, что тут есть внизу.

Внизу он нашел много такого, чего раньше не замечал, и, вытащив на палубу ящик с патронами, столкнул его за борт. Пожалуй, следовало бы расшвырять по отдельности все эти коробки. Ну да черт с ними. Он вынес на палубу шмейссеровский автомат, обнаружил, что тот не действует, и отложил его к собственным вещам.

Пусть-ка Ара с ним повозится, подумал он. По крайней мере мы знаем, почему они не взяли его с собой. Ты, может быть, полагаешь, что они оставили раненого в качестве комитета по организации встречи, а сами дали тягу? А может, они устроили его со всяческими удобствами, а сами отправились на разведку? И много ли они, по-твоему, видели и много ли они знают?

— А нам не стоило бы сохранить эти ихние боеприпасы как вещественное доказательство? — спросил Генри.

— Теперь нам уж не до вещественных доказательств.

— Их всегда хорошо иметь. Ты знаешь, какие там придиры. Наверняка поставят все под сомнение. А Управление военно-морской разведки — оно даже под сомнение взять не захочет. Помнишь, Том, как было с последней подлодкой?

— Помню.

— Она тогда вон на сколько зашла в устье Миссисипи, а мы все еще сомневались.

— Верно.

— По-моему, неплохо было бы сохранить боеприпасы.

— Генри, — сказал Томас Хадсон, — ты только не волнуйся. Убитые все находятся на острове. Есть у нас пули от шмейссеровского автомата, извлеченные из тех тел и из мертвого фрица. Еще одного фрица мы похоронили, и место захоронения точно указано в судовом журнале. Есть севшая на мель шхуна и еще один мертвый фриц на ней. Есть два шмейссеровских автомата — один неисправный, другой поврежденный осколочной гранатой.

— А вот налетит ураган и все сметет, и они скажут, что все эти факты сомнительны.

— Хорошо, — сказал Томас Хадсон. — Допустим, что все эти факты сомнительны. Ну а Питерс?

— Скажут, что Питерса, наверно, застрелил кто-нибудь из нас.

— И верно, что скажут. Придется нам пройти через все это.

Они услышали шум подвесного мотора и увидели, что Ара огибает мыс. Шлюпка так же высоко задирает нос, как и каноэ, подумал Томас Хадсон.

— Собирай свои манатки, Генри, — сказал он. — Мы возвращаемся на судно.

— Если хочешь, я охотно останусь на этом корыте.

— Нет, ты мне нужен на судне.

Но когда Ара стал бок о бок со шхуной, он вдруг передумал.

— Генри, побудь здесь еще немного, а я пришлю за тобой Ару. Если они появятся, кидай им гранату в лодку. Перейди сюда, в задний люк, тут просторно. И шевели мозгами.

— Хорошо, Том. Спасибо, что разрешил мне остаться.

— Я бы сам остался, а тебя отослал, но мне нужно кое-что обсудить с Антонио.

— Понимаю. Может, мне обстрелять их, когда они будут тут рядом, прежде чем бросать гранату?

— Как хочешь. Но не высовывайся, а гранату кидай из другого люка. И крепче держись.

Он лежал у шпигатов с подветренного борта и передавал вещи Аре. Потом сам перевалился через борт.

— Внизу не слишком мокро? — спросил он Генри.

— Нет, Том. Все в порядке.

— Ну, не поддавайся клаустрофобии и будь настороже. Если они явятся, не торопись, подожди, пока их лодка станет точно борт о борт со шхуной, и тогда уж валяй.

— Конечно, Том.

— Представь себе, будто ты сидишь в шалаше и охотишься на уток.

— Это мне ни к чему, Том.

Томас Хадсон уже лежал в шлюпке.

— Ара придет за тобой, как только это потребуется.

— Не беспокойся, Том. Если нужно, я тут хоть всю ночь просижу, только хорошо бы Ара привез мне чего-нибудь поесть, ну и, может, немножко рома и воды.

— Он вернется и заберет тебя, и немножко рома мы выпьем на судне.

Ара дернул за шнур мотора, и они пошли к катеру. Лежа на дне шлюпки, Томас Хадсон чувствовал гранаты у своих ног и тяжесть пiпо на груди. Он обнял его и побаюкал, и Ара засмеялся и, нагнувшись к нему, сказал:

— Неподходящая это жизнь для хороших детей.

ХІХ

К закату, когда ветер посвежел, все уже были на борту. Отмель еще не покрылась водой, но фламинго снялись и улетели. В предзакатном освещении отмель казалась серой, и на ней хлопотала стая бекасов. Позади было мелко-

воде, протоки, в которых трудно было найти путь из-за ила, замутившего воду, и цепь островков на горизонте.

Томас Хадсон стоял на мостике, прислонясь к борту в самом углу, и слушал, что говорил ему Антонио.

— Вода поднимется достаточно высоко не раньше одиннадцати,— сказал Антонио.— Ветер гонит ее из бухты и с отмелей, и кто его знает, на какую тут можно рассчитывать глубину.

— Нас сплывет течением или придется верном тянуть?

— Должно снять. Но теперь, без луны, ночи очень темные.

— Да, верно. Оттого у нас и обнаружилась течь в стольких местах.

— Луна только вчера родилась,— сказал Антонио.— Совсем молодая. А мы ее вчера и не видели из-за туч.

— Да, верно.

— Я послал Джорджа и Хиля, велел им парубить кустарника для вех. Расставим вдоль протоки вехи, тогда легче будет идти по ней. Пройдем на шлюнке, обследуем дно и вехами разметим фарватер.

— Вот что, Антонио. Когда течение поможет нам выбраться отсюда, я хотел бы стать на якорь в таком месте, чтобы можно было установить прожектор и взять шхуну под обстрел и чтобы кто-нибудь на борту сигнализировал нам, если они вдруг выйдут на лодке.

— Чего бы лучше, Том. Но в такой тьме входить в бухту нельзя. То есть можно, если освещать путь прожектором и если вперед пойдет шлюпка и будет ориентироваться по вехам и замерять глубину и выкрикивать сколько. Но тогда они не выйдут. И думать нечего.

— Ты прав. Это уже моя вторая ошибка сегодня.

— Согласен,— сказал Антонио.— Но такая ошибка — дело случая. Все равно как если наугад вытаскиваешь карту из колоды.

— Ошибка от этого не перестает быть ошибкой. Скажи мне теперь, как ты думаешь.

— Я думаю так: если они уже не ушли и если мы не будем стараться скрыть, что мы на мели, они вечером выйдут и попробуют взять нас на abordаж. Им не приходит в голову, что мы не просто компания рыболовов-любителей. Когда все это случилось, они, я уверен, были далеко среди островов. Они убеждены, что легко справятся с нами,— ведь если даже они следили целый день, что они

могли увидеть? Одного человека в шлюпке. Они нас не принимают всерьез.

— На это и был расчет.

— А вот что, если они доберутся до шхуны и все увидят?

— Пошли-ка сюда Вилли,— попросил Томас Хадсон.

Вилли явился, все еще распухший после схватки с москитами. Но ранки от укусов поджили, и на нем, кроме шпортов цвета хаки, ничего не было.

— Ну, дикарь из джунглей, как ты там?

— Все в порядке, Том. Ара мне смазал места укусов мериолатом, и они больше не чешутся. Это же форменные зверюги, эти москиты — с четверть дюйма величиной и черные, как чернила.

— Хреновое наше дело, Вилли.

— Оно с самого начала было хреновым.

— Где Питерс?

— Мы его зашили в брезент и обложили льдом. За товарный вид не ручаюсь, но денька два продержится.

— Вот что, Вилли. Я тут говорил с Антонио, что хорошо бы зайти куда-нибудь, откуда удобно взять на прицел эту дырявую посудину. Чтобы ее и осветить и обстрелять, когда понадобится. Но он говорит, если мы это сделаем, то переполошим весь океан. А так не годится.

— Точно,— сказал Вилли.— Он прав. Это уже твоя третья ошибка сегодня. Но одну я тебе, так и быть, не засчитаю.

— Как ты думаешь, попробуют они выйти и напасть на нас?

— Черта с два,— сказал Вилли.

— Но они могут сделать попытку.

— Психованные они, что ли! Если полезут, так только разве с отчаяния.

Они оба сидели на мостике, прислонясь к натянутому па поручни брезенту. У Вилли опять зачесалось правое плечо, и он тер его о брезент.

— От них всего можно ждать,— сказал он.— Ту бойню тоже могли устроить только психованные.

— Это смотря с чьей точки зрения. Не забудь, они тогда только что потеряли свое судно и были как бешеные.

— А сегодня они потеряли другое судно да еще одного из своих людей в придачу. Может, они его любили, сукиного сына.

— Наверное даже. Иначе не стали бы его выхаживать.

— Он был неплохой парень, этот фриц,— сказал Вилли.— Не поддался ни на какие разговоры о сдаче, и даже граната его не испугала. Питерса он, верно, принял за командира, потому что тот шпихал по-ихнему, да и тон у него был командирский.

— Должно быть.

— Гранаты-то рвались внизу. Они могли их даже не услышать. Сколько очередей ты дал, Том?

— Не больше пяти.

— А тот только и успел что одну.

— Скажи, Антонио, здесь очень все было слышно?

— Да нет, не очень,— сказал Антонио.— Ветер не в нашу сторону, и потом, мы отделены рифом. Так что доходило все очень глухо. Но я все-таки слышал.

— Пусть даже они ничего не слышали,— сказал Томас Хадсон.— Но ведь наверняка они видели, как наша шлюпка сновала взад и вперед, а тут еще шхуна чуть не на боку лежит. Они, скорее всего, решат, что она заминирована. И даже близко к ней не решатся подойти.

— Пожалуй, ты прав,— сказал Вилли.

— Но как по-твоему, выйдут они вообще или нет?

— Я об этом столько же знаю, сколько ты и господь бог. Ты бы должен знать — ведь ты у нас специалист по влезанию в немецкие мозги.

— Да,— сказал Томас Хадсон.— Иногда я это умею. Но сегодня не получается.

— Ничего, получится,— сказал Вилли.— Просто на тебя временное затмение пашло.

— А может, нам правда устроить там ловушку?

— Пока что мы сами в ловушке сидим,— сказал Вилли.

— Отправляйся-ка ты туда, пока светло, и заминируй, что можно.

— Вот это разговор,— сказал Вилли.— Узнаю старого Тома. Я заминирую оба люка, и мертвого фрица заминирую, и поручни на подветренной стороне. Вот видишь, что значит взяться за ум.

— Взрывчатки не жалеи. Ее у нас много.

— Я ее так оснащу, что сам Иисус Христос до нее дотронуться не сможет.

— Шлюпка возвращается,— сказал Антонио.

— Возьму с собой Ару и все, что требуется, и сразу к шхуне,— сказал Вилли.

— Смотри только не подорвись сам.

— А ты не думай, о чем не надо,— сказал Вилли.— Ступай, Том, отдохни пока. Тебе ведь всю ночь не спать.

— И тебе тоже.

— Ну, это дудки. Если я тебе понадобится, меня разбудят.

— Я становлюсь на вахту,— сказал Томас Хадсон помощнику.— Когда начнется прилив?

— Он уже начался, но сильный восточный ветер гонит воду из бухты течению наперерез.

— Поставь Хиля к пятидесятимиллиметровкам, а Джорджа отправь отдыхать. И все пусть отдыхают пока, до ночи.

— Может, выпьешь чего-нибудь, Том?

— Нет, не хочу. Что там у тебя сегодня на ужин?

— По куску вареной агухи с испанским соусом, рисом и черными бобами. А вот фруктовых консервов у нас больше нет.

— Кажется, в том списке в Конфитесе значились фруктовые консервы.

— Да, но они были вычеркнуты.

— И сушеных фруктов тоже нет?

— Только абрикосы.

— Замоchi их с вечера сегодня, утром дашь людям к завтраку.

— Генри не будет есть с утра сушеные фрукты.

— Ну, ему дашь попозже, когда у него аппетит разыграется. Что, супа у нас еще много?

— Много.

— А со льдом как?

— На неделю должно хватить, если мы не изведем очень много на Питерса. Почему ты не хочешь похоронить его в море, Том?

— Может, и похороним,— сказал Томас Хадсон.— Он всегда говорил, что ему бы хотелось быть похороненным в море.

— Он много чего говорил.

— Да.

— Может, все-таки выпьешь чего-нибудь?

— Ладно,— сказал Томас Хадсон.— Джину у тебя не осталось?

— Твоя бутылка стоит в шкафчике.

— А кокосовая вода есть?

— Найдется.

— Смешай мне джину с кокосовой водой и выжми туда лимон. Если у нас есть лимоны.

— Лимонов у нас много. Питерс где-то прятал бутылку шотландского виски, я могу поискать. Может, ты бы охотнее выпил виски?

— Нет. Поищи и, если найдешь, запри в шкафчик. Еще пригодится.

— Сейчас приготовлю питье и принесу тебе.

— Спасибо. Авось нам повезет и они решатся выйти сегодня.

— Не думаю, чтобы решились. Я, как видишь, одной школы с Вилли. По все может быть.

— Мы для них большой соблазн. Им необходимо какое-нибудь судно.

— Да, Том. Но не дураки же они. Ты бы не мог забираться в их мысли, будь они дураками.

— Ладно. Готовь питье.— Томас Хадсон уже наводил большой бинокль на ближние острова.— Попытаюсь забраться в их мысли еще раз.

Но эта попытка ни к чему не привела. Даже собственные мысли тяжело ворочались у него в голове. Он стал просто смотреть в бинокль. Вот шлюпка заходит за стрелку острова — Ару на корме еще видно, а Вилли уже скрылся с глаз. Вот стая бекасов спялась наконец с отдели и полетела на запад. В полном одиночестве он потягивал из стакана, который ему принес Антонино.

Он думал о том, что обещал себе в этот рейс совсем не пить, даже чего-нибудь прохладного на ночь, чтобы все мысли были только о работе, и ни о чем больше. Он думал о том, что намерен был изнурять себя до того, чтобы засыпать мертвым сном, едва добравшись до койки. Но он не оправдывался перед собой за этот стакан и за нарушенное обещание.

И я изнурял себя, думал он. Изнурял без поблажек. И один раз могу разрешить себе выпить и подумать о чем-нибудь еще, кроме тех, кого мы тут поджидаем. Появятся они этой ночью — у нас все готово для встречи с ними. Не появятся — я сам пойду их искать поутру, как только течением снимет нас с мели.

И он маленькими глотками потягивал холодное, чистое на вкус питье и оглядывал ломаный контур цепи островков впереди, круто загибавшийся к западу. Алкоголь, как всегда, распахнул его память, которую он теперь старался держать наглухо запертой, и, глядя на острова, он вспо-

мнил те дни, когда выходил на ловлю тарпона с Томом-младшим, тогда совсем еще мальчуганом. Только там острова были не такие и протоки гораздо шире.

Фламинго там не встречались никогда, но вообще птицы были почти те же самые, кроме разве золотистой ржанки. Иногда, правда, попадались целые стаи ржанок серого цвета, но в другое время их черные крылья отливали золотом, и он вспомнил, с какой гордостью Том-младший принес домой первую птицу, подстреленную им из его первой одностволки. Как он гладил ее пухлую белую грудку и проводил рукой по красивым черным отметинам под крыльями, а ночью Томас Хадсон вошел к нему в комнату и увидел, что он спит, крепко прижав птицу к груди. Он тогда осторожно высвободил тело птицы, стараясь не разбудить мальчика. Но мальчик не проснулся. Он только сцепил руки вместе и перевернулся на спину.

А Томас Хадсон унес ржанку в кухню, чтобы положить на лед, и у него было такое чувство, будто он во сне ограбил мальчика. Но он тщательно расправил крылышки птицы и положил ее на одну из решетчатых полочек ледника. На следующий день он маслом написал золотистую ржанку для Тома-младшего, и мальчик увез потом картину с собой в школу. Птица была написана на фоне песчаного берега и кокосовых пальм, и он постарался передать на полотне ее быстроту и стремительность.

Потом ему вспомнилось одно утро — они с Томом-младшим жили тогда в летнем туристском лагере. Он проснулся рано, а Том еще спал. Он лежал на спине, скрестив руки, и похож был на надгробное изваяние юного рыцаря. Так он его тогда и нарисовал, взяв за образец надгробие, виденное когда-то в Солсберийском соборе. Он хотел позднее написать по этому рисунку картину, но из суеверия не написал. Не очень-то это помогло, подумал он.

Он поднял глаза на солнце, которое уже клонилось к западу, и в его лучах увидел Тома на «спитфайре». Самолет был совсем крошечным в вышине и сверкал, точно осколок разбитого зеркала. Ему нравилось летать, сказал он себе. А ведь ты правильно рассудил, когда зарекся пить в этом рейсе.

Но обернутый бумагой стакан был еще более чем наполовину полон, и даже лед не растаял в нем.

Спасибо Питерсу, подумал он. Потом ему вспомнилось еще одно лето на острове. Том в тот год проходил в школе ледниковый период и очень боялся, что он наступит опять.

«Папа,— говорил он.— Это единственное, что меня тревожит».

«Здесь нам это не грозит»,— сказал ему Томас Хадсон.

«Да, я знаю. Но что будет с теми, кто живет в Висконсине, Мичигане, Миннесоте? И даже в Иллинойсе и в Индиане».

«Едва ли стоит об этом беспокоиться,— сказал Томас Хадсон.— Если даже случится такое, процесс будет невероятно медленный».

«Да, я знаю,— сказал Том-младший.— Но это единственное, что меня тревожит по-настоящему. Да еще, пожалуй, то, что вымерла порода странствующих голубей».

Уж этот мне Том, подумал он и, оставив недопитый стакан, принялся разглядывать в бинокль бухту. Но нигде не заметно было ничего похожего на парус, и он снова опустил бинокль.

Все-таки лучше всего им жилось на острове и еще на западном ранчо, думал он. И конечно, в Европе, но об этом думать нельзя, потому что тогда я начну думать о ней и все станет еще хуже. Интересно, где она теперь. Спит с каким-нибудь генералом, наверно. Что ж, дай бог, чтобы ей попался хороший генерал.

Она была очень красива, когда я ее встретил в Гаване. Я бы мог думать о ней всю ночь. Но не буду. Довольно и того, что я разрешил себе думать о Томе. А все потому, что выпил. Но я рад, что выпил. Иногда наступает время нарушить все свои правила. Ну, может быть, не все. Я еще немножко подумаю о нем, а потом займусь разработкой плана на сегодня — что мы будем делать после того, как вернутся Вилли и Ара. Они здорово спелись, эти двое. Вилли научился испанскому на Филиппинах, и говорит он чудовищно, но они отлично друг друга понимают. Отчасти благодаря тому, что Ара — баск и его испанский язык тоже плохой. Черт, не хотел бы я оказаться на этой посуднице после того, как Вилли и Ара оспасят ее по-своему.

Ладно, допивай что осталось и думай о чем-нибудь приятном. Тома больше нет, и это дает тебе право думать о нем. Все равно, превозмочь это в себе невозможно. Но справляться с этим ты уже научился. Так вспоминай что-нибудь хорошее и приятное. У тебя немало такого было в жизни.

Когда же тебе жилось лучше всего? — спросил он себя. Да все время, в сущности, пока жизнь была проста, и

деньги еще не водились в ненужном избытке, и ты был способен охотно работать и охотно есть. От велосипеда радости было больше, чем от автомобиля. С него лучше можно было все разглядеть, и он помогал держать себя в форме, и после прогулки по Булонскому лесу хорошо было свободным ходом катить по Елисейским полям до самого Рон-Пуана, а там, оглянувшись, увидеть два непрерывных потока машин и экипажей и серую громаду арки в наступающих сумерках. Сейчас на Елисейских полях цветут каштаны. Деревья кажутся черными в сумерках, и на них торчат белые восковые цветы. Как тогда, когда ты спешивался, бывало, у Рон-Пуана и вел свой велосипед к площади Согласия по усыпанной гравием пешеходной дорожке, чтоб спокойно полюбоваться каштанами и почувствовать их сень над собой, и, ведя велосипед по дорожке, ощущал каждый камешек сквозь тонкую подошву спортивных туфель. Эти туфли он приобрел по случаю у знакомого официанта из кафе «Селект», бывшего олимпийского чемпиона, а деньги на покупку заработал, написав портрет хозяина кафе — так, как тому хотелось.

«Немножко в манере Мане, мосье Хадсон, если вы сможете».

Портрет вышел не настолько в манере Мане, чтобы Мане под ним подписался, но в нем было больше от Мане, чем от Хадсона, а больше всего было в нем от хозяина кафе. Денег, которые Томас Хадсон за него получил, хватило на покупку спортивных туфель, а кроме того, хозяин долгое время не брал с него за выпитое. Потом однажды, когда Томас Хадсон для приличия предложил уплатить, отказа не последовало, и он понял, что расчет с ним окончен.

В «Клозери-де-Лила» у них тоже был знакомый официант, который их любил и всегда наливал им двойную порцию заказанного, так что, добавляя воды, они могли обойтись одной порцией в вечер. Поэтому они из «Селекта» перешли туда. Уложив Тома спать, они шли в это старое кафе и весь вечер сидели там вдвоем, счастливые тем, что они вместе. А потом гуляли по темным улочкам холма св. Женевьевы, где тогда еще не были снесены старые дома, каждый раз выбирая другой путь домой. Ложась спать, они слышали ровное дыхание спящего Тома и мурлыканье большого кота, который спал вместе с ним.

Томас Хадсон вспоминал возмущение знакомых: как это можно, чтоб кот спал в постели ребенка, и как мож-

но оставлять ребенка по вечерам одного. Но Том всегда спал хорошо, а если бы и проснулся, он был не один, а с котом, своим лучшим другом. Кот никогда бы не подпустил к постельке чужого, и они с Томом пежно любили друг друга.

А теперь Том... к черту, к черту, сказал он себе. То, что случилось, случается со всеми. Пора бы уже тебе уразуметь это. Но это единственное, что по-настоящему неоправимо.

Почему ты так уверен в этом? — спросил он себя. Человек уезжает, и это может оказаться неоправимым. Хлопает дверью, и это тоже бывает неоправимо. Любое предательство неоправимо. Подлость неоправима. Вероломство неоправимо. Нет, это все пустой разговор. По-настоящему неоправима только смерть. Как долго не возвращаются Вилли и Ара. Они там, наверно, оборудуют настоящую комнату ужасов. Я никогда не любил убивать, ни при каких обстоятельствах. А Вилли это словно бы по душе. Станный человек Вилли, хотя, в сущности, очень хороший. Просто если уж он взялся за что-то, так не успокоится, пока не сделает все в лучшем виде.

Вдалеке показалась плюнка. Он услышал стрекот мотора и следил за тем, как она подходила, вырастая и все четче рисуясь на воде, пока наконец не прищвартовалась к борту.

Вилли поднялся на мостик. Вид у него был совсем страшный, поврежденный глаз весь затянуло белой пленкой. Он вытянулся во фронт, лихо откозырял и сказал:

— Разрешите обратиться, сэр.

— Ты что, пьян?

— Нет, Томми. Просто доволен.

— Я же вижу, что ты выпил.

— Выпил, не спорю. Мы с собой взяли немного рому, чтобы веселей было обрабатывать эту падаль. А когда мы прикончили бутылку, Ара помочился в нее, а потом начинил ее взрывчаткой. Так что теперь она взрывчата вдвойне.

— Вы как следует заминировали все?

— Даже мальчик-с-пальчик не сможет ступить там шагу, чтобы сию же минуту не взлететь на воздух. Даже таракан не проползет. Ара все боялся, как бы мухи, которые ползают по трупу, не устроили взрыва раньше времени. Работа выполнена на совесть, аккуратно и красиво.

— Что делает Ара?

— Разбирает и чистит что под руку попадется, в приливе энтузиазма.

— Много вы с ним выпили рому?

— Меньше полбутылки на двоих. Это была моя идея. Ара тут ни при чем.

— Ладно, черт с вами. Ступай тоже вниз и помоги Аре вычистить и проверить пятидесятимиллиметровки.

— Их не проверишь, пока не выстрелишь.

— Знаю. А все-таки проверьте что можно без стрельбы. Выкиньте аммонал, который был забит в казенную часть.

— Ловко придумано.

— Скажи Генри, пусть поднимется сюда и принесет мне еще стаканчик вот этого и себе пусть возьмет тоже. Антонио знает мой рецепт.

— Я рад, что ты снова понемногу начинаешь пить, Том.

— Нечего тебе ни радоваться, ни огорчаться по этому поводу.

— Ладно, не буду, Том. Просто я не могу видеть, как ты стараешься заездить себя, точно лошадь верхом на другой лошади. Лучше уж будь кентавром, Том.

— Откуда это ты знаешь про кентавров?

— В книжке прочел. Я ведь образованный, Томми. Я не по годам развитой и образованный.

— Ты славный малый, хотя и сукин сын,— сказал ему Томас Хадсон.— А теперь катись вниз и делай, что тебе сказано.

— Есть, сэр. Томми, когда мы вернемся из этого рейса, продашь мне один из тех морских видов, что висят у тебя дома?

— На хрен он тебе сдался?

— А вот сдался. Знаешь, Том, ты не всегда все понимаешь.

— Возможно. Я даже думаю, что я всю жизнь не все понимал.

— Томми, ты плюнь на мою трепотню. Ты эту операцию провел что надо.

— Это будет видно завтра. Так скажи Генри, пусть принесет мне выпить. Хотя мне не хочется пить.

— Ничего, Томми. Если ночью что и будет, так только простая стычка, а может, и этого не будет.

— Ладно,— сказал Томас Хадсон.— Скажи Генри. И катись к такой-то матери с мостика и принимайся за дело.

Генри поставил на край мостика два стакана и, подтянувшись на руках, вспрыгнул сам. Стоя рядом с Томасом Хадсоном, он напряженно всматривался в смутные очертания дальних островов. По небу, в западной его четверти, плыл тонкий серпик луны.

— Твое здоровье, Том,— сказал Генри.— Я не смотрел на луну через левое плечо.

— А сегодня не поволуние. Новолуние было вчера.

— Верно, вчера. Только из-за туч луны не было видно.

— Как там идут дела, внизу?

— Лучше некуда. Все работают, и все веселы.

— Как Вилли и Ара?

— Они немножко хлебнули рому и очень повеселели от этого. Но сейчас они больше не пьют.

— Да. Сейчас уже не до этого.

— Мне очень хочется наконец столкнуться с фрицами,— сказал Генри.— И Вилли тоже.

— А мне пичуть. Но, в конце концов, это то, для чего мы здесь. Нам нужны пленные, Генри.

— Знаю.

— Но они поостерегутся понасть в плен — после бойни, которую имели глупость устроить на том острове.

— Это чтобы не выразиться крепче,— сказал Генри.— Но как ты думаешь, нападут они на нас сегодня или нет?

— Думаю, что нет. Однако нам надо быть настороже, потому что все может случиться.

— Мы и так настороже. Но какие у них все-таки планы, Том, как по-твоему?

— Трудно сказать, Генри. Может, с отчаяния они и попытаются завладеть нашим судном. Если среди них есть радист, ему, может, удастся починить нашу рацию, тогда они могли бы пойти на Ангилас, а оттуда уже — вызывая такси и кати прямо домой. Им, конечно, полный резон предпринять такую попытку. Может, кто-то в Гаване болтал лишнее и до них дошло, кто мы есть.

— Ну, кто же мог болтать?

— Нехорошо говорить дурное о мертвых,— сказал Томас Хадсон.— Но оп-то как раз мог, под пьяную руку.

— Вилли уверен, что он болтал.

— Вилли что-нибудь знает?

— Нет. Но он уверен.

— Это не исключено. А может, у них другой расчет — высадиться на побережье и наземным путем добраться до Гаваны, а там уже сесть на испанский пароход. Или аргентинский. Но они пуще всего боятся быть пойманными — все из-за той бойни. И с отчаяния могут пойти напролом.

— Хорошо бы.

— Если мы сумеем справиться с ними,— сказал Томас Хадсон.

Но ночь прошла, и ничего не случилось. Только загорались и гасли звезды, и восточный ветер дул с прежней силой, и журчала вода, засасываемая под днище. Волнение, вызванное приливом и ветром, сорвало с корня много фосфоресцирующих водорослей, и они плавали там и сям, точно языки бледного, нездорового огня.

Под утро ветер утих немного, и, когда рассвело, Томас Хадсон улегся ничком на голые доски и заснул, уткнувшись в брезент лицом,— заснул так крепко, что даже не слышал, как Антонио куском брезента накрыл его вместе с его оружием.

Антонио простоял на вахте до тех пор, пока прилив не достиг такой высоты, что судно свободно заколыхалось на волнах. Тогда он разбудил Томаса Хадсона. Они выбрали якоря и пошли, спустив на воду шлюпку, которая шла впереди, замеряла глубину и вежами отмечала места, внушавшие опасение.

Вода теперь была чистая и прозрачная, и разметать фарватер было хоть и нелегким делом, но не таким трудным, как вчера. В том месте, где они сели на мель накануне, воткнули в грунт большую ветку, и Томас Хадсон, оглядываясь, всякий раз видел, как зеленые листья полощутся в воде.

Шлюпка шла по протоке, а Томас Хадсон вел судно почти вплотную за ней. Они миновали остров, который издали казался круглым и маленьким, а теперь неожиданно развернулся в длину. Вдруг Хиль, смотревший в бинокль туда, где сплошной, но ломаной линией тянулись зеленые острова, сказал:

— Вижу веху, Том. В мангровых зарослях, прямо по ходу шлюпки.

— Внимание,— сказал Томас Хадсон.— Это что, канал?

— Похоже на то, но я не могу разглядеть, где вход в него.

— На карте он совсем узенький. Будем задевать за ветки с обеих сторон.

И тут он кое-что вспомнил. Как же это я так оплошал, подумал он. Но теперь делать нечего. Нужно идти вперед, пока судно не выберется из этой протоки. А уж тогда можно будет послать шлюпку обратно. Он позабыл сказать Вилли и Аре, чтобы они разминировали шхуну. Не ровен час, какие-нибудь бедные рыбаки набредут на нее. Ну ничего, можно еще вернуться и привести все в порядок.

С шлюпки усиленно сигнализировали, показывая ему, что нужно держаться как можно правее, подальше от трех крошечных островков и поближе к мангровым зарослям. Потом, словно там не падеялись, что он правильно понял, шлюпка повернула и пошла назад.

— Проход чуть ли не в самых зарослях! — крикнул Вилли Томасу Хадсону. — Правь так, чтобы вежа осталась у тебя слева. Мы пойдем дальше, а ты крой за нами, пока не получишь новых сигналов. Здесь глубоко.

Ара, ослабившись, сделал крутой разворот, и шлюпка опять заскользила впереди судна. Взяла было влево, потом вправо и наконец вовсе исчезла среди зелени.

Томас Хадсон старался не очень отставать от нее. Проход тут был довольно широким, хотя на карте он вовсе не значился. Должно быть, ураган расчистил заросшую протоку, подумал он. Много чего изменилось с тех пор, когда шлюпки американского экспедиционного судна «Юкомис» обследовали эти места.

И тут он заметил: ни одна птица не вылетела из гущи мангровых зарослей, куда направилась шлюпка.

Не оставляя интурвала, он наклонился к переговорной трубке и сказал Генри, находившемуся в посовом кубрике:

— Здесь мы можем парваться на них. Приведи в готовность орудия. Держись за щитком и, если они откроют огонь, стреляй туда, где увидишь вспышки.

— Слушаю, Том.

Антонио он сказал:

— Мы можем на них парваться в этой протоке. Будь наготове внизу и, если они начнут стрелять, отвечай, целясь пониже замеченных вспышек. Будь наготове, Хиль, — сказал он. — Оставь свой бинокль. Достань две гранаты,

поставь на боевой взвод и положи на стеллаж справа, чтоб они были у меня под рукой. Чеки на огнетушителях тоже поставь на боевой взвод, а бинокль брось. Нужно ждать нападения с обеих сторон. Скорей всего, именно так и будет.

— Ты мне скажешь, когда бросать, Том?

— Бросай, как только увидишь вспышки. Только бросай повыше, надо, чтобы они упали сверху на кусты.

Ни одной птицы не было видно, а он знал, что в часы прилива в мангровых зарослях должно быть полно птиц. Судно входило в узкий проход, и Томас Хадсон, в одних шортах, босой, с непокрытой головой, чувствовал себя голым настолько, насколько может быть гол человек.

— Ложись, Хиль,— сказал он.— Я тебе скажу, когда пора будет встать и бросить.

Хиль лег на мостик, держа наготове два огнетушителя, которые были пачипены динамитом и снабжены взрывателями от гранат армейского образца.

Томас Хадсон оглянулся на него и увидел, что он весь мокрый от пота. И тут же перевел взгляд на заросли, окаймлявшие протоку с обеих сторон.

Можно бы еще попробовать выбраться задним ходом, подумал он. Только при таком течении вряд ли это бы удалось.

Он теперь неотрывно смотрел на зеленые берега впереди. Вода снова стала совсем бурой, а мангровые листья блестели, как лакированные. Он всматривался, стараясь увидеть, нет ли где углубления или вырубки в зарослях. Но ничего не было видно, кроме зеленой листвы, темных веток и корней, обнажившихся от движения судна по воде. Кое-где из своих обнажившихся ямок под корнями выползали крабы.

Русло здесь постепенно сужалось, но видно было, что впереди оно снова становится шире. Может быть, у меня просто сдали нервы, подумал он. Большой краб торопливо вылез из-под корней и шлепнулся в воду. Томас Хадсон еще напряженней вгляделся в заросли, но ничего не увидел — только путаницу стволов и веток. Еще один краб, быстро перебирая лапками, пополз к воде.

И тут с берега открыли огонь. Он не видел вспышки, и боль пронзила его раньше, чем он услышал звук выстрела. Хиль был уже на ногах рядом с ним. Антонио слал трассирующие пули в то место, где он успел заметить вспышку.

— Туда бросай, туда,— сказал Томас Хадсон Хилю. Он чувствовал себя так, словно его три раза стукнули бейсбольной битой, и по левому бедру что-то текло.

Широко размахнувшись, Хиль метнул свою бомбу, и длинный заостренный корпус огнетушителя, блестя медью на солнце, пронесся над Томасом Хадсоном. Летел он не как стрела, а вращаясь на лету.

— Ложись, Хиль,— сказал Томас Хадсон. Ему самому очень хотелось лечь, но он знал, что нельзя, что не может судно остаться без управления. На носу Генри открыл огонь из обоих орудий, и он слышал глухие удары и босыми ногами ощущал, как при каждом выстреле содрогается весь корпус судна. Шуму много, подумал он. Тем лучше: нагонит страху на эту сволочь.

Когда бомба попала в цель, пламя ослепило его раньше, чем послышался грохот разрыва и повалил дым. Он почувствовал запах дыма, и расщепленной древесины, и горелой листвы.

— Встань, Хиль, и швырни две гранаты справа и слева от дыма.

Хиль не метал гранат. Он посылал их в воздух, точно бейсбольный мяч с третьей базы на первую, и они летели, похожие на железные серые артишоки с тонкими хвостиками дыма позади.

Прежде чем белые вспышки разрывов осветили заросли, Томас Хадсон успел проговорить в трубку:

— Бей их, Генри, разноси их к такой-то матери! Им тут некуда податься!

У дыма от гранат запах был не такой, как у дыма от бомбы, и Томас Хадсон сказал Хилю:

— Кинь еще две гранаты. Рассчитай так, чтобы одна попала дальше, чем бомба, а другая поближе сюда, к нам.

Он увидел, как обе гранаты взвились, а потом рухнул на палубу. То ли он рухнул, то ли палуба обрушилась на него, разобрать было трудно, потому что палуба была очень скользкая от патекшей с его бедра крови, но ушибся он крепко. Когда разорвалась вторая граната, слышен был сухой треск брезента, прорванного осколками в двух местах. Еще осколки попали в обшивку корпуса.

— Помоги мне подняться,— сказал он Хилю.— Уж эту ты бросил — ближе некуда.

— Ты куда ранен, Том?

— В ногу и еще куда-то.

Впереди на воде показалась шлюпка с Вилли и Арой, которая шла к ним.

Дотянувшись до трубки, он велел Аптонио передать наверх Хилю санитарную сумку.

И тут он увидел, как Вилли вдруг бросился плашмя на бак шлюпки и открыл огонь по мангровым зарослям правого берега. Он услышал так-так-так-так его «томпсона». Потом раскатился другой, более затяжной звук. Он включил оба мотора и дал всю скорость, которая только возможна была в таком узком русле. Он не очень ясно представлял себе, какая это скорость, потому что его мучила дурнота. Дурнота проникала в кости, заполняла собою всю грудь и внутренности, спускалась в пах. Он еще не ослабел окончательно, но уже чувствовал, как слабость одолевает его.

— Поверни одно орудие в сторону правого берега,— сказал он Генри.— Вилли там что-то обнаружил.

— Слушаю, Том. Как ты?

— Ранец, но пока держусь. А ты и Джордж?

— У нас полный порядок.

— Как только заметишь что-нибудь, сразу же открывай огонь.

— Слушаю, Том.

Томас Хадсон застопорил моторы и дал задний ход, стараясь вывести судно из зоны, которую обстреливал Вилли. Вилли вставил в свой «томпсон» обойму с трассирующими пулями, чтобы указывать цель остальным.

— Ты готов, Генри? — спросил Томас Хадсон в трубку.

— Готов, Том.

— Давай начинай короткими очередями.

Он услышал, как грохнули пятидесятимиллиметровки, и дал Вилли знак подходить. Шлюпка пошла к ним на всей скорости, которую можно было выжать из ее моторчика. Вилли все время стрелял, пока они не пришвартовались к судну с подветренной стороны.

Вилли взомел на борт и сразу же бросился на мостик, оставив Ару возиться со шлюпкой.

Он увидел Тома, увидел Хиля, который накладывал жгут на его левую ногу у самого паха.

— Господи милостивый! — сказал он.— Сильно тебя, Томми?

— Не знаю,— сказал Томас Хадсон. Он и в самом деле не знал. Он не видел ни одной своей раны. Он видел

только кровь, она была темная, и это успокаивало его. Но ее было слишком много, и дурнота подступала все сильнее.

— Что там, Вилли?

— Не знаю. Один гад высунулся и пальнул в нас из автомата. Я его положил на месте. Думаю, что положил.

— Я даже не слышал выстрела, такую ты поднял трескотню.

— А уж от вас грохоту — прямо будто склад боеприпасов взорвался. Как ты думаешь, там еще кто-нибудь есть?

— Может, и есть. Хотя мы им вкатили хорошую порцию.

— Так что будем делать? — спросил Вилли.

— Можно плюнуть, пусть их догнивают сами, — сказал Томас Хадсон. — А можно высадиться и покончить с этим делом.

— Меня больше сейчас заботят твои раны, — сказал Вилли.

Гепри возился с пушками. Если с пулеметами он обращался небрежно и грубо, то тут он был сама деликатность, и даже удвоенная, поскольку пушек было две.

— Ты знаешь, где они, Вилли?

— Они только в одном месте и могут быть.

— Так высадимся и прикопчим их к такой-то матери.

— Слышу слова офицера и джентльмена, — сказал Вилли. — Кстати, мы потопили их лодчонку.

— Да ну? Мы и этого не слышали, — сказал Томас Хадсон.

— А мы без лишнего шума, — сказал Вилли. — Ара ее рубанул своим мачете, а парус изрезал на куски. Самому Иисусу Христу не отремонтировать ее даже за месяц, если б он еще работал в своей плотницкой мастерской.

— Ступай на бак к Гепри и Джорджу, а Ара и Антонио пусть перейдут на правый борт. Мы пойдем к берегу, — сказал Томас Хадсон. Его мутило, и все у него было как не свое, но голова еще не кружилась. Жгут, наложженный Хилем, слишком быстро остановил кровь — значит, кровотечение внутреннее. — Будешь мне показывать, как держать. Они далеко от берега?

— Там есть невысокая гривка, почти у самой воды, за пей они и прячутся.

— Думасшь, Хиль сможет их достать своими бомбами?

— Я дам очередь трассирующими, наведу на цель.

— А если они ушли оттуда?

— Уйти им некуда. Они видели, как мы раздолбали их лодку. Могут теперь разыгрывать «Последний бой геперала Кастера» в мангровых зарослях. Эх, черти, сейчас бы шива.

— В жестяной банке со льда,— сказал Томас Хадсон.— Ладно, живой за дело.

— Ты страшно бледный, Томми,— сказал Вилли.— Ты много крови потерял.

— Тем более надо торопиться,— сказал Томас Хадсон.— Пока я еще держусь.

Он стал поворачивать штурвал, а Вилли, выставив из-за борта голову, время от времени корректировал ход.

Генри теперь стрелял с таким расчетом, чтобы попадания приходились то перед поросшей деревьями гривкой, то дальше, за ней, а Джордж бил туда, где верхушки деревьев были выше всего.

— Как там, Вилли? — спросил Томас Хадсон в трубку.

— Гильз столько валяется, что хоть медеплавильный завод открывай,— сказал Вилли.— Держи носом к берегу, а потом развернешься, чтобы Аре и Антонио удобно было открывать бортовой огонь.

Хилью почудилась человеческая фигура впереди, и он выстрелил. Но это была только большая, низко росшая ветвь — Генри подсек ее, и она повисла.

Томас Хадсон смотрел на приближавшийся берег. Когда уже можно было разглядеть каждый отдельный листок в зарослях, он снова развернул судно и почти тотчас же услышал «томпсон» Антонио и увидел его трассирующие пули, уходящие чуть правее пуль Вилли. Ара тоже открыл стрельбу. Томас Хадсон дал задний ход и подвел судно совсем близко к берегу, но так, чтобы оставался простор для Хили.

— Брось один огнетушитель,— сказал он ему.— Туда, куда показывал Вилли.

Хиль бросил, и снова Томас Хадсон подивился меткости броска: медный цилиндр, блестя, взлетел высоко в воздух и канул вниз почти точно в указанном месте. Раз-

дался взрыв, вспыхнуло пламя, и почти тотчас же в дыму появился человек — он шел к ним, сцепив вскинутые над головой руки.

— Не стрелять! — поспешно крикнул Томас Хадсон в обе переговорные трубки.

Но Ара уже успел выстрелить, и человек, покачнувшись, упал головой вперед в мангровые заросли.

Он снова наклонился к трубкам и приказал возобновить огонь. Потом очень усталым голосом сказал Хиллю:

— Постарайся метнуть туда же еще один. И следом добавь парочку гранат.

Уже был пленный. И он упустил его.

Немного погодя он сказал:

— Вилли, не хочешь сходить с Арой на берег посмотреть, что там делается?

— Хочу, — сказал Вилли. — Только вы прикрывайте нас огнем. Мы попробуем зайти с тыла.

— Объясни Генри, что тебе нужно. А когда прекратить огонь?

— Как только мы войдем в заросли.

— Ладно, дикарь из джунглей, действуй, — сказал Томас Хадсон. И тут только он впервые успел подумать, что, вероятно, это конец.

XXI

Он услышал, как за гривкой разорвалась граната. И сразу же стало тихо — ни шума, ни стрельбы. Тяжело привалившись к штурвалу, он следил, как тает на ветру дым от разрыва.

— Как только покажется шлюпка, я пойду вперед, — сказал он Хиллю.

Он почувствовал на своем плече руку Антонио и услышал его голос:

— Ты ляг, Том. Я буду править.

— Хорошо, — сказал он и последний раз глянул на узкое русло в зеленых берегах. Вода была бурая, но прозрачная, и течение сильное.

Хиль и Антонио уложили его на дощатый настил мостика. Потом Антонио встал к штурвалу. Он чуть подал назад, потому что судно сносило течением, и Томас Хадсон чувствовал мягкое подрагивание моторов.

— Ослабь немного жгут, — попросил он Хиль.

— Я принесу надувной матрац,— сказал Хиль.

— На досках хорошо,— сказал Томас Хадсон.— И мне, наверно, лучше не делать лишних движений.

— Подложи ему подушку под голову,— сказал Антонио. Он не отрываясь смотрел вперед.

Спустя несколько минут он сказал:

— Том, они машут нам.

И Томас Хадсон почувствовал, как моторы заработали и судно плавно пошло вперед.

— Как только мы выйдем из протоки, станешь на якорь.

— Хорошо, Том. Не нужно тебе разговаривать.

Когда якорь был брошен, пришел Генри сменить Антонио. Теперь, когда они находились в открытом море, Томас Хадсон ощущал легкое покачивание судна на волне.

— Воды кругом — без конца-краю,— сказал Генри.

— Да. Отсюда до Кайбарьена открытый путь, а там дальше есть две протоки, где фарватер размечен.

— Не разговаривай, Том. Лежи спокойно.

— Пусть Хиль принесет мне одеяло.

— Сейчас принесу сам. Тебе не очень больно, Том?

— Больно,— сказал Томас Хадсон.— Но так, что можно терпеть.

— Вот и Вилли,— сказал Генри.

— Том, старый чертяка,— сказал Вилли.— Молчи, я сам все скажу. Их там было четверо, считая проводника. Это почти все, кто уцелел. Пятым был тот, которого подстрелил Ара. Он себя прямо растерзать готов; знает ведь, как тебе нужен был пленный. Сидит и плачет, я ему запретил подниматься сюда. Палец у него сам на спуск нажал, это можно понять.

— Куда ты бросал гранату?

— Мне там в одном месте что-то померещилось. Ты не разговаривай, Том.

— Нужно вернуться разминировать шхуну.

— Сейчас мы туда пойдем, и то место я тоже хочу проверить еще раз. Эх, была бы у нас быстроходная моторочка. Томми, а знаешь, эти огнетушители, мать их, лучше восьмидесятимиллиметровых минометов.

— Дальнобойность не та.

— А на кой тебе тут дальнобойность? Наш Хиль забрасывал их прямо как баскетбольный мяч в кольцо.

— Ну, отправляйтесь.

— Тебе очень худо, Томми?
— Худо.
— Но ты ведь справишься, да?
— Попробую.
— Главное, ты лежи спокойно. Старайся совсем не шевелиться.

Шлюпка отвалила совсем недавно, по Томасу Хадсону казалось, что с тех пор прошло уже много времени. Он лежал на спине под навесом, который соорудил Антонио. Хиль и Джордж отвязали брезент, натянутый с наветренной стороны, и теперь его ласково обвеивал свежий ветер. Ветер по-прежнему дул с востока, но не так сильно, как вчера, и облака в небе были высокие и редкие. Небо было синее-синее, как всегда в восточной части острова, сильнее всего обдуваемой пассатами, и Томас Хадсон смотрел в синеву и старался не поддаваться боли. Гесри хотел сделать ему укол морфия, но он решил: нет, ему еще может понадобиться, чтобы голова была ясная. Прибегнуть к морфию он всегда успеет.

Он лежал под легким шерстяным одеялом, все три рапы его были перевязаны. Хиль обильно засыпал их стрептоцидом, прежде чем перевязать, и на пол у штурвала, где он стоял во время перевязки, просыпался стрептоцид, похожий на сахарную пудру. Когда с борта спинали брезент, чтобы дать больше доступа воздуху, он заметил три дырочки от трех пуль и еще несколько — правой и левой их. И места, где брезент пропороли осколки гранаты, он тоже заметил.

Хиль стоял рядом и смотрел на него, на его выбеленные солью волосы и серое лицо над одеялом. Хиль был простая душа. Он был отличный спортсмен и почти так же силен, как Ара, и, если б ему отработать некоторые удары, из него вышел бы первоклассный бейсболист. Рука у него просто создана была для броска. Томас Хадсон улыбнулся, вспомнив, как он швырял гранаты. Потом улыбнулся просто так — ему и его сильным, мускулистым рукам.

— Тебе бы питчером быть, — сказал он и не узнал своего голоса.

— У меня выдержки не хватает.

— Сегодня хватало.

— Может быть, появилась, когда дело потребовало, — сказал Хиль с улыбкой. — Смочить тебе губы, Томми? Ты не говори, только сделай знак головой.

Томас Хадсон отрицательно покачал головой и перевел взгляд на лагуну, похожую на большое озеро. Она теперь была в белых барашках. Но волна была мелкая и ветер такой, при каком хорошо идти под парусами, а вдали сидели прибрежные холмы Туригуано.

Так и надо сделать, подумал он. Пойдем прямо в Сен-траль или в тот поселок, что рядом, может быть, там найдется врач. Хотя сезон уже кончился. Но ведь можно доставить на самолете хорошего хирурга. Люди там живут славные. Попасть в руки к плохому хирургу — это хуже, чем вовсе остаться без врача, так уж лучше я полежу спокойно, пока не прилетит хороший. Надо бы и внутрь принять стрептоцид. Но ведь воды-то мне пить нельзя. Ладно, друг, не расстраивайся, сказал он себе. Ты ведь шел к этому всю свою жизнь. Эх, не подстрелили Ара этого фрица, хоть бы что-нибудь хорошее вышло из всех наших трудов. Хорошее — это, пожалуй, не то слово. Полезное — вот что нужно было сказать. Счастье еще, что они были вооружены хуже нас. Наверно, они убрали все вехи в протоке, оставили только одну, чтобы мы свернули туда, куда им нужно было. Но, может быть, если бы мы и взяли пленного, он бы оказался олухом и ничего бы не знал. А все-таки была бы хоть какая-то польза. Теперь уже от нас никакой пользы не жди. Как это никакой? А шхуну разминировать надо?

Думай про «после войны», когда ты снова будешь писать картины. Столько еще можно написать хороших картин, и, если работать в полную силу и ни на что другое не отвлекаться, это и есть то, что по-настоящему нужно. Моря никому не написать лучше тебя, если только ты возьмешься как следует и выбросишь из головы все другое. И не отступай, пиши именно так, как считаешь верным. Только нужно сейчас крепко держаться за жизнь, иначе эти картины не будут написаны. Жизнь человека немного стоит в сравнении с его делом. Но чтобы делать дело, нужно жить. Так держись крепче. Пришло время показать, на какое ты способен усилие. Вот и покажи, ни на что не надеясь, покажи. У тебя всегда хорошо свертывалась кровь, и ты можешь это усилие осуществить. Мы не люмпен-пролетарии какие-нибудь. Мы — самый цвет, и то, что мы делаем, мы делаем не за плату.

— Смочить тебе губы, Том? — снова спросил его Хиль.

Томас Хадсон покачал головой.

Три дерьмовые пули, думал он,— и столько хороших картин к такой-то матери без всякого смысла. Надо же было этим несчастным идиотам устроить бойню на острове. Если б не это, они спокойно сдались бы в плен и ничего бы не случилось. Любопытно, а кто был тот, что уже шел сдаваться, когда Ара в него выстрелил? Верно, из той же породы, что и тот, которого они сами убили на острове. Откуда в них этот остервенелый фанатизм? Мы преследовали их здесь, и мы будем драться с ними и дальше. Но фанатиками мы не были никогда.

Он услышал мотор возвращавшейся шлюпки. Лежа, он не мог видеть, как она подходила, увидел только Вилли и Ару, когда они поднялись на мостик. Они были все исцарапаны — видно, продирались сквозь кусты,— а у Ары тек с лица пот.

— Я очень виноват, Том,— начал Ара.

— Брось,— сказал Томас Хадсон.

— Ладно, вот сплывем к чертям со стоянки, тогда поговорим,— сказал Вилли.— Ара, топай вниз выбирать якорь и пришли сюда Антонио, пусть становится к штурвалу.

— На Централь пойдем. Так будет скорее.

— Толково,— сказал Вилли.— Ты молчи, Том, я сам все скажу.— Он осекся, глянув на Томаса Хадсона, потом легонько положил ему руку на лоб, а другую руку сунул под одеяло и уверенным, но осторожным движением нащупал пульс.

— Не смей умирать, сукин сын, слышишь,— сказал он.— Лежи тихонько, и все будет хорошо.

— Слушаюсь,— сказал Томас Хадсон.

— При первой стычке их полегло трое,— стал рассказывать Вилли. Он сидел на мостике слева от Томаса Хадсона, и тот чувствовал шедший от него кислый запах пота, и поврежденный глаз его был налит кровью, а швы от пластической операции на лице побелели. Томас Хадсон лежал не шевелясь и слушал его.— У них только и было что два миномета, но они занимали хорошую позицию. Первый огнетупитель Хили угодил в цель, а Генри своими пятидесятимиллиметровками вовсе раздолбал их к материи. Антонио тоже попал куда следует. А здорово Генри палит из этих пятидесятимиллиметровок.

— Он это всегда умел.

— А сейчас тем более. В общем, мы с Арой все там размишировали. Перерезали все провода, но взрывчатку

оставили. Теперь там полный порядок, а местонахождение тех, что мы здесь уложили, я точно помечу на карте.

Якорь был уже поднят, и моторы работали.

— Не слишком успешно мы справились в этот раз,— сказал Томас Хадсон.

— Они нас перехитрили. Но перевес в огневой мощи был на нашей стороне. Ты уж не говори ничего Аре насчет пленного. Он себя и так совсем загрыз. Я, говорит, и подумать не успел, а уже выстрелил.

Набирая скорость, судно шло к синим холмам впереди.

— Томми,— сказал Вилли.— Я же тебя люблю, сукин ты сын, не смей умирать.

Томас Хадсон взглянул на него, не поворачивая головы.

— Ты пойми это, постарайся понять.

Томас Хадсон глядел на него. Все теперь отодвинулось куда-то, и не нужно было ни о чем размышлять и беспокоиться. Он чувствовал, как судно набирает скорость, чувствовал прижатыми к полу лопатками милый знакомый перестук моторов. Он посмотрел в небо, которое всегда так любил, посмотрел на лагуну, которую он уже никогда не напишет, потом слегка изменил положение, чтобы меньше ощущать боль. Моторы теперь работали тысячи на три оборотов, не меньше, и, пробив палубу, грохотали у него внутри.

— Я, кажется, понимаю, Вилли,— сказал он.

— Черта с два,— сказал Вилли.— Не умешь ты понимать тех, кто по-настоящему тебя любит.

Последние книги

Последние книги Хемингуэя — это повесть «Старик и море» (1952), подготовленные самим писателем, но вышедшие после его кончины мемуарные очерки «Праздник, который всегда с тобой» (1964) и незавершенный роман «Острова в океане» (1970).

Каковы эти книги?

В повести Хемингуэя «Старик и море» рассказано о рыбаке — кубинце Сантьяго, который после тяжелой полосы неудач поймал далеко в море огромную меч-рыбу. Долгие часы он мерился с ней силами, изнемогая в борьбе; когда же, наконец одолев ее (кончались третьи сутки), он буксировал свою добычу домой, на мертвую рыбу набросилась стая акул, которых он не смог отогнать, и они обглодали, съели огромную рыбу.

Фабула повести характерно хемингуэевская. Сантьяго борется против неблагоприятных обстоятельств, борется отчаянно, до конца.

«Человек не для того создан, чтобы терпеть поражения,— сказал он.— Человека можно уничтожить, но его нельзя победить».

Повесть Хемингуэя написана на прекрасно знакомом ему материале, после многих лет общения и дружбы с кубинскими рыбаками. С 1948 года писатель жил в Фипка-Вихия, близ Гаваны, и был постоянным гостем в ближайших рыбацких поселках. Хемингуэй также выступает в повести как выдающийся маринист, продолжая в американской литературе традицию Германа Мелвилла. Ловля рыбы, кровавый бой с акулами, все детали рыболовного ремесла, как обычно у Хемингуэя, даны с профессиональным знанием дела и увлекают читателя виртуозной точностью изображения.

«Старик и море» истолковывается иногда как аллегория или же притча. К тому имеются основания. Сам писатель, беседуя однажды на эту тему, ответил уклончиво: «Я попытался дать настоя-

щего старика и настоящего мальчика, настоящее море и настоящую рыбу и настоящих акул. И если мне удалось это сделать достаточно хорошо и правдиво, они, конечно, могут быть истолкованы по-разному»¹.

Одиночество Сантьяго в морских просторах, нестигаемая воля в поединке сперва с меч-рыбой, затем с напавшими хищниками, баснословные размеры пойманной им добычи, трагическое превращение этой необыкновенной по мощи и красоте рыбы в «длинный белый позвоночник с огромным хвостом на конце, который вздымался и раскачивался на волнах прибоя», мужество, с которым рыбак проигрывает свой бой,— все это гиперболично и тяготеет к символу.

Рассуждения и думы старого рыбака осложнены также в повести множеством ассоциаций, выходящих, строго говоря, за пределы сюжета и скорее связанных с общими морально-философскими поисками писателя. Когда Сантьяго уже на пределе сил, измученный и израненный, видит настигших его акул, у него вырывается жалоба или, как сказано в повести, «слово, не имеющее ясного смысла, скорее тот стон, который невольно издает человек, чувствуя, как гвоздь, пронзая его ладонь, входит в дерево». Философичны и разговоры Сантьяго, обращенные к пойманной рыбе, «братание» с ней и «соперничество в страдании» («он собрал всю свою боль, и весь остаток своих сил, и всю свою давно утраченную гордость и бросил все это против мук, которые терпела рыба»).

Склонность автора в «Старике и море» к отвлеченному морализированию вносит в повесть элементы морально-философского размышления, эссе, родня ее и в этом с «Моби Диком» Германа Мелвилла. Местами морализирование у Хемингуэя приобретает, впрочем, чрезмерный характер.

Независимо от того, придавать или нет испытаниям Сантьяго обобщенный смысл «борьбы человека с судьбой», реальные элементы повести и образ старого рыбака сохраняют конкретно-художественный интерес и существенное значение для оценки позднего этапа в творчестве Хемингуэя.

Новое в хемингуэевском замысле повести — появление в ней второго героя, мальчика-кубинца Мапола. Это ученик Сантьяго, совсем еще юный рыбак, который любит и жалеет старика, восхищается его мастерством и выдержкой, хочет быть для него опорой, хочет стать таким же, как он.

¹ Из интервью Хемингуэя в декабре 1954 года. См.: Carlos Baker. Hemingway: The Writer as Artist. Princeton University Press, 1970, p. 323.

Старик ушел в этот раз в море один и много раз сокрушался, что не взял с собой мальчика и нет никого, кто помог бы ему сперва в поединке с рыбой, потом — в борьбе с хиппиками.

«Теперь мы опять будем рыбачить вместе», — говорит старику потрясенный до слез его неудачей мальчик. «Нет, — возражает Сантьяго. — Я невезучий. Мне больше не везет». — «Да наплевать на это везенье!.. Я тебе принесу удачу... Мы будем рыбачить с тобой вместе, потому что мне еще многому надо научиться».

Тема «старик и мальчик» не так развита в повести, как основная тема «старик и море», но по-своему знаменательна. В ней выражена живая связь поколений, преемственность мужества и борьбы, та цепкая сила жизни, которая присутствует и в образе самого Сантьяго, и в целом, как реальный мотив, противостоит фаталистической и пессимистической струе в творчестве Хемингуэя.

Если сопоставить эту книгу Хемингуэя с предшествовавшей ей (двумя годами) «За рекой, в тени деревьев», надо будет признать, что и полковник Каптуэлл, и рыбак Сантьяго безошибочно хемингуэевские герои. В характере этих двух приближающихся к закату людей есть много общего, объединяющего их, при всех различиях облика и жизненного пути. «Парус его был весь в заплатках из мешковины и, свернутый, походил на знамя паголову разбитого полка», — пишет Хемингуэй о старом рыбаке, подчеркивая его роль стойкого до конца солдата в житейском сражении. Хемингуэй гораздо менее отождествляет себя с Сантьяго, нежели с полковником Каптуэллом, но, очевидно, и тот и другой образы вобрали в себя автобиографические черты.

Отвага обоих героев Хемингуэя вне сомнения. Но по своему человеческому содержанию мужество и стоицизм Сантьяго социально выше и морально значительнее тех же черт в характере полковника Каптуэлла. Неуживчивый индивидуализм и бравлада Каптуэлла бледнеют перед спокойным достоинством старого рыбака.

Немаловажны также для их сравнительной характеристики та обстановка и та среда, в которой им приходится действовать. Каптуэлл лично небогатый человек, по его вкусу и привязанности соединяют его с миром, живущим «сладкой жизнью». В «реквизите» романа роскошные рестораны, тонкие вина, напоен огромный красоты и ценности изумруды, которые графиня Рената дает «на счастье» полковнику. Совсем иное у Сантьяго. «Хотел бы я купить себе немного удачи, если ее где-нибудь продают, — сказал старик. — А на что ты ее купишь? — спросил он себя. — Разве ее купишь на потерянный гарпун, сломанный нож и покалеченные руки?»

Говоря о Сантьяго в ряду героев Хемингуэя, важно также отметить, что этот образ в своих конкретных чертах сложился как некоторый итог сближения писателя с людьми из народа, тружениками и борцами. В этом смысле Сантьяго — человеку труда, умудренному жизнью и с чистой душой, — предшествуют такие новые для творчества Хемингуэя в целом работы, как этюдный набросок испанского старика крестьянина в очерке 1938 года «Старик у моста» и образ старого партизана Ансельмо в романе «По ком звонит колокол».

Хотя героем «Праздника, который всегда с тобой» выступает совсем молодой Хемингуэй 20-х годов, книга по общему духу примыкает к завершающему циклу его позднего творчества.

Автобиографизм Хемингуэя-художника, скрыто сказавшийся уже в самом начале, довольно скоро начинает проявляться открыто во всех его произведениях мемуарно-очеркового жанра. Таковы в особенности «Смерть после полудня» и «Зеленые холмы Африки». Мемуарные мотивы заняли видное место и во внутренних монологах умирающего писателя Гарри в «Снегах Килиманджаро».

Автобиографический материал во всех названных произведениях привлекался, однако, для решения других, попутных задач; «Праздник, который всегда с тобой» — мемуары в собственном смысле, воспоминания об ушедших молодых годах в Париже, подернутые элегической дымкой.

Книга фрагментарна по своему построению, это цепочка отдельных эпизодов-новелл; фрагментарна она и по отобранному материалу.

Если вспомнить, что речь идет о первой половине 1920-х годов, может удивить замкнутость жизни молодого писателя, которая делится в книге между парижскими кафе и австрийскими Альпами, где Хемингуэй ходит с женой на лыжах и пишет свои первые вещи. На самом деле Хемингуэй не включил в мемуары очень важные страницы своей тогдашней писательской жизни, когда он выходил из этого замкнутого мирка, видел близко, вплотную огромный мир политических схваток и тяжких людских страданий, формировавший его в те годы в не меньшей мере, чем литературный Париж и Альпы. Лишь однажды в книге, как бы вскользь, непароком, он упоминает о поездках по поручению газеты «на разные политические конференции», на Ближний Восток и в Германию и умалчивает о том, что из этих поездок и с фронта греко-турецкой войны вывез глубоко потрясшие его, надолго памятные ему впечатления.

Таким образом собранные в книге воспоминания рисуют лишь половину его тогдашнего мира.

Эта половина по-своему также весьма интересна. В ней рассказано о полуголодном существовании молодого писателя, о его знакомстве и взаимоотношениях с литераторами и художниками, живущими в Париже, и об удивительной моральной и артистической дисциплине, которой он с самого начала подчиняет всю свою деятельность.

Парижские улицы, музеи, кафе, где за столиками так хорошо писалось, мансарда, где он счастливо жил с любимой женой и маленьким сыном, парижские скачки, где ему порой улыбалась удача, смена часов дня и времен года в этом необыкновенном по красоте, приковывающем к себе художника городе — все это с любовью запечатлено на страницах «Праздника...».

В книге обозначены также два важных фактора, способствовавшие формированию Хемингуэй-художника в ранний парижский период. Это, во-первых, русская литература — Тургенев, Толстой, Достоевский, Гоголь, Чехов, — с которой он познакомился в английских изданиях. Во-вторых, повеишая французская живопись, и прежде всего Сезанн. О влиянии русской литературы и французской живописи на духовный мир и изобразительное мастерство молодого Хемингуэя было известно с его слов и ранее, но впервые это сформулировано им столь четко и категорично.

Хемингуэй выводит в «Празднике...» целую вереницу писателей и других деятелей искусства, по большей части американцев и англичан, с которыми он дружил и встречался в Париже в те годы. Иногда это необычайно живые мимолетные зарисовки, иногда детализированные портреты (Скотт Фицджеральд). Он безошибочно вспоминает недостатки и смешные стороны своих старых знакомцев, и эгоцентризм Гертруды Стайн или снобизм Форда Мэдокса Форда дают ему повод для великолепных язвительных шаржей.

Сам безгранично преданный искусству и высоко ставящий призвание художника, Хемингуэй беспощаден к шарлатанству и распушенности богемы и паразитирующего окололитературного люда.

Не во всех своих оценках он достаточно справедлив.

Психологический склад Хемингуэя таков, что он чаще всего выступает в роли «неблагодарного ученика» по отношению к своим временным учителям и наставникам. Как видно, для утверждения своей творческой индивидуальности ему требовалось каждый раз оттолкнуться от того, что стало для него пройденным этапом и вчерашним днем. Так, после ученичества у Шервуда Андерсона, в первые годы своего писательского пути, Хемингуэй, расставаясь, написал на него злую пародию. Гертруда Стайн, обосновавшаяся с 20-х годов в Париже американская писательница авангардистского направления, осталась в истории литературы США по прец-

муществу как автор языковых лексико-синтаксических опытов, оказавших влияние на молодую американскую прозу. Характерные ритмы и некоторые черты повествовательного стиля молодого Хемингуэя тоже несут отпечаток экспериментов Гертруды Стайн. Однако автор «Праздника...» не склонен это признать, лишь вскользь указав, что она (Стайн) «открыла много верных и ценных истин о ритме и повторях».

Он не сообщает, что Форд Мэдокс Форд, друг и соавтор Джозефа Конрада, привлек его к сотрудничеству в своем, издававшемся в Париже английском журнале «трансатлантик ревью», познакомил с новейшей английской прозой и в 1924 году, когда журналы в США не хотели его печатать, опубликовал три его рассказа.

В списходительно-насмешливых главах, посвященных Скотту Фицджеральду, с которым у Хемингуэя установились сложные, кое в чем антагонистические отношения, много метких и пронизательных наблюдений. Но автор «Праздника...» не находит места сказать ни о советах Фицджеральда в период создания «Фиесты», ни о той помощи, которую Скотт Фицджеральд, писатель с уже установившимися связями в издательском мире США, оказал тогда молодому Хемингуэю.

С безоговорочным уважением в книге выведены, пожалуй, лишь два человека, принадлежащих к миру искусства. Первый — Ивен Шипмен, поклонник русской литературы, бесребреник, лишённый всякого писательского честолюбия или тщеславия «очень хороший поэт, искренне равнодушный к тому, будут ли напечатаны его стихи». Второй — художник Паскён (Паскин), который «целоустремленно и привычно» прожигает жизнь, но притом не роняет своего высокого мастерства и хранит трезвый насмешливый взгляд не только на окружающих, но и на себя самого.

С этими людьми Хемингуэй не берется соревноваться и потому не стремится выйти вперед.

Хемингуэй закончил книгу и даже написал предисловие. Он лишь не успел в последний раз «пройтись» по рукописи перед сдачей в печать, и небольшие редакционные исправления были сделаны вдовой писателя Мэри Хемингуэй.

По изяществу и прозрачности письма многие страницы «Праздника...» принадлежат к лучшим образцам хемингуэевской прозы. Книга также имеет бесспорную ценность как источник для биографии писателя и для истории американской литературы тех лет.

Надо заметить, что поэтика заглавия у Хемингуэя всегда содержательна и глубоко уходит в ткань называемой вещи.

В заглавии «Старик и море» и герой, и сфера его деятельности, средоточие его интересов, трудов и дум, сведены к самой общей и емкой, как бы итоговой формуле.

Хемингуэй не успел дать заглавия своим мемуарам, и оно было избрано по желанию его вдовы. Это заглавие, «Праздник, который всегда с тобой», взято из приведенной в виде эпиграфа к книге беседы писателя с одним из его друзей, где говорится, что если человеку выпала радость жить молодым в Париже, он сохранит эту радость на всю жизнь. Оно не вполне отвечает тому пристрастному и полемическому, что содержится в воспоминаниях, но зато согласуется с элегическими элементами книги.

О том, как писались «Острова в океане», известно немного.

Хемингуэй начал книгу, как видно, в конце 40-х годов, но потом отложил ее, чтобы закончить и выпустить в свет «За рекой, в тени деревьев». Он вернулся вновь к рукописи в конце 1950 года и написал — очень быстро — историю Томаса Хадсона в том виде, в каком мы знакомимся с ней сейчас в двух первых частях «Островов в океане» — «Бимини» и «Куба». Потом, отойдя как бы в сторону, Хемингуэй написал «Старика и море», после чего вернулся к истории Томаса Хадсона и в мае 1951 года закончил «Морскую погоню» — ныне третью часть «Островов в океане» (где она называется «В море»).

В некоторых беглых беседах тех лет, касаясь своей текущей работы, Хемингуэй объединял все три части «Островов в океане» (которые трактовал по отдельности) и повесть «Старик и море» как четыре звена проникнутого неким общим авторским замыслом тетраптиха — «морского романа»; в этой четырехчастной предполагаемой композиции повесть «Старик и море» должна была стать заключительной, выполняя роль коды.

Не детализированный тогда автором и не очень ясный для нас и теперь замысел, требовавший, вероятно, каких-то структурных больших перемен в том, что было уже написано, так и не был осуществлен. Повесть «Старик и море» вышла отдельной книгой в 1952 году, а все остальное было положено в сейф.

О дальнейшей работе Хемингуэя над рукописью нет никаких твердых сведений. На многих страницах первой части романа стоит помета: «Переписать еще раз». Даже более завершенную третью часть автор тоже не счел окончательной. Об этом имеется свидетельство Хочнера, навистившего Хемингуэя за год до смерти, летом 1960 года, на Кубе. Когда речь зашла о хранившейся в сейфе «Морской погоне», из которой, по мнению Мари, жены писателя, могла получиться хорошая кинокартина, Хемингуэй попросил прочитать ему рукопись (у него болели глаза) и, прослушав, сказал: «Над этим надо еще поработать. Быть может, после Парижской книги, если я сохраню зрение»¹. «Парижскую книгу» — воспоми-

¹ A. Hotchner. Papa Hemingway. New York, 1963, p. 244.

нения о жизни в Париже в 20-х годах — Хемингуэй успел завершить. До «Морской погони» очередь не дошла.

Такова в основных чертах история «Островов в океане».

О центральном герое книги, художнике-маринисте Томасе Хадсоне, уже вначале известно, что он знаменит (его работы имеют прочный успех в Америке и в Европе) и состоятелен (помимо заработка от продажи картин, он владеет нефтеносной землей где-то в США). При этом внешнем благополучии Хадсон несчастлив. Причины его меланхолии не прояснены до конца; как видно, главная в том, что он не сумел ужиться с людьми своего круга, с ними порвал, а других не нашел и страдает от внутренней горечи и одиночества. Сейчас он живет отшельником в собственной вилле на взморье, на небольшом островке Багамского архипелага, и пишет картины, подчиняя себя дисциплине, системе самозапретов, «надевая панцирь работы для защиты от внешнего мира», как он сам себе говорит. Наибольшая радость для Томаса Хадсона — свидание с сыновьями, и главное содержание первой части романа — приезд к нему на каникулы его сыновей; это Том-младший — почти уже взрослый юноша, его сын от первого брака, и двое подростков, Дэвид и Эндрю, — сыновья от второй жены.

Хадсон беседует с сыновьями и развлекает их. Значительная часть их бесед — о Париже, где провел с отцом свое детство Том-младший. Они вспоминают Буль-Миш, Люксембургский сад, «Клозери-де-Лила», скачки в Сен-Клу, а также толкуют о «мистере Джойсе», Форде Мэдоксе Форде и Эзре Паунде и других корифеях англо-американской литературной богемы в Париже 1920-х годов.

Развлечения мальчиков всецело связаны с морем. Это — плавание в океане, в местах, где можно столкнуться с акулой и другими морскими хищниками, подводная морская охота и ужение крупной рыбы с быстроходного катера — развлечения опасные, требующие незаурядного спортивного искусства и мужества.

Нельзя не отметить, что в целом, и по содержанию бесед и по характеру развлечений, это довольно близкая, иной раз вплоть до деталей, картина приездов к Хемингуэю его троих сыновей — Джона, Грегори и Патрика — в конце 30-х годов на Кубу, с тем, впрочем, отличием, что Хемингуэй не был меланхоличным отшельником, каким он рисует Хадсона.

Конец первой части романа трагичен. Хадсон получает депешу о гибели двух младших мальчиков в автомобильной катастрофе под Биаррицем, и мир для него меркнет. Подорванный горем, он снимает один из своих «самозапретов» — начинает неумеренно пить.

Вторая книга романа, «Куба», отделена от событий первой четырьмя или пятью годами. Хадсон живет на Кубе невдалеке от Гаваны. Это годы войны с германским фашизмом. Куба нейтральна, но Хадсон, связавшись с американской военно-морской разведкой, несет патрульную службу на своем катере, секретно следя за движением германских подводных лодок в бассейне Карибского моря.

Надо заметить, что именно этим был занят Хемингуэй в 1942—1944 годах, когда, находясь на Кубе, он превратил свой прогулочный катер «Пилар» в охотника за подлодками. За выполнение опасных заданий Хемингуэй был после войны награжден.

И эта книга романа кончается катастрофой для Хадсона. Он узнает о гибели третьего из своих сыновей — Томаса-младшего, военного летчика, сбитого в воздушном бою где-то в Европе. Хадсон хранит про себя страшную весть и едет в Гавану, чтобы узнать — нет ли срочных заданий командования.

Третья книга романа, «В море» («Морская погопя» в рукописи), целиком посвящена военно-морской операции, руководимой Томасом Хадсоном. Уже одержав победу, он погибает в бою.

Незавершенность «Островов в океане» открывает простор для сомнений и для вопросов. Читатель может спросить себя: в какой мере осуществлен замысел автора в вышедшей книге? Какова была бы она в окончательном виде?

Обращаясь к сюжетным линиям книги, надо заметить, что два видных мотива, вернее всего, подверглись бы некоторым изменениям, быть может, ушли бы совсем. Первый — это единоборство ловца (в данном случае юного Дэвида, сына Томаса Хадсона) с огромной морской рыбой в начале романа, и второй — парижские воспоминания 20-х годов, проходящие в книге вплоть до конца.

Ведь каждый из этих мотивов, заняв свое место в рукописи «Островов в океане», стал в дальнейшем центральным в самостоятельной книге и получил — в «Старике и море» и в «Празднике, который всегда с тобой» — несравненно более развернутое и совершенное воплощение.

Не мог бы остаться без перемен, надо думать, и автобиографизм «Островов в океане» в его нынешнем виде. Даже если учитывать обычно высокую норму автобиографизма в книгах Хемингуэя, близость Томаса Хадсона к автору здесь чрезмерно подчеркнута.

Над кроватью Хадсона в его доме на Кубе висят три известные картины из собрания Хемингуэя: «Гитарист» Хуана Гриса и

полотна Массона и Пауля Клее. Во всем обиходе, привычках, вкусах и предпочтениях автор почти педантично сближает героя с собой. В предпоследней главе романа Хадсон, стоя на вахте, вспоминает, как в молодые годы в Париже они уходили с женой в кафе, оставляя малютку сына (Томаса-младшего) под присмотром большого кота, и что говорили по этому поводу их друзья. Весь эпизод, почти в тех же словах, подробно изложен в «Празднике...» (в главе «Париж никогда не кончается»), и участники эпизода — сам писатель, его жена Хэдли и маленький сын Джон.

Для тех, кто знаком с биографией автора, автобиографизм «Островов в океане» неизбежно будет также иметь озадачивающий и тревожный аспект. Уже говорилось, что в троих сыновьях Хадсона писатель рисует своих сыновей, рисует с любовью и гордостью. Трудно признать вероятным, что история гибели мальчиков Хадсона должна была быть развернута на столь достоверно автобиографическом материале, тем более что беспощадно трагический ход событий явно форсирован волей автора, словно бы для того чтобы верней погрузить душу Томаса Хадсона в беспросветное горе.

Исходя из творческой практики Хемингуэя, можно высказать предположение, что, вначале столь близко держась к следу собственной жизни, он мог в дальнейшем сделать нужный отбор и ослабить взаимосвязь героя и автора¹.

Но основная проблема «Островов в океане» связана с Хадсоном.

Сейчас характер и личность Томаса Хадсона остаются в романе во многом непроясненными. Как видно, большие куски или даже пласты из жизни героя нам неизвестны. Притом состоянию души Томаса Хадсона, с начала и до конца романа, заставляет признать его самым сумрачным, самым отчаявшимся из героев Хемингуэя.

Уже в начале романа он охвачен душевным кризисом, который смиряет, как уже было сказано, системой самозапретов и дисциплиной труда. Гибель двух младших мальчиков подрывает плотину, которую он воздвиг против отчаяния. Когда Хадсон теряет последнего, старшего сына, он так говорит, объясняясь с самим собой, перед тем как уйти в море: «Давай разберемся. Сына ты

¹ Начатое в недавнее время изучение рукописей Хемингуэя показывает, что в ходе работы над рукописью он, как правило, постепенно отходит от лично окрашенных подлинных ситуаций и узнаваемых портретных изображений. См.: American Literary Scholarship. An Annual. Duke University Press, 1980, p. 154.

потерял. Любовь потерял. От славы уже давным-давно отказался... Остается долг, и его нужно выполнить».

Долг — это военно-морская служба Томаса Хадсона, погоны за экипажем германской подводной лодки, пытающимся уйти от возмездия.

Никак нельзя забывать, что при всей периферийности военных событий в романе по отношению к главным сражениям великой битвы с фашизмом это частица все той же борьбы — род партизанской схватки с тем же врагом, — и люди, которые отдают ей свои силы и жизнь, выполняют свой долг перед всем человечеством.

Но, выполняя свое необходимое и опасное дело, Томас Хадсон и в этом не находит спасения от безнадежности. Он выполняет свой долг до конца, по словно стремится не только к победе, но также и к смерти.

И, однако, не в отчаянии Хадсона суть и итог этой книги Хемингуэя.

Она имеет иной итог, лишь эскизно намеченный, но при этом убедительный, поскольку он согласуется с общим ходом мысли писателя в «Островах в океане».

Не в том состояла задача писателя, чтобы завести героя в тупик, заставить его испытать чашу страданий до дна, нет, он хотел в то же время дать почувствовать, осознать, что Хадсона в этот тупик завели обстоятельства и что при всей безысходности его личного горя это еще не предел человеческих сил и возможностей.

Здесь надо коснуться тех черт характера Томаса Хадсона, которые делают его одиноким в его кругу. И они лишь эскизно намечены — уже говорилось о неполноте характеристики Хадсона, — но и тех немногих штрихов, что начертаны явственно, довольно, чтобы понять, что он одинок не только лишь в силу своей неуживчивости.

Хадсон не свой в этом кругу буржуазной богемы, избалованных славой киноактрис и прогулявших свой талант романистов, нравственно мертвых, не знающих жалости к людям, захваченных единственной страстью к успеху и к утверждению собственной личности.

Подчеркнем три важных мотива, в которых отмечены нравственно здоровые силы в душе Томаса Хадсона.

Первый мотив — отношение Хадсона к моральному злу.

«Я отличаю добро от зла. И не говорю, что это неясно и не моего ума дело», — возражает он, споря с Роджером Дэвисом, бывшим другом, писателем, утратившим моральную стойкость и профанирующим свое мастерство и талант.

Второй — безусловная честность Хадсона по отношению к искусству.

«Неужели он думает, что, впустую расходуя свой талант и работая на заказ, по готовой формуле добывания денег, можно научиться хорошо и правдиво писать?» — говорит он себе, касаясь того же Дэвиса.

И третий — его отношение к богатству, отсутствие органической внутренней связанности с миром богатых людей.

«Когда же тебе жилось лучше всего? — спросил он себя. — Да все время, в сущности, пока жизнь была проста и деньги еще не водились в ненужном избытке...»

И именно эти черты душевного мира Томаса Хадсона, его неотравленность — в губительной степени — ложью, моральной безответственностью, равнодушием и эгоизмом, ходовыми пороками людей его круга, позволяют увидеть во мраке его отчаяния некий слабый порыв к выходу из одиночества.

Этот луч не то чтобы светит, скорее мерцает в том единении, которое связывает Томаса Хадсона и людей его команды.

Томас Хадсон по-своему любит членов своей команды, ценит их преданность делу, умение отлично работать, самоотверженность и отвагу, готовность отдать жизнь для победы. Но в своих отношениях с ними от остается «на капитанском мостике», не раскрывает себя, не принимает их близости, дружбы, сочувствия; пребывает в обычной замкнутости и недоступности.

И только в последний час своей жизни, когда тяжело искалеченный на войне морской пехотинец Вилли говорит своему умирающему командиру: «Томми, я же люблю тебя, сукин ты сын... Ты пойми это, постарайся понять», Хадсон отвечает ему: «Я, кажется, понимаю, Вилли».

Что значат эти слова Томаса Хадсона в последний момент, когда уже «все отодвинулось»? Быть может, они имеют особое, очень большое значение, подобно другим, теперь знаменитым, тоже предсмертным словам другого героя Хемингуэя, моряка Гарри Моргана, который сказал, умирая и как бы подводя черту под всей своей жизнью: «Человек — один — не может»? Если так, то и эти слова Томаса Хадсона надо будет считать ключевыми для понимания замысла «Островов в океане», и тогда этот страдающий и одинокий человек из «интеллектуальной элиты» находит, пусть слишком поздно, выход из тупика в близости к «простым людям», к народу; к простым и открытым душам, способным к такой же простой любви, дружбе, сочувствию.

Если считать, что этот, ныне выраженный только в начеке итог «Островов в океане» толкуется нами правильно, тогда стапо-

вится более понятным и названный замысел Хемингуэя, в котором четвертым звеном тетраптиха, завершающей кодой служит повесть «Старик и море». Потому что именно в этой книге впервые центральным героем Хемингуэя выступает трудовой человек из народа, и крепость его души, его моральная цельность утверждается как идеал.

Если признать, что таков действительный замысел «Островов в океане», то эта незавершенная посмертная книга органически входит в контекст социальных и морально-художественных поисков позднего Хемингуэя.

А. С т а р ц е в

Краткая летопись жизни и творчества Эрнеста Хемингуэя

1899

Эрнест Миллер Хемингуэй (Ernest Miller Hemingway) родился *21 июля* в семье врача, в Оук-Парке, пригороде Чикаго, штат Иллинойс. Отец — Кларенс Хемингуэй, мать — Грейс Холл Хемингуэй. Эрнест — второй из шестерых детей в семье.

Детство Хемингуэя проходит в родном городке и — в летнее время — на озере Уоллун-Лейк, в Северном Мичигане, где Хемингуэй владеют дачным домиком. В семье господствует традиционный буржуазный и религиозно-мещанский уклад, главной хранительницей которого является мать. Отец приучает сына к охоте и рыбной ловле, берет с собою, выезжая на врачебные вызовы к фермерам и в индейскую резервацию. Мальчик Хемингуэй делит свою жизнь между Оук-Парком и окрестной природой и ищет в природе и в общении с простыми людьми противовес угнетающему влиянию родительского дома; впечатления детских и отроческих лет отражены в позднейших рассказах: «Индийский поселок» («The Indian Camp», «Доктор и его жена» («The Doctor and the Doctor's Wife»), «Десять индейцев» («Ten Indians») и др. Действующий в этих рассказах мальчик-подросток Ник Адамс — полувавтобиографический герой молодого Хемингуэя.

В старших классах оук-паркской школы Хемингуэй сотрудничает в школьных журналах «Скрижаль» и «Трапедия». Много времени посвящает также физической тренировке, занимается боксом.

1917

В *июне* Хемингуэй кончает школу. В *октябре* уезжает в Канзас-Сити (главный город штата Канзас), где живет брат его отца, бизнесмен, и поступает репортером в канзасскую газету «Стар»

(«The Kansas City Star»). В «Стар» Хемингуэй проходит газетную выучку и близко знакомится с жизнью большого американского города; он освещает в газете уголовную хронику и происшествия (на материале канзасских впечатлений построены некоторые миниатюры в сборнике «В наше время», а также более поздние рассказы — «Гонка преследования» («A Pursuit Race») и «Счастливых праздников, джентльмены!» («God Rest You Merry, Gentlemen!»). Всего Хемингуэй работает в «Стар» семь месяцев.

1918

Весной Хемингуэй вступает шофером в американский отряд Красного Креста, отправляющийся в Италию (из-за слабого зрения его не приняли в американскую действующую армию). В *конце мая* выезжает с отрядом в Европу на итало-австрийский фронт. Хотя по характеру службы он не должен бывать на передовой, Хемингуэй проводит много времени в траншеях и дружит с итальянскими солдатами и офицерами. Сотрудничает в газете американской санитарной части «Чао». *8 июля* тяжело ранен в ноги. Три месяца лежит в госпитале в Милане. *Ранней осенью*, еще не долечившись, добивается зачисления лейтенантом в итальянскую пехоту, но наступает перемирие, и он не принимает более участия в военных действиях.

Военный опыт 1918 года сыграл огромную роль как в формировании личности Хемингуэя, так и во всей его дальнейшей писательской деятельности. Итальянские фронтовые впечатления легли в основу романа «Прощай, оружие!» («A Farewell to Arms») и отражены в рассказах разных лет, в особенности «На сон грядущий» («Now I Lay Me»), «Какими вы не будете» («A Way You'll Never Be») и «В чужой стране» («In Another Country»).

1919

В *январе* Хемингуэй демобилизуется и едет в США. В Оук-Парке он еще острее, чем прежде, чувствует, что чужд родительскому дому и окружающей обывательской среде (ср. позднейший автобиографический рассказ «Дóма» («Soldier's Home»). *Летом* уезжает в излюбленный с детства уголок в Северном Мичигане и живет там один до осени; пишет первые рассказы и стихи и принимает решение посвятить себя литературе. Конфликт с родителями обостряется, и, чтобы оторваться от семьи и начать самостоятельную жизнь, Хемингуэй уезжает в *конце года* в Торонто (Канада).

В *феврале* Хемингуэй начал работать постоянным сотрудником в канадской газете «Торонто дейли стар» («The Toronto Daily Star»). За лето он напечатал в «Торонто стар уикли» («The Toronto Star Weekly») — еженедельном литературном приложении к газете — около двадцати очерков и фельетонов на местные темы, а также об охоте и рыбной ловле в Северном Мичигане. В *сентябре* Хемингуэй переехал на жительство в Чикаго, сохраняя связь с торонтским еженедельником.

В *течение зимы* 1920—1921 года Хемингуэй сближается с кругом литераторов, группирующихся вокруг уже завоевавшего в это время признание американского писателя Шервуда Андерсона. Хемингуэй вступает в длительную полосу литературного ученичества; в ходе текущей газетной работы и домашних занятий он оттачивает изобразительное и словесное мастерство. Посвящает много времени физической тренировке. Знакомится с чикагским «дном» — миром гангстеров, рэкетиров, нелегальных торговцев алкоголем (эта тематика получила отражение в позднейших рассказах Хемингуэя — таких как «Убийцы» («The Killers») и др.). В *сентябре* Хемингуэй женится на Хэдди Ричардсон, начинающей пианистке. В *ноябре*, как участник войны, награжден итальянской медалью «За храбрость в бою». Американские журналы не печатают рассказов Хемингуэя, и они с женой решают покинуть США. Хемингуэй едет в Торонто и договаривается с «Торонто стар» о новой работе в качестве европейского корреспондента со сдельной оплатой. 8 *декабря* уезжает с женой в Париж.

В *январе* Хемингуэй с женой обосновывается в Париже и посылает первые европейские корреспонденции в «Торонто стар». Он знакомится с литературно-художественным миром Монмартра и Латинского квартала. Рекомендательные письма Шервуда Андерсона открывают ему двери в кружки «экспатрированной» американской литературной молодежи. Знакомство Хемингуэя с мэтрами англо-американской авангардистской прозы в Париже — Джеймсом Джойсом и Гертрудой Стайн.

В *конце марта* выезжает в качестве корреспондента «Торонто стар» на Генуэзскую экономическую конференцию.

Ближайшие два года Хемингуэй проходит двойную школу. Участвуя в «маленьких журналах» и «маленьких издательствах» англо-американских писателей в Париже, он формируется как литератор и прозаик. Одновременно он ведет работу политического

журналиста, и, хотя делает это не всегда охотно и, как сам полагает, только для заработка, накапливаемый жизненный опыт неотъемлемо входит в его художественное сознание.

В книге воспоминаний «Мой брат Эрнест Хемингуэй» (Lester Hemingway. My Brother Ernest Hemingway, 1963) младший брат писателя, Лестер, основываясь на семейной переписке, сообщает, что Хемингуэй готовился с 1922 года ехать в Советскую Россию в качестве специального корреспондента «Торонто стар». В последний момент газета отменила поездку.

В *апреле* Хемингуэй посылает в «Торонто стар» пятнадцать корреспонденций, прямо и косвенно связанных с Генуэзской конференцией. В Рапалло присутствует на пресс-конференции у Чичерина. Первые же фашистские выступления в Италии вызывают у Хемингуэя резкий протест; эти ранние описания фашистских бесчинств — начальное зерно его будущего воинствующего антифашизма. В *июне* Хемингуэй путешествует по Италии; в *августе* — по Германии. В Эльзасе интервьюирует Клемансо. В *конце сентября* выезжает по заданию «Торонто стар» к театру греко-турецких военных действий. Присутствует при отступлении греческой армии из Восточной Фракии и бегстве гражданского населения; трагические впечатления этих дней оставляют глубокий след в сознании Хемингуэя и дополняют его итальянский военный опыт. В *ноябре* присутствует при открытии Лозаннской конференции и освещает ее в «Торонто стар».

Хемингуэй знакомится с приехавшим в Лозанну крупным американским прогрессивным деятелем и журналистом Линкольном Стефенсом. Стефенс высоко оценивает литературный дар Хемингуэя. В *декабре* у жены Хемингуэя крадут на Лионском вокзале в Париже чемодан со всеми рукописями Хемингуэя (рассказы, стихи, фрагменты романа); найти пропавшие рукописи не удается.

В этом году, как и в последующие годы в Европе, Хемингуэй использует свободное время для физической тренировки и спорта: путешествует на велосипеде и пешком по Франции, Италии, Испании; летом ловит рыбу, зимой занимается горнолыжным спортом в Швейцарских и Австрийских Альпах. Эти мотивы органически входят в его творчество.

1923

В *январе* на продолжающейся Лозаннской конференции Хемингуэй снова присутствует на пресс-конференции у Чичерина и несколько раз зарисовывает в своих статьях советскую делегацию. Он пишет памфлетно-сатирический портрет пришедшего

к власти в Италии Муссолини. Напечатанной в *апреле* серией статей об оккупированном Руре и франко-германских отношениях Хемингуэй в основном заканчивает профессиональную политическую журналистику. При отчетливой демократической направленности этих журнальных опытов молодого Хемингуэя, он не всегда достаточно самостоятелен и зрел в оценках и выводах (в частности, поверхностны его суждения о политике Советской России).

В области художественной прозы Хемингуэй продолжает домашние «лабораторные» занятия, отрабатывая свою новую самостоятельную манеру. Он отходит от повествовательно-психологической прозы Шервуда Андерсона и стремится соединить яркое реалистическое видение мира с предельно экономной и емкой формой. Первые опыты в новой манере имеют полуэкспериментальный характер.

В *марте*, в весеннем номере «маленького» журнала «Литл ревью» («The Little Review») напечатаны шесть прозаических миниатюр Хемингуэя.

В *июле* в парижском издательстве американского писателя Мак-Элмона тиражом в триста экземпляров выходит первая книга Хемингуэя «Три рассказа и десять стихотворений» («Three Stories and Ten Poems»); два рассказа из трех «У нас в Мичигане» («Up in Michigan») и «Мой старик» («My Old Man»), уцелевшие при потере всех ранних рукописей — еще в «старой» андерсоновской манере.

В *сентябре* Хемингуэй под давлением материальных и семейных обстоятельств решает вернуться в Торонто; три месяца он работает штатным репортером «Торонто стар».

Перед отъездом из Парижа сдает в печать восемнадцать прозаических миниатюр для издания отдельной книгой.

В *октябре* рождение в Торонто сына Джона.

В *декабре* Хемингуэй, недовольный мелкой, неинтересной работой и высокомерием администрации газеты, порывает с «Торонто стар» и возвращается в Европу.

Свыше семидесяти статей и корреспонденций Хемингуэя в канадской прессе перепечатаны в посмертно изданном сборнике «Бурные годы» («The Wild Years», 1962) — название принадлежит составителю.

1924

Хемингуэй вновь обосновывается в Париже и селится с женой и ребенком в Латинском квартале, в мансарде над лесопилкой, описанной им позднее в «Снегах Килиманджаро» («The Snows of Kilimanjaro») и в посмертном «Празднике, который всегда с тобой» («A Moveable Feast», 1964).

В январе в «маленьком» американско-парижском издательстве «Три горы» тиражом в сто семьдесят экземпляров выходит книга прозаических миниатюр Хемингуэя «в наше время» («in our time»); отсутствие заглавных букв в тексте — дань авангардистским веяниям того времени.

Хемингуэй решает полностью отказаться от профессиональной журналистики и, преодолевая нужду, уходит в работу над художественной прозой. Он неутомимо читает классиков и старших современников (русские: Тургенев, Толстой, Достоевский, Гоголь, Чехов; французы: Стендаль, Флобер, Мопассан; американцы: Марк Твен, Генри Джеймс, Стивен Крейн; англичане: Киплинг, Конрад, Джойс). Решая встающие перед ним изобразительные задачи, он обращается к новой французской живописи, изучает пейзаж у Сезанна, посещает мастерскую Пикассо, завязывает творческую дружбу с Браком, Массоном, Хуаном Миро. В испанских поездках изучает Эль Греко и Веласкеса, переживает огромное увлечение графическими циклами Гойи. В течение всего этого года Хемингуэй принимает участие в редактировании «трансатлантик ревью» («transatlantic review»), «маленького» журнала, издаваемого в Париже английским писателем Ф.-М. Фордом, и публикует в нем первые образцы своей зрелой повествовательной прозы (в *мартовском* номере «Индийский поселок», в *декабрьском* — «Доктор и его жена»). В *октябре* на страницах того же журнала, откликаясь на кончину Джозефа Конрада, он пишет, что ни одна из прочитанных книг не дала ему столько, сколько каждая книга Конрада, и высмеивает снобизм авангардистских литературных кружков, третирующих Конрада как «плохого писателя». Молодой Хемингуэй нападает на законодателя и кумира англо-американских авангардистов, поэта и критика Т.-С. Элиота: «Пусть только меня заверят, что если смолоть в порошок мистера Элиота и тем, что получится, посыпать могилу мистера Конрада и Конрад, хотя и досадую на воскрешение, восстанет из гроба и сядет за письменный стол, — и я завтра же утром срочно выеду в Лондон с кофемолкой в руке».

1925

Зиму Хемингуэй проводит в Австрийских Альпах, занимаясь спортом и работая над новыми рассказами. В *январском* номере «трансатлантик ревью» он печатает «Кросс по снегу» («Cross Country Snow»), в *ноябрьском* номере «Куортер» («This Quarter»), еще одного англо-американского журнала, выходящего в Милане, — двухчастный рассказ «На Биг-Ривер» («Big Two-Hearted River»).

Исключенная автором третья часть «На Биг-Ривер» посмертно опубликована под заглавием «О писательстве» («On Writing») в 1972 году. Это внутренний монолог молодого писателя о том, что в разное время было средоточием его интересов и, наконец, завершилось всепоглощающей страстью творчества. Все имена здесь, даже вскользь упомянутые, принадлежат реальным лицам, связанным с Хемингуэем в те ранние годы.

Весной в Париже Хемингуэй знакомится с уже имеющим громкое литературное имя Скоттом Фицджеральдом. Летом Хемингуэй, страстно увлекающийся боем быков в Испании, присутствует с группой друзей на традиционных испанских празднествах в Памплоне. Под живым впечатлением поездки он сразу начинает работать над «Фиестой». Шервуд Андерсон рекомендует Хемингуэя американской издательской фирме «Бони и Ливрайт», и в октябре в Нью-Йорке выходит книга рассказов Хемингуэя «В наше время» («In Our Time»), впервые принеся ему известность и заработок.

Структура книги Хемингуэя такова.

Основу ее составляют четырнадцать рассказов. В качестве интерлюдий и замыкающей книгу концовки использованы минипюры из одноименного сборника 1924 года. В них большей частью отражены жестокие впечатления Хемингуэя — солдата и журналиста в Европе и в США в 1917—1923 годах. Изобразительно они выполнены как бы в более крупном масштабе, нежели повествование в рассказах, и соотносятся с ним как крупный и общий план в кинематографе. Одна из важных задач монтажа — создать драматичный социальный контекст для более камерных по характеру вошедших в сборник рассказов.

Тематически интерлюдии составляют четыре группы:

I, III—IV и VI—VII — мировая война 1914—1918 гг.;

II, V и концовка — впечатления и события, связанные с греко-турецкой войной 1921—1922 гг.;

VIII и XV — репортажные наблюдения автора в США;

IX—XIV — бой быков в Испании. Включение боя быков в эту панораму жестокости и страдания поясняется тем, что автор позднее писал в «Смерти после полудня»: «Когда война окончилась, единственным местом, где вы могли наблюдать жизнь и смерть — насильственную смерть я имею в виду, — была арена боя быков».

1926

Хемингуэй работает в Париже над повестью «Вешние воды» («The Torrents of Spring»), в которой «расправляется» со своими литературными учителями, пародирует тематику и стилистику

Шервуда Андерсона и выпущивает Гертруду Стайн. Повесть не имеет серьезного художественного значения и важна скорее для самого автора в качестве «декларации независимости». Издательство «Бони и Ливрайт» отказывается печатать повесть, и Хемингуэй, с помощью Фицджеральда, переходит в нью-йоркское издательство «Скрибнерс», где главным литературным консультантом работает Максуэл Перкинс, друг и советчик Фицджеральда, а в дальнейшем и Хемингуэя. Весной «Вешние воды» выходят в свет.

В майском номере влиятельного американского журнала «Букмен» («The Bookman») напечатана статья Скотта Фицджеральда с высокой оценкой творчества молодого Хемингуэя.

Объезжая одно за другим свои излюбленные места (его ежегодный маршрут в европейские годы включает Париж, Ривьеру, Мадрид и Альпы), Хемингуэй продолжает настойчиво работать над «Фиестой» и к апрелю кончает роман. В октябре «Фиеста» выходит в США (под названием «И восходит солнце» («The Sun Also Rises»); «Фиестой» роман был назван в английской издании) и вызывает многочисленные отклики. Рассказы и «Фиеста» переводятся на иностранные языки. Весь конец года Хемингуэй работает над новым циклом рассказов. Он вступает в пору огромного творческого подъема.

1927

Крупнейшие американские журналы начинают публиковать новые рассказы Хемингуэя. В мартовском номере «Скрибнерс мэгэзин» («Scribner's Magazine») напечатан рассказ «Убийцы» и в апрельском — «В чужой стране» («In Another Country») и «Канарейку в подарок» («A Canary for One»), а в июле «Атлантический мансли» («The Atlantic Monthly») печатает «Пятьдесят тысяч» («Fifty Grand»).

Хемингуэй разводится с Хэдли Ричардсон и женится на Полине Пфайфер, американке из богатой семьи. Под влиянием жены он переходит в католицизм (Хемингуэй и в дальнейшем остается католиком, но религия не играет значительной роли в его жизни и творчестве).

Весной, после автомобильной поездки по Северной Италии, публикует в «Нью рипаблик» («The New Republic») очерковый рассказ «Италия, 1927» (позднее получивший название «Che ti dice la patria?» — «Что говорит тебе родина?»). К режиму Муссолини писатель относится с неприкрытой враждебностью.

В октябре в Нью-Йорке выходит вторая книга рассказов Хемингуэя — «Мужчины без женщин» («Men Without Women»); в ней четырнадцать рассказов, из них четыре публикуются впервые. Сборник открывается программным рассказом «Непобежденный»

(«The Undeated»), впервые напечатанным в «Куортер» в начале 1926 года.

Страдающий от бессонницы контуженный лейтенант итальянской армии в рассказе «На сон грядущий» — это Ник Адамс; фронтовые мотивы биографии Ника даны здесь среди его детских воспоминаний.

В пьяной застольной беседе римских солдат в Иудее, неотличимых по речи и по замашкам от американских солдат в Европе («Сегодня пятница» — «Today is Friday») писатель пересказывает евангельскую легенду «снижающим» языком повседневности.

В «Банальной истории» («Banal Story») на фоне газетных клише и пустого фразерства праздных потребителей жизни он рисует трагически раннюю смерть от скоротечной чахотки молодого матадора Маэры, отвагой и мастерством которого не раз восхищался.

Этим сборником завершается пятилетний парижский период Хемингуэя. И в дальнейшем он часто работает в Париже и путешествует по Европе, но постоянно там более не живет.

1928

В начале года Хемингуэй возвращается в США, сперва живет у родственников жены в Пигготте, штат Арканзас, затем переезжает во Флориду. В марте начинает работать над романом «Прощай, оружие!».

В июне — рождение сына Патрика (под впечатлением тяжелых, едва не убивших его жену родов писатель создает заключительные главы романа, посвященные родам и смерти Кэтрип Баркли).

В декабре кончает самоубийством отец Хемингуэя, сломленный денежными неудачами и болезнью (Хемингуэй касается трагической смерти отца в рассказе «Отцы и дети» («Fathers and Sons»)) и еще раз — в предсмертном «внутреннем монологе» Роберта Джордана в романе «По ком звонит колокол» («For Whom the Bell Tolls»). «Респектабельные» обыватели Оук-Парка считают, что доктор Хемингуэй опозорил себя самоубийством, так же как его сын-писатель — «безнравственными» книгами и разводом.

1929

Весну и лето Хемингуэй проводит с семьей в Париже, завершая работу над романом «Прощай, оружие!». Он видится с Джойсом, дружит с Фицджеральдом и с молодым канадским писателем Морли Каллаганом (оставившим позже интересные для характеристики Хемингуэя в этот период воспоминания «То лето в

Париже»: Morley Callaghan. That Summer in Paris, 1963). В *июле* Хемингуэй завершает чтение корректур и переписывает конец романа. В *сентябре* «Прошай, оружие!» выходит в свет. Роман имеет шумный читательский успех и вызывает обширную критическую литературу в США и за границей. Хемингуэй получает мировое признание как ведущий американский прозаик своего поколения. *Осенью* во Флориде он начинает работать над книгой о бое быков в Испании, задуманной еще в 1925 году.

1930

Обосновавшись в рыбацьем поселке Ки-Уэст, на южной окраине Флориды, Хемингуэй покупает и перестраивает для своей семьи старую испанскую виллу.

Складывается своеобразный быт Хемингуэя первой половины 1930-х годов, широко рекламируемый американской буржуазной печатью. Будучи в расцвете физических сил, он усиленно занимается боксом и много времени посвящает спортивной ловле крупной морской рыбы в Гольфстриме, выезжая для этого на мотоботе на Багамские острова и к берегам Кубы. Ежегодно он охотится на северо-западе США, в Колорадо, Монтане и Вайоминге. Значительный литературный заработок и состояние жены избавляют его от материальных забот. У него много знакомых среди богатых людей, он посещает фешенебельный «Сторк-клуб» в Нью-Йорке и становится притягательной фигурой для любопытствующих туристов и ищущих сенсаций газетных корреспондентов.

При внешнем успехе — это годы духовного безвременья для Хемингуэя и большого внутреннего одиночества. В его творчестве резко сгущаются индивидуалистические, сумрачные, пессимистические настроения. Он отказывается принимать участие в общественном движении американских писателей, возникшем на почве экономического кризиса, нищеты и безработицы в США, но не может вместе с тем не задумываться над социальными и политическими вопросами и проблемой писательского долга и писательской ответственности.

Осенью 1930 года, на охоте, Хемингуэй попадает в автомобильную катастрофу и несколько месяцев лежит с тяжелым переломом плеча в больнице в Биллингсе, штат Монтана (больничные впечатления и раздумья этого времени отражены в позднейшем рассказе «Дайте рецепт, доктор» («Give Us a Prescription, Doctor»).

В Нью-Йорке выходит новое издание сборника 1925 года «В наше время» с открывающим книгу новым очерком Хемингуэя «В порту Смирны» («On the Quai at Smyrna») и с предисловием видного литературного критика Эдмунда Уилсона.

Хемингуэй проводит *лето* в Испании и в Париже; он продолжает работу над книгой о бое быков. В *декабре* выходит на экран «Прощай, оружие!» — первый фильм, поставленный по произведению Хемингуэя.

В *январе* Хемингуэй заканчивает книгу «Смерть после полудня» («The Death in the Afternoon»). В *сентябре* она выходит в Нью-Йорке. «Смерть после полудня» — произведение нового для писателя очерково-публицистического жанра. В основном книга посвящена бою быков, в то же время она содержит многолетние испанские впечатления Хемингуэя, размышления об испанском искусстве и национальном характере, а также злободневную литературную полемику и эссе на эстетические и моральные темы. Одно из этих эссе писатель позднее включил под названием «Естественная история мертвых» («A Natural History of the Dead») в собрание своих рассказов.

В *июне* — рождение третьего сына, Грегори.

В *мартовском* номере «Скрибнерс мэгэзин» печатается рассказ Хемингуэя «Там, где чисто, светло» («A Clean, Well-Lighted Place») и в *майском* — «Дайте рецепт, доктор», позднее рассказ получает другое название: «Игрок, монахиня и радио» («The Gambler, the Nun and the Radio»).

Лето Хемингуэй проводит в Гаване, ловит рыбу в Гольфстриме и начинает работу над циклом больших новелл о флоридском рыбаке и контрабандисте Гарри Моргане; в дальнейшем они образуют основу романа «Иметь и не иметь» («To Have and Have Not»).

В *октябре* в Нью-Йорке выходит сборник рассказов Хемингуэя «Победитель не получает ничего» («Winner Take Nothing»); всего четырнадцать рассказов, из них шесть публикуемых впервые.

Эпиграф к сборнику (со ссылкой на «Старинную книгу») принадлежит самому писателю: «В отличие от всех иных состязаний или же схваток условия здесь таковы, что победитель не получает ничего: ни передышки, ни радости, ни какой-либо славы. А если он истинно победит, то не получит и мира в душе». Тональность эпиграфа характерна для большей части рассказов этого сборника. В «Там, где чисто, светло» обобщаются мотивы безысходного одиночества. В «Посвящается Швейцарии» («Homage to Switzerland») Хемингуэй продолжает сатирические зарисовки американцев в Европе, избрав на этот раз мишенью себя самого. В «Какими вы не будете» писатель усугубляет военную травму уже выведенного

ранее героя; Ник здесь страдает расстройством психики после черепного ранения. «Отцы и дети» — последний из цикла полуавтобиографических рассказов, героем которых выступает Ник Адамс.

В этом году Хемингуэй начинает сотрудничать в «Эсквайре» («Esquire») — американском «журнале для мужчин», издаваемом Арнольдом Джингричем; в 1933—1935 годах он напечатал в «Эсквайре» более двадцати статей-фельетонов; в большинстве они посвящены охоте и рыбной ловле, но некоторые имеют существенный биографический и идейно-художественный интерес. Часть их перепечатана в посмертно изданном сборнике журнальных статей Хемингуэя «Подписано: Эрнест Хемингуэй» («By Line: Ernest Hemingway», 1967).

Хемингуэй задумывает большую охотничью экспедицию в Африку; в *ноябре* из Марселя выезжает морем в Момбасу, восточноафриканский порт в Индийском океане. В *декабре* он с женой и несколькими друзьями начинает охотничье путешествие на территории британских колоний в Восточной Африке (нынешние Кения и Танзания).

1934

Хемингуэй охотится в Восточной Африке на крупного зверя: львов, леопардов, носорогов, буйволов, винторогих антилоп. В *январе* он заболевает тяжелой формой амёбной дизентерии. Его перевозят на самолете в столицу Кении Найроби. Подлечившись, Хемингуэй продолжает охоту в Северной Тапганьике. В *марте* он ловит рыбу на побережье Индийского океана в Кении. В *апреле* возвращается в США.

Сразу по приезде в Ки-Уэст приступает к работе над книгой о проделанном путешествии (первоначальное название «Африканские предгорья»). В *апрельском* номере «Космополитен» («The Cosmopolitan») напечатана под названием «Один рейс» («One Trip Across») первая повелла о Гарри Моргане.

В этом году Хемингуэй заводит собственный быстроходный катер (которому дает испанское женское имя «Пилар») и побивает американские спортивные рекорды в ловле крупной морской рыбы.

Лето и осень живет и работает в Гаване; долгое пребывание на Кубе входит в эти годы в обычай у Хемингуэя; у него в Гаване много друзей и знакомых.

Под заглавием «Смерть после полудня» в Москве выходит первый русский сборник избранных рассказов Хемингуэя. Писатель узнает об этом с большим интересом.

В *ноябре — декабре* Хемингуэй устраивает в Нью-Йорке выставку графики и живописи своего друга, испанского художника

Луиса Кинтанилья, находящегося в тюрьме в Испании за участие в астурийском восстании 1934 года. Все расходы, связанные с организацией выставки, Хемингуэй берет на себя и пишет введение к каталогу (позднее перепечатанное отдельной статьей).

1935

В *феврале* Хемингуэй заканчивает книгу об африканском путешествии. *Весной и летом* она печатается в «Скрибнерс магезин» под заглавием «Зеленые холмы Африки» («The Green Hills of Africa») и в *октябре* выходит в Нью-Йорке отдельным изданием. Подобно «Смерти после полудня», это очерково-публицистическая книга: описанию путешествия перемежаются отступлениями на различные темы; в частности, интересны суждения автора о положении писателей в американском обществе («Мы губим их всеми способами...») и о корнях новейшей американской литературы («Вся современная американская литература вышла из одной книги Марка Твена, которая называется «Гекльберри Финн»).

Хемингуэй знакомится со статьей советского критика И. А. Кашкина «Трагедия мастерства», посвященной его творчеству, и отвечает дружеским письмом. «Фиеста» выходит в Москве в русском переводе.

Этот год знаменуется для Хемингуэя поворотом к социальным и политическим проблемам. Два события произвели на писателя особенно сильное впечатление. *Летом* на Кубе потерпело неудачу восстание против реакционного режима Мачадо, и жестокие политические репрессии коснулись многих друзей Хемингуэя, участников кубинского освободительного движения. В *сентябре*, во время урагана во Флориде, погибло несколько сот ветеранов мировой войны, поселенных американскими властями в заброшенном рабочем поселке. Хемингуэй прибыл с первыми же спасателями, был потрясен всем увиденным и в статье «Кто убил ветеранов войны?» («Who Murdered the Vets?»), напечатанной в коммунистическом журнале «Нью мэссис» («The New Masses»), гневно призывал к ответу американское правительство.

1936

В *январе* Хемингуэй печатает в «Эсквайре» статью «Крылья над Африкой» («Wings Always Over Africa»), в которой решительно протестует против вторжения итало-фашистских войск в Абиссинию.

В *феврале* он там же печатает «Возвращение контрабандиста» («The Tradesman's Return»), вторую новеллу о Гарри Моргане, и в *июне* — рассказ «Рог быка» («The Horns of the Bull»); позднее название рассказа — «Столица мира» («The Capital of the World»).

В июле в Испании начинается военно-фашистский мятеж; Хемингуэй пристально следит за развитием событий.

В августе он печатает в «Эсквайре» рассказ «Снега Килиманджаро». В набранных в тексте курсивом «наплывах», воспоминаниях писателя Гарри о главном в его уходящей жизни, о чем он не успел написать,— почти все сквозные мотивы, проходящие в творчестве молодого Хемингуэя: детство в Америке, незабываемо-трагические фронтовые картины первой мировой войны и греко-турецкой войны, упоение природой и спортом в Альпах, литературное ученичество в послевоенном Париже. Монтаж наплывов с главной сюжетной линией родствен структуре сборника «В наше время», где интерлюдии взаимодействуют с основным текстом.

В сентябре в «Космополитен» напечатан второй рассказ на материале африканского путешествия — «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера» («The Short Happy Life of Francis Macomber»).

В Москве выходит в русском переводе «Прощай, оружие!».

Гражданская война в Испании целиком приковывает внимание Хемингуэя. На личные средства он покупает за сорок тысяч долларов санитарные машины и медикаменты для республиканской армии. Он также организует группу «Современные истории» (кроме него туда входят американские писатели Арчибальд Маклиш, Лилиан Хеллман и Джон Дос Пассос) для финансирования фильма об антифашистской борьбе в Испании.

Все три последующие года жизнь и творчество Хемингуэя тесно связаны с борьбой испанского народа против фашизма.

1937

В феврале Хемингуэй подписывает договор с американским телеграфным агентством НАНА («Норс Американ Ньюспейпер Аллайенс») и выезжает в Европу. В середине марта вылетает из Тулузы в Барселону и далее в Валенсию и Мадрид. В осажденном Мадриде Хемингуэй селится в отеле «Флорида», который становится его «штаб-квартирой». Хемингуэй посещает наиболее опасные и угрожаемые участки фронта; его корреспонденции в американской прессе дают правдивую информацию о событиях и выполняют важную пропагандистскую роль. Занимающий анти-франкистскую позицию влиятельный нью-йоркский журнал «Нью рипаблик» перепечатывает в 1937—1938 годах наиболее важные корреспонденции Хемингуэя под общим заголовком «Хемингуэй сообщает из Испании» («Hemingway Reports Spain»).

В апреле — мае совместно с режиссером Иорисом Ивенсом и оператором Джоном Ферно Хемингуэй снимает документальный фильм «Испанская земля»; значительная часть фильма снята на передовой линии фронта, под огнем. Хемингуэй часто бывает в

Интернациональных бригадах, дружит с бойцами и командирами, встречается с генералом Лукачем (Матэ Залка), Михаилом Кольцовым, И. Г. Эренбургом и другими писателями, принимавшими участие в борьбе испанских республиканцев. В мае Хемингуэй возвращается в США.

4 июня он выступает на Втором конгрессе американских писателей с антифашистской речью «Писатель и война». Хемингуэй и Ивене заканчивают работу над «Испанской землей»; Хемингуэй пишет дикторский текст к фильму и сам читает его. После демонстрации фильма в Белом доме для президента Франклина Рузвельта «Испанская земля» выходит на экран и вызывает приток пожертвований в пользу республиканской Испании. Свой гонорар от фильма Хемингуэй отправляет вдове боевого товарища, немецкого антифашиста Вернера Хейльбруна, врача Двенадцатой Интернациональной бригады, убитого под Уэской.

В течение лета Хемингуэй заканчивает третью новеллу о Гарри Моргане и объединяет все три новеллы в роман «Иметь и не иметь». В обострении социальных мотивов романа сказывается политический опыт Хемингуэя, приобретенный за последние годы.

В августе Хемингуэй возобновляет свой контракт с НАНА и второй раз выезжает в Испанию. Он посещает Арагонский фронт, присутствует при боях за Теруэль. В Мадриде Хемингуэй выполняет ответственные задания республиканского командования. В отеле «Флорида» под артиллерийским обстрелом он работает над пьесой «Пятая колонна» («The Fifth Column»).

В октябре «Иметь и не иметь» выходит в Нью-Йорке.

1938

В январе Хемингуэй возвращается в США и работает в Ки-Уэст.

Пишет введение к каталогу выставки военных рисунков Луиса Кинтанильы, показанных в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

В марте, получив вести о военных неудачах Республики и сильных потерях американских интербригадовцев, в третий раз выезжает в Испанию. Апрель проводит на фронте. В мае работает в голодном Мадриде. Перед выездом из Мадрида вынужден уничтожить все записи, имеющие военное значение, из-за опасности попасть в плен к франкистам.

Летом в США работает над испанскими рассказами и задумывает роман о гражданской войне в Испании. В июне в Кливленде (Огайо) отдельной брошюрой выходит «Испанская земля» («The Spanish Earth»), в которую входит дикторский текст к фильму и послесловие «Жара и холод» («The Heat and the Cold»).

В *сентябре* Хемингуэй в четвертый раз выезжает в Испанию и присутствует при оборонительных боях республиканской армии на Эбро.

В *октябре* в Нью-Йорке выходит большой сборник Хемингуэя «Пятая колонна и первые сорок девять рассказов» («The Fifth Column and the First Forty Nine Stories»); в книгу вошли все опубликованные рассказы Хемингуэя.

Во *второй половине ноября* Хемингуэй с отступающими частями республиканцев переходит на французскую территорию и возвращается в США. В *ноябре и декабре* в «Эсквайре» напечатаны два его рассказа о военном Мадриде: «Разоблачение» («The Denunciation») и «Мотылек и танк» («The Butterfly and the Tank»).

1939

Хемингуэй отдельно от семьи селится в Гаване и работает над романом о гражданской войне в Испании, который сперва носит рабочее заглавие «Неоткрытая страна». После падения Мадрида он печатает в коммунистическом журнале «Нью мэссис» надгробное слово «Американцам, павшим за Испанию» («On the Americans Dead in Spain»). В *марте* в «Космополитен» опубликован рассказ Хемингуэя «Никто никогда не умирает» («Nobody Ever Dies») о кубинском революционере-интербригадовце, убитом по возвращении из Испании кубинскими жандармами.

В Сан-Франсиско-де-Паула, неподалеку от Гаваны, Хемингуэй покупает старую усадьбу Финка-Вихии. *Лето* он проводит на западе США, продолжая работать над новым романом. Он оказывает денежную помощь бедствующим в эмиграции испанским республиканцам. Пишет предисловие к книге писателя-коммуниста Джозефа Норта «Люди в строю» (Joseph North. Men in the Ranks), посвященной американским интербригадовцам.

Американские биографы Хемингуэя тенденциозно преуменьшают значение участия Хемингуэя в гражданской войне в Испании. Между тем надо помнить, что все начало 30-х годов было тяжким, кризисным для писателя, и в ходе антифашистской борьбы он обрел новые важные импульсы для дальнейшей жизни и творчества. «...Тот период борьбы, когда мы надеялись, что Республика победит, был счастливейшим временем нашей жизни. Мы были истинно счастливы», — писал он позднее.

1940

Хемингуэй разводится с Полиной Пфейфер и женится на американской журналистке Марте Геллхорн, с которой сблизился в

военные годы в Испании. Его постоянным домом становится Финка-Вихия.

Летом «Пятая колонна» появляется на сцене в Нью-Йорке и выходит отдельной книгой. Вплоть до *осени* Хемингуэй работает с огромным напряжением, сперва в Гаване и потом на западе США, завершая свой испанский роман. Книга получает заглавие «По ком звонит колокол». Оно раскрывается в предпосланном книге эпиграфе из английского поэта XVII века Джона Донна, смысл которого в том, что человек неотделим от всего человечества и несет ответственность за его судьбу в целом. «По ком звонит колокол» выходит в *октябре* в Нью-Йорке и вызывает широкий отклик в печати. Общий тираж книги на английском языке превысил миллион экземпляров.

1941

Весной Хемингуэй вместе с Мартой Геллхорн выезжает в поездку на Дальний Восток (Гонолулу — Гуам — Гонконг — Сингапур). Его корреспонденции появляются в нью-йоркской газете «Пост меридиан». *27 июня*, через пять дней после нападения Гитлера на Советский Союз, Хемингуэй посылает в Москву следующую телеграмму: «На все 100 процентов солидаризируюсь с Советским Союзом в его военном отпоре фашистской агрессии. Народ Советского Союза своей борьбой защищает все народы, сопротивляющиеся фашистскому порабощению».

Конец года писатель проводит в Гаване и на западе США. Начинает работать над антологией лучших произведений, написанных о войне.

1942

С лета Хемингуэй посетит военно-морскую службу на своем катере «Пилар», вооруженном и снабженном специальной акустической аппаратурой; он патрулирует в Карибском море, следя за немецкими подводными лодками. Антология «Люди на войне» («Men at War») выходит в *октябре* в Нью-Йорке с обширным предисловием Хемингуэя. Он посвящает книгу своим сыновьям Джону, Патрику и Грегори: «Пусть у этих трех мальчиков, когда они достаточно вырастут, чтобы прочесть и понять все, что здесь напечатано, будет книга, где о войне говорится правдиво, насколько это возможно, книга, которой я не имел, когда так в ней нуждался».

«По ком звонит колокол» выходит новым иллюстрированным изданием с предисловием Синклера Льюиса.

1943

Хемингуэй продолжает секретную военно-морскую службу на «Пилар», уходя в длительные морские рейсы. Эти мотивы позднее

составили важную часть его незавершенного, изданного посмертно романа «Острова в океане» («Islands in the Stream», 1970).

Американская кинокомпания «Парамаунт» выпускает фильм по роману Хемингуэя «По ком звонит колокол» с друзьями Хемингуэя Гарри Купером и Ингрид Бергман в главных ролях.

1944

Весной Хемингуэй приезжает в Англию в качестве военного корреспондента. В мае ранен в автомобильной катастрофе в Лондоне (в первых газетных сообщениях он был ошибочно объявлен убитым). Участвует в боевых полетах на бомбардировщиках и штурмовиках над Германией и оккупированной Францией. 6 июня вместе с американскими войсками высаживается на Нормандском побережье. В августе, оторвавшись от 4-й американской пехотной дивизии, к которой приписан как военный корреспондент, Хемингуэй собирает отряд французских маки (партизан) и входит в Париж вместе с передовыми частями союзников. (Недоброжелатели в американском командовании пытаются из-за этого начать против Хемингуэя судебное дело о превышении им прав военного журналиста.) Встреча в освобожденном Париже с Пикассо и другими французскими друзьями. Хемингуэй выезжает на боевые участки фронта в Бельгии и в Эльзасе и принимает прямое участие в военных действиях. В конце года лежит в парижском госпитале с тяжелым воспалением легких. С июля по ноябрь нью-йоркский журнал «Колльерс» («Collier's») публикует шесть военных корреспонденций Хемингуэя.

1945

В марте возвращается в США. Разводится с Мартой Геллхорн.

1946

Хемингуэй женится на американской журналистке Мэри Уэлш. Его постоянным домом остается Финка-Вихия. Оттуда он выезжает в Нью-Йорк и в европейские путешествия; осенние месяцы, как и прежде, охотится и работает на западе США. Финка-Вихия Хемингуэя — открытый дом, где постоянно гостят друзья и знакомые. На Кубе Хемингуэй оказывает поддержку революционным кругам, борющимся против диктатуры Батисты. Он также поддерживает все политические кампании в пользу испанских республиканцев и помогает многим испанским друзьям в эмиграции.

730

Хемингуэй начинает работу над большим произведением, условно названным им «На земле, на воде и в воздухе», в котором хочет объединить свои впечатления за годы второй мировой войны. В таком виде этот замысел не был осуществлен.

Осенью выходит новое, иллюстрированное издание «Прощай, оружие!» с предисловием автора.

Хемингуэй прерывает работу над большим военным произведением и принимается за новый роман — «За рекой, в тени деревьев». *Весной* живет и работает в Италии. После несчастного случая на охоте заболевает тяжелой сентической болезнью глаз, одно время угрожавшей ему полной потерей зрения. Немного поправившись, продолжает работу, сперва в Гаване и *осенью* в Париже.

Весну и лето Хемингуэй проводит в Париже. В *феврале* — *июне* «За рекой, в тени деревьев» («Across the River and Into the Trees») публикуется в журнале «Космополитен» и в *сентябре* выходит в Нью-Йорке.

Хемингуэй начинает работу над повестью «Старик и море» («The Old Man and the Sea»).

В США под заглавием «Эрнест Хемингуэй. Личность и творчество» («Ernest Hemingway. The Man and his Work», 1950) выходит сборник критических и биографических статей о Хемингуэе за двадцать лет. До конца этого года Хемингуэй заканчивает чернее первые две части будущих «Островов в океане».

Хемингуэй заканчивает повесть «Старик и море». Смерть матери в Оук-Парке. Он не приезжает на похороны.

Хемингуэй пытается помешать выходу в свет книги молодого американского критика Филипа Янга, исследующей его творчество в свете его биографии. Он угрожает автору и издательству судом за «вмешательство в личную жизнь»; позже, в ответ на отчаянную просьбу Янга, снимает запрет; книга выходит в следующем году (Philip Young. Ernest Hemingway, 1952).

В основном заканчивает «Морскую погоню» (ныне третью и последнюю часть «Островов в океане», где она называется «В море»).

В *сентябре* «Старик и море» публикуется в нью-йоркском еженедельнике «Лайф» («Life») и выходит отдельным изданием. Повесть имеет большой успех. Хемингуэю присуждена премия Пулитцера за 1952 год — главная литературная премия США.

В США выходит монография Карлоса Бейкера «Хемингуэй — художник» (Carlos Baker. Hemingway: The Writer as Artist, 1952), ценная по большому фактическому материалу, частью полученному от самого писателя.

Кинопродюсер Запук выпускает фильм по рассказу Хемингуэя «Снега Килиманджаро», искажив сюжет и стилистику вещи. Хемингуэй иронически именует этот фильм «Снега Запука».

1953

В *начале лета* Хемингуэй едет в Испанию (впервые после гражданской войны 1936—1939 годов). Он объезжает с женой места, описанные им в «По ком звонит колокол» (пещера, где скрываются партизаны, холм Эль Сордо, мост, взорванный Джорданом). В *начале августа* Хемингуэй с женой отправляются в охотничью экспедицию в Африку. До конца года они охотятся на крупного зверя в Кении и Танганьике. Хемингуэй посещает сына Патрика, занимающегося разведением скота в Центральной Танганьике, и некоторое время выполняет обязанности добровольного охотничьего инспектора у подножия горы Килиманджаро.

1954

В *конце января*, по пути в Конго, спортивный самолет, в котором летят Хемингуэй с женой, терпит аварию у водопада Марчисон-Фоллз (в северо-западной Уганде). Тяжело пострадавшего Хемингуэя и его жену перевозят катером в Бутиабу. На другой день их пытаются перевезти на самолете в Найроби, но самолет загорается при старте, и Хемингуэй получает ожоги и новые ранения. Распространяется весть о гибели Хемингуэя, и газеты помещают многочисленные некрологи. После больницы лечения в Найроби Хемингуэй проводит некоторое время на океанском побережье в Кении. В *марте* живет в Генуе и в Венеции, совершает новую поездку в Испанию и лишь в *июне* возвращается в Гавану. В *январе*, в *апреле* и *ноябре* в журнале «Лук» («Look») напечатаны три африканских очерка Хемингуэя.

Богатырское здоровье Хемингуэя подорвано полученными ранениями, и в дальнейшем, до конца жизни, он страдает от периодически возвращающегося недомогания.

В *октябре* Хемингуэй присуждена Нобелевская премия по литературе за 1954 год. Из-за нездоровья он не может поехать в Стокгольм и посылает краткую лауреатскую речь.

В США выходит монография Чарльза Фентона «Ученичество Эрнеста Хемингуэя» (Charles Fenton. The Apprenticeship of Ernest Hemingway, 1954) — обстоятельное исследование, посвященное ранним годам писателя. Как и Бейкер до этого, Фентон пользовался в работе над книгой помощью Хемингуэя.

1955

Хемингуэй работает над книгой о втором африканском путешествии. Планирует новую поездку в Африку, чтобы снять фильм, посвященный природе и животному миру Кении и Танганьики. С *марта по июнь* принимает активное участие в съемке фильма по повести «Старик и море»: редактирует сценарий, занимается с актерами и руководит рыболовной экспедицией к берегам Перу. Приток туристов, желающих поглядеть на «нобелевского лауреата», и журналистов, добивающихся интервью, заставляет Хемингуэя время от времени покидать Финка-Вихия и искать укрытия в старом доме в Ки-Уэст, принадлежащем его сыновьям.

1956

Хемингуэй весь год испытывает сильное недомогание от последствий авиационной катастрофы 1954 года и работает с трудом. *Конец года* проводит в Испании.

1957

В *начале года* Хемингуэй все еще в Испании: он лечится и постепенно входит в рабочую форму. В *ноябре* печатает в «Атлантик мансли» рассказ «Нужна собака-поводырь» («Get a Seeing Eye Dog»). На Кубе разворачивается повстанческое движение под руководством Фиделя Кастро, и Хемингуэй не скрывает своих симпатий к повстанцам.

1958

Хемингуэй в Финка-Вихия начинает работу над автобиографической книгой о Париже 1920-х годов. Специальным волеизъявлением, подписанным в качестве свидетеля его женой Мэри, Хемингуэй воспрещает своим адресатам публиковать полученные от него письма. *Осенью* уезжает работать на запад США в городок Кетчем, штат Айдахо, неподалеку от лыжного курорта Сан-Вэлли. Хемингуэй бывает там с 1947 года, у него много друзей в Кетчеме, и он подумывает о переезде туда на постоянное жительство.

1959

До *марта* Хемингуэй работает в Кетчеме над автобиографической книгой. Совершает большую автомобильную поездку на юг США. Вернувшись в Гавау, Хемингуэй приветствует правительство Фиделя Кастро как «первое честное кубинское правительство». С *мая* живет в Испании и путешествует по стране, следя за состязанием двух крупнейших испанских матадоров — Антонио Ордовьеса и Луиса Домингива. Присутствует на традиционных празднествах в Памплоне, описанных им много лет назад в «Фиесте». *Осень* проводит в Кетчеме, покупает там дом и, отложив автобиографическую книгу, работает над «Опасным летом», посвященным испанскому путешествию.

В Москве выходят в двух томах «Избранные произведения» Хемингуэя с предисловием и комментариями И. А. Кашкина.

1960

С *января по май* Хемингуэй работает в Гаване над «Опасным летом» и завершает книгу о молодых годах в Париже (вышедшую посмертно под заглавием «Праздник, который всегда с тобой»).

В *феврале* Хемингуэй посещает в Финка-Вихия приехавшая на Кубу правительственная делегация Советского Союза. Хемингуэй радушно встречает советских гостей.

В *июле* Хемингуэй живет в Нью-Йорке. *Сентябрь — октябрь* проводит в Испании.

С осени физическое состояние его резко ухудшается, и появляются первые признаки психической депрессии.

В трех *сентябрьских* номерах еженедельника «Лайф» напечатаны отрывки из «Опасного лета» («The Dangerous Summer»).

В *ноябре* Хемингуэй с женой пересезжают в Кетчем на постоянное жительство. В конце *ноября* под чужим именем (чтобы избежать газетной шумихи) писатель ложится на лечение в клинику Мэйо в Рочестере, штат Миннесота.

1961

В *январе* Хемингуэй возвращается в Кетчем с некоторым общим улучшением здоровья. Он пробует возобновить работу, однако силы изменяют ему. В *апреле* он снова ложится в клинику Мэйо и остается там до *конца июня*. 2 *июля*, наутро после возвращения домой, Хемингуэй копчет с собой выстрелом из охотничьего ружья. Похороны состоялись 6 *июля* на Кетчемском кладбище.

А. Старева

СОДЕРЖАНИЕ

СТАРИК И МОРЕ.

Повесть. Перевод Е. Голышевой и Б. Изакова . 5

ОПАСНОЕ ЛЕТО.

Перевод Е. Калашниковой и В. Топер 73

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ.

Перевод М. Брука, Л. Петрова и Ф. Розенталя . . 167

ОСТРОВА В ОКЕАНЕ.

Роман. Перевод Н. Волжиной и Е. Калашниковой . 287

А. Старцев. Последние книги 700

А. Старцев. Краткая летопись жизни и творчества
Эрнеста Хемингуэя 713

Хемингуэй Эрнест

Х 37 Собрание сочинений: В 4-х т.— М.: Худож. лит., 1981 — 1982.

Т. 4. Старик и море; Опасное лето; Праздник, который всегда с тобой; Острова в океане. Пер. с англ. Послесл. А. Старцева. 1982.— 735 с.

В 4-й том настоящего Собрания сочинений входят повесть «Старик и море», очерки о бое быков «Опасное лето», книга воспоминаний «Праздник, который всегда с тобой» и роман «Острова в океане».

Том завершает послесловие историко-литературного характера и «Летопись жизни и творчества Э. Хемингуэя», написанные А. Старцевым.

Х 4703000000-308
028(01)-82 —подписное

И(Амер)

Эрнест Хемингуэй

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том 4

Редактор Э. Шахова

Художественный редактор И. Сальникова

Технический редактор Л. Платонова

Корректоры Н. Усольцева и Т. Сидорова

ИБ № 2375

Сдано в набор 05.08.81. Подписано в печать 24.06.82. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новач». Печать высокая. Усл. печ. л. 38,64. Усл. кр.-отт 38,64. Уч.-изд. л. 41,52. Тираж 200 000 экз. (1-й завод 1—100 000). Изд. № VI-519. Заказ № 1842. Цена 4 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Художественная литература»
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Минское производственное полиграфическое объединение имени
Я. Коласа, 220005, Минск, ул. Красная, 23